

2

С. В. МАКСИМОВ



Сергей Васильевич
МАКСИМОВ



Собрание сочинений
ТОМ 2

Сергей Васильевич
МАКСИМОВ

Собрание сочинений
в семи томах

Сергей Васильевич

МАКСИМОВ

Собрание сочинений
в семи томах

Сергей Васильевич

МАКСИМОВ

Собрание сочинений
в семи томах

ТОМ 2

СИБИРЬ И КАТОРГА
Части II–IV

Москва 2010

 **КНИГОВЕЖ™**
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
М17



Внешнее оформление художника
А. БАЛАШОВОЙ

Максимов С. В.

М17 **Собрание сочинений: В 7 т. Т. 2: Сибирь и каторга: Части II—IV; Примечания. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 640 с.**

ISBN 978-5-4224-0030-0 (т. 2)

ISBN 978-5-4224-0028-7

Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) — русский путешественник, писатель, исследователь-этнограф, знаток русского быта.

Глубокое знание быта и нравов народа, правдивость и живость зарисовок обеспечили С. Максиму подобающее ему достойное место в русской литературе.

В 1860—61 годах Сергей Васильевич совершил путешествие на дальний Восток. На обратном пути он занялся изучением сибирских тюрем, результатом которого стала книга очерков «Сибирь и каторга». В ней собран обширный материал по этнографии, истории и статистике тюремной жизни России.

Во второй том вошли вторая, третья и четвертая части очерков «Сибирь и каторга».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-4224-0030-0 (т. 2)
ISBN 978-5-4224-0028-7

© Книжный Клуб Книговек, 2010

СИБИРЬ И КАТОРГА

Части II—IV

Часть II

ВИНОВАТЫЕ И ОБВИНЕННЫЕ

ГЛАВА X

УБИЙЦА ИЗ ПУСТОСВЯТОВ

Публичная казнь. — Голоса из толпы. — Молодость и воспитание преступника. — Быстрый успех в большом свете. — Разнообразные похождения. — Таинственная келья. — Монастырские послушания. — Злодейские приемы. — Убийство и способы самооправдания. — Ссылка и новые приключения в стране изгнания. — Тобольский острог и нерчинское пропитание. — Встреча и беседа с преступником. — Коренев и сопоставление с ним Зыкова. — Мнение о последнем союзников.

«На пути по этапам я того наслышался и насмотрелся, что теперь неохотно читаю романы».

*(Из записок декабриста
барона Штейнгеля)*

В первых числах августа 1850 г. (какого именно, не упомяну) площадь Охотного ряда в Москве была необычайно запружена народом. Там, где пересекается Тверская и предполагается начало Моховой, толпа до того загустела в плотную стену, что в самом деле нельзя было пробить ее ядром. Проходящим пришлось остановиться и созерцать.

В этом народном множестве преобладали молодцы с подпернутыми фартуками из приказчиков мясных и курятных лавок, обладающие известною грубостью в обхождении и препрославленной силою, и разносчики, оглашающие Москву сотнями выкриков и распевов, которые, за их разнообразие и оригинальность, давно следовало бы переложить на ноты и записать в сборник песен. Были в белоснежных рубашках трактирные половые с распущенными бородами и тщательно, с очевидным кокетством, причесанными волосами. Толпился тут же и всякий тот праздный сброд,

который в любое время готов с неостывающим любопытством подолгу смотреть, как плывет по Москвереке полено. По разнокалиберности зевак и по их чрезвычайному многолюдству, возможному только в Москве, следовало предполагать о предстоящем каком-либо необычайном зрелище; при крестных ходах такого собрания не бывает.

Жандармы в касках, с сердито торчащею щетиною в гребне из конских волос, и казаки на куцых лошадаках, с дерзко сдвинутыми набекрень киверами, успели уже сделать свое предопределенное дело. Толпа крупными огромных жандармских лошадей и при помощи тяжелых сабель разбита была на две строгие и послушные стенки. Между ними образовался тот широкий коридор, который и представлял собою теперь очевидное и живое продолжение Тверской до того места, где клочок ее мимо Лоскутного ряда выходит на Иверскую площадку. Там, вероятно, тоже месиво из живых людей толклось и переругивалось, стонало и гудело, высаживая локтями задорных, а само все-таки напирало вперед, прямо под казацкие нагайки и тяжелое холодное оружие жандармов. Толпа, сбившаяся вплотную плечо к плечу, колыхалась, как морские волны, подаваясь вправо и влево и назад, кажется, от одного лишь того, что вот этот вздумал переступить с ноги на ногу, а тот вот вздохнул полною грудью и нарушил напряженное равновесие вытянутой в струну стенки. Казак уже не один раз успел достать назад концом нагайки и «смеять» того бунтовщика из фабричных ребят, который ретиво работал плечами, раздражая и надавливая толпу, и который за тычком никогда не гонится, а еще потом перед товарищами хвастается:

— Он меня крепко ожег через правое плечо под левое подвздошь, да я ему не покорился.

— У него, надо быть, на конце-то пулька вплетена; следует тебе в баню сходить, отпарить. Вспухнет — померешь; настагаешь венником с мылом — отпустит.

Зубоскальства в толпе, по обычаю, много. Виноватых и обиженных не щадят. Московский рядский закон таков, что если и поскользнулся человек на сплеснутых выбросах чая, надо того человека осмеять, праздным делом, с головы до ног. Лакеев, например, в те времена вдоль Ножевой линии Гостиного двора пропускали не иначе, как сквозь строй насмешек, самых ядовитых и очень обидных. Впрочем, знаменитого и в полную меру еще не оцененного московского балагурства, срывающегося прямо с кончика языка, острого, как шило, не переслушаешь. Неизвестно, зачем мы пришли и остановились здесь.

— Стой прямо, смотри направо, слушай, как трель бьют! — советовали мои соседи друг другу. В самом деле, слышались редкие, нескладные, как-то вперебой, удары барабана. Стукнут по телячьей шкуре березовыми палками — посыплется дробь; начнешь вслушиваться — она и перестала, оборвалась. «Тук!» — скажет барабан еще один раз и замолчит. Где эти барабаны идут, нам из-за плеч и голов совсем не видно. Приходится принимать на веру невидимое, как бы видимое, и неведомое, как бы настоящее.

Видим, однако, вскоре, как на пригорке Тверской улицы, над головами многотысячной толпы, заколыхалось нечто чрезвычайно неопределенное, странное и Бог весть почему-то вдруг показавшееся страшливым. Пословица говорит: хорош барабан в поле, а не в городе, потому-то, должно быть, он и настроил на подобную неожиданную мысль. Иному, в самом деле, гром не гром, а страшен барабан. Он-то и поддержал испуганные мысли, несмотря на подручные развлечения: жандарм, нагнувшись на лошади, таскал в рукавицах с широкими раструбами хохлатую голову мальчика из-под кухонного трактирного куба, а тот молча старался вырваться. Казак опять успел кого-то смерять. Участились крики: «осаживай, осаживай!» — потому что толпа пришла в сильное возбуждение, именно то самое,

когда еще немножко, еще одно оскорбление, как капля, переполняющая сосуд, — и толпа взревет, ожесточится и нарушит весь налаженный строй. Этого почему-то не случилось, и народная волна начала принимать другое направление — кверху и вниз. Все становились на цыпочки, и каждый старался приподняться, опираясь самым решительным образом на плечи соседа, тараща глаза и разевая рот, а чужие плечи не медлили сбрасывать чужие руки. Все отменно переругивались.

Мимо нас медленно, пошатываясь из стороны в сторону, промелькнула темная фигура привязанного к столбу человека. Мы слышали за чужими спинами, как сфыркивали лошади, громыхали до мостовой тяжелые колеса; мы видели, что привязанная к столбу серая фигура имела бледное лицо, опущенные вниз и полузакрытые глаза. Мы успели прочитать на свесившейся на грудь доске страшное слово: «убийца», и одновременно и мимоходом уловить несколько замечаний наших соседей.

Каким-то плаксивым голосом спрашивала женщина в косынке, с узелком на лбу, как бы внезапно пораженная или что-то потерявшая и вдруг спохватившаяся:

— Да где же у него каблук-от?

— А на сапоге, должно полагать, — ответил тот, который был доволен тем, что видел, хотя чувствовал в сердцах, что у него изрядно намяты бока и надавлена грудь.

Женщина, однако, не отвязывалась:

— Да ведь он монах. Я ведь про тот каблук-от спрашиваю, что они на головах носят.

— А тот каблук он, должно быть, дорогою потерял. Далеко ведь, вишь, с самых Бутырок везут, — острил все тот же.

— По закону, матушка, перед торговою казнью извергают духовных лиц из сана, — благодушно успокаивал ее тоном довольного человека, по-видимому, чиновник. Он успел, вероятно, при содействии своих

светлых пуговиц и замеченных нами вразумительных и вкрадчиво-кротких объяснений с разными полицейскими чинами удержать свое место в стенке, далеко впереди всех нас.

Не скоро толпа разошлась и очистился проход на Моховую. Всякий старался поделиться своими впечатлениями, и, как всегда бывает в этих случаях, выводы и заключения оказывались не похожими и не только не согласными в общем, но и совершенно противными в частностях. Кто говорил, что видел слезы на глазах у преступника, а кто уверял, что, напротив, заметил усмешку, и весьма даже злую. На одного так страшно глянул он, что тот даже взмахнул на лоб и спустил с плеч на пояс большой истовый староверский крест. Иной поймал у преступника такой вздох, что у него, у свидетеля, даже под сердцем кольнуло. Один видел позади преступника на эшафоте палача, которого совсем тут не было. Двое взялись спорить до ругани и косых взглядов друг на друга о том, носил ли преступник полный образ или был только послушником. Вмешавшийся в спор третий настойчиво уверял, что он и послушником-то не был, а только жил в Донском монастыре и надевал рясу, а от мира вовсе никогда не отрекался. Все согласны были на одном, что жертвою преступления была действительно княгиня и притом известного старинного рода, издревле любезного городу Москве. Говорили, что с раннего утра сегодня на место казни скакали не только извозчики, но того больше — кареты, коляски, ландо, фазтоны; вся Москва ехала и бежала на место казни еще до рассвета. Только недосужные, запоздалые и немощные рассыпались по дороге, как брызги от схлынувшей волны, и установились сплошными рядами по уличным тротуарам, на всем протяжении длиннейшего пути следования печальной колесницы. Самодовольный чиновник утешал себя и успокаивал, вразумляя всех нас, что на месте казни и смотреть, собственно, нечего: там надломят

над головою шпагу, ибо преступник был доподлинно дворянин и чиновник, не успевший еще постричься в рясофорные монахи.

— И все тут, ничего интересного, — старался он уверять себя и нас. — Шпага, — уверял чиновник, — должна быть заранее надпиlena так, чтобы палач мог ее легко и скоро разломить над головою преступника.

Не мог он, однако, утверждать, ударит ли палач надломленною шпагою по голове преступника или разломит ее на воздухе. Здесь он сам запутался, говоря свое, но соглашался и с противоположным мнением соседа.

— Опять как же, ведь, и ударит по голове? Ведь она не горшок! — заметил вовсе не удовлетворенный рассказом торговец.

— Удар удару рознь! — решительно успокаивал он себя и пошел вместе со мною на Моховую. Я видел, как он встряхивал головою, и слышал при этом его глубокие вздохи с приговором про себя: «Ох, грехи наши тяжкие, немощи наши человеческие! Подишь ж ты!..» и т. п.

Эти глубоко врезавшиеся в моей памяти впечатления, буквально на первых шагах знакомства с Москвою, вызваны событием, весьма памятным там, кажется, до сих пор. В свое время оно переполошило весь город до самого доньшка. Замечательно и поразительно было не столько само преступление, сколько участники и жертва, в самом деле (по времени совершения злодейства) вечерняя. Участие духовного лица в преступлении не казалось особенно выдающимся в городе, где до того преизобилует духовенство, что в среде населения его, ревностно охраняющего старинные обычаи, даже тот древнейший — отругиваться и отплевываться при встрече — значительно ослабел и даже покинут. Участие же монаха казалось чересчур неожиданным и оскорбительным, хотя бы в церковном и богомольном городе этом было монастырей и монахов ровно столько, сколько полагается их на целую губернию, и притом также издревле населенную и столь же благочестивую. Но главное, с одной стороны — монах, а с другой —

княгиня: зачем они вместе, и при чем они оба? Объясняли все это в то время все вдруг и каждый по-своему, а потому и выходило что-то такое темное и трущобное, где мудрено было разобраться. В официальных документах уголовной палаты еще мудренее было добратся до сути. Постановления и протоколы писались тогда таким языком, о достоинствах которого обычно говорили так: «писано-прописано от села Борисова, от Макара Денисова». После того, как разберемся в уличных и гостиных слухах и смахнем с архивных документов 50-летнюю пыль, перед нами встает нижеследующая внушительная личность.

С чердачка на Зацепе, где ютилась чиновничья семья отца Николая Семеновича, последний поступил в науку и выучился ровно настолько, чтобы быть писцом. Москва таковых мастеров не балует и, за неимением средств, не дает им приюта и ходу. Как губернский город, она владеет только уездными и губернскими присутственными местами с некоторою надбавкою канцелярий временных, кроме бессрочных комиссий и кое-каких комитетов. В один из последних, заведующих делами самого сильного и привилегированного благотворительного общества, он и попал на легкую службу. Проставив нетвердую ногу, он, благодаря своей природной юркости и услужливости, сумел укрепиться настолько, что, пересаживаясь от стола к столу, очутился и затем из них, который ведал дела по части дамской благотворительности и попечительств. Представилась необходимость личных докладов титулованным баловницам и возможность проявить перед ними свои скрытые таланты и придавленную силу. Женское бессилие, постоянно нуждающееся в мужской помощи и поддержке, тотчас же предъявило требование на услуги этого услужливого и ловкого молодого человека и нашло в нем

аккуратного и толкового исполнителя. К побегушкам он приучен был еще в родной семье, на посылки сделался способным под руководством своего хромого, злого и вороватого начальника; в дамские ручки он попал уже совершенно приготовленным. Сделаться же опытным, сообразно с капризами заказчиц, ему было уже не мудрено в то время, когда приобретена была известная гибкость рассудка, при настойчивости природного характера. Недаром же его закаляла чердачная жизнь в ежовых рукавицах раздраженного бедностью, служебною неудачею и неподвижным сидением на одном месте родного отца. Всего оказалось в достаточном запасе: хитрость и осторожность битой собаки, ее же лстивость с поджатым хвостом и другое — все в надлежащей цельности, в порядке и на месте. Стоит Николай Семенович с докладом перед любую благотворительною дамою все таким же неизменным: тот же дружеский, улыбающийся взгляд, когда читает доклад; та же живая игра наостренных ушей, когда выслушивает приказания, точь-в-точь, как у любимой болонки, когда ее заставляют служить. Даже как будто и хвост вытянут так, как у ищейки, которой приказано отыскать запрятанную вещь и принести сейчас же и во что бы то ни стало. Все в нем мило: и эта пестрая шерстка, худощавое длинное тело, чисто вымытая, вылощенная длинная мордочка, а главное, ласка и готовность ринуться ио первому слову со всех ног, хотя бы и не за делом, а ради одной праздной забавы. Дамская любовь со скучного и флегматичного мопса, с изнеженного шарло перенесена была с полною готовностью и на этого человека. Он такой услужливый, он такой ласковый, безропотно покорливый и очень умный. Надо было княгине разузнать секрет у портнихи мадам Аннет, какого фасона и цвета платье шьет она на бал Дворянского собрания для графини, — и местье Зыков в тот же день сообщал с подробностями. Он делает и не такие крупные одолжения, он оказался способен на величайшие: он умеет передать

на словах ту тайну, которую нельзя выразить на письме даже по-французски. Ему одному можно поручить разузнать, кому раньше и кому лучше высланы будут на Кузнецкий Мост французские модные материи. У него десять рук на те случаи, когда разгуляется дамский каприз и разом разохотится на множество поручений. Только и скажет он как-то по-своему и странно: «Одна моя нога здесь, а другая — там», — и сделает с изумительною поспешностью. Из-за груды покупок, привезенных по поручению, самого и не видать, а он, однако, всегда привезет их в срок и даже гораздо раньше. Незаменимый человек, очаровательный молодой человек! И в манерах стал улучшаться, оставил кое-какие дурные привычки. Тонкими платками обзавелся и духами опрыскивается. Можно его кое к чему и допустить, например, дать ему поцеловать ручку и этим не погнушаться, посадить его за чайный вечерний стол с серебряным самоваром и, саксонской посудой. Не надо заботиться и волноваться о том, что он возьмет пирожное прямо голыми руками, что он вздумает опрокинуть чашку вверх доньшком, чтобы в знак благодарности, положить туда обмусоленный кусок сахара.

Наступила, в самом деле, для Николая Семеновича Зыкова пора полного блаженства. Вот он в надушенном будуаре докладывает сидя, а товарищи тем временем, в сторожевской, пропитанной насквозь махоркою, стоя и торопливо, затягиваются из одной трубки через перышко мусатовским вакштафом. Он сидит и за обеденным столом, — положим, на кончике крайнего и дальнего стула, — однако ест кушанья, изготовленные настоящим французом поваром. А небритые и немые сослуживцы его, забравшись в низок Егоровского трактира, требуют перед 2—3 парами чая даровую закуску из кусочка ветчины, огурчика и пеклеванника на основании обычая, давно вынужденного у хозяина трактира чиновничьею бедностью и незыблемо установленно-го. Или, еще хуже того, товарищи сытого Зыкова спят

и видят и усиленно ищут такого просителя, который угостил бы их солянкою в кастрюльке. Или, как консисторские нахалы, всею оравою накидываются на пришедшего сельского попа и грабительски вытаскивают у него из-за пазухи пирог с ячневой крупю.

Николай Семенович превознесен и отличен даже тем, что освобожден был от прямых служебных обязанностей, от ежедневного посещения комитета на Маросейке. Он весь отдался дамским особым поручениям и, с воли и ведома прямого и хромого начальства, был совершенно откомандирован к патронессам. Ему у них привольно. Его все они до единой знают, ценят; большая часть считает его не только полезным, но и необходимым человеком. От него зависело то обстоятельство, что для некоторых благотворительниц он сделался правой рукою и ногой: ступить без него не умели, взяться ни за что не могли даже по домашнему хозяйству. А он, тем временем, подучился болтать по-французски целыми фразами и еще более округлил манеры: брал у Иогеля уроки танцев и переменил походку, способы кланяться и садиться. Его начали считать своим и наружно оказывать ему чрезвычайные знаки внимания, любезности и откровенной приветливости. Вот в это-то время и произошло то крупное недоразумение, которое повело к роковому исходу. Недоразумение это порождено было грубою ошибкою во взаимном понимании обеих сблизившихся сторон.

Душевный прием суждения по наружности, при непривычке ленивых и сытых людей к анализу и какому-либо тонкому разбору, послужил главным основанием к заблуждению: сходственные черты милых домашних животных, в сущности, не оправдывались и в данном субъекте даже совершенно отсутствовали. Если уже идти тем же путем сравнения, то окажется, что все было понято в обратном смысле и извращенном виде. Это худощавое, длинное и гибкое тело доказывало способность ко всяким изворотам, подсказывало, что этот

человек способен пролезть во всякую щель, не зацепляясь. Не заметили те, кому это надлежало ведать, что эта лстивая ласка, усыпляющее мурлыканье, даже эта постоянно вычищенная, вымытая и выбритая мордочка — характеризовали животное совсем другой породы: лукавое и вороватое, полное вкрадчивой хитрости и ужасающей изворотливости. Оно одарено редкою остротою чувств именно для того, чтобы в своей кровожадности быть ненасытным. Нет нужды, что он не брал никаких вещественных знаков благодарности за оказываемые услуги, а довольствовался казенным содержанием. Он искренно уверял, что помощь, оказываемая им дамам и самому благотворению, до того ничтожна, что о ней и говорить не стоит, ему самому совестно слушать о приписываемых ему заслугах, — смирение невиданное, неслыханное и столь очаровательное.

А затем у него светящиеся глаза, маленькое ухо, короткая и почти круглая голова, как у самых свирепых хищных животных. У него и походка неслышная, как у этих, где под густою шерстью на изогнутых ногах спрятаны смертоносные, быстро выскальзывающие наружу когти. Нет, это — не шарло, всегда открытые когти которого менее опасны, потому что вечно бывают измочалены. Как настоящий лютый зверь, дамский баловень и угодник в лице комитетского чиновника прятал свои, чтобы показать их в то время, когда накопятся силы и подойдет случай. Он трудился, хлопотал, недосыпал, подвергался унижениям и неспроста проходил не раз сквозь строй оскорбительных, презрительных насмешек. Он вознамерился за все испытанные страдания и очевидные заслуги получить плату, награду и отступное, однако не мелочью, а каким-нибудь внушительным кушем. Если те ошиблись излишком ласки и приветливости, он ошибся тем, что, относя их прямо к своей личности, не сообразил и не догадался, что это — прямое обязательство вежливости, деликатного обращения, как

заурядная привычка людей, воспитанных в холе и неге до пресыщения, в спокойной среде самодовольства, где нет места отчаянию или постоянным раздражениям. От мягкого стула и постели улыбающийся привет дается на рубль ценою с твердою уверенностью, что этот низкий нищий, получая, оценит дар в полную тысячу. Если он, этот чужой, обласканный, вздумает торговаться и запрашивать больше, — значит перешел предел. Необходимость преграды становится настолько ясною, что ее сейчас же с досадою, ловко скрытою и затаенною, начнут быстро сооружать те же самые лица, которые, шутя и от безделья, ее расстроили. Этого-то и не заметил наш слепой счастливец, а когда на сильный скачок свой получил такой же отпорный толчок, то и выпустил свои смертоносные когти. Теперь пока им только намечена была самая жертва, но уже производилась страшная скрытая работа мстительной души, соображая подходящее время и соразмеряя для прыжка расстояние. У настоящего зверя промаха не бывает, он не скользнет лапами мимо чужой шкуры и не разобьет своего крепкого медного лба. Так поступил и Зыков, притулившийся, как зверь, в яме за камнями и тщательно припрятавший когти.

Веселый, шаловливый и беззаботный кружок московских дам-благотворительниц как-то один раз вздумал осмотреться, побуждаемый неопределенным инстинктивным чувством. На него как будто пахнуло откуда-то легоньким холодком; не то ему чего-то стало недоставать, не то кого-то из своих он нечаянно потерял, да не сразу успел спохватиться.

— Да где же Зыков? Куда пропал Николай Семенович?

Одна не видала его больше месяца, по ее довольно приблизительному счету.

— У княгини Веры он даже очень давно не был. От одной он увез брабантские кружева в чистку и не возвратил и записки не оставил.

— Конечно, возвратит, если не сам, то через родных своих. У него есть такие. Сам он про них никогда не говорил, а стороною было слышно, что у него они есть, эти родные. Он такой честный!

Многих занимал также серьезный вопрос, с кем теперь играть в карты, в фанты, в маленькие игры и т. п.

— Он так мил и находчив, так весело смешит и мило шутит. Я всегда им в это время люблюсь.

Решено было навести справки на месте службы, а если уж это не удастся, то и в том доме, где он жил и куда ходил ночевать. Оказалось теперь по справке, что некоторые дамы настолько не гнушались Зыковым, что бывали у него, не боясь подозрений и превратных толков. Зыков был весьма дурен, вытянутая физиономия его походила на лошадиную; помилуйте, кто пленится таким уродом среди щеголеватого офицерства? «Вот езжу к нему, езжу в квартиру его, чтобы ускорить одно благотворение и осчастливить им десять человек».

Легкое беспокойство весело настроенного кружка весьма легко и скоро удовлетворено было самым точным сведением, что Зыков ушел в монастырь.

— Но в какой? Их здесь так много!

Новая справка прямо указала на Донской.

— Если он сделался настоящим монахом, то это очень любопытно; ведь он отрастил волосы, отпустил бороду, как делают эти попы.

Видали Зыкова в чистеньком фраке и в танцах, как не посмотреть на него в рясе и на молитве!

— Ведь он будет ходить по церкви и дымить этим кадилом.

Поехала в Донской не одна карета и не одна коляска, к полному изумлению монахов, которые гуляли празднично около церкви, когда шла в главном соборе обедня. От них узнали дамы, что Зыков в затворах.

— Что же он там делает?

— Спасается. Никуда не выходит, даже в храм Божий. Никого, кроме отца архимандрита, к себе не допускает.

— Когда же он выйдет и покажется ? Нам его надо видеть, очень надо видеть.

— Когда найдет к тому благопотребное время. А теперь втайне молится, сокрушается о грехах, что содеял там, в мире.

Вот это слово «спасается» показалось столь неожиданным и острым, что кое-кого кольнуло прямо в сердце. Решили наведываться. Разве не все равно, в какую церковь ездить молиться, если уже заведен у всех такой обычай по преданию от родителей? Каждое воскресенье заведено и фамильною печатью припечатано приказание по большим праздникам бывать в какой-либо из модных церквей — в университетской, на Остоженке, в Шереметьевском доме у Сухаревой башни и в других.

— Все еще в затворе! — продолжает говорить справка в Донском монастыре от слоняющихся по аллеям и кладбищу монахов.

— Да какие же это грехи? И зачем ему понадобилось от нас скрываться и отмаливаться и так строго и так даже страшно? — думали посетительницы, проходя мимо этих двух окон под архимандричьими кельями, которые занавешены были густыми зелеными шторами.

— Зачем этого маленького человека мы допускали столь близко? Пусть бы он там... — раскаивались другие.

— Начнет исповедываться на всю церковь — кажется, это бывает у монахов — надо, во всяком случае, постараться заласкать его, повидаться с ним. Ну, просто попросить его, чтобы каялся как-нибудь по-другому.

— Как же это сделать, когда заперты двери и наглухо спущены шторы?

За этими шторами, действительно, в задумчивости сидел этот паук и плел паутину. Плел он ее, конечно, с искусством и опытностью старого и зоркого рыбака и притом еще под надзором не менее опытных глаз самого настоятеля. Он уже и привыкать стал к легкой работе затвора, да наставник сказал:

— Довольно. Теперь закрепи. Длинная сеть тоже не всегда полезна бывает. Она одну рыбу ловит, а другую пугает, — как бы всех не распугала? Я вот пришлю церковного старосту; пусть он скажет, до чего оскудело церковное и кошельковое приращение.

После того встретившие дам монахи обрадовали их неожиданною радостною вестью:

— На днях доброхотно вышел. И, как свеча перед образом, бдит на молитве. Даже удивляемся.

— Вот и Зыков!.. Кажется, он? — по крайней мере, в эту сторону указывал рукою провожатый монах, да и теперь туда же кивает головою с клироса и подмигивает. Не узнать Зыкова в темном углу между большою печкою и церковною стеною и не разглядеть его: все стоит опустя голову, часто молится и еще чаще того становится на колени. Некоторым удалось уловить его тяжкие вздохи.

Это уже очень страшно. Это уже что-то такое невероятное, но очень, очень любопытное. Вот, даже дух замирает, так это прекрасно и умирительно.

В следующее воскресенье в Донской монастырь наехало карет вдвое больше, на следующее втрое. Зыков стоит на прежнем месте, смиренно понунив голову и не поднимая глаз, иная так бы вот и пошла приказать ему поднять голову и хоть раз взглянуть на грешницу. Он все еще закреплял на сетке петли; захлестнул крепким концом последнюю.

— Приемлет ныне малое послушание, «благоугодил», говорит. И от священноархимандрита получил благословение на церковный сбор во дни богослужения.

Ловецкий удар был рассчитан верно. В развернутую сеть стала попадать сначала мелкая рыба с серебряною чешуею, добывалась и с золотою. Блюдо, которое носил по церкви с опущенными долу очами Зыков, наполнялось даянием доверху, все из-за того одного, что интересный молодой отшельник в колпачке, сдвинутом на

самые брови, умел, остановившись, поклониться вкладнице по-монашески, во всю спину, а не по-старому и по-светски, как в кадрили, одною головою.

Любопытство заразительно среди праздных людей, а потому нет ничего удивительного в том, что и рогатые и комолые супруги потащились за женами посмотреть на столь редкостного монаха.

— Вчера был он среди нас, а теперь лег живым в гроб, и вот, говорят, по временам встает и тенью шатается по церкви. Надо взглянуть!..

Совершилась и в монастыре перемена: из начальника настоятель сделался истинным другом (переименованным впоследствии в соучастника). Об одном только и была его просьба:

— Порадей святой обители верным и благим послушанием. Токмо не передергивай петлей сети. Действуй косо, не борзяся.

Когда вскоре потребовалось поучение из того, о чем было надумано в глубокомыслии затвора, разрешение дано было на посещение убогой кельи рыбака одной лишь той, которая могла больше вместить и много веровала. То была княгиня Вера, не пропускавшая ни одного воскресенья, больше других клавшая на блюдо, сильнее и настойчивее других стучавшая в затворенную дверь.

Там в это время за нею успел уже побывать сам святой владыка, умнейший и прозорливейший святитель Филарет, привлеченный слухом о подвигах нового затворника. Он беседовал с ним. Владыка сам видел и рассказывал потом всем, что у нового подвижника на простой деревянной кровати действительно лежали в изголовии два березовых полена и стояли в келье лишь два простых рыночных стула.

Таинственная келья стала еще святее и еще любопытнее, в особенности для таких верующих, какою была молодая и красивая княгиня Вера. У нее был старый муж, разбитый параличом и давно лежавший в по-

стели. Врачи обрекли его на смерть, и княгиня прибегала к молитвам, посещала монастыри, делала вклады. Донской монастырь, в особенности, привлек ее внимание и полюбился, не потому лишь, что был близко. В келье затворника, умевшего выбрать именно эту обитель, нашла она и то кресло, на котором сидел святитель, и тот образок в серебряной оправе, которым он благословил таинственного монаха. Видела она келью из трех конурок, а не комнат; но лишь в одной стояла та убогая мебель, которую похвалил Филарет, да шкафчик с образами; в другой, задней, не было ничего, кроме стен и священно-таинственного безмолвия. Когда посетила келейный сумрак новая посетительница, затворник и остальным желающим вскоре решился дать разрешение. Да и пора наступила: богомольные жены испытали продолжительный искуc. Посещения участились, келейное безмолвие нарушилось: затворник впал в искушение, падал, задумывался, тосковал и оправдывался тем, что сам архимандрит пленился теми же удобствами для бесед и тихих поучений. Затем всякий, кто захочет, пусть то и говорит. Да и что кому за дело, что когда умер муж княгини Веры, Зыков читал псалтырь по нем, по давнему знакомству? Пусть говорят, что у них с настоятелем заведены очередные обеды через день, и у каждого из них имеется свой повар. Пусть говорят!.. главная задача, во всяком случае, теперь решена с победительным успехом: попала рыбарю в сети та самая вкусная и большая рыба, на которую и расчет был сделан.

Сквозь монастырские стены нельзя нам было видеть, что происходило за синими занавесками, а слухам и сплетням мы не смеем доверяться. Именно в Москве с Замоскворечьем они особенно злоязычны, всякие слухи перепутаны вкривь и вкось и подозрительны, как всякая клевета и диффамация. Верю тому лишь, что вышло прямо на Божий свет и городские стогны и показалось въявь.

В одном из московских, по большей части либо ко- сых, либо кривых переулков (на этот раз именно в та- ком, которые также зачем-то изгибается, исходя из большой улицы) случилось такое событие. В сумерки шел по этому переулку к Каменному мосту одетый в черную ряску некоторый человек. Ему навстречу вышли из подозрительной «Ямки» три молодца. Из них один нес большую бутыл. Поравнявшись с черным че- ловеком, этот толкает его плечом своим в бок и роняет бутыл, из которой льется деревянное масло. Поднима- ется крик, завязывается перебранка, после которой пу- скают в дело кулаки. Черного смяли, повалили и били, как могут бить только графские крепостные кучера и конюхи, да мясники Охотного ряда. Избитого, еле ды- шавшего, втащили на извозчика и свезли в часть, где поместили с ворами и мошенниками на несколько дней (его из монастыря исключили, архимандрита удалили). Знать, «спознал князь да доведался (как поется в песне о Ванюше-ключнике), что от самой от последней девки сенной горничной, когда уже довольно было попито и поедено, в красе-хороше похожено, про его ли, княжью милость, много было ругано».

Оправлялся Зыков очень долго и медленно, ровно столько времени, чтобы монашеским обетом смирения уурачевать душевные и телесные раны, или в самом деле, по мирскому обычаю, растравить язвы до но- вой боли уже от кровавой обиды, которая толкает на мщение. Оправившись, он и в самом деле взял с собою оба орудия и слово примирения, да кстати прихватил и нож. Княгиня собралась к Троице говеть и зашла к Зыкову попросить, христианским обычаем, прощения. Он готов был примириться, если позор его будет смыт честным браком, в большой церкви, всенародно. Согла- сия не было дано, ответ сказан решительный, так как и самый вопрос поставлен был в упор. Сверкнуло лезвие кинжала, купленного на Кузнецком Мосту, и безды- ханный труп упал к ногам убийцы. Он быстро схватил

молитвенник, припал на колени к труп и истово начал читать отходные молитвы, пока из зияющей раны, нанесенной как бы волчьими зубами, хлестала фонтаном алая кровь. В таком виде и нашли убийцу, когда, и в переносном смысле, свалилась наконец с его плеч овечья шкурка и объявился подлинный волк, как высказался о нем сам митрополит, когда довели до его сведения о содеянном злодеянии. «Вяжите, заточайте, судите и казните!» — говорил Зыков, а на первый случай и оправдание было приготовлено в простых и кратких словах, такого смысла и значения:

— Так угодно Богу! Я, видимо, избран орудием для того, чтобы из этого греховного мира праведную и святую душу чистой голубицы — княгини Веры — препроводить в горние селения. Там, а не здесь, подобает ей быть.

Я был личным свидетелем дня казни Зыкова, но, по случайностям скитальческой жизни, попал и в места уголовных возмездий, в самое ядро и пекло каторги и ссылки, куда посылают подобных грешников. В административном центре каторжных заводов и промыслов, — именно в Большом Нерчинском заводе, — я встретился с этим человеком, начавшим свое житейское поприще в роли Молчалина и кончившим его на гражданской свободе в роли Ваньки-ключника и Ваньки-Каина. На этот раз, ровно через десять лет после казни, в 1860 году, я нашел его там в казенном звании «пропитанного», т. е. перед поселением, в разряде «исправляющихся».

— Исправился ли он? — спросит иной читатель.

— Зайдите к Зыкову, — советовал мне один из начальников нерчинских заводов. — Он вас ждал, он намеревается поездить по Забайкалью для собирания песен и записи обычаев. Разрешения из Иркутска ждет. Теперь он нуждается в советах и указаниях, не

откажете ему в них. Узнавши о вашем приезде, он снова умоляет в письме уговорить вас не погнушаться им. Конечно, он и сам бы пришел, да тяжело болен; у него и подагра и хирагра разыгрались на это время. Зыков молит о свидании, говоря, что, если не удастся мне уговорить вас, он наймет людей донести его на носилках. Вы исполните истинно христианский долг.

Благоволение начальства — видимый первый знак в пользу ссыльного.

По узенькой тропе, едва промятой в глубоких снежных сугробах оврага, я поднялся на ту горушку, на которой стоял домик в два окна, — в два по своеобразному сибирскому обычаю, не признающему нечетного числа окон, как указано узаконенными нормальными чертежами. С горушки открылись еще лучшие виды на эти горы, обступавшие селение, как застывшие волны рассерженного океана, — горы, богатые настоящим серебром и другими минеральными сокровищами. И этот выбор жилища — добрый знак в пользу ссыльного.

Единственная комната в этом домике среди белого дня поразила меня темнотою, и, вопреки сибирскому обычаю, в ней было очень тепло. Во мраке мне прежде всего бросились в глаза ширмы направо. С тех пор первое впечатление не покидало меня. Ширмы были центром всего жилища, из-за них затушевывалось все остальное. За ними тотчас послышался кашель, спрашивающий голос и показалась фигура живого мертвеца, совершенного скелета, у которого только что не стучали кости, как у настоящего. Эта худоба скрывала черты лица и их выражение. Я с трудом успел разобратся и в том и в другом, когда услышал высказанное глухим, гробовым голосом приветствие. Мертвец вкрадчиво говорил:

— Вам уже, вероятно, известна история моего несчастья?

— Роковой день вашей жизни был одним из счастливых в моей: я шел предъясвлять свой гимназический

аттестат, освобождавший меня от риска экзамена в университете.

— Я и Альфонским был обласкан, Овер лечил меня, ведь я в больших домах был принят. На меня возлагались серьезные поручения, доходившие даже до графа Арсения Андреевича. А жив ли Грановский, Рулье — ваши звезды?

Началась известная песня униженного и ссыльного, стремящегося приподнять свое прежнее значение хотя бы на одну пядь. Я дал ему волю вспоминать. Видимо, он перенесся мыслями на родину и витал воображением по Москве, с точностью вспоминая адреса милых домов и мимоходом останавливаясь на попутных зданиях, на прикосновенных к главному рассказу лицах. О своем преступлении, конечно, ни слова, как все прочие ссыльные. Да и никто в Сибири не нуждается в этих сведениях из деликатности и убеждения, что, конечно, все волки серы. Разумеется, всякое признание интересно. Случалось, что вот иной стал подходить к интересному месту, но на самом же деле он ушел от этих воспоминаний еще дальше, даже гораздо дальше, чем отвел меня Зыков в самом начале беседы, прямо в университет, из Донского монастыря на Моховую.

Во все время, пока длилась беседа, его ширмы не давали мне покоя: стоят себе, заслоняя все, даже интересное лицо хозяина, и кричат, требуя особенного к себе внимания. Точно какая новогодняя реклама. Он это заметил.

— Эту святыню я уберег от недоброго прошлого в полной целости, и для нее нанимал во всю дорогу особую подводку. Вот моя главная святыня.

Он показал мне тот образ, которым благословил его Филарет. Приложившись к лику, он повернул ко мне исподку доски. На ней имелась собственноручная надпись митрополита, изображенная тем почерком, который так разительно похож у всех духовных лиц, подобно русскому почерку немцев, занимающихся в коммерческих конторах.

— У меня есть частица камня от Гроба Господня. Мне ее подарил добрый князь...

Следовала подробная история о характере отношений его к этому князю и о причинах, заставивших последнего обязательно сделать ему этот подарок; все пока о Москве по поводу своего унижения.

Я заметил у него подвешенными на ширмах, униженных крестиками и образочками различных цветов и калибров, между прочим, и хорошо всем известные: шапочку от мощей Митрофания, рукавичку от Геннадия Люблимоградского, поясик из Киева от Варвары-великомученицы. Не ширмы, а целый иконостас отделял от меня его постель и столик. На постели уже лежали две пуховые подушки, на столике Евангелие в серебряной оправе.

«Вот он и не изменился, — невольно подумалось мне. — И что он в самом деле: ханжа или истинно верующий?»

И эту мою мысль он отгадал:

— Я верую, я слепо верую. Это одно утешение в моем несчастье. Судьба помешала мне сделаться монахом ...

Вот, кажется, сам наскочил на больное место, а настороженные мои уши слышат о том, как бы он был счастлив, если бы Господь сподобил его внушить такую же веру другим, какою живет и дышит он сам.

— Одна эта вера и спасает меня.

И с этого пункта крутой переход совершенно в противоположную сторону, по крайней мере, прямо к цели, которая вызвала наше свидание.

— Здесь борется с христианством сильный враг — ламаизм. Не по моим немощным силам борьба эта. Не подумайте, что я с этим намерением прошу себе дозволение путешествовать. Расскажите мне, как вы это делаете.

Поставленные мне вопросы все ограничивались практической почвою, доказывая, что он уже раньше присмотрелся к делу и искренно желает ему послу-

жить. Он показался мне весьма начитанным человеком. Он сумел сделать беседу довольно приятною и поддерживал ее так, что у нас вышло как бы литературное утро. Он все обнаружил: искусство хорошо слушать и тонкую осторожность в возражениях. Резко бросалась в глаза и мягкость в манерах, его деликатность в обращении, — все это им по дороге в Сибирь не растеряно. Привез он сюда и уберег и ловкую лстивость в приемах с легким пересолом в комплиментах, и уделил мне в малой дозе на мой счет и по скорости все то, что с избытком расточал во дни оны в Москве и что послужило началом современного печального положения. Ни одною чертою настоящего своего внутреннего мира он не поделился со мною. Можно было уловить лишь только те моменты, когда он извертывался, и не шутя любоваться гибкостью и своевременностью чрезвычайно ловких изворотов. Играл он точно змея и блеском глянцевитой шкурки и всем разнообразием окрашивающих ее пестрых цветов. Неужели он искал во мне, ввиду возможности, хотя бы и мимоходом, попасть в печать, потому что желал представиться не иначе как в благообразном виде? Правда, он жал мне руку при прощаньи, прижимал ее даже к сердцу, убедительно, умоляющим образом прося меня еще раз, хотя один только раз и на полчаса какие-нибудь навестить его. На болезнь пожаловался только за то, что она мешает ему лично навестить меня на отведенной мне квартире. Он даже весьма самонадеянно и уверенно рисовал планы своего путешествия; при такой изможденной фигуре и истощенной натуре, он, видимо, рассчитывал жить еще многие годы (чего, впрочем, не случилось). Он потом вступил со мною в переписку: написал не одно письмо (я их храню), но все, однако, такие, которые не требовали ответов. Он точно помешался на самом себе, и в письменных строках всегда казалось, что он все продолжает чиститься, обшаркивается щеткою и венчиком и опрыскивается духами, хотя и дешевенькими.

Самые милые впечатления я вынес от него из дому и с готовностью поспешил навестить во второй раз, хотя он оказался и последним. Тогда, прощаясь со мной окончательно и роняя видные мне слезы, он уже не выдержал и проговорился прямо с маху, без всякого с моей стороны и вне всякой связи с предыдущим нашим разговором:

— Поверьте мне, княгиня Вера была такая святая душа, что я вовсе не совершил над нею какого-либо преступления насилием. Ее душою я лишь только увеличил сонм небесных ангелов.

Обрадовавшись тому, что он снизошел ко мне и припустил и ослабил одну петельку, я догадался ухватиться за нее.

— Вероятно, сама княгиня довела вас до этой крайности?

— О, нет! — отвечал он мне, и я видел, как мгновенно глаза его вскинулись к небу и руки повисли, как плети: — Княгиня была ангел кротости, но, вследствие не зависящих от нее обстоятельств, она была поставлена в такое безвыходное положение, что для спасения этой чистой души я решился прекратить жизнь ее.

В самом деле нам уже больше не о чем было разговаривать. Если он не говорил затверженную фразу, как помешавшийся на подобном выражении, то уже во всяком случае на каторге он не исправился. Он все тот же и теперь, каким был и в то время, когда тянули его за язык, именно в страшный день безжалостного убийства, над неостывшим еще трупом его жертвы.

— Я скажу вам, как он исправился или переменился, — говорил мне один из интеллигентных людей, очутившихся также на каторге и к которому я обратился за справками.

Это был Ипполит Васильевич Кашкадамов, из воспитанников московского Воспитательного дома. Кашкадамов довольно долгое время жил с Зыковым в тобольской тюрьме, где все оставались подолгу, особенно ссыльные из привилегированных сословий (Кашкадамов был действительным студентом Московского университета и попал в Сибирь за подделку монеты). Под прикрытием того обстоятельства, что приказ, распределявший ссыльных по областям, уездам, волостям и городам, находился в то время в Тобольске (теперь он в Тюмени), несчастные люди от этапного пути отдыхали здесь и перед каторгою запасались кое-какою силою. В те времена было попроще, и тобольская тюрьма представляла собою некоторое подобие гостиницы.

Зыкову позволили в большой тюремной общей камере, устроиться так, как было ему поспособнее, чтобы уединиться и помолиться, не вызывая соблазна и насмешек (ссыльный народ — большой охальник и злой шутник).

— Вот эти-то ширмы, что вы видели у него в нерчинском заводе, видели и мы в тобольском остроге. Он их возил на особой подводе, как настоящий фокусник, который показывает, как Петрушка всех колотит, а сам невоздержно при этом хохочет. Это — не иконостас, а, так сказать, забор, который в здешних местах строят в реке для прославленной сибирской рыбы — максунов. Иной из них придет к кольям, стукнется головой, очумеет и не знает дальше, что ему делать. Надо бы повернуть назад и утекать, а он этого не смыслит, и все стоит и все ждет, когда его возьмут голыми руками.? Ох, эти ширмы! Много они бед натворили, да и не бед только, а настоящих преступлений. Правда, что, по его словам, тут из многих святых мест получены им подарки. И не столько это, сколько он сам свят и величествен из-за этих самых ширм. Так он благолепен и медоточив, что бери да и пиши его лик на икону и ставь ту икону в славу церковь.

— Вот я что хочу рассказать вам, — продолжал И. В. Кашкадамов. — Содержался в одно время и в одном этом же танцевальном зале бродяжьего и воровского русского собрания Коренев — злодей высокой пробы. Он восемнадцать убийств совершил и владел непомерно силою духа еще настолько да на полстолько убийств. Когда его потом приковали на цепь и посадили в одиночную камеру, он так отрезал в ответ архиерею Феогносту, что того отшатнуло на несколько шагов от одного только слова злодейского (ибо окровавленные руки были прикованы к собачьей цепи).

В то время, про которое я рассказываю, Коренев лежал с нами на одних нарах. Полеживал себе да по-свистывал. Иногда в карты играл, а чаще по сторонам поглядывал. С Зыкова он не спускал глаз. Раз и толкает меня Коренев под бок локтем: «Гляди, Полит Васильич, у московского-то чудотворца рыба уж начала знатно клевать». Я лично не придавал до той поры большого значения тому обстоятельству, что к Зыкову дозволен был доступ всякому; ходило к нему народу много, особенно бабья. Известно, их это дело — сначала святошей рожать, а потом ханжей воскармливать. К тому же ведомо мне было, что барыни декабристов в городе Тобольске, на досуге и безделье, придумывают какую-то новую веру и что больше всех беспокоится об этом Фонвизина. Архиерей Владимир и ласкал ее, и доносы о ней в Синод посылал, а она, однако, успела натворить то, что на купеческих жен и дочерей нашло самое мистическое настроение, вместо родного язычества. И то не был Сведенборг настоящий, а что-то около него, только немножко позаволокло мозги туманом, — словом, одурели бабы. На что им лучше Зыкова, когда его привезли сюда да прочитали его статейный список, да ветер кое-что нанес, да его самого послушали? Важное кушанье! Чего, помилуйте, лучше? Первостатейную княгиню убил, в монастыре жил, архимандрита загубил, в благотворителях состоял, а сам образованнейший

человек, в каком-то институте курса не кончил. Роману тут так много, что и не выгребешь и не переслушаешь. И, в самом деле, слушали его очень долго; иные каждый день, как одна рябенская купеческая вдова с двумя пухленькими дочками. Все, бывало, видим — проходят они втроем за эти ширмы и беседуют. А то вдруг пришла к нему одна дочка, самая пухленькая, без сестры и маменьки. В это-то время меня Коренев и толкнул в бок, да — чертов он сын — так-то больно пихнул, что я насилиу отругался.

Стал Коренев помаленьку и предсказывать: «Смотри, — говорит, — Полит Васильич, завтра она опять придет одна и сидеть будет дольше». Почему, мол, ты, дурья голова, знаешь? — «Да уж не сумлевайся! я ихнюю сестру только что не убивал, а хороводы с ними важивал и любил это дело, когда на воле жил и ножных брушлетов еще не надеывал. Он в монастыре недаром привык пенки снимать». И предсказал проклятый варнак: пришла в самом деле одна. Нам из-за косяка в ту маленькую комнатку все было видно, потому что двери, по закону, были сняты с петель. Очень хорошо мы видим, как проскакнула за ширмочку и даже как будто еще и каблучком ее задела и покачнула. Коренев, лежа на полатах, приподнялся даже, оперся на локотки и воззрился как коршун. Ох, зоркий у него был глаз и строгий! Когда, бывало, рассердится, зрачки так и забегают, как мыши, которые не найдут, в какую щель безопаснее сунуться. Я уже вижу этот самый взгляд и думаю, что и он видит что-то недоброе. Ну, мол, худо тому, кто у этого глаза на смотру и на линии. Меня даже морозом по спине продернуло. Однако Коренев меня немного успокоил тем, что, смотрю, опять опрокинулся на спину и смотрит в потолок и даже песню мурлыкает. Дай-ка, мол, взгляжусь я в него; ой, худо! он рыжую свою бороду закусил, прием тоже знакомый мне и знак весьма внушительный!

Вышли они парочкою. Зыков, как вежливый кавалер, под ручку ведет барышню. Проводил ее за дверь, возвращается. Я и не заметил, как успел Коренев очутиться с ним лицом к лицу, должно быть, одним прыжком, как тигры это делают. Понесся по казарме его зычный голос, неприятно-сиплый, как у всех бродяг, подмоченный и застуженный.

— Скажи ты мне, дворянский сын, кто изо всех нас лучше?

Рукой он сгреб его за горло и шагу ему не дает. Сам орет, на всю голову, во всю силу, что было ее в груди у него и в горле.

— Скажи, говорит, кто из нас лучше: ты или я? Не пуцу, пока не дашь ты мне ответа.

Казарма вся гогочет. Кто заливается смехом, а молодые ребята начали науськивать. Я подумал: это, мол, ему будет вторая публичная трепка, да последняя ли? Вот сторожа показались в дверях. Мелькнули солдатские штыки. Коренев, должно быть, это скоро заметил и начал накладывать, да так быстро, что только кулак сверкал. Тут его и связали ремнем и оторвали от лежащего; он и не прекословил, даже ногой не брыкнул. Когда подняли Зыкова, то уже понесли на руках, не мог идти.

Долго лежал он в тюремной больнице. Коренева за это за самое на цепь приковали: не самоуправничай и не озорничай! Про Зыкова мне сказывал доктор наш, что у него сильно повреждено легкое и, вероятно-де, прирастет оно к спинному хребту. Однако вот вы его в нерчинском заводе живым видели, и он еще и вас успел обмануть. А не спрашивали вы там про дочку Калинского, не рассказывали вам про вдовую попадейку? Жаль! Тогда не пришлось бы вам сдаваться на его слова и приняли бы вы ширмы за шарманку, слезы — за насморк, воздыхания — за привычку дурного воспитания, а ученое путешествие — за подвох. Ему надо теперь чем-нибудь отличиться и выдвинуться, чтобы попасть сначала

хотя в волостные писаря, а потом поискать и высокий чин коллежского регистратора, который он так неосторожно обронил в Москве, на Каменном мосту. Вот он и погулял бы кстати и песенок по Забайкалью-то послушал бы. Заседатели ему в этом деле помогли бы: девок бы к нему нагнали, а у семейских они такие породистые и такие гульливые. Пособрал бы он кое-что из веселенького и в печать послал, ну хотя бы в газету «Амур» чтоли. Узнало бы об этом сильное начальство, стало бы о нем хлопотать повыше и кричать по всем землям, по всем странам: «Исправился, совсем исправился нашими стараниями. Нашею помощью вернулся блудный сын в дом отца своего. Заколем на радости теленка или ягненка», или что иное на тот раз под руку попадет.

Не бывать плешивому кудреватым! Так я понимаю это дело по пристальным и давним моим личным наблюдениям. Припоминаю последнее объяснение ваше с ним, которое я уже раз от него сам слышал, когда он в тобольском остроге отвечал на вопросы генерал-губернатора. Он тоже тогда играл зрочками. Я как сейчас помню слова его: «Я — великий грешник!» и слышу его вздох. Он был даже настолько неосторожен в то время, что стукнул кулаком себя в грудь, по-актерски. Припоминая рассказ ваш о свидании, мне хочется задать последний вопрос: что лучше — цинизм ли бродяги Коренева или мистицизм горожанина Зыкова? Лично я над этим вопросом никогда не задумывался, может быть, потому, что привык на каторге делать все тотчас же, как только задумал. Проверять себя некогда, — сейчас в барабан забьют, — и оглянуться не успеешь. Я всегда был твердо убежден, что из Коренева, при благоприятных условиях жизни, всегда мог выйти человек хотя на что-нибудь годный; Зыков — безнадежно не-исправим. Счастлива вся наша русская каторга именно тем, что таких отвратительных личностей попадаетеся на ней очень мало.

ГЛАВА XI

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КАЗНЫ

Фабриканты металлических и бумажных фальшивых денег. — Места и способы приготовления. — Деньги в шубах. — Венгерцы. — Лабзин. — Знаменитый Цезик. — Его замечательное мастерство. — Политические цели в фабрикации ассигнаций за Байкалом. — Фабрикация фальшивых документов; места и лица. — Корчемники; корчемство вином и солью. — Контрабандисты. — Кража золота и серебра. — Кяхтинская, сибирская и русская контрабанда.

Покушения на интересы казны (преступления против имущества и доходов ее) выразились абсолютным числом сосланных в Сибирь в таких отношениях: самое большое количество жертв ушло за подделку и перевод ассигнаций и монеты, затем за корчемство вином и солью, потом за нарушение таможенных постановлений (контрабанду) и, наконец, за похищение драгоценных металлов на заводах и промыслах (за кражу золота). Похищение и истребление казенных лесов появлением своим отдельною рубрикою в сибирских табелях опоздало, а кража казенного имущества (облагороженная прозванием «присвоения и утраты вверенного по службе имущества») отнесена, вместе с подлогами по службе (мздоимством и лихоимством), в отдел преступлений должностных лиц по службе государственной и общественной. Подчиняясь этому порядку, преследуем задачу нашу прочитать списки ссыльных преступников до конца.

1. ФАБРИКАНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ

Прежде всего не можем не выразить сожаления о том, что сибирские табели, путая производителей с потребителями, слепого со зрячим, фабрикантов и заказчиков, передатчиков и обманутых (всех четырех) в

одну кучу, лишают нас желаемой возможности отделить тех, которые фабриковали бумажные деньги, от мастеров, попавшихся на подделке монеты. На практике, по обычаю и закону всякого ремесла (требующего и разделения труда и служения какой-нибудь одной специальности), оба вида преступных деяний выразились ясными признаками отдельного и самобытного проявления. С переменою способа записей ссыльные табели этой разницы не признавали, но по некоторым старым признакам (по таблицам за 9 лет с 1838 по 1846 г.) можно видеть и убеждаться на цифрах, что монетчиков попало больше, чем фабрикантов бумажных денег (с лишком в 4 раза), хотя настоящее время, по всему вероятно, переставляют картину в обратном виде. С уменьшением количества ходячей монеты и с переменою ее внутреннего достоинства, древнейший способ денежных подделок, требующий меньших подготовительных средств от безграмотного, но опытного техника, естественно, должен был уступить новому способу подделок, практикующемуся во время развития технических производств (в особенности фотографий, литографий и т. п.). Хотя для монетчиков целые столетия опыта, а для фабрикантов только с небольшим сто лет практики (со времени манифеста Екатерины II, вводившего ассигнации с целью «подать способы к обращению денег, от которого много зависит благоденствие народа и цветущее состояние торговли»), тем не менее развитие подделки фальшивых кредитных билетов в настоящее время одно из ярких и модных явлений. Поддельватели ассигнаций, уступая монетчикам¹ в первую половину текущего столетия, в течение второй заняли, конечно, более почетное и видное место по необычайному распространению кредитных бумаг всякого рода. Прошлое время дает настоящему следующие указания и предостережения.

Подделка фальшивых денег нисколько не останавливалась при изменении формы денежных знаков, и

подделыватели не затруднились ни в 1817 году, когда ассигнации, дойдя до громадной цифры 836 миллионов, упали в цене (и приняты были меры к изъятию их из обращения), ни в 1843 г., когда они заменены были кредитными билетами. Напротив, даже перемена ассигнационного курса (в 1837 г.) на серебро усилила подделку и увеличила число ссыльных (в 1841, 1842, 1844 и 1845 гг.). В наши дни не задумывались подделыватели над более трудными сериями и в подделке кредитных билетов не совладали лишь с радужными (высшего достоинства) и реже снисходили до фабрикации бумажек желтого цвета и самого низшего достоинства (рублевых). Наибольшее количество ссыльных по делам фальшивых бумажек, в известные нам годы, замечалось в смежных с границе губерниях, свидетельствуя сильнее о передатчиках, чем о фабрикантах, и издавна указывая на заграничных деятелей, подрывающих наш кредит с помощью жадных к денежным богатствам и необыкновенно ловких и опытных в такого рода операциях евреев². Этим явлением и выразилась первоначальная история наших фальшивых бумажек на то время, когда свои мастера практиковались еще на древнем способе чеканки фальшивой монеты и к способам подделки бумажных денег только присматривались и приловчались.

Наибольшее число покушений обогащаться фальшивою монетою внутри России объявилось в тех губерниях, где городская жизнь сумела пригреть те технические мастерства и ремесла, которые облегчают фабрикацию запрещенных продуктов, и в тех местностях, где наиболее развито заводское и фабричное дело. Процентные сравнения в ряду многочисленных русских сословий указывали на большую виновность в этом преступлении именно людей, приписанных к заводам или работавших на фабриках. Им уступало даже купечество, наиболее в том виновное (по отношению к ссыльным за уголовные преступления), и замечатель-

но далеко остались позади крестьяне других наименований и духовенство (сословия, наименее виновные в этого рода подделках). Таким образом, губернии Пермская, Нижегородская, Оренбургская, Казанская, Владимирская и Московская обнаружили в числе первых, с одной стороны, по количеству умелых рук, с другой — по обилию слепых глаз в русских захолустьях смежных губерний и в среде инородческого населения, обильно населяющего все четыре первые губернии. Московской и Владимирской пришлось выдвинуться дальше других внутренних губерний по тому счастливому географическому положению, которое поставило их посреди двух самых живых торговых центров и на пути к ним, каковы Москва (круглый год) и Нижний Новгород (на время двухмесячной ярмарки). Тут и там, в обоих пунктах, руководящих всем торговым движением целой России, при слабости нашего торгового кредита (вызывающей сильнейшую потребность в денежных заказах), преступный промысел издавна устроили на более прочных основаниях. Оправдываясь помощью и содействием при тех затруднениях, которые встречает товарный обмен на Нижегородской ярмарке и на которые часто слышатся там жалобы, промысел фальшивых денег имел наибольший успех в практических приспособлениях в то время, когда одна крупная операция, вызывая одновременно вторую, продолжала действовать в целом ряду других, самых крупных и сильных оборотов. Когда начинали чай и железо и тотчас шевелили мануфактурные товары, поочередно вызывавшие движение товарами москательными, фальшивые деньги с успехом втирались в груды разменных знаков, которые быстро переходили из одних хлопотливых рук в другие, спешившие не терять момента, не задерживать хода и успеха операций. Под видом «красноярок» и «гуслицких блинов» фальшивые бумажки появлялись на свет Божий, по окончании ярмарки, в самых отдаленных пунктах России и, в шубах

и без шуб, т. е. в бумажных рамках, свободно расходились в более темных и глухих захолустьях. Те же оптовые приемы торговли и отчасти тот же недостаток разменных знаков в отдаленных пунктах России, при общей слепоте меновщиков собственных сырых продуктов, омолодивших руки и загрубивших нравы до противоборства грамотности, указали для фабрикации фальшивых денег такие же видные места под Казанью, ведущею сильный оптовый торг с Сибирью и Россиею, и в Пермской губернии, ради Ирбита, ярмарка которого уступала одной только Нижегородской. Помимо фальшивых бумажек, здесь в сильнейшей степени укреплялась подделка монеты, в расчете на близость и соседство самых темных людей из инородческих племен, которые в одно время любят задерживать обращение монеты: и через приспособление ее к украшениям своих нарядов и через сохранение ее в земле зарытою в кубышках и горшках, как древнейший, доисторический способ сбережения капиталов.

Насколько силен вызов фальшивой монеты, обеспеченный и руководимый обычаями и невежеством инородцев, служили доказательством наши тюрьмы — учреждения наиболее неблагоприятные (по-видимому) существованию в стенах их фабрик подобного опасного товара. В ближайших к Сибири и в сибирских тюрьмах не было почти ни одной, тщательные разыскания в которой не навели бы на следы этого преступного промысла. Промысел фальшивою монетою в некоторых тюрьмах (например, Тобольской) и в некоторых заводах каторжных (например, Успенский завод Тобольской губернии) издавна считался привилегированным³. По временам ослабевал он, по временам возрастал, в силу большей или меньшей бдительности и преследований, но, вообще, подчинялся тем же законам, по которым, например, в России Воронежская губерния, в ряду русских, заняла первое место без всяких разумным образом объяснимых оснований. Оставаясь под прикрытием

тайны в обычное время, промысел выбивался наружу при усиленном надзоре, начинавшем устремляться в одну и ту же точку, но продолжал оставлять в постоянной виновности все русские губернии (с меньшею виновностью для белорусских и северных и с большею — на правах передатчиц и проводниц подделок — для приволжских и новороссийских; а из малороссийских для тех, где существуют огромные ярмарки: для Курской, Полтавской и Харьковской).

Насколько распространен этот промысел и широко его применение в России, доказывают те же тюрьмы, в каковых, по делу о разбойнике Зыкове, оказалась виновною даже такая немногочисленная, как лаишевская (Казанской губернии), а равно и глас народный, сознательно указывающий на многие села и деревни, занятые приготовлением монет и бумажек, на многие города и в них на купеческие дома, застроившие каменными домами улицы и украсившие их богатыми церквями, с целью прикрыть и замолить грех, пособивший первоначальному обогащению. В особенности часты, сильны и убедительны подобные указания в тех местностях, где наиболее скопились в согласное целое упомянутые нами причины, каковы, между прочим, губернии Казанская, Пермская и Тобольская⁴. Сибирь является страной, наиболее страдающею от разного рода подделок. В ней долгое время, во всей неприкосновенной целости, сохранялся первобытный способ обмена товара на товар: пушного зверя на порох, свинец, муку и соль, а в разменную единицу, на одинаковых правах с серебром, золотом, медью и бумажными деньгами, допущены даба (особая бумажная материя кинешемского дела), кирпичный чай (разбиваемый на куски до ценности 5 и 3 копеек) и клубные марки (в губернских городах до Перми включительно). В то же время фальшивая монета и ассигнации разгуливали тем свободнее, чем больше высылалось из России мастеров, чем сильнее приучали тамошних аборигенов к вере в кредитные

билеты и металлические знаки и чем чаще являлись затруднения в мелких разменных единицах. Последнее обстоятельство особенно замечательно; участие ссыльных в денежных подделках несомненно и места временных и постоянных заключений безразлично служили местами фабрикаций. Разница заключалась в том, что на востоке Сибири промышленность эта слабее, а на западе она является во всеоружии давнего опыта и искусства. За Байкалом (около 1848 года) венгерцы и другие иностранцы, занимавшиеся мелочною разнсною торговлею и ездившие большими партиями с заграничными товарами без таможенных клейм, но с поддельными пломбами и штемпелями, уличены были в том, что приобретали преимущественно серебро и серебряную монету и пускали в обращение фальшивые ассигнации. Там же считали различные сорта поддельных ассигнаций домашнего дела: насчитали 25 видов и с отчаяния прекратили счет, оставив заведенную книгу для любопытных в архиве. Подделывали татары, подделывали и евреи, но особенным искусством перед всеми отличались — по наблюдениям начальств — те из русских, которые были присланы сюда из Пермской губернии за то же самое искусство. Некто Соколов делал из контрабандного золота, украденного на казенных промыслах, такие червонцы, которые, при осмотре в Петербурге на Монетном дворе, оказались преступными лишь в том, что сделаны были из чистого золота (серебристого золота) без лигатуры; «цветом пожелтее, в окружности больше настоящих, буквы поовальнее и не так явственны, зубчики крайнего ободка потолще, и вместо звездочек точки». Под Иркутском нашли фальшивых монетчиков на одном из островов Ангары (наз. островом Любви), а затем наталкивались во всех тюрьмах непрерывно. В Западной Сибири промысел этот рассчитывал на омскую линию, через которую продукты выдела свободно уходили с караванами в Бухару, Хиву и Ташкент: и золотые, пробой выше казен-

ных, и оловянные целковые, пригодные на киргизскую руку. Ходит предание, что с того времени, как прошел слух о предписании омскому казначейству разминивать фальшивую монету на ходячую, приготовление оловянных целковых в тобольском остроге и бумажных денег в Успенском заводе производилось в огромных размерах. Под Тюменью называют целые деревни, указывают на заимки, на многие купеческие дома, разбогатевшие от этого промысла. Некоторые мастера, как ссыльно-каторжный Игнатий Попов (он же Голодаев) в Троицком заводе, беглокаторжный Коренев в тобольском остроге и Игнатий Цезик везде, куда ни приводила его судьба, приобрели повсемесную известность, перешедшую в потомство. Для них солдаты-сторожа и бабы-торговки являлись на помощь, как передатчики; кабаки были местами хранилищ и казначейскими, а базары — разменными кассами. Тобольский острог напрактиковался в этом занятии до того, что лет 60 назад пользовался далекой известностью, потом начал ослабевать, но в пятидесятых годах обнаруживал ежегодно, средним числом, не менее трех следов монетной и ассигнационной фабрикации. Тобольская губерния одна давала ровно $\frac{1}{3}$ часть всего количества преступников, осужденных за подделку ассигнаций, и почти $\frac{1}{16}$ часть из всего числа людей, ушедших в Сибирь за подделку и перевод монеты. Кроме надежды поправить свое отчаянное состояние при помощи спекуляции на темных людей, кроме рокового влечения забаловавшихся рук в России, не сдерживаемых, но поощряемых каторгою и поселением, стремление к подделкам ассигнаций прикрывалось и политическою целью, но тут оно не имело особенного успеха. Фальшивых бумажек, говорят, ссыльные поляки выпустили в народное обращение очень небольшое число. Ссыльные за подделку ассигнаций и монеты и в ссылке оказались неисправимыми: восемь человек, учеников тверского купца Лабзина, и в нерчинских заводах объявились такими же ловкими и

искусными монетчиками, когда привелось отвечать отсюда на запрос из России по новой подсудности Лабзина. Не отставал от них и Франц Карговский, торговавший на каторге вином, спиртом и водкою, «под названием виттенберской», и скупавший у крестьян свиней, тетеревов и рябчиков, несмотря на то, что никуда и ни под каким видом из Нерчинского завода его не отпускали и не позволяли ездить по аргунским деревням с лекарственным ящиком. Игнатий Цезик, в особенности, оставался цельным и неисправимым, подчинившись влечению несокрушимого жизненного духа.

Цезик выучился в Вильне рисованию и лепным работам и долго прожил там, показав большую страсть и способность. Из Вильны он перебрался на родину, в окрестности Слуцка, и в родной деревне, вместе с братом (отставным военным), занялся хозяйством. Мастерство совершенно бросил. Ничто им до поры до времени не благоприятствовало, но подвернулся случай: Игнатий поступил в число членов какого-то масонского общества и, в увлечении его задачами, остановился на мысли приспособить свои знания и полузабытое искусство к приготовлению фальшивых денег. Кроме личных интересов поправить свое расстроенное состояние, он руководился и тою задачею, чтобы ослабить кредит правительства, и открыл фабрику фальшивых бумажек. Брат его, Феликс, фабрикованную бумагу проводил в обращение и вместе с Игнатием рассчитывал оказать услугу вольности и свободе народа. Искусство Игнатия до некоторого времени обеспечивало успех, но — повадился кувшин по воду ходить — преступление было открыто, и оба брата посажены в тюрьму.

В тюрьме, во время процесса, ни Игнатий, ни Феликс не теряли времени даром. По обычаю многих заключенных, и они принялись лепить фигурки из теста и хлеба, но с тою разницею, что на изделиях Цезика лежала уже печать даровитости, и работы его тотчас же обратили на себя внимание надзирателей и при-

ставников. Ему облегчили оковы, доставляли глину, и по Бобруйску стали расходиться изящные глиняные сосуды, отличавшиеся от общих арестантских петушков и корбочек, крестов и голубков из лучины красотою и изяществом отделки. Цезик и сам удивлен был не меньше других.

Бобруйское заточение кончилось для Цезиков тем, что имение их было конфисковано, сами они лишены дворянства и приговорены в Сибирь на каторгу. В Тобольске братьев разлучили: менее искусный Феликс ушел по назначению, талант Игнатия обратил внимание начальства, и он оставлен был в самом Тобольске в тюрьме. Здесь слава его выросла уже настолько, что лепные работы его оплачивались хорошими деньгами и отправлялись в Москву и Петербург для подарков и на удивление. «Поделки, выходившие из его рук (говорит один из знавших его уже восьмидесятилетним стариком, не встававшим с постели), красотою фигур равнялись греческим антикам; орнаменты кружек, кубков и ваз полны были прелести и готической фантазии; картины же из глины были артистическими созданиями ваятеля. Если бы Цезик не бросал после Вильны полезного ремесла, если бы совершенствовался и учился дальше и больше, в нем получили бы необыкновенного скульптора». Судьба распорядилась иначе. Нуждами неволи натолкнутый на труд, он потом прибегал к нему ради хлеба. Личные лишения вынуждали у него ремесленную торопливость, работу наспех и на сроки, а потому не все изделия имеют художественную ценность. В старости работы его были даже неудачны. Сделав модель, он оттискивал в ней кусок обыкновенной глины и, пока она сохла, выглаживал, выравнивал, обряжал и украшал свои изделия. Неблагодарный материал не позволял ему придавать работам своим надлежащую оконченность: ломкая, хрупкая глина и трескалась, и корбилась, и, во всяком случае, отнимала красоту первоначального рисунка, который потом уже нельзя было

исправить. В Сибири мудрено было Цезику искуситься на более твердом и лучшем материале: мраморные изделия, по высокой цене своей, не имели бы там сбыта, да притом он должен был думать о самоскорейшем сбыте товара. «По материалу, которым пользовался он, мы назовем его гончаром, но гончаром-артистом настолько же, насколько Бенвенуто Челлини был золотых дел артистом».

В Тобольске Цезику жилось хорошо. Начальство покровительствовало, заказы непрерывно следовали один за другим с перебоем. У него был уже домик и сад, наполненный цветами; в доме жена-сибирячка, полюбившая его всем сердцем и помогавшая ему в работах, и двое сыновей на усладу грядущей старости. Завелись приятели, имелись и доброжелатели, из которых один (Петр Мощинский) назначил ему даже пенсию, ежегодную и пожизненную, в 300 рублей. Казалось, благоприятно соединились все данные для того, чтобы на том ему и покончить жизнь в изгнании, но ловкая рука изменила и с глины перешла на бумагу, стали выходить рисунки немудреных старых ассигнаций. Одну полицейский не затруднился принять и спрятать, как взятку; поощренный успехом, Цезик приладил целую фабрику, был уличен, опять посажен в тюрьму, снова осужден и наказан ссылкой в нерчинские заводы, в Акатуйский рудник. Брата там он не нашел (умер в Олочах на Аргуни), старого ремесла не покинул, но и здесь делал фальшивые бумажки, за что сажали его на цепь и приковывали к тачке. Он вылепил свою фигуру в этом виде — и на том успокоился. Уволенный от работ через несколько лет, он поселился под Верхнеудинском, а в 1857 году переехал в Иркутск (сослан был в 1828 году).

Здесь зазнали Цезика стариком, с морщинистым и бледным лицом, которое некогда било красиво, теперь стало серьезным и украшалось седыми волосами и бородою. Печальная и тревожная жизнь отразилась на нем во всей своей целости. Работал он тут только для

поддержания себя и семейства. Жена и сын ему помогали, вылепляя по старым моделям, но эти работы не имели уже души и не красовались прелестями артистической отделки; хотя и носят они имя Цезика, но не могут почитаться за дела рук его. За Байкалом он породил подражателей, но эти ремесленники, хотя и с успехом спекулировали на его имени, только неизмеримо далеко остались позади. Даже неопытный глаз в состоянии отличить его поделки от подделок. Из них замечательны следующие.

Акатуйский рудник (плоская резьба): в долине знаменитая тюрьма, в отдалении — горное селение, пристроившееся к руднику, на горизонте опускающееся за гору солнце, на небе несколько облачков. На переднем плане видна штольня и около нее несколько ссыльных с тачками, везущих серебряную руду; впереди, на самом первом плане, он, Цезик, прикованный по рукам и по ногам к тачке, наполненной рудой. Одежда на нем изорванная и заплатанная. Видны голое плечо, протертое колено, сквозят помочи, поддерживающие кандалы. Узник отдыхает, подхватившись локтем и опершись на правое колено; у левого боку легла рука с молотком; на лице грустная, тяжелая задумчивость и спокойствие отдыха (статуэтка имеется на столе у пишущего эти строки).

Лучше закончены некоторые образа (как, напр., св. Варвары), Аристотель с книгою, стоящий под деревом (статуэтка), и Христос, благословляющий детей (плоская резьба). А вот и он сам в заточении: голова, богатая по мысли, оперлась на руку и обращена к распятию, стоящему на столике. Под столиком играют мыши, и, увлеченные тишиною, приблизились к ногам спящего. И опять он (плоская резьба), с выжидающим взглядом, смотрит сквозь решетку окна, к которому приближается женщина с двумя детьми на руках — несчастная жена счастливого на этот момент мужа. И снова он (плоская резьба) незримым в опустелом жилище его

семейства: изба, на потолке которой прикреплен одним концом шест с корзинкою на другом конце, заменяющей зыбку; на постели подле сидит его жена и кормит грудью ребенка; у стены кудель с прялкою, горшки и другая мелочь, отделанная с фламандским терпением и чистотою.

Сохранилась плоская резьба, изображающая мыльные пузыри, которые пускает мифологический гений, а сонм известных в истории великих людей их ловит. Степенный и над всем господствующий Час злобно усмехается под наитием думы о том, что вот и слава такова же, как эти мыльные пузыри. Вторая: птица пеликан, как символ материнской любви, кормящий детей кровью, добытою из собственного сердца. Третья (плоскою же резьбою), в силу впечатлений тюремной неволи и под влиянием классического воспитания, полученного им в Вильне: римлянка, дочь сенатора, обреченного на голодную смерть в темнице, кормит отца собственной грудью. Четвертая: карикатура пьяницы верхом на скотине. Делал он и портреты из глины: Мощинского, благодетеля, ссыльного в Тобольске, и Муравьева-Амурского, и статуи того же Мощинского, Будды и других божков (для продажи бурятам). Самое большое количество работ выпущено им на продажу в виде безделушек для украшения будуарных этажерок (трубки курительные с мельчайшими ландшафтами или в виде мертвых головок, распутившихся цветков, фигуры греческой мифологии, сахарницы из коричневой глины, усаженные мелкими мушками, вазы, облепленные разнообразными листьями), на иной ползет рак, по другой разлетелись птички, расцвел цветок и на нем уселась отягощенная медом пчела. Из этого сорта особенно замечательны две: сигарочница (ссылный, прикованный к тачке, отдыхает под дуплистым деревом; тачка для спичек, дупло для сигар) и охотничья кружка. Последняя сделана из черной глины и украшена принадлежностями охоты, где полублеск, где полумрак, где на-

веден целый мат: заяц, кабан, болотная птица и собака сделаны как бы тончайшим резцом. Многие сибиряки уверяют, что некоторые работы, как, например, мелкие ландшафты на курительных трубках, делывал он в одиночном тюремном заключении, куда не дают ничего острого, делывал чем ни попадя: рыбьею косточкою, осколочком тарелки, стакана, оконного стекла, но всегда с одинаковою ловкостью и неизменным искусством.

Вот на какого человека пала зараза обогащения посредством фальшивых денег в России и Сибири! Если в России удастся отливать монеты таким мастерам, как московские пастухи, то понятно, что в Сибири, в месте сбора опытных мастеров и художников, дело подделки денежных знаков идет с бóльшим успехом и совершенством, чем в России. Соперничает с этим ремеслом тут и там одна только преступность подделки фальшивых документов.

2. ФАБРИКАНТЫ ФАЛЬШИВЫХ ДОКУМЕНТОВ

В Сибири эти поползновения исходят из необходимости обставить бродяжничество более законными атрибутами, и преступление практикуется ссыльными в равной степени с теми, которые сочувствуют их бездолю и горю или подкуплены ими. Виновны больше всех ссыльные (грамотные и письменные люди), но помогают им и вольные люди: государственные крестьяне и исключенные из службы чиновники. Нельзя удивляться тому, что и на этот раз нет той тюрьмы в Сибири, которая, при обысках, не сказала бы виновницею и не указала бы на ясные и неопровержимые следы этого рода преступлений. Можно удивляться разве изобретательности заключенных арестантов, которая обнаруживается на следах находок. Не только в тюменской тюрьме, но и в далеких тюрьмах нерчинских, на стертых пятаках и десяти копеечниках попадаются самые разнообразные

указания на волостные правления, городские думы, полицейские управления, иногда до того отдаленные, что на курьерских тройках раньше двух месяцев до них не доедешь. Останавливаешься перед запутанностью комбинаций, недоумеваешь перед намерениями и планами заказчиков или самих мастеров и авторов, как бы перед задачами многосложного и многотомного романа, но с тою разницею, что на этот раз роман — не вымысел, а сама действительность. В тобольском остроге оставил по себе живую память один из таких мастеров — некто Петр Ветвеницкий (чиновник). При обыске камеры в январе 1851 г. нашли в щелях и углах и отобрали у него орудия мастерства и самые продукты изделий. В марте опять подобная же находка в кошельке, вместе с деньгами; в апреле перевели его в новый номер, но и в этом те же находки в туезе; в ноябре уже в войлочных пимах, обшитых холстом, в голенище между холстом и войлоком. По мере того как изловчался мастер на изобретение более скрытных и потайных хоронушек, самое ремесло оставалось в той же специальности. Орудия пребывали неизменными, менялись лишь заказы и разнообразились задачи: циркуль, деревянный с железными проволочными шпильками, долотца из иголок, маленькие ножики из старого железа, роговая кость, куски железной проволоки и пемзы, шильца из иголок в деревянных черешках, истертые с одной или двух сторон пятаки и гроши. В первый раз найдены готовые печати на медном пятаке: с одной стороны, тобольского губернского правления, с другой — петрозаводского земского суда; во второй: бумажная печать, срезанная с конверта, и истинная, и опять пятак с поддельными: на одной — алатырского духовного правления, с другой — симбирской духовной консистории; при третьем обыске: печать Ишимского округа Гагарьевского волостного правления, и при четвертом — готовая печать на пятаке: с одной стороны — саратовской городской думы, а с другой — городской же думы, но уже симбирской. В предыдущем году и в том же остроге таковых

печатей наловлено восемь с не менее замысловатыми указаниями (между прочими на одном медном кружке и на красноярскую, и на чернуюрскую градские думы). Подозревались и прикованные к стене, и ходившие по воле. Изделия находили и в подушках, и закладенными под полом, и в стене, где-нибудь за печью. Везде было место и по всем тюрьмам широкое приспособление этого рода подделкам, предшествующим побегам и вызываемым бродяжничеством.

В России наибольшее число такого рода фабрикантов объявилось в тех губерниях, где сильнее развито бродяжничество (в Новороссийском крае) и где этот промысел столько же древен, как сама паспортная система (губерния Саратовская с землею Войска Донского и соседними приволжскими, Симбирскою и Астраханскою). В подделывателях первое место в ряду сословий принадлежит дворянству (по процентному отношению); затем второе солдатам, а дальше: дворовым, мещанам, духовным; между ссыльными: бродягам (в 9 лет 345 мужчин, 134 женщины), поселенцам (31 чел.) и каторжным (11 чел.). Между ссыльными, виновными против интересов казны, уличенные в подделке фальшивых документов составляют в общем числе целую половину.

Народная молва и следственные показания пойманных с фальшивыми видами умеют указывать, и в Сибири и в России, не только на отдельные лица и семейства, но на целые города и селения, где приготовление поддельных актов (и преимущественно паспортов) составляет специальный, привилегированный промысел. Для некоторых городов (вроде Казани, Нахичевани и Ростова-на-Дону, Кунгура и Тюмени в Сибири) и для многих селений (вроде семейских за Байкалом и села Алексеевского в Лаишевском уезде, Казанской губернии) воровской промысел, сосредоточенный на ущербах казны, покрыт синами древности. Подделки другого вида документов и актов, входя в исключительное занятие служилого дворянства, сосредоточиваются,

естественным образом, в городах и усиливаются количеством сообразно с числом тех лиц, которые имеют власть и силу и владеют искусством и знанием. Сибирские табели, делая крупные намеки и резкие указания на Москву и Петербург, для сравнительной преступности городов не давали никаких данных. Вообще, по делам этого сословия табели оказались в крайней не состоятельности. Так, напр., табели сводили вместе цифры сосланных за «мздоимство и лихоимство», обещающие обилие жертв этого первородного греха и под двумя наименованиями скрывающего один и тот же вид крайне застарелой и сильно распространенной болезни — и эти табели оставались почти не заполненными. Считаю излишним входить в разбирательство причин, ослабляющих до поразительно ничтожных размеров цифру больных этой хронической болезнью. Возвращаемся снова к тем, которые говорят о себе с большею откровенностью, но лишены возможности быть судьями самих себя и находить защиту в адвокатах из своего же рода и той же кости (не белой, а черной). Вот снова два вида крестьянских преступлений, из которых одно отжило свой век и почти исчезло. Это корчемство вином и корчемство солью.

3. КОРЧЕМНИКИ И КОНТРАБАНДИСТЫ

Искусственно созданный властелин, заручавшийся быстро нараставшими денежными богатствами, убитый наповал нынешнею системою питейного сбора, питейный откуп, некогда державший в своих руках почти всю Россию, в Сибири сумел выразить свое могущество теми жертвами, которых он усладал за преступление, называемое корчемством вина. Преступление, искусственно вызванное и прожившее свой долгий век, опираясь на всемогущую силу денег и подкупа, имело для народа то значение, что уловляло падкое на соблазн че-

ловечество именно там, где прилажены были ловецкие сети и обильно рассыпаны соблазнительные приманки. Местами этими полагались те пункты, на которых встречалась задурманенная и некрепкая водка с настоящим и добротным продуктом вольного промысла, с так называемую «вольною». Места эти были, по преимуществу, местами ловли для корыстного промысла, не желавшего ходить прямыми путями и искавшего себе оправдания в карательной силе временных постановлений. Задавалась откуп охота и ловля с наименьшим успехом в среде народа, слышавшего о вольной продаже и добротной водке только по рассказам проезжих купцов с украинских ярмарок и прохожих солдат, возвращавшихся от хохлов или из польской стороны на родину. В местах, ближайших и смежных с Украиною и Белоруссиею, сила соблазна разрешилась тяжестью ссылки для тех, которым судьба довела поселиться вблизи самых границ, на пунктах встречи обоих враждебных лагерей. Как очистительные жертвы за «вольную» и напрасные за откуп, ушли в Сибирь преимущественно крестьяне и в наибольшем числе из губерний, прилегающих к тем, где узаконена была вольная продажа вина. В 20 лет 366 чел. из Смоленской (с границ Могилевской и Черниговской), 364 из Курской, 181 из Псковской, 153 из Орловской, 58 из Харьковской, 44 из С.-Петербургской и 23 из Воронежской явно и сильно высказались протестом против тяжелого и неодолимого запрета. 1227 муж. и 20 жен. ушли в Сибирь избранными из неосторожных и неумелых, оставив позади себя массы ловко спрятавшихся или откупившихся высокою ценою домашних сделок. Обрадованный и польщенный силою предоставленной власти, откуп, на первых же порах, поспешил воспользоваться ею со всею неводержанностью баловня, с расчетом на острастку и с безрасчетными порывами на собственное бесславие в потомстве. С 1832 года в нем обнаружились неводержанные поползновения на кару нерадевших его интересам

и, в первые годы, по его ходатайству и указаниям выслано было в Сибирь 805 человек (мужчин и женщин). Когда время охолодило первый пыл и жар опьяненного наездника, число подмятых им под ноги и раздавленных уменьшилось (с 1840 года) почти наполовину (в семь следующих лет сослано было 442 человека).

Таковы орнаменты (в числе других весьма многих), которые Сибирь посылает от своего избытка на украшение памятника умершего врага народной жизни, одного из сильных противников благосостояния рабочих классов, для которых гроза ссылки за корчемство прошла теперь мимо. В наши дни она висит только над теми из представителей русских сословий, которые развели пары и пустили воду под винокуренные заводы, но, говорят, эта туча тихо разрядилась и до сих пор не дала громовых оглушающих раскатов. В Сибири, в старые времена, корчемство вином (самогоном) представлялось явлением повсюду распространенным. Причина его везде была следствием изобилия хлеба (25 коп. асс. за пуд), как по Иртышу в Западной Сибири, так и в Минусинском округе Восточной Сибири. Тут и там выкуренное дома вино становилось в 15 раз дешевле кабацкого. Против самосадовщиков устраивалось вечное осадное положение и, временами, при поимках затевались кровопролитные баталии. Нередко сыщики откупщика злонамеренно подбрасывали крестьянам туезы (бураки) и кубы и при помощи заседателей срывали взятки с невинных или затягивали дело. В Минусе ревизовавший свою губернию ген.-губер. Броневский наткнулся, между прочим, на такое дело, которое было озаглавлено так: «Дело о найденном у крестьянина туезе с запахом якобы корчемного вина».

Второй вид корчемства, которого казна не сдавала на откуп в частные руки алчных промышленников и не организовала в откупную комиссионерскую систему, было корчемство солью. Оно выразилось в Сибири замечательно слабым проявлением своего существова-

ния. Неправильная, воровская торговля тем продуктом, на который крестьянин всегда обязан был приготовить наличные деньги и который составляет для него самое большое сокрушение и предмет первойшей необходимости, к счастью, не преследовалась с азартом, озлоблением и постоянством. Сибирская цифра, ничего не доказывая, в то же время вовсе не свидетельствовала о том, что тайный промысел был слаб, что казенная соль, которая для одних мать (напр., для казаков уральских), для других мачеха (каковы все остальные ее потребители) — не представляет продукта, способного окрылить смельчака и заставить его взять, сколько можно, на потребу, как продукт торговли и промысла. В числе других русских местностей та же Сибирь представляла примеры удачной практики, с тем различием, что корчемная (коряковская или, по-туземному, ямышевская) соль в Западной Сибири отличается от таковой же казенной торопливою отделкою: она грязна на вид, горьковата на вкус, неустойна в рассоле. Но и при этих недостатках соль устаивается в употреблении по вызову бесчисленных потребностей в грибной, рыбной и богатой мясом Сибири и подтверждает положение Дибиха, что расход соли показывает степень благосостояния народа и развития его сельского хозяйства. Понижение цен на казенную соль обессилило корчемство, которое и исчезло теперь в силу нового закона о соляной торговле. Тем же опасностям и там же подвергалось и казенное вино, но с тою разницею, что оно похищалось ссыльными исключительно на собственную потребу и усладу, а соль — преимущественно для продажи на гроши, как продукт, посредствующий для вымена того же вина на ту же усладу и потребу. За эти кражи на местах ссылки расплачивались всего чаще домашними наказаниями; сильнее смотрели и больше били за другие кражи, из которых один род вменяют в крупную преступность. Между прочим, воровство золота, под строгим именем «похищения драгоценных металлов с промыслов», внесено в особую графу для табелей о ссыльных в России.

В России кража золота (не предъявленного в казну и пошлиною не оплаченного) выражалась наименьшею цифрой в общем ряду всех других преступлений, потому что соблазн предлагается только в одной богатой всякими металлами местности. Только одно сословие заводских крестьян отличалось исключительно виновностью. Только три губернии в этой краже участвовали (Пермская, Оренбургская и Вятская) по роковому влечению соблазном драгоценного металла, который лежит, быстро истощаясь, в почве земли рудоносного восточного склона хребта. Со времен Петра началась промывка золота, а стало быть, и его кража, но с 1835 г. Сибирь получила возможность (в одно время с контрабандистами иностранных товаров) производить учет виновным в краже золота. На первые годы цифра была велика. Затем похитители стали осторожнее. Цифра приметно упала и на практике выразилась тем, что где больше существовало соблазнов, там и большее количество искушенных грешников; на юге Урала искушения чаще, и из Миасских и Златоустовских округов, поэтому, высылка сильнее и вернее (и все тех же заводских крестьян, с добавкою самого незначительного числа солдат и башкир, как передатчиков). В Сибири это преступление вступает в более широкие права не столько потому, что Россия успела уже снабдить ее людьми умелыми и досужими (которые, может быть, стали там, умудренные опытом, осторожными), сколько по тем предрасполагающим причинам, что производство казенных и частных работ находится в руках каторжных и поселенцев. Большинство последних, как известно, принадлежит к сосланным за воровство и, на самом деле, сибирскую кражу золота можно назвать преступлением поселенческим. Людская молва на частных золотых промыслах указывает, как на пособников и передатчиков, на тех, которые ездят в хвосте рабочих с водкою и ситцами и останавливаются от места работ и резиденций в почтительном, установленном законами отдалении. Здесь способности евреев и живучести в

них страсти к драгоценным металлам отдают все и всегда предпочтение. В Сибири на евреев выпало сильное подозрение (особенно в Западной) в тайном сношении с горными заводами и в переводе за границу дорогих металлов. Хотя, по сибирскому учреждению 1822 года, и принято в основание не допускать поселения евреев на сибирской линии (южной границе), тем не менее 40 еврейских семейств водворены там «попущением местного начальства» (как сказано в сенатском указе 5 апр. 1826 г.). Такие злоупотребления вызвали положительные меры обращать всех евреев в Томскую губернию, далее от горных заводов Колывано-Воскресенского округа. Оставили только тех, которые, причислившись к крестьянам, занимаются ремеслами и хлебопашеством и, разумеется, после этого распоряжения не перестали контрабандировать. Не упускали своей выгоды евреи и на казенных золотых промыслах Нерчинского горного округа, хотя здесь приобретателями являлись безразлично все, от казенных подрядчиков и вольных торговцев до крестьян, солдат и казаков. Рабочие ссыльные воруют, вышедшие на пропитание и исправление прикрывают, свободные люди покупают, а казаки передают за китайскую границу с тою же ловкостью, с какою принимали оттуда контрабандный чай всякого сорта. Женщины и здесь охотнее ходили на такое дело, требующее крайней осторожности, таинственности и ловкости, при помощи каковых в итоге являлся тот факт, что самая преступность гораздо сильнее, чем доказывающие это цифры пойманных и уличенных; женщина, во всяком случае, продавщица, как тюремные надзиратели, то есть солдаты, первые приемщики⁵. Вместе с золотом, известным под именем «желтой пшенички», на нерчинских заводах шла кража серебра и контрабандная продажа его за китайскую границу, по той же процедуре таинственных приемов и почти с таким же успехом и выгодой в предприятиях. Около серебра воровство хитрее; при песчаном золоте россыпей воровской труд облегчен был до крайней степени

простоты и возможности. Шилкинский завод, с самого начала разработки золотых приисков на Каре, был таким местом, где покупка краденого золота производилась в значительных размерах. Сколько раз ни пытались ловить, ничего не выходило: попадалась мелкота с золотниками и долями, пуды и фунты сквозь расставленные сети прорывались наружу. Во время одной сенаторской ревизии выискались евреи ищейки, нахвастались, наговорили, наобещали с три короба, подложили золото к одному польскому изгнаннику, но строгое следствие показали лишь то, что, во-первых, и здесь евреи ходили на обман, а, во-вторых, отысканное золото вовсе не карийское, потому что было очень высокой пробы, по всему вероятно, попало сюда с частных промыслов и, вероятнее, из Западной Сибири или даже с Урала. В Западной Сибири те же контрабандисты-евреи сумели обнаружить прежние наклонности и не смиренное ссылкою досужество в такой степени, что Сенат в 1826 г. (указом 5 апр.) предписал переселить их в другие места Сибири. Евреи объявились в тайном сношении с горными заводами и в переводе за границу дорогих металлов. Способствовало к тому житье по линии 40 семейств, водворенных попущением местного начальства, несмотря на то, что сибирское уложение 1822 г. подобного поселения не дозволяет. Предполагалось оставлять впредь только тех, которые, причислившись к крестьянам и мещанам, занимаются ремеслами и хлебопашеством. Приказу велено обращать всех евреев в Томскую губернию, дальше от горных заводов Колывано-Воскресенского округа. Мера эта, ослабив временное зло, не служила препоною для прекращения основного зла, и переселенные стали передатчиками. Уральское золото езжало в чемоданчике с евреем, приезжавшим за ним по несколько раз в год в условное время, из г. Гродно даже в самое ближайшее к нам время.

Переходя от этого, преимущественно сибирского преступления к контрабанде, мы на этот раз снова имеем дело с таким преступлением, которое состав-

ляет принадлежность отдельных местностей и может быть названо в России исключительно пограничным. На всех наших границах контрабанда является господствующим, сильным и неизлечимым злом, не исключая северных холодных и южных степных и пустынных, на всем протяжении от Прута на Закавказье, по пограничной линии со среднеазиатскими владениями до Иркутска, забайкальских и амурских пределов, пользующихся правом *porto-franco*. Там, где граница встречается с наиболее промышленными и торговыми странами, каковы государства европейские, преступление это является во всем блеске, со всею несокрушимой настойчивостью и давнишнею последовательностью. Пешком, в виде ящика за плечами или на бойких, приспособленных к этому делу лошадках врывается к нам контрабандный, беспошлинный товар, соблазняя всех безразлично, от бессарабских цыган и польских евреев до малороссов Юго-Западного, литвинов и белоруссов Северо-Западного края и кончая чухнами за Петербургом и под самым Петербургом. Еще уголовная статистика не решила, кто ловчее: петербургский ли чухонец или сибирский казак, закавказский армянин или волынский малоросс, или же и в самом деле еврей (как подсказывают сибирские табели) взял надо всеми перевес, объявился с большею склонностью (по процентному отношению чисел) и с большим искусством (по повсеместному общественному мнению)⁶. Сибирские табели говорят, что мещане в этом промысле преступнее крестьян. Ссылных за контрабанду стали считать в Сибири с 1835 года и во втором десятке лет на считали их почти в 7 раз больше, чем в первом, и контрабандисты против общего числа сосланных за покушение на интересы казны составляют $\frac{1}{40}$ часть. По абсолютной цифре жертв изо всех пограничных и ближайших к границе выделились губернии: Волынская (52 муж., 8 жен.), Виленская (34 муж., 5 жен.), Гродненская (15 муж.), Курляндская (11 муж.), Подольская (9 муж.), в те 12 лет, которые следовали первыми после учета в Тобольске⁷.

Не забудем при этом, что на местах соблазнов для тайного ввоза иностранных товаров, при встрече дорогих таможенных с более дешевыми непломбированными товарами, для пресечения преступлений организована вооруженная стража. По вызову ее и для собственной защиты контрабанда, в свою очередь, вооружилась огнестрельными снарядами, с ружьями, заряженными обыкновенно картечью, и в целых отрядах. Отряды эти во время пути спереди и сзади прикрываются взводом вооруженных людей и сверх того обеспечиваются, где нужно, боковыми патрулями и даже разъездами. По переходе за границу шайка находит подставу приготовленных верховых крестьянских лошадей. На них контрабанда доходит до еврейских местечек и въезжает в них уже среди белого дня с песнями. Здесь товар немедленно разбирается по рукам и поступает либо в экипажи шляхты, либо в коробки евреев для развозки. Оттого-то всего чаще запрещенный товар попадает мелочами. Под именем контрабандистов уходят в Сибирь передатчики, а главные оптовые воротилы за пятою спиною подставных остаются на местах в полной безопасности. Границы по обе стороны усажены комиссионерами. Ближайшие города населены оптовыми торговцами; частные меры (а не общие) состоят только в поимке нескольких тюков и не приносят никакой пользы. Главные воротилы в Сибирь не сосланы, а германские города, и между прочими Лейпциг (во время ярмарки), выработали особый род промышленности, состоящий в заготовлении огромного количества деревянных ящиков для товара, идущего в Россию тайными путями. Таким образом, контрабанда, выходя на тайные дороги свои, иногда обливает свои следы кровью, идя напролом малочисленной стражи или отстреливаясь при неудаче и при отступлении за границу, не щадит собственных и чужих жертв, словом — является в форме разбоя. Тогда и контрабандисты, в виде убийц, пропадают в общих и темных сибирских цифрах. Контрабанда, или беспощадный провоз заграничных товаров, как настоящий

промысел, выработал свои специальные приемы, как промысел тайный, стоящий среди всяких опасностей, потребовал условной искусственной терминологии, непонятной профанам. Главные заводчики дела — приказчики заграничных контор (для Петербурга гамбургских), ежегодно развозящие образчики полотна, шелковых материй, муара, ситцев, холстинок. Заказы дают обыкновенно люди, искусившиеся в опыте передач, и получают товар, чаще всего, на девятимесячный кредит. Таких заказчиков у каждой конторы бывает по 30—50, в числе которых несостоятельные оправдываются аккуратными плательщиками. Запроданные товары имеют свои депо, между которыми предпочитают морские острова (вроде балтийских Наргена и Гохланда) и ближайшие к границам города и местечки, между которыми наибольшею опытностью отличались Грудск (в Подол. губ., на австрийской границе) и Копычев (около Тильзита). Впрочем, вся прусская и австрийская граница усыпана строениями и жилыми избами разных наименований и населенными именно такими жителями, которые, под видом хозяйственных нужд, имеют право свободного подхода к границе и перехода ее в любом пункте, хотя до ста раз в день. Соседи их, живущие на русской территории целыми деревнями, не кто иные, как перевозчики, ямщики. Между ними крестьяне графа Зубова, Огинского и др. особенно пользовались известностью сколько по ловкости, смелости, наглости, столько же и потому, что действовали артелями, принимали товар на свой страх, обеспечивая его за границею значительными залогами звонкой монеты. Продолжительная игра с большими ставками и большим риском переродила этих крестьян в решительных, азартных игроков, со всеми свойствами и последствиями. Если товар благополучно доставлен, залог возвращен, барыши разделены соответственно величине залога — счастье тащится в корчмы и там расточительно пропивает заработок. Если товар захватывается, то и залого пропадают, а крестьянин

разорен дотла, залогии им взяты у еврея или шляхты за высокие проценты. Деморализация нравов в таких местах такова, что эти селения невинные соседи считали притонами и гнездами разбойничьими. Успехи контрабанды основывались, между прочим, и на том, что: во-1-х, так называемый аршинный товар отличался лучшею добротой, потому что не было нужды делить его, легче для таможен, которые берут пошлины с весу; во-2-х, подобный товар находился в третьих руках в небольших количествах, поимка только затрудняла, не вела к цели, влекла неприятности осмотра и свидетельства лавок; в-3-х, являлось облегчение на товарах, не подлежащих клейму.

Товар, не подлежащий клейму и известный у контрабандистов под именем короткого, немедленно имел право занять место в магазинах — он глаз не колет, а потому немедленно выставляли напоказ напитки, часы, фарфор, хрусталь. Доказать его незаконность не было особой возможности, закон (ст. 1347 св. зак. т. VI) ему даже покровительствовал. А потому, напр., карандаши с пошлиною 20 коп. за дюжину продавались (лучшие кипарисные) не дороже 15 коп.; в городах и местечках западных губерний за 12 приборов бронзовых пуговиц платили пошлины 18 руб., продавали контрабандные от 4— 15 руб.; лучшая фарфоровая трубка с живописью и в оправе требовала 1 р. 15 к. пошлины, продавалась за 30 коп. и проч. Наибольший соблазн возбуждают, разумеется, прежде всего товары первой необходимости и, по мере того как вырастает потребность, с тою же силою укрепляется контрабанда, напр., кофей, собирающегося большими складами летним временем и вывозимого обыкновенно зимою. Сахар на западных границах стоит под защитою свекловичного и врывался в оберточной бумаге с этикетками свеклосахарных заводчиков, заготовленными в городах близ границ. Богатство выработанных средств и способов ввоза позволило во многих местах составиться целым товариществам, которые брали доставку товаров в Россию на свой страх (таковые

существовали во Львове, Гамбурге, Любеке и особенно в Лейпциге), брали 10% задатка и, только по доставке товара, получали остальные 90% и 30% за доставку. Прием всегда у них одинаков, производился гласно; в русские пределы товар отправлялся раздробленным; бронзовые вещи, посуда и прочее разбирались по частям и в одну бочку укладывались крышки и поддоны, в другую постаменты, в одну перчатки с одной руки, в другую — все с другой руки. На аукционе мог купить и покупал только тот, кому довезли недостающие вещи. Впрочем, гуртовая отправка — редкость и требует различных хитростей, из которых уже большая часть изучена и предусмотрена. Всего чаще товар перевозился беспрестанно по малым частям. Поимка в этих случаях венчалась ничтожным успехом, не поддерживала энергии наблюдателей, мимо которых проезжал пароходный шкипер, умевший очень искусно прятать запрещенный товар, путешественник, наловчившийся прятать около себя и нескучающий несколько раз путешествовать с судна на берег и обратно. Проскальзывали консулы, пользующиеся своим официальным званием, курьер, разные члены посольства и посылки на их имя, наши собственные чиновники и проч. Товар, подлежащий клейму и опасный тем, что мог быть признан без штемпеля и внутри империи контрабандным во вторых и третьих руках, поступал под особое покровительство шляхты, панов, портных, модисток и тех же чиновников. Но и в этом случае, будучи контрабандою, он мог быть продан как купленный после конфискации. Евреи иной товар не любят и у себя не держат, предоставляя путь другим сословиям замешаться в тот грех, за который обвиняют их исключительно. Замешивались в контрабандисты еще и солдаты пограничных войск. Способ этот назывался машинным и состоит в том, что солдаты таскали товар по частям и передавали при обходах, объездах и при сменах. Пойманные врасплох извозчики бросали товар и лошадей, облегчая таможенным счет конфискации. Товаров, уловляемых такими

и иными способами в 1843 году, по официальным данным, считалось по всем таможенным государства почти на 300 тысяч. Если принять расчет контрабандистов, кои считают в сложности не более двух ста на перехваченный товар, выходит, что контрабанды должно быть ввезено на 10 мил. руб. сер., а вся привозная торговля составляет 75 мил. (см. «Чтение общ. ист. и древн. рос», 1861 г.). Частные меры, таким образом, бессильны, общие преобразовательные обещали успех; кабинетные правила деморализовали нравственность пограничного купечества и выучили всякого рода уловкам и обманам. В особенности, в этом отношении, поучительна была кяхтинская торговля в то время, когда потребление чая (цветочного) неимоверно возрастало, а кирпичный сделался продуктом основного потребления и первой необходимости у сибирского простого народа.

При расценке наших товаров на Кяхте, наши купцы вовсе не старались выказывать лучшее или настоящее достоинство товара, а, напротив, прибегали к таким сноровкам, чтобы товар казался, по возможности, худшего сорта, так, напр., заглаживали сукно против ворса, чтобы оценка была ниже. Высшей оценки на Кяхте боялись потому, что тогда товар мог залежаться, особенно, если у купца не было для придачи опиума или, преимущественно, золота и серебра. Один из богатых московских фабрикантов, торговавший на большую сумму с Китаем, наработал раз плису почти всю пропорцию для Кяхты, сделав ее против устава и общепринятой меры полувершком шире. Последнего никто не заметил. Назначили цены. Китайцы тотчас увидели разницу, и весь товар разошелся, а у прочих его не тронули. Обиженные подали жалобы, но дело было сделано. Некоторое время господствовал в кяхтинской торговле известный и любимый в Китае корень жень-шень. С первого раза казалась странною цель этого обмена, потому что как аптекарский материал корень этот вовсе не требовался в Россию, а между тем вывоз его доходил в иной год до миллиона руб. Но недолго скрывалось настоящее зна-

чение корня: купцы, вредя друг другу, чтобы более выменять чаю и поскорее сбыть товары, отдавали их по дешевым ценам. Но т. к. этим нарушалось строгое положение, то на бумаге показывали товары променными по настоящим ценам на драгоценный корень, который в Маймачине заготавливался пудами за несколько рублей. С изданием закона 1857 года, по которому отпуск металлов дозволялся в половинном количестве при пушных товарах и при мануфактурных только одна третья часть, — представилось выгодным сбывать мягкую рухлядь (особенно соболей, лисьи лапы темных цветов и т. п.). Но т. к. нельзя же было принудить китайцев к роскоши для большего отпуска металлов, то какая-нибудь сотня собольих шкур странствовала, как Вечный жид, из Троицкосавска в Кяхту и оттуда опять обратно. Такие переходы на бумаге давали цифру промена дорогих пушных товаров до такого числа, что вывоз их в последние три года был сравнительно больше, чем в целое шестилетие. Чтобы более променять серебра, купцы истолковали количество отпуска металлов по-своему: брали общий итог ценности промениваемых товаров и металлов и разделяли на две или на три части, смотря по тому, какие отпускались товары: пушные или мануфактурные. Так что если общий итог был, напр., в 12 т. руб. (на 6 т. товаров и на 6 т. металлов), то металлов отпускалась половина на 6 т. руб., тогда как действительно, по закону 1855 г., следовало отдать их только на половину ценности одних пушных товаров (а не общего итога товаров и металлов), т. е. на три тыс. руб. Нарушение закона обнаружилось, заговорили строгие блюстители ограничительных правил, поднялась многотомная переписка; со своей стороны и купцы представили правоту своих действий. Дело кончилось тем, что велено соблюдать Высочайшее повеление 1855 г. Приказание исполнили: действительно расчет по отпуску металлов введен был тотчас же, несмотря на то, что прежний учет, в течение двух лет, был в виду начальства, контролирующего торговые действия. Но не прошло и дня,

как купцы нашли способ отпускать металлы в таком количестве, какое нужно, — возвысив цены на все товары на 20 и 30%. Самолюбие бюрократов закона было удовлетворено, а Высочайшее повеление на деле оставалось одною формою, без действительного значения. Так действовало кяхтинское купечество. Троицкосавское мещанство противопоставило стеснениям обычную форму контрабанды во всех ее видах, даже и по доставке для подспорья сбыту русских мануфактурных товаров контрабандного казенного золота. Без контрабанды самый худший кирпичный чай стал у нас дороже самого последнего английского и американского чая; самые высокие сорта чаев приближались ценами на Кяхте к ценам в Гамбурге и Лондоне; самые обыкновенные сорта черного за границую были дешевле кирпичного кяхтинского и проч. С разрешением в настоящее время доставки чая кругосветным путем, конечно, сибирская чайная контрабанда в сильной степени ослабела.

ГЛАВА XII

ПРЕСТУПНИКИ ПРОТИВ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ

Разврат. — Кровосмешение. — Снохачи. — Сводные браки. — Прелюбодеяние. — Растление и насильство. — Мужеложство и скотоложство. — Развратное и порочное поведение дворовых и крестьян. — Ябедничество и клеветничество чиновников. — Ложные доносы. — Неуживчивость чиновного люда в Сибири.

Оскорбление родителей и непослушание, в примечательном большинстве случаев, оказывали сыновья. Преступление это менее всего можно считать женским: за двадцать лет на 69 мужчин ушло в Сибирь 2 женщины, мимо монастырей и всякого рода исправительных заведений. Слабо высказываясь своими особенными характерными чертами, преступление это в Сибири успело определиться во весь этот длинный период времени только кое-какими признаками, много

не говорящими: шло средним счетом по три человека в год. Сильнее выразилось это преступление абсолютною цифрою у государственных крестьян, затем у мещан и дворян, а наибольшею пропорциею в купечестве; в общем числе всех ссыльных ему принадлежит самое последнее место во свидетельство той высокой степени положения, на которой стоит родительская власть, злоупотребившая на этот раз своим правом и не способная сладить домашними средствами в этих исключительных (70) случаях (за 20 лет).

Деспотизм и несостоятельность самосуда, выразившиеся сильнее в купечестве (по процентному отношению), вызвали наибольшее число ссыльных за 20 лет из губерний: Курской (7), Вологодской (6), Ярославской (5), Пензенской и Тамбовской (по 4).

Сюда сибирские табели до 1844 г. относили еще «принятие чужой фамилии» и «прелюбодеяние», как преступления, направленные против прав семейственного состояния; но первое, при широком приспособлении в бегах и сильном применении к бродяжничеству, в табелях выделяется слабо, а прелюбодеяние смешивается с плотскими преступлениями, а потому мы и переходим прямо к ним⁸.

Из плотских преступлений по прелюбодеянию замечается сильнейшая склонность в женщинах, и, по свидетельству сибирских цифр, виновность их (по всем родам преступлений) на этот раз представляется самою характерною наряду с преступлением убийства детей (по прелюбодеянию один мужчина на пять женщин, по убийству детей 1 на 19). Почти исключительно усвоенный женщинами (по числу ссыльных), тот же порок прелюбодеяния, по житейскому опыту, сильнее свидетельствует не о невинности мужчин, а о той ловкости уверток, к каким удачнее прибегают последние, злоупотребляя своим правом сильного и счастливо пользуясь более обеспеченным и лучше устроенным общественным положением.

Обвинения, не одолевая сильного, ложатся всею тяжестью на бессильного, страдающего от общественного предрассудка. По процентному отношению наибольшая наклонность замечается в военном сословии (у мещан больше, чем у крестьян), а солдатки чаще других делаются жертвами обвинения на суде и ссылки. Всего больше ушло виновных всякого пола и возраста (за прелюбодеяние, кровосмешение и насильствие) из губернии Пермской (в 20 лет 60 м., 15 ж.) и из южных: Харьковской (32—5), Полтавской (28—12) и Херсонской (21—7). С меньшею или большею цифрою ссылных за плотские преступления являются и все до одной другие русские губернии.

Действуя с большою силою в больших городах, разврат, по рассказам путешественников, царствует на всем пространстве земного шара, существуя под двумя главными формами: публичного и тайного. Некоторые статистики, рассматривая его в обоих видах, пришли к тем положительным выводам, что цифра разврата крупнее между 16 и 28 годами человеческого возраста, что от 14 до 28 лет она идет в возрастающей прогрессии, а с 28 до 40 — в уменьшающейся. С последнего термина (40 лет) прогрессия начинает падать примечательно быстро, так что в 50-летний возраст доходит до нуля. Замечено при этом, что разврат, преимущественно, любит гнездиться в семействах и между теми лицами, которые соединены кровными узами и, по преимуществу, заражает сестер. Чаще предается разврату дочь при матери, показывая, до какой степени развращения доходят иные семейства, где сама мать подает примеры распутства собственным детям. Особенно приметно это в среде бедняков больших городов. В деревнях порок этот подчиняется отчасти давнему, укоренившемуся за долгое время обычаю, отчасти зависит от некоторых местных и временных обстоятельств. К числу последних относят сторонние влияния, зависящие от причин географических (сильнее разврат в приморских ме-

стах и городах от прилива матросов весною и летом) и экономических (напр., чаще падения женщин совершаются в тех местах, где существуют дальние и продолжительные отхожие промыслы). Кое-где влияют на то же некоторые предрассудки религиозных сект, из которых сильнее других выясняются беспоповщина и хлыстовщина. Существенною же и вероятною причиною считается быстрое увеличение военного сословия с продолжительными стоянками одиноких солдат в губерниях, существующих сторонними заработками на отхожих промыслах. Причина усилена дважды: покинутая мужем солдатка грешит нарушением верности дома в то время, когда солдат соблазняет чужую жену на чужой стороне. Тем не менее, во многих неиспорченных солдатскими стоянками местах, где наплыв холостой молодежи не действителен, против согрешивших существуют домашние меры взыскания, мирской самосуд, так же строгий и неуступчивый, как и всякий народный самосуд на разных преступников. В Белоруссии и Малороссии наказывают виновных так: на мать, отдающую дочь лишенною невинности в замужество, надевают хомут и заставляют прыгать через огонь или бегать по полю и лаять по-собачьи; на дочь надевают бабью кикку без обрядов, не в избе, а в сенях и на дворе; не прицепляют красной ленты на наметку, не поят красною водкою. С уличенных в прелюбодеянии женщин срывают платки на народе, простоволосят, т. е. позорят самым тяжким оскорблением, мажут ворота и двери дегтем и проч. Евреи западных губерний поступают еще суровее. Нарушившую целомудрие приводят в школу (синагогу), здесь плюют на нее, бросают в лицо тряпки, намоченные нечистотами; потом одевают в оборванную солдатскую шинель, в высокий колпак, дают в руки шест со рваною шапкою (магеркою) наверху, связывают назад руки и на веревке водят по местечку. Проходящие имеют право бросать чем ни попадя и плевать в лицо сколько угодно.

К числу укоренившихся народных обычаев, которые, отчасти, можно считать историческими, относится, между прочим, обычай искать не жену сыну, а в дом бесплатную работницу, приобретаемую единовременным и необременительным взносом калыма («выводного»). Цель достигается женитьбою подростков на взрослых, вошедших в полную силу девушках, — цель, которая и теперь не покинута во многих глухих и отдаленных местностях. Обычай этот, сверх того обусловленный обычкновениями уходить на дальние заработки у крестьян и на долговременную службу у казаков, сумел породить новый вид, тот вид преступления, который называется кровосмешением и слывет в народе под именем «снохачества». Отец, уславший сына на службу или на работу, свекор, возлагающий сыновние работы на жену его, сноху свою, на старости лет впадает в грех любовных связей, включает себя в число снохачей. Когда исходят годы и молодому работнику настает надобность и возможность возврата домой (чтобы там и остаться), по смерти отца он находит жену перестарком, ищет любви на стороне, грешит прелюбодеянием и, в свое время и в свою очередь, становится снохачом — типом людей, осмеянных во множестве скандальных анекдотов, поговорок, загадок и песен. Таковыми людьми приметно усиливается цифра тех, которые ссылаются в Сибирь за кровосмешение. Кровосмешению со снохою и со свекром принадлежит первое место; отцу с дочерью второе; деверю с невесткою и сестре с братом — третье; отчиму с падчерицею и племяннице с дядею — четвертое. Остальные случаи очень редки, но большая часть сопровождается насилием (в особенности кровосмешение отца с дочерью), и только снохачество является формою любовной связи, закрепленною на обоюдном (менее принудительном) соглашении. Мужчина чаще всего попадает в этом грехе в возрасте от 50 лет и не останавливается, а еще больше греховничает и в лета свыше 60-ти. Для жертв соблазна и изнасилования ранний возраст женщин становится ро-

ковым, в особенности между 20 и 30 годами⁹. По губерниям кровосмесители всего больше понесли наказание в Тобольской, Вятской, Пермской, земле донских казаков, Полтавской и Харьковской; из последней, как из места военных поселений, из первых пяти, как таких, которые преимущественно живут по старозаветным обычаям; Тобольская, к тому же и ссыльная, умеющая отвечать на все роды и виды всяческих преступлений. Губернии без отхожих промыслов, а в особенности белорусские и северные, свободны в этом отношении от всякого упрека.

Во всяком случае, южные губернии по всем родам плотских преступлений успели подтвердить закон о наибольшем возбуждении плотских страстей в силу климатического влияния. Если же они приблизились к северо-восточным губерниям, то в силу лишь того, что губернии эти населены инородцами-мусульманами и заводскими рабочими, с дурно обеспеченным в плохो устроенным семейным бытом. Естественные условия сравнивались с искусственными и в этом отношении оспаривают друг у друга взаимный перевес. Кровосмешение же в Сибири — преступление настолько давнее, что о нем находим свидетельство еще в обличительной грамоте патриарха Филарета, присланной сибирскому архиерею Куприану в 1622 году. Казаки, первые обитатели Сибири, не носили крестов, не соблюдали постов, жили с кумами и сестрами своих жен, находя себе оправдание в недостатке женщин. Московская грамота, выданная ермакову послу — атаману Кольцу, при возврате его из Москвы, позволяла казакам увозить из городов жен и девиц, и Филаретова грамота силилась воспретить подобное умыкание девиц, существовавшее в его время еще во всей своей силе. Филарет приказывал выслать эту грамоту в Москву и считать привилегию неуместною. Им же воспрещалось житье русских с некрещеными женами, воспрещалось совместное житье монахов с монахинями в одном монастыре, воспрещалось тем и другим уходить

из обитателей и жить в миру, обличались воеводы, продававшие в замужество краденных в России девиц и заставлявшие при себе их венчать. В 1637 году присланы были из России: из Вологды, Тотьмы, Устюга и Сольвычегодска 150 девиц для женитьбы казаков, сверх 500 семей, обязанных поставить впоследствии невест; но в 1725 г. митрополит Филарет извещал губернскую канцелярию, что казаки, посланные за ясаком, вместо подводчиков берут красивеньких остяцких девушек и дорогой насилуют их. Впоследствии узнано было, что русские березовцы издавна покупают у остяков детей, платя за мальчиков по 25 коп. медью и по 20 коп. за девочку. Распущенность нравов в прошлом столетии была так же велика, как и в предшествовавшем: воеводы и сильные люди, не исключая амурского героя Хабарова, отнимали чужих жен и жили с ними блудно. Мужья, измученные неверностью жен, принуждены были прибегать к чародействам, и знахари подслуживались им различными, самыми оригинальными способами привораживанья: скоблили с изб стружки, смешивали с колесною грязью, распускали в банной воде и давали пить неверным женам, шептали на воск и на серу и прилепляли к кресту; брали с головы волосы, шептали на них и велели носить при себе рогоносцам; шептали по волшебным книгам у белой березы всякие наговоры и неверных жен привязывали к этим березам; водили в баню и кормили там волшебными колобками из воску, пачины, соли, волос и всякой неподходящей дряни. Сибирь продолжала устаивать на своем, и в 1836 году один из губернаторов сибирских писал: «Не говоря о мужиках, женщины и девки без стыда ходили в кабак пьянствовать. Легкая нравственность и вольная жизнь, выражаемые термином “прелюбодеяние”, представляются в женском населении Сибири явлением довольно обыкновенным, причину которого следует искать в неравномерном пропорциональном отношении мужчин к женщинам, в порче, приносимой поселенцами, и в обы-

чаях страны, практикуемых с древних времен, какие сильнее всякого закона. В сытой жизни не только в местах золотопромышленных, но и во всех сибирских, находится много возбуждающих причин, как вызовов тех явлений, которые называются распутством, считаются безнравственностью. У тюменских сытых староверов издавна пристраиваются заимки, на которых они держат вторых жен, и сами наезжают туда для развлечений и удовольствий, в числе которых главное место принадлежит пьянству и играм с бабами и девицами. В Алтайских горах тамошние староверы известны, между прочим, тем, что нет дома, где бы не было известных сибирскому люду и любезных их сердцу подворищ. Бывшая слобода Кия, теперь город Мариинск, некогда центр наймов рабочих на золотые промыслы, вела торговлю крепкими винами, всяким товаром и различными сладкими яствами во всевозможных широких приспособлениях. Слава ее не меньше Енисейска, где не так давно навстречу выходившим из тайги с золотых промыслов рабочим выходили мещане с женами и девками и с вином. Отцы поили вином, бабы и девки, славящиеся своею красотою, зазывали в баню, в дома; там опять напивали, обирали до нитки, возбуждали ссоры и драки и бесконечные дела, которыми Енисейск и Красноярск издавна весьма славятся. Про города эти сложились в народе такие поговорки, которые не годятся для печати. Бойкие, рослые, видные бабы семейские за Байкалом сильно попивают и скоромничают в разговорах и в среде тамошнего населения нравственностью своею не славятся, в соответствие тем единоверцам своим, которыми переполнена губ. Тобольская. Там издавна весь ответ потерявшей невинность девушки состоит в том, чтобы прийти и пасть в ноги родителям: “Простите, я в упадение пала”, и подвергнуться за это епитимии. У семейских за Байкалом существуют на святках кладки — род свального греха. Своды разрешаются просто: баба бросает кикю под лавку и объявляет, что она девка.

Сводные браки там не удержались долго именно потому, что давали простор бабам уходить к другому и отвечать начальству, что не были венчаны...»

Там, по этому случаю, даже самые ярые староверы стали прибегать к венчанию в православных и единоверческих церквях, чтобы закрепить за собою жену и не плакаться потом над потерянным калымом. Так, под влиянием таких неблагоприятных супружеской жизни бытовых основ, странник и скиталец тюменский, посадский человек Михаил Васильевич Девятин, во второй половине прошлого века, сумел организовать особый толк, названный по его имени девятинским. Толк этот немногочислен, но, тем не менее, придерживаются его и в Тюмени, и в деревнях Першиной, Межборной, Галевой и Сунгуровой. Девятин объявился навсегда холостым для спасения души на старости лет и поселился в скиту в лесу близ деревни Черепановой (Тебяницкой вол., Курганского округа). Деревня эта при ревизии уничтожена была по случаю неприятностей, наносимых каторжными казенного Боровлянского винного завода. Здесь Девятин перекрестил себя якобы по примеру равноапостольной Феклы, препод. Феофана, Дросиды (дщери царя Траяна) и др. День и ночь он читал книги, молился и тем привлек поклонников и подражателей, поселившихся около него скитами. Девятин их перекрестил. Ему наследовал крестьянин Вас. Матв. Гусев (он же Садков), переселившийся за пустынное озеро, где был потом стеклянный завод Бархатовых, тоже в Тебяницком бору (ум. 1805).

Девятинцы верили в то, что ежеминутно надо ожидать второго пришествия, а потому для браков прошло время. Венчанную жену считают блудницей, и потому венчанные их толка всегда под епитимиею. Мужу не дозволяется сходить с женою, — и этим крутым воспрещением секта достигла противоположных результатов — разврат усилился, хотя в согласие поступали больше старики. К своей жене муж мог ходить не

иначе, как через окно, в темную пору. Старики смотрят на это сквозь пальцы, пока нет во чреве; тогда на обоих возлагается строгая епитимия. Соседи заподозревают их даже в кровосмешении по завету: «подобает делателю от плода своего вкусить», и ведут сплетню о праве сожителства в их толке отца с дочерью, брата с сестрою. Но и на этот раз, как и во все прочие по вопросу о сектантах, отдельные частные случаи ничего не доказывают. Своды или сводные браки у староверов понимаются различно: одни брак в православной церкви признают в гражданском, другие в церковном смысле и непременно венчаются, чтобы жена не сбежала. Свенчавшихся в церкви одни исправляют: налагают епитимию, иногда очень значительную (несколько лестовок, т. е. несколько раз по ста поклонов; отлучение в молитве, в пище); другие не полагают и того. Венчаются и с подписками и без подписок: венчаются и сводятся с православными, бывает и наоборот. Когда усилились сводные браки, одни позволили признать их законными, как Родионовщина тюменская, другие продолжали венчаться в церквях, разумеется, предпочитая православным церквям единоверческие, где все-таки водят посолонь. Подцерковники (поповцы) венчаются в православных и единоверческих церквях, но потом их исправляют. Теперь свои выборные обществом старик или старуха (но не наставники, которые не венчают, не крестят) прочитывают чин венчания. Прежде это делали беглые попы в Екатеринбурге в Полетиковой или Рязановской часовне с наложением епитимии, куда сибиряки нарочно ездили. Появление сводных браков усилилось с того времени, как умер (в 1835 г.) последний поп их Никола (бежавший в 1812 году из имения Куракина, а потому Куракинский). До того времени отпевали покойных по канону единоумершего, совершали вечерни, повечерницы, полуночницы, утрени и часы, разъезжая по округу, беглые попы из Пензенской епархии: Иван Грузинский, Парамон Лебедев,

Петр Андреев, и самозванные попы из крестьян: Аристарх, Гаврило, Максим и более других известный Никола Куракинский (Парамон во время гонений пристал к единоверию в 1838 году и поступил в единоверческий екатеринбургский приход; другие все, кроме Николы, бежали на Иргиз и Керженец).

Среди заводского населения, в особенности организовавшегося из ссыльного люда, нравственность глубоко потрясена. Там оправдывают разврат как промысел, вынужденный безвыходною нуждою, и признают за ним право, оправданное и отвоеванное целым столетием. Гмелин нашел в Даурии сифилис в застарелых формах до *elephantiasis*'а (слоновой проказы) в то время, когда о сифилисе в России не имели еще никакого понятия. Распутство в нерчинских заводах весьма распространено, почти открытое и к тому же нередко весьма раннее. Здешние девицы легко относятся к своей невинности, зная, что девичьи роды здесь грехом не почитаются, а женихи смотрят более на воспитание: рукодельна ли, трудолюбива ли и может ли вести хозяйство. Употребление вина девушками и женщинами, обычное в целой Сибири, на ссыльных местах Забайкалья кончается только по географическим причинам. Сифилис страшно распространен между заводским народом, поэтому знахарям, знахаркам и ламам бурятским работы много, на сулему и киноварь — расход большой: сулему пьют в вине, киноварь курят с табаком в трубках.

Произведенное растление и насилье, смешиваясь на самом деле с виновными в соблазнительном и развратном поведении и с преступными в кровосмешении, в тобольских табелях временами учитывались отдельно, но, к несчастью, и на этот раз спутаны с теми, которые способствовали преступлению. Рассматривая их отдельно, нельзя не видеть, что с насилием преимущественно пускались в плотскую любовь люди военного звания, с тою привилегиею перед всеми ссыльными этого вида, что плотские насилия военных людей отли-

чаются самую большою пропорциею и уступают только виновности их в убийствах. В этом преступлении особенно также отличается дворянство. У мещан склонность к насилию и растлению сильнее, чем у крестьян, но у последних, сравнительно с первыми, живые порывы к кровосмешению и противоестественному удовлетворению страстей (мужеложству и скотоложству). Большое число ссыльных по обоим видам дали те же губернии: Харьковская, тогда богатая военными поселениями, Полтавская, противопоставившая племенное свойство целомудрия нападениям солдат, и неизменные Пермская с Тобольскою, умеющие путаться во всяком преступном грехе, и где изнасилование готовы производить и холостые заводские работники, и истосковавшиеся бродяги и обрекаемые на монастырское целомудрие поселенцы.

Общее число сосланных за противоестественное удовлетворение страстей, и именно за тот вид этих преступлений, который носит название скотоложства, за 9 лет равнялось 50 мужч. Большее число выслали губернии Пермская и Вятская; из них в одной (Вятской) это преступление находит оправдание в стародревнем суеверном обычае лечиться от лихорадки, когда истощены все ведомые и симпатические и самые едкие средства, недействительность которых вызывает, таким образом, последнее и самое отчаянное, обещающее ссылку. Под влиянием последней преступление не исчезает и на каторге, очень бедной женщинами, и является в присылаемых на исправление субъектах таким родом преступных деяний, который всего чаще усваивается пастухами, беглыми, не помнящими родства, и на довольно значительную часть заявляется на каторге дураками-бажениками, т. е. идиотами. В этих людях, обездоленных нравственными чувствами, с извращенными вкусами по физиологическому уродству организма, преступность отразилась с очевидностью, резко бросающеюся в глаза на местах ссылки. Тобольская губ. и самый город Тобольск выделяются по этому роду

преступлений впереди всех других. Причина очевидна в приметном недостатке женщин; однако же по делам приказа было видно, что, вообще, число обвиняемых в скотоложстве год от году уменьшалось.

Мужеложству принадлежит самая меньшая цифра: за 9 лет только четыре случая выпали на долю государственных крестьян России. В Сибири, в каторжных тюрьмах, это матросское преступление сделалось исключительно арестантским. Здесь педерастия, надежно пристроившись по вызову кое-каких покровительствующих причин, по свидетельству врачей, обнаруживает несомненные и очевидные признаки, при осмотре зараженных сифилитической болезнью. В нерчинских тюрьмах зачастую находили первичные язвы не там, где показано, а *circa anum* или же *in recto*.

Насколько незначительна общая сумма сосланных за плотские преступления сравнительно с общим числом наказанных Сибирью, настолько велика другая цифра ссыльных, которых приказ силился названием приравнять к этим и называл иногда ссыльными за развратное, иногда только за дурное поведение или за дерзкие поступки. В самом же деле это — люди, удаленные на жительство в Сибирь по воле помещиков, по их просьбам, с темным и неопределенным обозначением их преступности. Все это — жертвы умершего в наши дни произвола и особый разряд ссыльных, сосланных не по суду, а по административным распоряжениям (о нем после). Ни о какой особенной развращенности нравов эти жертвы не свидетельствуют, и мерилom для объяснения нравственного уровня владельческих крестьян служить они ни в каком случае не могут. Временное возрастание или уменьшение цифр по годам зависит от изменения различных постановлений: правилами 1827 г. не велено ссылать дряхлых, увечных, жен без мужей и мужей без жен и вместе с малолетними детьми (мужского пола до 5-ти, женского до 10-ти лет), не ссылать людей старше 50 лет. С 1829 г. установлена правильная ссылка мещан и казенных поселян по при-

говорам обществ, а чрез два года запрещено женам государственных крестьян и мещан следовать за мужьями. Иногда цифры доказывают, что злоупотреблениям силою и властью по временам полагались пределы, и произвол сдерживался в границах возможного приличия законными постановлениями. Так, напр. (указом 8 января 1827 г.), увеличилась сибирская цифра оттого, что дозволено следовать за мужьями женам людей, ссылаемых на поселение по просьбам помещиков. Увеличилась цифра сосланных из недовольных теми способами приспособления крепостного труда, какие вздумали применять владельцы в черноземных губерниях, заводившие заводы и фабрики. В Пензенской губ. возмутились все мастеровые Сильвинского завода купца Манухина, в Тамбовской мастеровые Виндреевского завода г-жи Очкиной. В 1827 г. (сенатским указом 28 июня), по вызову этих случаев, на просьбу Манухина зачинщиков сослать в Сибирь дано позволение горным заводчикам посылать на поселение их заводских людей за дурное поведение, без зачета за рекрут. Случай, вызвавший это постановление, рассказан «Полным Собранием Законов» в таком виде: помещик Ряжского уезда ротмистр Батурин привлекал жену своего дворового Трофимова к прелюбодеянию и, по несогласию ее, делал обоим наказания и притеснения, разлучал в разные места и, наконец, чтобы удобнее достигнуть своей цели, предложил отправить его в Сибирь за дурное поведение (жену же оставить на усадьбе). Жена объявила, что не желает расстаться с мужем.

Ввиду этой разницы понятий о развратном и дурном поведении и под защитою старинного права (*juris primae noctis*), объявившегося у нас из подражания и в Западном крае практикованного в числе прочих приемов Польши (остававшейся, по крепостным понятиям, средневековою до наших дней), мы считаем излишним входить в подробности старых грехов и вспоминаем о нем теперь по поводу учета людей, заселивших Сибирь не по доброй воле. Воля и произвол помещиков успели

выслать в Сибирь 6886 поселенцев только за 20 лет и с тою особенностью на практике, что приговоры частных людей были не милостивее и не снисходительнее приговоров мирских обществ¹⁰. При этом помещичий произвол готовнее разделявался и разлучался с дворовыми, чем с оброчными крестьянами; охотливее прогоняли от себя владельцы уральских и других заводов своих рабочих и, затем, мещанские общества порочных людей своего сословия. Солдат оказалось меньше, потому что для них существуют дисциплинарные меры взысканий, но из духовенства выслано в Сибирь на житье больше, чем из купечества. При этом замечательно, что с расширением полицейских прав различных обществ и с усилением значения помещичьей власти над крепостными людьми невыгоды *status in statu* не замедлили возрасти прогрессивно. Помещичья власть поспешила сослать вдвое против прежнего. В пять лет, предшествовавших 1836 году, сослано по воле помещиков 882 чел., а в следующее пятилетие (с 1837 по 1841 г.) уже 1980, а затем в пятилетие с 1842 по 1846 г. сослано 2775 чел. Сталось таким образом то, что за возмущение сослано всего больше крестьян, и при этом наибольшая пропорция замечается у крестьян владельческих. Высшим процентом ссыльных за дурное поведение отличаются дворовые (за ними заводские, фабричные и мещане). В числе губерний с наибольшим процентом высланных за дурное поведение стоят обе столичные и чрезвычайно характерно выделяются остзейские. Сибирские цифры людей, сосланных за порочное поведение, указывают на большую силу произвола, не сдержанного правильною регламентациею и разнузданного потворством в следующих местностях: из остзейских губерний — в Эстляндской, в обеих столичных и в других восточных заводских (Пермской и Вятской). Внутренние губернии встали в соперничество с этими, как преимущественно сосредоточившие в себе крепостное население, и притом выяснились так, что Московская,

напр., уступает в процентном отношении первенство свое баронской Эстляндской губернии. Белорус, по отношению к подобного рода ссылке, счастливее всех других и даже малоросса, также счастливо ускользавшего от высылки в Сибирь. Рабочая сила их оказалась ценнее в глазах владельцев, сильнее и энергичнее вводящих на своих землях плантаторское и рациональное хозяйства. Из пяти белорусских и шести малорусских угнали в Сибирь всего 415 человек, тогда как за те же 20 лет одна Московская потеряла 627, Орловская 485, Рязанская 512, Тамбовская 452, Тульская 531, Пензенская 354, Нижегородская 367 и проч.

Сибирская цифра не может служить мерилom нравственности еще и потому, что во власти помещиков оставалось право отдачи неугодных людей в солдаты с зачетом за рекрута во всякое время, и правом этим, как памятно всем, они пользовались с заметною охотою. Это — одна из причин, почему, между прочим, сибирская цифра (в процентных отношениях) получила склонение на сторону сосланных на житье женщин. На ослабление точной цифры действовали также, в сильнейшей степени, самовольные побеги в разное время и в разные места, каковыми на памятное нам всем время на правах Америки для Европы считались у крестьян и дворовых южные степи, где город Одесса получил значение Нью-Йорка, Херсон уподобился Чикаго. Крепостное право было одною из причин бродяжничества, а бродяжничество предотвращалось тем преступлением, которое носит в тобольских табелях название «возмущения и неповиновения помещикам».

Неповиновение помещикам в абсолютной цифре выразилось слабее возмущений против власти, но с тою особенностью, что число неповиновавшихся женщин в 3 с лишним раза меньше числа восстававших против властей мужчин. Годовые цифры показывают, что там, где неповиновение помещикам обнаруживалось массами, участие женщин почти равносильно участью

мужчин. В одном 1846 году всех случаев возмущений насчитывают до 27-ми, но тобольский приказ не выделил их и, смешав с неповиновавшимися установленным властям, отнял возможность идти к определенным выводам. Из других годов крупнее выдаются 1837 и 1845. В 1837 г. много выслано из Пермской и Оренбургской губерний, где в это время существовали столь известные башкирские бунты; в 1845 и следующем крупные цифры по преступлениям против порядка управления — в губерниях Пермской и Оренбургской между заводскими крестьянами. Выводов можно сделать немного. Крупные крестьянские бунты бывали явлением периодическим; в памяти народной смуты эти сохранились под общим именем «дубинщины».

Крестьяне сильнее других сказались также в преступлении, называемом членовредительством, сделавшимся равно обязательным для всех сословий, подлежащих рекрутской повинности. Владельческие крестьяне превосходят в этом все другие сословия снова в силу того же обстоятельства, что назначение в рекруты основано было на произволе владельцев, так как для мещан и крестьян государственных такое назначение подчинялось более строгим законным уставам¹¹. Все число сосланных за повреждение членов в 20 лет равняется 854 человекам.

В тех сословиях, где оно вызывалось рекрутскою повинностью, преступление не выразилось ни одним случаем ни в служилом, ни в вольном дворянстве, ни в духовенстве и купеческом сословии, ни в шляхетстве, ни у военных поселян и только по одному случаю во все 12 лет высказалось в сословии однодворцев и у казаков, отбывающих эту повинность по народному и политическому принципу.

В среде самих господ, дворян служащих и неслужащих, и в среде чиновников сильнее обнаружились преступления по службе, побеги за границу, лихоимство; при этом некоторые, как преступления государственные (возмущение и неповиновение законной власти,

подделка документов), отличаются наивысшим процентом сравнительно с другими сословиями. Преступления по службе составляют исключительную особенность крестьянских владельцев, представителей привилегированных и счастливых классов. По некоторым родам, как, например, по наклонности к убийству родителей, дворяне отличаются больше и при этом у дворянок она сильнее не только всех женщин, но и мужчин всех сословий (исключая одного — некогда дворянского, а теперь одводворческого). Сосланные за изнасилование соперничают процентом только с военным сословием. Если государственные преступления не особенно часты, то подделка документов — самое частое преступление, наравне с преступлениями по службе. Последний род, вместе с кляузничеством, сильнее высказался на сибирской цифре у чиновников. Для них же имелись в тобольских табелях особые графы: «похищение актов из присутственных мест, составление подложных грамот и указов, распространение вредных слухов и составление пасквилей». Каждый вид этих преступлений, по своей исключительности, давал по небольшому числу жертв, которые потом сочли за нужное смешать в общей цифре преступлений по службе.

Останавливаясь на последних, не разобранных нами преступлениях, и на этот раз собственно дворянских, мы видим, между прочим, что за ябеды, доносы и лживые поступки сослано всего в 20 лет 385 чел. (327 м., 31 ж.), за растрату казенного имущества 157, за побеги за границу 184 (174 м., 10 ж.) и за государственные преступления (по первым двум пунктам) 443 (439 м., 4 ж.). За побеги за границу всего больше ушло из губерний пограничных: Бессарабской (39 м.), Волынской (29 м., 4 ж.), Виленской (17 м., 3 ж.), Оренбургской (15 м., 1 ж.), Подольской (14 м.). Ябедничеством и доносами всего больше отличается дворянство служащее и участь этого обвинения разделяет только с мещанами. Наибольшее число за эти роды преступных действий из губерний: Оренбургской (30 м., 1 ж.), Владимирской (19 м.,

5 ж.), Тульской (16 м., 1 ж.), Казанской (16 м.), Пензенской (12 м., 3 ж.), Новгородской (11 м., 1 ж.), Тверской и Вятской (по 11-ти). Сравнительно слабое по отношению ко всем другим родам преступлений, мало распространенное и бессильное для России, оно является с замечательно серьезным значением для Сибири, как страны, которая с самых давних времен считается страной кляуз и подъяческого ябедничества, а со времен Екатерины, как известно, находилась под запрещением и сильным подозрением, в силу которого некоторое время не принимались от сибиряков просьбы. Бесчисленные, разнообразные и самые тяжелые притеснения от тогдашних властей, — пользовавшихся удалением края от центра, — Пестелей, Трескиных, Кохов, Чичериных, Немцевых, Нарышкиных, Милекиных и множества других (им же имя легион) выродили эту особенную черту в сибиряках, как результат встречи недостатка, с одной стороны, и алчности — с другой. В ссыльных грамотных приказных Сибирь умела находить пособников в старые времена и не малотяготится теперь сама от поселения этих кляузников преимущественно в городах. Какая-то непоседливая и неутомная докучливость в сношениях с начальством и людьми одинакового воспитания, но свободными, является характерною чертою этих людей. С одной стороны, черта эта представляется сходною с тою, которая известна у потерянных, испившихся московских подъячих, пристающих к прохожим с милостынею и нередко провоцирующих тех сорваться на бесчестье. С другой стороны, в этой черте характера видна та неумелость и неспособность примириться с несчастьем, которая так сильна в ссыльных из простого люда. В несчастных чиновниках ссылка умеет обнажать недостатки воспитания и отсутствие прочных честных правил во всей ужасной наготы. Чиновники в ссылке действительно становятся несносными, беспокойными людьми и не возбуждают никакого уважения, не пользуются у туземцев ни малейшим сочувствием. У горного начальства ссыльные из дворян

далеко не все пользовались благоволением, да и сами того не заслуживали. Близко стоявший к ним и знавший их свидетельствует, что худшие из них делались еще большими негодяями. Не приученные воспитанием ни к какому труду, всеми способами они старались избавиться от работы, употребляли всевозможные усилия попасть в лакеи, в рассыльные при канцеляриях и полиции. Подлое угодничество являлось в их быту самою яркою чертою характера. Оставаясь в среде простаков, эти люди подстрекали доверчивых людей на разные мерзости, обыгрывали в карты и т. д. Они казались или очень жалкими, или возбуждали к себе презрение. Доносы этих людей заставляли начальство не один десяток раз пристроить содержанием других их товарищей, ни в чем неповинных. Между тем, с ними старались поступать по возможности человеколюбиво и обращались вообще хорошо. Их почти никогда не посылали на работу, и если не было особого предписания, то даже не содержали и в тюрьмах, а помещали на гауптвахтах, позволяли заниматься обучением детей и разными ремеслами. Сосланных, хотя и за важные преступления, но не кладущие пятна на человеческую честь, положительно не употребляли ни в какую черную работу. Не измышляя никакой своей работы, ссыльные из чиновников и дворян все время предавались беспредельному пьянству, обыкновенно одной из застарелых привычек и причин их ссылки. Пьянство редко не имело формы запоев и положительно всегда вело к нервному расстройству, которое характеризовалось или неугомонным беспокойством, или, в нередких случаях, покушениями на самоубийство. В тобольском остроге, на пути в Нерчинск, в каких-нибудь три-пять недель отдыха, они успевают обнаружить самую богатую и разнообразную серию всевозможных пороков. В тобольском остроге, в 1853 году, караульный офицер Путьковский отпустил одного чиновника в город, а когда тот не вовремя вернулся в замок — всыпал ему 300 ударов розгами. Чиновник не жаловался, но когда

дошло об этом до начальства, то оно имело несчастье узнать, что таков был взаимный уговор. В тех камерах, где сидели два товарища из ссыльных чиновников, ссоры и драки являются неизбежными, обыкновенными. Рассказами об них испещрена летопись происшествий в острогах, и разбирательством подобных домашних дел занята большая часть времени зрителей. Хотя Сибирь не представляется теперь страной особенных неурядиц, вызывающих жалобы, но не так давно могла указать на такие пункты, где ябедничество выдавалось наиболее резко. В начале нынешнего столетия славился этим Иркутск, но к середине столетия губернатор Трескин ослабил эту страсть высылкою беспокойных подъячих в Якутск. Зато с 40-х годов и едва ли не до сего дня стала резко бросаться в глаза эта городская и чиновничья страсть в этом городе. Здесь эта страсть к кляузам и жалобам сумела перейти от сосланных к русским туземцам и заразить даже якутов. Хитрый, коварный, мстительный, но даровитый и переимчивый народ якутский стал, от благоприобретенных наследств, докучливым в ябедах и кляузах до крайней степени невозможности. То же явление заразы, вызванное теми же самыми причинами, сильно обнаружилось в Тобольске, так что за Сибирью, в сравнении с ее метрополиєю, ябедничество и кляузничество остаются как одни из характерных черт, проявляются и теперь приметно чаще и значительно резче. Это даже как будто род какой-то болезни.

ГЛАВА XIII

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Валовое число ссыльных. — Распределение их по родам ссылки, по сословиям, по полам, по возрастам. — Наиболее преступные сословия. — Слабая преступность владельческих крестьян. — Распределение ссыльных по наиболее обобщенным категориям преступлений. — Роды преступлений, сильнее господствующие в сословиях. — Преступность инородцев, населяющих Россию: татары, киргизы, калмыки, башкиры

и инородцы финского племени. — Преступления евреев и евреек. — Безгреховность мусульманок. — Преступления немцев и вообще лютеран. — Католики. — Православные.

Постараемся подвести к предыдущим наблюдениям следующие краткие и заключительные итоги.

В течение тридцати восьми лет (с 1823 по 1861) в Сибирь из России ушло всего обоего пола лиц 289514, сосланных по судебным приговорам и административным порядком, не считая пришедших по воле жен и детей. Последних (за мужьями — жен и детей и за матерями — детей) за все это время ушло в Сибирь — 23764 лица обоего пола. В этом числе сослано в каторжные работы 39601 мужч. и 4330 женщ. и на поселение 207604 мужч. и 37979 женщ. Принимая в соображение одних ссыльных, мы увидим, что ежегодно средним числом ссылалось по 7618 человек; распределяя же ссылку по обоим способам ее, ясно определяется то обстоятельство, что число сосланных по суду уступает числу сосланных административным порядком; причем воле помещиков принадлежит наиболее видное место.

Главную массу ссыльных, по абсолютному количеству, составляют бродяги и беглые (т. е. бежавшие с каторги, мест поселения, от помещичьей власти) и выключенные за неспособностью из крепостных работ и арестантских рот. За ними следуют владельческие крестьяне с дворовыми людьми; затем государственные, удельные и другие казенные крестьяне; потом нижние воинские чины всех ведомств, мещане, отставные и неслужащие; духовные: духовенства белого и монахи; дворяне обоих видов службы (военной и гражданской); шляхтичи и именовавшие себя таковыми, купцы, люди всех других свободных состояний и, наконец, иностранцы.

Для доказательства возьмем общую сложность 19-ти известных нам лет с 1838 по 1848 и с 1852 по 1861.

	Мужчин	Женщ.
Из бродяг и беглых	29333	6181
- " - выключенных за неспособностью из крепостных работ и арестантских рот	19203	1594
- " - владельческих крестьян и дворовых людей	18320	5017
- " - государственных, удельных и, вообще, казенных крестьян	16582	3406
- " - нижних воинских чинов всех ведомств (унтерофицеров, солдат, казаков, военных поселян)	5214	877
- " - мещан	3679	559
- " - отставных и неслужащих	784	108
- " - духовенства белого и монахов	523	35
- " - дворян военной и гражданской службы	333	—
- " - шляхтичей и именовавшихся таковыми	187	56
Из людей свободных состояний	167	48
- " - купцов	151	8
- " - иностранцев	89	5

Распределяя ссыльных по полам, мы увидим, что число мужчин равняется за все известные нам 38 лет 247205, а число женщин 42309, т. е. в массе ссыльных, женщины составляют около шестой части сосланных мужчин. Женщины, по склонности к различным видам преступных деяний, определяемой сравнительным процентным отношением, являются впереди мужчин по убийству детей и по плотским преступлениям. Первое — почти исключительно женское преступление. Убийство мужей представляет также особенно определившуюся склонность в женской половине ссыльного люда, наравне с поджогами. Последние точно так же следует считать преимущественно женским преступлением. При слабой виновности в убийствах вообще и в остальных преступлениях, собственно мужских, преступность женщин становится виднее между убийствами помещиков и род-

ственников при известной облегченности сношений и поводов и в виду значительной стесненной общественной деятельности и при перевесе исключительно замкнутой домашней и семейной жизни. Потому-то виновность женщины и сильнее в преступлениях против прав семейственных, чем общественных.

Рассматривая преступления по возрастам, мы замечаем, что наибольшая преступность развита в возраст наиболее ранний. Большая часть тяжких преступлений совершается до 40 лет; причем ранние возрасты (от 10 до 15 лет) выясняются для мальчиков в поджогах (20 лет 77 человек), святотатстве (29), в убийстве посторонних (19), в участии в убийстве помещиков (6), в изнасиловании (4). Для девочек преступность за 20 лет высказывается в поджогах же (54 чел.), в убийстве посторонних (5), в участии по убийству помещиков (4). Затем уже преступность этого возраста ни в чем не проявляется. С 16-ти лет для обоих полов преступность становится одинаково присущею по всем видам своим и одинаково достигает наибольшей абсолютной цифры, как для мужчин, так и для женщин, в возрасте от 20 до 30 лет. Свыше 60-ти лет преступные наклонности мужчин в 9 с лишним раз сильнее таковых же у женщин, но зато ранний женский возраст (до 20 лет) — пора несдержанных инстинктов, не установившегося развития умственного в противоположность старческому, отличается наклонностями к наиболее тяжким преступлениям. Поджоги составляют принадлежность этой женской поры развития. Убийство мужей чаще в возрасте свыше 30 лет; убийство детей в возрасте раньше 30 лет. До 30-ти же лет женщины чаще ссылались за кровосмешение, чем мужчины, тогда как это же преступление сильнее возрастает для мужчин с годами (за 40 лет) и не ослабевает в старческом возрасте (свыше 60-ти). Старики за 60 лет наиболее виновны в воровстве, как одном из видов стяжания, столь приличного старческому возрасту, и в ереси и расколе, т. е. когда избыток и крепость личного убеждения требовали выхода на убеждения других,

т. е. соращения. Люди от 50 до 60 лет по преимуществу ссылались за лихоимство. Возмущения против властей производились также усиленнее в возрасте от 50 до 60 лет, тогда как возмущения дворовых людей против помещиков одинаково часты и до 40, как и в лета после 50-ти. Разбои и грабежи, непосильные для стариков, сильнее в возрасте до 40 лет и в возрасте от 40 до 50 в особенности. У женщин во все возрасты самое частое преступление — убийство; в лучшую пору цветущего возраста — грабежи, святотатство и поджоги (грабежи до 20 лет самое редкое). Общая склонность к преступлениям у мужчин приметнее ослабевает после 40 лет; у женщин после 30-ти.

Ввиду того, что самая большая часть тяжких (уголовных) преступлений, по пропорции, оказывается в высших сословиях (всего более в духовенстве, затем в военном сословии и, наконец, у дворян), — владельческим крестьянам принадлежит четвертое место, а государственным — шестое (купечеству — пятое, мещанам — седьмое). Духовенству принадлежит высшее место по обилию святотатцев, военному сословию — по склонности к убийствам и грабежам; дворянам — по числу сосланных за подделку документов и государственные преступления. За крестьянами остается крупная виновность по убийствам (за государственными — убийства родных и убийства супругов), по самоубийствам (у владельцев и дворовых), по преступлениям против власти (за дворянством немедленно следуют господские крестьяне), по возмущениям (у крестьян владельческих), по повреждению членов (у владельцев), по воровству, как самой обыкновенной причине ссылки всех сословий, за исключением военного и духовного, и по виновности в дурном поведении. Крестьяне, сосланные административным порядком, составляют в массе всех наказанных: государственные $\frac{1}{7}$ часть, владельческие почти $\frac{1}{4}$, дворовые почти $\frac{1}{3}$. Из сосланных за преступления против собственности — крестьяне всего более ссылались за грабежи; за грабежами следуют поджоги,

затем корчемство, святотатство и подделка ассигнаций. При этом замечается, что вероятность ссылки сильнее в крестьянском сословии для фабричных и заводских. Последние в значительной степени принимают на себя виновность в убийствах чужих, родных и в убийствах супругов. Большую часть покушений на самоубийство снимают с крестьян на себя дворовые, грабежи и разбои — заводские с фабричными, поджоги — дворовые; в фальшивых монетчиках почти исключительно являются крестьяне, приписанные к фабрикам и занятые на заводах (в особенности уральских). Возмущение и неповиновение несколько чаще заявляют дворовые и крестьяне заводские, чем прикрепленные к земле и занятые исключительно земледелием. Земледельцы крепостные уступают в воровстве преимущество также дворовым и еще однодворцам и военным поселянам. Членовредительство также сильно развито у заводских и фабричных; они же чаще содержат притоны для бродяг и беглых и, в свою очередь, делаются бродягами и беглыми. За дурное поведение сослано, по процентному отношению, опять-таки наиболее дворовых и заводских с фабричными, чем крестьян-земледельцев. Последние, таким образом, при всех невыгодных условиях общественного положения и быта, представляются наиболее свободными от упрека в преступных наклонностях. Господские крестьяне становятся наиболее испорченными и преступными только лишь в тех случаях, когда они искусственным и насильственным образом отрываются от земли и превращаются либо в дворовых, либо когда в качестве безземельных пролетариев становятся к фабричным станкам и машинам, к заводским печкам и горнам. Государственным крестьянам владельческие крестьяне уступают в преступности убийств и грабежей, дворовым же людям в общей наклонности ко всем преступлениям, даже в дурном поведении, в возмущениях, в подделке документов и в воровстве. В тесной рамке деревенских и семейных отношений, в сосредоточенности трудового земледельческого быта, вне соблазнов городом,

владельческий крестьянин уцелел в заметной безгреховности. Обременяемый налогами и тяжестью искусственных и произвольных форм быта, он иногда выражает себя мстью, сопротивлением, но чаще отделяется мирною формою побега и, затем, бродяжничества. Его ловят на поджогах чаще, чем кого-либо из лиц других сословий, и на крайний случай ловят с фальшивым паспортом уже вдалеке от обогретого и насиженного им места, в виде бродяги, который при этом не умеет еще так искусно скрывать свое происхождение, как делают это, напр., мещане и, в особенности, дезертиры-солдаты и дворовые люди. Несколько сильнее лишь обнаруживается преступная наклонность в женской половине владельцев крестьян, чем в крестьянках государственных, да повреждение членов — одно из наиболее мелких преступлений у владельцев крестьян являлось на выручку и помощь там, где у воина недоставало ни умственного развития, ни достаточной воли, ни силы характера, как это чаще случалось при отбывании рекрутской повинности, при исполнении полного числа тяжелых урочных работ и проч.¹²

В наибольшей степени крестьяне всех родов и наименований являются виновными в преступлениях, направленных против собственности частных лиц; гораздо слабее в преступлениях против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц и в наименьшей степени в преступлениях против прав семейственных и против общественного благоустройства и благочиния.

Приводим таблицу преступлений, господствующих в сословиях (по расчету 1 на 100 сосланных)¹³.

ДВОРЯНСТВО

Государственные преступления — $\frac{2}{3}$ всего числа сосланных (9 проц. на 100 всех сосланных: 13 проц. служащих по военному ведомству, 3 проц. по гражд. вед.).

Преступления служебные — остальная треть сосланных (3 проц. на сто).

Подделка документов: у чиновников 23,5 проц., у служащих военных 17 проц., у отставных 14 проц. (у духовенства 7 проц., у мещан 3,75 проц., у владельч. крест. 3,5 проц., у купцов 3,6 проц., у дворовых 3,25 проц., у однодворцев около 3 проц., у казаков и солдат около 2 проц.).

Оскорбление родителей: дворяне, служащие в гражд. службе 1 проц., дворяне неслужащие 0,53, купечество 0,72, казаки 0,21, мещане 0,12).

Кляузничество (ябеды): дворяне, служ. по гражд. ведом. 4,5 проц. неслужащие 1,5 проц. (военные 0 проц., мещане 0,75, купечество 0,72, государственные крестьяне 0,27, помещ. крестьяне — 0,21, дворовые 0,18, духов. 0,16, казаки 0,11, солдаты 0,10, однодворцы 0,08).

Мздоимство и лихоимство 0,28 (купечество 0,4).

ДУХОВЕНСТВО

Святотатство: 34 проц. на сто сосланных (солдаты 3 проц., купцы около 3 проц., дворяне, не служащие и отставные, около 2,5 проц., мещане около 2 проц., казаки 1,81, проц., дворяне служащие около 1½ проц.).

Дурное (соблазнительное) поведение: 91 проц. (у владельч. крестьян 24,5 проц., т. е. заводск. и фабричн., у мещан 15 проц., у государственных крестьян около 15 проц., у купцов 5 проц., у военного сословия 3,5 проц., у дворян около 3 проц.).

МЕЩАНЕ

Воровство: около 58 проц., самый высокий после однодворцев — 63 проц. (купечество 53 проц., дворяне 49 проц., государственные Крестьяне около 47 проц., казаки 44 проц., дворовые 39 проц., владельческие крестьяне 38 проц., дворяне не служащие и отставные 36 проц., духовенство 27 — проц., солдаты 21 проц. дворяне служащие — 18 проц.).

Контрабанда: 0,61 проц. (казаки 0,53, государственные крест. 0,47 проц., владельч. крест. — 0,11 проц.).

КУПЕЧЕСТВО

Подделка фальшивых ассигнаций и монет: 6,5 проц. (у солдат около 4 проц., у дворян, служащих по военному ведомству, 2,5 проц., у мещан 1,76 проц., у казаков 1,25 пр., у дворян не служащих и отставных и у дворян, служащих по гражданскому ведомству — 1 проц., у духовенства около 1 проц., у государственных крестьян несколько менее, у владельческих, у однодворцев, у дворовых почти равная степень наклонности).

Преступления религиозные: 2,25 проц. (у однодворцев почти 1,5 проц., у духовенства — 1,25 проц.)

Пристанодержательство: 2,25 проц. (солдаты 1,5 проц., гражд. чиновники 1,5 проц., однодворцы около 1,5 проц., крестьяне госуд. 1,25 проц., духовные 1,25). Военные поселяне завинялись наименьше, затем из крестьян — заводские и фабричные.

ВОЕННОЕ СОСЛОВИЕ

Смертоубийство всех видов: у солдат слишком 22 проц., у казаков около 21 проц., у дворян, служащих по военному ведомству, 16 проц. (у государственных крестьян — 15,5 проц., у владельческих 13,25 проц., у дворян не служащих 11,75 проц., у купечества — 11,5 проц., у дворовых 11,25 проц., у однодворцев 11 проц., у духовенства 10,25 проц., у чиновников гражданских 7,25 проц.). Детоубийство (высший процент) у солдаток. Убийство мужей у заводских и фабричных, затем у однодворцев, дворян и военных поселян. По убийству родственников у дворян процент наивысший. Убийство родных — у фабричных с заводскими.

Грабеж: у казаков 10,25 проц., у солдат около 9 проц., у дворян, служащих по военному ведомству, около 11,25 проц. (у купцов около 6 проц., у государ. крест. 5,25 проц., у однодворцев около 5 проц., у мещан 4,25 проц., у владельческих крест. 3,5 проц., у дворян

неслужащих около 2 проц., у дворовых 1,5 проц., у духовенства около 1,5 проц.).

Побеги и бродяжество: у солдат 15,5 проц., у казаков 2,5 проц. (у владельч. крест., фабричн. и завод., около 2,5 проц., у мещан 2,26 проц., у государств. крест. 1,5 проц., у дворовых около 1,5 проц., у духовенства более 1,25 проц., у дворян военных несколько более 1,25 проц., у однодворцев почти 1 проц.).

Поджоги: дворяне военной службы около 5 проц., солдаты 2,25 проц., казаки 2,26 проц. (дворовые 3 проц., владельч. крест. около 3 проц., купцы 2,25 проц., госуд. крест. 2,25 проц., однодворцы 1,5 проц., мещане 1,25 проц., дворяне не служащие 1 проц.).

Плотские преступления: дворяне военных чинов 3,75 проц., казаки 2,75 проц., солдаты 1,75 проц. (граждан. чинов. 1,5 проц., государственные крестьяне 1,25 проц.). Изнасилование в военном сословии имеет высший процент.

Кража золота: солдаты 0,31 (помещич. крест. 0,25, государств. 0,23, дворовые 0,18).

ДВОРОВЫЕ

Возмущение и неповиновение: 5,5 проц. (чиновники гражд. около 4 проц., владельч. крест. 3,75 проц., солдаты 3,25 проц., государств. крест. — 3 проц., купцы 2,25 проц., мещане около 1 проц.).

Самоубийство: 0,48. За дворовыми и помещ. крест. — солдаты; затем казаки, государств. крест. и мещане.

ПОМЕЩИЧЬИ КРЕСТЬЯНЕ

Повреждение членов (членовредительство): 1,75 проц. (преимущественно у заводских, фабричных и пахотных с намерением избежать военной службы).

Корчемство вином: 2 проц. (государств. крестьяне 1,75 проц. и однодворцы 1,5 проц.; корчемство солью столь ничтожно характеризуется ссылкой, что в 20 лет, напр., является сосланных только 5 человек).

Рассматривая преступления по отношению к населяющим Россию инородцам, мы увидим, что татары и евреи (мещане) дают бóльшую цифру сколько по сравнительной количественности своей, столько же и по многим племенным условиям. Татарин и еврей, если, вообще, не на хорошем счету у русского народа, то, во всяком случае, наблюдения убеждают в том, что на татар, по преимуществу, падают преступления самые тяжкие, каковы смертоубийства, грабежи и разбои; на евреев менее тяжкие, каковы преступления против собственности.

Татарин — по народной примете и пословичному выражению — либо насквозь хорош, либо насквозь мошенник. В последнем случае убийства их отличаются большою жестокостью, разбои — большою ловкостью и отчаянностью, грабежи — крайнею дерзостью и изворотливостью. Воровство у татар сравнительно редко, и оно в большей части направлено на тот пункт, на котором у них только два соперника: цыган и башкир; это — конокрадство. Так, напр., за воровство в течение 6-ти лет сослано татар всего только 20, зато убийств сделано 42, грабежей произведено 51, разбоев 9 (80 мужчин и 3 женщины сосланы в это же время за так называемое развратное поведение). Татарин часто бежит от службы, бродяжничает, несмотря на незнание русской грамоты и письменности, не прочь составить фальшивый вид, подделывать монету; он, вообще, недурной хлебосол, а потому не ускользнул и из ссыльных-пристанодержателей. Татары охотнее укрывают беглых, чем какие-либо другие инородцы, исключая, может быть, одних только *тептярей*. Татары приметно ослабляют своим участием и вмешательством общие цифры детоубийц, кровосмесителей, отцеубийц, свято-татцев. В среде братоубийц у них только одни соперники — башкиры. Резко выдается в татарском населении склонность к членовредительству, как определенное стремление к избежанию от военной службы по рекрутской очереди. Татары же вместе с башкирами

чаще многих других успевают убежать из-под стражи, не выдерживая пытки неволи. Их превосходят в таких делах и поползновениях одни лишь кавказские горцы.

Как будто еще до сих пор живут, сильно действуют и долго не иссякнут в природных свойствах всех многочисленных осколков монгольских племен свойства, воспитанные дикою жизнью азиатских степей и гор и широким простором для воли в глуши лесных и степных губерний восточной России. Здесь еще много в народе тех элементов, которые рождаются в степи и воспитываются ею, оправдываются в понятиях и законах номадов. Элементы эти, выдвинутые на вид и поставленные на суд оседлого народа, оказались проявлениями дикой и необузданной воли, преступлениями. Баранта оказывается самым нахальным и отчаянным грабежом и разбоем с неизбежным последствием смертоубийств; упорное отстаиванье степной воли является также преступлением и называется «возмущением против законом установленных властей»; народное удалство, степное молодечество обзываются разбоем или грабежом и получали оценку на торговых площадях под ударами сначала кнута, потом плетей и палок. Вот почему беспокойная неуживчивость с порядками господствующего народа, не успевшая выразиться открытым неповольством, но достаточно надоевшая начальствам, по преимуществу ведет инородцев в ссылку под темным именем ссыльных «за развратное поведение». Калмыки, киргизы, черкесы, чеченцы, лезгины, куртины преимущественно попадают в ссылку под названием возмущившихся против законом установленных властей, за грабежи и убийства исключительно. Вот почему ногайцы, наиболее других сохранившие свойства степных кочевников, хотя и редко появляются в списках ссыльных, но всегда идут за грабеж. Грузины идут на убийства, за вспышки своего горячего южного темперамента. Он же уводит в изгнание и башкир весьма часто за те же убийства и грабежи. Чуваши, вотяки, мордва, черемисы — флегматики по темпераменту, не умевшие

племенного недовольства довести до открытых бунтов и вооруженных восстаний и ограничившиеся лишь ропотом, обвиняются в так называемом развратном поведении, которое, по тягучести своего значения, совсем не определенного этою рубрикою таблиц приказа, вмещает в себе и вольные и невольные противоборства закону: и неумение примириться с русскими законоположениями, и неспособность подчиниться местным административным распоряжением, и прочее тому подобное. Все это на темпераменте монгольских племен, разжигаемом фанатическим учением корана, выразилось открытыми восстаниями у киргиз и башкир, как у кавказских горцев убийствами гяуров. Рассматриваемые нами годы представляются одними из самых беспокойных в племени башкир, туго привыкающих к законам государственной организации, в прошлом столетии принимавших самое деятельное участие во всех народных волнениях по Волге и за Волгою, в нынешнем затевавших бунты в доказательство своей неуживчивости и своего недовольства русскими порядками. Теперь они огражданились. На смену их выступил очередной вопрос колонизирующего начала над степными киргизами, которые, в свою очередь, в наши дни успели дать немалое количество национальных консерваторов, угодивших в ссылку. В шесть только лет башкир за возмущение против властей выслано 77 мужч. и 4 женщ.

За то же число лет сосланных за возмущение дали: 41 калмык, 11 чел. киргизов, 10 черкесов.

Смертоубийств учинено: 42 башкирами, 7 черкесами, 8 киргизами.

Грабежей наделано: 11 башкирами, 10 черкесами.

За воровство-кражу сослано: киргиз 12, башкир 20.

За развратное поведение башкир сослано более всех инородцев — именно: за 6 лет 77 мужч. и 4 женщ. (в этом числе 5 тептярей).

Татары, при своей абсолютной многочисленности (по сравнению со всеми другими инородческими племенами), дают определение себя в следующей таблице:

За	развратное поведение	80 мужч.	3 женщ.
—	воровство	191 —	5 —
—	смертоубийство	55 —	3 —
—	грабеж	46 —	5 —
(в том числе 2 ногайца).			

За	пристанодержательство	9 мужч.	5 женщ.
—	разбой	9 —	—
—	поджоги	3 —	1 —

При этом на инородцах монгольской расы лежат упреком столь тяжкие и редкие преступления, как отцеубийство, братоубийство. Кровосмешением они также выдаются из ряда.

Нельзя не заметить, что в женской половине мусульманского населения России преступная склонность несравненно слабее всех женщин других господствующих исповеданий. Степные обычаи успели так отвести женщину от общественной жизни, а коран так закрепил ее у домашнего очага и в затворе, что она может грешить перед законом лишь хлебосольством, т. е. пристанодержательством, но едва ли и здесь не та же апатия, не то же тупое равнодушие, как следствие примечательной неразвитости. Продажная вещь, рожающая героев, сама никогда во все века не дорастала до героини, не имела средств и случаев выразиться каким-либо сильным рельефным порывом, хотя бы даже и на какое-нибудь преступное деяние.

Женщина у евреев, сумевшая выбиться из затвора и завоевать своими дарованиями право на участие во всех хлопотливых и меркантильных делах мужа, представляет собою более видное явление. Резкой границы между мужем и женою в еврейском племени не существует. Скажем больше: еврейка во всех делах продажи и купли, где не требуется хлопотливой, нервной деятельности факторства и непоседливой беготни, в лавочной и домовой торговле, — с достоинством занимает место

мужчины, и еще не решено, чьи способности определеннее и сильнее: хлопотливого ли, вечно бегающего мужа или сидящей за прилавком жены. Вот почему еврейка является уже с более крупною склонностью к преступности, чем мусульманка, хотя и реже женщин всех других исповеданий. Воровство представляется одною из крупных причин к преступлению, за которую являются еврейские женщины в ссылку; затем уже стоит их соучастие в различных преступных поползновениях мужей.

Из числа других инородцев немцы, при существовании собственного привилегированного суда в остзейских губерниях, не только сами не дают возможности судить их по степени склонности к преступлениям, но даже отнимают возможность производить те же наблюдения над безусловно-подчиненными им другими инородческими племенами России (каковы эсты, ливы, латыши). По этой причине в немецком населении, присылающем в Сибирь случайные жертвы ссылки, можно видеть слабую склонность ко всем видам преступлений. Исключение составляет одна только контрабанда. Не видать ни виновных в плотских преступлениях, ни виновников в похищении казны и, вообще, во всяких многообразных ущербах ее интересам и другом прочем. С некоторою отчетливостью выясняется в лютеранском населении Остзейского края, податном и земледельческом, склонность к поджогам, выражающимся наибольшим процентом для женщин. Наибольший процент сосланных за дурное поведение лютеран (эстов, ливов и, в особенности, латышей) доказывает лишь силу домашнего произвола и бесконтрольность суда остзейских собственников над их вассалами — крепостными рабочими. Очень может быть, что в этом проблеске правды, отчасти освещаемом тобольскими табелями, можно подозревать и оправдание поджогов, как мщения за притеснения, и т. п. Склонность к поджогам у женщин лютеранского исповедания сильнее, чем у женщин-католичек и православных. Инородцы

финской расы отличаются такою же слабою склонностью к преступлениям, как немцы и русские подданные лютеранского закона, несмотря на то, что обе расы стоят на двух противоположных полюсах умственного и нравственного развития¹⁴. Чрезвычайно неприметно мелькают самоеды наряду с другими инородцами финского племени, как виновные в краже. Мордву, черемис, чувашей, вогулов позднейшие тобольские табели перестали даже выделять из общего числа ссыльных. Хотя эти племена наиболее успели слиться с соседями и затонуть в славянском море, тем не менее в их племенных обычаях, в темпераменте, в условиях быта, утверждаемого еще до сих пор на кое-каких осколках древних законов номадов — следует искать оправдание очень многих причин ссылки. Едва ли ввиду этих данных может что-либо определившееся и характерное подсказать вероисповедание, за которым может спрятаться живой и пылкий темперамент рядом с вялым и флегматическим; рядом с грамотным и развитым немцем, испорченным городской жизнью, зачтется забитый, задержанный в развитии теми же немецкими баронами какой-нибудь деревенский эст или латыш; с оседлым и развитым касимовским и казанским татарин под мусульманином пройдут степные дикари вроде ногайца и киргиза, или дикари горные, вроде чеченца или лезгина. Этим племенным свойствам должны уступить свое место влияния религиозные, которые, при всей тщательной разработке этого вопроса по тобольским табелям, подсказывают весьма немногое. Они говорят, напр., что затворница-мусульманка наименее всех склонна к преступлениям, однако в равной же степени процентных отношений находятся в безгреховности домоседки православного исповедания: купчихи и жены лиц духовного звания — попадьи, дьяконицы и дьячихи, но наибольшую часть сытые и хорошо обеспеченные. По тобольским табелям католикам наиболее присущи государственные преступления, но под католиков попали поляки, потерявшие свое отечество и

в поисках его свободы, действительно, увлекшие своих ксендзов, — представителей веры, и, действительно, в костелах и церковных песнях сумевших найти наилучшие места и средства к политическому возбуждению. Правда, что индифферентные в вере, обезличенные унией обитатели западных окраин Империи виновны в святотатстве, но виновны они столько же, как и евреи, для которых преступность святотатства в национальном, религиозном смысле исчезает в преступлении простого воровства. Если в преступлениях против самой религии наибольшая виновность остается за православными, то и в этом случае она далеко не в равной степени распределяется между северными и южными жителями России: великоруссы, отличающиеся наибольшою пытливостью в делах веры, числом ссыльных несравненно превосходят индифферентных малороссов и белорусов, как в преступности по богохульству и отвлечению от веры, так и по ересям, расколам, скопчеству и т. п.

Русские подданные православного исповедания, во всяком случае, заявляют наибольшую склонность лишь к бродяжничеству и тесно с ним связанной подделке документов (т. е. фальшивых паспортов). Сильная виновность православного населения России замечается еще в преступлениях убийства и в подделке ассигнаций, но в склонности к убийствам православные уступают мусульманам, у которых она сильнее, а по процентным отношениям подделывателей ассигнаций и монеты над русскими преобладают евреи. Виновность в бродяжничестве ослаблена для русских в настоящее время совершившимся великим фактом — освобождением от крепостной зависимости. Последняя была основною причиною этого исключительного русского преступления.

Часть III

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

Политические ссыльные Государственные преступники

ГЛАВА I

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ

Ссылка поляков в Сибирь. — Первые ссыльные поляки: Черниговский на Амуре. — Крыжановский. — Ловелас. — Воевода Обухов. — Польские конфедераты. — Злодейства над ними. — Состояние администрации в Сибири. — Пестель. — Трескин. — Исправник Лоскутов. — Сперанский. — Немцов и разбойник Гондюхин. — Собачья оспа. — Кох. — Уширванский полк. — Народные притеснители. — Чудак Нарышкин. — Горные начальники: Рычков, Барбот-де-Марни, Милекин. — Фриш, Черницын. — Шведские пленные. — Татищев. — Бенеvский — известный искатель приключений. — Его бегство из Камчатки; разнообразные похождения вокруг света и смерть на острове Мадагаскаре — Судьба его товарищей.

Переходя теперь к так называемым политическим и государственным преступлениям, мы на этот раз останавливаемся на ссыльных за политические преступления, т. е. поляках, и по задаче нашей работы на тех чертах и особенностях, которыми характеризуется их ссылка в Сибирь. Сосланные за государственные преступления, по исключительному отношению к лицам русского происхождения и также к значению их на местах ссылки в Сибири, предназначается следующая статья.

Сибирь сделалась местом политической ссылки и временного приюта для политических ссыльных, в значении карательной меры, с тех самых пор, как судьбы Польши теснее соединились с судьбами России. Постоянная и притом систематическая и ежегодная высылка людей, недовольных этим воссоединением, началась

со времен Екатерины, т. е. с первого раздела Польши. Вместе с ними с этого же времени начали появляться в Сибири поляки, ссылаемые и за все другие роды преступлений, возмещаемых ссылкой. Преступники последних видов освобождали свою родину в подчинении общим законам человеческой преступности, не представляя резких и характерных особенностей. Преступники политические появлением своим в Сибири стали представлять бóльшую или меньшую степень политического возбуждения умов в царстве, лишенном прав на самостоятельную государственную жизнь. Наибольшее скопление польских патриотов в ссылке, выражаемое значительным возрастанием цифры ссыльных, стало указывать на предшествовавшие государственные кризисы Польши, когда она против русского владычества в крае поднимала восстание и платилась затем изгнанниками «за бунт и измену, за преступления по первым двум пунктам, за неповиновение и за оставление отечества». Цифры по годам стали указывать на исторические эпохи завоеванного и побежденного народа и, группируясь в числовые итоги, сумели выразить в ссылке три различных периода ссыльной жизни поляков в Сибири. К первому периоду относится время от появления в ссыльной стране первых поляков — барских конфедератов, с последующею затем высылкою поляков из войск Костюшко до времени освобождения тех и других императором Павлом. Время до 26 года прошлого столетия протекло без излишних жертв для польского народа, но после восстания 1831 года выразилось в Сибири быстрым увеличением числа изгнанников, которые оставались в Сибири до восшествия на престол Императора Александра Николаевича. Кроме замешанных в каких-либо новых преступлениях на местах ссылки, все, находившиеся в Сибири политические изгнанники были возвращены на родину; осталась незначительная часть. В течение шести последующих лет политических ссыльных в Сибири не было, но с весны 1863 года стали прибывать пер-

вые, новые и значительные партии поляков, так что к концу 1866 г. общее число ссыльных поляков возросло до 18 тыс. душ обоего пола. Для ссыльной Польши наступил третий, современный нам период. Рассмотрим каждый из этих периодов отдельно, для более ясного представления исторической картины политической ссылки поляков.

Задолго до времен Екатерины, до обнаружения более ярких и характерных черт польской ссылки в те времена, когда русские казаки кончали свои завоевания в Сибири (выстроив остроги на Лене, пробирались в Камчатку) и промышленные люди забрались уже на Амур, в те времена безрасчетных завоеваний и бесконечных походов и приключений, в сибирских летописях является имя первого ссыльного поляка — Никифора Черниговского. Насколько можно верить свидетельству летописи о польском происхождении этого человека, носящего не польскую фамилию и русское имя, Черниговский — почти единственное лицо, представлявшее поляка в то темное и малоисследованное время сибирской истории. Личность эта, впрочем, характерна тем, что с нею соединяется история первых наших заселений на Амуре. Если в нем не выражался тип польского удалыца тех славных воинственных времен Польши, времен Яна Собеского, то, во всяком случае, в нем выяснился один из тех смелых и решительных завоевателей, которыми богата была Сибирь в тот век окончательного ее покорения под высокую руку московских царей. Имя Черниговского встало наряду с именами Хабарова, Атласова, Пояркова и другими.

Откуда этот поляк был родом, какие судьбы привели его в ссылку и поселили на Лене, был ли он военнопленным, взятым на войне 1658 года, начатой за принятие Россией под свое покровительство Малороссии — летописи и предания не говорят. Жил он в Устькутском остроге и был досмотрщиком за соляными промыслами. При нем некто Сорокин, успевший собрать в Верхоленске партию головорезов в 300 человек, с есаулом

Краснояром и Петровым пробирался на судне вверх по Лене на Амур. Дорогою шайка грабила купцов и промышленных людей: в остроге, на устье Куты, ограбила казну, била и пытала купцов и служилых людей; поджидала ехавшего с реки Илим воеводу, но, потеряв терпение, отправилась на устье реки Олекмы, чтобы и здесь ограбить казенные запасы именно те, которые снаряжены были для отправки на Амур в Албазин. В Тугурском остроге Сорокин отыскал порох, зарытый в землю, пробрался на Амур, ограбил там всех, кого нашел, но тем и покончил; часть шайки его истребили амурские жители, другую — голод; третья часть рассеялась по старым знакомым местам на Лене.

В это время (1665 г.) в Устькутский острог успел благополучно прибыть илимский воевода Лаврентий Обухов; успел отдохнуть, оглядеться; осмотревшись, удалось ему заметить, что у соляного надзирателя Черниговского жена хороша, да такая, что он, не бывавший в Польше и притом долго голодавший на сибирском лесном безлюдьи, много не думал. Класть на весы свои воеводские права с правами ссыльного сибирский воевода счел за грех и за большое для себя преступление. Бесчисленные примеры были у него перед глазами: сам знаменитый завоеватель Амура Ерофей Павлович Хабаров, слабый в эту сторону, не упускал своей выгоды и владел чужими женами, никого не спрашиваясь. Обухов отнял жену у Черниговского и, кончив дела на Лене, поплыл с красивою полькою вверх по Куте в Илимск. Но что Хабарову сходило с рук (он обломал бока якутским крестьянам, присланным в Киренск на его заимку для поселения, и ничего с ним за то сделать не смели), что Хабарову удавалось и чем другим воеводам счастливо, на том Обухов оборвался. Черниговский решил мстить: собрал товарищей, напал на воеводу, убил его и прислугу, захватил имущество, не разобрав казенного от воеводского, и, так как в это время шатались без дела свободные люди из шайки

Сорокина и много других удальцов, то Черниговскому и не мудрено было сбить большую шайку. С нею, само собою разумеется, отправился он обычною в те времена и торною дорогою с бывальными и знающими языками на тот же Амур, о котором не переставали ходить баснословные слухи. Пошел он туда именно в то несчастное время, когда преемники и последователи Хабарова успели испортить дела до того, что русские люди стали уходить с Амура назад. Степанов был убит, часть казаков пустилась через Хребты в Якутск, другая по реке добралась до Шилки, там отыскала Пашкова и поступила к нему на службу. Амур опустел.

Черниговский вышел на Амур именно в том месте, где стоял дотла разоренный китайцами Албазин. Наскоро построил он тут же деревянную крепость (18 саж. длины и 13 ширины), на стене к реке укрепил две башенки, на нагорной к лесу — одну, но со въездными воротами. Изб для своих удальцов внутри крепости он не строил (как сделал это Хабаров и делали прочие сибирские казаки-завоеватели); казацкие жилища приладил он вне, в стороне; внутри крепости соорудил только одну кладовую. Построив острог, Черниговский принялся за обычные дела тех мест и того времени: стал собирать с тунгусов ясак крупными и пушистыми, знаменитыми и в наши дни, албазинскими соболями, но, памятуя об убийстве воеводы и, по примеру Ермака, стал отсылать ясак в Нерчинск, к воеводе. Потом уже он прямо от себя с нарочными отправил в Москву и отборный ясак и повинную. 15-го марта 1672 года, по первому приговору в Москве, Черниговского с сыном приговорили к смертной казни, а 46 человек его первых устькутских товарищей к жестокому телесному наказанию, но, по бывалым примерам, через два дня приговор отменили и вместо казни сказано Черниговскому милостивое государево слово: за вину прощение и греха разрешение, да сверх того положена была награда в две тысячи рублей. Из Нерчинска прислан от воеводы приказчик, в

1681 году от царя из Москвы воевода Толбузин; товарищи Черниговского выстроили Покровскую слободу и занялись хлебопашеством. Русская жизнь на берегах Амура опять закипела и приладилась уже настолько прочно, что некий старец, иеромонах Гермоген, заложил неподалеку от города, на Брусянном камне, монастырь во имя Спаса. Прибыли крестьяне, и Покровская слобода стала походить на настоящее деловое селение. Почин Черниговского возымел блестящий успех: Амур опять потянул на русскую руку (но тянул недолго). Сам Черниговский сошел со сцены и исчез во мраке исторических времен: имя его больше не повторялось. Что случилось с ним, с этим первым поляком в Сибири, — покрыто мраком неизвестности. Точно так же и последующие военнопленные литовцы, вместе с московскими стрельцами, присылаемые из Москвы, с самых древних сибирских времен, поступали в казаки и в этом сословии исчезали бесследно. Из них на сибирские письменные памяти удалось выделиться одному: Юрию Крыжановскому, оказавшемуся в 1677 году ясачным сборщиком у тунгусов. Сборщик этот так притеснял этих мирных инородцев, что они вышли из терпения, стали мстить: перебили казаков и в количестве тысячи человек осадили Охотск и пошли валом на приступ острога. Крыжановский не успел спрятаться в остроге и был осажден в собственном доме. Тунгусы выломали окно у избы, под стену наклали огня, засев в казачьих домах слободы, стреляли по острогу. Приказный Ярышкин не мог помочь Крыжановскому, напрасно вопившему о помощи. Приступ, однако не повторился. Явились следователи, начался суд. Оказалось, что Крыжановский лучших соболей отбирал себе; в казну складывал поплоше, брал у инородцев жен и детей на блудное дело и проч. Его с Ярышкиным нещадно били кнутом и сослали в даурские остроги, с тем чтобы там обоим ни к каким делам не определять¹⁵.

Выходя из мрака XVII в. в ближайшие к нам времена прошедшего (XVIII) столетия, мы встречаем в

конце его следующих группами поляков: сначала, как мы сказали, в виде барских конфедератов — высленцев генерала Кречетникова и прусского полковника Сюлли (1769 г.), потом приверженцев Костюшко (1794 г.). По указу 20 июня 1795 г. присланы были поляки «обитатели древних российских областей, к Империи возвращенных» по одному человеку в Пелым, Якутск, Тобольск, Нерчинск, Селенгинск и Березов и 9 человек в другие отдаленные города¹⁶. Первых из них (конфедератов) предание приводит из Польши измученными на родине различными варварскими истязаниями: с отрубленными носами и ушами¹⁷; сибирский губернатор Шеншин встретил их, судя по народному же преданию, с чувством затаенной злобы и непонятного мщения. Он, говорят, привязывал их к длинным и толстым деревянным круглым колодам по несколько человек вместе и приказывал, таким образом, спихивать с высокой горы тобольского кремля. «Обрубок, катясь с крутой горы, разбивал несчастным головы и на лучший конец сокрушал кости». Несомненно одно, что Сибирь не только в прошлом, но и в первой половине нынешнего века представляла страну, страдающую от произвола властей, от их жестокого корыстолюбивого нрава и диких черт характера в такой степени, что с трудом верится жалобам очевидцев и сказаниям современников. Еще Генниг писал Петру I из Екатеринбурга: «А ты государь, пожалуйста, не слушай, что тебе говорят о Сибири. Все они там мошенники и взяточники, верь так! С чего мне тебя обманывать?» И не обманывал: князя Гагарина, властителя Сибири, Петр принужден был вызвать в Петербург и повесить в 1721 году «за его неслыханное воровство». Кому не известен сибирский герой Пестель, одиннадцать лет управлявший Сибирью из Петербурга, с клеветом своим, иркутским губернатором Трескиным, — люди начала прошлого столетия? Пестель управлявшего тобольскою провиантскою комиссиею, генерал-майора Куткина, за то, что тот на званом обеде позволил себе в чем-то не согласиться с ним, всемогущим

генерал-губернатором, гнал до конца жизни: отдав под военный суд, девять лет томил под строжайшим при-
смотром в его собственном доме и, разлучив с семей-
ством, не позволял свиданий: дочь от слез ослепла; сам
отец умер под стражею и оправдан Сенатом уже после
смерти. Семейство Куткина (жена с несколькими до-
черьми) доведено было до крайней степени нищеты;
какой-то добрый человек, женившийся на одной из до-
черей больше из сострадания, вывез несчастное семей-
ство в Россию уже после смерти страдальца. В то же
время Трескин те же 11 лет из Иркутска управлял Пе-
стелем в Петербурге, а на месте был жестоким тираном
и деспотом, министерских предписаний не слушался,
частных прав не уважал. Зашалившийся на выходках
произвола, он заставлял не только старших чиновни-
ков, но и самого вице-губернатора снимать и подавать
себе шубу и, замечая неловкость, бранил их тут же на
чем свет стоит. При помощи жены своей, ему неверной
и жадной взяточницы, он сумел поставить дела управ-
ления на ту ногу, что они стали всем ненавистны и не-
выносимы. Вместе с Пестелем он был на своем месте
крепок, и оба вместе они были едва победимы. Трескин
отставил от службы одного советника казенной палаты
и выслал его из Иркутской губернии с требованием ко
властям не позволять ему жить в одном месте больше
десяти дней. Пестель прибавил к этому то, чтобы не вы-
пускать гонимого из пределов Сибири; несчастный чи-
новник с семейством на цыганских и бродяжьих правах,
 всю жизнь свою принужден был странствовать по Си-
бири. «Народ стenal от несправедливостей и поборов,
но его стенания заглушались тою же силою, которая их
возбуждала». Жаловаться было невозможно: на сибиря-
ков наложена была Екатериною епитимия, сибиряки
признаны были кляузниками, людьми беспокойными,
ябедниками. В одном указе ее было выговорено следу-
ющее: «Читано перед нами несколько тысяч листов под
названием сибирского Якобиевского дела, из которого

мы ничего иного не усмотрели, кроме ябеды, сплетен и кляуз», и проч. Якобий был известен сибирякам как безжалостный тиран. Положенное на Сибирь клеймо делало последующих тиранов безопасными, способствуя им расширять произвол и встать не только вне закона, но и здравого смысла. За жителей Иркутской губернии счел обязанностью заступиться даже и тогдашний архиерей Михаил. Можно судить, насколько было тяжело ссылкой уже из одного того, что судьба их была вверена такому человеку, как Лоскутов (нижнеудинский исправник), которому поручено было устройство дороги между Красноярском и Иркутском. Дорогу он проложил превосходную; селения выстроил огромные; из бродяг сделал хлебопашцев и устроил дела так, что, по преданию, выроненного проезжим по дороге кошелька никто не смел утаить. Каковы были прикладные средства и в чем состоял их секрет, можно понять из того, что слух об его жестокостях проник даже до Петербурга. На месте одно имя Лоскутова обдавало всех ужасом. Суровый и самовластный, как и его начальник Трескин, Лоскутов иначе не въезжал в селение, как с казаками, которые везли воз розог и прутьев. Осматривая избы, заглядывая в печи, в чуланы, впутываясь насильно во всякую подробность домашнего быта, он безжалостно наказывал за всякое уклонение от предписанных им правил. Если хлеб был дурно выпечен, он немедленно сек хозяйку розгами; если квас был кисел или в летнее время тепел, сек и хозяина. Ботфорты его, которых он не снимал с себя и ночью, хорошо помнят до сих пор. Когда он узнал о приближении ревизоров, то по всему уезду отобрал бумагу, перья и чернила; однако два старика осмелились написать прошение и вручить его Сперанскому. Когда Сперанский, в присутствии самого Лоскутова, велел читать секретарю своему это прошение вслух, старики упали ниц и не вставали, выжидая, что громовые силы разобьют их на месте. Когда Сперанский тут же отрешил исправника от должности и

арестовал и когда приведенным в чувство просителям объявил это решение, они, трясаясь всем телом и схватив ревизора за полу, умоляли его шепотом не губить себя: «Что ты делаешь? не было бы тебе самому чего худого. Ведь это Лоскутов, верно, ты его не знаешь». Тем не менее имущество исправника, доходившее ценою до 80 тыс. руб. (в деньгах, серебре и мехах) было арестовано и сам он отправлен с передовым в Иркутск. Союз друзей, трех исправников, всех столько же злых и отважных, как и первый из них, Лоскутов, был, таким образом, разрушен.

Сибирь в это время была свободна от политических изгнанников. На их долю выпали тиранические порывы и деспотические выходки людей предшествовавшего века, столь же жестоких и несправедливых от недостатка образования и нравственного развития. Иркутский губернатор Немцов, или, как он сам подписывался, «со властью губернаторскою бригадирского ранга Немцов», учреждает какую-то глухую команду, ездит с нею по городу и наводит страх на мирных жителей; находится в дружбе с известным разбойником Гондюхиным; раз зазывает гостей на пикник за город, где нападает на них этот разбойник с шайкою и грабит до последней нитки. Мелких подчиненных Немцов бьет своими руками. Одного из чиновников покрупнее велит привязать к столбу и держит на привязи долго в страх и поучение прочим. Объязды охотского коменданта Козлова-Угреина по его области долго вспоминались на Камчатке под именем «собачьей оспы». Другой охотский начальник оставил о себе память в известной поговорке: «На небе Бог, а в Охотске — Кох». Народ так был уверен в несокрушимой истине подобных поговорок и той, что «до Бога высоко, а до Царя далеко», что охотно поступал по примеру той сибирской горожанки, у которой воеводша отняла кур с цыплятам, и обиженная утешалась тем, что поставила в церкви к иконам свечу за обидевших ее. Купцы и порядочные посадские,

удостоенные чести приглашения к столу начальников в большие праздники и именины, уходя домой, считали обязанностью своею оставлять хозяину за угощение по полтине и по рублю. За одних утесняемых граждан по-пробовал заступиться городской голова, пожаловался министру и был за то ближайшим начальством выслан в Нерчинск (брат его в Жиганск), где оба скоро умерли. Другого именитого купца довели до сумасшествия, посадили в дом умалишенных, откуда он пропал без вести. В Иркутске не остановились даже пред самым архиереем: вызвали его на суд, судили его судом священников, заставляли ездить в маскарад и любоваться фарсами масок, скакавших и плясавших перед ним. И так далее до бесконечности.

Переходя от высших к низшим, мы видим целый полк, расположенный в Западной Сибири, превратившийся в организованную огромную шайку грабителей: за притеснения, грабежи и бесчинства над обывателями сибиряки прозывают этот полк — Ширванским-Уширванским¹⁸. «Сибирь, — по выражению соликамского летописца, — была наполнена присяжными разбойниками, кормящимися властями, т. е. воеводами, комиссарами, приставами, для коих украсть, ограбить, даже убить человека из-за денег, продать душу за алтын считалось ни во что». Горные начальники, будучи независимыми от губернатора, за темными лесами, за высокими горами, в нескольких тысячах верст от России, пользовались такою обширною властью, что охотно употребляли ее во зло. Они могли производить в чины до капитана, могли награждать и наказывать чиновников, и вот, один из таких, приехавший в нерчинские заводы в 1775 году, Вас. Вас. Нарышкин, человек древнего боярского рода, крестный сын Екатерины II, произвел в офицерские чины, на место исключенных им прежних чиновников, новых из каторжных. Произвел из таковых 120 человек и, в том числе, в офицеры двух барских конфедератов, которые сосланы были сюда в

солдаты рабочего горного батальона (Перхуровича и Викентия Касаковского). Этот Нарышкин с самого приезда одиннадцать месяцев просидел дома с закрытыми ставнями, никуда не выходя, никому не показываясь. Решившись покончить с затворничеством и выйдя на свет Божий в Светлое Воскресение, начал целый ряд чудачеств и сумасбродных выходов: вместо заутрени на Пасху велит служить прежде обедню, в церковь ведут его две толстые женщины, он идет, приплясывая и припевая свою любимую песенку («Батюшко богат, черевички купил»); идущие сзади чиновники ему подпевают. Принявшись за дела, он приблизил к себе пятерых секретных арестантов, из которых двух сделал секретарями; за вины бил батожем и не сказывал за что: «известно-де мне единому»; в растрате казенных денег не стеснялся, отчета об них и самих денег в Петербург не посылал. Когда не хватило казны, он взял деньги у богатого купца Сибирякова, имевшего некоторые заводы на аренде. Когда в другой раз Сибиряков отказал, Нарышкин явился перед его домом с пушками и угрозой стрелять, если купец не выдаст потребного; Сибиряков вышел на крыльцо с серебряным подносом, на котором положены были затребованные пять тысяч. Учредил какой-то новый праздник («Открытие новой благодати»), приказывал всем каяться во грехах, истрелял много пороху, того самого, который так необходим при горных работах. Набрал войско, присоединил к нему вновь организованный гусарский полк из тунгусов и двинулся с пушками и колоколами походом из Нерчинского завода через город Нерчинск, Братскую степь и Верхнеудинск на Иркутск. По дороге останавливал купеческие обозы, отбирал товары, выдавая расписки. Хотел завладеть Иркутском, но это предприятие ему не удалось. Самодур, названный в указе шалуном, успел натворить много бед, оставил на следах своих много всяких глупостей, чудачеств и приключений. В Верхнеудинске его арестовали хитростью, увезли в Иркутск, где он снова еще долгое время чудачил, пока не

увезен был в Петербург (см. ниже «Историю каторги»). Последовавшие за ним (исключая Барбота-де-Марни) горные начальники были немногим лучше его. Рычков хотя и был образованным и умнейшим человеком, но в то же время суровым до того, что забивал людей палками до смерти, хотя смертная казнь и уничтожена была еще Елизаветою. Начальник Кутомарского завода Милекин жестоким обращением своим навел на всех такой страх, что во время прогулок его по улицам дети убегали прочь и старики прятались за углами домов, а когда ходил по селению, живой души не было видно, всякий боялся встречи с ним. Другой из приставников, еще меньше званием и мельче знанием (урядник Кулаков), походил на решительного зверя: всякий раз, когда он шел на место работ, за ним несли пуки розог. Если он бывал в неприятном расположении духа и кто-нибудь не понравился ему на первых шагах, приказывал сечь розгами, одного за другим, всю громаду работников; некоторых уносили прямо в лазарет. Поднимаясь по чинам обратно выше, мы наталкиваемся на одного из таких, который из дозорщиков уральских за то, что забил палками одного работника за криво вкопанный в землю столб, был прислан в начальники Нерчинского рудника. Горный начальник Теодор Фриш, которого жена водила за нос, попускал слабостью своею настолько, что злая женщина позволяла себе наказывать подчиненных и любила сама присутствовать при наказании. Другой горный начальник, кривой Черницын, был настолько жесток, что не ходил и не ездил без плети. В дороге требовал, чтоб его везли не иначе, как вскачь, и если ямщик останавливался, он сам выходил из экипажа и производил собственноручную жестокую расправу. Много лошадей пало под ним; много страху и всяких обид натерпелись от него все, над кем ему доводила судьба начальствовать; раз вскинулся на крестьянина за то, что тот во время разговора с его помощником оборотился к самому Черницыну спиною, и избил его так, что невинный крестьянин через два дня умер.

Но эти последние деятели увели нас из восемнадцатого столетия в девятнадцатое (Черницын начальствовал в двадцатых годах прошлого); возвращаемся назад, в прошлое, чтобы досказать о судьбе первых польских ссыльных в Сибири.

Народная почва, к довершению несчастий первых политических ссыльных, была еще не готова. Им на первых же порах привелось столкнуться с самым крупным народным предрассудком, основанным на религиозном предубеждении, а потому вдвойне опасным. Для православных сибиряков поляки были поганые «обливанцы». Когда появились в Сибири первые иноверцы в виде пленных шведов из войск Карла XII, ни одна сибирячка не решалась выходить за них замуж. В 1714 году в Тобольске их гнали с квартир, выбрасывали на улицу их пожитки, осыпали бранью. У начальства они не находили защиты, получали даже пощечины. Русские считали их нехристями, священники не венчали. Хотя некоторым шведам и удалось жениться на православных, но жен у них отнимали и выдавали за других мужей. В. Н. Татищев, известный устроитель уральских заводов, принужден был выговорить себе право позволять на р. Исети (где теперь Екатеринбург и где он полагал основать завод) селиться желающим из шведских пленников, с тем чтобы им позволено было жениться на русских девушках без перемены религии. Это требование вызвало указ Синода, разъяснивший, что брак с иноверцами безгрешен¹⁹. Браки установились, но не было такого высшего правительственного места, которое владело бы силою разъяснять и ослаблять другие общественные предрассудки. Положение первых политических ссыльных было весьма не блестящим. Из группы первых ссыльных поляков ярче других выступает одна замечательная личность, сумевшая своими похождениями значительно оживить вообще однообразную историю политических ссыльных и наполнить рассказами о себе не только Сибирь

и Россию, но и Европу. Имя его стало для Сибири настолько историческим, что и до сих пор там жива о нем память, несмотря на то, что место действия — один из самых глухих и отдаленных углов Сибири. Это Мориц-Август Бёневский, именовавший себя в Камчатке венгерцем Бейноксом и называвшийся тамошним народом «Август-Поляк». Судьба его так интересна, что мы решаемся остановиться здесь, чтобы восстановить правду события по сказаниям сибиряков-свидетелей дела в сопоставлении с рассказом самого героя, неумеренно лживого и не безрасчетно хвастливого²⁰.

Бёневский с прочими конфедератами, в силу правила, обрекавшего в ссылку только тех поляков, которые не сдержали данного слова и, будучи выпущены из плена, вновь пойманы с оружием, был приговорен к ссылке в один из отдаленных городов русских²¹. На его долю выпала Казань, куда он был послан на житье вместе с пленным шведом и тоже конфедератом Адольфом Винбладом. Здесь — по свидетельству ген.-прокурора Вяземского — «он делал разными ухищрениями и дерзкими поступками между своими единомышленниками возмущение, от чего и был удержан»; но на этом не остановился. С подложным паспортом он ушел из Казани в Калугу, где на то время также содержались некоторые «из знатнейших польских арестантов». Из Калуги, тщательно скрывая свое имя, Бёневский отправился в Петербург вместе с Винбладом. «В сем столичном городе переменял свое имя и вид, до тех пор скрываясь по трактирам, пока, по уведомлении из Казани, узнан и взят был полициею под караул» в то время, когда готов был сесть на корабль и плыть за границу. «А как из его расспросов нынешнего его странного вида усмотрен он человек не только злонамеренный, но и отчаянный», то и приговорен был к ссылке в Сибири.

В Сибири для опасных преступников, каковыми считались в те времена политические и государственные, полагались самые отдаленные крепости, а самым модным местом (с половины прошлого столетия до начала

нынешнего) считалась Камчатка, а потому Бенеvскому и указана была эта местность.

Спутниками ему в дороге и товарищами в ссылке оказались государственные преступники: майор (из шведов) Винблад, гвардии поручик Василий Панов, армии капитан Ипполит Степанов, бывший артиллерии полковник Батурин и сенатский секретарь Иван Сольманов. Панов и Степанов, кажется, сосланы за сопротивление наказу о сочинении Уложения при Екатерине II. С ними и повезли Бенеvского, в декабре 1769 г., вдоль Сибири, за 13 тысяч верст от Петербурга, через Тобольск (где знаменитый сибирский администратор, Денис Иванович Чичерин, хорошо принял их и обласкал) на Охотск. Здесь начальник порта, полковник Плениснер, также обошелся ласково, а купцы снабдили разными вещами и припасами. На частном судне тотемского купца Холодилова ссыльные в июле 1770 года отплыли в Камчатку и 1440 верст успели проплыть в девять дней, совершив весь путь в полтора года. На пути по морю до Камчатки Бенеvский думал запереть стражу внизу, завладеть судном и направиться в испанские владения. Но было поздно, и намерение отложено. Судно пристало в Большерецке — столице тогдашней Камчатки, уступившем впоследствии старейшинство свое Нижнекамчатску, а потом Аваче или Петропавловску.

Устьем широкой реки, называемой Большою и давшее свое имя крепостце, мимо небольшого селения, стоящего у самого устья реки со складочными амбарами для казенного провианта, подошли новые ссыльные к самому городку Большерецку, расположенному на краю света в отдаленном и, можно сказать, диком месте. На берегу их встретил сам начальник Камчатки, армии капитан Нилов. Опросив прибывших ссыльных, он с теми же расспросами обратился и к Бенеvскому.

— Кто ты таков? — спросил он его.

— Солдат, бывший некогда генералом, а теперь невольник, — отвечал Бенеvский²².

Ответ капитану понравился. Задичалый на безлюдье Нилов бойко выделившегося из толпы Беневского при-
близил к себе и, под впечатлениями самобытной и бо-
гатой натуры образованного, смелого и бывалого чело-
века, очутился вскоре в том положении, когда простое
сближение переходит в дружбу и привязанность. На-
чальник с ссыльным конфедератом стали неразлучны:
Беневский обучал начальнического сына иностранным
языкам и математике. Насколько был искренен в сво-
их отношениях к ссыльному простодушный и доверчи-
вый армейский капитан, настолько была сомнительна
к нему привязанность бывшего генерала, прошедшего
сквозь огонь и воду. Самую тесную и нелицемерную
дружбу завязал Беневский с Петром Хрущевым, ка-
питаном гвардии, сосланным по указу 6 декабря 1763
года — человеком отличного ума и больших познаний.
К нему Беневский быле помещен на квартиру. Взаим-
ная привязанность с этой стороны была прочнее, так
как основывалась она, при одинаковом уровне образо-
вания, на обоюдной симпатии, порождаемой сходством
участи, страданиями и лишениями ссылки. Друзья за-
нимались обучением детей, собирались даже завести
школу русского языка для камчадалов, читали книги
и, между прочим, прочли путешествие лорда Ансона.
Дочитавшись до описания Марианских островов, они
увлеклись до того, что стали задумываться над возмож-
ностью бегства в ту соблазнительную страну, не боясь
всякого рода приключений, на которые столь охотно
ходили в то время отважные люди всех наций. В том же
Большерецке, пятью-шестью годами позднее, майор
Бем угощал спутников знаменитого Кука (Гора и Кин-
га) так, что заставил их перед лицом всего света превоз-
носить русских похвалами за их гостеприимство и по-
собия. Через десять лет позднее, и сюда же, приходил
Лаперуз. Пример европейцев, между которыми Ансон
был не первым, укрепил европейца Беневского в мыс-
ли на возможности кругосветного плавания, а Хруще-
ва на возможности заговора в среде людей недоволь-

ных и озлобленных ссылкой. Хрущев стал во главе, как человек, успевший присмотреться к камчатским делам и возбудивший к себе общую любовь и доверие. Опытным и осторожным камчатским заговорщикам все благоприятствовало: Большерецк только носил имя города. На самом деле это было маленькое селение с деревянною церковью, худшею, чем обыкновенная сельская, с казенным домиком коменданта, казармою, амбарами и десятками кое-где разбросанных избушек. В них жили семейства казаков, старых и малых, 70 человек, но из этого числа некоторая часть находилась в раскомандировке по полуострову за разными казенными делами. Крепость защищалась только ветхими стенами самих строений, но Бенеvский, оставивший описание своих походов в книге, изданной в Париже в 1791 году²³, хвастливо представлял место своих камчатских походов в самом ложном виде, называя капитана Нилова — губернатором, казацкого офицера — гетманом, гнилой палисад — крепостью, канавку, через которую мог перепрыгнуть ребенок, — рвом, несколько человек престарелых казаков — сильным гарнизоном и проч. Заговорщикам удалось склонить на свою сторону недовольных из ссыльных до 65 человек (по другим, 70, по Бенеvскому — 96) и, кроме того, казенных штурманов и подштурманов. Заговор и намерения свои сумели удержать они в величайшей тайне; ждали только случая привести его в исполнение. Обстоятельства, между тем, продолжали слагаться благоприятно.

Из Охотска вышел купец Чулошников на судне в 150 тонн для звериного промысла на Алеутских островах, но плыл неудачно; едва дошел он до камчатского берега, как судно его было выброшено на прибрежные отмели. Пешком кое-как добрался промышленник до Большерецка и остановился тут на зиму. Команда тем временем пришла в уныние, упала духом и, наконец, вышла из повиновения. Чулошников обратился к начальству, прося помощи и содействия; недовольство возросло. Бенеvский успел в этой мутной воде выследить рыбу:

заявив о своих намерениях, подобрал партию для весьма заманчивого предприятия. Недовольные обратились к нему депутацией, прося покровительства. Он отделался оракульским ответом, но таким, который всю команду расположил в его пользу.

Для возбуждения сочувствия в простых людях заговорщики внушали им, что Бенеvский и привезенные с ним арестанты страдают невинно за государя, великого князя Павла Петровича. На этот случай у Бенеvского имелся зеленый конверт, каковой он неоднократно показывал, выдавая печать за царскую и уверяя, что под нею письмо к римскому императору о желании Павла вступить в брак с его дочерью, с каковым Мориц и ехал, но был схвачен по дороге и сослан; драгоценный залог высочайшего доверия сохранит он до конца жизни и доставит.

В январе, в квартире Бенеvского, начались частые сходбища. Новый приказчик, сменивший Чулошникова (Ст. Торговкин), пришел к Нилову с жалобой на команду и с указанием на поляка как на главного виновника смут. Бенеvский сделался осторожным. Когда Нилов собрался осматривать Авачу, он пришел к нему с просьбой принять план колоний на южной оконечности Камчатки, на мысе Лопатке; обеспечивал вероятие успеха, при хорошем, благоприятном климате, на заведение хлебопашества и говорил:

— Мы уже сделали между собою все нужные приготовления и осмелились наименовать новое селение наше в честь вашу Ниловкою. Теперь остается нам испросить последнюю милость: пожаловать какое-нибудь судно для отвоза вещей.

Простой, добродушный, доверчивый и нетрезвый Нилов пленился предложением и согласился отпустить Бенеvского для предварительного осмотра местности. Бенеvский с шестью товарищами уехал. Возвратившись через 11 дней, он получил радостное известие, что Хрущев успел подговорить штурмана Гурина (командира пакетбота), готового идти в начале мая в море.

Согласие Гурина — бесповоротно и надежно в том отношении, что другого выхода ему не представлялось: идти в Охотск он не мог, без стыда и опасностей, по случаю неоплатных долгов своих; согласие же свое он дал под впечатлениями недовольства своего на начальство, предавшее его суду за неповиновение и развратное поведение.

В ожидании ледохода заговорщики принялись обеспечивать возможность предприятия с других сторон. Между прочим, сочинили и распространили басню о каком-то острове вблизи Камчатки, до того богатом золотом, что им легко нагрузить целый корабль. Говорили:

— Мы придем туда скоро, нагребем на галиот золота. Кто не захочет идти с нами в Европу, того высадим на камчатский берег.

Нилов ничего не подозревает, обойденный предложением устройства Ниловки; доносам не верит, не верит даже и старику Петру Ивашкину, сосланному Елизаветою в 1742 г. за дерзкие слова, сказанные им в трактире²⁴. Ивашкин много раз предупреждал командира о грозившей ему опасности и существовании заговора, советуя содержать Беневского и Батурина под крепким караулом. Нилов предостережениям не поверил и советов не послушался. Не поверил и одному из чиновников, когда тот явился к нему уже весною (25 апреля) вместе с казачьим сотником и говорил, что число бунтовщиков увеличивается с каждым днем, что они могут завладеть Камчаткою, что надо принять скорые и крутые меры и проч. Беневский же к этому времени успел разбить свою партию на три части: одну поручил шведу Винбладу, другую — Хрущеву, третью часть оставил за собою. Едва он успел распорядиться, как пришел к нему сержант Нилова с приказанием явиться. Беневский, оправдавшись болезнью, не пошел. Явился за ним казачий сотник, опять звал к начальнику, но и этот получил тот же ответ. Сотник вздумал пристращать:

— Если не пойдешь добровольно, прикажу казакам тащить тебя,

Два казака уже и вошли было исполнить приказание, но товарищи Беневского, выскочив из-за перегородки, всех троих связали. Вечером Нилов прислал приказ выпустить сотника и прийти Беневскому. Получив в ответ обещание прийти завтра, Нилов ждет терпеливо до 11 часов утра. Заговорщики всю ночь не спали, опасаясь внезапного нападения, и в эту ночь успели обдумать все.

Нилов, не дождавшись, велит собраться солдатам и идти схватить ослушника. Приходит капрал с шестью человеками, требует сдаться; Беневский зовет его выпить чашку чая; капрал соглашается — входит. Беневский приставляет к груди его пистолет и заставляет вызывать людей с улицы в избу поодиночке. Вызвав их, связали товарищи его веревками и всех потом посадили в погреб. К тому времени собираются остальные товарищи, Беневский разбивает их на две партии: одну посылает овладеть канцеляриею, с другою идет сам в крепость.

Квартиру Нилова оберегают 8 человек, но они все спят. Заговорщики стучат и не достучатся. Проснувшийся сын Нилова дает знать отцу о приходе многих людей, но в это время крюк от дверей был сорван, пришедшие ворвались с неистовыми криками. Нилов успел было схватить Беневского за галстух, но сам пал с разбитым пулею черепом, с порезанною левою рукою и глубокою ранюю в ногу. Труп его вытащили в сени и бросили. Подчиненные Нилова, не участвовавшие в заговоре, поспешили броситься вон из крепости. Один казак пролежал все время под столом. Наибольшее сопротивление оказал сын сотника Черного, который из собственного дома стрелял в мятежников из ружья. Его обезоружили и посадили под караул в крепости. В крепость приходит Хрущев с известием, что канцелярия взята без всякого сопротивления. Решено: Панову с 22 человеками идти собрать детей и женщин

в церковь, обложить ее кругом соломой и объявить остальным жителям, что, при малейшем противодействии с их стороны, жены и дети их будут сожжены. Буйные промышленники купца Холодилова бросились было грабить и хотели убить приказчика, но Бенеvский дал ему случай спастись бегством и укротил буйных. Затем отправился в канцелярию, сел за судейский стол и приводил народ к присяге новому императору.

Панов и Батурип делают опись деньгам в казначействе и всем казенным вещам, отбирают из последних те, которые намерены взять с собою²⁵. Когда сосчитаны были деньги, Бенеvский стал раздавать их единомышленникам и разным купцам, находившимся в Больше-реке: одному Кузнецову (которого назначил своим адъютантом) дал три тысячи. В 9-м часу вечера велел принести привезенное из Охотска казенное хлебное вино. Винблад принес две фляги, которые тут же и были распиты; остальным вином Бенеvский поил как своих, так и всех жителей, находившихся под караулом. Выйдя из канцелярии, поставили около нее заряженные ядрами и картечами пушки и мортиру и значительное число вооруженных людей на всю ночь.

На другой день (27 апреля) Бенеvский похоронил Нилова сам, подле Успенской церкви. Затем тотчас же велел готовиться к походу: к 28-му числу были изготовлены паромы и для того собраны боты и лодки (числом 11), принадлежавшие тамошним казакам и жителям; погружены порох и артиллерийские снаряды, казенное остаточное вино, провиант и рухлядь (кроме соболей и лисиц); посажены все люди, как аманаты (кроме малолетних). Сообщники его, между тем, грабили кого хотели, отчего многие жители бежали и некоторое время скрывались в тундрах. 30 апреля Бенеvский был уже в Чекавинской гавани, вблизи устьев Большой реки, и занялся приготовлением галиота «Св. Петр», бывшего еще во льду. На нем-то он и ушел кругом света через 12 дней (12 мая 1771 г.). Доносчиков-канцеляристов он взял с собою и одному из них, более других виновно-

му, велел исправлять тяжелую работу кока. На галиоте водружено было знамя императора; вся пустившаяся в плавание шайка назвалась «сбранною компаниею для имени его императорского величества Павла Петровича». Все дали присягу защищать знамя до последней капли крови. Затем они составили объявление для отсылки через Большерецк в правительствующий Сенат и подписались все заговорщики, кроме Хрущева. В объявлении кратко излагалось, что законный государь Павел Петрович незаконно лишен престола, что разорительная война с Польшею ведется для одного Понятовского, что народная собственность, вино и соль, отданы на откуп немногим; что от монастырей взяты крестьяне на воспитание незаконных подкидышей; что у депутации для составления законов отнято право свободного обсуждения; что подати необычайны и оброк безразлично собирается с калек и младенцев, как бы со здоровых; что несправедливые, криводушные судьи наказываются только денежным штрафом; что добытым золотом пользуются только одни царские любимцы; что народ коснеет в невежестве и страждет; что Камчатка разорена своевольными начальниками.

Как до сих пор помогал Бенеvскому ум, удержавший в толпе ненадежных людей тайну заговора в течение нескольких месяцев и постигнувший возможность достичь из Камчатки Китая, так теперь начинает действовать отвага, рассчитывающая совершить опасное морское плавание при помощи кое-какой карты, приложенной к путешествию Ансона. Тем не менее, придерживаясь берегов, на шестой день плавания искатели приключений завидели первый остров (остров оказался четвертым из Курильских — Парамушир). На нем беглецы пекли хлебы, сушили сухари, исправляли судно, шили флаги и вымпелы и творили суд над теми, которые решились «всех тех злодеев на судне погубить и, овладев судном, идти обратно в Большерецк». Трех из них Бенеvский высек нещадно кошками, но оставил на судне. Трое других (штурманский ученик Измайлов

и камчадал Парончин с женою), высеченные кошками, оставлены были на пустом острове с некоторым запасом ржаной муки. Как они потом ни кричали, сколько ни плакали, Беневский оставался в своем решении непоколебимым²⁶. Под английским вымпелом галиот «Св. Петр» пошел в море дальше. Свежею водою при следующей стоянке наливался галиот уже на одном из японских островов, несмотря на то, что жители, стоя на берегу, отмахивали их лодку от берега. Сухари пекли и снова наливались водою, под защитою артиллерии, на берегу нового японского острова Танао-Сима. Следующая стоянка не посчастливила: жители не только не пустили на берег, но еще затеяли перестрелку. Остров этот был уже Формоза. На нем из прибывших за свежею водою туземцы троих убили (и, между прочим, Василия Панова), троих ранили стрелами. Беневский жестоко отомстил им за то тем, что из первых попавшихся плывшими мимо на лодке троих застрелил, за двумя другими послал погоню, которая и изрубила их в куски. Трупы товарищей похоронили, шалаши и лодки сожгли и, выбросив на остров 21 ядро, поплыли дальше. Пять дней бродили, не зная своего места. Пристали к китайским берегам и здесь, в городе Макао, при содействии португальцев, Беневскому удалось продать галиот губернатору за 4500 пиастров. О приставании корабля в Макао пограничное сибирское начальство узнало от миссионера Августина, дало знать в Иркутск уже в то время, когда императрица частным образом узнала о камчатском событии и о возвращении Беневского в Европу. В Макао русские узнали обман, до которого себя допустили. Беневский, живя у губернатора острова и продав галиот как свою собственность, объявил ему, что его отечество Венгрия, почему и всем русским велел также называться венграми, запретил им креститься и молиться образам. Винблад и Степанов с ним рассорились, но Беневский успел оклеветать всех в намерении произвести бунт и завладеть городом. Их рассадили по тюрьмам, все принуждены были сми-

риться, кроме Степанова, не хотевшего дать подписки на подданство римскому императору; он предпочел за лучшее остаться в заточении. Беневский его с собою не взял. На дальнейшем плавании его умер Батурин и оставлено больными еще семь человек. Часть команды (15 человек из 70) умерла от лихорадки и горячки, другая часть поместилась на двух французских фрегатах и немедленно отправилась из Кантона в море. В марте 1772 г. бежавшие из Камчатки русские пристали к французскому острову Иль-де-Франс. В конце марта следующего года пробирались они пешком в Париж и явились там к резиденту Хотинскому, который областал их и снабдил довольствием. 30 сентября того же 1773 года кругосветные плаватели приплыли в Кронштадт; 3 октября их отправили в Сибирь, в сопровождении двух сенатских курьеров и с извещением новому камчатскому коменданту о том, что «по дошедшим ко двору известиям, Беневский (известный в Камчатке под именем венгерца Бейснокса) явился во Францию и нашел покровительство, как у державы, к Российской империи не доброхотствующей». «Французский двор (пишет далее генерал-прокурор Вяземский), вооружая для него фрегат и малую флотилию, отправляет его с 1500 человек войска якобы в Ост-Индию для завоевания там нового у варваров селения, в самом же деле, по примечаниям, прямое намерение его экспедиции укрывается. Данное отчаянному оружие в руки, сколько ни кажется смеха и презрения достойным, благоразумие однако ж заставляет и против безумного стремления остерегаться, тем паче, когда оно отчаянною головою в действо производится. Но как притом помянутого Беневского во время арестования в Петербурге сам я видел человеком, которому жить или умереть все едино, то из сего не без основания и подозревать можно, что он, зная свободный проезд до Камчатки и имея о берегах и о жителях ее сведения, не покусился бы когда сделать и на нее какие-либо поиски».

Опасения были напрасны: Беневский предлагал французскому правительству завести колонию на Формозе, но двору хотелось занять Мадагаскар. Туда он и отправился на счет правительства. Полтора года провел он там в борьбе с жителями и с начальником острова Иль-де-Франс, но борьбы и интриг не выдержал и бежал в Лондон. Здесь написал мемуары свои, наполненные всякого рода заманчивыми баснями; издатель Магеллан познакомил его с богатым торговым американским домом в Балтиморе. В 1784 году Беневский был там и успел склонить их к завоеванию Мадагаскара. Две пушки приветствовали его, как старого знакомого на этом острове с крепости Луисбург 20 сентября 1784 года. Вступив на берег, он вскоре начал усиливаться до того, что версальский кабинет, при содействии англичан, решился вытеснить его оттуда и отправил фрегат с ротою солдат; солдаты Беневского затеяли с французами схватку. Беневский не хотел сдаваться, засел в замке, им же самим достроенном. Боясь засады, французы четыре дня не решались идти; войдя, увидели три трупа и между ними труп красавца Беневского с орденами св. Духа и Людовика на груди; в кармане — полпиастра, в сердце — пуля, пущенная, говорят, 23 мая 1786 г. одним из туземцев, не хотевшим бороться с французами.

Возвращаемся в Камчатку по горячим следам беглецов. 83 человека приказных, военных и купцов выбрали начальником, до прибытия командира, штурманского ученика Софьи́на и приняли присягу на верность императрице. Оставшись безоружными, поспешили выпросить помощь из Верхнекамчатска, состоящую в двух орудиях и 12-ти солдатах. Последние не должны были входить в Большерецк до тех пор, пока не узнают, что неприятеля там нет. Двух недель достаточно было для того, чтобы вся Камчатка пришла в тревогу. В большерецкой канцелярии ежедневно производились допросы. С ними, с запечатанным конвертом Беневского на имя Сената, с окровавленную постелью Нилова, с ведомо-

стями о расхищенном и уцелевшем казенном имуществе отправился Софьин на галиоте в Охотск. Командир порта, старик Плениснер, счел за нужное дополнить следствие и упустил время: рапорт, сберегая казенный интерес, отправил с попутчиком, который, вдобавок, долго промедлил в Якутске. В Петербурге известие о камчатской катастрофе получено через 8 месяцев, по сухому пути, когда сведения, облетевшие кругом света, успели уже вызвать различные меры: назначено было за каждого из пойманных бунтовщиков по сто рублей тому, кто их приведет живыми или мертвыми; приказано промышленным людям стараться перевязать беглецов и проч. Плениснер отрешен от должности за слабость надзора за государственными преступниками во время их пребывания в Охотске и за медленное донесение начальству о произведенном ими бунте.

Из спутников Беневого не вернулись назад, кроме умерших в пути, четверо: швед Винблад остался в порте Людовика и потом возвратился в Швецию; Хрущев вступил во французскую службу капитаном, Кузнецов — поручиком, Майдер — лекарем. Из возвратившихся: канцеляристу Судейкину и Рюмину с женою определено быть в Тобольске, штурманскому ученику Бочарову — в Иркутске на свободе, матросам Ляпину и Бересневу служить в Охотском порту, матросу Сафронову дать отставку и иметь ему пребывание там же, равно как и камчадалу Попову и коряку Брехову, а прочим 8-ми работникам купца Холодилова поступить в иркутское купечество. Священнику Симеону, приведшему к изменнической присяге, и прочим 27, не соблюдавшим своего долга, вменено в наказание двухлетнее их заключение (они снова были приведены к присяге). «Хотя, — объявлял генерал-прокурор 31 марта 1774 года, — священник Уфтяжанинов и навлек на себя подозрение дружескою связью с изменниками, но, как он сделал сие по примеру большевецкого командира, сына же отдал им в научение по родительской любви

и уже наказан вечною разлукою с ним и тюремным заключением, то объявить ему прощение²⁷. Розданных злодеями казенных денег ни с кого не взыскивать и все дело предать забвению». Милостивое прощение возвратившимся выдано было с приведением всех вновь к присяге на верность на том основании, что они «довольно за свои грехи наказаны были, претерпев долгое время и получив свой живот на море и на сухом пути; но видно, что русак любит свою Русь, а надежда их на меня и милосердие мое не может сердцу моему не быть чувствительна». Так писала Екатерина генерал-прокурору, препровождая ему письмо резидента Хотинского. Узнав, что сосланный в 1762 году Семен Гурьев не только не пристал к злодеям, но даже потерпел от них побои, императрица возвратила его в калужские деревни братьев его под присмотр. Ту же милость она оказала двум братьям его, поселенным в Якутске.

ГЛАВА II

ССЫЛЬНЫЕ ПОЛЯКИ

Обрусение ссыльных поляков. — Три эпохи ссылки. — Судьба последующих ссыльных. — Польские восстания и заговоры в Сибири, России и Польше. — Участие русских людей в польском деле. — Влияние поляков на страну изгнания. — Четыре разряда ссыльных поляков. — Встреча прибылых и обращение с оставшимися. — Влияние декабристов. — Польский огул. — Венжик. — Набожность. — Касса поляков. — Товарищество. — Кедровое масло. — Пчелы. — Савичевский. — Братья Далевские. — Обучение детей. — Несчастная судьба полковника Высоцкого, ксендза Синонинского и доктора Шокальского. — Громадный заговор. — Самоубийства. — Подделка фальшивых ассигнаций и способы этого производства. — Побег в гробу. — Альбина Мигурская. — Побег и похождения Руфима Пиотровского от Тары и Тобольска до Парижа.

Деяния Беневого произвели на Петербург такое сильное впечатление, что Камчатку с тех пор перестали считать хорошим ссыльным местом; не только государственных, но и никаких преступников не ста-

ли посылать туда. Слух об его подвигах и, особенно, об удаче, быстро облетевший всю Сибирь и с особенным участием и вниманием принятый в ссыльных местах, произвел на его товарищей по польским войнам такое впечатление, что те из барских конфедератов, которые находились в нерчинских рудниках, решились последовать его примеру. Сорок человек согласились попытаться подобного счастья уплыть по Амуру до океана, с надеждою встретиться там с европейскими мореплавателями. Несмотря на смелость замысла, на сомнительный успех предприятия, они, с величайшими предосторожностями, успели выстроить на Шилке судно и заготовить съестные припасы. Беглецы готовы были уже отплыть, как в Даурию пришла весть о смерти Екатерины и вступлении на престол Павла. Время побега было отложено; поляки стали рассчитывать на помилование и в нем они не ошиблись; вскоре пришло всем польским политическим ссыльным дозволение возвратиться из Сибири на родину в Польшу.

Возвратились не все. До сих пор между фамилиями коренных сибиряков-старожилов сплошь и рядом попадаются фамилии польские и при них семейные предания, указывающие прямо на происхождение от ссыльных поляков. При этом предания не восходят дальше дедов и в редких случаях нисходят ближе к нам от времен Екатерины II, богатых высылкою шляхты из Заднепровья и Польши, из Литвы и Белоруссии и из губ. Смоленской. Не только на отдельные личности, но и на целые группы влияла ссылка в те времена с таким успехом, что обрусение ссыльных поляков представляется в Сибири явлением осязательным и бесспорным. В Западной Сибири, около Семипалатинска, в красивой и богатой местности на плодородной земле, укрепились две деревни, образованные из польских потомков, до сих пор умеющих говорить по-польски и существующих любимым белорусским промыслом — пчеловодством. В 20 верстах от Тары (Тоб. губ.), недалеко от Екатерининского завода, волостной голова (Пановский),

сохраняя польский тип лица и молодцеватую осанку, имел дедом конфедерата. В самой Таре у двух братьев, торгующих мясом (Грабианских), отец был поляком, но они считали себя коренными сибиряками и вовсе не умели говорить по-польски; в Березове — Новицкий, Шенявский; в казаках Западной Сибири: Костылецкие, Яновские, Хлыновские и проч. В Восточной Сибири, за Байкалом, на Ингоде, где так целно сохранили свою национальность малороссы, во многих деревнях с польскими фамилиями живут коренные сибиряки, а на Ононе (между прочим в Усть-Илимском селении) целые семейства (например, Барановские) происходят от барских конфедератов. Иосиф Копец, барский конфедерат, ехавший в ссылку в Камчатку в 1794 г., в Иркутской губ. нашел целую колонию, составленную из ссыльных поляков и русских (наз. Кирьюга). Между чиновниками-туземцами попадаются даже с такими знаменитыми фамилиями, как Ходкевичи (по всему вероятно, потомки тоже какого-нибудь конфедерата). Внук конфедерата Хилковский, кроме фамилии и памяти, что дед его был поляком, ничего польского в себе не имеет²⁸. Примеров такого рода настолько много, что наблюдавшие за подобными превращениями могли прийти к тому выводу, что дети, рожденные от отца-поляка и матери-сибирячки, употребляя язык матери, только в чертах лица либо в характере успевают сохранять следы польского происхождения. Но стоит этому метису жениться на сибирячке, чтобы во внуках самый пристрастный и увлекающийся поляк не нашел уже ни малейших признаков польской крови. Как бы то ни было, но все поляки, следившие за такими превращениями на месте, твердо убеждены в том, что главная причина такого явления заключается в этих смешанных браках, обусловленных правительственным узаконением, чтобы дети исповедовали православную веру, а через то «обрекались на одно из главных и самых действительных средств к утрате собственной народ-

ности, — средств постепенного и медленного обрусения людей, над которыми владычествует Россия». «Знали мы (говорит один из поляков, долго проживший в Сабире) очень много детей супружеств, в которых одна особа была православной веры; за малыми исключениями, все те дети не обладали польскою народностью и часто в душе были русскими».

Доказанная опытом сила влияния брачных союзов на обрусение поляков в Сибири, действительная для холостых и вдовых из желающих, отразилась на судьбе других ссыльных времен Екатерины с подспорьем и при участии других местных причин, которые были одинаково сильны и не менее очевидны. Обрусение производилось над людьми, не имевшими надежд к возвращению на родину при отсутствии примеров подобного рода в предшествовавшие времена. Судьба их находилась в руках людей, видевших в системе ссылки одну только сторону карательную, убежденных прежними опытами в том, что мятежников и политических ссыльных следует считать, по преимуществу, людьми опасными и вредными, и убеждаемых при всякой новой присылке их в том, что они преступники «великоважные», что и самая Сибирь с трудом может быть принимаема для них за страну полного возмездия и кары. Миних томился в Пелыме, Меншиков и Остерман умерли в Березове. Фика, закованного в тяжелые ручные и ножные кандалы, сослали в самый отдаленный якутский острог, но вскоре перевезли еще дальше на север, за полторы тысячи верст — в Зашиверск. Но и это место показалось слишком слабым для полного мщенья: его перевезли в Средневилюйское зимовье, имевшее три бревенчатых юрты якутов и лежавшее в страшной глуши болотистой тундры. Князя Черкасского, смоленского губернатора, заточили на вечное житье в Жиганском зимовье и выпускали на воздух только днем, но и то за присмотром двух солдат. Вице-канцлер Головкин очутился в Собачем остроге на отдаленной Колыме

под 67° с. ш., в бревенчатой хате, оберегаемой ночью часовыми. Менгден поселен еще дальше его, на самой окраине тундры, всего в 76 верстах от Ледовитого океана, на самых устьях Колымы; Ивашов попал в Камчатку в Большерецкий острог. Самые отдаленные трущобы с трудом удовлетворяли мщению, самые тяжелые страдания там едва успевали успокаивать мстителей. Приказывали всемерно опасаться их, не допускать ни до каких разговоров. Людей, оказавших им какие-либо услуги, жестоко наказывали кнутом и засылали еще дальше; предписывали кормить. только в таких размерах питья и пищи, чтобы ссыльные не умерли с голоду; приказывали стараться забывать даже их имена и, содержа в вечном темном и сыром заточении, считали и называли их нумерами.

Под такими-то впечатлениями воспитывались дозорщики, укрепляемые и руководимые в своих понятиях и воззрениях на политических ссыльных теми предписаниями, которые шли от Бирона, Шишковского, Вяземского и других! Под влиянием и надзором таких-то людей направлялась жизнь первых ссыльных поляков, убеждаемых в том, что Сибирь для них новая родина, что тем и другим путем следует в ней укрепиться, в единственных надеждах на нее одну. Средств много, большого труда для умелых и сильных рук не представляется! В молодой стране почти ничего нет, кроме естественных скрытых богатств, и жизнь подчиняется законам случайностей, более и чаще образцам дикарей-туземцев и меньше и реже рутинным приемам, полученным прежними пришельцами на родине; они либо сделались промышленниками и звероловами, либо, придержавшись рек, исключительно землепашцами. Ремесла, оставаясь в пренебрежении, так и не возрождались в Сибири, и в наши времена представляются в прежнем жалком, отчаянном состоянии²⁹; и без них богатая страна кормила пришельцев здоровою пищею. Предметы ремесел России в обмен на сырые

произведения Сибири развили в новой стране огромное количество торгового люда; торговля расплодила богатые города на русской окраине, у самых ворот Сибири, и породила тут ярмарку, немногим уступающую крупнейшим ярмаркам метрополии. Пришельцы из польских городов и местечек, организовавшихся по образцам европейских городов, при замечательном развитии ремесленных занятий, в удовлетворении насущных и настоятельных потребностей земледельческого промыслового сибирского люда, нашли и первое дело и надежное обеспечение на будущую жизнь. То и другое выразилось в таких размерах, что большую часть потолков барских конфедератов и костюшковцев мы находим в хорошо обеспеченном бытовом состоянии. Все вышеупомянутые нами лица — люди зажиточные, богатые, пользующиеся почетом и уважением соседей настолько, что служат выборными не ниже звания волостных голов. Не меньшая часть успела проникнуть и укрепиться в слое туземного служилого, чиновничьего сословия, несмотря на всю трудность долговременного прохождения всех разрядов ссыльных сословий от звания ссыльно-каторжного до того свободного состояния, в котором предоставляется возможность обучить сына в казенном учебном заведении и затем видеть во внуке полковника. Длинная перспектива к улучшению положения для поляков, назначенных на каторгу, кончалась только на детях. Короче, был путь для поселенцев имевших право и возможность поселиться вблизи и внутри сибирских городов, сильно нуждающихся в ремесленниках и людях, владеющих иными полезными и прикладными знаниями. Значительному числу из трудолюбивых, находчивых и умелых удалось настолько воспользоваться своими знаниями к обеспечению собственного быта, что, по объявлении им права к возврату на родину, весьма многие остались в Сибири жить навсегда. Указ Павла на значительное число ссыльных поляков первого периода ссылки не произвел никаких

впечатлений. То же самое случилось и через 15 лет после того с весьма многими поляками, из числа военнопленных, после войн с Наполеоном, присланных в Сибирь на службу: из 900 человек, служивших в кавалерии и поступивших в сибирские казаки по объявлении в 1815 году им Высочайшего разрешения возвратиться в отечество, остались добровольно навсегда в казаках 160 человек. Значительным соблазном для многих из этих поляков послужил город Омск, а добрым приютом для них оказался организованный в то время генералом Броневским оркестр казачьей музыки. Чехи, немцы и поляки удивили Омск, от сотворения мира не слыхавшего музыки. В 1815 году некоторые поляки возвратились на родину, но значительную часть удалось уговорить остаться навсегда за некоторую прибавку к содержанию. Так же поступили многие за Байкалом³⁰.

Конечно, времена изменились; люди Александровского времени являлись в Сибирь с гуманным образованием, с более умягченным нравственным настроением; самая система правления отличалась терпимостью, желаниями и стремлениями уничтожить неправду и злоупотребления. Дошла очередь и до Сибири: Сперанский прислан был карать сибирских притеснителей и истреблять многочисленные и крупные следы произвола, насилий и жестокостей. Появление его считается тою эпохою, когда совершился первый перелом в сибирской жизни и крутой поворот на новую стезю от дикой жизни прежних времен и суровых отношений ко всякого рода ссыльным, Сибирь в администрации испытала коренные преобразования, им задан был другой тон, а если временами слышались диссонансы, то уже как исключения из общего строя. Люди административные стали не те; и как бы сурово ни высказывались взгляды на политических ссыльных впоследствии, какие строгие меры ни предписывались, и в новых приставниках и самом сибирском населении организовалась противодействующая сила. Если политическим ссыль-

ным не сделалось хорошо, то, во всяком случае, стало несравненно легче. Между первыми временами, когда сибиряки не хотели принимать в семейства и отдавать дочерей за пленных шведов, присланных Петром I из-под Полтавы, но и пускать к себе в избы, — между этими временами и последними годами царствования Александра лежала уже огромная пропасть. Польским людям политической ссылки следующего второго периода досталась несравненно лучшая доля. Пленные из войск Понятовского уже не жили в изгнании больше двух лет, политическая ссылка перестала быть бессрочною и возымела характер временной меры, стала питать и подкреплять страдальцев надеждами, сделалась привилегированным исключением в системе всех других видов ссылки. Такими свойствами выразились годы Александровского царствования, благоприятного для политической самостоятельности Польши. Даже члены «товарищества патриотов», организованного в последние годы жизни Александра I при деятельном участии Лукасинского и в согласии с целью и намерениями Пестеля, были осуждены и сосланы уже после смерти любимого Польшею императора³¹. При Александре I значительное большинство поляков, сосланных в Сибирь, принадлежало обыкновенным преступникам, осужденным за уголовные преступления.

Ссылкою членов патриотического общества начался новый, второй период польской ссылки.

17-го ноября 1830 года началась польская революция, кончившаяся в следующем году штурмом Варшавы (6-го и 7-го сентября); в 1832 г. стали появляться в пределах Сибири польские изгнанники, передние ряды ссыльных меньшей степени виновности, рядовые люди, из царства и трех уездов Виленской губернии. В 1833

году прибыл в Восточную Сибирь и Петр Высоцкий, начавший восстание, один из деятельных начальников его, на 20 лет каторги. Все осуждены были военным судом по полевому уголовному положению. Людей низшего звания, взятых с оружием, следом за ушедшими на каторгу и в крепостные работы, прислали на службу в сибирские линейные батальоны. В 1834 г. начали прибывать эмиссары за дело 1833 г., силившееся организовать новое восстание, а вместе с ними и в большом количестве и те, которые оказывали этим эмиссарам сочувствие и содействие, выразившиеся в том, что одни давали приют, другие носили в лес пищу и проч. За эмиссарами прибыли в Сибирь поляки из дела Симона Конарского, расстрелянного в Вильне в 1838 году. В 1839 г. вместе с руководителями своими (Венжиком и Эренбергом) явились в Сибири чины «товарищеской организации польского народа» (*Stowarzyszenie ludu polskiego*), представлявшей в Варшаве отдел большого заговора Конарского. Вместе с ними пришли в Сибирь и те, которые вели систематическую пропаганду демократической науки и собирались для бесед в соборе св. Креста (почему и назывались *swietokrzyzcami*). В 1840 году присланы эмиссары, бежавшие в 1831 году за границу и явившиеся, между прочим, из Англии и из Турции; за ними участники заговора Каспера Машковского, организовавшего так называемый «союз Вольнский»; потом сообщники «союза пропаганды» ксендза Сцегенного (1843 г.)³²; в 1844 году члены варшавского «союза соединения польского народа», затеянного Гзовским³³, в 1846 — члены варшавского демократического союза; за ними седлецкие и галицкие повстанцы. В 1848 г. дело известного автора Коменского; в том же году высылаются в Сибирь из Варшавы студенты гимназии, предложившие убийство Паскевича и знавшие об имеющем совершиться в 1846 г. восстании. Тогда же Австрия выдает эмигрантов из Галиции, затеявших там пропаганду освобождения Польши; выдает и Пруссия,

высылают эмиссаров из Литвы. В 1846 году восстание в уезде Седлецком под начальством Потоцкого и восстание в уезде Меховском. В 1847 году пойманы, суждены и сосланы повстанцы 1831 года, эмигрировавшие за границу и явившиеся в роли эмиссаров в Польшу перед революциями 1848 года. В 1848 году вспыхивает восстание великопольское, основанное в надеждах на Венгрию, и, в то же время, независимо от варшавского, в Вильне организовался союз литовской молодежи (*Zwiazek mlodziezy litewskiej*), питавший надежды, что венгерцы и поляки из Венгрии придут в Польшу со знаменем восстания, — союз, превратившийся вскоре в заговор. Заговор приготавливал восстание на Великий четверг под руководством братьев Далевских, но был открыт в 1850 году. Во множестве солдат, принявших участие в мятежах, приходили в Сибирь и такие, которые осуждены были вместе с тем и за побеги из русских войск в повстанческие, и за отбитие рекрутов в дороге; попадались во второй раз и такие (как Розанский), которые уже побывали в сибирской ссылке и в первый раз в Сибирь являлись из тех, которым предстояла иная участь (например, солдатская служба на Кавказе), но которые с дороги бежали и были пойманы; приходили и такие, которые увлеклись европейскими смутами 1848 года и бежали за границу. Присылали и за оставление отечества, и за оборону себя оружием при аресте, и за покровительство эмиссарам, а в 1855 году тех, которые отбили рекрутов и намеревались вместе с ними бежать к французам в Крым. Некоторые явились в Сибири просто за политические замыслы; другие за перевоз корреспонденций заговорщикам. Последней преступности люди были большею частью (но сравнительно в ничтожном количестве) из еврейского населения Царства Польского и западного края России³⁴. Вместе с ними за польское дело ушел один только русский — прапорщик Караваев (через несколько лет пересланный из Сибири на Кавказ, где ему

снова позволено было поступить на военную службу), один француз Шарль де Люсенэ, так же как и Караваев, участвовавший в заговоре Конарского в Вильне, и один латыш (Янис Реке), сосланный за восстание 1831 года также в нерчинские рудники. За участие в заговоре Михаила Воловича из Слонима (намеревавшегося поднять народ, напасть на Слоним, отбить арестантов и начать восстание) присланы в Сибирь, между прочим, несколько крестьян-белорусов. Малороссы юго-западного края явились в Сибири за восстание в виде дворовых холопов и иных чинов панских экономий; были даже торбанисты и песенники.

Прапорщик Кузьмин-Караваев служил в Новоингерманландском полку, квартировавшем в Вильне. В заговоре был замешан он из любви к польке (девице, графине Олизар), требовавшей этой жертвы с его стороны. Руководился он теми же желаниями и планами, которые внушены ему были последователем Конарского, Гильдебрантом. Вместе с собою увлек Караваев офицеров Эстляндского полка, вступившего в караул, когда уже Караваев сидел под арестом: прапорщика Герасимова и де Люсенэ. Все они помогали Гильдебранту и Мошинскому, арестованным в имении Базилианов, выходить по ночам в город, давали им свои мундиры, сами одеваясь в арестантское платье; допускали к ним дам и, между прочими, Снядецкую — одну из пламенных патриоток, последовательницу пропаганды Конарского. Де Люсенэ искал даже бумаг для побега Гильдебранта с Мошинским. Караваев, содержась на арсенальной гауптвахте, в одной тесной комнате вместе с караульными офицерами, деятельно вел свою пропаганду и вызвал участие к своей судьбе: прапорщик Герасимов несколько раз выпускал его ночью в город; Барнвиц вел по-польски переписку. Суд решил смотреть на все это вмешательство в дела польские русских людей — вмешательство, выразившееся, главным образом, в покровительстве арестованным последователям Конар-

ского, — как на затею сумасшедших. По этой причине положено было заключить их в дом умалишенных, имение отобрать в казну, пока выздоровеют, а потом для испытания послать их в Сибирь на поселение. Так и был поступлено с Караваевым и де Люсенз. Остальных офицеров решено было послать на покаяние на Кавказ и не повышать их чином, пока не образумятся (поручик Огонь-Догановский, прапорщики Варнвиц и Герасимов, потворствовавшие арестованным и прислушивавшиеся к урокам их пропаганды).

Во всяком случае, громадное большинство политических ссыльных принадлежало к кровным полякам, наибольшею частью уроженцам Царства Польского, преимущественно — шляхетскогоу роду и исключительно римско-католического вероисповедания³⁵.

Почти $\frac{2}{3}$ всего числа сосланных за политические преступления принадлежат дворянству; на их долю приходится 10% из всего числа ссыльных этого сословия и большинство всегда остается за шляхтою западных губерний (смешанною в сибирских табелях под общею и неопределенною рубрикою дворян-неслужащих). После дворян сильнейшая наклонность к преступлениям этого рода замечается у солдат, но и здесь процент ссыльных почти в 20 раз меньше процента дворян. Так говорят цифры в течение 20-ти лет (с 1827 по 1846 г.).

Те же двадцатилетние цифры уверяют и в том, что сильная наклонность к преступлениям против власти и, в особенности, политическим составляет отличительную черту католиков, для которых вероятие ссылки несравненно сильнее, чем для лиц всех других вероисповеданий (в этом случае католики к православным, например, относятся как 29,5:1).

В подчинении различным степеням наказания и разрядам ссылки политические изгнанники второго периода размещались в Сибири в таких категориях: одни сосланы были на два, на пять и более лет под надзор

полиции без потери достоинств и имущества, притом с надеждою на возвращение под родной кров или, по крайней мере, в его соседство. Таких было очень мало; из таковых некоторым приводилось выезжать из Сибири, до возврата на родину, в русские губернии менее отдаленные (Владимирская, Калужская, Рязанская и другие).

Вторая категория изгнанников, сосланных на поселение, сравнительно больше первой, но не представляла собою наибольшей количественной величины и могла питать наименьшие надежды на возврат (хотя некоторому числу удалось дослужиться до чинов и поступить на государственную службу); эта вторая категория находилась в самом худшем житейском положении. Политические поселенцы, происходившие из шляхты и приговоренные к конфискации имущества, получали помощь от правительства в размере 57 руб. в год; старикам и калекам доставалось ежегодно 114 руб. Те, которые происходили из класса мещан либо крестьян и также приговорены были к конфискации имущества, не имели права на правительственное вспоможение. В Западной Сибири им не позволяли, в силу закона, выезжать за предел 10 верст от деревни или города, в которых указано их водворить. В Восточной Сибири им предоставлена была бóльшая свобода: там политические поселенцы, с дозволения властей, могли разъезжать по всей Восточной Сибири. Само собою, тут и там дети поселенцев принадлежали к сословию крестьянскому, до 17 лет освобождены от податей и не отбывали рекрутской повинности. Сами отцы в первые два года не платили подушного, и если в течение 10 лет не нарушили ничем благонамеренности, не провинились перед начальством, не были оштрафованы, то они могли через 10 лет записываться в крестьяне или купцы. Само собою разумеется, более счастливый поселенец — из людей простых и самый несчастный — из высших слоев общества.

Третья категория поляков была назначена в арестантские роты и работала (тоже не в большом количестве) в крепостях сибирских, чаще всего по границам Западной Сибири. Положение их немногим разнилось от каторжного, хотя по степени взыскания между крепостным и каторжным состоянием закон устанавливал разницу; кое-кому удавалось освобождаться и поступать либо в писцы при канцеляриях, либо в домашние учителя на условиях вольного и весьма дешевого найма.

Четвертый разряд ссыльных предназначен был в полковую службу, т. е. в сибирские батальоны простыми солдатами либо на всю жизнь, либо на 15 и 20 лет без выслуги, но с надеждою возврата на родину, не иначе как на такую же солдатскую службу до самой смерти. Несмотря на то, что солдатский разряд полагался слабейшею мерою взыскания изо всех видов сибирской ссылки, он на практике оказался одним из тягчайших. Наибольшим количеством побегов (и притом большими шайками, скопом и заговорами) отличился перед другими этот разряд; наибольшую тяжесть наказания выдержали поляки в этом разряде. При бесцельной жизни, без будущего и надежд, солдаты-поляки предавались в Сибири безграничному пьянству. Многие из них казались до такой степени деморализованными и потерянными, что утратили как чувствования и впечатления сердца, так благородство вида и игру физиономии. Некоторым удалось опиваться до смертельных апоплексических ударов, несмотря даже на то, что товарищество поляков умело внимательно следить за таковыми и считало своею обязанностью удерживать их от окончательного падения. На беду, товарищество не всегда доводило свое участие до конца: трудно исправимых оно исключало из своей среды и предоставляло самим себе и полному влиянию надломленной испорченной воли³⁶.

Самая строгая категория каторжных, сосланных на 2, 3, 5, 15 лет либо на целую жизнь, самым учреждением

своим показывает всю тяжесть взысканий, невыносимую для людей развитых и образованных (каковыми оказалась наибольшая часть присужденных к самым тяжким каторжным работам). До Тобольска таких везли еще в кибитках с жандармами³⁷. По Сибири ссыльные уже шли в партиях со всеми другими преступниками и в кандалах.

Когда ссыльные 1831 года в 33-м году пришли на нерчинские рудники, тогдашний горный начальник велел представить их к себе. Приняв строгий вид, сильным, отрывистым и повелительным голосом он сказал им:

— Ежели и здесь будете мыслить против правительства, то ожидает вас не веревка, не пуля, но палки, которыми прикажу вас заколотить.

Слова эти были произнесены таким тоном, что один из прибывших поляков, не удержавшись от смеха, улыбнулся. Начальник это заметил, пришел в еще больший гнев, топал ногами, брызгал слюною и кричал:

— Знайте раз навсегда, что вы пришли в страну, где смеяться на позволено.

Затем, быстро возобладав над собою и не дав в соответствии тону своему хорошенько размыслить пришельцам о тяжести будущей жизни в рудниках, горячий начальник перешел в тон мягкий и спокойный. Он кротко расспрашивал каждого о занятиях и летах, о ремесле и знаниях. Узнав в Подгородзинском богатого человека и опросив уже ученого Бопрэ, говорил первому, указывая на второго, в таком смысле:

— Если бы ты был ученым, как этот, я бы не удивился, что ты принадлежал к союзу. Но чего же ты хотел? Конечно, при богатстве твоём тебе было и без этого хорошо. Вот-то глупость, настоящая глупость!

И начальник качал головою и долго не мог совместить обе мысли в одну; после различных вопросов, снова возвращался к тому же недоумению и удивлению своему.

Между прочим, обратил он внимание на европейский, городской костюм ссыльных, приказал некоторым обрить бороды, как не присвоенные людям каторжного состояния; велел оголить бакенбарды и подбородки, заметив, что такое украшение принадлежит людям честного звания. Долго потом муштровал, осматривал, ласкал и бранился в одно время и на одном и том же месте; наконец отпустил.

Разослав ссыльных поляков по различным нерчинским рудникам, начальник потом объезжал их. В одном месте кричал на чиновников за то, что посылают поляков на работы, застав многих из них при разбивании руды, и дивился, что его подчиненные не умеют уважать людей с образованием и отделять их от остальных преступников. Ревизуя рудники во второй раз, призывал горных чиновников и сердился на них за то, что послабляют столь опасным людям, что не назначают их на рудниковые работы и проч.

Но этот начальник был последним из могижан. В нем уже боролись два направления, два противоположных взгляда на ссыльных в таком разногласии, что делали из него чудака. В последующих начальниках гуманный взгляд и мягкие отношения взяли перевес. Подобному чуду превращения гнева на милость все ссыльные обязаны влиянию декабристов на их коменданта Лепарского, который к тому же сам был поляком. Когда поляки начали прибывать за Байкал, влияние декабристов на комендантское управление было уже настолько сильно, что поляки встретили самый мягкий прием, и комендант не препятствовал декабристам подать им помощь значительными деньгами, вещами и книгами. Таким образом, первое пособие поляки получили не от своих и не из Польши, а из каземата декабристов. Не забудем, что заводы в отношении ко всем ссыльным, а тем более относительно «политических», были подчинены ведению Лепарского — коменданта нерчинских рудников. «После стало легче» (свидетельствует один

из поляков, живших на каторге, вообще недружелюбный к России и озлобленный против Сибири, сохранивший приведенное нами предание о первой встрече поляков за Байкалом)³⁸. «Более человечными сделались отношения (говорит он дальше); тирания и варварство в тех рудниках стали уменьшаться. Старики, помнящие старые времена, говорят о тогдашних начальниках, как о грубых тиранах, поступавших с людьми зверски. Нынешнее обращение — терпеливое, отношение к польским ссыльным — милостивое, деликатное и мягкое. По закону ни одна категория поселенцев, даже политических, не освобождена от телесного наказания, но не было ни одного примера, чтобы наказали политического поселенца без суда (как это делается с прочими) и чтобы которого-нибудь из них записали в цех слуг».

Другой поляк в Западной Сибири знал и также за границу писал, что «сосланных в Нерчинск обыкновенно в рудниках не заставляли работать, т. е. их не опускали во внутрь шахты, но в рабочие часы должны они выходить с тачками и возить в них землю, либо добытую руду; однако, труд им был не через силу... Поляков охотно принимали в избранные общества, им дозволялись сходки для увеселений. Совершенно нельзя верить тому, что в нерчинских заводах политических ссыльных называют только нумерами и что они носят только арестантскую форму. В самом деле называют их настоящими именами и они носят такое платье, какое могут»³⁹.

«С ссыльными обходятся снисходительно и готовы разделить с ними последнюю копейку и кусок (пишет бывший генерал-губернатор Восточной Сибири Броневский, в 1836 г., служивший до того долгое время и в Западной)⁴⁰. Ссыльные и живут, так сказать, на счет обитателей Сибири; никто не хочет доискиваться, кто был ссыльный и что он за преступник, знают все его под общим именем “несчастный”. Ни происхождение, ни религия, ни нация не имеют различия в обхождении

с ними, хотя и часто видимы были разительные доказательства неблагодарности некоторых».

«С сосланными из дворян (говорит другой свидетель нерчинских порядков, высланный по делу Петрашевского) и, вообще, с политическими преступниками обращались по большей части хорошо. Их почти никогда не посылали на работу и, если не было особого предписания, не содержали и в тюрьмах (а на гауптвахтах). Начальство было с ними вежливо, приветливо. Наши дворяне далеко не все пользовались благоволением начальства (да и того и сами не заслуживали)». В Култуме, например, поляки жили в особом большом доме, нарочно для них построенном. «Большую частью они ссылались на короткие сроки на каторгу и, выходя на поселение, занимались мелкою торговлею, подрядами и хозяйством; большая часть — небогатая шляхта, все набожные католики, все мало сближались с русскими, кроме подрядчиков. В последнее время (перед освобождением по манифесту покойного Государя) некоторые поляки по подрядам несколько зарисковались, но у народа пользовались доверием. Для всех политических преступников было общее название поляков и главною особенностью для распознавания полагалось не наречие, а образование. Многие серьезно занялись своим развитием и успели образовать себя замечательно».

В Большом Нерчинском заводе, на денежную складчину всех ссыльных поляков, составлена была замечательная по составу сочинений и по количеству томов (три тысячи) библиотека, часть которой временами отделялась для пользования ссыльных других рудников (между прочим, один из таких отделов библиотеки существовал в Култуме). Основание библиотеке положили четыре поляка (Бопрэ, Машковский, Боровский и Чапский), сосланные по делу Конарского; они составили между собою за Байкалом товарищество, прозванное Ogoł. Впоследствии под этим именем долгое время существовала община забайкальских изгнанников, которая

владела библиотекою, выписывала газеты, выдавала письма и была хранительницею кассы, составлявшеюся из добровольных взносов имущими. Сессия для проверки отчетов и происшедших трат и для соображения будущих расходов происходила обыкновенно в Большом заводе на праздник Рождества Христова. Власти знали о сессиях и об «Огуле», но не преследовали. Товарищеское согласие и взаимная помощь, развиваясь под самыми благоприятными условиями, сложились в нечто такое, что достойно уважения и подражания. В участниках дела и в деятелях ио товариществу успели выясниться замечательные люди, стоявшие к товарищам самыми заветными сторонами прекрасной души и в делах помощи и благотворения в нередких случаях изъявившие энергию до самопожертвования и самоотвержения. В особенности замечателен был в этом отношении Александр Венжик, бывший основатель варшавского товарищества Св. Креста. Вот что говорит о нем хорошо знавший его Гиллер:

«Венжик был сослан на легкие работы в рудниках. Посылаемый на луга для уборки сена, он, сидя в шалаше со своим товарищем, зачитывался произведениями Гельвеция и других философов XVIII века. В них, однако, он не нашел материалов для себя в достаточной мере, а между тем праздность не переставала мучить этого человека, нравственный организм которого требовал труда и искал целей, каковые бы изменили все его существо. Он создан был для деятельности, для высоких целей и для крупных предприятий, а не для полумер. Без высших занятий, в недеятельности, он не мог быть покойным и прийти в себя. В таком положении люди либо падают, либо крепнут больше прежнего. Венжик также находился на пути к падению. Во время внутренней борьбы и душевных тревог он узнал красивую крестьянскую девушку и, всей душой полюбивши ее, привязался к ней. Если бы она не была русскою, он женился бы на ней, но ее вера стала преградою. Долго

он боролся с собою, долго колебался в выборе средств, но в конце превозмог любовь и пожертвовал ею для товарищей... Мысли и начала свои он оторвал от исключительной, эксцентричной почвы и утвердил их на твердом основании сильных и широких убеждений: не сделавшись фанатиком, он стал человеком религиозным». С этой поры всю свою жизнь Венжик посвятил товарищам по ссылке, не отделяя политических от присланных за гражданские и уголовные преступления, лишь бы только то были поляки. Он разыскивал крайних бедняков между ними, поддерживал колебавшихся, поднимал упавших и потерявшихся. «Не было селения самого отдаленного, где бы не являлся он, неся материальную помощь деньгами и нравственную в слове Христовом. Чтобы соединить всех с Богом, возбудить в нераскаявшихся раскаяние и исправление, он в главнейших селениях Даурии устроил общие молитвы между католиками. Перед алтариком, устроенным в квартире кого-либо из товарищей для произнесения молитв и литании, собирались под предводительством политического ссыльного все католики из рудника⁴¹. На Пасху и Рождество собирал он всех каторжных поляков и делился с каждым узником освященным яйцом либо облаткою, расспрашивал о нуждах и всегда помогал, неизбежно имея на устах слово Божие, подкрепляющее в несчастьях и несущее надежду упавшим. Образ его в рудниках представляется нам образом миссионера!» Этот вид богослужения (особая набожность), эти молитвы устояли за Байкалом и после смерти Венжика в 1853 году. На могилу его товарищи положили доломитовый камень и, найдя в имуществе 1 тыс. золотых, постановили увеличить эту сумму добровольными взносами для того, чтобы возможно было в окoliце его родины купить землю, основать колонию и отдать ее во владение родственнику какого-либо заслуженного в бою или отличившегося в мятеже крестьянина. Прожил Венжик, отказывая себе во многом и ничего не

жалел для других; держал себя скромно, не хвастливо, бегал в убогой одежде, писать не любил; деятельная жизнь совершенно оторвала его от пера. Временами, в веселом настроении духа, в куче приятелей, импровизировал либо писал стишок, куплетик, который потом, пропетый товарищами, служил приправою бесед и поводом к веселым шуткам товарищеских собраний.

Большой Нерчинский завод в два великих праздника (в Рождество и на Пасху) служил местом обширного собрания всех поляков и, вообще, этот завод можно было считать важнейшим и главным пунктом польского изгнания в Сибири; его называли «столицею забайкальских польских изгнанников». Из дальних мест спешили к этим дням все ссыльные для свидания с товарищами и для исполнения на великие дни богослужебных и праздничных обрядов, указанных религиею и народными обычаями. Это были и времена заявлений каждого о личных нуждах, планах и намерениях. Тогда начинала свои действия общественная касса.

Касса польская, образуемая из взносов самих ссыльных и от присылок из Польши, всегда владела несколькими тысячами рублей⁴². Наблюдалась она особым кассиром, ежегодно избираемым на эту должность (Венжик бессменно состоял таковым в течение нескольких лет). Из кассы брали помощь старики, больные либо оставшиеся без занятий; она же давала и займы для устройства быта и различных торговых и промышленных предприятий. На вспомоществование ее имел право каждый член ссыльной колонии, этой польской общины за Байкалом; не пользовались же этим правом только поляки, сосланные не за политические преступления, как не признанные в составе общины, не пользовались не платившие процентов (не вносившие денег) и те из политических, которые успели жениться на сибирячках, как добровольно исключившие себя из нее через нарушение одного из коренных правил колонии. «Община была и есть утехою жизни поляков в ссыл-

ке. Взаимная помощь и взаимный контроль уладили ссыльных, облегчили им жизнь, спасли их достоинство, возвысили помыслы и сделали то, что поляки имели здесь неограниченный кредит, доверие и уважение, как выразились по отношению к ним мягким и снисходительным обращением властей, исканием торговых, товарищеских и иных сношений со стороны тамошнего народа». Кроме того, в Большом заводе, через браки поляков между своими, образовалось несколько польских семейных домов, где изгнанники немало встречали утешений и помощи. Гостеприимство, искренность и прелесть приема, какими всегда отличаются польки, умели не одного изгнанника перенести воспоминаниями на далекую родину, тем более что и народные обычаи в этих семействах свято соблюдались.

Таким же пунктом для сходов товарищеских и для обмена мыслей служил некоторое время Акатуйский рудник, где ссыльные поляки группировались около Высоцкого. Под влиянием этого замечательного человека умела также уберечься польская национальность, склонная не дружиться с русскою, несмотря на благоприятные условия, предлагаемые добровольно и без принуждения и даже известного рода необходимые. В Акатуй к Высоцкому, во время житья его на поселении, из ближних стран нерчинской ссылки собирались товарищи изгнания и здесь, в его скромном жилище, торжественно справляли памятную годовщину 29 ноября. Высоцкий гостеприимно встречал всех званых и незваных, знакомых и незнакомых; временами кто-нибудь запевал веселые народные песни, всегда в день св. Сатурнина раздававшиеся в жилище общего любимца всех польских изгнанников⁴³.

Этою тесною дружбою, этою готовностью ко взаимной помощи и поддержке прославились поляки между сибиряками в виде поразительного исключения и замечательного образца. В Тобольске встречала их помощь Петра Мошинского, сосланного туда на житье,

и князя-богача Романа Сангушки, наделявшего деньгами каждого из проходивших в этапной партии, и проч.⁴⁴. Всякий вновь прибывший в рудники ссыльный находил у старых приют, обязательную помощь и необходимые советы на предстоящую жизнь, как бы от родных братьев, кровных друзей. Редкий из ссыльных поляков не знал или не имел понятия об остальных товарищах по изгнанию: Высоцкий знал положительно каждого и ни одному из своих соотечественников не отказывал в гостеприимстве и советах. В обязательствах такого всеведения предполагалась та возможность влияния на упавших духом, которая выражалась, между прочим, в стремлениях не давать смешиваться польской крови с русской. Браки с сибирячками считались изменою отчизне, и незримый контроль и наблюдение всегда являлись с отговорами, мольбами и запрещениями везде и тотчас там, где житейские обстоятельства и сердечные стремления завязывали узы Гименея. «Таких общественное мнение сурово карало, однако старания товарищей не всегда были успешны». Сохранение национального чувства и патриотических верований, с самыми крайними и странными проявлениями, низведенными до тонких мелочей, было одною из характеристических особенностей и одним из главнейших сознательных стремлений всех политических ссыльных этого второго периода ссылки. Успех задался в такой степени, что изо всего множества политических ссыльных Восточной Сибири, говорят, только 26 остались доживать здесь свой век после всемиростивого прощания. «Община (огуд) так устроила дела изгнанников Восточной Сибири, что они вернулись на родину, не сломивши духа и не уронивши характера представителей Польши», — свидетельствует Аг. Гиллер.

Жили поляки, под влиянием товарищества и при содействии общественной кассы, различными способами труда, приспособляемого на большую часть по образцам и требованиям местным: по заказам, подрядам и

при содействии купцов, по наймам и под руководством чиновников; поляки искали либо частной службы, либо казенной. Наибольшее число их Сибирь видела мелкими торговцами, купеческими приказчиками либо станционными зрителями и писарями; охотнее всего искали они выгодных мест волостных писарей. Привилегия грамотности и умение писать составляли основную причину польских успехов во всех последних случаях: близкие взаимные связи, вследствие одноплеменности и союзничества всегда (как и везде на свете) выражались тем, что там, где удалось укрепиться одному, находилась возможность к обеспечению и другого поляка. Исключения являлись только в силу неодолимых препятствий, предусмотренных законами физики или запрещениями начальств, временами налагаемыми. В заводских конторах писали обыкновенно трое, но и такому числу бумажных работ приходилось по горло: писали с 8 до 12-ти, потом обедали, в два часа опять садились писать и снова писали часов до 10 и 11-ти. Не было работы — ходили в конторы сидеть и снова писали уже от безделья и сверх сыта. В некоторых случаях опытные и образованные люди умели визнавать и приспособлять такие новые способы производств, о которых в тех местах до того времени мало разумели или не догадывались знатоки различных технических производств, распространенных в Польше, а наибольшую пользу сибирской стране оказали те, которые, занявшись земледелием, приспособляли различные способы рационального сельского хозяйства.

Между первыми особенными выгодами в материальном отношении воспользовались те, которые обратили внимание на превосходное дерево сибирского кедра, редко растущего сплошным лесом, но замечательно распространенного по целой Сибири. Плоды его, шишки с орехами, составляли только любимый корм белок и любимое лакомство сибирячек, превративших щелканье кедровых орехов в обязательное и ежедневное препровождение времени. В некоторых случаях, в

пределах Западной Сибири, орехи-меледа составляли предмет торговли и в сыром виде вывозились за Уральский хребет, продавались на Ирбитской ярмарке. За Байкалом масло кедровых орехов составляло продукт русского приготовления. Масло было лучше, потому что орехи чистились лучше, но зато не могло быть предметом серьезной торговли. Грызли орехи обыкновенно девочки-подростки, но грызли они так искусно, что, раскалывая скорлупу, не касались зубами орехов. За Байкалом некоторые поляки основали небольшой завод для добывания из орехов масла, для очистки скорлупы и выжимки из мякоти продукта; один из них (Савичевский) занялся усерднее других, устроил даже и мыльный завод⁴⁵. Кедровое масло из этой маслобойни тотчас обратило на себя внимание не столько как вещество новое, сколько как добротный продукт. Когда такой же опыт произведен был Морачевским в Западной Сибири и масло дошло до Москвы, то по свежести, цвету и другим качествам оно найдено было соответствующим тому, на которое существует в православной России такое огромное и повсеместное требование и громадный расход. Издавна, как известно, в этом случае спрос неизмеримо превышает фабрикацию привозного продукта и деревянное или оливковое масло издавна направляется всякими примесями других масел, между которыми сурепному принадлежит первое место. При всегдашних замешательствах, по недостатку суррогатов, кедровое масло, светлое и сладкое и близко подходящее к привозному оливковому, показалось московским оптовым торговцам решительно кладом. Замеченный недостаток смолистого вкуса от доставки его в сосновых бочках вскоре устранен был сибирскими заводчиками-поляками тем простым способом, что кедровое масло стали доставлять в кедровых бочках. Дела заводчиков быстро поднялись: продукт их продолжал сдабривать деревянное масло вопреки православному обычаю зажигать в лампадах елей чистый и беспри-

месный. Успех увенчал начинания с большою выгодною для поляков Западной Сибири, хотя с наименьшею для заводчиков Забайкалья, но уже до причинам географическим.

В Сибири, как известно, нет вовсе в лесах вяза, клена и ясени; за Байкалом в озерах и болотах — пиявок, в лугах и лесах — пчел. На мед как на продукт весьма дорогостоящий в православной Сибири, которая соблюдает посты и сильно потребляет чай и пряники, также обращено было внимание в Западной Сибири. Разведению пчел содействовали также ссыльные поляки, исконные знатоки и любители этого промысла, сильно развитого в белорусских и литовских лесах, содействовали по инициативе начальника алтайских заводов, полковника Аршеневского, богатого человека и любителя сельского хозяйства. В 1790 году он выписал из России два улья в свой полковой штаб. С легкой его руки воспитаны были пчелы около Семипалатинска, в Устькаменогорском и Бухтарминском краях при содействии поляков и литовцев, поселенных деревнями или определенных в казацьи войска. Теперь пчеловодство сильно развилось и ворочает сотнями тысяч рублей на всем юге Томской губернии, преимущественно в Бийском округе (мед отсюда везут даже в Иркутск); начинают также разводить пчел и в богатых липовых лесах по р. Тартасу в Тарском округе Тобольской губернии⁴⁶.

На сибирское огородничество, вообще находящееся в зачаточном состоянии, поляки влияли главным образом тем, что, выписывая из Польши семена, ознакомили с некоторыми неизвестными и распространили лучшие сорта овощей и плодов. В маленьких щеголеватых огородах даже у самых бедных изгнанников сибиряки увидели мак, петрушку, сельдерей, порей, цветную капусту, фасоль, арбузы и дыни и имели возможность, через подражание и при указаниях, распространить возрастание их в более широких размерах (мак, например, хотя и хорошо родится на сибирской земле, но весьма

мало культивировался). Сибиряки, между прочим, глубоко убеждены были в том, что арбузы и дыни, кроме парников и оранжерей, нигде родиться не могут. Воспитанные там плоды эти продавались в Иркутске от 5 до 10 р. асс. Но Вл. Фед. Раевский (декабрист) стал разводить арбузы в 80 вер. от Иркутска, в Олонках, на особых грядах и без особенных хитростей. Тамошние бабы выучились, стали подражать, их примеру последовали бабы в Александровском заводе, и теперь на иркутский рынок натаскивают арбузов целые воза, так что арбуз стоит уже от 10 до 50 копеек⁴⁷.

Как ссыльные на мысе Доброй Надежды развели виноград, эмигранты-французы основали в восточных пределах Лондона шелковые фабрики и научили саксонцев выделять сукна и шляпы (изделия, составлявшие до того времени монополию Франции), так, между прочим, пленные шведы в Орловской губернии выучили косить пшеницу, а в Сибири основали первые школы⁴⁸. Поляки кое-где за Байкалом и во многих местах обеих Сибирей познакомили с плугом. В остальной Сибири с плугом и литовками ознакомили туземцев добровольные переселенцы Малороссии, казаки. Поселенцы косили косою и горбушею, смотря кто из какого места был. Самая лучшая за Байкалом пшеница называется полька, а у семейских староверов — кубанка, выписанная впервые из Польши и присланная через почту. Под Большим нерчинским заводом у изгнанников был образцовый фольварк (хозяин его Бульдескуль). Некоторые разводили лошадей, каковых сибиряки охотно покупали, уверенные в том, что лошади, выхоленные по европейским образцам, крепки, красивы и быстры, и до сих пор помнят, что между поляками Валецкий искусно способствовал улучшению породы туземных лошадей. Шведы и финны в том же Забайкалье, как и в остальной Сибири, познакомили крестьян с приготовлением финского масла, и те же поляки основали фабрики сыров польских и швейцарских⁴⁹. Была

даже маленькая фабрика, приготавливавшая сигары из монгольского и нерчинского табаку.

С выездом поляков из Сибири упала добротность кедрового масла, вызвавшая теперь в Москве сожаление, к тому же вывоз масла уменьшился, сверх того, вследствие вздорожания за Байкалом и в Сибири всех работ, в том числе и добывания орехов, а особенно вследствие вздорожания в пять раз и более провоза. Исчезло без следа сыроварение⁵⁰. Не укрепился секрет Валецкого воспитывать лошадей, не пустила глубоких корней выделка березовых трубок, на которые особенно охочи и искусны были забайкальские поляки; не распространились по городам ремесла, несмотря на то, что сапожников и башмачников прислано было из Польши много, несмотря на то, что между слесарями и кузнецами-поляками находились истинные артисты своего дела и, вообще, технические производства и ремесла на городскую и дворянскую руку имели в поляках замечательно хороших представителей. Первая в том краю ветряная мельница, построенная в Нерчинском Большом заводе, тоже недолго похлопала крыльями и не нашла покровителей: ветры некрепки. Крупного влияния и сильного впечатления дела и затеи ремесленников из поляков не произвели на ссыльные страны; не произвели и потому, что ни один из них не имел желания и целей приспособлять свои ремесленные знания в широких размерах к мастерству и школе, и по тому, что всякий работал из-за насущного куса хлеба. Воспользоваться их знаниями и обратить их на пользу туземцев никому и в голову не приходило: омская весьма успешная и иркутская не совсем удачная попытка поляков образовать полковых музыкантов, вместе с разведением пчел под Семипалатинском, стоят одиноко и остались без подражателей⁵¹. Всякий работал сам для себя и сам по себе. И Высоцкий варил в Акатуе мыло, но изделия его, в маленьких квадратных выпуклых печатках (с надписью P.W.Akatuja), не употреблялись

по назначению, а раскупались для хранения на память обожавшими его земляками. Мыло поляка Хлопицкого приманило было сначала своим белым видом, но когда оказалось не мылко, то и потеряло скоро кредит. И братья Далевские лили сальные свечи, и на р. Аргуни двое поляков основали кожевню, но изделия первых вовсе не расходились дальше хат Газимурского селения, а изделия вторых удовлетворяли только местным нуждам контрабандистов. Цезиковские же глиняные статуэтки, вазы и трубочки весьма мало нашли себе подражателей и продолжателей. С большею охотой пускались поляки на мелкие работы: шили башмаки, делали деревянные чашки, ложки, ведра, кадушки, глиняные горшки; на Шилке и Аргуни занимались рыбной ловлею, охотою; у купцов жили в поварах, в приказчиках, бухгалтерами, учителями при детях (особенно большую помощь нашли поляки у богатых купцов Кандинских). Между прочим, поляки любили разносную торговлю коробейным товаром; некоторым при этом приходилось, по вызову и требованиям туземного населения (как в Западной Сибири), гадать за яйца для пущего успеха на царе Соломоне, колдовать, ворожить и лечить всякими ведомыми и неведомыми снадобьями. Некоторым удалось от торговли и различных подрядов разбогатеть до забвения о родине, а некоторым после того и разориться (как случилось в Восточной Сибири — именно за Байкалом, когда переименовали крестьян в казаков и в вознаграждение за пожертвования при этом воспретили последним платить купцам долги)⁵².

Несомненно прочнее и плодотворнее было влияние тех из поляков, которые посвятили себя обучению детей грамоте, тем более что это занятие принадлежало значительному числу, а притом в таких далеких местах и глухих захолустьях, где без этих случайных гостей дело грамотности коснело бы при старых порядках. Недоверчивость и упорство, высказавшиеся навстречу полякам на первых шагах их, им удалось победить

терпением и настойчивостью и, во всяком случае, при обстоятельствах, более благоприятных (в городах, мещанских и купеческих семействах), ссыльным полякам удалось значительно предотвратить и восполнить недостаток воспитателей. С точностью определить их услугу и найти ее границы невозможно только потому, что параллельно с их деятельностью на поприще обучения шла таковая же готовная, неустанная, правильная и честная деятельность декабристов⁵³. Влияние этих общих усилий очевидно: количество грамотных в казачьем сословии, между заводскими крестьянами и городскими мещанами несравненно выше соответствующих им сословий России. Сибирское купечество, вообще, отличается наибольшей развитостью в политических взглядах, наибольшим так называемым энциклопедическим образованием, чем, напр., то же купечество, которое покупает у них чай и меха и отпускает им ситцы, сукна, готовые сапоги и готовое платье, заготавливаемые Москвою. Гостеприимно отворяя двери изгнанникам, в нравственном отношении сибиряки много выиграли, судя по личным нашим наблюдениям и по свидетельству всех, имевших с ними дела и встречи. Снисходительность и терпимость сибиряков, развитые опытом и вызванные необходимостью, даже сильнее в этом случае, чем в долготерпеливой и незлопамятной России. Этим-то свойством обязаны сибиряки сближением с политическими ссыльными и приобретением от них возможных услуг и помощи. Во всяком случае, политические изгнанники оставили в Сибири следы глубокие и приметные.

Полякам привелось, вслед за другими, будить мысль, поднимать самосознание и направлять самостоятельность. Общими усилиями все политические ссыльные, главным образом, достигли того уважения у туземцев и той сибирской терпимости, которая им же самим послужила на пользу, пойдет вооруженная готовностью и на будущие времена. Мы не говорим уже о той пользе стране, которую принесли, между прочим, поляки,

явившиеся с врачебными знаниями, с каковыми многие (как Шокальский), несмотря на запрещение им практики, шли на безвозмездную и готовную помощь сибирским людям, предоставленным судьбою в пользование лам и шаманов⁵⁴.

Несомненно, почувствовала бы Сибирь еще большую помощь и пользу от изгнанников и сами они устремились бы в эту сторону с большей энергией и готовностью, если бы не стояли на пути предвзятые сепаративные национальные стремления соблюсти и сохранить себя последовательными своим идеям. Поляки уронили себя в общественном мнении тем, что сделались участниками всех злоупотреблений администрации. Несомненно, поляки принесли бы большую пользу стране, если бы не замыкались в свои товарищества, искали, а не сторонились бы сибирского общества, если бы в чужой стране между поляками (преимущественно высших слоев и образованными) не развивалась жестокая болезнь тоски по родине. Немало сил, немало людей утратили политические ссыльные в своей среде на борьбу с частыми и сердитыми припадками этой болезни, особенно чувствительной в промысловой и земледельческой Сибири для горожан и особенно опасной для людей высшего образования, показавших столько любви к родине и пожертвовавших для нее своею свободою. Искание этой свободы, стремление достичь того положения, при котором вероятна помощь и служба отчизне, составляют одну из ярких и существенных особенностей в ссылке второго периода, предшествовавшего настоящему, современному нам. Несмотря на громадные географические препятствия, несмотря на неудачные попытки прежних времен, могущие служить уроком, новые попытки побегов повторились с замечательною настойчивостью, но с тою же непрактичностью приемов, однако с тем же единодушием и в расчете надежд на ту же Францию.

Очутившись в положении сказочного богатыря, перед которым протянулись четыре дороги: «прямо ехать — головы не снести, направо ехать — коня сгубить», ссылные поляки советов бывалых не спрашивались, указаний туземцев не доискивались; по воле личной фантазии и по указаниям кое-каких учебных географических карт рисовали самые смелые планы, врачевали свою острую болезнь многоразличными призраками. Так, одному из таких богатырей, руководившихся картою, представлялись различные средства врачевания. Перед глазами лежит пять дорог, ведущих из пределов Западной Сибири:

Одна — на восток, в глубь Сибири, к Охотску; там — море и корабли, на кораблях — путь к берегам Америки в Калифорнию и Соединенные Штаты, оттуда — в Европу и во Францию!

Другая дорога на Киргизскую степь, в Бухару; через Персию и Кабул до английских поселений в Индии, либо через Персию в Турцию, в Европу — во Францию!

Третья дорога на юго-запад; дойдя до гор Уральских, взять налево, дойти до истоков реки Урал и плыть по ней до Каспийского моря (?!). Дойдя до черкесов, остаться у них, либо через Персию и Турцию опять в Европу, — во Францию!

Либо, перейдя Уральские горы, не брать налево, а, став на высоте губернского города Уфы, доплыть до Волги рекою, в нее впадающею, потом Волгою доплыть до канала, соединяющего ее с Доном (?), и через Новочеркасск до Таганрога, где сесть на корабль и Черным морем в Европу до Франции. Либо, если это не удастся, из Таганрога через донских казаков, через губернии: Екатеринославскую, Херсонскую, Бессарабскую, Молдавию и Валахию до Турции, и оттуда — во Францию!

Наконец — прямо на запад до Уральских гор; с высоты Тобольска взять вправо на север, реками Печорою и Вычегдою доплыть до Двины, а этою рекою до Архангельска. Там, сев на какой-нибудь европейский

корабль, достигнуть Швеции либо Англии, а оттуда — во Францию!

Все эти пути одинаково смелы до дерзости, одинаково неверны и не безопасны.

Руфиму Пиотровскому удалось бежать последним путем, самым кривым и окольным, и рассказать изумительные подробности на любопытство посторонних и холодных слушателей, на страх и сомнение желающим подражать. От бегавших в южную сторону на монгольские и киргизские степи, из Восточной и Западной Сибири, рассказы все одни и те же: кочевники, заметив идущего в степи вооруженного человека, не нападают на него прямо и вовсе не имеют намерений его убивать. Монголы или киргизы в таком случае, из боязни потерять кого-либо из товарищей во время стычки с беглым, обыкновенно собирают облаву и издали замыкают бродягу в подвижную колонну. Отряд этот ни на минуту не спускает глаз с идущего и подвигается следом за ним в ту же сторону, в которую направится он. В то же время они свой грозный круг стягивают все более и более. Несколько дней такая облава имеет терпение мучить беглого, наблюдая за тем, чтобы он не мог укрепиться. Уже совсем измученного и страшно оголодавшего берут кочевники без боя и непременно в ближайшем пограничном карауле выдают живьем военному русскому начальству. Начальство при этом обременяется значительными хлопотами и большою перепискою с пограничными китайскими властями, иногда обязывается значительными платежами за все украденное вдесятеро, согласно мирному трактату.

На Киргизскую степь, на вторую невероятную дорогу, бросились поляки Западной Сибири по проекту ксендза Сироцинского и жестоко поплатились за попытку. Она имела сильное и неблагоприятное влияние на судьбу всех сибирских поляков, уже успевшую подчиниться большому хладнокровию и обычному равнодушию присяжных приставников и блюстителей. Вот что известно об этой попытке.

Кзендз Сироцинский, бывший приор базилианов в Овруче (на Волыни), за участие в ноябрьском восстании лишен был капелланского звания и, сделавшись из приора простым казаком, очутился в Омске. Когда образовалось здесь казачье училище и понадобился учитель, вспомнили, что Сироцинский был профессором и наблюдателем за школами. Ему дали место, а с ним и наибольшую свободу. На свободе он сдружился с ссыльным доктором Шокальским и составил большое тайное общество в среде поляков, сосланных в линейные и казачьи войска. Цель заговора: постараться оторвать Сибирь от России, освободить всех несчастных от тяжких каторжных работ и поднять поселенцев на местах водворения. Омск с артиллерийскими запасами, амунициею, оружием, денежною казною и прочим возбуждал сильный соблазн. К этому обществу успели примкнуть и татары и русские, свободные и невольники. Положено было, в случае неудачи большого бунта, бежать всем, вооруженною рукою, через Киргизскую степь в Ташкент, где предполагалось много католиков, и в Бухару. Отсюда, если бы того потребовала окончательная необходимость, направиться в английскую Индию. В Омске и его окрестностях собралось поляков тысяч до двух; Киргизская степь, тотчас по ту сторону Иртыша, манила неодолимым соблазном искателей сильных ощущений и приключений.

В назначенный день вечером должна была начаться революция. Но нашлось трое поляков, солдаты восстания 1830 года (Енак из Варшавы и Гаевские из конгрессовой Польши), которые, явившись к полковнику Деграве, рассказали все: что заговор распространился по самым отдаленным местам Сибири, что в самых глухих местах он встретил сочувствие, что, если не принять быстрых и решительных мер, он охватит всю страну и непременно удастся. Они указали на Сироцинского, как на вождя, и на многих других сообщников, как на имевших наибольшую власть, влияние и

значение. Все таковые, как жившие либо в Омске, либо в ближайших его окрестностях, были тотчас арестованы. Изданы были строжайшие приказания и разосланы распоряжения по самым отдаленным местам Западной Сибири, с тем чтобы наискорейшим образом арестовать всех подозрительных и влиятельных лиц: русских, поляков, сибиряков, поселенцев и крестьян. Нахватали было сначала до тысячи человек. Доктору Шокальскому с поляком Зубчевским и русским Мелодиным удалось ускользнуть на первый день арестов и бежать на почтовых по тракту в Оренбургскую губернию. Шокальский играл в дороге роль войскового доктора, Зубчевский — фельдшера, Мелодин — лакея. В Пресновской станице беглецы были узнаны и, под сильным конвоем, возвращены были в Омск, где на то время следствие было в полном разгаре. Аресты производились и в конце 1834 и в начале 1835 г. Дано было знать в Петербург. Две следственные комиссии, одна за другой, распутывали дело и разошлись, не постановивши никакого решения. Третья комиссия была прислана из Петербурга: она работала три года и довела-таки следствие до конца. Некоторых, по невинности их, выпустили на волю, признанных виновными предали суду. В ожидании суда главный виновник не упал духом: в тюрьме писал стихи, перед судом ничего не поведал, на следствии также ничего не могли от него узнать. «Раз родила мати — раз пропадати», говорил Сироцинский всем свою украинскую поговорку. Стихи его были распространены между сибирскими поляками: ими он оживлял энергию, возбуждал надежды и укреплял патриотический дух невольников. Дело было начато в широких размерах и наполнило страхом целую Сибирь. Под влиянием этого страха и по окончании дела поляков подозревали, преследовали. Между прочим, в Пресновской станице заподозрили поляков в поджогах и в умыслах на продолжение замыслов Сироцинского: четверых наказали ссылкой в Устькаме-

ногорскую крепость, где пять лет заставляли работать в кандалах, а в 1845 г. послали солдатами в Нерчинск. По окончании омского дела с заводов Западной Сибири стали переводить на заводы Восточной. В Иркутске до такой степени боялись поджогов, что польские солдаты в тамошнем гарнизоне окружены были самыми строгими наблюдениями. Их товарищам-солдатам приказано было иметь заряженные ружья и вязать всех поляков в казарме, лишь только послышится звон набатного колокола. Многих поляков, по подозрению, успели запереть на гауптвахты; многих разослали по забайкальским городам: в Верхнеудинск и Кяхту. Пирофобия в Сибири никогда не была так повсеместна и столь опасна, как в это время. Всякий пожар приписывался поджогам поляков; страх из Сибири успел даже перейти за Уральский хребет и распространиться по России. Положение политических преступников ухудшилось. В 1848 году особенно сильное движение между всеми ссыльными произвело запрещение иметь собственность. Если при увольнении некоторых произошла неформальность, велено снова возвращать на каторгу. Так все, пробывшие 10 лет, но сосланные на 20, успевшие жениться и обзавестись хозяйством, обязаны были вернуться снова на каторгу дорабатывать 10 лет.

Приговор по омскому делу был утвержден в таком смысле: шестерых присудили к 7 тыс. палок, и затем велено на всю жизнь сослать на тяжкие работы в нерчинские рудники. Остальных присудили к 3-м, 2-м и 1-й тысячам палок либо розог, а потом первых на всю жизнь в тяжкие работы, либо на ограниченное число лет, либо прямо на поселение. Последних велено разослать в разные отдаленные сибирские батальоны и отряды. День, назначенный для экзекуции, 7 марта 1837 г., был морозный: на площади, засыпанной снегом, поставлены были два тысячных батальона солдат, вооруженных палками такой толщины, чтобы три могли войти в дуло ружья.

Батальоны выровнялись, вытянувшись, вопреки уставу, в широко расставленные шеренги; солдаты должны были стоять вольно в тесных рядах; ударяя, они обязаны были недалеко отбивать локоть от боку и не выставлять своих ног из рядов. Первым повели Шокальского с обнаженною по пояс спиною, с привязанными к прикладу ружья руками, за которые держались два унтер-офицера. Находившийся при экзекуции доктор заступился за собрата и, идя сзади него, шептал солдатам бить легче, иметь сострадание: «бессилен и хвор, не выдержит». Когда после 5 тысяч палок Шокальский упал и когда на совет коллеги отходить последнюю тысячу и разом кончить экзекуцию не согласился, доктор настоял на том, чтобы прекратили наказание и отправили больного в лазарет. Последним водили Сироцинского. Подходя к рядам, крепительных капель он не принял. Когда услышал приказ начинать, — стал говорить нараспев покаянный псалом: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои...» Слабый, исхудалый в заточении, Сироцинский наказания не выдержал; не выдержали и другие товарищи. Отдохнувший в лазарете Шокальский отходил потом последнюю тысячу и на другой же день увезен был в нерчинские рудники.

Здесь его не употребляли в работы. Жил он на Каре, занимался торговлею и от нее кормился; лечил безвозмездно. Его коричневый самодельный сюртук с воротником, опущенным собольим мехом, до сих пор помнят там, помнят по тому, что видели его и в норах каторжных жилищ, и на самом промысле, и в семи верстах от него (насколько позволял закон). Днем и ночью шел Шокальский на помощь и избавление к каторжным и богатым и особенно счастлив был исцелять раны всякого рода. Рад он был, если за практику получал от бедняков в награду чай с белым хлебом, но и получая подарки от богатых на улучшение костюма — никаких изменений в нем не делал; любя простоту, жил самым скромным образом⁵⁵.

«Это была натура крепкая (говорит Гиллер со слов знавших его), праздность была для него смертью. Ничем не сокрушенный, и на Каре он еще успел составить целый новый план общего поголовного спасения рекою Амуром до берегов Великого океана. Всю свою душу он отдал на выработку этого плана, но, когда план оказался невозможным и рухнули все надежды, доктор впал в тихую меланхолию. Сначала он заперся в своей комнате и ходил по ней быстрыми шагами, развивая в мыслях какие-то намерения. Один из его товарищей, возвращавшийся домой и подошедший к окну доктора, заметил его возбужденное состояние, но, увидавши в углу ружье, понял, в чем дело. Просил доктора отпереть двери, но получил отказ: решившись приподнять окно, слышал угрозы; когда побежал за помощью — доктор выстрелил себе в грудь.

Ружье заряжено было изломанным гвоздем. Когда через несколько минут вошла полиция, выломавши двери, то нашла Шокальского растянувшимся на полу: из груди ручьем била кровь, а собака его, Филяр, положивши морду на грудь, в предчувствии смерти благодетеля, жалобно выла. Полиция хотела оттащить собаку, но пришедший в себя Шокальский сказал: “Не трогайте, прошу вас, пусть простится со мною мой наивернейший товарищ и друг!”

После выстрела он жил еще с неделю. На вопросы о поводах к самоубийству отвечал одно: “Я стрелял в себя от любви”, и ничего больше не хотел говорить полиции. Товарищам же своим сообщил, что выстрелил в себя от тоски по родине»⁵⁶.

Та же тоска неволи вызвала новое происшествие уже в пределах Восточной Сибири. Двумя годами позднее омского дела (в 1836 г.), когда еще не был произнесен приговор над товарищами Сироцинского и еще не началось поголовное перемещение поляков из одной части Сибири в другую — задуман был поголовный побег тех поляков, которые находились на заводах Восточной Сибири.

Началось движение на Александровском винокуренном заводе под Иркутском. Начиная его бывший полковник польского восстания 29 ноября 1830 года Петр Высоцкий, составивший исполинский план бегства через Сибирь, Саянские горы, Джунгарию и Туркестан до Индии, откуда надеялся он на английских кораблях достигнуть Европы. Он предварительно нарисовал карту целой Азии, проложил по ней дороги через лес, горы и степи между дикими народами, и решился скорее умереть, чем отказаться от несбыточного плана и дольше оставаться в неволе. Сделав запас съестных припасов, насколько можно было запастись, Высоцкий всемером выбрал для побега тот момент, когда запирали тюрьму. Побег удался: они выскользнули из завода и когда один из них захворал, товарищи вели его под руки несколько верст до Ангары. За нею, в Иркутском солеваренном заводе, они намеревались соединиться с тамошними земляками. Дойдя до реки, для переправы на другую ее сторону, они соорудили плот из лиственницы, но переехать не могли, потому что плот, сколоченный из свежего дерева, тонул в воде. Тогда они одного из товарищей послали за лодкою. Явился крестьянин, спустил лодку на воду и управил ее в самую середину облавы, которая уже успела на погибель их, по указаниям изменившего им и намеренно вызвавшегося за лодкою товарища. Быстрое течение Ангары давало беглецам некоторую возможность на спасение, но облава из команды и каторжных, засевшая в кустах на берегу Усольского острова, начала стрелять. Пули свистали над головами, и одна из них попала Высоцкому в руку; лодки от берега придвинулись к ним и вблизи острова кругом их оцепили. «Поляки кроме оружия, имели другое действительное оружие, то есть деньги, но ничто не помогло. Каторжные первыми их связали и представили полковнику Злобину, обобрав их, что называется, как липку». В Иркутске приковали их к тачкам и судили целый год. Высоцкий получил одну

тысячу палок (не плакал, не стонал); Багунский — 500; остальные были наказаны розгами, и все переведены в нерчинские рудники — в Акатуй.

В Акатуе Высоцкий прикован был к тачке, ходил с товарищами в течение двух лет на работу в горы копать руду и жил сначала в одиночном заключении. Выпущенный из тюрьмы, он жил при руднике на поселении, из Акатуя никогда не уезжал. К концу изгнания и его сильную натуру постигла болезнь меланхолии: он часто хворал до того, что нерчинское начальство принуждено было ходатайствовать в Петербурге об освобождении его из тюрьмы, но разрешения не получило. Высоцкий стал задумчив, избегал товарищества, не хотел никого знать, ни с кем не говорил. Недоверие к людям овладело его душою до того, что он запирался в квартире и казалось, что все чувства в нем окаменели. Один из товарищей его (Хлопицкий) предан был ему до самоотвержения, о себе не думал, думал только о Высоцком, его славою и добродетелями жил, его страданиями и несчастьями болел. В то время, когда еще Высоцкий содержался в тюрьме и был прикован к тачке, этот Хлопицкий с четырьмя товарищами сговорились отбить Высоцкого из каземата и вместе с ним бежать через Монгольскую степь и Китай на английские корабли. Так как все заговорщики были самые бедные люди (шили женские башмаки чиновничьим женам; кое-кто, запасшись лошаdkою, возил дрова в казну), а предприятие требовало денег, то и решились они предварительно наделать фальшивых бумажных ассигнаций, на них закупить мунгальских товаров, запасаемую на монгольскую руку нерчинскими купцами, закупить лошадей, наменять серебра и по возможности золота, и подкупить сторожей. Затем, когда все будет заготовлено «и денег в массе до ста тысяч рублей, ночным временем надобно подкрасться к часовому во фронте, схватить его за горло и отдать нашим прочим товарищам на руки, а самим взять с фронта ружья и подойти тихими шагами к дверям, сбить замок и выпустить

арестантов, а вместе схватить Высоцкого, посадить на почтовых и отправиться»⁵⁷. При обысках найдено и личное: пресс, фланелевые лоскутья, вымытая бумага, обтянутые кожей колодки, мяльная машина, квашня с мятою бумагою, отпечатки на коже и бумаге ассигнации 25 руб. достоинства. При допросах были очевидны доносы одного из заговорщиков (Бирона) и беспощадные взаимные оговоры остальных участников. Показания делались обширные, разноречивые. Очные ставки показывали боязливые и усердные стремления одной стороны с целью выгородить себя, не щадя прочих товарищей. Выдавались самые сокровенные тайны, обусловленные страхом смерти на случай измены; но во время самого преступления замечательное терпение и единодушие и при этом изумительная осторожность с настойчивостью дойти до конца, несмотря на громадные затруднения. Показания участников и взаимные оговоры накопили огромный том запутанного дела, в трущобах которого с большою ясностью выясняются следующие обстоятельства (на пунктах единогласных показаний, подтвержденных и очными ставками и следствием).

Задуманная цель настойчиво преследовалась в течение целых восьми месяцев, несмотря на все препятствия, зависевшие и от административного надзора и от географических причин: один жил на Благодатском руднике, другой — на Кадаинском, третий — в Акатуйском. Для свидания и действий отпрашивались то за покупкою хлеба в Аргунский острог (на 15 дней), то за покупкою товаров в Нерчинск (на целый месяц), то под видом исполнения казенного подряда на покупку дров. Двое признались в том, что вступили в брак с сибирячками для того, чтобы «отклонить подозрение начальства от обдуманного заранее побега на родину». Один, узнавший во время следования в Сибирь по этапам, что сетка для ассигнаций делается из самой тонкой проволоки, каковая бывает на канитель-

ных струнах или офицерских эполетах, жертвует для покупки эполет собственным кафтаном, полученным сукном от купца, для которого сделал план мельницы. Другой составляет фальшивое письмо от имени польского магната, жившего в Тобольске — письмо с обещанием высылки 400 рублей денег, и на это письмо берет у имущих товарищей в долг деньги; «и все высосал, у них теперь ни копейки не осталось». Третий пользуется лошадью товарища, приехавшего повидаться, и закладывает ее целовальнику. Сделав денежный запас на покупку необходимых предметов и уговорившись, что «хотя и попадемся трое или четверо, прочие останутся лишить жизни доказчика» — принялись за работу. Александрийскую бумагу купили в Нерчинском заводе в кабаке за простую. Железный винт для пресса приобрели в числе прочего железного лома; дерево к прессу, гайки и пунсон сделали сами; резцом и пилою запаслись еще раньше; лайку (каковая долго задерживала работы) купили у татарина, сосланного за подделку фальшивых ассигнаций. На покупку лайки употребили даже такую драгоценность, как компас, приобретенный для того, чтобы во время побега не блуждать дорогою. Прежде лайки пускали в дело (хотя и неудачно) лоскутки от брюк и белого сукна; для приобретения фланели изрезали собственную фуфайку; винт «достали с великою опасностью». Производилась фабрикация в Кадаинском руднике, в доме Хлопицкого, женившегося перед тем на сибирячке. Вещи от нее прятали под половицу в чулане, а когда она увидала раз ручной пресс и спросила: «Для чего это?», муж отвечал: «Для того чтобы любопытным отвертывать головы». Работа шла неудачно: изменили гитарные баски — потребовались эполеты; печатные формы несколько раз принуждены были переделывать: «орел хорош, но имел возвышенные крылья; по отпечатании другой ассигнации маленький орлик под большим орлом на конце скипетра оказался неправильным». А резал опытный и умелый

резчик Броновский; и герб у штемпеля, и украшения небольшими резцами, а сетку с обеих сторон чеканил стальным пудцом. Пробовал сначала на свинце, но «как оный по мягкости оказался негодным, то после сделали форму из меди, вырезанной из старого медняка: наложенный свинцовый штемпель под прессом испортился и никакого оттиска не дал». Наконец, наладились. Для приготовления бумаги поступали так: не найдя почтовой, пустили в ход случайную александрийскую, разбирая ее очень мелко и размачивая в горшке, из которого выливали потом в приготовленный бочонок. В нем «стоячим валиком с пальцами размешивали бумажную мякоть до жидкости, похожей на сливки; потом раствор наливали на четверугольные фланелевые лоскутья так, чтобы бумажки выходили величиною в ассигнацию, для чего по краям фланели прикладывали медную четверугольную рамку. Когда же вода сквозь фланель процеживалась, то медную рамку накладывали на другой лоскут фланели, а тот, который с раствором назначался для ассигнации, накрывали простою бумагою. Сделав 5 или 6 листов, сжимали их прессом, потом сушили и отделяли от простой бумаги, между которой эти листы были прослоены. Бумага выходила грубою и толстою. В пресс сначала клали штемпель, намазав краскою из сажи, тщательно растертой на олифе, потом клалась бумага, на нее лайка, наконец, кожаная подушка, которая нажималась. Не могли мы никаким образом подписать руку кассира, хотя на справедливой ассигнации по чертам подписи проводили чернилами и на чистую бумагу накладывали, где и оставалась, хотя не правильная, но похожая на подпись кассира. Поправив пером, прикладывали на фальшивую и увидели, что довольно хорошо. Брали трех сортов чернила, но еще оказались слишком черны и делают большое подозрение. Теперь приготовлено к другому отпечатанию 10 тыс. руб., в которых постараемся наблюдать всю правильность при печатании». «Хороши ли эти?» — спра-

шивал один у другого. «Довольно хороши и искусно сделаны». При этом он вынул из ящика на 6 тыс. руб. бумажек 25-рублевого достоинства. «Я, увидевши их, начал присматриваться, хвалил их искусство, не подавая никакого виду и оказывая большую радость».

Единодушие их выручало. «Для товарищей тысячи рублей не пожалею», — только и слышалось ото всех. Донос и на этот раз сгубил их всех (жене Хлопицкого удалось, однако, припрятать самые главные и опасные из вещественных доказательств). Виновные, по суду, были приговорены к наказанию, которое и приведено в исполнение в Большом Нерчинском заводе: двое наказаны кнутом, один плетью. Впрочем, положение Высоцкого вскоре было облегчено: он был выпущен на свободу и мог заняться хозяйством и мыльным заводом. Некоторые из его товарищей умерли, не дождавшись освобождения. Высоцкий возвратился на родину в 1857 г., где вскоре и умер.

Неудачная попытка друзей Высоцкого к освобождению себя и товарищей из неволи далеко не была врачующим средством для поляков, мучившихся тоскою по родине. В том же Акатое далеко после зародился новый план бегства, имевший целью воспользоваться временем Крымской войны 1854 и 1855 годов и крейсерством англо-французских кораблей на водах Тихого океана. Беглецы, руководимые одним из братьев Далевских, предполагали в солдатских шинелях добраться до Аргуни, чтобы на лодках выплыть по ней на Амур до его устьев, сжечь там все магазины и казенные сооружения, приготовленные против неприятеля, а потом на тех же лодках дойти до английских и французских кораблей. Старые и бывалые ссыльные старались противодействовать планам и отклонить от исполнения проекта увлекавшихся молодых авантюристов, но напрасно. Приготовления производились самым деятельным образом: припасена была лодка, сплетены рыболовные сети, закуплено довольно число солдатских шинелей

и заготовлены ружья. Но в это время пришло известие о мирном парижском трактате, разрушившем планы ссыльных поляков на соединение с англичанами.

Эта попытка была последнею по времени в большом скопище ссыльных, но одиночные побегі были беспрерывны (и так же неудачны), а побегі партиями не останавливались ни перед какими препятствиями, не упускалось из виду ни малейших поводов и случаев к тому, даже без предварительной оглядки и подготовки. Так, известен случай побега (еще из первых лет этого второго периода польской ссылки) с этапной дороги из Томской губернии. Достаточно было надежд на успех предприятия, выраженного хлебосольными татарами, довольно было уверения со стороны их в том, что Бухара примет беглецов гостеприимно, чтобы 240 поляков из польских войск 1831 года, шедших в Якутск, поверили и серьезно принялись выработать план побега. Все дело остановилось только за тем, что не нашлось достаточного количества оружия.

Не только урочища и разные местности передают предания о неудачных попытках поляков, даже подробные памятники на польских кладбищах в Сибири красноречиво и настойчиво говорят о том, что побегими испещрена история польских изгнанников, что на них истрачено понапрасну немало сил и времени не только в Сибири, но и в России. В Нерчинском Большом заводе один такой надгробный камень прикрывает могилу Альбины Мигурской — истинной героини во всей истории польской неволи. Эта молодая женщина презрела все общественные связи, богатство, родителей и не обратила внимания на советы родных и друзей, на невзгоды дальнего пути, на грустную будущность — и поехала в город Уральск к своему жениху, сосланному в тамошний линейный батальон солдатом. Здесь она вступила с ним в брак и сделалась для него действительною утешительною и путеводною звездою в сумрачной ночи неволи. Она родила двух детей, но дети вскоре умерли, оставив

матери старую тоску на сердце и усиленное желание освобождения себя и мужа от неволи. Однажды казаки принесли к ней с берега Урала платье мужа и письмо его, в котором он просит у нее прощения за то несчастье, которому подверг ее, бросившись в воду от тоски по отчизне и оставив ее на чужой стороне в неизвестности положения. Печаль и слезы несчастной женщины были столь искренни и сильны, что в Мигурской приняли самое сердечное участие все уральские дамы и начальство. Визиты были часты, долговременны и в конце начали уже мучить ее, потому что муж, спрятанный в соседней комнате, мог ежеминутно выдать ее чиханием, кашлем, каким-либо произвольным движением. Адские пытки переносила она во все время, пока ходила просьба о дозволении ей возвратиться на родину. Тайна была сохранена, даже служанка, привезенная из Польши, сумела свято соблюсти ее. Когда было получено разрешение на отъезд, Мигурская заявила желание вырыть из казачьей земли трупы детей и увезти их кости в польскую землю. Сложила она эти кости в один гроб и туда же спрятала мужа. На дорогу ей дали в проводники казака. Гроб с живым Мигурским поставлен был под козлы и, таким образом, благополучно выехал из пределов уральского войска. В Саратовской губернии казаку удалось подслушать разговор супругов и донести по начальству. В Саратов супруги явились уже пленными, и там еще до сих пор помнят тот потрясающий момент, когда супруги Мигурские вошли в костел и пали на колени перед гробом своих детей: она — в трауре, он — в кандалах. Мигурская сделалась предметом разговоров; тамошние поляки смотрели на нее, как на святую, на коленях испрашивая у нее благословения. Манифест в связи с бракосочетанием Императора Александра II освободил Мигурского от наказания; его отправили не в работу, а только в сибирские войска, и поместили в Нерчинском заводе. Здесь Мигурская заболела чахоткой и умерла⁵⁸.

Большими удачами воспользовался Пиотровский, бежавший из-под Тары с Екатерининского винокуренного завода⁵⁹. После многих неудачных попыток ему удалось ускользнуть из завода переодетым, в парике и в местном наряде. Пешком по льду Иртыша, глубокими снегами и в сильные морозы, добрался он до г. Тары. Здесь в первом доме нанял лошадей по тракту на Ирбит, сказываясь купеческим приказчиком из Томска, нагоняющим своего хозяина. На дороге, в одном кабаке его обокрали; в другом месте заблудившийся ямщик вывез его обратно туда же, где он его нанял. После многих страхов вблизи завода и опасностей в его окрестностях Пиотровскому удалось добраться через Ишим и Тюмень до Ирбита на бойких сибирских лошадаках; в трое суток сделал тысячу верст. В Ирбите солдат у заставы первым делом потребовал паспорт, но удовольствовался вместо бумаги двугривенным. Из Ирбита он вышел пешим, с мешком за плечами. В попутных деревнях паспорта, разумеется, не спрашивали; в крайних избах он старался расспрашивать о дороге. На ночь уходил он с дороги в лес и там, по обычаю остяков, выгребая в снегу яму, делал постель и ложился спать. Укрывался полушубком, обращая шерсть его наружу; просыпался с тяжелым чувством, на ходу согревался и становился снова веселым. Еловые лапки указывали дорогу прямо на Верхотурье. В деревнях сказывался рабочим, идущим на казенные Богословские заводы. Имея на теле три рубашки: две белых и одну красную, и снимая их на ночь, в одной деревне возбудил подозрение. Мужики потребовали паспорт и, получив фальшивый, успокоились. Пошел снова пешком и воспользовался на ночь тем улучшением, что придумал ложиться спать не в снежную яму, а в те, которые образуются около древесных пней; в снег зарывался совсем и только палкою пробивал отдушину. Ноги, которые всего скорее зябли, стал также зарывать в снег; стало тепло и удобно. Чужая теле озноб, вскакивал и шел, не разбирая ночи. Встре-

чая извозчиков, возвращавшихся из Ирбита с ярмарки, подсаживался к ним на облучок или, идя сторонкою, расспросами добирался до необходимых ему сведений: о дороге, о местных обычаях, о городах. За Верхотурьем встретил коновалов-мезенцев, шедших на заработки в Сибирь. Встреча эта решила ему дорогу на Архангельск. В одной деревне ночью узнал он, что находится уже в заводе Правдинском, и сказывался, что и идет в Соликамск в работу на солеварню по письму приятеля. Перешел Урал. Подсел к ямщикам, ехавшим из Ирбита в Чердынь. Отсюда через Соликамск, Кай и Лальск, узенькими лесными дорогами, где двоим саням нельзя разъехаться, добрался до Великого Устюга, в качестве богомольца, идущего в Соловки. От Кая шел он уже в толпе настоящих богомольцев. По лесам лесные избушки, где всегда оставляют много огня, выручали от бед голодовки и замерзания. Под Устюгом нашел реки покрытыми льдом, но уже веяло весною. В Устюге толпа богомольцев увеличилась, наняли лодку до Архангельска и поплыли Двиною. Приказчик отобрал паспорта и, взглянув на фальшивый и увидев печать, смешал его с сотнею других.

Побывал Пиотровский в Соловецком, переплыл в город Онегу и по берегу Онеги пошел пешком на Каргополь, рекомендуясь соловецким богомольцем, возвращающимся через Петербург в Новгород, с тем чтобы оттуда добраться до Киева. Плыл по Вытегре, Онежскому озеру, Свирью, Ладожским каналом, Невой. Пошел в Петербурге, с коробком и в сопровождении двух карелок, прямо на Невский проспект. Над карелками проходящие посмеивались; Пиотровский погулял дня четыре по Петербургу, поглядел на него, кое с чем ознакомился. На Сенной приняли без паспорта, а когда показал, сказали, что не надо ходить в полицию: «Все равно, через три дня уедешь!» Доискался он судна, уходящего в Ригу; опять сунулся предъявить паспорт и начал доставать, развязывая платок, в который, по

крестьянскому обычаю, паспорт был спрятан. Паспорта не смотрели, велели приходить завтра получать билет на пароход. Тогда явился на помощь ментор, взял деньги, паспорт, купил билет и после третьего звонка пихнул на палубу. Поплыли 3-го июля 1846 года. В Риге купил бритву, обрился, продал полушубок, обзавелся одеждою ливонского крестьянина и разменял деньги на иностранные. Через Митаву и Поланген добрался до прусской границы, стал выбирать место для прохода. Купаясь с таможенным солдатом, узнал о контрабандистах, о слабых местах границы, о слабостях солдат. Зная прусский обычай везде в домах и корчмах первым вопросом спрашивать паспорт, — решился нигде в домах не ночевать; ночевал, по-сибирски, на полях и в лесах. В Кролевце (Кенигсберге), выдавая себя за француза, попался. За скверный немецкий выговор посадили под арест, допрашивали: «Где паспорт?» — «Потерял». — «Чем занимаетесь?» — «Рабочий с бумагопрядильной фабрики». Послали во Францию за справками, а самого посадили в тюрьму; упорно отстаивая свое французское происхождение, он не хотел указывать на Россию; но, объявившись поляком, получил совет поскорее выбираться из Пруссии. Случайной снисходительности немецких властей Пиотровский обязан был тем, что 22 октября 1846 года он был уже, через четыре года, снова в Париже, в том городе, из которого выезжал в Польшу эмиссаром, затем, побывав в Сибири, стал учителем, живя где-то эмигрантом.

Вступление Императора Александра II на престол ознаменовано было в 1855 и 1856 годах прощением и освобождением всех политических ссыльных второго периода ссылки поляков. Кроме тех, которые новыми преступлениями увеличили для себя сроки ссылки, кроме тех, которые поступили на государственную службу или, увлекшись потоком сибирской жизни, обзавелись семействами, хозяйством, коммерческими

делами и проч., — все остальные поляки возвратились на родину. Немногие вернулись в Сибирь за участие в новом восстании. Некоторые, побывав на родине, возвратились в Сибирь, увлеченные соблазнами промышленных и коммерческих предприятий.

ГЛАВА III

ВРЕМЕНА АЛЕКСАНДРА II

Ссылка поляков с 1863 года. — Степень участия различных сословий в восстании. — Участие иностранцев. — Сосланные на житье и для водворения. — Причины замкнутости ссыльных и необеспеченность их водворения. — Отношения к ним туземцев. — Нравственное состояние ссыльных поляков. — Мастерские в Тобольске. — Импровизированные земледельцы. — Благоприятные данные. — Обрусение шведов. — Запорожцы. — Шляхта.

С весны 1863 года стали направляться в Сибирь и прибывать в Тобольск передовые значительные партии ссыльных поляков. С того времени по 20 декабря 1866 года всего поступило в Сибирь, со включением и добровольно пришедших за ссыльными жен и детей, 18623 обоего пола.

В 1863	году.....	524	чел.
"- 1864	"-.....	10649	"-
"- 1865	"-.....	4671	"-
"- 1866	"-.....	2829	"-

Из этого числа ушло на каторгу 3894, на поселение 2153, прислано на житье 2254 и для водворения 8491 (добровольно пришедших 1830 чел.⁶⁰).

Стало быть, присужденные к тяжким наказаниям составляют почти $\frac{1}{4}$ ч.; присужденные к легким (на житье и водворение), более $\frac{1}{2}$.

Из них всего больше распределено в Западной Сибири (10407), чем в Восточной (8199), с той разницею, что

в первую пришли с легчайшею виновностью, во вторую ушли приговоренные к самым тяжким наказаниям (на каторгу и поселение)⁶¹.

Сосланные на каторгу, поселение и житье распределены по сословиям в таких цифровых отношениях:

Дворян.....	4252 чел.
Духовенства	226 "-
Горожан	1148 "-
Крестьян	849 "-
Солдат	245 "-
Иностранцев	385 "-

Из водворенных почти все принадлежат к низшим сословиям; дворянство составляет $\frac{1}{4}$ ч. (около 25%), несмотря на то, что в общей массе народонаселения дворяне составляют не более $\frac{1}{20}$ ч., т. е. 5%. Таким образом, ссылка лишила Царство Польское и западные губернии (за вычетом детей и женщин) в дворянском сословии $\frac{1}{50}$ ч., в рабочих силах $\frac{1}{20}$ ч. и в духовенстве $\frac{1}{20}$ ⁶². Распределяя уменьшение дворянства по губерниям, мы увидим, что всего больше (почти 3%) своих сил потеряли литовские губернии и на 2% уменьшилось дворянство из Юго-Западного края в Волынской губернии. Произошло это уменьшение, стало быть, выразилось и участие в мятеже лиц дворянского сословия в таком виде:

В Ковенской губер. на	$\frac{1}{36}$ ч.
"- Виленской "- "-	$\frac{1}{30}$ "-
"- Гродненской "- "-	$\frac{1}{40}$ "-
"- Витебской "- "-	$\frac{1}{60}$ "-
"- Минской "- "-	$\frac{1}{50}$ "-
"- Могилевской "- "-	$\frac{1}{65}$ "-
"- Волынской "- "-	$\frac{1}{45}$ "-
"- Киевской "- "-	$\frac{1}{50}$ "-
"- Подольской "- "-	$\frac{1}{44}$ "-

На каторгу из всего числа сосланных дворян (4252) ушло — 1,699 чел., т. е. $\frac{1}{3}$ или 40 проц. Пропорция эта по местностям распределяется таким образом:

Из Цар. Польск.	сосл.	1244;	на кат.	506,	или	40	%
-" Сев.-З. края	-"	2092;	-"	590,	-"	28	-"
-" Юго-З. края	-"	916;	-"	603,	-"	66	-"

Стало быть, несмотря на то, что в Юго-Западном крае мятеж не развился шире польского и Северо-Западного края и при меньшей численности дворянства, сослано лиц этого сословия в каторжную работу не только не менее, но даже больше.

Из каждых ста дворян Сев.-Западн. края ушло только 28 проц.

Из каждых же ста Юго-Зап. края на ту же каторгу ушло 66 проц.

Следовательно, одно из трех: либо на юге приговоры делались строже, либо на севере местные средства возмездия умели парализовать число присужденных к тяжким наказаниям в сибирской каторге, либо, наконец, содействие сельского населения к арестованию и представлению по начальству своих взбунтовавшихся панов в среде малороссийского народа выразилось фактически сильнее и ярче, чем таковое же народное участие к подавлению мятежа в среде белорусского народа. Само собою разумеется, сибирские данные окончательного определения каждой причины и разграничения всех трех между собою дать нам не могут.

Из 3399 человек, присужденных к тяжким работам на каторге, сословия встали в таких отношениях по абсолютным цифрам и по пропорциям:

Дворян	1699 чел.	или	50 проц.
Духовных	98	-"	3
Мещан	676	-"	20
Крестьян	705	-"	21
Солдат	212	-"	6

Стало быть, городские сословия приняли участие в мятеже гораздо сильнее обывателей сельских; мещанам и крестьянам принадлежит почти равная степень участия, несмотря на громадное числовое превосходство последних перед первыми. Дворянству между всеми принадлежит половинное число.

По вероисповеданиям из сосланных на каторгу, поселение и житье, кроме католического, всем остальным принадлежит только около 3 проц., или 221 чел. в таких отношениях: православных 124, униатов 17, протестантов 37, евреев 43. В 124 православных замешалось 47 дворян белорусских юго-западных губерний, 4 лица духовного сословия, 6 мещан, 10 крестьян и 57 солдат (преимущественно из дезертиров).

Всего сослано на каторгу:

Из 1,785 ч. Царства Польск.: высших сословий 565 ч., т. е. 32%, низших сословий 1220 ч. т. е. 68%; из 927 ч. Северо-Зап. края: высших сословий 625 ч., т. е. 67%, низших сословий 302 ч., т. е. 33%; из 687 ч. Юго-Западн. края: высших сословий 607 ч., т. е. 88%, низших сословий 80 ч. т. е. 12%.

Таким образом, низшие сословия увлеклись сильнее в Царстве Польском, чем в Северо-Западном крае, а здесь гораздо сильнее Юго-Западного, указывая на разницу литовского племени жмудяков-католиков от православных малоросов, помнящих угнетения за свою веру от того же католичества. Ничтожное количество евреев (всего 43 человека) достаточно свидетельствует о той холодности и равнодушии, с какими отнеслось к делам Польши это многочисленное племя, облепившее все деревни, местечки и города всего края, поднявшего восстание. Большая часть из всего числа 43 евреев, судя по статейным спискам их, высланы были в Сибирь за содействие мятежу посредством провоза оружия из-за границы и другие подобные преступления, т. е. скорее за увлечения коммерческими расчетами, чем политическими планами.

Иностранные подданные, угодившие в Сибирь, в общем числе 385-ти, распределились в таких размерах:

Австрийских (преимущественно из Галиции) поляков.....	259
Прусских (преимущественно из Познани) поляков.....	102
Итальянцев (гарибальдийцев).....	10
Французских подданных (коренных французов).....	10
Английских подданных.....	2
Гессен-дармштадтских немцев	1
Саксонских немцев.....	1

История России не представляет другого примера административной и судебной высылки по политическим преступлениям в таких размерах, как теперь. Поэтому, само собою разумеется, и в законодательстве остались не предусмотренными и достаточно не разрешенными те условия, в какие должны встать сосланные и переселенные лица в новых местах их жительства. Ряд административных распоряжений, последовавших в разное время, казался удовлетворительным и не представлял особых затруднений тогда, когда число лиц определялось десятками и едва доходило до сотни. Теперь, когда высланных считают тысячами, прежние распоряжения являются далеко неполными и недостаточными. Это, естественным образом, влечет за собою целый ряд затруднений и стеснений как для местной администрации, так и для самих ссыльных.

Не останавливаясь далее на сосланных в тяжкие работы, отношения которых к ссыльным неизбежно должны были выражаться в старых несколько неизмененных рамках, до подробностей тех же поголовных стремлений к свободе (вроде истории на Круго-Байкальской дороге), хорошо известных всем по сообщениям газет. Обратимся к тем, которые высланы на житье и для водворения. Для примера берем Тобольскую губернию, как такую, где в рассматриваемые нами годы лишенных всех прав состояния только 50 человек, все же остальные лишены только некоторых прав.

Вот чем выразилось в этой губернии положение новых ссыльных.

В Тобольской губернии лишенных некоторых прав и преимуществ оказалось 591; лиц, находящихся под надзором, — 1175 чел. В числе последних более 35 проц. (419 чел.) принадлежало молодым людям от 16 до 25 лет; между ними оказались сосланными даже такие, которые в Тобольске с увлечением пускали бумажного змея, играли мячиком и, однако, считались и называли себя политическими преступниками. В Тобольской губернии таких оказалось 27 человек (сверх 61 детей при родителях)⁶³. В числе первых 591 чел., присланных для водворения на казенных землях, оказались большею частью горожане; между ними находились хорошие музыканты, живописцы и танцоры. Всем им предстояла одинаковая участь с польскими крестьянами: взять клочок земли и заниматься хозяйством.

Общие черты сходства для людей обоих этих разрядов выразились в том, что в большинстве своем они пришли не только без приличного, но даже и достаточного одеяния (чаще в том самом, в каком были взяты к суду); нищета в самых крайних ее пределах возбуждала всеобщее сострадание. Не имея возможности достать хлеба на предстоящий день, без дневного приюта, без языка, не зная, за что приняться, — люди эти, вышущенные из тюрьмы, представлялись на первых порах брошенными решительно на произвол судьбы с семью копейками суточного пособия, рассчитывающего на квартиру, пищу, одежду и удовольствия.

Общие черты различия для обоих разрядов выразились, при практическом применении, тем, что судьба слабее наказуемых оказалась худшею, чем судьба лиц, обреченных на сильнейшие меры взыскания; положение сосланных для водворения на свободных казенных землях сделалось сравнительно лучшим, чем положение сосланных собственно под надзор. Этот «надзор», при возможности наблюдения только внешнего, хлопот-

чет лишь о том, чтобы такой-то не выезжал из пределов указанного района, не производил наружных беспорядков; полицейский надзор имеет право быть довольным собою, если ему удастся достигнуть только одних этих целей. В практическом применении к судьбам политических ссыльных этот надзор в Сибири выразился таким явлением: запрещение отлучек уничтожило почти всякую возможность к прочному устройству жизни и к приисканию какого-либо рода деятельности, при 2 р. 10 к. ежемесячного казенного содержания. Чтобы сделаться промышленником, нужно кое-какие права состояния, чтобы стать торговцем — необходимо, чтобы разъездам не полагались границы одною местностью; службе у частных лиц суровый контроль мешает тем, что поселяет и поддерживает в последних недоверие и затрудняет им входить с ссыльными в какие-либо соглашения или приглашать их для каких-либо торговых занятий. Письменные занятия по вольному найму, разрешенные впоследствии, при множестве политических ссыльных оказались мерою паллиативною. Занятия же ремесленные и земледельческие не обеспечены никакими средствами. Отсюда механическая связь пришельцев с туземцами и безнадежность полного органического слияния. Между тем, общество готово, без предрассудков, отделять их от остальных ссыльных и обеспечивать работами. Временные пособия со стороны правительства (безвозвратные), дробясь между сотнями лиц, для каждого в отдельности настолько ничтожны, что не достигают никакой цели. И современные ссыльные поляки принуждены делать складчины, не только добровольные, но и обязательные, т. е. для богатых взносы имели значение подати. Та же замкнутость и обособленность от общей жизни, беспомощное положение и невозможность существования единичными средствами, наконец, простое человеческое сочувствие естественно выразили это благотворительное дело,

направленное для поддержки крайне бедных товарищей. Эти товарищества составляли продолжение тех, которые устанавливались между ссыльными самими начальствами по всей России, во время пути следования поляков в Сибирь. Начальства избирали старост и отдавали партии в полную их зависимость, внутренне сознавая, при недостатке воинских команд, невозможность двигать в порядке эти громадные толпы. На этапах и в тюрьмах были сотни примеров наказания товарищей самими старостами и выборными за малейшие проступки. Этот самосуд или собственно контроль удержался и на местах водворения, помогая ссыльным сдерживать преступные наклонности и устранять, ослабляя те подозрения туземцев, которые, между прочим, и на этот раз выразились подозрениями в поджогах. Общинный надзор во многом сослужил службу полицейскому.

Вот как характеризует один из местных администраторов положение ссыльного, воспитавшегося под надзором и не освобожденного от него по требованиям местных условий быта:

«Политический ссыльный приносит убеждение, что весь итог прожитой жизни утрачен безвозвратно, и поэтому или кажется совершенно равнодушным ко всему окружающему, или является раздражительным, беспокойно-нервным. Если он еще лелеет надежду возврата, то, тем не менее, эта надежда, оживляя его, мешает труду, прочной оседлости: Сибирь — почтовая станция, минутная остановка жизни, не стоит и браться ни за что серьезное. Это время для политических ссыльных — время утопий, несбыточных надежд и идеалов; все уроки, все ошибки прошлого забыты, утратили свое поучительное значение. С постепенною потерю практического смысла, всякий жизненный вопрос обобщается до чего-то безусловного: примирения с настоящим нет, оттого или всегдашняя болезненная раздражительность, или невозмутимое равнодушие. Но, по мере

того как года идут вперед, ослабляя надежду и силу, эти люди становятся сумрачнее: раздражительность, при бездействии, усиливается, недовольство внедряется еще глубже и переходит в злобу. Продолжительный надзор, ежеминутный страх контроля не прошли даром, они выучили удивительному умению владеть собою: ни одно слово не пропадает даром, ни один мускул своим движением не изменяет внутреннему сердитому настроению духа. Сдержанность и замкнутость остаются навсегда характерными чертами этих людей во всех их сношениях с остальными.

Кому из политических ссыльных не удалось столкнуться с практической жизнью, те казались наблюдателю изношенными, обнаруживали страшную нравственную пустоту, которая, при узких взглядах и понимании, характерна была лишь одним упорством в отстаивании своих утопий, мелким самолюбием и болезненную раздражительностью. Те же, которые втапливались в промышленную и торговую деятельность, отрезвлялись сразу: теряли свой исключительный оттенок, понятия постепенно космополитизировались, жизнь со всею мелочностью охватывала их всецело. Искавшие утешения в прошедшем доживали до консервативного упорства, выход из замкнутого круга считался у них слабостью и даже изменою. В силу таких соображений, главною задачею правительства должна быть забота о том, чтобы дать ссыльным занятия, облегчить возможность труда и приспособления способностей».

В Тобольске с 1864 по 67 г. сделаны были⁶⁴ опыты учреждения мастерских. Несмотря на недоброжелательство и происки рутины или невежества, устроены были прачечная, столярная, сапожная, слесарная, котельное производство, кузницы, швейная, булочная, открыт пивоваренный завод, заведены мелкие лавки, общая столовая для стариков и хворых на 140 чел. (между ними на 70 поляков). В этих заведениях, вполне соответствующих местным требованиям, занято было большинство ссыльных. Городское население

приветливо встретило их; сосланные начали мало-помалу заручаться надеждами на будущее, привыкать к настоящему своему положению, примиряться с ним и даже выписывать оставленные на родине семейства. В результате из числа 220 человек 35 человек пользовались казенным пособием, всем остальным доставлена возможность работать и честным трудом приобретать себе средства для жизни. Из Тобольской губернии во все это время бежал только один, из Томской бежали десятками. Конечно, на всю губернию такое влияние не могло распространиться; конечно, оно подвержено таким же случайностям, как и самая человеческая личность и, стало быть, непрочное.

Эти начинания в особенности замечательны тем, что они сдержали бесполезный наплыв на сибирские деревни польских горожан — принужденных, импровизированных земледельцев; в то же время эти начинания служили единственным радикальным средством при безвыходном положении; некоторая бестактность репрессивных мер обнаруживалась, вне этих условий и приемов, во всей своей наготе. Все опыты насильного водворения горожан на земле, вне доброй воли и правильных экономических комбинаций, всегда приводили к отрицательным результатам. В той же Западной Сибири земледельцами сделались люди, пришедшие добровольно, а за Байкалом — порочные нижние воинские чины, приписанные в крестьяне, указали на полную безнадежность мер подобного рода. Бродяжничество, наймы по городам, на суда, на золотые прииски — вот результаты подобных начинаний. К тому же, и сами польские ссыльные наотрез отказались в последнее время принять участки земли, категорически заявив, что таким путем они решительно не в состоянии обеспечивать своего существования. Конечно, вместе с безнадежностью совладать с землею много мешало, в данном случае, и боязнь закрепостить себя на земле и потерять, таким образом, надежду возвратиться на родину. Пону-

дительные меры тут бессильны; польские крестьяне и без того заняли в более или менее удовлетворительное положение: они почти все нашли заработки у крестьян, несмотря на то, что в Сибири спрос на личную услугу, во время полевых работ, невелик, наем рабочей силы невыгоден и заменяется искони усиленным семейным трудом. Для желающих заняться сельским хозяйством Сибирь представляет богатый и неисчерпаемый родник. Страна эта замечательна тою своею оригинальностью, что в ней нет частной поземельной собственности, и общинные начала сохранились в целости. Огромные, пустынные и незаселенные пространства земель дают возможность каждому крестьянину пахать землю там, где он захочет и найдет более удобным; 15 десятин земли — в правах каждого, даже из ссыльных. Пастбища при селениях для всех общие, и лежат обширные огороженные пространства (поскотина), специально предназначенные для пастьбы скота. В отдаленных местностях каждый, без всякого дозволения, может накосить столько травы, сколько захочет. Леса — также общинная либо казенная собственность, не делятся и никому не принадлежат: каждый может рубить деревья без контроля, когда ему понадобится (в казенных только платят попенные). Позволения на торговлю и промысел, производимые местно, никто не спрашивает, за патенты никто не платит; в этом отношении по Сибири больше свободы, чем где-либо в Европе. Человек имеет тут больше свободы, чем в России (в труде и его применениях). Поземельных податей никто не платит, кроме мещан, обязанных земскими повинностями, которые, к тому же, общинная свобода значительно ограничила. К сожалению, рядом с этими правами уживаются права бюрократии, чиновничий произвол, и нападения на слабые места сопровождаются нередкими и губительными притеснениями. Если недостаток средств и незнакомство с местными условиями на первых порах затрудняют польских крестьян и замедляют улучшение их быта, то, тем не менее, положение их в сибирских

деревнях гораздо выгоднее положения горожан, назначаемых не в города, а в селения⁶⁵.

Боязнь опасных последствий от изменения существующих форм напрасна и исторически не оправдывается примерами той же самой Сибири (в России подобные примеры бесчисленны). Не только поляки и малороссы, но и шведы из войск Карла XII слились со славянскою народностью Сибири до тождества с нею и поглощены без следа. На память о шведах остались в Тобольске только так называемый «Прямский взвоз» с каменною аркою и стеною над ним; стена же кремля, построенная пленными, давно уже рассыпалась и разобрана, да по дороге в Якутск станция Усть-Ордынская сохранила прозвание «Швед», может быть, по имени одного, может быть, от имени многих поселенных тут шведов. В Сибири евреи, в особенности молодые, изменяются настолько, что можно их смело назвать сибирскими, как особенный тип, значительно не похожий на тот, который господствует в западной половине империи и весьма близко подходящий к настоящим сибирякам: тот же язык, костюм, обычаи и даже иногда вера.

Там, где исчезли без следа и те 138 запорожских казаков, которые присланы были в 1770 году за причиненные в Польше разорения, свободно и скоро превратились в сибиряков те из поляков, которым удалось личными интересами согласно соединиться с требованиями страны и ее интересами. Особенно счастливых результатов обрусения достигали с того времени, когда поляков стали приселять к казачьим войскам большими группами и одиночками. Та же участь ожидает и новых пришельцев, если успеют благоразумно устранить все то, что до сих пор мешало сближению вследствие стремлений видеть в ссылке одну только карательную сторону. В Сибири становится деятелем только тот, кто перестал чувствовать себя наказуемым. Закон этот неизменно выразился для всех национальностей. Сначала, пленившись сходством родного языка с русским, забывают отечественную речь; потом, увлекшись

девицею-сибирячкою, женятся и под влиянием среды и обаянием жены отстают и от обычая; в итоге — сын поляка уже человек православной веры и коренной сибиряк, а сам отец на склоне дней человек национально-обезличенный. В особенности искусно действовала на обрусение поляков государственная служба.

Сибирь, со своими крупными особенностями, с исключительными требованиями, умела превращать в сибиряков безразлично инородцев и иноземцев. Так, например, на пространстве между Усть-Каменогорской крепостью и Змеевским рудником — одним из старинных на Алтае — в настоящее время живут выселенцы времен Екатерины, потомки шляхты из Северо-Западного края, помещичьи люди и крестьяне, выведенные из Польши в 1764 году и определенные в сибирские войска; они уже не сберегли никаких воспоминаний о прошлом, и потомки их только сумели сохранить наряд, резко отличающийся от обычного сибирского. В особенности замечателен наряд женщин, умеющих щеголевато и искусно вышивать бумагой и шелком полотна, нагрудники, оплечья на рубахах; девушки до сих пор сберегают в косах старинные пяточки чеканки времен Екатерины — последние остатки их национальных особенностей.

На подобную участь слиться с местным населением впоследствии, во втором или третьем поколении, обречены были, во время ближайшего к нам польского восстания, те более десяти тысяч обитателей западной части империи, которые присланы в Сибирь.

Пойманные с оружием и за то приговоренные по суду, о которых раньше была речь наша, составляют отдельный контингент от тех, которые присланы не на каторгу и поселение, а на так называемое водворение. Сюда впоследствии поступили многие из тех, которые были судимы и приговорены к арестантским ротам на сроки. По окончании сроков арестантских рот и они включены в число водворяемых, если только не принадлежали к привилегированным сословиям. Это —

большую частью земледельцы, обыватели деревень и шляхта западных губерний, обыватели так называемых застенков и околиц. Вместе с шляхтичами пришли и воспитавшиеся в значительно одинаковых с ними условиях экономического и общественного быта: мещане — исключительно обыватели городов и местечек, отставные солдаты, однодворцы и так называемые панцирные бояре — потомки родов, в древности принадлежавших России и занятых службою по крепостям, взысканием податей и развозкою писем, тот класс, из которого свободно выделялись в шляхетство, мещанство, в класс свободных крестьян и, при особенных подвигах, во дворянство. Причина высылки их заключалась безразлично: либо в косвенном участии в мятеже посредством укрывательства бежавших и спасавшихся при разгроме банд, либо в том (как случалось нередко), что в деревнях этих останавливались банды, мимо околиц этих случайно проходили они в лес и из лесу, либо около них скрывались эти банды и искали здесь средств для временной вещественной поддержки своей на стоянках. Система переселения на правах водворенцев, вне прав свободного и добровольного выбора мест и способов передвижения и оседлости, сумела уравнивать эти толпы высланных из родины, несмотря на несходство проступков. Административный способ ссылки на этот раз успел достигнуть более крупных (суровых) последствий, в противоположность требованиям суда и более или менее доказанного обвинения в виновности. В то время как присужденным на каторгу и поселение с определением сроков и с правами на милостивое прощение представлялась и осуществлялась возможность возврата из Сибири, — для этих, так называемых водворенцев, через прикрепление к земле, навсегда отнималось это право. Поселение, со всеми его нравственными условиями и задачами на вечную утрату родины, приняло, таким образом, значение наивысшей меры наказания для людей наименьшей виновности. Разни-

ца на этот раз заключалась, может быть, лишь только в том, что одни из шляхты водворены были в пределах России, но зато другие уведены за Уральский хребет. Для шляхетских околиц Могилевской губернии Рогачевского уезда (Антуши, Сеножатки, Тертеж), снятых с места в целом составе⁶⁶, новою родиною оказалась Оренбургская губерния; для других губерний — ближайшие к Сибири со свободными казенными землями; для околиц более глубоких местностей западной окраины места для водворения выбраны в Сибири: сначала губернии Енисейская и Томская, а потом, когда кончено в ней водворение и места, назначенные здесь, были заняты, и губерния Тобольская. И сюда, в Сибирь, явился этот живой народ шляхетской природы, немного беззаботный, разгульный, задорный до сварливости и хвастливый, но в то же время словоохотливый и хлебо-сольный. Пришел он на свободные земли, к обязательствам усидчивого тяжелого земледельческого труда на первобытной нетронутой почве, и, надо сознаться, пришел не туда, куда влечет людей призвание, где находят люди свое место и прилагают свои способности. Он даже по внешнему виду не похож на того, от которого можно требовать исполнения подневольных заказных трудов. В сибирских деревнях был водворен в лице их не земледелец, а скорее горожанин, обривший бороду и отпустивший классические усы, одетый в городской черный камзол, вроде однобортного длинного сюртука, в широкие шаровары, в неизменный черный картуз во свидетельство своих наклонностей белоручки, успевшего отшатнуться от роли земледельца и, лишь с сохранением звания земледельца, сумевшего и в деревне жить с городскими привычками и обстановкою. На родине он успел отвоевать родовитость и гонор и оставить за собою стремление в противоположную сторону от работ, которые награждают мозолями на руках. На родине они бросались на государственную службу, учились грамоте, кончали гимназический курс, искали мест управляющих, поступали в чиновники, иные богатели

и делались панами; из этой шляхты образовалось почти все местное православное и католическое духовенство. Рассчитывать на таких сельских хозяев у Сибири мало прав, дожидаться от них верного и твердого земледельческого населения нет никаких оснований. Шляхтич, и на родине очень часто не владевший собственными угодьями, век кочевал, переходя с земли одного владельца к другому. Ему некогда было привыкнуть к усидчивому труду, сделаться земледельцем; он стоял на перепутье между деревенским и городским жителем и возымел склонность более к городскому быту. Он только потому не дворянин, что не доказал своих прав, потеряв документы или, прогоняемый поднятою платою с возделанного им участка земли, предпочел записаться в крепостные. Есть много достаточных оснований предполагать, что эта шляхта, жившая на наемных землях, в городах — элемент наиболее безопасный при облегченном надзоре и заработках. И прожив в деревне, он не утратил характера горожанина. Земледельцы они были плохие и на родине, где приходилось им перемещать место, хозяйство их было скудно, неряшливо. Вместо обыкновенных шляхетских горенок они жили в Сибири в клетушках с земляным полом, без окон, если только можно считать за окна узенькие, продолговатые щели с осколками стекол; крыша прорвалась, забор рассыпался, ворота покосились; нагорожено-наляпано. В деревне на родине он живет (что в том краю величайшая редкость) на деревянных полах с красными окнами, уставленными бальзаминами, геранью и гортензиями. Настоящие городские горенки служили обыкновенным жилищем шляхты. Шляхтянки наряжаются в белые как снег юбки, щеголяют в перчатках, в праздничное время распускают зонтики; оне не поют народных песен и употребляют все силы, чтобы, как масло от воды, отделяться от крестьянок всем и во всем. Шляхтичи, в сношениях с соседями-крестьянами, оказывались всегда людьми высшей породы. Шляхтич в корчме требует

почета, говорит громко, не прочь и подраться (белорус ему уступает, староввер спорит), но зато шляхтич владеет всем тем искусством выиграть перед высшим городским обществом, искусством, в котором у него мало соперников. Для сибирских городов у него все блестящие задатки. Но не то судила ему безрасчетная и слепая судьба. Для Сибири обстоятельств этих не взвесили и, несмотря на указания и предостережения сведущих и опытных людей, поступили иначе.

Сибирские города, находящиеся на низком промышленном уровне, которым представлялась возможность при помощи этих людей подняться в вопросе промышленности обрабатывающей, сибирские города не были наделены этим полезным классом водворенцев, стоящих на ступени высшего развития. В то время, когда эти люди, в массе которых преобладают ремесленники, могли бы найти средства в два-три года сделаться полезными гражданами, — их бесполезно и бесследно прикрепили к деревням. Между ними оказались получившие образование в средних учебных заведениях и даже воспитавшиеся в высших и, стало быть, поставленные в обидную, чуждую и безнадежную среду крестьянской обстановки и деревенского быта. Шляхтич, сидевший на приготовленной земле, очутился, таким образом, в Сибири на новых участках, требующих — как известно — долговременного опыта, громадного терпения и необычайных трудов, при расчистке вековых залежей, так называемых новей. Только такие места, поросшие мелким березняком и осинником, сибирские общества приняли за обычай выделять прибылым и готовых земель для них не отрезают. «Новый пришелец должен занимать и новый участок» — таково старожилое правило, с которым в Сибири нет никакой возможности спорить. Два года тяжелых усилий для того, чтобы воспользоваться только первым плодом своих трудов, представляются обязательными даже для того замечательного меньшинства, которое владеет

привычкою и умением возделывать землю. Плодоносная земля лежит в Сибири под лиственным лесом; его надо срубить, оставить пни сохнуть, чтобы на будущий год иметь силы и возможность их выкорчевать, пройти сохою, посеять и лишь на третий год получить жатву. Таким образом, для польских водворенцев ссудный хлеб на три года (и лишь по малой мере на два) стал для казны обязательным. Прибавилась лишняя тягость.

Переселенцев, для успеха водворения, казна сочла нужным снабдить пособиями. Эти пособия состояли: в выдаче 55 руб. на семейство, — суммы, обыкновенно определяемой переселенцам из государственных крестьян, 35 руб. на обзаведение домов и 20 на приобретение земледельческих орудий, в снабжении одеждою (в случае надобности) и подводами до самых мест водворения. В дороге взрослые получали по 16 коп. в день, малолетние 8 (все эти расходы отнесены на 10-проц. сбор в западных губерниях и на суммы Царства Польского). Для водворения указаны волости со свободными казенными землями, и в них положено водворить либо образованием из переселенцев отдельных деревень, либо припискою к существующим уже. В том и другом случае сделано обязательным избегать соседства городов и больших трактов, но принято водворять в местностях, изобилующих свободными и удобными угодьями, годною для пользования водою, не ощущающими недостатка в лесе для строений. Таковы были распоряжения общие.

Частные распоряжения по водворению, каковые сделаны были по Тобольской губернии (судя по напечатанной инструкции), заключались, между прочим, в заблаговременном обеспечении продовольствия, в заготовлении подвод, в стараниях и хлопотах установить мирные и короткие отношения между пришельцами и старожилами, в домах которых размещались на первое время прибывшие водворенцы. По водворении уступлено было гуманное право отлучек на рынки и торж-

ки, а в другие округа губернии — для сбыта ремесленных изделий или сельских произведений. Одиночкам дозволено соединиться по двое на первое время⁶⁷, признанные неспособными к устройству самостоятельного хозяйства (старики и малолетки) назначены для призрения в семейства самих переселенцев или к старожилам, с выдачею за взрослого 10 руб., за малолетнего до десятилетнего возраста 5 руб. в год, с правом заниматься посильными работами. Из ближайших запасных сельских магазинов выдавался хлеб и для продовольствия и для обсеменения полей; в первом случае на каждые три месяца вперед. Тот и другой хлеб выдавался заимообразно. Частные распоряжения сумели облегчить уплату займа на более продолжительные сроки (в четыре года после первых шести необходимых для знакомства с требованиями новой страны). Переселенцы-домохозяева, наравне с прочими крестьянами, приобретали право участия в мирских угодьях и оброчных статьях, и проч.

Но не все волости и угодья, назначенные для водворения, оказались удобными и соответствующими требованиям Западного комитета. Томская комиссия, водворявшая этих переселенцев, нашла, что пособие, вообще недостаточное и для переселенцев из государственных крестьян, — для польских выходцев еще сильнее и безвыходнее усиливало затруднения. Переселенцы внутренних губерний приходили совершенно обеспеченными, приводили скот (лошадей) или приносили деньги, вырученные от продаж его и назначенные для той же цели на новых местах; польские водворенцы ничего этого не имели. Рабочую лошадь — основное подспорье земледелия — должны они покупать, истрачивая не менее 25 руб. из 55, а на оставшиеся 30 руб. приобрести топор, заступ, пилу; телегу, сани и для земледелия соху и борону (непреренно с железными зубьями по требованиям первобытной сибирской земли), а также и сбрую нет

никакой возможности. Увеличение денежного пособия, по крайней мере на цену непредусмотренной лошади, должно было сделаться, при практическом осуществлении проекта, неизбежным и настоятельным. Затем осуществление в Сибири правил о попенных деньгах и, вследствие того, приметное уменьшение лесной промышленности и высокие цены на лес делают невозможною покупку готового сруба за 15 руб., а через это укрепляют необходимость увеличения пособий еще на лишние прибавки денег до ста рублей на лесистые местности и свыше ста — на южные безлесные.

Под такими-то крупными и неблагоприятными условиями приводилось селить польских водворенцев по целой Сибири и в восточных губерниях России. В Сибири достигнута только одна цель: переселенцы водворены в округах, дающих наиболее благоприятные данные для земледельческого труда, если не принимать в рас

счет того, что на этот благородный, но тяжелый труд приглашены люди, не владеющие достаточными способностями, на большую часть без призвания, без охоты, что называется, без рук. Приведены они в Сибирь или отдельными партиями, или в общих арестантских партиях на устройство быта по случайным законам, которые обыкновенно на практике говорят всегда надвое. Размещались они, до распределения, или в особых казармах, или на правах обыкновенных ссыльных, при тесноте и по невозможности в самых тюремных замках в соединении с прочими преступниками. На места водворения их переправляли также на правах пересыльных арестантов: под багаж 12 человек полагалась одна одноконная подвода, под слабых и дряхлых одна на двух, одна же для пяти малолетков и по одной подводе для двух женщин с грудными детьми. Пришли они, большею частью, без семейств, оставшихся на родине в расчете, что высылка их — только временная мера наказания. Несмотря на все внушения начальств, они сначала ни под каким видом не хотели выписывать

своих семей, говоря, что не желают подвергать их тому же неизвестному будущему, какому они сами подвергнуты. У всех твердо укреплена была вера, что со временем возвратятся на родину и трудиться считали здесь лишним. Когда ослабела подобная вера и исчезла надежда, они стали выписывать семьи; более других упорные и заленившиеся высланы в Восточную Сибирь. Однако на местах они получили категорическое заявление о том, что приведены сюда для водворения на казенных землях и для занятий земледелием, что они зачислены в сословие государственных крестьян, что им не только воспрещена приписка к городским состояниям и житье в городах, но даже отлучки далее черты той волости, в которой водворены. Все это внушало им земское начальство с предварением, что нерадивые и пренебрегающие земледелием будут без всякого послабления подвергаться наказаниям, как-то: назначениям в общественные работы, арестам, телесному наказанию и, наконец, удалению из обществ для неисправимых в отдаленные места Сибири. Для того чтобы водворенцы не имели возможности распространять здесь какие-либо вредные идеи и затевать опасные замыслы, над ними установлен надзор. Насколько последний затруднителен и мало ведет к цели, мы уже имели случай объяснить выше по поводу сосланных на поселение. Насколько затруднительна система принудительного земледельческого труда, доказывают сами водворенцы стремлениями своими в ту среду городской жизни, где не без точного основания мелькают для них надежды на верное и практическое применение их ремесленных и научных знаний. В городах — наибольшая сумма врачующих средств против той болезни, которую на этот раз предположено лечить ссылкой и водворением, но которую то и другое еще более раздражают.

Во всяком случае, высланные водворенцы в Тобольской губернии поселены в семи многоземельных волостях Ишимского округа, в Тарском, как не представляющем также особенных неудобств, в Омском и

Тобольском; в последнем на тех немногих удобных землях, которые остались свободными.

Теперь опыт указал на подобные неудобства, и они мало-помалу устраняются.

К числу благотворных мероприятий, каковые привелось испытать новейшей системе политической ссылки, должно отнести прежде всего многочисленные случаи прощения, имевшего последствием значительную сумму облегчений и не остановившегося перед дарованием полной свободы там, где это имело возможность.

Прежде всего освобождены все те молодые люди, не достигшие 20-летнего возраста, для которых облегчение участи нашло оправдание в уступках неопытной молодости, склонной к увлечениям, но далекой от закоренелой и опасной преступности. Во-вторых, получили свободу все иностранные подданные, замешанные в мятеже, все эти искатели приключений, большею частью люди без крова и определенных профессий, ненужные и бесполезные в ссылке; за исключением тех, которые успели закрепить связи, в одно время, посредством браков и при обеспечении себя каким-либо ремеслом и занятием. Таковых приметное число осталось, по доброй их воле, в Сибири. Более двух тысяч иностранцев (считая в том числе по тяжкой преступности попавших в Сибирь) освободили Россию, возвратясь на попечение своих правительств.

Все число приговоренных к каторжным работам, начиная с 1866 г., постоянно ослабевало через уменьшение сроков, которым облегчалась участь их сначала наполовину, потом на $\frac{1}{3}$ до значительно ускоренного права выхода на поселение. Те же неоднократные распоряжения в то же время сокращали сроки для приговоренных на поселение к выходу их на житье и к поступлению в сословие государственных крестьян. Для

других категорий, сосланных с меньшею виновностью, льготные послабления простирались до дозволений приписки к городам из селений, к выезду из Сибири в Россию и, наконец, к праву житья в Царстве Польском. Из таковых ссыльных в Сибирь или отдаленные города России около двух тысяч получило свободу из арестантских рот и до пяти тысяч из сосланных административным порядком под надзор полиции. В последнем случае можно рассчитывать еще на большие льготы и ожидать новых прощений, когда кончит свои работы особая комиссия для лиц, находящихся под полицейским надзором, о назначении которой было своевременно сообщено в «Правительственном Вестнике».

ГЛАВА IV

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

Древние способы искания правды. — История ссылки государственных преступников. — В. Н. Романов и его страдания. — Матвеев. — Распол Лазарь. — Расстрига Федос (Феодосий Яновский). — Ссылный колокол. — Тюрьмы для великоважных преступников. — Остроги — Мо-настырские каюты. — Ссылка во время междоусобия, при царях Михаиле и Алексее. — Ссылка малороссов. — Гетманы. — Гвинтовка. — Многогрешный. — Самойлович. — Серко. — Войнаровский. — Железняк. — Диятьев. — Самозванцы XVII и XVIII вв. — Громадная ссылка стрельцов. — Враги Петра I. — Сообщники Талицкого, царевича Алексея. — Ссылка при наследниках Петра. — Враги Феофана Прокоповича в ссылке. — Бироновщина. — Слово и дело. — Радищев. — Уральский казак пугачевец Марушка. — Слово и дело в Сибири и на каторге. — Старец Никон. — Каурый. — Тверской крестьянин Ермолаев. — Ссылный Артамонов. — Грузинские дворяне. — Семеновцы. — Экспедитор Степанов. — Коцебу. — Изменник отечеству.

Древняя Русь, для удовлетворения законов справедливости, считала неизбежным: разбойников и татей бить кнутом, а пущих заводчиков поднимать на виселицы по одному человеку в городе; зажигателей также вешала; делателям фальшивой монеты отсекала обе ноги и левую руку; жен, за убийство мужей, закапывала

живыми в землю; бунтовщиков, на страх прочим, вешала на плотях и спускала вниз по реке; отступников от веры, религиозных мыслителей, наряду с колдунами, ставили в деревянные срубы и сожигали живьем; государственных преступников колесовали, четвертовали или клали их буйны головы на плахи липовые (по словам песен), «отрубали буйны головы по могутные плечи, или брали лопаты железные, копали две ямы глубокие, становили два столба дубовых, забивали два крюка железных, клали жердочку кленовую, накладывали две петельки шелковые; выводили добра-молодца, очи ясные черной тафтой ему завешивали, резвы ноженьки в тяжелые железы заковывали» и проч.⁶⁸. В большинстве же случаев к ним применяли ссылку в самые глухие и скудные места, в расчете на медленные муки нравственной тоски и одиночного заключения и на вероятие мучительной смерти от голода. «Здесь копали погребы глубокие, — по словам народных песен, — задерживали решетками железными, желтым песком призасыпывали, серым хрящем-каменем призывали». Досиживались же в земляных тюрьмах до того, что прорастали тельные кресты во белы груди.

Такими путями гонялись за правдою и полагали ее удовлетворенною во все время, пока неизвестна была Сибирь и местами ссылки и заточений могли служить северные монастыри и пограничные остроги, но к мерам короткой расправы прибегал еще и тот московский царь, который впервые стал титуловаться сибирским.

Потухающими глазами одряхлевшего старика, измучивший всех и самого себя до острой и смертельной болезни, взглянул Иван Грозный на соболей, привезенных атаманом Кольцо от Ермака; успел выговорить казнь завоевателям целого татарского царства за разбои и грабежи на Волге, за своеволия на Каме, но за приращение Московской земли новым громадным косяком плодородных земель на Иртыше и Тоболе усталый и изнеможенный царь послал Ермаку со своих надлом-

ленных плеч бархатную шубу и охотливо выговорил прощение на этот раз, во всю жизнь не терпя никаких своеволий. Затем, едва успел он послать в Сибирь своих воевод, год один повеличался в московских соборах сибирским царем, в начале марта 1584 года тяжело занемог и, едва успев уже полумертвым постричься в монахи, скончался. Сыну его досталась готовою страна во всех соблазнительных условиях лучшего ссыльного места в целом свете: в 1592 г. основан один из первых сибирских острогов Пелым и для заселения его употреблены огулом первые ссыльные люди за государственные вины — угличане, сосланные по делу царевича Дмитрия. Через десять лет в городе этом сидел уже новый сибирский ссыльный — В. Н. Романов, сосланный за государственное преступление «за намерение отравить ядом царя Бориса». С тех пор возмездие за государственные преступления стало считаться удовлетворенным с удалением виновных людей в самые глухие места Сибири в стороне от больших трактов. Оставляя преступников за приставами в тяжелых железах, возмездие находило предел собственному успокоению в лишении ссыльных общения с людьми, облегченного урезываньем языков. Виновные стали получать патенты на ссыльное право с вырезанными ноздрями, ушами и при иных способах искалечения. Справедливость считалась отысканною и месть удовлетворенною, если ссылка умела подвергнуть ей измучить до голодной смерти. Ограниченная дача пищи продолжала входить сюда, как неперемнная принадлежность ссылки, на том же основании, как обязательно было до сих пор это голодное право для всех, подвергавшихся монастырскому и острожному заточению еще до пределов Уральского хребта.

Молодой юноша Василий Никитич Романов, сосланный в 1607 году по доносу холопа, к утешению тосковавших «об московском вине и табаке» приставов, истаял от голоду в один год и умер в душной землянке в оковах, несмотря на то, что — по преданию — пелымские

жители научили детей своих, играя возле тюрьмы, носить узнику в дудочках квас, молоко и подобные припасы. Пристав поступал с ним круто: держал скованным в избе, мимо которой прохожей дороги не было. Василий был болен все время, чуть живой на цепи, ноги опухли. «Я цепь снял (пишет пристав). Сидел у него брат Иван и детина (слуга) Сенька. И я ходил, и попа пускал». Когда умер, — похоронил, дал по нем трем попам да дьячку да пономарю 20 рублей. Иван болен старою болезнью, рукою не владеет, на ногу немного прихрамывает (Ивана Никитича перевели потом в Уфу и поверстали на службу в Нижний). Старший брат его, любимец московского народа, посаженный в земляную тюрьму в селе Ныробе (в 70 верстах от г. Чердыни, Пермской губернии), не прожил в заточении и одного года, несмотря на то, что обладал громадною физическою силою, о которой слава ушла в предание, обладал высоким ростом и весьма плотным телосложением. Пока копали яму для тюрьмы и ссыльный стоял у саней, на которых привезли его (говорит народное предание) и когда завалило его снегом, М. Н. Романов схватил обеими руками сани и отбросил их шагов на десять в сторону, а сани едва трогали с места пять человек. До сих пор в ныробской церкви показывают одних желез его на два пуда весом: так называемый стул или плечные железа в 39 фун., ручные железа в 12 фун., кандалы или ножные в 19 и замок в 10 фунтов. Когда крестьяне попробовали подсобить ему своими скудными съестными припасами, пристав не замедлил шесть человек отослать в Москву за крепким караулом; при царе Шуйском из них вернулись домой только двое, остальные, после жестоких пыток, умерли в московском заточении.

«Не постыдился бы я (пишет позднейший заключенный вблизи устьев Печоры в Пустозерске, Артамон Сергеевич Матвеев), не постыдился бы я — свидетель мне Господь Бог — именем Его ходить и просить милостыню, да никто не подаст и не может подать ради нуж-

ды. Жители голодом тают и умирают. Избенка дана мне, а другая червя моему сынишку, ей-ей! — обе без печи и во всю зиму рук и ног не отогрели, а иные дни мало что не замерзнем, а от угару беспрестанно умирали. А в подклетишке запасенко мой и рухлядишка, а в другом сироты мои да караульщики стерегут меня, чтобы не убежал. Таем голодом, а хлеб привезли: мука, что отруби, и той не продают». Сын страдальца, подкрепляя слова отца, свидетельствует, что бывали времена, когда у них оставалось только три сухаря; пристав (Тухачевский) уделил им из своего запаса половину, сам получая всего шесть пудов ржаной муки, и тем спас их от смерти.

«А хлеба дают нам по полутора фунту в сутки (пишет в послании царю Алексею другой пустозерский заточник, товарищ Аввакума, распоп Лазарь), да квасу нужное дают. Ей-ей, и псом больши сего пометают, а соли не дают, а одежишки нет же, ходим срамно и наго». Впрочем, четыре товарища по ссылке за государственные и религиозные преступления от голодной смерти избегли смерти в срубе и огне, уже в царствование Алексеева сына — Федора.

«Мучаем живот свой (пишет В. В. Голицын, любимец Софьи, из ссылки с Пинеги) и скитаемся Христовым именем, всякою потребою обнищали и последние рубашки с себя проели. И помереть будет нам темною и голодною смертью».

Уходя из XVII века в начало XVIII столетия, мы видим, что на той же окраине (на устьях Двины в Никольском Карельском монастыре) над одним ссыльным (новгородским архиепископом Феодосием Яновским), разыгрывается продолжение древней русской драмы, окончившейся в последнем акте тою же голодною смертью. Этому сопернику и врагу Феофана Прокоповича, сосланному за дерзость против Екатерины I и за бранные слова на дворцовый караул, удалось прожить в заточении всего 7 месяцев и 11 дней. Получал он только

хлеб и воду. Архангельский губернатор (Измайлов), навестивший «расстригу Федоса» через некоторое время, отписывал в Петербург, что он еще жив. Ему отвечали: «Когда придет крайняя нужда к смерти чернецу Федосу», губернатору отпереть и распечатать двери, духовнику причастить тут же в тюремной келье, двери которой после того «по-прежнему запереть и запечатать ему, губернатору, своею печатью и приказать хранить накрепко», а придет смерть, похоронить в том же монастыре. Когда велено было перевести его из-под церкви в новую тюрьму и последняя была готова, Федос уже не имел силы перейти в нее, его перенесли на руках. Старец успел проговорить на переносе: «Ни я чернец, ни я мертвец, где суд и милость?» Губернатор сказал ему «с сердцем, дабы он лишнего не говорил, а просил бы у Бога душе своей милости». Измайлов спросил: не желает ли он духовника? «И на этот вопрос ничего он, Федос, не сказал и глаз своих, как они у него закрыты были камилавкою, не открыл». С тем губернатор и уехал. 3-го февраля получил он от фендрика рапорт, что «оный Федос, по многому клику для подания пищи, ответу не отдает и пищи не принимает». Ведено фендрику «еще покричать в окно, как возможно громко, и ежели по многому крику ответу он не даст, то на другой день тюрьму, распечатав, отпереть и его, Федоса, осмотреть». Фендрик покричал, отпер тюрьму, осмотрел и 5-го февраля с нарочным солдатом прислал губернатору объявление, что «оный Федос умер». Не удалось применить первое столичное предписание (предусмотреть близость смерти и причастить узника, попробовали исполнить второе: похоронили тело при деревянной боличной церкви, где хоронят монахов; но петербургская тайная канцелярия этим не удовольствовалась! Велено «учинить анатомию, из Федосова тела внутренности вынуть», а если искусных людей не обретається (в Архангельске), то, «положа тело в гроб, засмолить и отправить в Петербург на почтовых лошадях от гвардии

с урядником и с двумя солдатами с подтверждением, якобы едут с некоторыми вещами». Указ о том последовал 20-го февраля; 2-го марта писано: «мертвое тело не возить», но было поздно. Кабинетский курьер встретил тело Федоса в 60 верстах от Каргополя, осмотрел его в деревне тайно, «не явится ли на том теле каких язв, а того не явилось», 12-го марта 1726 г. тело похоронено в Кирилло-Белозерском монастыре.

Таким образом, новый век выступал только с тем новым прогрессом, что перестали ссылать колокола⁶⁹ и земляные тюрьмы стали сменяться надземными. В ныробской каменной часовне, подле иконостаса, показывают в каменном полу четырехугольное отверстие, служившее окном для света и местом, через которое подавали узнику Романову пищу. Налево от входа в часовню по спуску, устроенному позднее, и по каменным ступеням вводят в яму глубиною в $2\frac{1}{2}$ аршина. И теперь в подземелье так мало света, что глаз с трудом успевает разглядеть мокрые и мрачные стены, выведенные сводом в один кирпич, на фундаменте из дикого камня, и налево чуть приметные остатки печи. Печь эту сложили — поясняет предание — вскоре, как привезли узника, когда морозы стали крепнуть. Народ чтит железные оковы за святые и над землянкою мученика выстроил каменную часовню, на место деревянной и древней, в 1793 году, по указу Екатерины II. В теплой церкви, на месте сгоревшей вместе с деревянною гробницею, хранится сделанная по образцу старой новая гробница. Уже для Аввакума с товарищами, при благодушном царе Алексее, велено было рубить лес на Ижме и сплавлять вниз по Печоре в Пустозерск; там срубили четыре избы, пригодные для человеческого жилья (судя по прописанным в указе размерам). Однако и после Петра, при заточении Феодосия Яновского, еще хлопотали Борисовым обычаем о том, чтобы и надземная тюрьма походила на подземную. Борис выдерживал Филарета Никитича Романова в Антониев-Сийском

монастыре в подцерковной келье в $2\frac{1}{2}$ аршина длины и $1\frac{1}{2}$ аршина ширины. Посланный при Екатерине I ревизор из Петербурга нашел, что у Федосовой кельи окно велико. Ревизор этот велел окошко заложить кирпичом, так что новое имело $\frac{1}{4}$ аршина в вышину и $\frac{1}{2}$ аршина в ширину. Мост (т. е. половицы) из той кельи был выбран, узник покинут на сыром и холодном полу. Платья при нем оставлено только что на нем да постель; денег ему ничего не дано. Приобщать его заказано раз в год в Великий пост, не в церкви, а в темнице. В темнице сидел он «за тремя дверьми и замками и за печатями и у последних дверей поставлен караул — один часовой из гвардии, а другой из гарнизонных с ружьем». Показалось, что и тут близко люди ходят, велели поискать такое место, чтобы не ходили мимо люди и тут построить другую тюрьму, где сделать печи и настлать деревянный пол, и печь топить с надворья «и устье печное, чтоб близ караула было».

В этом же веке, и именно в начале его (в 1724 году), в Березове был выстроен из здания Воскресенского монастыря острог, специально предназначенный для государственных преступников: в 1727 году вошел в него А. Д. Меншиков с семейством, а тотчас по выходе его и следом за ним (в 1730 году) князя Долгорукие, потом (в 1743 г.) граф Остерман. После него острог был заброшен и снесен на другое место под присутственные места; вместо Березова полюбилась Камчатка. Уже Петр не придерживался окраин Западной Сибири и, радея о портах приморских, сделавший из Рогервика (Балтийского порта) и Петербурга каторжные места, посылал государственных преступников в Охотский порт.

До Петра тюрьмами для государственных лихочудов служили еще остроги и острожки, один за другим, как грибы, выраставшие в лесных местностях дикой и новой Сибири. В остроги эти явились государственные преступники в числе первых обновлять тюрьмы и справлять новоселье. В 1666 г. основан был за Байкалом Селенгинский острог и, пока укрепляли его дубовым

частоколом, пока внутри ограды успели построить церковь и деревянные избы с застенками — по московским образцам — для пыток простых ссыльных, поспешили срубить и избу с «темными каютами» для великоважных преступников. В селенгинской секретной избе в 1673 г. сидел уже малороссийский гетман Демьян Многогрешный. Около 1630 года отстроен был Кузнецкий острог и долго подвергался опасностям от нападения татар и киргизов, но лишь смирились последние и стало безопасно, в Кузнецкий острог привезли нежинского полковника Матвея Гвинтовку, и т. д. В начале XVII века таких острогов в Сибири было уже много: на «великой реке Лене» стоял острог Якутский; в дальних Даурах — Нерчинский и Селенгинский и даже «на великой реке Амуре» — Албазинский, где пел первый молебен государственный ссыльный — протопоп Аввакум Петрович. Сверх того, такие же сырые и темные тюрьмы стояли готовыми и в монастырях: туруханском (Троицком), киренском (Троицком), иркутском (Вознесенском), селенгинском (Троицком, близ Байкала), нерчинском (Успенском) и даже в якутском (Спасском). Для женщин выстроены были особые тюрьмы с железными решетками в монастырях женских Богородицких (тобольском и енисейском Рождественских, далматовском Успенском и иркутском Знаменском).

Семнадцатый век, кончившийся вспышками неудовольствий по поводу присоединения Малороссии, распрями с раскольниками, нашедшими опору в своевольных стрельцах, передал новому веку много нерешенных споров государственной важности. Восемнадцатый век, к тому же, начинался для России громадною ломкою всего старого отечественного и народного, распадавшегося под ударами тяжелой руки, направляемой и воспособляемой иноземцами. Сильно хлынувшая волна схватывала отсталых и, изуродовав их тела, выкидывала на пустынных далеких берегах Сибири. В числе отсталых и погибших первыми и на большую часть оказались лица духовного звания, но больше монахов, чем

людей из белого духовенства. Второй напор волн потопил людей, стоявших во главе правления и руководивших судьбами обновляемого государства, потопил их во время споров за престолонаследие и во время борьбы с немцами. Волна была неразборчива: с равным хладнокровием хватала она противников новизны, потащила следом за ними и заводчиков новых порядков. За ними, впоследствии, понесла волна и мелких людей, горожан и сельчан, людей слободских и черносозных, купцов и крестьян, злоупотреблявших государевым «словом и делом», т. е. объявивших их за собою и не доказавших одного из следующих к тому пунктов. Восемнадцатый век можно назвать исключительно таким, когда за государственные преступления ссылались преимущественно люди русского происхождения, и ссылались в таком множестве, подобное которому можно найти только в Испании и во Франции. В отличие от текущего, прошедший век в частностях представляет еще ту особенность, что наибольшее количество немцев сослано в Сибирь в те времена определенной и энергической борьбы с ними. В нынешнем веке немцы в ссылке — поразительная редкость, и наш век, по роду государственных преступлений, объявил перевес ссыльных поляков над всеми национальностями, входящими в состав разноплеменного Русского царства. Семнадцатый век был безразличен.

Следом за угличанами и Романовыми — ссыльными Бориса Годунова — в молодую страну изгнания и пущих страданий стали прибывать те, которых милости царевы избавляли от смертной казни. Борис прислал Богдана Бельского, предварительно выщипав ему по волоску густую длинную бороду. С главными заводчиками все-таки продолжали еще рассчитывать в России. Болотникова с атаманом Нагибою Шуйский утопил в Каргополе; лже-Петра повесили; Заруцкого посадили на кол в Москве; Марина умерла в тюрьме, но сына Марины повесили; Шаховского, «всей крови заводчика», заточили на Кубенском озере в пустыне. Если Дмитрий

Самозванец и вызвал из ссылки всех Романовых, тела умерших в Сибири перевез в Москву и с почестями похоронил в Новоспасском монастыре, то он же отправил в Сибирь из Галича дядю Отрепьева, гласно объявлявшего о настоящем происхождении царя; дворянина Петра Тургенева и калашника Федора, толковавших народу, что царь — обманщик и орудие сатаны, Дмитрий казнил в Москве на той же площади, где они все это рассказывали. Казнили и дьяка Осипа Тимофеева, дерзнувшего уличить царя с глазу на глаз.

При царе Михаиле отправили в Сибирь из Казани воеводу Никанора Шульгина, внушавшего войску, что не надо признавать нового царя, так как он избран без совета с Казанским царством. Сослали Салтыковых за то, что государевой радости (женитьбе) причинили помеху изменою, когда царь хотел жениться на Марье Хлоповой и она занемогла, и несмотря на то, что дядя невесты Гаврила приписывал болезнь племянницы неумеренному употреблению сладких яств на радостях. В 1634 году услали в Сибирь остальных от казненных смоленских воевод, позволивших в городе укрепиться полякам и говоривших о смерти Филарета Никитича много непригожих воровских слов, «чего и написать нельзя»: Семена Прозоновского и Михайлу Бельского без жен и детей. Одного сына Измайлова (Василья) простили, другого били кнутом и сослали в сибирскую тюрьму за то, что будучи под Смоленском, воровал с литовскими людьми, съезжался и говорил многие непригожие слова и литовских людей дарил. За то же самое и туда же пошли Гаврила Бакин и Любим Ананьев (последний жил во дворе у Шеина в шишах, подслуживался и ссорил воеводу). В конце царствования Михаила появление двух новых претендентов, оспаривавших у царя московский престол, вызвало толпу доверчивых людей, из которых часть поплатилась за свою простоту ссылкой в Сибирь, хотя и на этот раз с главными заводчиками успели разделаться домашними средствами — казнью, и Сибири им не судили.

При сыне Михаила, Алексее, злое дело против государя обрекало на смертную казнь по прямому смыслу законов, собранных в Уложении. Сам царь принял на себя право судебного приговора и в том случае, когда «кто учнет извещати великое государево дело, а свидетелей никого не поставит и ничем не уличить и сыскивати будет нечем», и в том случае, когда «кто сведает или услышит на царское величество, в каких людях скоп и заговор или иной какой злая умысел». Обо всех таких велено извещать государя, или его бояр, или ближних людей, а в городах — воевод и приказных людей. Разбойнику только, да вору, да татю (которые скажут за собою государево дело) не верить и пытаться за татьбу, а после пытки уже расспрашивать.

При царе Алексее сибирские остроги, следом за гилевщиками (ходившими к царю в Коломенское смутю и толпою с жалобою на упадок медных денег), увидели новых доверчивых людей, поверивших новым самозванцам: Стеньке Разину на Волге и самозванцу цевривичу Симеону Алексеевичу в Запорожье. Анкудинова (Тимошку), выдававшего себя за сына Василия Шуйского в Швеции и не успевшего найти сообщников в России, четвертовали в Москве, но товарищей донского казака Федьки Шелудяка сослали в Сибирь. Сибирские остроги в это царствование стали мало-помалу приобретать значение государственных тюрем и в конце царствования этого государя обладали большим запасом политических ссыльных. На последнее обстоятельство в значительной степени повлияло присоединение Малороссии и те замешательства, какими сопровождались непривычные и неопределившиеся отношения добровольно присоединившегося края по смерти Богдана Хмельницкого. В 1671 году малороссийского гетмана Демьяна Игнатьевича Многогрешного за то, что писал хульные речи на государя и государство и обещал отдаться турецкому султану и служить ему, привезли в Москву с сообщниками: протопопом Симеоном Адамовичем, Грибовичем и есаулом Гвин-

товкою. Бояре присудили им смертную казнь, привезли на Болото за кузницами, положили головы на плаху, но царь прислал гонца: пожаловал по упрощению детей своих, велел Демку да Ваську (брата его), Грибовича и Гвинтовку сослать в дальние сибирские города на вечное житье. На другой день велел дать им в милостыню: старшему брату 5 рублей, младшему 10, Грибовичу и Гвинтовке по пяти и отдать гетману всю его рухлядь. Бояре приговорили отпустить с ними их жен и детей; с Демьяном отправились жена его Настасья, сыновья Петр и Иван, дочь Елена, племянник Михайло Зиновьев и две работницы. С Гвинтовкою жена и двое сыновей (Ефим и Федор). В Тобольске указано их держать за крепким караулом скованными, но сибирские крепости не сдержали Василья Грибовича, он из Сибири бежал, схоронился от ссылки в Запорожье, но усугубил тем муки неволи для товарищей. Велено было разослать их по дальним острогам в пещую казачью службу и держать скованными в тюрьмах: Демьяна Многогрешноаго с женою и одним сыном — в Якутске (где он потом жил на свободе и оттуда, по просьбе, переведен в Селенгинский острог); брата гетмана, черниговского полковника — в Красноярском остроге, нежинского полковника Матвея Гвинтовку с семейством — в Кузнецком остроге. В том же году и по тем же городам разосланы из боярских детей пять человек с женами и детьми, каковые все, после бегства Павла Грибовича, в Туринске рассажены были по тюрьмам, а когда из них успели некоторые также бежать, пойманных беглецов велено бить кнутом в Тобольске и отослать в дальние сибирские города. В Якутск, на место Многогрешного, прислан был в ссылку другой малороссийский гетман Иван Самуйлович Самойлович с сыном Яковом, где оба и умерли (один в 1692, другой в 1695 г.). К ним не допускали людей, не давали ни чернил, ни бумаги; невестка гетмана, урожденная Швейковская, заключена была в енисейском Рождественском монастыре, но по смерти мужа возвращена на родину. Возвращен из Сибири и

знаменитый запорожец Серко, страшный Крыму, но показавшийся опасным тем, что казаки хотели его выбрать на место Многогрешного. Впоследствии в Якутский острог, после разных казачьих смут, присланы были: полковник Конюховский, андрусовский полковник Децен, киевский Семен Третьяк, ирклеевский Мальяш, много казачьих голов, сотников, пятидесятников, войсковых писарей и других лиц. При Петре в Енисейский острог был посажен полковник Семен Палей, как изменник, обвиненный в сношениях с Карлом XII и загубленный Мазепою⁷⁰. В 1708 году он был возвращен из Сибири, но следом за ним отправлен был в Якутский острог племянник Мазепы Андрей Войнаровский, расплатившийся этою ссылкой за бежавшего за границу дядю.

Таким образом, передовыми выборными людьми от народа и его любимцами проторен был путь в Сибирь из Малороссии, начатый при царе Алексее, не заброшенный и при его трех преемниках до времени самого меньшего из его сыновей — Петра. Этими ссылками Великая Россия заявила свои владельческие права; в них Малая Россия получила первые уроки подданнической верности и крупными жертвами искренних и устойчивых патриотов низведена была до того уровня, где ее права очутились в зависимости и подчинении правам и стремлениям централизующей Москвы. Сибирь, посреди этих расчетов двух главных и основных племен, нашла для себя несомненную выгоду в том, что сторожевая казачья служба в молодой стране выиграла приобретением людей опытных и способных, встала в наилучшие условия боевой жизни. Черкасские люди, приуроченные к сибирской стране навечно и принужденные слить интересы личной безопасности с государственными выгодами страны, не помня зла, пособили коренным сибирским казакам отбить набеги враждебных инородческих племен. Тот же Демьян Многогрешный, на долю которого выпала такая многострадальная жизнь и первые удары дальнего заточе-

ния, сумел отстоять забайкальские страны от набегов самого воинственного из сибирских народов монгольского племени — бурятов. Под тем же Селенгинском, где он нашел конец своим мучениям, до сих пор сохраняется в памяти народа гора *Убиенная*, названная так по тому, что здесь на посла Е. А. Головина, ехавшего в 1689 году в Нерчинск для переговоров с китайцами, напали буряты, били его людей, теснили войска; самому послу грозили великою опасностью, но из селенгинской крепости вышел тамошний гарнизон под начальством Многогрешного. Умелый гетман разбил бурят наголову; впоследствии отразил набеги монголов и табунгутских сойотов и, исполняя такие дворянские службы, успел сделать то, что с тех пор буряты — мирные соседи русского города. За службу отца сына Сергея, родившегося уже в Сибири, пожаловали в сыны боярские. 180 человек запорожских черкас, высланных при царе Михаиле на Лену за Киренск вместе с чугуевскими, курскими и воронежскими выходцами, положили основание Подкаменской волости, состоящей из 145 деревень, носящих старые названия, завещанные на память о родине: Чугуевка, Гребенская и проч. Жители поражают всех наивною простотою, патриархальностью и теперь в новом поколении представляют смесь русских, тунгусов и запорожцев. То же явление и на сибирской линии, населенной 138 запорожцами, присланными за участие в набегах Максима Железняка с Гонтою и Швачкою. Гонту поляки четвертовали, Железняка судила Россия: по наказании кнутом его сослали в Сибирь. За ними ушли все те, которые уцелели от ужасного польского суда в Конде, рубившего руки и ноги, вешавшего, четвертовавшего и пускавшего ползать по миру и внушать тем народу страх и повиновение.

Насколько малороссийскому казачьему элементу удавалось оживлять, освежать и усиливать старожилое сибирское казачество и, вместе с ним, служить всякие службы, настолько (если даже не больше) тому же старожилему населению сибирских острогов послужили

новые выселенцы из России — московские стрельцы в тех остатках, которые уцелели от многочисленных казней и многообразных расселений по отдаленным пунктам России. При Алексее началось и при Екатерине II, разрушившей Сечь, на 138-ми запорожских казаках в 1775 году кончилось влияние малороссов, высылаемых за государственные преступления; при Петре Сибирь начала заручаться стрельцами и увидела их в таком множестве, подобного которому ни до того, ни после Сибирь не видала. Петром же, положившим конец крамольному войску, кончена была и стрелецкая высылка, ознаменовавшаяся тем, что не стало без ссыльных стрельцов ни одной крепости, ни одного острога, даже таких неудобных и далеких, как Удский, Анадырский, Колымский, Охотский, Братский, Илимский, Балаганский, Тункинский. Стрельцами положено было основание первым из них и на стрельцах в прошлом веке завершились крупные высылки ссыльных огромными толпами за государственные преступления.

Первые 30 стрельцов, замешанных в деле Феодора Шакловитого, после его казни, явились в различных сибирских острогах на вечное житье «за злодейское покушение на жизнь малолетнего царя Петра», после того как в Москве клали их головы на плахи, отрезали языки и били кнутом. Следом за этими (в 1690 г.) 13 менее виновных сообщников с женами и детьми прибыли в Сибирь на службу и поступили, в какуюгодились. Некоторым удалось бежать из Москвы и о них по разным городам посланы были памятки о сыске: трех человек Стремянного полка, двух Жукова полка, одного Сухарева, одного Циклерова полка. Все замыслили мать-царицу, святейшего отца Иоакима, бояр и близких людей побить до смерти. В 1697 г. объявлена вместо казни политическая смерть и после нещадного битья на козле кнутом и подрезанья языков — ссылка на вечное житье в сибирские города с женами и детьми сообщникам Ивана Циклера, составившего второй заговор на жизнь Петра вместе с окольным Соковниным

и стольником Феодором Пушкиным. Главные злоумышленники четвертованы, второстепенные приговорены в ссылку; между прочим, ушел туда ни в чем неповинный отец казненного Матвей Степанович Пушкин со всем семейством. Старика лишили в Москве боярской чести, в Сибири — заключили в тюрьму в Енисейске, жену и детей его в тамошнем Рождественском женском монастыре. По праздникам дозволялось им свидание; впоследствии Пушкина назначили в городовую службу.

В 1698 году начались в Москве казни, направленные к наказанию возмущившихся стрелецких полков во время пребывания царя за границу; одновременно с ними производилась высылка стрельцов в отдаленные сибирские остроги, имевшая целью в корень истребить мятежное старорусское войско. До приезда царя бояре успели сослать главных застрельщиков: одного в Даурию, а двух в Западную Сибирь. По розыску Шеина 74 человека были в июле 1698 г. повешены, 140 чел. наказаны кнутом и сосланы в ссылку, 26 малолеток оставлены без наказания, 1965 чел. разосланы по русским городам с провожатыми в тюрьмы. Осенью этого года началась расправа и начались новые казни в присутствии самого царя. 19 сентября из 341 приговоренных к смерти приговор исполнен над 201 человеком; сто малолеток (от 15 до 20 лет) наказали кнутом, заклеили правую щеку и погнали в сибирские города. С 3 по 18 октября из приговоренных к смертной казни только 93 несовершеннолетним дарована пощада. Трупы казненных 5 месяцев валялись неприбранными. В начале 1699 г. начались новые казни: из 508, оставленных для розыска, 137 колесованы, четвертованы и повешены, 285 малолеток, по наказанию кнутом, сосланы на каторгу, 86 опять оставлены для новых розысков. 9 февраля 1700 года из этого числа отобраны 40 человек для казней, 25 частью отправлены на каторгу, частью в Сибирь (9 оправданы). В 1701 г. произошла расправа с последними: Маслова, за вероятное сокрытие царевнина письма, казнили; Жукова и Михляева сослали в Сибирь

на пашню с женами и детьми. В 1705 году пошли в Сибирь астраханские стрельцы вместе с тамошними казаками за бунт, поднятый ими за русскую старину против государя. Сибирь стрельцов не смирила, затеивались попытки соединиться всем ссылочным в полки и идти на Москву; их уgomонили тем, что, размельчив стрелецкие группы, разослали одиночками их в самые неудобные и дальние места, носившие названия зимовьев: Колымское, Анадырское, Удское. Поселенные здесь от крайних лишений голодовки сбивались в шайки и изыскивали пропитание грабежами караванов и обозов торговых людей и разбоями по рекам и дорогам. Много урочищ сохранило память об этих подвигах. Грабежи и разбои прекратились с тех пор, когда стрельцы переселены были южнее и когда острожную службу сменили на пашенную, как сделали это со стрельцами Братского и Балаганского острогов, водворенными на р. Ангаре (в нынешней Яндинской волости). При лучших условиях климата и почвы стрельцам удалось выродиться в здоровое, рослое и даровитое племя коренных сибиряков; при данных, менее благоприятных, привелось переродиться в племя вялое, мелкое, глуповатое и беспечное, наподобие жителей Орленской волости, отличающихся зобами иногда так, что один зоб нарастает на другом (особенно в деревнях Дядиной, Голой и Шамановой). Зато в начале течения Лены и особенно ниже (Витимской волости) народ боек, сметлив, богат; до сих пор носит московскую шапку, коротенький армяк до колен и, называя его свысока шемедью (шинелью), до сих пор отличается мягким говором, особенно резко выдающимся среди крутого новгородского говора — коренного для целой Сибири. В дальней Даурии стрелецкие следы замело налетом ссыльных, а в Западной Сибири пробиваются они так редко и слабо, что подобную находку можно полагать за большую диковинку.

Царствование Петра, ослабившего ссылку в Сибирь обычных преступников и восполнившего этот недостаток высылкою целых сотен государственных преступ-

ников в виде стрельцов, осталось памятным для Сибири, между прочим, и тем, что следом за стрельцами и вместе с ними ссылались за государственные вины различные отдельные лица разных служилых сословий.

В 1701 году, по указу царя и по боярскому приговору, сосланы в Сибирь единомышленники типографщика Григория Талицкого, печатавшего воровские письма и называвшего в них Петра антихристом, 7 человек (и вместе с ними 5 вдов, оставшихся после смертной казни мужей их), в дальние города, выбитые кнутом и запятнанные. В 1715 г. оказались виновными в таких же делах Левин, керженецкие раскольники и многие другие. В 1718 г., за подобные же писания, колесовали на смерть подьячего Лариона Докукина и сослали тех, которые прислушивались и верили его разговорам и подметным письмам, вызывавшим против царя возмущение в народе. Этими десятками ссыльных, сделавшихся известными благодаря усердной разработке материалов той эпохи, определяются сотни таких лиц, которые поплатились Сибирью за недовольство нововведениями и история которых обретаётся ещё под спудом в архивных грудах. Крутая расправа со стрельцами в начале Петрова царствования не предотвратила недовольства народного, и ссылка, вместо прежних масс располагавшая единицами, в конце Петрова царствования стала карать безразлично людей всех сословий — от монахов самых глухих и отдаленных монастырей до приверженцев заточенной царицы Евдокии и казнённого царевича Алексея⁷¹. В той же мере, в какой укреплялись нововведения, изменявшие старый порядок, возрастало число недовольных, распространялись в народе подметные тетрадки, сочиняемые и староверами и монахами. Самая подозрительность в конце Петрова царствования возрастала прогрессивно, свидетельствуя о великих опасностях, мнимых и действительных. «Слово и дело» до Петра проявлялось весьма редко и всегда по убеждению, из ревности к царю, государству, вере. С Петра, при усилившемся требовании на «слово и дело», с

увеличением важности значения слов и дел, начались злоупотребления, стали объявлять их за собою из личной мести, вражды, спьяну и по другим личным видам. Главнейшим же образом в народе воспиталась страсть к доносам, и от этой страсти увеличилось количество ссыльных, как новое и неожиданное явление в народной жизни. В 1713 году царский указ предписывал смертную казнь всем преступникам и повредителям государственных интересов; в 1714 году Петр принужден был ограничить значение «слова и дела», определяя их делами, касающимися государева здоровья и высокомонаршей чести, бунта и измены. Сказавших или написавших государево «слово и дело», помимо этих причин, застрашивали великим наказанием, разорением и ссылкой на каторгу. В 1715 году указ облегчал доносчикам подходы: они могли идти прямо ко двору государеву, объявлять караульному сержанту, а этот уже представлял челобитную самому царю; но доноскики продолжали во множестве докучать царю, «не давая покою везде, во всех местах», несмотря на страх жестоких наказаний. Дела о «слове и деле» из Судного приказа переведены были в Преображенский приказ, поручены были ведению крутого и немилосердного князя-папы Ромодановского, решались им без апелляции, но страсть к доносам была уже так глубока в народе, что оставалось только отчасти сдерживать ее и регулировать в возможно доступных пределах. Страхи Преображенского приказа никого не смущали; с тех же пор, как доносчику в Пензе в 1722 году дано было 300 руб., позволено торговать беспошлинно и велено его охранять от всяких обид, доноскики стали появляться в великом множестве. В том же году священников обязали объявлять об открытых им на исповедях преднамеренных злодействах, а челобитчиков с государственными великими делами дозволено принимать и во время божественного пения и чтения. Значение «слова и дела» стало возрастать с годами до тех пределов, в ка-

ких оно явилось при Анне Ивановне и Бироне, и возрастало соответственно вызову различных обстоятельств. При Петре, в 1722 году, «некоторый человек, пришед в г. Пензу, кричал всенародно многие злые слова, касающиеся до превысокой чести царя, на которой крик сошлось людей не малое число». После Петра, при Екатерине, в 1726 году «явились противники устава о престолонаследии, избравшие наследника и мечтавшие выслать государыню за границу: Антоний Девиер, Толстой с сыном, Бутурлин, Григорий Скорняков-Писарев». В сущности же, все пятеро разговаривали о воспрепятствовании браку молодого императора с дочерью Меншикова. Последний поторопился судом и приговором и доклад о мнимых преступниках поднес к подписи в самый день кончины императрицы Екатерины. Доклад говорил, что эти лица осмелились по своему желанию определить наследника престола и замышляли противиться преднамеренному по воле ее величества супружеству великого князя. Обвиненных услали в Сибирь: зятя Меншикова, Девиера, со Скорняковым — в Охотск (Елизавета их возвратила), Девиера, освобожденного от смертной казни, Писарева, высеченного кнутом (Толстой заточен в Соловках с сыном; велено их пускать только в церковь и довольствоваться братскою пищею), Бутурлина послали в дальнюю деревню, Долгорукого записали в полевые полки и проч. В 1728 г. (17 июня) велели сибирскому губернатору возвратить араба Ибрагима — крестника Петра. Тогда же и тем же Меншиковым отправлен был в Сибирь бывший обер-церемониймейстер граф де Санти, «явившийся в тайном деле весьма подозрительным». В следующем году, за пять месяцев до смерти государыни, «объявились в разных городах, уездах, селах и деревнях многие злодеи в непристойных и противных словах против персон покойного царя и владеющей императрицы». В 1728 г., при Петре Втором, за непристойные слова послали в Сибирь морского капитан-поручика Казанцева, гренадера Алексеева, солдата Кротского, прядильщика Лобанова

и матроса Чапынского. В то же время боярская партия Долгоруких низвергла временщика князя Меншикова и вместе с дочерью, невестой молодого императора, сослала в Березов. При Анне, в свою очередь, пострадала партия верховников, особенно князя Долгорукие, когда Бирон стал временщиком и свирепо сокрушал противников. В 1731 году Анна услала в ссылку Долгоруких, Барятинского, Столетова за то, что «не только полезные государству учреждения непристойно толковали, но и персону поносительными словами оскорбляли». Следом за ними и вскоре (в том же 1731 г.) схватили Алексея Алексеевича Шубина, сержанта Семеновского полка, первое лицо при дворе цесаревны Елизаветы, за то, что он, любя царевну, хотел тайно освободить Долгоруких и, с помощью их, возвести на престол Елизавету. Его пытали, заключили в каменный мешок, потом наказали кнутом, вырезали язык и сослали в Камчатку, где принудили жениться на камчадалке. В следующем году (1732) привезен был в Якутск бывший любимец Петра I, президент камер-коллегии, ст. сов. Фик, названный в бумаге великоважным преступником, замешанным по делу о призвании на престол курляндской герцогини Анны Ивановны. В 1735 г. привезли смоленского губернатора князя Алек. Анд. Черкасскоаго за «зело тяжкие и наиважнейшие изменнические и возмутительные против государыни умыслы» в Джигайское зимовье. С ним вместе высланы были управитель Алек. Пребышевский, поручик Ив. Аршеневский и шляхтич (шурин Чечерского) Семен Корсак с женою (в Гижигу). Десятилетнее царствование Анны Ивановны, таким образом, является (по отношениям к истории русской ссылки за государственные вины) одним из обильных количеством жертв. Оно соперничает со временем Петра и не уступает своего значения ни одному из последующих царствований всего XVIII столетия. Не только Бирон, но и Феофан Прокопович, содействовавший низложению и гибели верховников, присоединил свое деятельное участие

к населению Сибири государственными преступниками. Личных врагов своих он, по увлечению духом времени, умел обвинять в государственных делах и всеми правдами и неправдами, в силу своего громадного влияния на церковные дела, успевал обвинять до ссылки в отдаленные сибирские монастыри духовных лиц, а друзей и приверженцев их до ссылки в самые далекие каторжные места. Архиеерея Георгия Дашкова, заподозренного в косвенном участии в устранении Анны от престола (затейном Родышевским), Феофан сослал в Нерчинский монастырь и не велел слушать никаких от него объявлений, хотя бы о государевом «слове и деле». Следом за ними отправил Феофан распопа Родиона в Охотский монастырь на вечные и неисходные труды, братьев Никитиных с женами и детьми туда же на житие вечно за караулом; Яковлева с теми же правами в Охотский порт; печерского старца Исаию, распопа Васильева, Морозова — туда же, Горбунова на серебряные заводы; всех за какие-то недоказанные и неопределенные подметные письма, некоторых за действительные пасквили на государыню и Феофана. Между прочими подвернулся заезжий грек Серафим Арион — шпион, продававший себя всякому правительству и явившийся в Россию для спекуляций во имя угнетенных турками греков; его сослали в Охотский острог. Вся деятельность Феофана, таким образом, при Анне была поглощена тайною канцеляриею. Ему оставалось выбирать одно из двух: или погибнуть самому, или обороняться тем же оружием, с которым стояли наготове его противники. Он выбрал последнее и, на этом основании, неустанно запугивал государыню бунтами и революциями, указывал на своих врагов и держал в страхе и под своею властью всех министров. Болтин так рисует бироновское время: «В городах бряцание кандалов, жалобные гласы колодников, просящих милостыню от проходящих, воздух наполняли. Из порубежных провинций многие тысячи крестьян, не менее 250 тысяч.

бежав с женами и детьми, поселились в Польше, Молдавии и Валахии, и даже за Дунаем в Болгарии». Тобольский летописец уверяет, что в течение 10 лет, по 9 ноября 1740 г. в Сибирь сослано дворян и чиновников 20 тысяч. В это страшное время для несчастного народа, пожертвовавшего сотнями сосланных в Сибирь — кабинет-министр Артемий Волюнский, дерзнувший восстать на временщика, поплатился за свою попытку головою, дочь и сын его были сосланы в Сибирь; туда же сосланы сенатор Мусин-Пушкин с вырезанным языком, кабинет-секретарь Эйлер и Соймонов, наказанные кнутом, и секретарь Волюнского, Зуда (в Камчатку), битый плетью за перевод исторических книг для Волюнского. Когда фельдмаршал Миних, по смерти Анны Ивановны, провозгласил принцессу брауншвейгскую Анну Леопольдовну правительницею, Эрнст Бирон был арестован вместе с братьями, Густавом и Карлом, и генералом Бисмарком, и все сосланы в Пелым с женами и детьми. За приверженность к Елизавет, Анна Леопольдовна успела еще сослать в Камчатку Петра Калачева, капитана Азовского полка. Когда, в свою очередь, провозглашена была императрицей дочь Петра Елизавета, Миних, Остерман, Головкин, Менгден и Тимирязев, устранившие от престола Елизавету, были сосланы в Сибирь. В 1742 году прапорщика Преображенского полка, Ивашкина, Елизавета сослала в Камчатку, в Большерецкий острог; товарищей его, сержанта Сновидова и камер-лакея, бывшего камердинера правительницы, Ал. Дм. Гурчанинова — первого в Нижнекамчатск, второго в Охотск; всех троих за дерзкие речи против Елизаветы, выговоренные в трактире. Всех троих наказали кнутом, всем вырвали ноздри, а камер-лакею, сверх того, за произнесенные им великоважные, непристойные слова, отрезали язык. Ивашкин повинился в том, что намеревался ночью умертвить императрицу Елизавету, по восшествии ее на престол, а с нею вместе и великого князя Петра Фео-

доровича, а лейб-компанию заарестовать. Гурчанинов сознался, что, слыша о том, не донес, а сам советовался, как бы принца Иоанна сделать императором, а принцессу Анну правительницею, и склонял к тому двух гвардии унтер-офицеров, говоря, что сделали-де Елизавету государынею лейб-компанцы за винную чарку, да и Екатерине I быть государынею не надлежало, а сделал ее тем генерал Ушаков, которого министры устрешили. Сновидов оказался участником обоих. В 1743 году, за злые умыслы на особу императрицы, туда же отправлены были: Степан Лопухин с женою и сыном, графиня Анна Гавриловна Бестужева, Ив. Мошков, кн. Ив. Путятин, Александр Зыбин, София Лилиенфельд — желавшие избрать императором принца Ивана Антоновича. За ними приговорен был к лишению чинов и ссылке в деревню канцлер Бестужев «за оскорбление величества». В 1749 году поручик Бутырского полка, Иосафат Батурин, послан был в Камчатку за то, что предложил свои услуги великому князю Петру Федоровичу возвести его на престол при жизни тетки.

Екатерина II, в самый год вступления своего на престол, сослала в Сибирь оскорбителей величества, совершивших умысел к общему возмущению: Петра Хрущова и трех Гурьевых; затем сообщников различных самозванцев, начиная с казака Пугачева (18 человек⁷²), казака Ханина, крестьянина Иова Мосягина да солдата Кремнева (2 чел.), казака Богомолова (9 чел.) и солдата Чернышева, из которых три последних сами, вместе с сообщниками, отправились в вечную работу в Нерчинск (Пугачев четвертован, Мосягина указано повесить, если он производил убийства, или, наказав кнутом, содержать в заточении, если он убийства не совершил). Казак Богомолов, наказанный кнутом, умер по дороге в Сибирь. Во время путешествия Екатерины по России разыгралось в Шлиссельбурге известное дело Мировича, желавшего воспользоваться удобным временем, чтобы возвести на престол Ивана Антоновича,

сидевшего в крепости. Мирович кончил жизнь на эшафоте; ему отсекали голову и, «оставя тело его народу на позорище до вечера, сожгли оное потом купно с эшафотом». Сообщников его сослали в Сибирь в вечные солдаты (около 50-ти человек) и на вечные работы (3 солдата и три капрала, прогнанные сквозь строй через тысячу человек десять раз, а один, более виновный, двенадцать). Екатерина же сослала в Сибирь, в Илимский острог, на десятилетнее безысходное пребывание, по лишении орденов и дворянства, Александра Радищева, за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» (в 1790 г.). А. Н. Радищев, проживший в Тобольске 7 месяцев в ожидании семейства (свояченицы с тремя детьми), принятый во всех лучших домах города и обласканный губернатором Алябьевым, в Илимском остроге помещен был в обширном воеводском доме, со службами и садом. Когда дом оказался холодным, он был исправлен плотниками, прибывшими из Иркутска, и Радищев на полном просторе имел возможность заняться науками, обучением детей и гончарным ремеслом и начал опыты оспопрививания. Опыт Радищева, если верить сибирскому преданию, был не только первым в Сибири и России, но несколькими годами предупредил даже изобретение знаменитого Дженнера, начавшего привитие оспы в 1799 году (Радищев возвращен из Сибири императором Павлом и в 1797 г. был уже в России; известно также, что Дженнер начал свои исследования над оспой еще в 1776 году). В Сибири к Радищеву приезжали сибиряки для лечения из самых отдаленных мест. В свободные часы от занятий со своими и чужими детьми. А. Н. Радищев успел написать в Сибири: «Рассуждения о человеке и смертности его и о бессмертии души», «Письмо о китайском торге»; начал «Историю покорения Сибири» и историческую повесть «Ермак». Сочинения эти, написанные в Сибири и конченные по возвращении в Россию, в деревне, изданы Бекетовым в Москве в 1807—1811 гг. В Сибири он женился на своя-

ченице своей. В 1794 г. ушел в вечную каторжную работу черноморский капитан-лейтенант Монтагю за государственную измену («за шпионство»).

Екатерина Вторая, в указе 19-го октября 1762 г., поспешила высказаться так: «Ненавистное выражение, а именно “слово и дело”, не долженствует значит отныне ничего и мы запрещаем употреблять оное кому-нибудь. А если кто употребит отныне в пьянстве или избегая побоев и наказания, таковых тот час наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники».

Если до сих пор «слово и дело» в России представлялось желанным для усердствовавших и выгодным для охотников к доносам, то «слово и дело» на местах ссылки в Сибири явилось соблазном для каторжных в том отношении, что выговоренное где бы то ни было освобождало на время от тяжести каторжных работ. Объявившего за собою государево слово немедленно отдавали сержанту и приказывали вести пешком в Иркутск, из других каторжных мест — в ближайшие большие города, держать крепко и только в случае изнеможения сажать на подводу. Там допрашивали доносчика, потом оговоренных им; в случае разногласия, давали очную ставку, затем пытали доносчика, если объявляемый не сознавался, пытали обвиняемых, если доносчик продолжал обвинение. Обыкновенно каторжные сознавались в том, что клепали напрасно, или со зла или спьяну; чаще признавались в том, что поступали так, отбывая наказания прочих штрафов, желая получить награду и, во всяком случае, воспользоваться предварительным отдыхом и возможною утечкою с дороги. «Слово и дело» государевы ссыльные сумели превратить в особого рода спекуляцию. Спекулировали этим с тех пор, когда заводились на Руси первые и настоящие каторги. Так, в указе Петра слышатся жалобы на то, что, при основании Петербурга, каторжные этого города то и дело сказывают за собою «слово и дело» и объявляют до тайной канцелярии нужду. Те же жалобы

на то же самое, на неуспех в работах, на воровство и побеги осужденных слышатся на петербургскую каторгу и гораздо позднее, при Елизавете (как видно по указу ее 1756 года 12 апреля⁷³). По сенатскому указу 20 сентября 1723 г. видно, что в Тобольске каторжные непрестанно кричат на командиров государево слово, «коих командиров и выслано в Москву скованных немало». По архивным делам Западной Сибири видно, что в «слово и дело» входили и такие заявления, которые прямо свидетельствовали о невинных целях отдыха и ничего другого не искали. Ссылная девка Петрова объявляет «слово и дело» на крестьянку Иванову, а на допросе в Усть-Каменогорске оказывается, что Иванова, укоряя Петрову за промысел развратом, сказала ей: «У вас-де, у ссыльных, деньги дешевы — вы-де монетами и г... подтираете». После очных ставок Петрова объявила, что по злобе на Иванову хотела обвинить ее в оскорблении монеты и герба. В 1731 году Нотебургского полка солдат Пермяков выкричал такое «слово и дело»: «В бытность мою за акияном-морем нашел я места рождения крупного жемчуга и три места тумпасные». В Якутском монастыре старец Никон говорит за собою такое великих государей и святительское дело: «Поставлена церковь без святительского благословения и в ней убился человек; промышленный человек привез с моря руду серебряную и тое руду плавил и из той руды родилось серебро». На суде оказалось, что руда, взятая в Индигирке реке, у бору, на камне, не серебряная. Старца Никона побили шелепами, «чтобы впредь не повадно было иным такие затейные слова говорить и никаких великих государей дел не заводить» и проч. Некоторым «слово и дело» помогло: проходимцу Козыревскому, которого взбунтовавшиеся в 1711 году камчатские казаки выбрали атаманом и под его руководством натворили много бед. Лихой удалец этот выстроил на грабежные деньги судно, проведаль Курильские острова, награбил новую добычу; но и ясак не спас: он сел в тюрьму, а ясак

соблазнил самого воеводу. В 1717 году он с горя сделался монахом, а для этого сам и монастырь основал в Камчатке (Успенский). Пожил не долго, монастырь ограбил и с вкладами ушел в Якутск, где подрядился выстроить железоделательный завод. Завода не построил и в 1724 году опять сел в тюрьму. Из тюрьмы ушел, попал в закадычные друзья к якутскому воеводе; опять нашалил и опять сел в тюрьму, пойманный с фальшивым паспортом на пути в Тобольск. Но Козыревский сказал государево слово на якутского архимандрита и дело об островах, будто бы открытых им против устьев Лены. Островов искали, никаких не нашли, однако Козыревский, вместо виселицы, очутился в Москве и там начал новый ряд разнообразных приключений. В нерчинских заводах тянулся нескончаемый ряд секретных дел о «слове и деле» Анны Ивановой, и в них указания на такие измышления каторжных: «неприятель идет на Россию; у китайцев войска собираются; мунгалы ружья готовят» (оказалось, что монголы делали облаву на лосей).

Вчинялись в Нерчинске дела и такого рода: сгоряча и с сердцов бранят ссыльные каторжную работу. Например, один забыл в руднике лопату, товарищ стал помогать ее отыскивать, а приставник заметил: «Ты исправь прежде государеву работу, а потом ищи мужичью лопату». У оговоренного сорвалась с языка брань — и начались допросы, пытки, суд и осуждение. На фабрике Дучарского завода канатный подмастерье Лоншаков рассказывает прочим ссыльно-каторжным следующее (24-го ноября 1805 г.): «Поднимается на нашего государя иноземец, у того иноземца силы до 600 тысяч, а у нашего императора до 250-ти тысяч». Тем дело и кончилось. Кандальники были посажены за решетки в тюрьму, но вечером продолжали толковать о выслушанном. Один из них (ссылный в оковах), Иван Коурый, говорил: «Дай Бог, чтоб иноземец своею силою завоевал наше государство для того, что черным людям

никакой милости не предвидится». — «Что ты, дурак, рачишь (sic), чтоб бусурман завоевал нашу землю, и не дай Бог!» — заметил на это ссыльный Афанасий Анцыферов. Но Коурый от ругательных речей не отстал. Двое слугителей «показали во всем сходственно»; показания, сверх того, утвердили один ссыльный и один канатный подмастерье, но Коурый заперся как в личном своем одиночном показании, так и на очной ставке. На третьем спросе обозвал он Анцыферова вором за то, что утаивал подаваемую в тюрьму милостыню, «за что-де и имел он, Коурый, с ним ругательства». Начальник нерчинских заводов, Эллерс, велел, во время производства следствия, держать Коурого в особенном месте в оковах и под строгим караулом, без употребления в работы. 7-го июля 1807 года сибирский губернатор Пестель дал знать, что министр юстиции (князь Лопухин) сообщил ему, что на доклад его, по донесению правительствующего Сената, его императорское величество повелеть соизволил: Коурого освободить от законного наказания, подтверждая ему, чтобы впредь постарался исправиться, в противном же случае не избегнет он строгого наказания по законам.

Взгляды на дела о «слове и деле» в девятнадцатом веке изменились. В 1817 г. крестьянин Тверской губернии Ермолаев, за непристойные речи про государя, приговорен был палатою к наказанию кнутом 40 ударами, решено было вырвать ему ноздри, поставить повеленные знаки и сослать на каторгу. Тверской губернатор Всеволожский, извиняя крестьянина пьянством, присудил побить виновного на миру батогами и оставить в деревне под крепким надзором. Сенат сделал губернатору выговор и утвердил решение палаты, исключая только вырезания ноздрей, так как указом 25-го декабря 1817 г. такое наказание было отменено. Государь в 1819 году соизволил положить следующую резолюцию: «Быть по сему. А крестьянина Ермолаева, объявля ему приговор, простить». 9-го апреля 1818 г. ссыльный Семен Артамонов, бывший в работе при Уровском ка-

зенном зимовье у разбивки конопля, придя в зимовье, бросил топор, рукавицы и шапку и изругался. Будучи спрошен, кого ругает, отвечал: «Тех, кто безвинных ссылает». Государь решил: оставить Артамонова в нынешнем положении, но без наказания. Вообще, должно сказать, что уже при восшествии на престол Александра I заметно сильное движение в делах нерчинских заводов: многие были возвращены, о многих наводились справки к возвращению, выдавались подорожные и паспорта.

В царствование Александра I за государственные преступления сосланы были (в 1819 г.) грузинские дворяне, изобличенные в измене, и размещены на поселении, большею частью, в окрестностях г. Селенгинска. В 1820 г., в октябре, солдаты лейб-гвардии Семеновского полка забыли долг присяги и дерзнули самовольно собраться в позднее вечернее время для принесения жалоб на своего командира (полковника Шварца), а когда за это буйство рота отведена была под стражу, то и прочие роты вышли из повиновения. Восемь рядовых, как зачинщиков всех беспорядков, в пример другим, указано было прогнать шпицрутенами сквозь батальон по шести раз, с отсылкою в рудники. 3-ю роту назначили в полки кавказского корпуса; 172 человека в оренбургский корпус, 164 человека 1-й фузелерной роты и 52 человека 2-й, виновных в явном возмущении против начальства и в продолжение неповиновения до отвода их в крепость, — указано распределить без наказания в полки и батальоны сибирского корпуса. В списках нерчинских заводов за государственное преступление в 1807 году числился всего один: коллежский асессор Степанов, бывший экспедитор военно-походной канцелярии. «Он выдал еврею Мейровичу некоторые важного содержания документы для списания с них копий. Он подлежал смертной казни, но, как в пожалованной дворянству грамоте сказано: телесное наказание да не подлежит до благородного, то лишен чинов и дворянства и сослан в Нерчинск в каторжную работу»⁷⁴.

Печальное происшествие 14 декабря 1825 г., омрачившее день обнародования манифеста о восшествии на престол императора Николая Павловича, вызвало следственную комиссию. Пять месяцев с лишком комиссия ежедневно занималась вверенным ей делом, поверяла каждое обстоятельство, каждое показание, каждое происшествие. Оказавшиеся виновными в тяжких государственных преступлениях, «в замыслах долголетних, обдуманых и упорных, постоянно непреклонно к одной пагубной их цели устремленных» — преданы были верховному уголовному суду, составленному из Государственного Совета, правительствующего сената и Святейшего Синода с присоединением нескольких особ из высших воинских и гражданских чиновников. 13 июля 1826 г. объявлен был именной указ о государственных преступниках, осужденных к различным казням и наказаниям «за умысел на потрясение империи, на ниспровержение коренных отечественных законов, на превращение всего государственного порядка». 15 июля издан манифест о совершении приговора над государственными преступниками. 9 августа объявлен сенатский указ об офицерах Черниговского полка, осужденных в Киеве за участие в мятеже; сто с лишком человек отправлено было в Сибирь на каторгу и на поселение.

Этими ссылными завершается для нас ряд государственных преступников, отдавших свою судьбу сибирской стране и, в свою очередь, поставленных в обязательство уделять ей свою долю влияния. В семнадцатом веке влиянию этому противодействовал самый способ ссылки, предполагавший темную келью, ограниченные дачи провианта, строгий надзор, хлопотливо стремившийся к тому, чтобы ссылные не имели никакого сношения с посторонними. Для этих ссылных Сибирь предлагала те же тюрьмы, по подобию монастырских и городских русских тюрем, и оставалась вне всякого влияния пришлых людей до тех пор, пока царская

милость не отворяла тюрем, не снимала желез. Демьян Многогрешный, при таких льготах, показал наилучший пример незлобивых отношений к стране собственных несчастий и является едва ли не единственным лицом, которому удалось принести свою долю участия там, где этого требовали. Да и какую пользу могли приносить стране изгнания те люди, которые побывали на правеже под кнутом, повисели на дыбах; чем могли послужить те руки, которые связывались близ ладоней длинною веревкою, подтягивались посредством ворота к самому потолку застенков и при быстром опускании вниз ручные кости выскакивали из чашек, потому что, падая, тела испытуемых висели на воздухе, не доставая ногами до полу? Некоторым доставалось таких встрясок и различных пыток целые десятки. Наибольшая часть непроизводительно исчезла без следа в сырых тюрьмах, на железных стальных цепях, служивших неизбежно принадлежностью не только колдунов, находящихся «в тайном богомерзком общении с нечистой силою», но и для преступников государственных, располагавших иными тайными, невидимыми силами⁷⁵. Восемнадцатый век располагал небольшими знаниями и не отличался мягкостью отношений к преступникам. В этом смысле цивилизующий государственный переворот сопровождался даже небольшими жестокостями, и вся первая половина прошлого века представляет такие образцы крутого обращения с ссыльными, какие с трудом можно находить в деяниях предшествовавшего ему столетия. Несмотря на то, что в середине XVIII века уничтожена была указами смертная казнь, несмотря на то, что пытки признаны противными здравому, естественному рассуждению — и смертная казнь и пытки продолжали существовать с тем же значением. Заботы об уменьшении кровопролития при пытке, начатые еще в 1751 году, не привели ни к чему. Счастливая доля уничтожения их принадлежит уже к начальному году девятнадцатого столетия: в 1801 году император Александр I уничтожил пытки.

ГЛАВА V

УЧАСТЬ ССЫЛЬНЫХ

Бесправие ссыльных. — Кормовая дача. — Меншиков с семейством. — Долгорукие. — Наталья Борисовна Долгорукая. — Остерман. — Миних. — Головкин. — Ужасная участь ссыльных: де Санти, Менгдена, Фика, Ивашкина. — Стряпчий Копытов. — Левшутин. — Соймонов. — Самозванец Петр III за Байкалом (солдат Чернышев). — Секретные арестанты. — Анадырский изгнанник Афанасий Петрович. — Дети Волынского. — Великоважность преступников. — Сердечность отношений сибиряков к этим ссыльным.

Во все продолжение прошлого века несчастные продолжали выплакивать свои глаза до неизлечимой слепоты и вдумываться в свою несчастную участь до острых припадков сильного сумасшествия. Определенных правил и приемов для ссыльных в те времена не существовало: не столько степени личной виновности, сколько произвольные измышления казней обвинителями полагали пределы возмездия ссыльных за государственные вины. Кормовая дача наиболее испытывала на себе влияние подобного произвола. Как в XVII веке А. С. Матвеев жаловался на то, что ему дали на день по три деньги в то время, когда Аввакуму, сосланному с семейством в Мезень, дали по грошу на человека, а на малых по три денежки («плачу, что ветхий сединою, древен работами — сверстан кормом с единолетним»), так и в XVIII веке кормовые дачи не подчинялись никакому правильно выработанному и установившемуся закону. Войнаровскому положено было в сутки $1\frac{1}{2}$ копейки, Петру Шафирову — 33 коп. на день, Меншикову 2 рубля с женою — сумма уже довольно значительная по тому времени, по рублю каждому из детей и по 10 коп. на каждого слугу (а таких отпущено с ним 10 человек). Долгорукие стали сначала получать по 25 коп. в день на человека, потом только по две и по два пуда муки в месяц. Сыну Волынского, Петру, давали в день по 10 коп., зато канцлеру Бестужеву, по смерти Елизаветы, Екатерина II назначила 20 тысяч рублей в год

пенсиону. Миних получал 3 руб.; Биронов и Бисмарка велено было довольствоваться в день без оскудения (как сказано в указе). Декабристы оставлены были в кормовом довольствии на общем положении: 6 коп. медью в сутки и 2 пуда муки в месяц. Некоторых отправляли даже и без кормовых, так, например, Ивашкина и Гурчанинова, говоривших дерзкие речи против императрицы Елизаветы.

В самом способе содержания и надзора была та же непоследовательность, замечалось произвольное неравенство. Князь Меншиков, сделавшись временщиком при Екатерине, сумел сослать графа де Санти без суда и ордера, так что ссыльный даже не сразу нашел себе место заточения. Его привезли сначала в Якутск и семью солдатами стерегли от побега под крепким караулом, никого к нему не пускали, чернил и бумаги не давали; но для большего успокоения сильного, мстительного и жестоко сердитого герцога Ижорского, сочли за нужное перевести де Санти в Верхоленский острог. Отсюда какими-то судьбами стал появляться он в Иркутске, пользоваться некоторою свободою по снисхождению вице-губернатора и даже успел жениться на дочери тамошнего подьячего; но в Петербурге узнали про это, и в 1734 году де-Санти перевели в Усть-Вилуйское зимовье. Жена за ним не поехала, участь его разделял по-прежнему старый слуга, которому, однако, не позволяли разговаривать с господином, не позволяли ходить за покупками для него на базар, какового, как известно, в пустынных зимовьях не бывало и в помине, и при этом запрещали также и слуге с кем-либо разговаривать. Ужасное положение жертвы слепого и безграничного мщения в подлинных красках описал его пристав таким образом: «Живем мы, он, Сантий, я и караульные солдаты, в самом пустынном краю, а жилья и строения никакого там нет, кроме одной холодной юрты, да и та ветхая. А находимся с ним, Сантием, во всеконечной нужде: печки у нас нет и в зимнее холодное время еле-еле остаемся живы. От жестокого холода хлебов негде

испечь, а без печеного хлеба претерпеваем великий голод и кормим мы Сантия и сами едим болтушку, разводим муку на воде, отчего все солдаты больны и содержать караул некем. А колодник Сантий весьма дряхл и всегда в болезни находится, так что с места не встает и ходить не может»⁷⁶.

Судьба же самого Меншикова в ссылке обставлена была наибольшими льготами. Главные и тяжелые удары он перенес еще в России: тщеславию его, допустившему золотые кареты, сто подвод и множество экипажей при проезде в ссылку, нанесен был первый удар тем, что его пересадили в простые повозки и, вместо Раненбурга, велели ехать в Сибирь, в Березов. На дороге, около Казани, в Услоне, он потерял жену, но в Березов привез необходимые вещи и все деньги и остался под надзором офицера, которому дана была самая снисходительная инструкция⁷⁷. Живя на свободе, он мог на собственные деньги выстроить деревянную церковь Рождества Богородицы, с приделом Илии Пророка, подле острога, вмещавшего в себе окруженное тыном невысокое, но длинное деревянное здание с закругленными окнами, оставшееся от упраздненного Воскресенского монастыря. Меншикова смирили несчастья до того, что он ежедневно с детьми ходил молиться в собственную церковь, при сооружении которой сам брал в руки топор и пилу. Он настолько пользовался свободой, что, выходя летом из острога, задолго до начала обедни, садился на крутом берегу Сосьвы и беседовал со стариками березовскими о тщете мира и о подвигах различных святых мучеников. За обеднею в собственной церкви исправлял должность дьячка, первым входил, последним уходил. Время проводил в посте и молитве. Это обстоятельство дало повод народу, не знавшему об его прежней тяжкой греховности, считать его праведником. Таковым же в понятии березовцев он считается до настоящего времени, когда открыли его гроб и нашли останки его (в 1821 г.) нетленными через 92 года. Смирение свое он довел до того, что надел армяк, от-

пустил бороду и отличался от прочих крестьян только бархатною на вате шапочкою. Религиозное смирение и покорность судьбе успел он завещать и детям, которые продолжали ежедневно ходить молиться на могилу отца (умершего в 1729 г.) и впоследствии устроили из своей церкви богадельню. Жили они уже в собственном доме вне острога: старшей дочери удалось выйти замуж за Федора Долгорукого, явившегося в Березов тайно под чужим именем с заграничным паспортом, но вскоре она умерла от родов. Другая дочь, Александра, и сын Александр в 1731 году возвращены были в Россию. Могилу отца их подмыла Сосьва, оборвавшая берег, и давно сгладила следы ее. В 1825 г. нашли лишь могилу Марии Александровны Долгоруковой в кедровом гробу, в шелковом атласном платье и с теми атрибутами, которые свидетельствовали о весьма безбедном существовании изгнанников на местах дальней ссылки.

Далеко не такая же участь в том же Березове, в том же самом остроге, ожидала семейство князей Долгоруких, свергнувших Меншикова и, в свою очередь, поплатившихся ссылкой при новом государственном перевороте и в тот же самый год, когда семейство Меншикова возвращено было в Россию. Престарелый князь Алексей Григорьевич с женою (Прасковьею Юрьевною) не вынесли тяжести ссылки и умерли через три года по приезде. Молодые силы четырех сыновей и трех дочерей и невесты старшего брата Ивана (воспетой поэтом Козловым Натальи Борисовны, урожденной Шереметевой) устояли от невзгод сурового климата и с успехом боролись против суровых невзгод, исходивших от злого временщика Бирона. Преследования его не знали устали и меры. На худом, продырявленном судне, которое едва не потопило узников, привезли их в Березов, кормили их таким хлебом, что «часто зубы не брали, и давали щи, которые, пока ешь, мерзли». Пищу подавали всегда в один раз на несколько дней. Когда княжна Елена вздумала в день своего ангела заказать обедню, протопопа (Авдея Михайлова) сослали за то под Иркутск,

в Илимский острог. Когда подьячий Тишин донес, что Долгорукие говорят нескромные речи про Анну и Бирона, Долгоруких разлучили: Ивана посадили в холодном амбаре (жена его Наталья Борисовна с трудом выплакала позволение видаться тайно ночью сквозь оконце и носить ему пищу). Князя Алексея с его крепостным дядькою заключили в тесном холодном хлеве. Здесь нельзя было сделать больше двух шагов, и узники, в темноте потеряли счет дням и ночам. Выпросив горсть гороху за последний бриллиантовый перстень, князь Алексей придумал с дядькою особую игру. Раз, во время этой игры в горох, они оба, словно сговорившись, в голос запели «Христос Воскресе», а так как пение было строго запрещено, то на Фоминой неделе в среду обоим дали по 15 розог и записали в штрафной журнал колдунами: по гороху-де узнали о времени Пасхи. На этом мучения Долгоруких не кончились, их увезли в Тобольск, здесь судили и приговорили к новой ссылке. Князя Алексея услали в Камчатку матросом; Николая, выбив кнутом и урезав язык, угнали в Охотск; Александра, после таких же истязаний — в Камчатку; трех девиц-княжон заточили в женских монастырях⁷⁸; князя Ивана увезли в Новгород и там колесовали и отсекали голову в одно время с двумя его дядьями (Васильем Лукичем и Сергеем Григорьевичем). Елизавета простила Долгоруких: княжон освободила от монашеских обетов и выдала замуж. Не так легко было простить и возвратить братьев. По обычаю того времени, начальства постарались забыть об их именах и местах нахождения. Сами они, увлеченные и поглощенные потоком ссыльной жизни, скрылись бесследно между местными и считались мертвыми. Алексей, только через два года по воцарении Елизаветы, случайно узнал в Камчатке о своем прощении. С купцом Спиридоновым он явился в Иркутск. Одетый в армяк и обросший бородою, он не был признан губернатором и сам уже своевольно отправился пешком в Москву. Точно так же один из его

братьев, вывезенный в Иркутск и забытый в остроге, был выпущен на волю для пропитания. Когда прислано было предписание разыскивать политических секретных арестантов, к губернатору явился старик, сторож церкви св. Харлампия, выдававший себя за князя Долгорукого (Николая).

Освободив Долгоруких, Елизавета, как известно, прислала в Березов государственного канцлера, графа Андрея Ивановича Остермана, и выслала в Пелым фельдмаршала графа Миниха, в Собачий острог кабинет-министра Михаила Гавр. Головкина, в Нижнеколымск (еще севернее) президента коммерц-коллегии барона Менгдена.

Старик Остерман, измученный жестокою подагрой, привезен в Березов с женою и остался там в памяти жителей своими бархатными сапогами и костылем; из бархата его сапог местные жители надолго потом сохраняли головные шамшур и детские подвязки. Остерман прожил все время отшельником в своей комнате, не выходя в другие, наполненные сторожами. Говорят, что березовский климат ослабил припадки подагры к концу его жизни. В 1747 году, через три года, он умер здесь и лег в дубовый гроб, обитый тафтою внутри, шелковою материею с позументами снаружи. Иной памяти по себе не оставил. Жена, после его смерти, возвратилась в Москву, где и умерла в глубокой старости.

Миних поселился в Пелыме вместе с женою и пастором Мартенсом в двухэтажном доме с балконом; из дому не выходил, казался нелюдимым, но на балконе нередко видали старика сухого, крепкого и бодрого. Днем он писал, чертил планы, ночной огонек доказывал, что старик молился или продолжал еще заниматься военными и историческими науками (между прочим, писал гимны). Летом заводил он небольшой огород, зимою обучал детей грамоте, всегда казался веселым и затосковал лишь тогда, когда потерял верного друга, пастора Мартенса, пробуждавшего в его душе чувства набожности и охоту к мирным трудам шисателя. Воеводы, говорит

предание, боялись Миниха, боялись его доносов ко двору и давали ему некоторую свободу, меньшую, однако, той, которою пользовался до него и в том же Пелыме Бирон⁷⁹ (сосланный при Анне Леопольдовне регентом Минихом). Перед Бироном воевода стоял без шапки; герцог имел верховых лошадей, часто ездил на охоту, держал многочисленную прислугу, ходил в бархатном зеленом полукафтани, подбитом и опушенном собольими. Народ помнит, что он был высокого роста и очень красив. Миних выжил в Пелыме 20 лет и в 1762 был возвращен из ссылки императором Петром III.

В Собачьем остроге — несчастном зимовье, послужившем впоследствии основанием Среднеколымску, не более счастливому селению, Головкин с женою понес более тяжкую участь, чем остальные его товарищи, несмотря на меньшую степень виновности и, вероятно, впоследствии его наименьшего ранга. И в пустынном месте его выпускали из дому не иначе, как под конвоем солдат с ружьями, а ночью небольшой домик его всегда оцепляли часовыми. По праздничным дням этого старого и больного человека заставляли ходить в церковь и слушать, как священник после обедни произносил над ним анафему⁸⁰. В своем изгнании он прожил почти 25 лет, слушая чтение разных книг из уст жены, и впоследствии, когда устал дозор, занимался рыбною ловлею в р. Колыме. В 1766 году он умер на месте изгнания, и жена, получившая дозволение возвратиться, увезла его труп с собою, залив его, по народному преданию, воском.

Менгден привезен был в Нижний Колымск с женою, дочерью, свояченицею, со служанкою и служителем. Сын с теткою и слуги вернулись в Россию, но барон умер с женою на месте ссылки, пользуясь некоторою свободою. Ему удалось послужить краю тремя службами, из которых одна состояла в отражении набега диких чукчей, другая — в разведении рогатого скота и лошадей в подспорье собакам и оленям, и третья — в торговле, которою занимался Менгден, выписывая то-

вары из Якутска для ограниченных потребностей бедного и неподвижного местного населения.

То же странное распределение ссыльных жребиев отразилось как на судьбе этих четырех товарищей по изгнанию, так и на судьбе пятого их товарища, невестки канцлера, Анны Бестужевой. В то время, когда брат ее, Мих. Гавр. Головкин, испытывал многообразные стеснения в Собачем остроге, она, живя в Якутске на полной свободе, ездила по гостям, играла в карты, обворожая всех приятностью в обхождении, жила роскошно, одевалась богато⁸¹. Хотя ей был отрезан язык, но, по народному преданию, в такой степени, что разговор Бестужевой могли понимать слушатели.

В то же время для других та же ссыльная жизнь и судьба обставлялись такими отчаянными подробностями: Фика — любимца Петра — целую жизнь таскали из одного места в другое, намеренно не давая ему ни отдыха, ни покоя. Сначала содержали его в тобольской тюрьме несколько месяцев, а потом перевезли в Иркутск опять на несколько месяцев, из Иркутска в прежних тяжелых цепях в Якутск. Якутск показался слишком удобным и веселым городом, отослали Фика за две тысячи верст в Зашиверск, и эта крайняя глушь и отчаянная даль оказались в Петербурге слишком видными и людными: Фика перетаскивали в Среднее зимовье на Вилуе, в такое место, которое злому врагу и супостату могло бы показаться вполне удовлетворительным и безопасным: убежать можно было только до первой трясины в тундре, говорить только с приставниками; якуты, кроме своего языка, другого не понимали, кроме своих узких звероловных интересов, других не признавали. И действительно, Фик прожил здесь десять лет, но лишен был свободы, выдерживался в одиночном заточении без поддержки жены, родных и привычных слуг, окруженный приставниками, озлобленными его несчастьем и живучестью. В 1742 г. нашла его милость Елизаветы, но добралась до него окольными путями, к довершению его

несчастий, не вдруг; тобольская канцелярия не знала о месте его жительства, наводила справки; узнав, отписывала в Петербург о своей находке, спрашивала, что делать и как теперь поступить: несчастный Фик принужден был сидеть и даже лишен был удовольствия товарищества с де Санти, когда последнему назначено было помещение в том же зимовье. «Понеже там находится великоважный преступник Фик, то будет крайне опасно держать этих двух преступников в одном месте», — отвечали безжалостные люди.

Смирялись государственные ссыльные: Скорняков-Писарев, следом за Меншиковым, занимался хозяйством, ловил рыбу, охотился за медведями и сохатыми. Головкин дал 50 рублей казаку, отобравшему верши изгнанника, поставленные в рукаве реки Колымы, и оговорил, что, если бы казак поступил таким образом в Петербурге, он затравил бы его собаками. Князя Долгорукого смирила ссылка до пономарской должности, Меншикова до работ плотничьих с топором и проч. Не смирились крутые нравом, как Девиер (напускавший страх на целый Охотск), как Миних (напускавший страх на воеводу); не смирялись располагавшие надеждами на остатки сил своих в Петербурге, как Бирон, перед которым воевода стоял без шапки, как Прасковья Федоровна Салтыкова — невеста царя Ивана Алексеевича, заставлявшая в Енисейском монастыре своего дядю воеводу стоять у косяка дверей, и проч. Не смирился Батурич в Камчатке, увлекшись планами бунта и побега, составленными конфедератом Беневским. Не смиряла духом ссылка людей молодых и, в особенности, не оказала она предполагаемой пользы исцеления над теми пациентами, которые вышли из простого народа. Доказательств много, приводим наиболее крупные и характерные, на первый раз два: одно из начала прошлого века, другое из конца его; одно по великому государеву «слову и делу», другое по самозванству — по этим двум основным главным государственными пре-

ступлениям, за которые преимущественно ссылались в Сибирь в прошлом веке доверчивые простые люди — сообщники людей «предерзостных» и «самозванцев».

При царе Феодоре прислан был в Сибирь по царственному делу, по приказу бояр, стряпчий из дворцовых волостей Терентий Васильевич Копытов. В 1712 году его отправляли из Тобольска по назначению в Нерчинск на судах. В Нарыме колодники зазимовали. Здесь Копытов рассказал товарищам, что он уже побывал в Нерчинске, узнал там многие царственные дела и потаенную казну за нерчинскими жителями Турчаниновыми, выкричал там «слово и дело», был потребован в Тобольск, просил отправить его в Петербург к царскому величеству, но губернатор, все то утая, продержал его в тюрьме два года и вот теперь обратно шлет на старое место. «Хотя-де мы (говорил бывший стряпчий) и в Москву писали, да там все воля боярская! что они, бояре, хотят, то и делают. Нынешний царь не печется о народе, а печется о немцах, потому что он и сам ихней породы, а не царского кореня. Истинно я это ведаю. Жил я в Москве, и нас было человек 12, и мы ночи сиживали над святыми книгами, а с нами беседовал верховой священник и сказывал мне и товарищам моим: “Как-де воцарился государь-царь и великий князь Алексей Михайлович и совокупился с царицею Натальею Кирилловною и она-де, государыня, рожала царевен. И близ рождения он, государь, изволил ей, царице, говорить: ‘ежели-де будет царевна, я-де тебя постригу’. И она, государыня-царица, призвав Артамона Сергеевича (Матвеева), сказала ему ту тайну, что царь на нее гневен. И когда родила царевну, Артамон Сергеевич учинил сокровенно — взял из немецкой слободы младенца и подменил вместо того младенца, и поныне она в Немецкой слободе жива; и по тому делу ему, Артамону Сергеевичу, великое время стало от нее, царицы, за такое умышление”». Слепой старик Копытов рассказал эту сплетню сначала одному (дозорщику Левшутину),

потом и другим колодникам, приглашенным Левшутиным в свидетели тайно. Левшутин объявил нарымскому воеводе за Копытовым «слово и дело», но, получив в ответ: «Пожалуйста помолчи здесь немного, мне таких дел ведать не дано», — стал искать случая отправиться в Москву. Съехал он из Тобольска с государевым железом: после сдачи его в Сибирском приказе получил пропуск, но остался ожидать государя. Не дождавшись, пошел он в низовые города для свидания с родными, а по пути зашел в керженецкие леса к раскольникам. Здесь он натолкнулся на новых недовольных: говорили ученые керженецкие старцы, что царь — антихрист, архиереи — еретики, а все господа по милости государевой — антихристовы слуги и грабители. Для подкрепления своих слов показывали и тетрадки разные и книжки. На пытках и допросах не отреклись от своих слов, когда Левшутин снова выкричал на них и в Нижнем и в Москве государево великое слово. Левшутин также устоял на доносе и при муках четырех пыток, и в хомуте на подъеме, и на дыбе под кнутом; двое оговоренных на пытках померли; третий устоял и был сослан на каторгу. Левшутину отпустили на волю шататься по лицу родной земли и только теперь, может быть, выучили заграждать уста и не сказывать князю-папе Ромодановскому про те тайные дела, которые слышали уши. Может быть, в Левшутине и пропала страсть к сплетням на государево имя и угомонилась в нем пытливость в сомнениях насчет заслуг Петра перед народом, но не угомонила каторга других убежденных. Не в них была сила, не в их личном характере поддержка, смелость и устойчивость, но в общем предубеждении, в народной доверчивости, воспитанной духом времени и поддерживаемой стоуюстою молвою.

Самозванца солдата Кремнева, выдававшего себя за Петра III, поддерживал местный священник Лев Евдокимов и не только (как сказано в указе) сам тому верил, «но и всех вообще со всеми вероятия недостойными и развращенными доказательствами подкреплял и уве-

рял». За такую доверчивость его наказывали кнутом во всех тех селах, где он чинил уверения и подписи; возили его с привязанною на груди доскою, гласившею: «помощник самозванцу и народного спокойствия нарушитель и свидетель»; выжгли ему на лбу знаки двух букв, означавших «ложный свидетель», и сослали в Нерчинск на вечную работу. В Нерчинске Евдокимов пристал к новому самозванцу и снова доверчиво ему покорился, во всем помогал и всем о его ложном уверении рассказывал. В свою очередь, и этот самозванец сделался на каторге таковым не впервые и также не был вразумлен дальнею ссылкой и тяжелыми работами.

Этот самозванец (ускользнувший от внимания исследователей замечательного явления в русской жизни, представляемого самозванством) был солдатом Брянского пехотного полка и назывался Петром Чернышевым. В Изюмском уезде, в доме попа Иванецкого, при нем, при попадье и дьячке называл себя императором Петром Федоровичем и потом уверял в том же крестьян и при этом плакал. Чернышев избавлен был от смертной казни, но жестоко наказан кнутом и сослан в Нерчинск в тяжкую работу вечно. За ним отправился туда же и распоп Иванецкий. В 1763 году Чернышев, с именем секретного арестанта, заключен был в тюрьму при Дучарском руднике. Днем его выпускали на работу вместе с прочими колодниками, а на ночь запирали в секретный каземат одного. На работах с ним выдались многие, но говорили не все. Ссылный поп Лев Евдокимов пришел с осьминою водки, подпоил вином сторожа и от секретного арестанта узнал, что он — бывший император Петр III. Двое других ссылных (Карпов и Фирсов) подтверждали то же самое: один рассказывал, что в бытность его в услужении в Москве у грузинского царевича Георгия Петра III видал и что секретный арестант имеет с ним поразительное сходство; другой ссылный сказывал, что Петра III видал в 1763 году в Петербурге в тайной канцелярии и что Чернышев на лицо таков же, как и император. Сам же Чернышев

рассказывал всем, что «бывши в Воронежской губернии для осмотра состоявших в оной полков, под видом солдата был пойман и послан в здешние нерчинские заводы в ссылку, не поверя тому, что я такой великий человек». Успех рассказов превзошел всякие ожидания: не только поверили все на заводе, но и из дальних мест стали приходить крестьяне взглянуть на царя и принести ему всякие подарки: приносили деньги, говядину, масло коровье, туши баранины, наконец, лошадей с наказом, чтобы «как можно старался бежать, а хлебом не оставят». Подал о себе голос и распоп Иванецкий, живший в Уровской деревне, приславший Чернышеву письмо такого содержания: «Премилосердый мой государь, Петр Федорович! желаю вам здравствовать на многия лета... Чрез сего письмоподателя прошу ко мне написать все обстоятельно: есть ли какая надежда или нет? долго ли нам здесь будет мучиться?...» Евдокимов за Чернышева написал такой ответ: «О чем вы изволите писать и слышать хотите о благополучии, приезжал генерала комиссенской отъютант, ходил в тюрьму, осмотрел Петра Федорыча и поехал с тем в Петербург к государыне, и писал к Петру Федорычу, что будь надежен и так буду старание прилагать...» Действительно, адъютант Панов навещал Чернышева и опознал его императором. Сам генерал Ивашов ходил в тюрьму ночью в халате и осматривал Чернышева. Молва неслась все дальше и выше и успела поднять сильных войсками тунгусских князей Гантимуровых. Один из братьев наказывал передать Чернышеву о своей готовности собрать тунгусов и взять его из тюрьмы разбоем: «Приедем в завод, у меня ни один человек и в окно выглянуть не смеет». Чернышев, заручившийся обещаниями помощи, гвоздем отпер замок цепи, на которую был посажен, увил платком ножные кандалы, чтобы не бряцали, и по кушаку, с помощью друзей, вышел на волю. Бродил он по окрестностям долго, заблудился, 11 дней шел голодом, пришел в бессилие и на 12-й день, выйдя из всякого терпения, добровольно отдался в руки су-

дей. В Нерчинском заводе началось следствие, собрали всех причастных к делу, делали допросы и очные ставки, путались в трущобах разноречивых показаний и уловок, но не могли приступить к суду за недостатком твердых убеждений. К тому же и князь Гантимуров сдержал свое слово: привел в завод свою команду, более ста вооруженных тунгусов; в комиссию он не пошел, ссылаясь на то, что не принадлежит к горной команде, ответов никаких не давал и продолжал свободно гостить у генерал-майора Ивашова. Однако дело кое-как довели до конца. В 1770 г. из Петербурга было написано оставить сообщников без внимания, кроме Фирсова, которого велено наказать плетью, но из-под караула освободить. Чернышева же указано наказывать кнутом публично при заводских жителях, поверивших его разглашению, потом заклеить, как человека дерзкого и злого, и сослать в Мангазею вечно, где велеть употреблять его в тяжких работах. В 1771 г. приговор был приведен в исполнение, но Чернышев до Мангазеи не доехал; он умер по дороге в Енисейске, оставив после себя собственные пожитки: войлок, небольшую подушку и одно ветхое овчинное одеело без покрышки, «а и еще имелась при оном арестанте данная казенная шуба, коя, будучи в болезни этого арестанта под него подстилана, и что он гнил и с места не вставал, оттого и сгнила и затем брошена»⁸².

Это событие, со включением участия ссыльного в Камчатку Батурина в смелом побеге Беневого, сделавшегося известным по всей Европе, служит дополнением весьма немногих других, оживляя однообразную жизнь изгнанников за государственные преступления и освещая мрачную ночь. Остальные изгнанники остались для страны неведомыми, бесполезными и лишними. С одинаковым удобством их могли бы довести до ускоренной смерти в монастырях и тюрьмах русских и, конечно, старинному воззрению на этих людей вовсе не нужно было таких героев, как Ивашкин, проживший в Камчатке (в Большерецке) тридцать пять лет, и

когда ему разрешена была свобода, не только не принявший права, но и не имевший никакого интереса в возврате. Он как милости просил дозволения остаться в стране, где выучился ловить себе рыбу для пищи и доставать деньги и припасы обучением детей грамоте и исправлением должности дьячка. В 1780 г., за 15 лет до того, его еще интересовало возвращение и он писал о том просьбу к губернатору; когда же ему перевалило за 60 лет — он мог отвечать на милость такими словами: «Куда мне ехать при такой дряхлости! Я чувствую, что не переживу моего переселения и умру на дороге». Таких героев жестокосердый до утонченности век не желал; симпатии его обращались в другую сторону, из которой доносились рапорты комендантов и отписки монастырских настоятелей, что такой-то нумер (такой-то безымянный секретный арестант) умер. Ради этого известия утешителям приятно было назначать для жительства самые голодные места (зимовья), самые глухие остроги, которые до настоящего времени представляют крайнее бесхлебье и безлюдье. Старым вершителям человеческих судеб приятно было забыть не только о событиях, но и о лицах, по примеру того, как 35 лет был забыт Ивашкин, сказавший по увлечению молодости и в пьяном виде про Елизавету. Также забыт был некто Родион Ковалев, 25 лет просидевший на цепи в Селенгинском монастыре до того времени, когда, по уничтожении тайной канцелярии, отворили монастырские тюрьмы и выпустили заточников. Ковалев, конечно, оказался сумасшедшим, как и все другие, оставшиеся в живых, но он, сверх того, разучился уже говорить до немоты. Одна бумага сохранила его прежнее звание и объявила, что он был подпоручиком Сибирского пехотного полка, но не было другой, которая сказала бы об его винах, а в жизни настоящей не было, конечно, ни единого штриха, который мог бы свидетельствовать о степени его вредного влияния и великой важности преступления. Многие погибли безвестно: так, между сот-

нями таковых, сосланных при Анне Бироном, одному усердному исследователю ссыльной старины Сибири (Л. С. Сельскому) известен один из таких зачинщиков, сосланный в Анадырский острог без означения имени и виновности. «Когда возникла переписка о всех, находящихся в Камчатке и Охотской области (говорит г. Сельский⁸³), то анадырский изгнанник отмечен умершим». Какая-то секретная арестантка (без означения имени) числилась в 1753 г. в Селенгинске и осталась неизвестною в описи дел, виденных нами в архиве бывшей ратуши этого города. Генерал-прокурор Вяземский принужден был прибегать к строжайшим настояниям, чтобы отыскивали заключенных и оказывали им милость, но на большую часть предписаний получал в ответ, что узнать имена ссыльных и места заточения нет никакой возможности. Иные являлись с переменным именем из России, других переименовывали на местах ссылки. «Иногда (свидетельствует Манштейн в своих мемуарах) приказывали делать такую перемену, не уведомляя о том и тайную канцелярию». Исчезли всякие следы к народной памяти о Лопухиной, сосланной Елизаветою, о Толстых, Бутурлине и проч. Объявились неизвестные, вроде бывшего флигель-адъютанта делла Тосоньера и проч., и оставались неизвестными ссыльные вроде Афанасия Петровича, известного в Сибири в начале настоящего столетия. Помнят, что он был стар и бодр и отличался хорошим платьем. В народе ходили различные толки⁸⁴. Как в прошлом, так и в предшествовавшем ему веке отнимали у ссыльных всякую возможность свободного употребления своих сил и способности в пользу страны и в исполнение основной и существенной идеи всякой колонизации. Лишь только там, где, по случайным привилегиям, предоставлялась какая-либо свобода и оставался хотя малейший простор для малейшей самостоятельности ссыльных, полезное влияние их не медлило обнаруживаться. Впрочем, разведение Меншиковым огорода в холодном и бесплодном Березове, учреждение богадельни его осиротелым

семейством там же, заведение школы Минихом в пустынном Пелыме, школа Ивашкина в Камчатке, опыты разведения лошадей и рогатого скота в тундрах Нижнеколымска — единственные памятные следы ссыльной жизни государственных преступников прошлого века⁸⁵. Обеспечение границ с Китаем услугами гетмана Демьяна Многогрешного за Байкалом — единственное крупное явление в исторической жизни ссыльных, но и оно принадлежит ко временам более глубоким, к событиям XVII века. В XVIII веке на «секретных» преступников смотрели как на людей, преисполненных презельного яда, боялись допускать их до сношения с людьми даже в случаях необходимости, при недостатке кормовых, ходить по миру и просить подаяния, «чтобы колодники не рассказали в народе тех слов, за что они были сосланы».

«Великоважность» преступников понималась приставами или так, что поступали с ними круто и бессердечно, или опасливостью, великими затруднениями на крайние случаи болезни и при необходимости подать какую-либо помощь и оказать содействие. Долгорукие в Березове получили 15 розог за игру в горох и выдали своего пристава, ходившего на беседу со ссыльными дамами в солдатской епанче, накинутой на рубашку, и в туфлях на босу ногу. «Дай Бог (говорит Наталья Борисовна Долгорукая в своих записках), дай Бог горе терпеть да с умным человеком. Какой этот глупый офицер был! Ему казалось подло с нами говорить; однако со всею спесью ходил к нам обедать. Я была всех моложе и невоздержна, не могла терпеть, чтобы не смеяться, глядя на его смешную позитуру. Он, это видя, что я ему смеюсь, как-то раз ему пришлось приметить, говорит: “Теперь счастлива ты, что у меня книги сгорели, а то бы я с тобою сговорил”. Чего они боялись? Чтобы мы не ушли? Ему ли смотреть? Нас не караул их держал, а держала невинность наша». Когда пересылаемый в Сибирь Ивашкин на дороге заболел так, что сопровождавший сержант донес рапортом, что он не перенесет до-

роги из Иркутска и умрет, — врач Ваксман не решился ему помочь, хотя и нашел что Ивашкин весь распух от внутренней болезни и имеет от кандалов язвы на руках и на ногах.

Более счастливы были те узники, которые, с переменною правления, считались оправданными и успевали дожить до воцарения своих благодетелей. В таких случаях некоторые милости не ограничивали себя тесными пределами; возвращенные (как Долгорукие) приглашались снова на поприще государственной деятельности; ссыльные женщины, обрекавшиеся на монастырское заточение и монашеское пострижение, расстригались. Так, с постриженных дочерей Артемия Волынского (Анны в иркутском Знаменском монастыре и Марии в енисейском Рождественском) сняли монашеский чин и отпустили на житье в Москву⁸⁶. Фед. Ив. Соимонов, любимец Петра I, успевший однажды спасти ему жизнь, один из образованнейших людей своего времени, первый, составивший карту Белого моря и описавший впервые берега Каспийского, из вице-президентов Адмиралтейств-коллегии в 1740 г. попал в Сибирь за участие в деле Волынского, наказан кнутом и сослан был Бироном в каторжную работу на Охотский солеваренный завод. Сослан он был с вырванными ноздрями, которые, однако — по преданию — искусный лекарь в Сибири зарастил куском мяса, вырезанным из левой руки невинного страдальца. Елизавета Петровна, тотчас по восшествии на престол, признала его невинным, возвратила шпагу и позволила жить где пожелает. Соимонов, однако же, все-таки еще 16 лет после того жил в Сибири без всякого звания, но не бесплодно воспользовался свободою: в 1753 году он измерял фарватер Шилки и разведывал первым пути по Амуру. В 1757 году, именным указом, он из ссыльного, жившего на пропитании, сделался сибирским губернатором. Шесть лет, проведенных в этой должности, оставили глубокие следы признательности в преданиях старожилов и крупные доказательства его знаний и службы стране.

В миллеровом журнале «Ежемесячные сочинения» сохранились замечательные ученые труды бывшего изгнанника («Сибирь — золотое дно. Известие о торгах сибирских и письмо российского навигатора к молодому Зейману»). В Охотске устроена была им морская школа, при Посольском монастыре на Байкале — маяк и гавань; им же уничтожен Анадырский острог для облегчения несчастных коряков и камчадалов, обязанных непосильною перевозкою туда провианта и разных припасов. Им положено начало устройству главного сибирского тракта через Барабу, разделявшую обе Сибири и оживленную Соймоновым населением по этому пути ямщиков. В 1759 г. при нем Омская линия была устроена так, что с этого времени набеги киргизов сделались реже и южные округа края могли идти вперед по пути развития. В 1763 г. Соймонов, сделанный сенатором, уступил свое место знаменитому и памяtnому сибирскому народу «батюшке Денису» (Д. Ив. Чичерину). После бесполезного для края Салтыкова, сосланного в Сибирь воеводою вместе с племянницею (впоследствии женою царя Ивана Алексеевича⁸⁷), ссыльный Соймонов был единственным административным лицом в месте изгнания и после Многогрешного — вторым по времени, оказавшим несомненные услуги ссыльному краю.

Для всех других ссыльных государственных преступников, нам известных, тяжесть неволи, помимо строгости надзора, облегчалась участием и помощью простых сердец, видевших мучения жертв и спешивших на помощь, насколько это было возможно. Многих из далеких зимовьев губернаторы брали на себя смелость переводить на житье в губернские города. Камчатский губернатор Козлов уважал Ивашкина за отца и обязан был ему многими полезными советами по делам управления, в чем лично убедился и о чем свидетельствует знаменитый Лаперуз. Впрочем, и здесь мщение издалека не медлило налагать свою тяжелую руку: один из провожатых казаков, доставивший письмо от Гурчанинова кому-то в Якутске, высечен нещад-

но кнутом, «дабы для других было неповадно». Один из жиганских жителей, передавший князю Черкасскому (сосланному в 1834 г.) пластырь, также наказан был кнутом и переселен на дальнее зимовье. 31 человек из жителей Березова и Обдорска, приверженных к Долгоруким, темною и дождливою ночью были схвачены, посажены на судно и сплавлены в Тобольск. Несмотря на личное ходатайство сибирского митрополита Антония Стаховского, священнику Кузнецову вырвали ноздри, лишили сана и наказали кнутом; священников Прохорова и двух Васильевых и дьякона Кокоулина выбили плетью и, без лишения сана, сослали на каторгу в Охотский порт. Елизавета их возвратила; Долгорукие пригласили их с собою, только березовские священники не согласились, решившись дожить век в Березове, но обдорский священник и дьякон выехали в Москву, в домовую церковь Долгоруких.

Во всяком случае, молва о страданиях, о набожности, о смиренной покорности ссыльных ушла в предание. Разрыхлилась почва, предназначенная для будущих несчастных этого рода в такой мере, что в туземном населении приготовились иные воззрения на этих людей, известных в Сибири под именем «секретных». При неусыпном надзоре они исторгли уважение даже среди унижений и страданий. Туземное население, вопреки уверениям противной стороны и при виде частых перемен судьбы этих ссыльных к лучшему и к полному прощению, воспиталось в наибольшей готовности содействия и помощи и укрепилось в этом обязательстве в виду несомненных достоинств и крупных добродетелей многих из ссыльных. Настоящий век, хвастливый своими гуманными доблестями, увидел это явление в характере сибиряков в самых ярких чертах и убедился в его существовании многочисленными ясными и бесспорными доказательствами. «Мы видели, — говорит один из государственных преступников 1825 года, — сибирских мужиков, стоявших на дороге на холоде (в зиму 1826 г.), под открытым небом. Это был обычай жителей собираться

из окрестных деревень на большую дорогу и дожидаться “несчастных”, чтобы продать им съестные припасы, теплые чулки и т. п. Беднейшие получали эти предметы даром. Это бывает по два раза в неделю. Я узнал после, что это христианское обыкновение существует с древнейших времен». Между петровским временем, когда за пленных шведов сибиряки гнушались выдавать своих дочерей и вызвали насильственные меры, и настоящим веком, обильным ссылкой поляков, лежит уже целая бездна. Томские жители, не принимавшие к себе на квартиру декабриста Батенкова, представляют единственный пример, обладающий всеми свойствами исключительного и странного явления.

ГЛАВА VI

ДЕКАБРИСТЫ

Ссылка декабристов. — Путь их по России и Сибири. — Фельдъегери. — Встречные. — Губернаторы. — Каинский городничий. — Судьба первых восьми. — Жизнь до Читы. — Волконский. — Трубецкой. — Оболенский. — Братья Борисовы. — Якубович. — Волконская. — Трубецкая. — Ген.-губ. Броневский. — Благодатский рудник. — Свидания. — Столкновения. — Прапорщик Рик. — Пристав Лепарский. — Прибытие остальных декабристов. — Встреча. — Пребывание в Чите. — Помещение. — Казематы. — Поэт Одоевский. — Новая тюрьма. — Работы. — Чита. — Болезнь неволи. — История Сухинова. — Бунт в Кличкинском руднике. — Суд и казни. — Новые правила. — Строгости. — Дубининская история. — Инструкция караульным. — Смольянинов и его жена. — Штаб Лепарского. — Клуб. — Переписка с родными. — Ослабление строгостей. — Общий стол. — Домашние занятия и самовоспитание. — Корнилович. — Муханов. — Никита Муравьев. — Пушкин. — Д. И. Завалишин. — Доктор Вольф. — Арт. Зах. Муравьев. — Кюхельбекер. — Лунин. — Юшневский. — Музыка. — Бороды. — Недекабристы. — Религиозность. — Женщины-героини. — Трубецкая. — Губернатор. — Цейдлер. — Волконская. — Правила для жен. — Муравьева-Апостолова. — Нарышкина. — Фонвизина. — Давыдова. — Анненкова. — Янтальцева. — Розен. — Дети.

Представляемые здесь сведения собраны на местах, в самом источнике, как и все те, которые вошли в состав этого сочинения и которые проверены подлинными документами, как это очевидно для внимательного чита-

теля. На этот раз возможность проверки материалов, по счастливому стечению обстоятельств, обеспечивалась наибольшим успехом. Автору этой статьи привелось ознакомиться с записками и сказаниями десяти узников, по большей части говорящих в одно и то же время об одних и тех же предметах; стало быть, при столь частых противоречиях, когда многим изменяла память или индивидуальные воззрения, можно было доискиваться истины в сопоставлении различных мнений и придерживались мнения большинства. Сверх лично добытых сведений, через расспросы и справки в архивах, автор дополнил сведения по запискам следующих декабристов: по печатным — А. П. Оболенского, М. А. Бестужева, И. Д. Якушкина, автора книги «Мемуары декабриста»; по рукописным запискам: Н. В. Басаргина, барона Соловьева, Д. И. Завалишина, барона Штейнгеля; по рассказам И. И. Горбачевского и по собственноручным письмам Н. А. Бестужева. Сверх того, в руках автора этой статьи были рукописные записки ген.-губ. Восточной Сибири С. Б. Броневского, многие печатные сведения (напр., Е. П. Ковалевского «Граф Блудов и его время», мелкие заметки, разбросанные по журналам) и, а также, многочисленные рассказы современников, собранные во время двухгодичной поездки автора по Сибири в 1859—1861 гг. Наиболее других в этом исправленном издании автор пользовался материалами и данными, готовно и радушно переданными Дм. Ирин. Завалишиным.

То же страдание к участи обреченных в ссылку, исходящее из непосредственных чувств богатого русского сердца, то же беззаветное участие всех случайных свидетелей встретило и провожало до крайних пределов изгнания и этих новых ссыльных 1826 года, получивших по дороге в Сибирь и в самой стране изгнания прозвание

«князей». На сей раз это сострадание и участие, составляющие привилегию русского народа, выразились с большею полнотою и в наиболее широких размерах. Если обыкновенным «несчастливым» успевают пособлять только встречные, и «милостивцы» являются в виде крестьян, мещан и купцов, то на этот исключительный раз те же чувства готовно высказывались и со стороны высших сословий, людей большого образования, способных сознавать и давать отчет в собственных поступках. На этот раз христианские чувства успели обнаружиться даже в самых первых шагах в неволе. Петр Николаевич Мысловский, протоиерей Казанского собора, избранный в духовные отцы заключенным и в видах содействия следственной комиссии, стал единственным и беззаветным их другом. Из постоянного собеседника и утешителя он превратился для них в комиссионера, умевшего среди опасностей риска, с осторожностью, находившей силы в искренности чувств христианской любви, быть посредником между заключенными и их родными. Его содействию, между прочим, обязаны были жены ссыльных тем, что за день узнавали о тщательно скрываемых сроках отправления своих мужей и имели возможность видаться с ними на дороге. Ему, в благодарность за благодеяния, завещал Рылеев одну из своих золотых табакерок.

Коменданты объявляли приговор о ссылке со слезами на глазах, обращались учтиво, так что некоторым из них приходилось выслушивать самую искреннюю и сердечную благодарность. Плац-адъютант крепости, адъютанты военного министра (Татищева), посланные быть свидетелями отправления приговоренных в Сибирь и обязанные следить, чтобы ссыльные не имели при себе денег, передают в руки деньги свои собственные и доверенные им родными приговоренных и отобранные при аресте. Передавая деньги, эти люди усердно просили дать им новую комиссию, предлагали услуги передать какое-либо поручение родным. Прощаясь, они обнимались и плакали. Солдаты и все при-

ставники сильно мирволили; один офицер, водивший арестованных гулять на берег Невы у крепости, рекомендовал даже иностранное судно для побега за границу и обязывался устроить побег за 2 тысячи рублей для всех заключенных.

Фельдъегери, сядя на переднюю тройку для открытия поезда (с четырьмя тройками позади, на которых сидели ссыльные по одному в экипаже, с одним жандармом на каждого), гнали во всю прыть только по Петербургу, за заставою же ехали обычно рысью; на станциях намеренно медлили во всех тех случаях, когда для свидания встречались с путешественниками их жены и родные. Иногда останавливались ночевать; цепи на ночь позволяли снимать с ног; служили поварами, завозили к помещикам в гости, когда заехали в глушь Вятской и Пермской губернии; были покорными слугами. Жандармы также прислуживали с готовностью и радением, оправдываясь тем, что приказано-де обходиться вежливее и беречь здоровье. Смотрители на станциях старались угодить, чем могли, накормить и напоить всем, что имели.

Одну партию (4-х человек) на станции за Шлиссельбургом встретила со слезами кучка женщин, предлагавших деньги, белье, платье: это была случайно проезжавшая помещица, ехавшая из имения с дочерьми в Петербург. Другая партия (также из 4-х человек) на почтовой станции в Рыбинске, получившая позволение отдохнуть, нашла одну из двух комнат, с диваном и кроватью, занятою проезжими, и потому разместилась на полу первой. Но лишь только они успели лечь, отворилась дверь соседней комнаты и проезжий вышел оттуда с двумя мальчиками, из которых один нес подушку, другой — узел. На извинение о беспокойстве, причиненном бряцанием кандалов, проезжий учтиво отвечал: «Прошу вас, господа, в мое помещение, оно теплее, а вы там лучше отдохнете. Ваш путь велик, а мой только до Петербурга». Незнакомец этот был адмирал с Георгиевским крестом, ехавший отдавать своих

сыновей в кадетский корпус. Пока эта партия собиралась обедать в гостинице, в городе Ярославле, на площади собрался народ. В $\frac{1}{4}$ часа площадь переполнилась народом так, что яблоку упасть было некуда. Начальство приняло меры предосторожности: у ворот извне поставлены были с обнаженными саблями жандармы; на тройки в сани усаживались при запертых воротах и, едва лишь последние были отперты, с быстротою птицы-тройки полетели через площадь. Один из ехавших едва успел поднять руку, чтобы снять шапку, как уже вся толпа обнажила головы и все кланялись с чувством самого искреннего участия. «О народной мести, — замечает один из свидетелей этой сцены, — и речи быть не могло». Следовавшую за эту партию народ продолжал убеждать в противном; толпясь около телег и повозок, он бросал свои медные гроши. Одну копеечку, полученную от нищей старухи, Николай Васильевич Басаргин хранил как драгоценность. В Ярославле одной партии разрешено было пробыть 6 часов и все время провести в свидании с родными; фельдъегерь не противился проводам родных этих до следующей станции и не мешал сделать книжные запасы. Когда случайно съезжались две партии, некоторые фельдъегери не задумывались согласиться ехать вместе и не мешали обмену мыслей долго не выдавшихся друг с другом товарищей в течение не одного дня (в Иркутске давалось прожить в тесном кружке товарищей более недели). В городах чиновники, на станциях этапные офицеры — все отнормировались с участием; во всех это участие было неподдельно. Ямщики привязывали к саням кибитки, бережно обкладывали ноги сеном. В одном городе Вятской губернии одной партии проезжих сделали обед и бал; другая партия сама воспользовалась последним уже в Сибири. Видя освещенные окна и соблазнившись долетавшими до слуха музыкальными звуками, четверо товарищей подговорили фельдъегерей нарядиться «ряжеными», в виде медведя с козой, и проводниками пришли на вечеринку, потанцевали, поужинали и, оставив хозяев в

недоумении об отличных пришлых танцорах, опять надели кандалы и поехали дальше на каторгу.

Дорогою путешественники избегали говорить по-французски, зная, что фельдъегерям дано право, в случае нарушения этого приказания, оставить без обеда. Тобольский гражданский губернатор, Бантыш-Каменский (издатель известного в литературе «Словаря»), дарил двухдневным отдыхом, заботливо расспрашивал о нуждах, о здоровье; полицеймейстер отлично угощал, предлагая до 12 сортов всяких рыб, живущих в сибирских реках. От Тобольска в проводники уже выдавались чиновники, и Бантыш, прощаясь с проводниками, говорил последним: «Примите арестантов, но помните, что вы имеете дело с благовоспитанными людьми». В Таре тем же гостеприимством встречал полицеймейстер Степанов, кавказский воин времен Ермолова, который, будучи привлечен к ответу, умел отвечать коротко, что руководился заповедью христианской любви. В Красноярске жители спорили за право чести принять у себя проезжих и угостить их; угощал сам губернатор, Алек. Петров. Степанов (автор «Постоялого двора» и «Описания Енисейской губернии»). Купцы, добившиеся чести накормить «несчастных», принимали в лучших комнатах, угощали по-русски всем, что было в печи, топили бани, снабжали на дорожку винами и закусками. В Иркутске самую первую партию приняли с тою ласкою, которою пользовались остальные. Исправляющий должность губернатора поговорил с каждым с участием, но особенное внимание оказал чиновник, бывший свидетелем разговора. Когда старшие удалились, он остался: со слезами на глазах, едва внятным голосом от душевного волнения, молил каждого из четырех не отказаться принять от него по 25 руб., не сдаваясь на убеждения, что в деньгах путники не нуждаются. Одну из позднейших партий в Каинске городничий, бывший фельдъегерь, встретил в сопровождении двух человек, несших огромную корзину с винами и съестными припасами всякого рода, и

так же убедительно приглашал принять деньги, говоря: «Ради Бога, примите! Нажил не совсем чисто — взятками. Возьмите, на совести легче станет... Семейства у меня нет, беречь некому: избавите меня, сделаете доброе дело». Прочие чиновники и купечество, по возможности, старались успокоить и доставить развлечения во время короткого пребывания в городе и «никаким словом, никаким поступком не оскорбили в нас того чувства собственного достоинства, которое неизменно нами сохранялось».

Первую партию обвиненных из государственных преступников 1825 года, первых восемь, отправили в Сибирь через 11 дней после исполнения приговора верховного суда над пятью приговоренными к лишению жизни. Сначала повезли четырех: Евгения Петровича Оболенского, Александра Ивановича Якубовича, Артамона Захаровича Муравьева, Василия Львовича Давыдова, потом остальных четырех: Сергея Петровича Трубецкого, Сергея Григорьевича Волконского и двух братьев Борисовых (Петра Ивановича и Андрея Ивановича). По приезде двух первых (Оболенского и Якубовича) отправили в Иркутское-Усолье, на солеваренный казенный завод (за 68 верст от города), двух вторых (Муравьева и Давыдова) в Александровский винокуренный (также вблизи Иркутска). К этим присоединили потом братьев Борисовых, а Трубецкого и Волконского отправили в Николаевский винокуренный завод. Поселили на заводах Иркутского округа потому, что не было предписания отправить непременно в нерчинские рудники. Тюремщики, насколько было возможно, старались облегчать их участь: не запирая в тюрьму и не смешивая с преступниками, они позволили им жить на вольных квартирах, но невидимый полицейский надзор наблюдал за ними. Надзор этот давал себя чувствовать в видимых знаках осторожных шагов, приближавшихся к дому, двух глаз, которые можно было замечать сквозь щели в ставнях. Глаза эти видели немного: либо обед и ужин, довольно, впрочем, сытные,

хотя и не роскошные, иногда видели шашечную доску и шахматы; уши слышали: либо рассказы о прежней жизни, либо горячие споры по поводу последних событий, послуживших причиной несчастий. Начальники старались быть не только ласковыми, но и внимательными, уступчивыми, снисходительными. Обязанные употреблять ссыльных в работу, старались заказывать ее только для формы; никаких притеснений не делали. С казенными топорами ссыльные обычно отправлялись как дровосеки. Вслух приказывалось нарубить дров по заводскому положению, а вслед затем на ухо и шепотом объявлялось, что должны ходить туда для прогулки и что урок, вместо них, исполнен будет другими. Особенно отрадны были эти утешения для тех, которые попали на солеваренный завод и перед их глазами проходили настоящие рабочие, с ног до головы покрытые солеными кристаллами, засохшими на бороде на висках и на платье. Солеварщики работали без рубашек, по причине необычайной жары, наполнявшей варницу с накаленным докрасна чреном (сковородою), и подвергались всем опасностям ревматизмов, отсутствия аппетита и проч. и всем тягостям труда, требовавшего выливать из соленого источника большое число ушатов рассола в варницу ежедневно, без праздничных дней. Перед поселенными на винокуренных заводах старого допотопного дела такие же живые люди целые дни стояли в удушливом жару в жиганах около печей или в затворщиках у квашни, когда намоченные руки зябнут едким, невыносимым ознобом, а вся одежда покрывается инеем, куржавеет, показывая в перспективе лихорадки постоянную дрожь во всем теле и то же отсутствие аппетита. Эта чаша прошла мимо. Особенно искусно отстранял ее Крючков — начальник Усолья, сумевший вызвать благодарность слова на память потомству от обоих лиц, доверенных его дозору и воспользовавшихся его вполне гуманным обращением. Таким льготам суждено было продолжаться недолго; срок первого назначения тянулся лишь один месяц с несколькими днями, вскоре всех

восьмерых свезли снова в Иркутск и порадовали только взаимным свиданием. Успели их угостить чаем, завтраком — и на свежих тройках немедленно отправили в нерчинские рудники, через Байкал. Одних успели перевести на двухмачтовом низеньком судне, других — по так называемой «кругоморской дороге» сухопутьем и под дозором тех же добрых людей, казаков, «готовых оказать всякую помощь и всякую услугу», привезли всех в Благодатский рудник. На дороге ссыльные успели воспользоваться еще кое-какими знаками участия: в одном месте, за Верхнеудинском, на перевозке и на ночлеге получили хлеб-соль от одного старика старожилы; в другом месте (в селе Бянкине) тамошний богач (знаменитый в Сибири Кандинский) угостил роскошно с полным радушием, и только опасение не ввести проводников (казацких офицеров) в ответственность помешало проезжим воспользоваться радушием богатых хозяев вполне.

В Благодатском руднике оказалась для приезжих новая казарма, нарочно для них приготовленная. Здесь ожидало их грубее обращение начальника нерчинских заводов, сожалевшего о том, что ему приказано было заботиться о здоровье государственных преступников; однако три дня дали отдохнуть и оглядеться. Казарма оказалась строением, состоящим из двух изб: передняя — для караульных, задняя — тюрьма с огромною русскою печью налево и с тремя чуланами направо, отделенными друг от друга дощатыми перегородками. В чуланы вели две ступеньки, каждый был снабжен дверью. Двери не запирались; обедали, пили чай и ужинали все вместе; в чуланах разместились так, как позволяла теснота и неудобства. В этих своих конурах они с трудом могли двигаться и испытывали те муки, какие доставляют тюремные насекомые, буквально покрывавшие их в новом здании с ног до головы. По рассказам этих страдалцев, они доставали скипидару, натирали им все тело и лишь добивались новых мук, ког-

да все тело горело и кожа лоскутьями сходила прочь. Внутренний караул из горного унтер-офицера с тремя рядовыми назначен был для бессменного наблюдения. На работах были разделены: всех распределили по разным шахтам тотчас, как кончился срок трехдневного отдыха. Дали каждому по каторжному в товарищи и руководители, на каждую такую пару по сальной свечке в фонаре, одному — кирку, другому товарищу — молот. «Работа предлагалась нехитрая и была не тягостна, — уверял один из восьми; — под землю, вообще, довольно тепло, но когда нужно было согреться, я брал молот и скоро согревался». Руководители и наставники превратились в помощников и за глазами дозорщиков не раз, в порыве усердия, исполняли за них урочную работу; и все это делали без надежды возмездия. Знаменитый разбойник, красивый богатырь Орлов, всякий раз при приближении «князей», запевал с товарищами звучным и серебристым голосом заунывную песню, предугадывая мысли и переноса слушателей в далекую покинутую родину⁸⁸. «В одиннадцать часов звонок возвещал окончание работы, и мы возвращались в казарму (выходя из нее в 5 часов утра). Начинались приготовления к обеду, артельщиком был нами выбран Якубович, как самый опытный по военно-кухонной части». Из отобранных денег выдавали часть на нужды и требовали отчет. «Денег осталось весьма мало, всякий отдавал из своих, что хотел, и никто не требовал большего против того, что было нами показано... Большое утешение для нас было то, что мы были вместе; тот же круг, в котором мы привыкли, в продолжение стольких лет, меняться мыслями и чувствами, перенесен был из петербургских палат в нашу убогую казарму. Все более и более мы сближались, и общее горе скрепило еще более узы дружбы, нас соединявшей». Весь вечер для заключенных был свободен.

Сюда же, вслед за мужьями, прибыли княгини Волконская и Трубецкая. Прибытие их благотворительно подействовало на всех: с ними образовалась семья. При

их участия началась и укрепилась связь с покинутыми родными и близкими сердцу посредством известий и тайной переписки; своими руками они шили все, что находили необходимым для каждого из шести чужих; они же выдумали и приносили в тюрьму импровизированные блюда (когда и «недопеченный хлеб казался вкуснее лучшего произведения первого петербургского булочника»); они же хлопотливо закупали все, что нужно было товарищам. «Но как исчислить все то, что мы им обязаны в продолжение стольких лет, которые ими посвящены были попечениям о своих мужьях, а вместе с ними и об нас». Словом, здесь, в Благодатском руднике, эти первые («высокие по сердцу и по характеру») русские женщины начали первые шаги к той великой миссии служения, которая, в лице их, обнаружила неисчерпаемое богатство русской женской природы, способной на человеколюбие и помощь до жертвы, на любовь до самоотвержения. В лице их русские женщины имеют наилучших представительниц, душевные качества достигли в них апогея. В дни и часы, дозволенные для свиданий, они своим присутствием оживляли тесные и душные клетки; в другие свободные часы им выносили два стула на улицу: они садились против единственного окна и проводили час и более в немой беседе с мужьями. Однажды одна из них (Екат. Иван. Трубецкая) пришла на свидание с мужем в изношенных, истертых ботинках и, в трескучий мороз, застудила ноги; все это оттого, что из новых и теплых ботинок она сшила одному из товарищей мужа шапочку для головы, снабдив уже таковою мужа, чтобы уберечь волосы от руды, которая сыпалась при каждом сотрясении горы ударами молотом.

Оба эти явления поучительны в жизни наших ссыльных; и высокая миссия женщин, поднявшая нравственные силы изгнанников, и организация внутренней общины с артельным началом, вполне обеспечившая материальный быт, — с наибольшею полно-

тою и в совершенной законченности обнаружили позднее на все то время, когда все товарищи соединены были вместе, сначала в Чите, потом в Петровском заводе. До этого соединения участь первых восьми, до известной степени облегченная вначале, к концу времени пребывания в Благодатском руднике, вопреки законам, укрепления и возрастания гарантий, сделалась более тягостною; произвол одного из горных офицеров, Рика, назначенного для ближайшего надзора, прекратил сношения товарищей тем, что он запер чуланы и запретил общий стол и ужин. Отчаяние одиночества в душных клетках (по 3 аршина длины и по 2 ширины) вынудило решительную меру: заключенные решились не принимать пищи. Это решение принято было за бунт; горячий приставник велел уже солдатам пустить в дело штыки и приклады. В глазах горного начальника (Бурнашева) представлялась целая опасная бездна ответственности, но находчивость и благоразумие взяли верх. Горный начальник поспешил показаться грозным в виду свидетелей, но чуланы отпер, а вскоре поспешил удалить и виновника неприятности, дав ему другую командировку. Мужьям облегчено свидание с женами в их собственной квартире, весною дано позволение всем на прогулки в окрестностях завода, даже на 9 верст до берегов Аргуни, но работа изменена и сделалась более тягостною и трудною. На место подземной назначена новая на поверхности горы в рудораздельной светлице; вечер перестал быть свободным. Ссылные обязаны были носить в уродливых и тяжелых носилках руду с места раздела на складочное. Надо было проходить шагов 200, перетаскивать до 30 носилок и, считая по пяти пудов в каждой, полтора ста пудов могли казаться возможными только для привычных и сильных. Не все были в состоянии исполнить урок: в 11 часов работа кончалась, но в час звонок призывал на новую до 5 или 6 часов вечера. Прогулки на Аргунь прекратились, на их место стал обязателен необходимый отдых. Когда

назначен был для всех государственных преступников новый комендант Лепарский, их свели в кузницу и заковали в ножные кандалы. Военный караул был усилен: из трех казаков стало 12; горный начальник и чиновники стали бояться оказывать снисхождение; казаки почувствовали ту же самую необходимость. Между военными и горными властями установился, таким образом, взаимный контроль, отразившийся на узниках наибольшими стеснениями, хотя Лепарский, посетивший Благодатский рудник, был учтив и ласков и дал надежду на улучшение участи. Так текли дни за днями, пока строился новый острог в Чите и наполнялся товарищами, свозимыми туда из разных крепостей России. В то время, когда этих восьмерых препроводили в Сибирь, некоторых других из переполненной Петропавловской крепости перевезли в крепостные тюрьмы в Шлиссельбург, в Роченсальм, Свеаборг, Нейшлот, Свартгольм, Выборг и на Аландские острова⁸⁹. Оставлены были в крепостях, в виде милости, пятеро: Батенков, Вильгельм Кюхельбекер — поэт, Иосиф Поджио, В. Норов и Дивов (последний в крепости и умер). Первый пробыл в одиночном заточении 20 лет, трое других около 10-ти⁹⁰. Они свиделись с товарищами уже в Сибири. В Чите им жить не привелось.

После коронации Николая I учрежден был особенный комитет (Чернышев, Дибич, Бенкендорф и др.) для составления устава относительно заключения и содержания государственных преступников. Местом для заключения был избран Акатуйский серебряный рудник, в нем был уже заложен фундамент острога, но так как постройка тюрьмы должна была продолжаться года два или три, то поэтому и назначили на время Читы. Мыслью поместиться всем вместе обязаны были товарищи, как думают они, генерал-губернатору Лавинскому, случайно бывшему в Петербурге. Лавинский умел объяснить необходимость сосредоточения всех в одном каземате для лучшего надзора. Разъединенные по заводам, как первые 8, при недостатке и трудности

наблюдения, они, по мнению Лавинского, могли быть не безопасными для всего края. Та же комиссия выработала правила для содержания государственных преступников, каковые и переданы были вызванному в Москву Лепарскому, только что произведенному в генерал-майоры.

Станислав Романович Лепарский был назначен комендантом с большими полномочиями. До того времени он был командиром конно-егерского Северского полка, которого шефом был император Николай Павлович, будучи великим князем. Он лично знал Лепарского за человека, отличавшегося образованностью и теплым сердцем; если в каком-либо полку случались неприятности, вынуждавшие перевод офицеров, то всегда так называемых беспокойных голов переводили к нему в полк, он со всеми умел ладить, никого не оскорбляя, и не имел врагов. Лепарский был уже очень стар: при Кагуле он был в ординарцах у Румянцева, в конфедератскую войну был уже майором. Поляк по происхождению, человек знатной фамилии по рождению, он воспитывался в полоцкой иезуитской школе и был человеком ловким и образованным; знал латынь, свободно выражался по-французски и по-немецки. Еще в молодости ему поручено было вести в Сибирь польских конфедератов, и он так ловко исполнил это поручение, что известность его в этом отношении была именно такова, что не приводилось делать выбора помимо его. «В Северском полку он был известен, как кроткий, снисходительный начальник и, вообще, был любим и сослуживцами, и подчиненными... «Несмотря на то, что всю жизнь провел в отдаленных гарнизонах, он все-таки шел вперед благодаря своему хорошему образованию... «Несмотря на преклонность лет и на странность приемов, он был человек очень неглупый, и ум у него был еще свеж, а что и того лучше — сердце у него было совершенно на месте, нисколько не стариковское». Излишнюю, иногда мелочную придирчивость ему прощали; прощали и грубость, которую нередко позволял он в отношениях с беднейшими из товарищей. Это многим

дало повод находить, что он мало заботился о материальном положении массы и был лицеприятен лишь к избранным, сильным в том или другом отношении. Сам он не имел никакой корысти, будучи 80 лет, не имея семьи и получая содержание больше генерал-губернаторского, но не умел преграждать злоупотреблений своих приближенных. При постройке Петровского каземата на его глазах произведено самое бесцеремонное воровство. В России его узнали за такого исполнителя, который не отступит ни перед чем, не задумается привести в исполнение никакое предписание. Так было он пробовал делать сначала, осуществляя правило: как можно меньше делать для массы, чтобы тем свободнее делать исключения для некоторых; вполне устоять ему в этом не удалось. Так понимали его люди, зависевшие от него, и так характеризовал его бывший иркутский генерал-губернатор С. Б. Броневский: «Он прослужил в кавалерии 50 лет, известен всей армии отличными заслугами, честностью и добротою. Лучшего выбора невозможно было сделать. Это была эмблема доброты и кротости при твердом и непоколебимом исполнении долга. При сделанном ему предложении ехать в такую даль нисколько не колебался. При бремени лет (ему было более 75-ти), при бремени ран и болезней, он хладнокровно говорил, что ему кости свои суждено сложить за Байкалом, и за несколько лет до кончины на горе, висевшей над казематом (в Петровском заводе), приготовил себе могилу и утвердил крест. Предчувствие не обмануло его⁹¹. Он получал порядочное содержание, и частыми через год наградами он и его штат забыты не были».

Снабженный строгими предписаниями от комитета, Лепарский был отправлен в Читу, чтобы распорядиться там помещением декабристов. В Иркутске, по его требованию, была сформирована команда с приличным числом офицеров; назначен священник собственно для этих ссыльных и команды и врач. Через три дня, чтобы не задерживать почтовых лошадей и не затруднять содержателей и проезжих, стали отправлять новые пар-

тии через семь месяцев после отправки первых двух партий. Партии эти снова состояли из пяти троек и четырех человек обвиненных.

С теми же подробностями раз установившихся приемов отправляли коменданты крепостей каждую партию, объявляя приказание исполнить приговор верховного суда и отправить в Сибирь, но без объявления места назначения. До Иркутска ссыльные не знали о последнем, и только там объявилась им Чита, и то при содействии людей, расположившихся в их пользу и решавшихся тайно объявить им об этом секрете.

Сообщали офицеры, солдаты-семеновцы, высланные за известную историю этого полка (осенью 1821 г.), местные чиновники, казаки и сами приставники. Сажали в сани (была уже зима), надев предварительно кандалы, которые для удобства позволяли подвязывать бечевками, снятыми с перьев⁹².

Неимущим выдавали казенное белье, тулупы и чемоданы с двумя парами шерстяных носков, теплыми сапогами, шапками, курткой и брюками толстого солдатского сукна; на других, богатых, собственные франтовские сюртуки, фраки от первого портного (Бату), теплые медвежьи шубы, на ногах овчинные одеяла и проч. Везде с особенною поспешностью и скупились на отдых в той мере, насколько позволяли силы невольников, ставшие в те же условия с силами провожатых. На личном произволе фельдъегерей лежали те или другие льготы, из которых главные состояли в том, что по дороге перестали рассаживать товарищей в отдельные экипажи. Из личных расчетов фельдъегери сокращали число троек до четырех, а прогоны за пятую опускали в собственный карман. Немало загнали лошадей по дороге, немало избили ямщиков, немало наделали неприятностей содержателям и зрителям, хотя губернаторы продолжали спрашивать о том, как ведут себя фельдъегери. Многие отличались жестокостью и сребролюбием; нередко препровождаемые ими платили за то, что фельдъегери не замучивали крестьянских лошадей. За деньги же они

служили поварами, завозили к помещикам в гости и проч. Особенно отличался фельдъегерь Чернов: прогон не платил, кормил одним молоком и простоквашею, нигде не давал отдохнуть, гоня в хвост и гриву, так что наконец путники потребовали у него инструкцию, и если в ней нет положительного приказа убить, то обещались жаловаться в первом же городе. При угрозах он на один день стихал, но потом снова принимался за свое и проч. Исключение составлял Воробьев, не извлекавший себе выгоды из поручения и не продававший своих забот за деньги. Народ продолжал оказывать сострадательное участие, власти — внимание, умевшее переходить из общего места официальных вопросов в самые факты благотворной помощи.

Первым партиям, прибывшим в Читу в январе, марте и апреле 1827 г.⁹³, досталось старое строение, очень низкое, темное и сырое; последующим — маленький тесный домик на другом конце селения. Оба дома были обнесены высоким частоколом. По мере прибытия новых партий из финляндских крепостей в августе 1827 года помещение в этих домиках сделалось очень тесно; каземат еще не был готов. Новый каземат оказался недостаточно поместительным, так что и прежние дома оставались все время занятыми. Лазарет был устроен сначала в маленьком доме крестьянина Голубева, на одной половине. Он состоял из одной комнаты и не мог служить более чем для двух человек. В него ходили по очереди, чтобы отдохнуть от тесноты и шума. Таким образом, под конец в Чите были три каземата, № 1, 2 и 3, и лазарет с аптекою в доме, особо выстроенном уже в следующем году. Здесь поместился отдельно от прочих товарищей доктор Вольф.

Прибывавших в Читу принимали: капитан линейного батальона, плац-адъютант, писарь и несколько караульных. Они отбирали деньги, драгоценности, свидетельствовали вещи, мешки, книги и все записывали и сдавали в канцелярию. При расспросах старались обходиться грубо.

— Что там у тебя на пальце? — грубо кричал линейный капитан одному из прибывших.

— Обручальное кольцо.

— Долой его!

Приезжий учтиво возразил, что ему позволялось носить кольцо в Зимнем дворце, в крепости и что, вообще, носить его не запрещено.

— Долой его, говорю тебе!

— Возьмите кольцо вместе с пальцем!

Этот же человек, нагрубив другой партии приезжих, ввел их в комнату, приставил к ней караул и комнату запер, оставив всех без огня. Остальные арестанты слышали за стеною знакомые голоса товарищей, их разговор, и начальство ничем не могло уклонять свидания с ними.

К стеснениям извне вскоре не замедлила присоединиться теснота внутри жилищ, из которых одно наскоро было превращено в каземат из наемной крестьянской избы, огороженной высоким забором. Между ним и избою оставался двухсаженный промежуток, с трудом исполнивший роль места для прогулок, затрудненных, сверх того, неуклюжими кандалами. В одной комнате в 8 аршин длины и в 5 ширины жило 16 человек; в другой такого же размера — то же число; в маленькой третьей — четверо. Все курили табак, воздух был тяжелый и становился невыносимым, когда после солнечного заката запирались двери и окна. Спали на нарах, на войлоках, под которыми прятали свои чемоданы и сапоги; на нарах каждому приходилось не более $\frac{3}{4}$ аршина, так что перевертывавшийся с боку на бок толкал и будил соседей. Цепи оставались на ногах и снимались только на то время, когда водили в баню и к причастию. В казематах шум от них мешал разговорам. Когда в конце мая оттаяла земля и могли приступить к работам, земляные работы на свежем воздухе показались истинным блаженством, удвоенным еще, кроме того, возможностью свидания с товарищами, сидевшими в тесноте и духоте второй тюрьмы. Свидание

повторялось по два раза в день: утром от 8 час. до 12-ти и вечером от 2-х до 5-ти. На работы из всех казематов отправляли под конвоем по 16-ти человек. Заставили рыть фундамент для новой тюрьмы, частокол и ямы для погребов. Когда еще не всех привезли, работы не было после обеда в субботу для бани, когда же число работников увеличилось, то ходили в баню по очереди, по четыре человека в пятницу и в субботу⁹⁴. Приносили заступы, тачки, носилки, лопаты, молоты и проч., и так как работа эта напоминала ту, которою были обязаны швейцарцы, некогда принужденные строить для самих себя тюрьму, то и печальное читинское здание получило название Цвинг-Ури. Только воскресенье и пятница были днями, свободными от этих работ. Когда был вырыт фундамент и ямы для ограды, заставили засыпать овраг на большой дороге песком и землею. Но так как Чита, вследствие своего исключительного возвышенного положения, вместе с чистым воздухом и почти постоянно ясным небом отличается августовскими грозами с проливными дождями, то и земляная работа в рытвинах могла казаться бесконечною: в несколько часов дождь затоплял улицы, а вода, несшаяся по скату горы, на которой была неладно прилажена эта Чита, разрывала глубокие лощины и уносила последние следы трудов целого лета. Чтобы обезопасить их, принуждены были выстроить бревенчатую плотину. Это место оврага получило на языке ссыльных прозвание Чертовой могилы; с мая до сентября зарывали эту могилу. С сентября до мая водили по два раза в день в особенное строение, где прилажены были ручные жернова: на них каждый обязан был смолоть два пуда муки; не желавшие сами работать нанимали сторожей. Чтобы спорилась работа, чтобы не надрывала сердце шуркотня жерновов, пели песни под руководством товарища, отличавшегося капельмейстерскими способностями. Лучше всего удавалось пение церковных композиций Бортнянского, но Александр Иванович Одоевский, известный в литературе поэт, на голос русской песни: «Во

саду ли, в огороде», придумал особенную песню, специально прилаженную к этому невинному, но и нелегкому занятию; пели итальянскую песню «Un rescator del onde» и проч., с темпом тихого марша, и проч.⁹⁵.

В сентябре 1827 года была окончена постройкою новая тюрьма и в нее переведена наибольшая часть заключенных: из ближнего перенесли вещи на руках, из дальнего (впоследствии № 3) привозили вещи на телегах. Перешли без всякой церемонии, переходили порознь, каждый при своих вещах. Вскоре присоединены были к этим и те восемь, которых привезли из Благодатского рудника. Их принимал плац-майор, племянник Лепарского, часовые дали свободный путь в ворота, и они бросились в объятия друзей и товарищей. Теперь оказались все налицо и все вместе; их распределили по пяти отделениям тюрьмы, но не по порядку категорий, а уже по произволу коменданта. В одной комнате сгруппированы были все прибывшие из Благодатска, ее называли Псковом — пригородом Новгорода: жильцы ее заранее отказались от голоса и объявили себя согласными во всем с Новгородом; другую называли Москвою, или барскою комнатою, потому что большая часть в ней жильцов были богатые, с барскими наклонностями; третью называли Новгородом, за то, что в этом каземате столько же говорили и шумели о политических вопросах, как некогда на вечях, и сгруппировались люди независимые. Четвертая комната названа была Вологдою: в ней жили из общества «Соединенных славян» — люди наименьшего образования сравнительно с прочими товарищами. Новые помещения стали опрятнее, но не были просторными; место нар заступили кровати, сделанные на собственный счет заключенными. Можно было подметать пол, но между столом и кроватями было так тесно, что когда шел на улице дождь и загонял всех в комнату, им приходилось сидеть на своих местах. Большой каземат был невообразимо дурно построен: рамы с железными решетками были непосредственно вставлены в стену, и стекла зимою покрывались всегда

толстым слоем льда, увеличивавшим полумрак казармы. Она состояла из двух половин, разделенных темными сенями; каждая половина — из двух больших комнат, не имеющих сообщения помимо коридора. Пятая комната была собственно столовая; но для облегчения тесноты позволили поместиться и в ней. В каждой помещалось от 15 до 20 человек, у каждого — особая кровать и столик, в середине — большой стол и скамейки. Все эти неудобства оправдывали тем, что читинские казематы строены неумелыми руками плохих сибирских плотников, к тому же не добровольно принявшихся за топор, а по вызову и приказу начальников. В сущности, каземат этот не возбуждал серьезных забот начальства потому, что он также был временный. В это же время строили большой и новый в другом месте. По донесениям и настояниям Лепарского о неудобствах заточения в Акатуе, мысль об этом была оставлена. Акатуйская яма показалась Лепарскому и страшною и нездоровою. Самому коменданту был предоставлен выбор места; он остановился на Петровском железном заводе, и постройка каземата началась там в год прибытия ссыльных в Читу, а окончилась летом 1830 г. К несчастью, выбор места произведен был Лепарским издали, с горы: зеленый луг оказался мокрым болотом. Таким образом, большинству привелось прожить в Чите три года и 7 месяцев. Чита из бедной деревушки, носившей в официальных бумагах название острога, а на языке местных жителей имя плотбища⁹⁶, превратилась в порядочное селение, обязанное своим внешним благоустройством личным трудам декабристов, прорывших канавы, засыпавших овраг, а внутренним заметно поднявшимся благосостоянием жителей, бедных заводских крестьян, теми денежными пособиями, которые переливались к ним за удовлетворение насущных нужд и различных потребностей заключенных. Селение это найдено было последними состоящим из 300 душ, живших в маленьких избах и занимавшихся

кое-как и про себя земледелием и рыбною ловлею; за казенную землю они обязаны были жечь уголь и сплавлять его в Нерчинский завод. Все население тесно и бедно помещалось в 26-ти лачугах, которыми командовали три порядочных дома, занятых горными чиновниками и пригодившихся потом коменданту и плац-майору. Местечко на рисунках одного из декабристов (Ник. Александровича Бестужева) является уже довольно красивым городком, сумевшим собрать и употребить на собственную пользу значительные средства из тех, которые отпускались временным читинским го-стям от казны и присылались богатыми родственниками. Одна улица города успела сохранить за собою даже до настоящего времени прозвание Дамской, т. е. такой, на которой поселились в частных домах и до известной степени способствовали приличному виду и внутреннему устройству приехавшие за мужьями жены. Впоследствии это местечко не задумались избрать главным городом для вновь организованной Забайкальской области и передать ему первенство, принадлежавшее до того городу Нерчинску.

Читинская жизнь заключенных тянулась в безутешном однообразии: книг сначала было очень мало, писать строго воспрещалось, шахматная игра была единственным развлечением между работою и сном. В хорошую погоду играли на дворе в городки и бабки, несмотря на то, что ножные казенные украшения мешали во многом этому гимнастическому упражнению. Хотя можно было достать еще карты, но игру эту условились изгнать и, положив строгий запрет на нее, сумели на том устоять со всею твердостью героизма. В большом каземате стало веселее и разнообразнее уже по той причине, что все, соединившись вместе, могли направить соединенные силы на того опасного врага, который называется тоскою заточения, лишением свободы и выходит на оплошных с помощью такого сильного товарища, который зовется тоскою по

родине. Против этих врагов читинское товарищество вышло на борьбу, опираясь на те общие силы, которыми красно и крепко всякое товарищество, и победа была одержана блистательным образом. В этой борьбе и в этой победе и женские силы, признаваемые слабыми, оказали геройские чудеса храбрости и стойкости. Товарищи успели вызнать себя и сблизиться в дружеские кружки, из которых выделились два: один, названный в шутку конгрегациею, заключил в себе людей, обратившихся к чтению религиозных книг и группировавшихся около набожного, отличавшегося многосторонним умом П. С. Бобрищева-Пушкина, и другой кружок из членов Славянского общества, во главе которого оказался П. И. Борисов. «Бывали и другие кружки, составлявшиеся без определенных целей, по личным симпатиям. Небольшие ссоры прекращались охотливым посредничеством товарищей, и никогда сор из избы не выносили».

Первые симптомы острой болезни неволи и заточения, выражающиеся для всех лишенных свободы исканием ее, называемым на официальном языке побегом, отразились до некоторой степени и на этих несчастных, помещенных совершенно отдельно, вне всяких связей и сношений с теми, у которых не захваченные во время первые припадки превращаются в хроническую болезнь бродяжничества. Сначала много толковали о возможности освободиться по Амуру до Сахалина; там предполагали выстроить судно и отправиться в Америку. Другим рисовался путь на юг, в Китай. Для исполнения плана казалось необходимым: задержать на время коменданта и офицеров, а для успеха его представлялся верный расчет на 70 молодых, здоровых сил, способных обезоружить караул и выйти из каземата. Там, за стенами его, остальные солдаты представляли отряд из ста человек, расположенных к заключенным. «Пока бы дали знать в Иркутск, мы бы успели и судно выстроить, и погрузиться и уплыть». Читинские казенные склады обеспечивали дальнейшие надежды «пылкой молодежи, над которою взяли верх осторожные товарищи»,

видевшие невозможность подобного предприятия и не обращавшие на затеи особенного внимания. «Вскоре и молодежь отступила перед необходимостью прибегать к силе оружия, брать на свою совесть пролитие крови», наконец, подвергнуть ответственности оставшихся товарищей и их жен, успевших уже обнаружить огромные запасы сил, способных ослабить крепость уз и тяжесть неволи. Чтобы достигнуть Амура, понадобится помощь бурят — самая ненадежная и опасная помощь. На границе Китая поставлено 50 казаков с исключительной целью преследования беглых днем и ночью. Третий путь через 4 тыс. верст выводил в Европейскую Россию; четвертый — в мертвые тундры севера, где вязнет нога даже легкого на ходу оленя. «Хотя мы и знали, что некоторым ссыльным черкесам удалось счастливо бежать в родные горы через Аральское море и Каспий, но нам ничего не оставалось, как только подчиниться закону необходимости». Побег казался возможным: подговоры шли постоянно от самих солдат и от поселенцев, которые говорили, что расположение к побегу всего населения таково, что если бы «китаец» принимал, а не выдавал беглых, то в Забайкалье не осталось бы никого. Они говорили, что с такими господами все готовы идти, зажмуря глаза. Расстроилось же предприятие потому, что в основе его лежали у разных лиц совершенно разные побуждения. Одни считали дозволенным побег для того, чтобы иметь возможность продолжать служение делу, нисколько не заботясь о своей личности, о своих страданиях; другие же решались на него потому, что положение было невыносимо, и они говорили, что все равно где умереть: в тюрьме ли наверное или при освобождении. Женатые, в особенности, употребляли силу своего влияния, чтобы отклонить от побега решительных и пылких. К тому же денежные средства не были в руках заключенных: утаить что-либо было трудно, потому что всё не только осматривали, но и распарывали. Добыть их, однако, можно было переводом на артель, выписывая на имя купца за припасы (более всего за

сахар, кофе, чай и проч.) в артель. О побеге перестали думать и толковать в Читинском остроге; по независимости и вдалеке от него та же дума подняла на дело и погубила других. Жертвою увлечения пал один из членов Южного общества, бывший офицер Черниговского полка, Ив. Ив. Сухинов.

После стычки под Белою Церковью, когда главные члены общества (Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и другие) отправлены были в Петербург, над остальными наряжена была военно-судная комиссия в Киеве. Военный суд приговорил виновных к четвертованию, но этот приговор был заменен политической смертью. Приговор исполнен был в Василькове: виновные приведены были закованными и расставлены впереди войска на большом друг от друга расстоянии. Когда прочли приговор, палач брал каждого поочередно за руку, вел через площадь к виселице и, обойдя ее три раза, передавал казненных в команду внутренней стражи. В Сибирь эти осужденные (Быстрицкий, Соловьев, Модзалевский и Сухинов) отправлены вслед за петербургскими тройками и товарищами пешком, по этапам: шли 1 год и 7 месяцев⁹⁷. В Чите их вместе с единомышленниками не оставили. Препроводив в Большой Нерчинский завод, разослали по ближайшим рудникам: троих последних поселили в 15 верстах от Большого завода, в Зерентуйском руднике. Здесь они наняли квартиру у одного из сосланных солдат Семеновского полка; потом купили себе собственный дом и перешли в него. С участью своею они успели примириться, исключая Сухинова, который еще дорогою по этапам успел убедить товарищей, что несчастье сумело зародить в его сердце жажду мщения. По дороге же он успел сообщить об этом дамам, которые ехали к мужьям и догнали их. Упорным молчанием ответил он на просьбы других дам, встретивших их у тюрьмы в Чите и умолявших Сухинова не приводить намерения в исполнение. В Зерентуйском руднике он поспешил познакомиться с Голиковым, ка-

зарменным старостою, бывшим фельдфебелем учебного карабинерного полка; Бочаровым, сыном астраханского купца; Бондаревым, бывшим фельдфебелем гвардейского полка, и Птицыным, целовальником, бывшим юнкером гусарского полка. С помощью их доставал себе вооружение, порох и свинец. Лили пули, наделали до тысячи патронов. Советы товарищей не помогли. Сухинов продолжал ласкать ссыльных и особенную доверенность и любовь к себе возбудил в семеновцах, которые ежедневно ходили к нему; с ними ежедневно же уходил он на охоту, не сделал ни одного выстрела, но за глазами товарищей успел завести дело далеко. Прения с товарищами доходили до ссоры, беседы с соумышленниками довели до определенного плана освобождения всех заключенных в ближайших рудниках: Зерентуйском и Кличкинском. Намеревались напасть на казармы и, завладев оружием, идти на Благодатский рудник (1½ версты), на Большой завод и на другие заводы как для обезоружения военных команд, так и для присоединения ссыльных. Намеревались прекратить почтовые сношения, послать отряд для отобрания оружия по всем казенным караулам; потом идти на Нерчинск, завладеть артиллериею, оттуда на Читу, освободить государственных преступников и условиться с ними о дальнейших действиях. Намерения эти Сухинов велел скрывать от сожителей своих до последней минуты, приказал в присутствии их быть осторожными, говоря, что во время бунта он сам их уведомит, и если согласятся, то присоединит их; если нет, они первыми будут убиты. Товарищам-черниговцам продолжал говорить одно: «Оставьте действовать меня по своей воле, я вас не замешаю». Целовальник Птицын, на случай восстания, обещал несколько бочек водки, а до того времени подпаивал главных заговорщиков, которые в пьяном виде успели до некоторой степени обнаружить свои намерения: в какой-то праздничный день на могильных памятниках написали угрозы начальству. Поляк Тир,

сосланный из виленских студентов, успел объявить управляющему рудником, что это дело государственных преступников и изъявил свои подозрения на заговор. Произведенные осмотры и дознания не оправдали подозрения. На радости команда Сухинова начала пить непомерно, беспрестанно шаталась мимо окон квартиры товарищей, десятками не выходила из кабака и произносила разные неуместные выражения. В это время некто Казаков, проходя в пьяном виде мимо квартиры управителя, объявил ему, что многие готовы к бунту и что в этом участвуют секретные (т. е. государственные преступники). О доносе Алексея Казакова передано было заговорщикам, и двое из них (Голиков и Бочаров) взяли водки, пригласили Казакова в лес, напоили его и убили. Бочаров бежал. По двум доносам произведено следствие, назначена комиссия, дано было знать в Петербург. В Благодатском руднике восстание, таким образом, успели предупредить, в Еличкинском же руднике ссыльно-рабочие успели уже произвести буйство и оказать сопротивление военной и горной командам. 19 июня 1828 г. в лагере при Шумле Николай I изволил написать собственноручно на докладной записке о кличкинском вооруженном возмущении: «Всех судить военным судом, что и вперед исполнять с ними, когда будут противиться военной силе». Комендант Лепарский получил Высочайшее повеление, данное в Одессе 13 августа 1828 г., в котором, между прочим, было сказано: «Я повелеваю вам приказать отыскать непременно Василия Бочарова и всех предать немедленно военному суду и впредь в подобных случаях разрешаю руководствоваться сим же правилом». Под стражу взято было 22 человека; следствие шло неудачно: Сухинов ни в чем не сознавался, другие, что показывали сегодня, то отвергали завтра. Допросы начали побоями, продолжали жестокостями. Одна комиссия сменяла другую, но главная и последняя открыла не больше первоначальной. Случилось, что собака принесла человеческую руку и, таким образом, открыли убийство Казакова. В то же

время случайно был пойман бежавший Бочаров. Кончался второй месяц, а следственное дело не подвигалось. Горная экспедиция отозвала членов и назначила в Большом заводе третью комиссию. Виновных перевезли туда. Товарищам Сухинова позволили видаться с ним, и «если бы, — говорит один из них, — у нас были деньги, то могли бы дать совсем другой оборот делу, по корыстолюбию некоторых членов комиссии». Читинские товарищи присылали нарочного с обещанием денежной помощи, но письмо не дошло и военный суд состоялся. Сухинова суд приговорил к 400 ударам кнута, следующим девяти — кнут, остальным — плети; но потом это решение изменилось: Сухинова и пятерых с ним велено расстрелять. Сухинов, во время следствия два раза принимавший яд и, не достигнув цели, расстроивший свое здоровье, казался спокойным и веселым. В ночь, предшествовавшую экзекуции, он упросил одного из арестантов рассказывать сказки. Когда все уснули, Сухинов отвязал ремень от кандалов, привязал его к деревянному колу, низко вбитому над нарами, спустился с нар и почти в лежащем положении удавился. Кто-то из арестантов наткнулся на него впотьмах: зажгли огонь и тотчас послали за ключами от цепей к батальонному командиру и за врачом. Сухинов оставался в петле. К жизни его не возвратили. Товарищи его (Соловьев и Модзалевский) были привлечены к следствию, закованы, посажены в тюрьму, но оправданы и освобождены, как непричастные к делу. Их, после экзекуции, сочли за необходимое соединить с прочими товарищами и перевели в читинскую тюрьму. Вместе с ними перевели в Читу всех, кто был в заводе из дворян, хотя бы и не был политическим преступником. Комендант не хотел принимать их от испуганного горного начальства и одного из присланных, который был осужден за намерение поджечь город для грабежа, долго держал отдельно. Этот наплыв сумел не раз вредить потом доброй славе каземата.

Лепарский, по вызову сухиновского дела, принужден был издать новую инструкцию. За всю команду,

особенно за караулом, велел иметь особенное смотрение; за людьми наблюдать, «не есть ли они в непозволительных сношениях с жителями и арестантами». «Государственные преступники не могут иметь ни с кем никакого свидания и для того, кроме караульных, никого к ним не допускать. При них должен быть днем в передней комнате из рядовых один за сторожа без амуниции для смотра за ними и которого при смене караула всякий день сменять другими, избирая для сего людей надежных. На ночь арестантская, чуть станет смеркаться, должна быть заперта замком, а ключ от оного должен иметь при себе караульный старший унтер-офицер в кармане, которого никому не доверять. Поутру же, как сделается видно, он, взяв с собою ефрейтора и двух караульных, отпирает арестантскую и поверяет арестантов. Ночью же ни под каким предлогом не должен отпирать и выпускать арестантов, разве если случится близ пожар; тогда весь караул идет к арестантам и, построив каре, берет их в середину, отводя на безопасное место. Осматривать лично поутру и ввечеру ежедневно палаты арестантские; причем велеть поверять под нарами и посмотреть: в целости ли полы в палате и оковы на арестантах, а также поверить во всем караульных, т. е. нет ли пьяных и все ли налицо». «Преступников никуда и днем даже из арестантской не выпускать, кроме как под присмотром часового или сторожа для натуральной нужды. Буде кто из преступников тяжело заболит, то одного отделить от арестантов в особую палату для пользования, и при больном быть днем и ночью особому часовому и сторожу и ночью иметь в оной палате свечу. Хотя государственные преступники должны быть посылаемы на работы по распоряжению горного начальства, но оных вместе с прочими ссыльными не водить, а водить особо под приличным конвоем». Тогда же издано наставление и унтер-офицеру: «Чтобы люди не ложились, не раздевались и не валялись на полу и всегда готовы бежать по крику часового: “вон!” На ночь быть свободно оде-

тым... В случае бунта арестантов должен им угрожать, что, если не уймутся, велит колоть и тотчас посылает ефрейтора дать знать начальству. Если же арестанты будут усиливаться и вступать в драку с караульными, то, не дожидаясь повеления, приказывает колоть зачинщиков или более упрямых и дерзких без всякой пощады, не опасаясь подвергнуть себя и тех солдат за убитых и раненых какой-либо ответственности»⁹⁸.

Новые строгости с наибольшею настойчивостью устремлены были на тот пункт, который казался самым щекотливым. Свидания жен с мужьями, по общему положению, были ограничены двумя разами в неделю и всякий раз не более чем на несколько часов. Обычай установил свидания эти ежедневными: всякий день жены подходили к частоколу, чтобы взглянуть на своих супругов и простоять с ними несколько часов. Новое предписание, дававшее широкие права вмешательству часовых, успело сделать опасными эти свидания, установленные обычаем. Нередко случалось, что часовой, исполняя приказ, отгонял прикладом; встречая упорство со стороны дам, прицеливался. Одна из дам разговаривала с мужем по-французски; пьяный офицер Дубинин потребовал русского разговора и грубо обругал. Дама (А. Г. Муравьева) бросилась бежать, он за нею; на дороге бежавшая упала в истерике. Товарищи, узнав об этом, стали укорять Дубинина. Этот с криком: «бунт!» — велел караулу сомкнуть штыки. Плац-адъютант, услышав шум, остановил солдат и прекратил опасную историю. Лепарского не было в Чите. Возвратившись, он велел не пускать всех на работы, чтобы прекратить всякие свидания, но перед обиженною извинился, просил всех на будущее время быть осторожными; Дубинина перевел в другую команду, племяннику своему (плац-майору) намылил голову, дело замялось — о происшествии никто не узнал. Благополучным исходом вся история обязана была начальнику горного округа, Семену Ивановичу Смольянинову, человеку замечательной честности, пользовавшемуся ото всех глубоким

уважением (еще за 25 лет до всеобщей эмансипации, он по собственному побуждению, отпустил своих крестьян на волю). Он один во все время, от начала до конца, был ровен в обхождении с государственными преступниками, обращаясь с ними с полною учтивостью и готовностью к услугам, когда другие были грубы и не исполняли даже следуемого по закону. Вообще, весь подбор штата был самый неудачный и не при одной постройке Петровского каземата были злоупотребления.

Вскоре, по обычному закону, и все другие предписания пошли в разлад с делом. Предписание говорило: «преступники ни к кому писем писать не могут, потому не должны иметь бумаги, чернил, карандашей, для чего строго их осматривать, и буде впоследствии времени у них что найдется, равно деньги и вещи, коих прежде не было, то строго исследовать, от кого что они получили; если будут к ним присланы письма, то, не отдавая их, оставить у себя и оные представить г. начальнику заводов». Обыски делались беспрерывно. Особенно часто подвергался им Д. И. Завалишин по своим учебным занятиям. Так как не давали ни бумаги, ни карандашей, он сделал карандаш из куска свинца от чайного цибика, а писал на бумажках от содовых порошков. Все это отбиралось, но при новом обыске находили все возобновленным. Наконец, удалось убедить коменданта, что эти занятия для образованных людей составляют такую существенную потребность, что они будут искать удовлетворения ее во что бы то ни стало, тогда как для него она не составляет никакой опасности. Коменданту не раз приходилось выслушивать упреки, иногда очень жестокие, но он умел говорить со вспыльчивыми: «Позвольте! мне теперь некогда, приходите лучше ко мне, мы затворим двери и тогда браните меня, сколько будет угодно». Опыт и практика переломили дело так: сначала Лепарский принужден был дозволить грифельные доски, потом появилась бумага и карандаши. Затем Лепарский, входя в казематы и видя чернильницы, бумагу и перья, стал со снисходительною улыбкою го-

ворить всякий раз: «Я этого не вижу». Огромное лишение писать письма к родным сначала восполнено было участием дам (через три месяца стали получать ответы и денежные пособия), потом приспособлением различных хитростей при участии случайных сторонних пособников. Один из соузников — Дружинин, отправленный на поселение, повез из Читы табак для доставления в Иркутск в ящике с двойным дном, — под верхним дном огромное количество писем для отправления в Россию. На дороге табак пересыпал он в бумаги, а ящик подарил священнику для сбора денег в церкви; узнав о своей ошибке, он достал ящик обратно и доставил по назначению⁹⁹. Наконец, передатчиками читинских корреспонденций в Россию являются на стороне: жена горного начальника (Фелицата Осиповна Смольянинова), присылавшая заключенным завтраки своей стряпни, принимала участие и в пересылке писем. Она замечательна была глубоким участием и всякого рода услугами заключенным и их дамам. Она бесплатно снабжала казематы всем из своего хозяйства. Раз она отправила одно письмо в Москву, но письмо там было вскрыто, в письме нашлось указание на нее, и Лепарский получил приказание посадить ее на неделю под арест. Раз сам комендант сделан был, против воли, передатчиком радостного известия о соединении всех в одной тюрьме, отправленного от дам, находившихся в Благодатском руднике, к читинским дамам. Письмо это комендантом было прочитано, найдено невинным, сообщавшим описание природы красивой и дикой Аргуни, виды которой заставляли припоминать стих Байрона (стих был приведен в подлиннике на английском языке). На другой день по прочтении письма коменданту доложено было о необыкновенно веселом и радостном настроении духа заключенных, о том, что причиною этого общего оживления послужило известие о присоединении благодатских товарищей. Тщательные розыски и дознания обидевшегося коменданта не привели ни к чему. Гораздо позже, когда дело стало прошлым, узнал он, что

известие, тщательно скрываемое им, привез сам же он, и что стих Байрона не принадлежал поэту, а заключал в себе прозаическое известие: «in a forthight we leave this dreodful place» (т. е. через две недели мы оставляем это ужасное место). Это обстоятельство, когда выяснилось потом, послужило Лепарскому поводом требовать особого чиновника для чтения писем на тех языках, которых он не знал.

Работа на ручных мельницах в несколько жерновов, обязывавшая перемолоть 4 пуда ржи ежедневно всем (т. е. по 10 фунтов на каждого), производилась сначала посменно, так как у каждой мельницы могли работать только два человека. Впоследствии стали молоть сами сторожа и конвойные наблюдатели. Обязательные рабочие в соседней комнате (шинельной) курили, играли в шахматы. Здесь мало-помалу образовался маленький клуб: обменивались мыслями и чувствами, читали газеты, с жадностью следя за политическими действиями наших войск в персидскую войну, в которой принимали участие многие из прежних товарищей и друзей читинских тюремных сидельцев. Некоторые достигли такого искусства в быстроте просмотра газет (как Завалишин), что, успевая пробежать номера газет прежде других, умели сообщать клубу самые крупные новости немедленно. Комендант приучен был смотреть на это сквозь пальцы; работать усиленно не заставлял и, при засыпке рва Чертовой могилы, рабочие, успели свезти несколько тачек для моциона, бросали лопаты и тут же составляли новый подвижной клуб с теми же беседами и чтением иностранных газет, выписываемых и доставляемых дамами¹⁰⁰. Впоследствии и урядники, входя в казарму, говорили: «Господа, не угодно ли кому на работу?» — и в самом деле, шли только те, которые охотились и искали разнообразия. Летом, когда стало тепло, раза два в неделю водили заключенных купаться в очень маленьком притоке речки Читы, притом загороженном частоколом. Купались без кандалов; води-

ли человек по 15-ти за один раз. Потом и это оставили: стали водить на Ингоду, версты за две от каземата.

Строго ограниченное и сильно стесненное вначале свидание с женами в самых казематах сменено было дозволением ходить с конвоем в собственные квартиры дам, а после дубининской истории без посторонних свидетелей. Дозволили получать письма от родных, и почтовый день сделался днем праздничным, несмотря на то, что письма шли через коменданта и доставлялись распечатанными и прочитанными. Тем же путем дозволялась и отправка ответов, которые писали дамы, имевшие право переписываться с кем им угодно и обыкновенно в такой форме: «такой-то просил меня сообщить вам» и проч. В этом случае каждая дама имела несколько человек в каземате, за которых она постоянно писала, переписывая передаваемые ей черновые письма и прибавляя вначале приведенную выше общую фразу. Труд дам в этом случае был немаловажен: «Одна княгиня Трубецкая еженедельно переписывала и отправляла к коменданту более десяти писем; ему самому нередко каждым отправлением и после каждого прибытия почты приходилось прочесть писем до ста».

Установившаяся при содействии дам связь с покинутым миром, с любимыми и любящими, это — по выражению М. А. Бестужева — «политическое существование за пределами политической смерти», — существенным образом выразилось помощью от родных. К несчастью, по рассказам того же свидетеля, почта обижала их самым безжалостным образом. Он говорит, что вместо прекрасных золотых часов, завещанных ему с братом (Н. А.) и посланных после смерти их брата Александра (Марлинского), они получили какое-то подобие часов. Александр Муравьев раз вместо бобровой получил изношенную шапку. Белье часто получали сделанное по казенным подрядам для лазаретов; дамские шляпки и головные уборы подменяли поношенными, нередко в одних вересках и лоскутьях; Ивашов давно

ожидаемую им посылку с дамскими и детскими уборами и лентами получил в одном ящике с избитыми и измятыми крымскими яблоками: отполовинили из обоих ящичков и сложили в один. В утешение обиженных почтовая оговорка гласила одно и то же: «Разбившаяся в дороге укупорка заменена новою, за которую просят взыскать следующие деньги»¹⁰¹.

С одной стороны просили одного: не оскорблять дерзким обращением, и за этим ультиматумом обещали исполнять все с покорностью и безропотно; с другой стороны — говорилось некоторым наедине и по секрету: «Что обо мне напишут в Европе? Назовут меня бессердечным тюремщиком, палачом, притеснителем, приравняют к Гудсон-Лоу? Я берегу место единственно для вас, господа, чтобы избавить вас от притеснений и несправедливостей бессовестных чиновников. Что мне от того, что ношу кресты и ленты, которых даже и смотреть здесь некому! Я желал бы освободиться отсюда, но не иначе, как вместе с вами». С третьей стороны за комендантом был строгий контроль со стороны читинских дам, умевших отстаивать его в Петербурге и говоривших ему в глаза самые жестокие и колкие слова. «Пожалейте меня, — говаривал Лепарский дамам, — вы требуете того, чтобы меня разжаловали». — «Ну, что же? Будьте лучше солдатом, генерал, но будьте честным человеком». После экзекуции над Сухиновым и его сообщниками Лепарский долгое время избегал встречи с дамами и несколько дней не выходил из дому. После того как его вылечили от смертельной болезни казематские доктора, Лепарский решил написать в Петербург: «Не я их стерегу, а они меня берегут». Имея обыкновение отвечать на все просьбы «не могу» (за что и был прозван в шутку «господином Немогу»), он закончил тем, что стал исполнять просьбы, хотя и после долгой «комбинации» (как он сам выражался), справки с законами и инструкцией. Он любил говорить часто: «Я уверен, что имею дело с благородными людьми, по-

берегите меня». В силу таких взаимных уступок, таких строгих и неизбывных отношений значительно ослаблено было влияние с четвертой стороны — и читинское заточение стало принимать вид обыкновенной человеческой общины и мало-помалу приближаться к тому идеалу ее, где нет места для искусственных и непрочных скреплений. Взаимные уступки и обоюдная помощь сумели сделать то, чего бы ни в каком случае не удалось достигнуть притеснением свободной воли человека. Совершилось большое чудо: сотня людей разнообразных характеров и наклонностей сплотилась в тесное, согласное и дружное товарищество и при всех неблагоприятных условиях быта ни разу не изменила себе и ни на йоту не потребовала изменений в предварительном ультиматуме. Все сдержали слово с тем достоинством, что ни один из бесчисленных доносов не оправдался, ни один петербургский ревизор не нашел ничего нового, на чем бы он мог выслужиться и чем бы в состоянии был повредить приставу и надзираемому им товарищу. Генерал-губернатор Восточной Сибири, С. Б. Броневский в своих записках оставил сильные следы восторга, полученного им при посещении тюрьмы государственных преступников, и о честных взаимных отношениях их и коменданта со штабом его свидетельствовал лично перед императором Николаем I¹⁰². Бывший генерал-губернатор Сулима вынес те же отличные впечатления. Когда государь повелел снять оковы с более достойных и вполне заслуживающих такую милость, Лепарский, явившийся в полной форме, с крестами и в ленте, объявил, по прочтении бумаги, что он находит всех того достойными. Оковы были сняты и спрятаны, но нашлась возможность потом доставать их, чтобы делать из них браслеты и кольца и отсылать эти изделия на память родным, оставшимся в России. Отсылали с тем нарочным, который ежегодно увозил из нерчинских рудников серебро. Раз такая посылка открыта была в Петербурге, и Смольянинов, хранивший железа, был посажен на гауптвахту.

С этого времени самое заточение стало наименее строгим и тюремная община декабристов еще сильнее укрепилась в своих правах и действиях. К казенным работам присоединились свои собственные, вызванные требованием взаимной помощи и содействия. Загорожено было большое место под огород и все, каждый день, с наступлением весны, ходили туда работать на несколько часов. В первый год урожай был плохой, но все-таки осенью и зимою в артельной похлебке оказалось по несколько своего картофеля, реп и моркови. Это особенно имело значение в Чите, до прибытия декабристов не имевшей достаточного количества числа огородов и довольствовавшейся привозными овощами или дикорастущими в лесах и лугах кореньями и цветочными луковицами. На следующий год урожай на огороде был до того обилен, что на зиму заготовлен был весь нужный запас овощей и посолено в больших винных бочках до 60 тыс. шт. огурцов — продукта до того времени весьма мало известного за Байкалом¹⁰³. Избытками запасов товарищество, сверх того, могло поделиться с неимущими читинскими бедняками, картофелем сумели подспорить скудную трапезу горных крестьян, издавна пользовавшихся, за недостатком хлеба, всевозможными суррогатами его.

В читинской тюрьме стала налаживаться та общинная артель, которая с таким совершенством выработалась окончательно в Петровском заводе. В Чите — стол был общий: к обеду приносили огромную латку артельных щей, на другой латке — накрошенную говядину. Хлеб приносили нарезанным ломтями, так как, по тюремным положениям, не давали ни ножей, ни вилок (и отобрали даже свечные щипцы). Всякий имел свою ложку: костяную, оловянную или деревянную; серебряные ложки запрещались. Недостаток тарелок дополнялся чайными деревянными китайскими чашками. Обеденный стол приготавливался из козел, приносимых в каземат на то время и накрываемых доскою. Суп или

щи, каша с маслом приносились в деревянных ушатах и разбирались прямо отсюда каждым отдельно в собственные китайские чашки. Пища была простая и здоровая: одна и та же для тех, которые привыкли в походах к сытной и обильной трапезе богатой Малороссии, и для тех, которых не всегда удовлетворяла в Петербурге французская изысканная кухня с ежедневным шампанским. «Между нами было много гастрономов; все они были согласны в том, что не терпели в Чите голода, но и не были совершенно сыты». На стол и содержание, сверх казенных 6 копеек меди в сутки и 2 пудов муки в месяц, в содействие тем, которые были без средств или забыты помощью, получали общий стол и денежные пособия от богатых товарищей и дам.

Эти взносы, сделавшиеся впоследствии для всех обязательными, в Чите послужили основанием артельного капитала, который и расходовался на общие потребности. Дамы присылали кофе, шоколад и кушанья, как лакомства. Для заведования суммами на каждые три месяца избирался староста, получивший на языке декабристов название хозяина, и другое лицо, заведующее артельным огородом, — огородник. Хозяина выбирали первый раз в 1828 г. по причинам дурного состояния кухни. Первым хозяином был Ив. Сем. Повало-Швейвовский, но он кормил довольно плохо, молодежь была им не довольна. Он просил освобождения, выборы пали на И. Д. Якушкина, но он отказался. Согласился быть хозяином Розен, и дела по хозяйству пошли лучше. В 1829 году на место Розена избран был Пушкин, при котором объявились даже излишки огородных запасов. Хозяин (один только) имел право выходить из каземата для посещения разных лавок, из которых иные помещались в жилых домах (как, напр., все еврейские). В Петровске эта заманчивая обязанность перенесена на вновь созданную должность закупщика, не представлявшую особенного труда и ответственности.

О читинском хозяйстве декабристов у нас имеются следующие документы первоначального действия по

устройству общины. Передаем с буквальной точностью протокол о результатах.

«Мая 23-го 1829 года.

П. В. Аврамов просил вчерашнего числа о назначении из каждой горницы большого каземата, из казематов № 2 и 3 уполномоченных для принятия от него некоторых сообщений касательно хозяйственной должности.

Получившие на сие доверие своих товарищей собрались в числе пяти человек, из коих трое за свои комнаты, а двое — каждый за две; и хотя некоторые из них были отправлены не от полного числа¹⁰⁴, но по проверке все вместе оказались соединяющими доверие большинства голосов.

Им г. Аврамов, сообщив все бумаги, касавшиеся как до определения обязанностей хозяина, так и до выбора нового (хозяина), просил:

1) Относительно определения условий хозяйства рассмотреть и представить для общего сведения, на которой стороне большинство голосов.

2) Определив по поданным голосам кандидатов¹⁰⁵ и представив на баллотировку, уведомить его, кто будет утвержден, для сдачи ему хозяйства, к 1-му числу июня.

Сам же г. Аврамов совершенно отказался как от рассмотрения голосов по сим двум пунктам, так и от извлечения следствий из оных.

Назначенные от товарищей, исполнив все возложенное на них, представляют при сем к общему сведению.

Протокол о составе комиссии.

Члены комиссии.

И. С правом двух голосов:

Д м . З а в а л и ш и н 1 — за каземат № 2 и за горницу большого каземата № 4 или аристократическую.

Н. Б е с т у ж е в за горницы № 2 и 3.

II. С правом одного голоса:

А. Б е л я е в за горницу № 1.

И г е л ь ш т р о м за горницу № 5.

М у х а н о в за каземат № 3.

По проверке полномочий выбраны: председателем комиссии Дм. Завалишин 1. Секретарем Муханов.

Протокол о результатах подачи голосов о новом устройстве общины.

По рассмотрении голосов и мнений, по данным касательно правил хозяйства (причем были спрашиваемы все те, коих мнения могли быть не очень понятны) для отклонения всякого недоразумения¹⁰⁶ оказалось:

1) Желających, чтобы все осталось на прежнем основании — 32.

2) Желających пояснения и определения обязанности хозяина и проч. — 20.

(Остальные 20 не подавали голоса или потому, что не участвовали в артели, или отказались от подачи голосов.)

При сем, когда большинство голосов оказалось на стороне желавших остаться на прежнем положении, г. Басаргин отказался от артели, причем, по его просьбе, прилагается (к делу) объяснение его собственной руки о причинах его, к сему побудивших. Сверх того, отказался от артели г. Барятинский по причинам, поясненным в прилагаемой здесь копии его мнения.

П р и м е ч а н и е. (Барятинский худо писал и потому просил копию с его подлинника, ч т о б ы у д о б н е е могли прочитать его мнение).

Протокол о протестах против некоторых последствий прежнего порядка.

Поелику большинство голосов осталось за удержанье прежнего порядка, то приступая к изложению дела касательно выбора нового хозяина, на прежнем основании, комиссия долгом считает предуведомить имеющего быть избранным в сию должность, что имеются некоторые голоса, желающие, дабы, если

хозяин будет что-либо говорить от общества с начальством, то если бы это было и по большинству голосов, но если они не давали на то своего согласия, в таком случае в сношении с начальством исключать их поименно».

На каждую комнату назначалось двое дежурных, обязанных мыть и прибирать посуду, наблюдать за чистотою, накрывать стол, приносить кушанье, ставить самовары, разливать чай. Разливавшие чай постоянно избавлялись от обязанностей очередных дежурств. Дежурным помогали нанятые мальчишки (по одному на комнату). Всем делились между собою по-братски: деньгами и лишениями. Платьем и бельем запасались сами, но богатые покупали необходимые предметы и дарили беднейшим. Для облегчения запасного артельного капитала, предназначенного преимущественно, на столовые припасы, в товариществе нашлись готовые мастера. Переплетным мастерством и картонажем занимались Д. И. Завалишин, М. А. Бестужев и Ан. Ив. Борисов. Лучшими портными были: Павел Пушкин, Павел Мозган, Антон Арбузов. Чулки штопал лучше всех Трубецкой; лучший токарь был Артам. Зах. Муравьев, столяр — Громницкий, закройщик — Евгений Оболенский. Лучшие фуражки шили: братья Бестужевы (Николай и Михаил), Петр Фаленберг; они же вязали носки и чулки, а Ник. Алекс. Бестужев, сверх того, снабжал всю артель отличными, крепкими башмаками, для чего комендант дозволил устроить ему вроде антресолей полати с маленьким окном наверху. Здесь, подле света, этот наделенный богатыми и разнообразными талантами человек завел самую многосложную мастерскую: починял сапоги, рисовал портреты товарищей, учил шить башмаки, исполнял для дам обязанности ювелира, чинил часы дамам и коменданту, снимал виды окрестностей, точил из дерева различные подарки дамам в отплату за лакомства, занимался слесарным мастерством; разослал, между прочим, всем знакомым в России, по желанию их, железные кольца, кресты и

браслеты собственной работы из тех кандалов, которые выносили товарищи его на ногах в течение двух лет (а некоторые и долее). Кольца подкладывались золотом и вошли в Сибирь в такую моду, что требование усиливалось и в удовлетворение его объявилась подделка, началась торговля подложными кольцами.

Через своего старосту государственные преступники передавали и о своих личных нуждах коменданту: при этом почитали неприличным вмешивать начальство в свои частные дела. Староста распоряжался денежными суммами, покупал запасы, но не имел ни копейки в руках; его расходы выплачивались комендантскою канцеляриею. Он имел дозволение в течение дня ходить на кухню столько раз, сколько ему было нужно. В 50-ти шагах от тюрьмы находилась кухня и запасные кладовые. По истечении каждых трех месяцев, при избрании нового старосты, ходил по рукам лист, на котором каждый обозначал свои средства для общего расхода. На общую же пользу устремлены были все нравственные силы товарищей: все, за малым исключением, учились и учили других. Все выучились по-французски, другие по-английски; немногие занимались даже древними языками, несмотря на то, что теснота помещения, шум от кандалов, требовавший привычки, мешали отдельным занятиям. «Хочешь заняться, унесешься мыслями на родину, вдруг распахнется дверь и молодежь с топотом влетит в комнату, танцуя мазурку и брянча кандалами». Кто искал уединения для занятий, те имели летом маленькие палаточки во дворе у частокола. В предотвращение помех установлены были общие чтения и занятия: в тюрьме нашлись и на это дело приготовленные и готовые деятели. Корнилович, вместе с Куницыным, имевший свободный доступ к государственному архиву и, в особенности, успешно изучивший историю России прошлого века, в длинные зимние вечера занимал товарищей чтением публичных лекций об эпохе царствования императриц. Петр Муханов, на правах его адъютанта, разви-

вал слушателям предшествовавшие картины русской истории прежних веков¹⁰⁷. Никита Муравьев, имевший в собственной библиотеке (послужившей основанием артельной библиотеки) прекрасные военные карты и планы, читал стратегию и тактику; он же хорошо знал греческий язык. Пушкин 2-й преподавал математику, Д. И. Завалишин высшую математику, астрономию по сочинениям Лапласа каждый четверг от 6 до 8 часов, астрономию же — Вадковский, греческий язык Лунин, Оболенский и П. Борисов. Лучшими математиками были А. И. Барятинский, Е. И. Вадковский, Бобрищев-Пушкин и Басаргин. Алекс. Ив. Одоевский преподавал русскую литературу (он же немцев учил русскому языку); Фердинанд Вольф, штаб-доктор 2-й армии, читал из химии и анатомии и он же, помимо назначенного чиновного врача, был врачом не только для товарищей, но и для коменданта, для офицеров коменд. штаба и для приезжих из Кяхты, Иркутска и Нерчинска; так велика была его слава¹⁰⁸. Когда в девять часов, по положению, запирались двери казематов и тушились свечи, на место правильно организованных бесед выступали импровизированные, в содействии которых наиболее выделялся бывалый М. К. Кюхельбекер, объехавший кругом света.

Все эти чтения, весь этот постоянный обмен умственным богатством имели огромное влияние на тех из товарищей, которые прежде не имели ни времени, ни средств на развитие себя в научном отношении. Особенно резко выделился из прочих Д. И. Завалишин, изучивший, кроме греческого и латинского, еще до восьми европейских языков. В особенности он был очень сведущ в Священном Писании и, вместе с тем, с чрезвычайною энергиею стремился приобретать наибольшие познания. Для облегчения себе занятий он шел к изучению языков с помощью Библии — этого легкого ключа и всеобщего словаря; с фон дер Бригеном читал латинских классиков и переводил Тацита, с Луниным — ла-

тинских отцов церкви; с Вольфом и Ал. Крюковым (воспитанников петербургской Peter-Schule) прочел всех немецких авторов. 18 часов в сутки он употреблял на занятия, подчинив себя необычайной диете. Отрывался от учения только тогда, когда доверие товарищей призывало его к общественной деятельности. Кроме латинского и греческого языков, он знал еврейский так, что перевел с еврейских подлинников все священное писание и прочел в подлинниках всех отцов церкви и весь круг богослужебных книг. Некоторые в каземате изучили иностранные языки, как Бесчаснов, не имевший возможности выучиться им ни дома, ни в казенном заведении. Он сделался лучшим знатоком французского языка, так что к нему же обращались и те, которые научились только салонной болтовне, когда дело шло о том, чтобы правильно написать что-нибудь дельное по-французски. Некоторым удалось выучиться играть на музыкальных инструментах под руководством умелых товарищей, из которых многие оказались виртуозами: А. П. Юшневский, отличный игрок на рояле, с Вадковским, отличным скрипачом, и двумя виолончелистами, Н. А. Крюковым и П. Н. Свистуновым, составляли квартет. «30-го августа 1828 г., когда мы справляли одновременно 16 именин, наш оркестр в первый раз играл в тюрьме». Сыгрывались и учились музыке в особенном домике, с тремя отдельными комнатами, который позволили выстроить на тюремном дворе через год по прибытии в Читу. В одной комнате стояли рояль и фортепиано для аккомпанемента игрокам на флейте, чекане, скрипке и гитаре. В другой комнате поставлены были токарный и столярный станки и пресс для переплета книг к услугам искусников по этим работам (братьев Бестужевых, Борисова, Фролова, Пушкина). Переплетали книги богатой библиотеки Никиты Муравьева, дополненной книгами, привезенными следом за Трубецким и Волконским из их домашних библиотек и потом освежаемой новыми присылками. Новые книги

поступали в пользование по просмотре комендантом и с его надписью, которая нередко гласила: «читал», на греческих и латинских лексиконах, но потом была заменена более верною и близкою к делу отметкою: «видал».

В церковь водили один раз в год, в Великом посту, для причащения св. тайн¹⁰⁹ (для чего снимались кандалы). Накануне больших праздников приходил священник в тюрьму и служил всенощную. «Я никогда не забуду (говорит один из заключенных, лютеранин), как трогательно и торжественно совершена была служба в Великую субботу 1828 года, когда в 9 часов, перед зарею, раздался со всех сторон возглас: “Христос воскрес!” и когда бросились в объятия друг другу товарищи, загремев цепями. Мысленно мы обнимали в то время наших далеких родных и друзей, которых мы вспомнили в молитвах». «Некоторые (говорит Броневский, навестивший узников в Петровском каземате) стали носить бороды, не по требованиям юной Франции, а так... из смирения, и предались религиозности, употребляя свое время главнейше на молитву и хождение в церковь Божию»¹¹⁰. В Чите каждое воскресенье узники читали религиозные сочинения, оригинальные и переводные, сделанные лингвистами-товарищами; воскресный и праздничный день кончали чтением глав из Евангелия и посланий апостольских. Лучше всего удавалось церковное пение по композициям Бортнянского; пение ирмосов и тропарей встало на место пения светских романсов и песен. Религиозное настроение можно было назвать общим у всех; для некоторых выразилось крайностями мистицизма, успевшего увлечь двух дам, отличавшихся наибольшею набожностью. М. С. Лунин жил отдельно, не принимал участия в общем столе и держал пост по обычаям католической веры, в которую он перешел, служив в гусарах в Варшаве, и сделался учеником и приверженцем известного Мейстера. Одну треть комнаты его отделяла занавеска, позади которой, на возвышении в несколько ступенек, стояло освящен-

ное папою распятие, присланное ему сестрою из Рима. Днем из его комнаты доносились до слуха товарищей его латинские молитвы, но, во всяком случае, он не был ханжою и в общество товарищей входил остроумным и шутливым¹¹¹. Едва ли, впрочем, и нужны были наружные знаки и новые вещественные доказательства христианских чувств там, где подробности самого образа жизни сложились так, что старый знакомец заключенных, протоиерей Мысловский, назвал эту жизнь апостольскою и пленял ее деталями, полученными от Корниловича, всех тех жен, которые не успели отправиться за мужьями.

В религиозном отношении должная мера была определена, а в казематском опыте оправдан извлеченный из изучения истории закон, что истинная должная мера и в религии, как и во всем, не может быть результатом внешней сделки, а есть только внешнее проявление правильности внутренней силы, которая одна может определять правильность решений в приложении к данным местным обстоятельствам. Вот почему, когда мистически-фантастическое настроение так называвшей самое себя религиозной партии, усиливаясь и увлекаясь, дошло до того, что не хотело уже удовлетвориться возможностью беспрепятственного удовлетворения личной, душевной религиозной потребности, и задумана была постройка церкви внутри казематской ограды — это произвело одно из самых сильных движений в казематском обществе. После ожесточенных споров религиозная партия и ее противники пришли, наконец, к нижеследующему соглашению.

Справедливость не позволяет делать ничего, что может иметь невыгодное последствие не только для настоящих, но и для будущих заключенных в казематах. Постройкою церкви в каземате мы можем, с одной стороны, упрочить самое существование государственной тюрьмы, а с другой — лишить заключенных единственной связи с живым миром, которую теперь составляет

церковь. Но что хуже всего, мы можем дать начальству повод к полицейскому надзору в деле религии и к понуждению к лицемерному исполнению внешней обрядности, что совершенно противоречит понятию об истинной вере. Наконец, так как многие лица обвиняются прямо в том, что, основываясь на сделанных ими пожертвованиях на постройку церкви, заранее считают себя как бы хозяевами и распорядителями в ней, то это неминуемо делается источником больших неудовольствий и соблазна. А потому и будет гораздо благоразумнее пожертвовать собранные деньги на постройку новой церкви в Петровском заводе, так как настоящая церковь очень ветхая, а завод собственных средств для постройки своей церкви не имеет. Это будет истинным благодеянием для завода и для окрестных деревень. Решение это принято большинством 27 голосов против 11, и собственные деньги были отданы на новую церковь в заводе, которая и была построена без замедления.

Другое благоразумное решение общины, в религиозном отношении, относилось к присланным из Петербурга книгам религиозного содержания, для раздачи «наиболее религиозным» из заключенных. Коменданту объявили, так как религия есть дело совести, то было бы несправедливо с его стороны взять на себя определять, кто религиозен. На предложение же его, чтобы взяли «желающие», отвечали, что кто желал иметь религиозные книги, давно уж приобрел их или через родителей, или через товарищей, и ни в каких даровых не нуждается.

Наконец, когда одно из высших духовных лиц пожелало посетить каземат по обязанности «посещать темницы для утешения и участия», то просили коменданта отклонить это посещение, по самому уважению к тому духовному лицу, чтобы он не очутился в неловком положении и чтобы не вышло из этого неприятности. Комендант так и отвечал ему словами казематского общества: «В утешении они не нуждаются, и оно может показаться им смешным. В религиозном отношении они

сами знают все, что им могут сказать, а если увещания касаются политики, это может повести к спорам и неприятностям, при которых легко может нарушиться уважение к духовному сану».

Приехавшие за своими мужьями жены совершили те евангельские подвиги, подобие которым мало представляют европейские истории. Если за семью женихами не поехали в Сибирь уже обрученные с ними невесты, если к восьми другим не поехали жены, и даже некоторые вступили в брак, зато те, которые выстрадали себе право сожителства в Сибири, вступили на стезю высоких христианских подвигов и служением своим приобрели то прозвание ангелов-хранителей, которое сделалось для них общим у всех союзников. Уже в 1829 году Александр Иванович Одоевский писал в альбом кн. М. Н. Волконской (в день ее рождения 25-го декабря) стихи, представляющие в поэтической картине подвиг этих женщин и в одинаковой степени относящиеся ко всем дамам безразлично:

Был край, слезам и скорби посвященный,
Восточный край, где розовых зарей
Луч радостный, на небе там рожденный,
Не услаждал страдальческих очей;
Где душен был и воздух вечно ясный,
И узникам кров светлый докучал,
И весь обзор, обширный и прекрасный,
Мучительно на волю вызывал.

Вдруг ангелы с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны,
Но прежде свой небесный дух одели
В прозрачные земные пелены.
И вестники благие Провиденья
Явились, как дочери земли,
И узникам с улыбкой утешенья
Любовь и мир душевный принесли.

И каждый день садились у ограды,
И сквозь нее небесные уста
По капле им точили мед отрады.
С тех пор лились в темнице дни, летá:

В затворниках печали все уснули,
И лишь они страшились одного,
Чтоб ангелы на небо не вспорхнули, —
Не сбросили покрыва своего.

Первыми дамами, отправившимися за мужьями, были: кн. Екатерина Ивановна Трубецкая, урожденная гр. Лаваль, и Марья Николаевна Волконская, урожденная Раевская. Трубецкая проторила первую дорогу, по которой с неменьшею безбоязненностью прошли следом за нею и другие. На Трубецкую пали все те неудобства, которые выпадают на долю передовых пионеров. Желание ее следовать за мужем, тотчас же по его высылке в Сибирь, встретило наибольшие испытания на том главном обстоятельстве, что начальством приказано было всеми мерами стараться отклонить жен следовать за мужьями. Е. И. Трубецкую, воспитанную в роскоши при нежной любви отца (эмигранта) и матери (из богатой фамилии уральских медных заводчиков Казацких), постигли тяжелые испытания уже в Иркутске. До него добралась она среди различных дорожных неудобств: в Красноярске заболел ее проводник (секретарь ее отца), она отправилась одна; на дороге сломался дорожный экипаж, она пересела в перекладную почтовую телегу. В Иркутске она уже не нашла мужа, он был отправлен в Николаевский замок. В Иркутске ей сказали, что его скоро привезут в этот город, но никто не решился ей объявить правды об окончательном назначении мужа. Когда его привезли в Иркутск, начальство не хотело допускать свидания, и наскоро приготовили тройки. Сколько ни медлили товарищи, лошади тронулись: «В это время приехала Е. И. на извозчике, успела соскочить и закричать мужу. С. П. в мгновение ока соскочил с повозки и был в объятиях жены; слезы текли из глаз обоих. Полицмейстер суетился около них, просил их расстаться друг с другом, но напрасны были его просьбы. Наконец, однако же, последнее “прости” было сказано, и вновь тройки умчали нас с удвоенною бы-

стротою». Оставшись в неизвестности о судьбе мужа, Трубецкая обратилась с требованием дозволения следовать дальше. Иркутский гражданский губернатор (Б. И. Цейдлер) поспешил сначала представить ей страшную картину жизни среди 5 тыс. закоренелых преступников, в одной казарме, без собственной прислуги, на правах жены ссыльно-каторжного. Говорил, что «вместе с тем, она принимает на себя обязанности переносить все то, что такое состояние может иметь тягостного, когда даже само начальство не в состоянии будет защищать их от ежечасных могущих быть оскорблений от людей самого развратного презрительного класса, которые найдут в том как будто некоторое право считать жену преступника, несущего равную с ними участь, себе подобною. Оскорбления могут быть даже насильственные — закоренелым злодеям не страшно наказание». Эти страхи не смутили Трубецкую. На следующий день ей объявлено было, что она должна дать письменное удостоверение в том, что отказывается от всех прав дворянства на движимые и недвижимые имущества, принадлежащие ей теперь и могущие достаться ей по наследству; с отъездом в Нерчинск уничтожится право на крепостных людей, прибывших с нею. Трубецкая согласилась и на это. Несколько дней кряду губернатор отказывал ей в приеме, ссылаясь на нездоровье. В это время приехала в Иркутск М. Н. Волконская. «Обе соединились в одной мысли и действовали в одном и том же решительном духе, не отступая ни перед угрозами, ни перед убеждениями. Терпеливо выждав время приема, Трубецкая снова слышала от Цейдлера советы покинуть намерение. Он говорил, что заводское начальство может даже требовать от нее и личной услуги, как-то: мытья полов и тому подобного; наконец, объявил, что если так твердо ее намерение, то она может отправиться к мужу, но не иначе, как с ссыльно-каторжными, отправляемыми еженедельно, связанная веревкою и по этапам. Трубецкая приняла и это условие. Тогда Цейдлер, не сумев совладать с собою,

заплакал и объявил, что она поедет к мужу. Сам Лепарский, проезжавший в это время через Иркутск, так был тронут решимостью Трубецкой, что постарался предупредить дальнейшие затруднения для нее и для Волконской.

Трубецкую отклоняла мать, Волконскую — отец, герой 12-года (Н. Н. Раевский), страстно ее любящий. Кроме того, у нее был грудной сын-первенец. Сына оставила она у бабушки, отцу объявила, что едет только по-видаться, но в Иркутске выказала решительное намерение следовать за мужем и не усомнилась утвердить своею подписью, следом за Трубецкою, те условия, которые были ей предложены. В числе этих условий заключались, между прочим, два такого рода: «дети, прижитые в Сибири, поступят в число казенных заводских крестьян», «ни денежных сумм, ни вещей многоценных с собою взять не дозволяется; равно воспрещается им получать оные от кого-либо и впоследствии. Собственных денег они могут иметь столько же, сколько дозволено иметь и мужьям их, т. е. до 2 тыс. руб. на первое обзаведение и до 1 тыс. руб. ежегодно на содержание себя, и то не иначе, как через посредство коменданта нерчинских рудников и который будет выдавать им оные по частям по мере надобности». Кроме того, с каждой требовалась эта подписка, которую впоследствии отбирал Лепарский в Чите со всех дам, следовавших за мужьями: «Желая разделить участь моего мужа и жить в том селении, где он будет содержаться, не должна я: 1) отнюдь искать свидания с ним никакими происками и никакими посторонними способами, но единственно по сделанному на то от г. коменданта дозволению и токмо в назначенные для того дни и не чаще, как через два дня на третий; 2) не должна я доставлять ему никаких вещей, денег, бумаги, чернил, карандашей без ведома коменданта или офицера. Равным образом, не должна принимать от него вещей, особливо же писем, записок и никаких бумаг для отсылки; 3) не должна ни под каким видом никому писать и отправлять моих писем и других бумаг иначе,

как токмо через г. коменданта, равно если будут присланы через родных или посторонних людей, должна я их ему же, коменданту, при получении объявлять; 4) из числа вещей, при мне находящихся и коих регистр имеется у коменданта, я не вправе без ведома его продавать их, дарить кому или уничтожать. Деньгам же моим собственным обязуюсь вести приходо-расходную книгу и в оную записывать все мои издержки, сохраняя, между тем, сию книгу в целости. В случае востребования г. комендантом, оную ему немедленно представлять. Если окажутся вещи и деньги сверх тех, которые были мною скрыты, я подвергаюсь за противоучиненный проступок законному суждению; 5) также не должна я мужу моему присылать никаких хмельных напитков: водки, вина, пива, меду, кроме съестных припасов, да и те доставлять ему через старшего унтер-офицера, а не через людей моих, коим воспрещено личное свидание с мужем моим¹¹²; 6) обязуюсь иметь личное свидание с мужем моим не иначе, как в арестантской палате, где указано будет в назначенное для того время, и не говорить с ним ничего излишнего и паче чего-либо не надлежащего. Вообще, иметь с ним дозволенный разговор на одном русском языке; 7) не должна я нанимать себе никаких иных слуг или работников, а довольствоваться только услугами предоставленных мне одного мужчины и одной женщины, за которых также отвечаю, что они не будут иметь никакого сношения с моим мужем и вообще за их поведением¹¹³; 8) наконец, давши таковое обязательство, не должна и сама никуда отлучаться от места, где пребывание мое будет, равно и посылать куда-нибудь слуг моих по произволу моему без ведома коменданта или, в случае отбытия его, без ведома старшего офицера»¹¹⁴.

Женщины с меньшим запасом душевных сил поколебались бы, могли бы замедлить дело перепискою с петербургскими властями (сначала не было подробной инструкции для сибирских начальств), могли бы, таким образом, неблагоприятно повлиять на решимость других, но Е. И. Трубецкая и М. Н. Волконская поселились

с мужьями в Зерентуйском руднике, вытерпели недостатки во всем необходимом, несколько месяцев переносили холод и голод, довольствовались одним блюдом, сами стирали белье. В Чите положение их улучшилось: стала на людях и смерть красна. В Читу за мужем (Никитой Мих. Муравьевым) последовала третья героиня, Александра Григорьевна, урожденная гр. Чернышева. В Чите она была первой и приняла на себя все невзгоды непривычного положения, не выясненного в достаточной степени и для осторожного начальства. В России она оставила сына и двух дочерей на попечении бабушки, сменив заботу о них на заботу о муже; в Чите она была жестоко разочарована, когда комендант показал ей инструкцию, строго воспрещавшую совместную жизнь и допускавшую свидание не более часа по два раза в неделю и то в присутствии дежурного офицера. Свидание она восполняла тем, что ежедневно смотрела в окно, когда мимо ее квартиры водили мужа и брата (Зах. Григ. Чернышева) на работу. Ей было 24 года; для всех она была поразительна своею внешнею красотою, но еще более привлекла к себе общую любовь душевною красотою и своими несчастьями. «При муже она была покойна, даже весела, с целью не печалить его, но как скоро оставалась одна, то тотчас же у нее являлась тоска по детям». Через год после разлуки с ними предчувствия ее сбылись: умер единственный ее сын, а дочери растеряли здоровье в постоянной тоске и ожидании свидания. Три года строго соблюдали в Чите правила затрудненных свиданий с мужьями, и хотя в Петровском заводе они были упрощены и облегчены, но Александре Григорьевне Муравьевой-Апостоловой не долго удалось пользоваться этим правом, составлявшим главную цель последних лет ее жизни. Сделавшись беременною, она крепко простудилась, оставаясь долго на дворе, где пила чай, затем не слушалась советов Вольфа и ходила легко одетою из каземата на свою квартиру; после неудачных преждевременных родов она скончалась, оставив четырехлетнюю дочь. Потеря ее была для всех ударом; наиболее всех других она

отличалась делами благотворения, ее кошелек был открыт для всех. Когда для больных, по ее мысли и при ее помощи, прочие дамы выстроили больницу, «незабвенная и праведная» Александра Григорьевна выписала из Москвы превосходную аптеку и разные хирургические инструменты. Товарищи почтили ее память на могиле неугасимую лампадою; Н. А. Бестужев собственноручно сделал ей деревянный гроб со всеми винтами и украшениями и даже вылил свинцовый ящик, в который и был поставлен гроб.

В ту же Читку и следом за А. Г. Муравьевою прибыли Елизавета Петровна Нарышкина и Александра Васильевна Янтальцева — обе бездетные; но зато последовавшие за ними (в 1828 г.) Наталья Дмитриевна Фонвизина и Александра Ивановна Давыдова также оставили для мужей своих детей в России¹¹⁵. Обязательство это вменено было им в России на том основании, что «в законе указано на дозволение следовать за осужденными родителями детям только крестьян государственных и помещичьих и дозволение не может быть распространено на дворянских детей, как по точному смыслу законов, так и по тому уважению, что дети его, принадлежала к высшему сословию в государстве, должны получить приличное роду их образование для вступления со временем в службу. Отцы же, находясь в ссылке, не только лишены способов дать им воспитание, но еще могут подать им пример худой нравственности».

В Читку же приехала невеста И. А. Анненкова, Праксovia Егоровна, француженка модистка Полина Гебль. Перед отправкою жениха она успела снабдить его деньгами, вырученными от продажи шалей, чтобы купить ему все необходимое для дороги. Решившись ехать сама, в Вязьме она на маневрах подала просьбу императору о дозволении следовать за женихом. Государь принял ее с участием, дал разрешение и 3 тыс. рублей из собственных денег на прогоны. Через три дня по приезде в Читку она была обвенчана с женихом, с которого на время обряда сняли железа, но

по совершении его надели опять и увели мужа в тюрьму, поставив в общее положение со всеми, т. е. позволяя свидание только два раза в неделю.

Таким образом, в Чите семь женщин несли на себе тяжелый крест, добровольно ими на себя принятый, и являлись на помощь везде там, где видели на другой стороне несостоятельность сил, где замечали какие-либо уклонения в сторону от согласно налаженного пути, где предчувствиями предполагали необходимость участия или содействия. В предшествовании их, под их охраною и защитою, отправилась товарищеская семья на новое место жительства, из Читы в Петровский завод, где та же спасительная и живительная помощь с их стороны укрепилась еще более и усилилась новыми сотрудницами¹¹⁶. Когда новые казематы в Петровском заводе оказались очень темными и в них позволено было жить заключенным с женами, товарищи одного отделения говорили: «Зачем нам окна, когда у нас четыре солнца»¹¹⁷. Летом 1830 г. кончена была эта новая тюрьма, и в июле начались приготовления к переселению в нее.

ГЛАВА VII

ДЕКАБРИСТЫ (ОКОНЧАНИЕ)

Переход из Читы в Петровский завод. — Н. А. Бестужев. — Фонвизин. — Шахматы. — Дамская улица. — Жизнь в Петровском заводе. — Новый каземат. — Община и артели. — Занятия. — Обязанности хозяина, закупщика, казначея и огородника. — Выборы. — Бесчаснов. — Взносы. — Положение холостых и семейных. — Влияние декабристов на страну изгнания. — Жизнь их на поселении. — Декабристы на Кавказе. — Марлинский в Якутске. — Сгоревшие. — Занятия на поселении. — Изобретение декабристов. — Последующая судьба их, как умерших в ссылке, так и освобожденных. — Основанные ими школы. — Горбачевский. — Братья Бестужевы. — Торсон. — Всепрощение.

По предварительному распоряжению коменданта, все декабристы были расписаны на две партии. Первая должна была идти под начальством плац-майора (под-

полковника Лепарского, племянника коменданта) и под непосредственным наблюдением плац-адъютанта К.; вторую партию, через три дня после, вывел сам старик комендант с плац-адъютантом Р.

7-го августа поутру выступила первая партия, под предводительством шедшего впереди одного из товарищей в круглой шляпе, с величайшими полями и в каком-то черном костюме собственного изобретения, похожего на квакерский. «В правой руке, выше его, палка, в левой — книга, которую он читал. Другой в куртке инфанта; третий в женской кацавейке; некоторые в долгополых пономарских сюртуках, другие в испанских мантиях, иные в блузах. Проезжий француз подумал бы, что это из дома сумасшедших вывели погулять.

Это нас забавляло».

Вторая партия выступила 9-го августа поутру, в 9-м часу, тихо и в стройном порядке. «Взвод солдат в авангарде, другой в арриергарде, конвойные по сторонам: все с примкнутыми штыками и, сверх того, несколько конных казаков с пиками (и бурят с луками и стрелами); мы в середине около своих возов. Для перевозки поклажи были наняты фургоны, на которых позволялось ехать тем, у кого были раны или кто был слабого здоровья». Отправляясь в путешествие, все поспешили запастись карандашами, перьями и записными книжками для записыванья впечатлений, у большей части книжки и бумага пришли в Петровский завод безукоризненно чистыми; у других заполнены самыми свежими впечатлениями. Последние сохранили свою живость и верность у барона Штейнгеля, у Басаргина и у Розена. Последний не поленился, насколько было возможно, запастись сведениями и о бурятах и семейских старообрядцах.

Провожая ту и другую партию, народ толпился у ворот; служившие прощались и плакали, провожая до перевоза, дальше 3-х верст от селения. Ту и другую

партию провожала ненастная погода, но, несмотря на дождь и грязь, почти все шли пешком, предполагая испить чашу, не проронив ни капли. Впереди предстояло 700 верст; поход объявлен был пеший: рассчитывали на 48 дней, принимали, после тюремного сиденья, поход за прогулку.

На каждую партию полагался один выборный староста-хозяин (в первой Александр Николаевич Сутгоф, во второй Розен). Хозяева, под присмотром солдат, выезжали за день вперед, обязываясь готовить самовары, обеды и ужины. Переход на каждый день полагался в 20—30 верст. С места выходили в 3 часа утра, к 8-ми и 9-ти часам пополудни кончали переход, стараясь становиться около речек. Отдохнув, шли купаться, затем ложились пить чай и беседовать до обеда. Один из пятерых дежурил, т. е. разливал чай, убирал посуду. Обеды разносила с кухни прислуга. После обеда часа 2—3 отдыхали, а когда спадал жар, шли гулять по ароматным лугам роскошной Братской степи. Через три дня назначался суточный отдых; через 12—15 верст — на час отдых для завтрака, с рюмкою водки, куском курицы или холодной телятины; все это держали в запасе дамы, все время следовавшие вместе с партиями. На ночлегах и дневках находили бурятские юрты — конусообразные, войлочные палатки, вмещавшие в себя не более 4—5 человек; в каждой юрте полагался каморник мужчина. Все десять юрт ставили в один ряд и на равном друг от друга расстоянии; крайняя занималась командой; 11-я назначалась для офицера, 12-я ставилась поодаль для коменданта. Кругом цепь часовых, зажженные костры, сторожевая перекличка; все это делало стоянки декабристов похожими на военный лагерь. В полчаса все были готовы к походу. Проводниками служили буряты, которых исправник успел предупредить в том, что идут злые люди, знающиеся с шайтаном и зато сосланные в неволю, но не снабдил бурят необходимым: не имея ни хлеба, ни других съест-

ных припасов, они два раза в день партиями уходили в лес и там в полчаса утоляли свой голод брусникою. Во всякое другое время эти буряты исполняли должность слуг.

Пищу себе путешественники варили под открытым небом, в дождь накрывали котлы крышкою из хвороста с переплетом. Вообще, дорожное продовольствие было гораздо лучше, чем в Чите. На привалах затевались шахматы и шашки, на дневках чтение газет и книг. Читинская жизнь перенесена была на кочевку сначала по горам и долинам, потом по гладкой степи до Верхнеудинска, от Верхнеудинска по берегам разнообразной и красивой Селенги на богатые и сытые селения семейских староверов. Когда дорога от дождей испортилась, проложили другую, прорубив лес. Дорогою этою Нарышкина успела проехать в карете. На этом пространстве юрты были покинуты; стали ночевать в избах хлебосольных и тороватых хозяев. В конце пути физическое утомление взяло перевес: дамы начали выходить из терпения и мало-помалу уезжали вперед. Дорога становилась все труднее и непривлекательнее: красивая видами, стала утомлять мелкими подробностями. Впечатлений немного, развлечений еще меньше, хотя о последних временами хлопотал Лепарский, по привычке и опыту заботившийся в этом отношении о походных людях, делающих такой длинный переход. На первой половине их интересовали кочевники-буряты, на второй поразили путников домовитые и богатые староверы.

Степные впечатления начались с того, что близ станции Домно-Ключевской, в топком месте, их встретили верхами посланные тайшею буряты и перевозили их на лошадях. «Везде мосты, видна заботливость, чтобы не подмочили ног, это нас забавляло». На одной дневке привезли шамана: «но как тут был тайша сам, то он, по видимому, и не смел развернуться». Немножко поскакал, пропел «менду-менду», постучали его ассистенты

в бубны, как в лукошки, и тем этот глупый фарс кончился. Приметно, что тайша смеялся так, чтобы видели, что он шаманству не верит». Когда двое шахматных игроков (Трубецкой и Вадковский) садились за стол, их окружала толпа бурят: восклицаниями и указаниями убеждали в том, что эта игра им хорошо известна. В Домнинском зимовье Иван Александр. Фонвизин, узнав, что один зайсан из свиты тайши хорошо играет, пригласил его на партию и был побежден: бурят играл бегло и расчетливо и объяснил, что игра перешла к ним от китайцев. Переправа через реку Ону под наблюдением самого коменданта дала последнему случай припомнить и сказать, что в девяностых годах он также вел и переправлял через реку конфедератов. «Это нас позабавило дорогою». М. С. Лунин, имевший право, будучи ранен, ехать в фургоне, обил его клеенкою, спал ночью и никогда не оставлял днем; любопытство бурят не имело пределов: таинственный незнакомец не показывался и представлялся им главным преступником, рисовался в воображении их чудовищем. С меньшим любопытством встречали путешественников и в русских селениях, умея присоединять к тому вещественные доказательства сострадания и участия. Многие приносили посильные жертвы: снабжали мясом, провизиею, предлагали баню, служили чем могли и смели.

Впечатления горных местностей начались под Верхнеудинском тем, что на привале за 5 верст до города появились на дорожках тамошние дамы звать на прохожих; они же смотрели вместе с верхнеудинскими на денди с галереи, когда партия шла через город. Перед городом «прочли нам словесное приказание коменданта, как идти завтра чрез город, т. е., чтобы все были при своих повозках и не далее двух шагов; трубок бы не курили и даже в руках чубуков не держали. Солдатам же приказано не разговаривать и показывать свирепый вид. Нам это дало случай посмеяться». Перед городом встретила полиция; по возвышениям кучками толпился народ;

комендант стоял у моста в позе полководца, ведущего армию. На пути по берегам Селенги вся эта парадность была снова оставлена. «Комендант, ехавший впереди, нас оставил. Николай Бестужев дал совет хозяину с попутной мельницы, как устроить плотину. Семейские радушно нас встретили». В их селениях позволялось ходить из избы в избу, с квартиры на квартиру, но раз позволение это было отменено по случаю фельдъегеря. «Вскоре узнали, что он привез только письмо к Марье Николаевне (Волконской) вследствие ее просьбы о дозволении ехать с мужем по случаю ее беременности». «Узнали, что фельдъегерь уехал обратно, но не слышно, чтобы он привез что-либо поважнее дозволения Марье Ник. видаться дорогою с мужем¹¹⁸. Приехала она показать полученное ею письмо, мало доброго обещающее». «При выступлении из Хурауза Фонвизин сообщил подробности из газет об отречении Карла X. Это известие всех оживило. Достали где-то две-три бутылки шипучего и выпили по бокалу. Это было для нашего новоселья хорошим предзнаменованием». К заводу приближались веселыми. Дамы, уехавшие вперед, выехали навстречу мужей. При посредстве коменданта и содействии местных купцов дамы успели уже обеспечить себя в заводе постройкою собственных домов, образовавших улицу, до сих пор также носящую название Дамской.

«Дорога вела в междугорье и теснины; все как бы предвещало приближение к мрачной тюрьме, но все шли с веселым духом. На половине сделали привал». «Последние версты дорога вилась лесом, редевшим по мере приближения к Петровску; за лесом следовала опушка — кустарники — и болото; на севере и востоке потянулись высокие горы. В глубокой долине нам показала большая деревня: церковь, фабричное строение с многочисленными трубами, ручей и позади его красная крыша тюрьмы: неуклюжее здание на каменном фундаменте, выстроенное в форме виселицы с большим

количеством кирпичных труб; стены же были без окон... Остановились, чтобы дать солдатам надеть ранцы. Мы с пригорка смотрели на нашу будущую обитель, и — шутили! При вступлении в завод множество народу высыпало нас смотреть. Нас встретил заводский полицмейстер и поехал вперед. На заводском мосту, под которым надо было проходить, стояло также множество зрителей, чиновниц и чиновников, с любопытством на нас зевающих. У дома Алекс. Григ. (Муравьевой) наши дамы вкупе ожидали своих мужей¹¹⁹. Весело вошед в стены своей Бастилии, бросились в объятия товарищей, с которыми 48 дней были в разлуке; сделали 31 переход и 15 было дневок».

«Вскоре нас разместили. Мы вступили в тюрьму, как в преддверие гроба, но сердца были спокойны, душа тверда. Товарищи рассказывали нам, что им, по вступлении сюда, читали правила о порядке, какой впредь будет здесь наблюдаться. Правила возбудили между нами всеобщий хохот и все твердили: “от запертия до отпертия”, а поэтому, вероятно, нам никаких правил уже не показывали. Не только мы, но даже солдаты смеялись тем наставлениям, которые им читали на гауптвахте. Во всякое отделение дали по сторожу из солдат. Совершенно темные номера, железные запоры, четырехсаженный тын, не допускающий ничего видеть, кроме неба, должны были ужаснуть каждого, но таково следствие привычки, — мы были равнодушны ко всему. Я вспомнил зайцовского ямщика, который в 1819 году, подъезжая к Бронницам, на вопрос мой: “Начинают ли военнопоселенцы привыкать к новой своей жизни?” — отвечал: “Да, батюшка барин, велят, так и в аду привыкнешь”. Как сильно и как справедливо! Я тогда не воображал, что опытом узнаю истину сей русской остроты. Могу ли предугадать, что еще вперед испытать предназначено?.. да будет воля Твоя!..»¹²⁰.

Балегинский Петровский железный завод окончен был постройкою в 1789 и в первой половине настоящего столетия представлял людное селение, оживленное ссыльными рабочими всякого рода, которые тянули проволоки, ковали шинное железо, отливали разные железные вещи. Стояла еще при заводе пыльная мельница с водяным приводом, но стояла несколько лет без всякого дела, ибо механизм испортился и все считали его уже вовсе неисправимым. Но прибыли новые жильцы, в среде которых нашлись два замечательных механика: Н. А. Бестужев и К. П. Торсон, съездили на мельницу, посмотрели и, через несколько часов, к удивлению чиновников, мастеров и фабричных, мельница начала пилить снова. Эта мельница и сама железная фабрика остались в стороне и вне других прав и влияний новых пришельцев: тут и там работали каторжные, сосланные не за государственные преступления. Для них и тюремное помещение издавна существовало особо. Для новых заводских обывателей выстроена была новая ручная мельница, наподобие читинской, и новый каземат, имевший вид покоя (П). На такой же точно сырой и болотистой почве, на которой приладилась новая *Дамская улица*¹²¹, на самом низменном месте всей той впадины между горами, в которой поместился завод, выстроено было одноэтажное здание с кордегардиями на главном фасае. В стенах кордегардий были узенькие щели бойниц, сквозь которые выстрелы предполагались быть перекрестными. Эти кордегардии, выдвинутые несколько вперед главной линии, имели по обеим сторонам амбразуры, через которые предполагалось обстреливать разом оба фаса здания на случай побега заключенных.

В середине главного и переднего фаса помещалась единственная гауптвахта и был единственный вход в казематы. Крытые ворота приводили на двор прямо к особому зданию с кухнею, кладовою и обширною столовою. Вся внутренность двора, обстроенная с трех

сторон зданием казематов и забранная с четвертой тыном¹²², представлялась разгороженной такими же отвесными бревнами на 8 отдельных дворов с особыми воротами. На эти дворы выходили двери 12-ти отделений каземата прямо из коридора, на который вели двери уже из самых 64-х номеров. К каждому отделению принадлежало пять номеров. Таких отделений было 8 с 5-ю комнатами, в 4-х отделениях (угольных) было до 6 комнат, выходивших в общий коридор своего отделения. Следующие пять номеров, образующих соседнее отделение, отделялись толстою капитальною (деревянною) стеною с тяжелою дверью, которая запиралась уже четырьмя замками. Ключ от дверей отделений хранился у коменданта и эти двери отпирались только перед ним и другими влиятельными лицами (как Сулима, Броневский, адъютанты военного министра и пр.); тогда все здание можно было обойти кругом — коридор прерывался только караульною и воротами. Отмежеванный для каждого отделения внутри двора небольшой четырехугольный дворик, забранный тыном, преследовал ту же мысль отделения товарищей друг от друга. Здесь, однако, узники успели завести зайцев, коз, журавлей. Как по отделениям в коридорах могли видаться только жильцы пяти соседних номеров, выходивших дверями в коридор, так точно на внутренних двориках встречались жильцы или того же отделения, или трех соседних. Таким образом, для четырех отделений 1, 2, 11 и 12 (считая с последнего из боковых) были особые дворы; для 3, 4, 5 — один общий, для 8, 9 и 10 — тоже общий, а для двух средних (6 и 7), находившихся по бокам входных ворот, один большой двор, общий с кухонным строением. Каждое отделение, не общаясь с другим в коридоре, имело особый вход со двора, по единственной лестнице, поднимавшейся с дворика и приводившей в коридор отделения, имевшей сажени $1\frac{1}{2}$ ширины, и сажень 5 длины. Коридор был теплый — из него топились печи (одна на два номера).

Каждая келья имела 7 шагов длины и 6 ширины (угольные номера были побольше; срединные, шедшие по фасу — меньше, но одинаковой величины между собою). Кельи были высоки, казались просторными, когда на каждую назначалось по одному человеку, но имели тот недостаток, который сначала неожиданно и мучительно поразил пришельцев: кельи были почти вовсе темны, получая свет из коридора через решетчатое стеклянное оконце над дверями. В светлый день нельзя было не только читать, но и разобрать цифры на часовом циферблате. К тому же близилось время зимнее и осеннее, обязывавшее или сидеть впотьмах, или жечь свечи целый день; некоторым приводилось прожить таким образом еще 12 лет срочных, назначенных приговором. Комендант, внедряя жильцов, входил в номер, запирали дверь, вынимал бумагу, читал и говорил: «Очень темно!» Когда ему возражали, что можно привыкнуть, он настаивал на своем «очень темно» и настоял фактически в представлении своем, посланном в Петербург. В представлении этом он выставил опасность умопомешательств и простодушно уверял, что есть уже и замечена некоторая склонность к тому. До времени разрешения он дозволил отворять в коридор двери и приставлять к дверям столы для занятий. Некоторые ухитрялись, как Н. А. Бестужев, пристраивать подмости, чтобы воспользоваться скудным количеством света, достигавшего из окна коридора через наддверную скважину, называвшуюся окном. Такие подмости прилажены были всеми, кто желал заниматься. В коридоре с обыкновенными окнами, обращенными на улицу, было светло, но зимою стало невыносимо холодно; начали заниматься в номерах при свечах, и в течение зимы многие успели расстроить зрение и прибегнуть к помощи очков. Читинские дамы, влиятельные в Петербурге своими связями, написали о темных жилищах к родным; комендант, со своей стороны, прибавил начальству, что темнота в камерах расслабляет

здоровье и предрасполагает к меланхолии. В апреле 1831 года вышло разрешение прорубить окна. Объявлено было всем собранным заключенным, как о милости, чрез военного министра (Чернышева) и, между прочим, напоминали о первой милости: о кандалах, снятых в Чите. Окна прорубили под крышею наружного фаса так высоко, что человек большого роста (как Якубович) мог видеть одно только небо. В казематах происходили почти в продолжение целого года беспрестанные поправки: многие печи пришлось сломать и сложить новые. Наскоро сложенное здание, от сырости и неумелой постройки, село по углам, сделав угловые номера и соседние с ними холодными, неудобными для жилья. От дурной постройки (вследствие воровства) стены состояли из коротеньких обрубков. Был случай, что один такой обрубок руками вынули совсем из стены; стены коридора вспучились наружу; ничем не отделенные от печей, некоторые стены не раз загорались. Вместо одного стали жить в номерах по двое (братья Андрей и Петр Ивановы, Борисовы, Бестужевы, Беляевы, Крюковы). Основание распределения вышло от самого казематного общества, которое настояло на отмене расписания коменданта и требовало предоставить самим разместиться по справедливости. Поместили по двое тех, которых сроки были меньше и которым, стало быть, недолго приходилось переносить неудобства помещения вдвоем. Старший разряд весь жил поодиночке. Когда начали штукатурить коридор и казематы, то привелось жить еще более в стесненном положении. Прежде в каждом номере полагались в одном углу нары, — теперь и другой угол был стеснен этим неудобным ложем; в третьем углу добавляла тесноту печь. Железные решетки новых окон ослабляли свет и не давали его в желаемом и необходимом количестве. Товарищи считали для себя стеснение обязательным и приятным лишь на то время, когда дамам позволено было жить с мужьями в казематах. Женатые стали жить в

двух номерах; зато по вечерам устраивались семейные беседы. Это продолжалось около года. Когда начались переделки, дамы выбрались и мужья с ними. Дамы уже не приходили в тюрьму; мужьям дозволено ходить, когда пожелают, и только ночевать должны были в камерах. Под конец разрешено постоянно жить с женами на квартирах, и женатые даже ночевать не приходили в тюрьму: сначала Нарышкин, жена которого занемогла простудною горячкою, потом Ник. Муравьев, который сам занемог гнилою горячкою. Дамы страдали неволею: одна рассыпанный бисер разных цветов подбирала цвет к цвету в разные коробочки и приводила теньями в порядок от мучительной скуки. Летом в надворных садиках устроили дорожки, по которым можно было гулять во всякую погоду; развели гряды с огурцами; к наружным дверям коридора, вместо лестницы, приладили насыпь с откосами, покрытыми булыжником. На среднем дворе отгорожено было место для сада, но сад никогда не был засажен. В большой комнате у кухни, назначенной для богослужения, скоро прилачился читинский клуб, с тем же удобством переносимый на мельницу. В Петровском заводе страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого почти настольными книгами. Из современных писателей наибольшим уважением пользовался Бальзак. Библиотека состояла из ученых книг, специальных журналов и сочинений. На мельнице по-прежнему зимою продолжали вымалывать несколько фунтов такой муки, которая потом никуда не годилась, а летом прокладывали дороги и занимались огородничеством. Столярная установилась по-старому¹²³. Торсон приготавливал модели машин: пильной, жатвенной и молотильной. Кроме того, изготовлялись стулья, столы, кресла, комоды сколько для себя в номера, столько и для дам, на квартиры. В номерах у братьев Борисовых собиралась ботаническая коллекция сибирской флоры, начатая в Благодатском руднике, дополнявшаяся в Чите и обогащенная

экскурсиями по Братской степи и по дороге из Читы в Петровск. У Андр. Ив. готовилась энтомологическая коллекция, возбуждавшая собою впоследствии в Москве серьезный интерес у специалистов; Петр Ив. составил коллекцию рисунков забайкальской флоры и орнитологии. Снятием видов занимались М. А. и Н. А. Бестужевы, а П. И. Фаленберг производил топографические съемки и сам сделал для этого планшет. Андреевич в своем номере написал масляными красками огромный запрестольный образ для читинского собора. Занятие литературою можно считать одним из основных и любимых; в каземате жили признанные поэты (Одоевский), известные авторы и издатели журналов (Корнилович — издатель журнала «Русская Старина», Лунин, Бестужев, Кюхельбекер и др.). Большая часть явилась сюда литературно подготовленною с любовью к ней и знанием (И. Д. Якушкин, случайно встретившись с А. А. Бестужевым в Иркутске в бане, несколько минут случайного свидания посвящает разговору о вышедших тогда «Цыганах» Пушкина). На досуге, под влиянием товарищей и впечатлений заточения, обратились к литературным занятиям даже и те, которые считали до тех пор это дело для себя чуждым и посторонним и на свободе ничего не писали. Авторство успело увлечь многих, и свидетельство о том мы встречаем почти в каждой из завещанных узниками записке, — относящихся, разумеется, к тому времени, когда в Петровском каземате окончательно отвоеваны были чернила и бумага. П. С. Бобрищев-Пушкин, при глубокой вере сохранивший до конца жизни светлый и многосторонний ум, писал остроумные басни и переводил псалмы и послания апостольские; Ивашев написал эпос «Стенька Разин»; Одоевский писал песни, послания и проговаривался остроумными эпиграммами; Лунин — критические статьи, а многие другие узники — воспоминания о прожитой жизни и о событии, увлекшем в заточение. М. А. Бестужев написал целый ряд морских повестей,

из коих самые лучшие — по его свидетельству — были сожжены Мухановым при домовом обыске полиции на поселении, по доносу одного чиновника. М. А. Бестужев написал «Записки моряка» и критические статьи, между которыми выдается своими достоинствами разбор книг Н. И. Тургенева, сохранившийся в письмах к С. Г. Волконскому.

Константин Петрович Торсон, на свободе до ссылки составивший проект о преобразовании флота, также восстанавливал свои воспоминания о морском путешествии и впечатлениях в литературно отделанной форме. «Житье в Петровском заводе была самая цветущая эпоха стихотворений, повестей, рассказов и мемуаров», — свидетельствует М. А. Бестужев в своих записках.

В это же время изготовлен был тот существенный и весьма важный труд политической исповеди в объяснение целей и намерений, послуживших причиною 14-го декабря. Этот самый важный литературный труд, т. е. описание событий, относящихся к роковому дню, составлен был по словесным и письменным свидетельствам всех казематских узников. Все это в готовом виде передано было М. С. Лунину, который хотел переслать сестре и через ее посредство напечатать за границей, а копию должен был хранить. Эту копию переписывал Громницкий и зарыл ее где-то в лесу. Но Лунина посадили в Акатуй, Громницкий скоропостижно скончался, а с ним умер и секрет, где была зарыта его рукопись. Хотя многие после и надували заключенных, выпрашивая деньги, чтобы указать место, но все-таки дело уже было навсегда потеряно. Н. А. Бестужев вычислениями додумывался до усовершенствования хронометра с ничтожною девиациею (но привел свою мысль в исполнение уже в Селенгинске — на поселении). «Командант любил нами хвастаться перед приезжими и обыкновенно возил их на гору, с которой можно видеть расположение казематов». Когда приехал из Петербурга адъютант военного министра и расспрашивал

обо всем, что делалось, особенно о содержании в казематах, хитрый старик «очень ловко предложил ему сообщить самые верные сведения об нас и наших женах и тем прекратил тайные розыски». Генерал-губернатора Броневского (как младшего чином) даже и не провожал он сам по казематам, поручив это дело плац-майору. «Генерал-губернатор заходил в иные номера, а в другие только заглядывал с тем любопытством, с каким обыкновенно заглядывали в железные клетки посетители, осматривающие никогда не виданный ими зверинец». Тем не менее Броневский написал в записках своих такие строки: «Замок — деревянное квадратное строение с обширным двором, имеющее с внутренней стороны галереи, а с внешней — комнаты преступников, для каждого по одной. Сообщение их между собою, прогулки в галереях и на дворе — свободны. Стол из общей артели сытный. Платье не скудное, у всякого по состоянию; у некоторых убранство комнат весьма пристойное». Так как Лепарскому трудно было прожить в глуши свое содержание, то он употреблял его на устройство сада, в видах общей пользы. Сад занимал большое пространство, украшался быстрою речкою; дороги, мосты, беседки с затейливым разнообразием, капризы, гrotы и цветники были роскошные. Не пожалели ни денег, ни искусства, в котором нет там недостатка, и все это единственно для одной прогулки всем и каждому. Хозяйственной расчетливости от садов сибирских, где не родятся никакие фрукты, быть не может. Еще и та беда, что старик гулять не мог по слабости ног. «Он проезжал иногда верхом по дорожкам и радовался, видя, что другие у него гуляют». Комендант и при ухудшении тюремного помещения не изменил и не ухудшил своих отношений, посещал нередко и обращался вежливо; «никогда не войдет в затворенную комнату, не постучавшись и не спросивши позволения». «Все просьбы исполнял с удовольствием, и если был недоволен каким-либо поступком, то никогда не выговаривал виновному,

а принимал какую-нибудь общую против всех меру, чтобы дать знать виновному, что он вредит не только себе, но и товарищам. Плац-майор ежедневно обходил и принимал просьбы — обыкновенно выйти куда-нибудь из замка, — и не только был ласков; но и почтителен». «Работы были не утомительны и очень часто прекращались на месяц и на два под самыми пустыми предложениями: или по случаю мороза, сильного жара, дурной погоды или эпидемии».

При гарантиях извне, обеспеченное уже многими завоеванными правами, читинское товарищество, успевшее хорошо спознать друг друга, в Петровском заводе устремилось на развитие внутренней силы своей общины. В читинской жизни, сплотившей всех в одну семью, было то главное неудобство, что беднейшие товарищи становились в зависимость от богатых и, не имея своего, они все нужное получали от других до тех пор, пока эти получения не задерживались, пока не виделось иных средств для выхода. Возникли неудовольствия, образовался кружок протестовавших, видевших, что общинному устройству с равномерными правилами для каждого грозит опасность подчинения небольшому кружку аристократов, их произволу. По сохранявшимся долгое время письменным документам, которые нам удалось видеть, оказывается, что развитие общественного устройства в казематском обществе, насколько это развитие выражалось во внешних актах, происходило следующим образом. Сначала, под влиянием горячего чувства и соответственно тем внешним условиям, в которых находились заключенные, все было общее. Иначе, впрочем, и быть не могло, когда и женатые, и богатые жили в одной комнате со всеми остальными. Никакое отдельное пользование не было тогда и возможно. Посылали ли жены мужьям кушанье, негде было его есть особливо, некуда было даже поставить, как на общий стол. Присылались ли вещи, их выдавали в присутствии других. Приносили ли книги и газеты, их и читать было

невозможно иначе, как всем вместе. Нельзя было ничем пользоваться отдельно от других, потому что и неловко было выказывать свое преимущество, находясь постоянно с другими, когда их лишения кололи бы глаза привилегированным. Понятно, что при таком общем владении никакое особенное и определенное устройство не казалось нужным, а всякое сомнение в прочности дружеского чувства считалось оскорблением обществу.

Однако и с самого начала были люди предусмотрительные, которые считали нужным установить какие-нибудь правила, во-первых, для упрочения самого дружеского чувства удалением и предупреждением всех поводов к искажению отношений между товарищами. С другой стороны, это было необходимо и с точки зрения экономической, потому что общее пользование было самое безрасчетное и ставило, от недостатка предусмотрительности, в зависимость от случайности не только прочное обеспечение выходящих на поселение, но и удовлетворение самых настоятельных потребностей самого казематского общества. Не раз случалось, что и самые богатые были без гроша, а огромные запасы терялись от расхищения прислугой. Несмотря на это, мы увидим, как долго продолжалось сопротивление всем попыткам к переходу от патриархальных, так сказать, отношений к положительно выраженным постановлениям, потому что и казематскому обществу, по наблюдению одного из его участников, неизбежно было пройти все фазисы, которые проходит всякое живое, саморазвивающееся общество.

Первый повод к проявлению общественной деятельности в осязаемой, так сказать, форме, в приложении ко внутреннему устройству, подало одно необдуманное действие одного из хозяев, бывших вначале. Надо сказать, что при назначении первого хозяина не имелось в виду более чем наблюдение над кухнею, бывшею до тех пор в заведовании унтер-офицера, и где нечистота и расхищение припасов дошли до крайней степени.

Поэтому не было даже никакого правильного выбора, а назначение сделано было приветственным восклицанием, как бывает в начале развития всякого общества. Никакого другого поручения на хозяина и не возлагалось; это не был даже староста, как у простых ссыльных. К сожалению, первый хозяин неосторожно принял на себя передачу обществу приказания коменданта, относившегося ко внутренним распоряжениям общества. Общество встревожилось, видя приближавшуюся опасность вмешательства во внутренние дела. Решено было составить комиссию, которая рассмотрела бы и обсудила действия виновного хозяина и предложила бы меры к предупреждению подобных случаев в будущем. Вполне понятно, что при этом случае возникли все обычные вопросы по отношению к праву голоса, к порядку выбора, к правам комиссии и пр. и пр. В комиссию выбраны были с правом двух голосов: Д. И. Завалишин за комнату «Москва» большого каземата и каземат № 2 и Н. Бестужев, за две малые комнаты большого каземата, и с правом одного голоса; Муханов за каземат № 3, А. Беляев за комнату № 1 и Игельштром за комнату № 5. Комиссия же избрала председателем Д. И. Завалишина и секретарем Петра Ал. Муханова.

Но едва была назначена комиссия, как произошла реакция на возврат к патриархальности. Люди, которые обыкновенно благодушествуют по отношению ко всему, начали говорить: к чему все это? Другие осмеливали «эту игру в конституцию»; третьи опасались создания какой-то судебной власти и говорили, что достаточно для ограждения в будущем нравственного урока, который получил один из первых хозяев. Поэтому, когда комиссия, по рассмотрении и обсуждении дела, предложила или уполномочить ее, или созвать новую комиссию для составления некоторых правил, то община большинством 32-х голосов против 20-ти решила все оставить по-старому. Однако же председатель комиссии успел заявить, и комиссия единогласно

приняла его заявление, что «необходимо установить положительные правила, как для пользования всем в каземате, начиная от денег, пищи, одежды и проч. до книг и газет, так и для обеспечения выходящих на поселение и состоящих на поселении, а для распоряжения всем этим назначить должностных лиц, со строго определенным кругом действия».

Между тем, изменение внешних условий и положения происходило в таком виде, что вело неминуемо к усилению до очевидности мало замечаемых прежде злоупотреблений общего пользования и личных отношений. Прежде всего определилось положение женатых, которых стали отпускать в дома их жен и которые нашли там возможность пользоваться отдельно своими богатыми средствами и менее замечать недостаточность и нужды товарищей, которые не кидались уже им в глаза, потому что не имели их постоянно на виду. Потом стали давать позволение (под предлогом уменьшения тесноты) богатым строить отдельные домики внутри казематской ограды, что допустило также пользование своими средствами отдельно от товарищей и, кроме того, образовало кружки около привилегированных личностей. Наконец, с переходом в Петровский каземат, — когда каждый, получив отдельную комнату, мог следовать своим привычкам, и стали вставать, ложиться, пить чай и обедать когда кто хотел, — рушились сами собою, мало-помалу, и общий чай и общий стол. С другой стороны, когда можно было уже и не видеть товарищей и иметь предлог, что не знают их нужд, пособие богатых бедным деньгами и одеждою зависело уже от прямой просьбы бедных, причем, разумеется, более всего терпели наиболее деликатные. Самое пользование журналами и книгами дошло до того, что у иного накоплялись целые груды их, которых ему за другими развлечениями некогда было и читать, а другие по целым неделям не могли достать ничего, подвергаясь неприятности ходить выпрашивать и слышать неприятный ответ, что сам-де еще не читал.

Между тем, тюремное заключение лишало недостаточных возможности извлекать средства из своего труда и искусства, а было очевидно, что 1 рубля 98 касс. деньгами и пайка 2 пуд. муки в месяц недостаточно для пищи и одежды. Следовательно, оставалось одно из двух: или найти определенное обеспечение всем внутри себя, или требовать содержания и одежды от казны. Но последнее обсуждалось как унижительное, а всякое принуждение богатых к определенному взносу в общину представлялось как посягательство на собственность. Из такого положения не было, по-видимому, никакого выхода, и раздражение между богатыми и не имевшими ничего дошло до крайней степени.

Тогда стало очевидно, что средство соглашения может выйти только от таких лиц, которые независимы по своему положению, или так называемой средней партии, т. е. от таких, которые получали столько от родных, сколько необходимо было для них самих. Они не нуждались, следовательно, в пособии других, но и сами могли уделить другим, разве только лишая уже самих себя необходимого. Они, стало быть, не могли ни выиграть, ни проиграть ни при каком устройстве, а потому и могли быть беспристрастными судьями и посредниками. И действительно, от таких людей и вышло удовлетворительное разрешение вопроса.

Иван Семенович Повало-Швейковский, Александр и Николай Александровичи Крюковы, Александр Иванович Вегелин, жившие в одном отделении с Дм. И. Заваляшиным, а также некоторые другие пришли к последнему с просьбою отложить на время свои ученые занятия и, взяв общественное дело в свои руки, отыскать справедливое основание для общего соглашения.

Для человека беспристрастного найти его было не трудно. Таким основанием представлено было им следующее: так как, по общему правилу, правительством допускается получить одиночному только 500 р., а женатым только 2тыс. р., сверх же этого

позволяется получать более только под условием, что это назначается для вспоможения товарищам, не имеющим ничего от родных, то это вспоможение является уже обязательным и нет никакого посягательства на собственность в требовании обязательного взноса¹²⁴. Если же они не желают употребить получаемое сверх положения на вспоможение товарищам, то не имеют и права делать предлог для получения излишка из такого действия и условия, которое ими не исполняется. Потом, в случае отказа их, не имеющие ничего имеют право объявить коменданту, что не получают вспоможения от товарищей, и требовать казенное содержание.

Как ни ясно было дело, получившее такое выражение, но и тут сначала выказалось, с одной стороны, сильное сопротивление, а с другой — нерешительность; прежде возбудили сильную бурю и поспешным удовлетворением некоторых из наиболее шумевших неимущих успели отвлечь от настоятельного требования казенного содержания. Но справедливость высказанного основания для решения дела до такой степени была очевидна, необходимость прочного соглашения и обеспечения, которым обуславливались спокойствие общины и душевное состояние каждого, были до такой степени настоятельны, что после некоторого кратковременного колебания сделалось слишком ясно, что дело никак нельзя отлагать надолго. Проникая постепенно в убеждение высказанного выше основания, пришли, наконец, к избранию комиссии для составления устава артели. В комиссию были избраны между прочими: Д. И. Завалишин, П. С. Бобрищев-Пушкин, Пав. А. Муханов, А. И. Одоевский и др. К ней присоединили, для объяснений по части хозяйства, очередного в тот год хозяина. Делопроизводителем комиссии был избран Дм. Ив. Завалишин. Заседания комиссии были публичны и привлекали огромное число слушателей не только из товарищей, но даже из дам и из служащих. Сам Лепарский два раза слушал рассуждения, заходя

в залу, где собиралась комиссия, и останавливаясь мимоходом за ширмами¹²⁵.

Комендант до такой степени испугался доведения до правительства требования казенного содержания и, следовательно, допущенной им неправильности в получении излишних денег на пособие товарищам (которое не производилось и, таким образом, только обманывалось правительство), что сам всеми средствами ускорил установление внутреннего устройства добровольным решением. Он не только официально дозволил употребление бумаги, чернил и перьев для занятий комиссии, но и разрешил ночные заседания ее в общей зале.

Комиссия занималась буквально без отдыха и быстро окончила свое поручение. Когда устав был составлен и подписан членами комиссии, все собраны были вечером в общую залу, где он и был прочитан членами комиссии. Устав не подлежал голосованию и получил окончательную силу от комиссии. Общее примирение отмечено было празднеством, продолжавшимся всю ночь.

На другой же день произошли выборы должностных лиц на основании нового устава¹²⁶.

Когда, таким образом, каждый член общины получил обеспеченные денежные средства, то можно было приступить к устройству учреждения для обеспечения выходящих на поселение, вроде страхового общества. Поэтому вскоре после учреждения общей артели, для обеспечения на время пребывания в каземате, Дм. И. Завалишин, Ив. Ив. Пущин и Петр Ал. Муханов учредили артель для обеспечения на время поселения. Эта артель обыкновенно называлась малою, для отличия от общей, получившей с тех пор название большой. Желаящие участвовать в малой вносили известный процент с получаемых ими денег, за что им обеспечивалась выдача известной суммы при отъезде на поселение. Капитал малой артели увеличивался, кроме того, пожертвованиями и коммерческими оборотами,

составляя ссудный банк. Записки должностных лиц обеих артелей имели в заводе значение кредитных билетов.

Наконец, для введения правильности и справедливости в распределении чтения газет и журналов, Д. И. Завалишин, Мих. Фотиевич Митьков и Сергей Гр. Волконский составили журнальную артель. Желающие участвовать в чтении вносили ежегодно определенную сумму, на которую делалась общая выписка и, сверх того, доставляли в артель журналы, получаемые иными на собственное имя. Выписываемые журналы и газеты артелью доставлялись немедленно по получении с почты к распорядителю чтения; получаемые лично — через известный срок. В чтении наблюдалась очередь, а в распределении соблюдалось, чтобы очередь чтения разных газет началась с разных лиц, чтобы доставить чтение разом большему числу и чтобы разные журналы не пришлось в одно время одному и тому же лицу. На чтение газеты определялось два часа, для книжки журнала назначалось два дня; можно было просить выдачи по прочтении всеми. Газеты и книжки пришивались к папке, к которой пришивали и список очереди. В получении расписывались; распорядителем чтения был избран Д. И. Завалишин. Он, для скорейшего удовлетворения любопытных, тотчас по получении газет приносил их в общую залу и, пока составлялись списки и производилась пришивка, позволял всем просматривать газеты. Случалось, что если находили в какой газете что-либо особенное, то отправлялись гурьбою к тому, с кого в тот день начиналось чтение этой газеты.

Большая артель так верно обеспечила материальную жизнь и так хорошо была придумана, что «никто во все время не нуждался ни в чем и не был ни от кого зависим». «Каждый становился на свое место; артель нравственно уравнила тех, которые имели средства, с не имевшими таковых, и не позволяла первым смотреть на товарищей, как на людей низших. Все это делалось с

ведома коменданта и было им одобрено. Артель установила, прежде всего, общий стол; обедать в назначенную столовую не ходили: обедали по отделениям в коридоре; сторож прислуживал и тут же кормился и сам. Женатые, не имея права на общий стол, получали кушанья из квартир жен и гораздо лучше и более разнообразные¹²⁷. Богатые дамы могли снабжать отъезжавших товарищей такими дорогими винами, как венгерское и токайское, и притом хорошо выстоявшееся в петербургских погребах богатых и роскошных домов.

Так как при первоначальном начертании постановлений для артели служили теоретические соображения, время же и опыт показывали, до какой степени последние согласовались или не согласовались с возможностью и удобством исполнения, то товарищеская община несколько раз принуждена была изменять и дополнять артельные правила. В основание устава артели положены нижеследующие поводы и причины:

«Опыт нескольких лет убедил нас в необходимости иметь всегда налицо определенную сумму денег, которая могла бы служить как для обеспечения общественных потребностей, так и для удовлетворения потребностей каждого лица. Положительное назначение суммы на наступающий год, во-1-х, доставляет хозяину возможность располагать ею с большею выгодой для артели и сделать годовые и срочные закупки; во-2-х. может некоторым образом отвратить затруднительное положение, в каком артель и каждый участник иногда находились в замедленной присылке денег». Для этой цели составлялась годовая общественная сумма (§ 2) подпискою на взносы (§ 3), жалованьем от казны, суммою от продажи экономической муки; подписка оканчивалась (§ 5) к 1 февраля.

Сумма из 500 руб. (§ 5) принята необходимою на полное годовое содержание (и не было ни одного года, в который бы не доставалась каждому члену артели вся эта сумма сполна). На основании этого правила подписка производилась трояким образом: 1) все участники,

получающие 500 р., подписывали их сполна; 2) получающие менее отдавали все присылаемые им деньги; 3) получающие более подписывали непременно 500, а свыше этой суммы по желанию. На практике последнее исполнялось так, что получавшие более 500 р. вносили в $1\frac{1}{2}$ —2 раза против получаемого из артели: кто 800, а кто и тысячу руб. Женатые ничем не пользовались из артели и, между тем, подписывали значительные ежегодные взносы: Трубецкой от 2 до 3 тыс., Волконский до 2 тыс., Муравьевы от 2 до 3 тыс., Ивашов, Нарышкин и Фонвизин до 1 тыс. При подписке (§ 6) означались вероятнейшие сроки взносов.

Подписная сумма обращалась в действительную следующим образом: 1) Подписавшие 500 руб. и менее вносили деньги немедленно по получении; подписавшие больше вносили, если возможно, в срок, ими назначенный (§ 7). Сложность общественной суммы разделялась на три части: хозяйственную, частную и экономическую. Хозяйственная сумма, предназначавшаяся на продовольствие всех участников артели (§ 8), определялась (§ 9) наибольшим количеством денег, назначаемых на годовое продовольствие одного лица, помноженным на число потребляющих лиц, и обращалась (по § 16) единственно на хозяйственные закупки. Частная сумма, следовавшая на удовлетворение потребностей отдельного лица, составлялась (по § 10) из остающейся от определенной на полное годовое содержание по вычету всей хозяйственной суммы, делилась (по § 17) на равные участки по числу лиц, состоящих в артели, и поступала навсегда в неприкосновенную собственность каждого участника. Экономическая (§ 11) составлялась из 5% общей суммы, немедленно отделяемых по переводе денег из собственности подписчиков в общую сумму. 2) Из избытка действительной суммы, определенной в полное годовое содержание артели; и 3) из экономии хозяйственной суммы. Экономическая делилась на закупную и запасную. Первая (§ 12) определялась

из 5% подписной, из половины избытка действительной суммы над определенною на годовое содержание и из половины экономии хозяйственной суммы. Запасная выдавалась заимообразно на хозяйственные обороты и должна была состоять в наличности к 1 февр. каждого года; она образовалась из другой половины избытка действительной суммы над определенною на полное годовое содержание и из другой половины сбережения хозяйственной суммы. Запасная назначалась для выдачи отъезжающим из острога на поселение, а потому всегда была в наличности¹²⁸.

Всякая подписная сумма, поступившая в наличность, становилась безвозвратно общественною собственностью (§ 13). По поводу разделения всей общественной суммы, артельный устав говорил: «§ 14. Разделение наличной суммы общества бывает правильным и неправильным. Правильное должно быть соразмерно определенному в смете годовому разделению сумм, а именно на 32 части (по исключении 5% в экономическую сумму), 237 руб. на каждого участника в хозяйственную и 248 в частную (плюс 80 коп. в частную же). Неправильное разделение есть несоразмерное годовому разделению сумм. § 15. Если на удовлетворение хозяйственных потребностей достаточно будет суммы, отчисляемой по правильному разделению, то оно и должно быть правильно; если же недостаточно, то в таком случае оно становится неправильным и производится сообразно с таблицею, составленною на текущий год».

Годовое управление и обороты общественных сумм зависели от двух комиссий: временной, дававшей суммам годовое направление, т. е. утверждавшей смету, составленную хозяином на наступающий хозяйственный год (с 1 марта по 1-е марта), и постоянной комиссии, наз. хозяйственной, которая заведовала распределением и движением сумм на основании сметы, утвержденной временною комиссиею.

Временная комиссия состояла из пяти избранных членов, собиралась обыкновенно перед выборами хозяина и казначея. Она поверяла общественные счетные книги, рассматривала устав и предлагала необходимые в них изменения на общее разрешение, распоряжалась при выборах в общественные должности и передавала хозяйство новоизбранным лицам. Исполнив эти обязанности, эта комиссия расходилась¹²⁹.

Хозяйственная комиссия (постоянная) состояла из трех лиц: *хозяина, закупщика и казначея*, не терявших права голоса и во временной комиссии при составлении и утверждении сметы. Она распределяла общественную сумму на хозяйственную и частную, обращала часть этой суммы на гуртовые закупки, разрешала ссуды из запасной суммы; предварительно рассматривала условия и контракты, заключаемые хозяином и закупщиком; ежемесячно поверяла счетные общественные книги (по окончании проверки хозяин и закупщик подписывали счета). Этой же комиссии вменено было в обязанность заботиться о размене звонкой монеты, если она будет прислана на имя кого-либо из участников. Перед истечением хозяйственного года она делала оценку припасам, оставшимся от годового содержания, и причисляла их ценность к экономической сумме. Состав ее из трех членов уравнивался тем, что хозяин был блюстителем общественных нужд; закупщик — нужд частных, а казначей — посредником между ними.

Хозяин избирался на год; принимал по описи от предместника все, входящее в состав общественного хозяйства; составлял смету на наступающий год и представлял на утверждение временной комиссии. Если цены возрастали и превосходили сметную, он имел право недостаток сумм восполнять соразмерным уменьшением выдачи сахару и чаю, но ни в каком случае не мог выходить из пределов, назначенных сметой. Приступая к закупке чая и сахара, обязан был спросить: не желает

ли кто выписывать эти припасы на собственные деньги, или: не желает ли кто, вместо чая и сахара натурою, получить на свою долю деньгами. Выдавал чай и сахар в общественной комнате (подле кухни) в день, им предварительно объявленный¹³⁰. На обязанности хозяина лежал выбор выгодного времени года для продажи экономической муки из казенной дачи. О количестве вырученных денег он письменно извещал казначея. Хозяин вел валовую домашнюю книгу прихода и расхода и тому же казначею сообщал для выписки; вел очередь наблюдающим за чистотою на кухне и уведомлял за неделю того, чье дежурство наступало. Все служители при кухне и бане находились в полном его распоряжении. Он обязывался, при найме служителей, объявлять им, что они немедленно должны исполнять всякое частное приказание, имеющее целью услугу для внезапно заболевшего в ночное время кого-либо из участников артели. Каждый хозяин обязывался представлять временной комиссии к первому заседанию, при открытии ее, подробный отчет обо всех бывших закупках: в какое время, в каком количестве, какие товары, по каким ценам и на какие деньги, займом ли добытые или иным образом; были ли закупки выгодны или невыгодны и по каким причинам. У него хранился подлинный устав артели (две копии выдавались в частные руки). В случае кратковременной болезни хозяина его должность исправлял казначей. В случае продолжительной болезни того или другого приступали к новым выборам.

Закупщик имел дозволение несколько раз в неделю выходить из каземата для покупки всего нужного для частных лиц и имел на посылки в своем распоряжении сторожа. Он обязывался предварительно спросить у каждого об его надобностях и справиться с книгами о наличности частной суммы (этот § впоследствии уничтожили). Никто не имел права требовать от него покупки товаров в долг. Артельный устав возлагал на него следующие обязанности: «§ 38. Вести книгу всем

закупкам; показывать и раздавать вещи в общественной зале, в известный день и час, им самим назначенный, единожды на целый год. § 39. Покупающий обязан был выдавать ему уплатные записки. Вести очередь всем выходящим на работу. § 40. Если дежурный офицер объявит ему, что не все вышли — он представляет ему список очереди находящихся на работе. Если потребуется большее число рабочих, он отсчитывает из следующей очереди требуемое число лиц по порядку списка и повещает их о том. На другой день очередь начинается уже с первого, оставшегося в этой очереди». Как скоро какая-нибудь очередь дошла до места работы, она на следующий день не выходит, по какой бы причине ее ни воротили (новый § устава 1831 г., единогласно утвержденный 8 мая 1832 г.). Закупщик (по § 41) обязан был иметь в своей конторе стол для отправления дел и хранения товаров и ящик под замком для записок о покупке товаров. При кратковременной болезни его (§ 42) исправляет должность хозяин; в случае продолжительной — новые выборы.

Казначей начинал отправление должности собиранием подписки на наступающий год и представлял ее временной комиссии на рассмотрение для утверждения по ней сметы. Он переводил подписанные деньги из собственности лиц в общественную сумму, немедленно по присылке, получив предварительно согласие подписавшихся на сумму свыше 500 р. и менее; впрочем, во всяком случае, он извещал о том подписчика. По разделении наличной частной суммы на участки, казначей каждое 25-е число объявлял каждому лицу о сумме, причитающейся на его месячную долю, означая ее на черной доске в общественной зале. Никто, кроме казначея, не имел права выписывать из общественных сумм, и только по этим суммам он входил в сношение с горным начальством. Он делал выписки из всех сумм, входящих и не входящих в состав общественной суммы (т. е. хозяйств., участк., эконо. и личной). Выписку по

частным издержкам он производил три раза в неделю: из хозяйственной — по запискам закупщика и частных лиц, обязанных доставлять ему эти записки, по крайней мере, за два часа до выписки. Так как никто в каземате денег не мог иметь у себя на руках, и все частные расходы производились через казначея, то три раза в неделю приходил писарь горного ведомства с особою книгою. В ней, со слов казначея, он записывал, кому и что следовало заплатить, и обозначал, из чьих денег, подписанных в артель, следовало произвести уплату. Если кто желал не расходовать своего участка, но оставлял его временно в общественной частной сумме, то казначей обязан был требовать от того лица означения положительного срока, когда он хочет получить свой участок в общественное распоряжение (а ранее казначей не мог ему выдавать участка). Для отвращения застоя в одной сумме и задержки выдачи из другой, казначей мог переводить из кредита одного счета в дебет другого, с тем, однако же, чтобы сумма, поступающая в дебет, была совершенно обеспечена подпискою; но он не мог переводить денег из одного участка в другой без письменного согласия самого участника. Казначей не обязывался входить в личные сделки и записывать, кто кому должен. Хозяин снабжали его переплетенными счетными книгами; казначей обязывался вести их по двойной бухгалтерии, соответственно установленной форме: под № 1 — книги общественной подписки, № 2 — книги общественного прихода и расхода, № 3 — книги хозяйственной, № 4 — частной (составленной из тетрадей по числу участников под № и при алфавитном списке имен) и № 5 — книги кассового журнала. Он обязывался иметь 6-у и 7-ю книги, когда образовалась запасная и закупная сумма. Каждую субботу счетные книги (за исключением № 4 алфавитной) выкладывались, на время от 3 до 6 часов пополудни, в общественной зале для желающих сделать справки¹³¹. Книгу под № 4 казначей обязан был давать для справок каждую

неделю два раза в те дни и часы, которые он сам назначит однажды на целый год. Показывать, впрочем, обязан был только те тетради из прихода и расхода, которые принадлежат лицам, желающим справляться. В конторе у него был стол для хранения артельных книг и ящик под замком для уплатных записок.

Огородник избирался, по установленному порядку, хозяйственной комиссией. На обязанности его, по уставу, лежало составление смет огородных издержек. По утверждении ее хозяйственной комиссией он получал назначенную ему сумму. При посеве соглашался с хозяином, каких и сколько овощей требовалось на общественное продовольствие. Пока овощи были на грядках, огородник располагал ими независимо от хозяина, но уведомлял за несколько дней до снятия с гряд, сколько и каких овощей можно было собрать для общественного стола. В Петровском каземате на артельном огороде никогда не было обильного урожая; редкий год даже картофель не побивало морозом. Впрочем, все овощи доставлялись в обилии окрестными крестьянами. Впоследствии опыт убедил в том, что овощи в заводе покупать было выгоднее, чем по деревням, где крестьяне прижимали. На беду, в завод не привозили в достаточном количестве, и к тому же в богатый каземат ничто почти дешевое не доходило, разве совершенно случайно. Поэтому артель всегда находилась в необходимости закупать часть овощей по деревням и дорожке заводского¹³².

Оносительно всех других закупок Петровский завод оказался несостоятельным. Общих правил старые хозяева в руководство новым извлекать не могли. Цены подвержены были случайностям; выгоднее были закупы вне завода, но и там с каждым годом становились труднее как по причине переторжки, так и образа уплаты. В начале хозяйства потребность сумм была очень велика, необходимо было сделать займы. На них должна была производиться большая часть закупок, а так как взнос был довольно медленный, то и впослед-

ствии, в течение опытного года, должны были производить займы. Вследствие того, в Петровском заводе общественный сбор очень увеличили — все, что прежде тратилось на частные вспоможения, в Петровске подписывалось в артель¹³³. Определив то, что приходилось каждый месяц на каждого человека, за общим расходом на чай, сахар и обед, определившаяся сумма, предоставленная в распоряжение участников, прекратила зависимость одних лиц от других. «Чтобы каждый из участников имел более денег в своем распоряжении, обед очень ограничился: на месяц выдавалось на каждого человека по $\frac{1}{3}$ ф. чая и по 2 ф. сахару и по две, не более, пшеничных булки на день. Обед состоял из тарелки щей и очень небольшого куска жареной говядины. Сколько-нибудь того и другого необходимо было уделять для сторожа, который питался от наших крох. Ужин был еще скуднее обеда и случалось очень часто вставать от трапезы полуголодным. Некоторые за стол, чай и обед получали деньги из артели и сами пеклись о своем продовольствии». Весь этот порядок существовал все время, недовольных было меньшинство. Большинство же, стараясь делать уступки и измышляя различные исправления и дополнения в уставе, довело артель до конца и воспользовалось всеми выгодами ее, жертвуя частностями общему.

Общие правила артели состояли в нижеследующем: артель управлялась по правилам, составленным временною комиссиею и утвержденным положительным большинством голосов, но никакие предложения, хотя бы и принятые большинством голосов, если были сделаны не через посредство временной комиссии, не имели обязательной силы для лиц несогласных. Все участники имели равные права на общественную сумму. Все общественные заведения учреждались и поддерживались общественными суммами; хозяину возбранялась всякого рода подписка на общественные издержки. Всякий почитался обязанным нести общественные

должности, за исключением тех лиц, которые не пользовались выгодами, доставляемыми артели отправлением этих должностей. Несшие однажды общественную должность по выбору имели право отказываться от подобной должности в течение трех лет. Немедленно по открытии временной комиссии все лица, занимавшие в течение последних трех лет и занимавшие какие-либо должности в истекшем хозяйственном году, если не желали вновь подвергнуться избирательству, извещали о том временную комиссию письменными объяснениями; в противном случае их молчание принималось за согласие снова принять какую-либо из должностей, и тогда всякий был вправе подавать им свой голос, а они не могли уже отказываться от избрания¹³⁴. Каждому из отъезжающих артель обязывалась выплатить все, что, за исключением употребленных на него издержек, останется от полного годового содержания. Когда запасная сумма сделалась действительною, выдача отъезжающим назначалась по единогласному определению хозяйственной комиссии; на случай внезапного отъезда кого-либо из участников она уполномочена была выдавать из запасной суммы до 300 руб.¹³⁵. Плата за стирку белья, по причине разности в количестве, выделялась из хозяйственной суммы и возлагалась на каждого участника.

Всякому предоставлялось право делать замечания на устав артели и на исполнение общественных обязанностей; эти мнения хранила хозяйственная комиссия до передачи во временную; если же число замечаний по одному и тому же предмету возрастало до $\frac{1}{3}$ всех участников, то немедленно собиралась временная комиссия. Предложения свои комиссии все обязаны были писать и выражать так, чтобы можно было отвечать словами «да» или «нет». Замечания и оговорки членов писались на особом листе. Если предложение состояло из нескольких пунктов, то каждый пункт писался отдельно¹³⁶.

Выборы извещались записками с вопросом: кто будет подавать голос на предстоящее избрание временной комиссии¹³⁷. Затем число избирателей делилось на 5 отделов по порядку номеров и остаток, если случался, причисляли к последнему отделу. Хозяин, закупщик и казначей, каждый порознь, ходили по отделениям с особенным пакетом для каждого с числом билетов по числу избирателей. Последние под своими именами писали имя лица избираемого и вкладывали билетики эти в пакет своего отдела. Члены хозяйственной комиссии рассматривали билеты: получивший положительное большинство в своем отделе (в четном числе избирателей половину этого числа плюс один голос) объявляется членом временной комиссии. После третьего неопределенного выбора члены какого-либо отдела выбирали уже между кандидатами других отделов. Если ни один из них не получил положительного большинства в этом отделе, тогда предлагали им на выбор двух кандидатов, имевших большее число голосов. Если же и в этом случае голоса делились поровну, то выборы решал уже жребий. На следующий день члены временной комиссии поверяли свои полномочия в общественной зале и распоряжались при выборе и баллотировке хозяина и казначея (хозяйственная распоряжалась выбором и баллотировкою закупщика и огородника, если выборы этих последних не совпадут с выборами последних). Когда все выбирались в одно время, тогда соблюдалась очередь: сначала выбирали хозяина, потом казначея, далее закупщика и, наконец, огородника. Комиссии за два дня извещали всех, в какую должность предстоят выборы; собирали голоса: подача голоса означала согласие с большинством. Если никто не имел положительного большинства, то два лица, соединившие большее сравнительно число голосов, становились кандидатами и баллотировались. Если по причине равенства голосов два кандидата не будут определены, то баллотировка

решала между имеющими равенство. Накануне ее комиссия объявляла имена кандидатов и порядок избрания. Все, подавшие голоса при избрании, обязывались находиться и при баллотировке; кто не приходил, тот располагал своими шарами письменно через одного из членов комиссии. Баллотировались только те, которых избирали. В зале, в день баллотировки, один из членов комиссии раздавал шары, выдавая каждому на каждого избираемого порознь белый и черный; получивший шары подходил к двум ящикам, другой член комиссии, стоявший при них, объявлял, который сосуд для кого назначен. Когда все шары были положены, комиссия считала число белых и черных каждого кандидата. Получивший положительное большинство голосов в отношении к числу баллотирующих и сравнительное относительно к другому кандидату объявлялся избранным. Если оба имели положительное большинство, но равное между собою, то баллотировались снова. По третьей неопределенной баллотировке решал жребий. Если оба не получали большинства белых шаров, то избиратели приступали к новым выборам.

Заботливо хлопоча об увеличении ручных участков¹³⁸, артель усиленно стремилась к возрастанию запасного капитала, понуждаемая теми страхами, которые рисовались в самом непривлекательном виде для всех, выходявших на поселение и не имевших собственных средств. С этою целью прибегали ко всевозможным сокращениям в бюджете расходов: когда количество хлеба и квасу превысило личную потребность, определили ограниченную выдачу 1¼ фун. на день на человека; квас определили двумя бутылками на день. Ограничение выдачи хлеба вызвано было не недостатками, а для учета, потому что начали злоупотреблять требованием и расходом хлеба. Так, державшие особливую лично для себя прислугу стали кормить ее из общей артели; Модзалевский, занимавшийся и получавший за то деньги, кормил двух портных-солдат из общей арте-

ли. «Артель тем и выгодна, — писал Н. А. Бестужев на особом листе, долженствовавшем выразить его голос при собирании мнений, — что излишество потребления одного человека вознаграждается меньшею потребностью другого; следовательно, если поставить вес (хлеба) на каждого и каждому отпускать по положению, то выйдет, что все лишаются выгод, доставляемых артелью, потому что лишнее количество надобно будет покупать, тогда как у других избыток будет пропадать без пользы. Уверен, что средним числом хлеба, вообще, не выйдет по $1\frac{1}{4}$ ф. на человека, но уверен также, что раздача каждому по такому участку большей половины будет оного не достаточно, и думаю, что внимание хозяина при надлежащем присмотре лучше определит потребность каждого, не стесняя всей артели этою общемою мерою». Мнение это подано на нижеследующий запрос временной комиссии: «Количество расходуемого хлеба и кваса превышает личную потребность артели и, с другой стороны, разделение расхода на сии предметы не в точной мере соответствует потреблению каждого лица и как сверх того не малая часть хлеба и квасу расходуется на прислугу, не равно распределенную на лица, хотя и равно платящие», то и предлагает временная комиссия на общее разрешение: «1) постановить ли определенную выдачу хлеба по $1\frac{1}{4}$ ф. на день на человека, на каждого из нас, предоставляя желающим иметь большее сего количество получить оное за деньги (как, напр., получали прежде излишнюю, а ныне одну булку) и перенести вследствие сего содержание прислуги на счет тех, коим находящиеся в личном услужении люди будут служить, и 2) определить выдачу квасу по 2 бутылки на человека в день или оставить то и другое по прежнему положению?» Желавший получать большее количество обязан был платить деньги. Содержание прислуги перенесли на счет тех, которые ее держат, оставили заботу только о пище солдат, так как их услуга была общая, а не частная.

Исключили из хозяйственного бюджета жалованье брадорею, потом расходы на мыло для бани¹³⁹. Отменены булки и жареное на некоторое время и успокоили себя тою лишь заботою, чтобы умеренность пищи вознаграждалась качеством и опрятностью приготовления, чтобы хлебы пеклись лучше, супы были чище, а квас не так дурен. Для поощрения служащих на кухне и для чистоты самой кухни нашли выход в том, что выдавали сверхсметные деньги, по желанию, в распоряжение хозяина. Убавили одного служителя при бане, распределив жалованье сообразно труду каждого: иным надбавили, другим уменьшили, но, во всяком случае, достигли той цели, что в отношении расходуемых денег произошло значительное уменьшение¹⁴⁰. Подобные сокращения были неизбежны в виду того, что с отъездом третьей категорин число людей и средства значительно сократились; кроме того, и снабжение отъезжающих потребовало излишних расходов.

Когда некоторые отделились от общего стола и вместо кушанья стали получать деньгами, они уже не могли требовать артельного кушанья в течение года и могли заставлять людей, нанятых для общей кухни, работать, не иначе как по добровольному согласию. Хозяева не обязывались снабжать артельными припасами тех, которые не пользовались общим столом, хотя считали своим долгом стараться по возможности их удовлетворять. Временная комиссия разрешила таковым выдачу артельной муки на дрожжи для булок. Для улучшения общественного стола и соблюдения экономии некоторые предлагали личные услуги (как Тютчев), состоявшие в том, что вызвавшиеся сами занимались приготовлением кушаний. Впоследствии, для улучшения пищи, прибавили к отпускаемым 2 пуд. 20 ф. мяса еще 8 ф., и постановили, чтобы хозяин непременно избегал экономии удержанием из положенного количества припасов, а старался бы достигнуть цели посредством дешевых закупок. Когда артельные свиньи оказались

невыгодными для хозяйства — их уничтожили. Сахар стали покупать в Иркутске и на верхнеудинской ярмарке, а не в заводе, чай стали брать из первых рук и у богатых купцов; соль запасали гуртовым приобретением и проч.¹⁴¹.

Чтобы окончательно утвердиться на мысли посредством собранного капитала предупредить и даже обеспечить нужды тех членов общины, которые будут вывезены из тюрьмы, составила новая артель, *маленькая*. Она, не вредя главной цели, стремилась также к достижению членами выгод, какие только можно извлечь из подобного учреждения. В нее мог поступить всякий, желавший внести 25 р., принятых за минимум и вносимых в 11 месяцев по 2 р. Третья, *журнальная* артель выписывала журналы и газеты, общим числом до 22-х, и давала их за небольшую плату для чтения (1 р. 50 к. в месяц). В ней участвовали лица, не состоявшие ни в большой, ни в малой артелях, как, например, Анненков, Давыдов и др. Маленькая давала займы. Займы наличными деньгами отдавались таковыми же; в противном случае платился лишний 1%. При займе принадлежащих к артели лиц полагался 1% со ста в месяц, а с не принадлежащих — 2%¹⁴². Капиталом и оборотами заведовал казначей, избиравшийся положительным большинством голосов на целый год. Он заботился, чтобы капитал артели, за исключением сохранной суммы, находился в беспрестанном обороте, и превращал капитал в наличные деньги. Так как артельный год для бюджета начинался вместе с большой артелью, т. е. 1-го марта, то казначей обязывался представлять списки о выборах трех членов в комиссию; сам в ней не заседал. Вносивший ежегодно 25 руб. считался действительным членом с правом на равную долю со всеми. Единовременные вклады вещами и деньгами, считаясь чистыми приношениями в пользу артели, не давали своему вкладчику права участия в разделе капитала. Желавший выйти получал на руки 25 руб., т. е. минимум ежегодного вклада; остальные же деньги, причитавшиеся

по раскладке, пребывали его собственностью, оставаясь, между тем, в капитале артели. Остаток с процентным приращением единственно из собственного его оборота не иначе выдавался в руки владельца, как по отъезде его из тюрьмы. Отъезжавший мог отказаться от своего участка только в пользу общественного капитала, а не лица. Такая сумма умножала капитал последующего года и отнюдь не служила приращением уже объявленного участка лиц. Пожертвованные вещи казначей оценивал с двумя членами по очередному списку; затем оповещал о продаже, и если не находилось покупателей, он продавал кому бы то ни было, но не дешевле оценки. Всякий, вверявший артели для ее оборотов деньги, получал за то ежемесячно 1% на сто и в том случае, когда вверенная сумма действительно находилась в обороте (могли удостовериться в том из казначейских книг). Вкладчик наперед должен был объявлять срок; если понадобились ему деньги ранее, в таком случае он обязывался предупредить казначея за месяц. На первый год по учреждении артель отвечала не более 800 рублей и свыше этой суммы в оборот ничего не принимала.

Маленькая артель получила свое начало в 1832 г., когда уже некоторые разряды ссыльных уехали на поселение. В Чите, в апреле 1828 г., истек срок последнему, седьмому разряду (осужденным на два года каторги коронация сбавила срок на год). 11 человек оставили тюрьму и отправились на поселение единственно при содействии читинских дам, снабдивших их бельем, платьем, книгами и деньгами. Летом 1831 года в Петровском заводе семья заключенных снова испытала потерю товарищей, вышедших на поселение из 5-го разряда. Этим помогала еще большая артель; маленькая вышла ей на помощь уже в то время, когда приблизились сроки в 1833 г. четвертому разряду, в 1836 г. второму и в 1839 году первому разряду. С первого марта 1833 г. до 1834 г. сметный расчет артели составлял-

ся уже на 38 порций. Обе артели обоюдными силами и средствами в состоянии были уделять на временное пособие отъезжающим по 600 до 800 рублей ассигнациями на каждого. Библиотека неимоверно увеличилась: для научного и серьезного образования она начала давать большой простор, ученый отдел ее был богат¹⁴³. Кроме того, впоследствии могли положить пособие и тем из прислуги, которые все время не оставляли своими услугами заключенных¹⁴⁴. В 1836 году обе артели прекратили свое существование, когда Петровский каземат значительно опустел и в нем остались доживать по большей части люди достаточные. В 1840 г. Петровский каземат был уже совершенно свободен от тех жильцов, ради которых совершенно было его сооружение. После отправления в 1839 году первой категории декабристов оставались некоторое время в работе, хотя уже и не заключенными в каземате, черниговцы Соловьев и Масальский да из оренбургских Ипполит Завалишин. Все остальные были уже на местах поселения. В Петровском заводе оставался доживать свой век сначала в звании ссыльного поселенца, потом потомственного дворянина — только Горбачевский, скончавшийся там в 1889 году в должности мирового посредника.

Одновременно с первыми восемью посланными в нерчинские рудники и следом за ними отправлены были на поселение все те 14 человек восьмой категории, которым приговор верховного уголовного суда присудил этот род наказания¹⁴⁵.

Их увозили по четверо, но поселяли поодиночке в самых северных сибирских местностях, на пространстве между Обдорском и Средне-Колымском. Когда они пробыли здесь год — их перевели южнее на пространстве по линии между Якутском и Березовом. Первое время они были совершенно одни, «их не согревали ни солнечные лучи, ни присутствие друзей».

Бестужеву-Марлинскому удалось отвести душу при встрече в Якутске с доктором Эрдманом, приезжавшим наблюдать силу земного магнетизма. Впрочем, одиночное житие в Якутске не прошло для этого талантливого человека бесследно. Он изучал языки, между прочим латинский, для чего Н. И. Греч высылал ему классиков; изучал край, нравы жителей; от скуки писал стихи. В полном собрании его сочинений 1832 года видны результаты его наблюдений во время жития в Якутске, в статьях «Отрывки из рассказов о Сибири» и «Сибирские нравы Исих». Якутские стихи А. А. Бестужева также были напечатаны, но уже после его смерти. Отсутствие товарищеской семьи и дружеской поддержки, которые так благотворно действовали на заключенных вместе, для многих из этих одиночек выразилось самыми несчастными крайностями: одни предались отчаянию, ускорившему смерть (Шахирев, Фохт и Фурман в Сургуте), другие сошли с ума (Шаховской в Енисейске и Н. С. Бобрищев-Пушкин в Туруханске, Варницкий и Янтальцев в Ялуторовске¹⁴⁶). М. А. Назимова увезли в Средне-Колымск на собаках при 30° морозе. Казаки, получив предписание держать его под строгим караулом и в то же время беречь его здоровье, не знали, что с ним делать. Они заперли его в одну из юрт и отправили гонца в Якутск с донесением, что «секретный» заболел и им нечем его кормить, а вяленую рыбу он не ест. Через несколько времени вышло разрешение перевести Назимова в небольшую деревушку на Лене, где стало лучше, но больной долгое время страдал жестоким ревматизмом обеих конечностей, от которого впоследствии едва мог избавиться. Чижов также был переведен из Гижиги в другое место. Освободившиеся в апреле 1828 года из Читы 11 человек седьмой категории также вывезены были в северные города: Чернышев один отправился в Якутск, Кривцов и Загорецкий вдвоем — на Лену, Ив. Абрамов и Лисовский — в Туруханск, Выгодский — в Нарым, Тизенгаузен — в Сургут, Черка-

сов — в Березов, фон Бриген — в Пелым и Лихарев — в Киндинск (оба последние потом переведены были в Курган). Толстой из Читы был отправлен прямо на Кавказ солдатом к товарищам, присужденным к этому наказанию приговором суда из последних четырех категорий (8, 9, 10 и 11-й). Из этих категорий некоторые поступили в крепостные работы и по Сибири. Их отправляли после приговоренных на поселение. Из поселенцев седьмой категории некоторым разрешено было впоследствии вступить в службу солдатами на Кавказ; других перевели поужнее, Тизенгаузена и А. Е. Янтальцева в Ялуторовск и т. д.; при отправлении на поселение читинские дамы успели облегчить им своими пособиями дорогу и первое время поселенческого житья¹⁴⁷.

Летом 1831 года из Петровского завода выехали на поселение двое из пятого разряда: Михаил Карлович Кюхельбекер в Баргузин и Н. И. Репин в деревушку Манзурку (на Лене)¹⁴⁸. Ленивый Кюхельбекер, весь преданный товарищам во время житья в казематах, на поселении принялся трудиться для своего пропитания. В первые годы он собственными руками расчистил и распахал несколько десятин и засеял хлебом. Но такая деятельность не спасла его от искушений. Сблизившись с одною баргузинскою мещанкою, он сперва крестил у нее ребенка, а потом на ней женился. Крестник его умер, но обыск включен был в метрику, из-за чего, по доносу дьячка, Синод признал брак незаконным; Кюхельбекер, разлученный с женою, переведен был в Смоленскую волость под Иркутском (за 500 верст от Баргузина). Тут он написал отчаянное письмо к сестре с жалобами на жестокость. Это письмо возвратило его в Баргузин, но его обязали не жить с женою, а жить с дочерьми, от нее прижитыми, которых было семь. Репин недолго жил на поселении. Когда везли Андреева на Кавказ в солдаты, он заехал к своему другу и остановился на ночь в его помещении, занимаемом им в доме одной крестьянки (в Манзурке за 200 верст от Иркутска). Беседа была

праздником, свидание длилось далеко за полночь. Служанка, разбуженная запахом дыма, осмотрела избу хозяйки и, не найдя ничего, вместе с нею отправилась в помещение Репина через сени, постоянно наполнявшиеся дымом. Стучали в дверь, колотили в окна, и когда вошли в комнату, увидели уже два обгорелых трупа. Несчастных похоронили на погосте. Сам гражд. губернатор Цейдлер приезжал произвести следствие, но ничего определенного не нашел; виновных разыскивали народные слухи. Следствие находило причину пожара и в незагашенной свечке, и в невыколотченной трубке с табаком, но народные слухи уверяли, что поджог товарищей сделан слугою Репина — поселенцем, надевшимся пожить деньгами обоих. Поселенец этот к тому же успел убежать, как уверяет предание.

Из освободившихся от тюремного заточения в 1834 году четвертого разряда ссыльных Розен, Нарышкин и Лорер отправились в Западную Сибирь, в Курган, остальные 11 — по деревням Восточной Сибири (Глебов в с. Кабанское и проч.). Тогда уже было позволено селиться по двое. Впоследствии перевели в Красноярск и Павла Бобрищева-Пушкина для соединения его с сумасшедшим братом (помешательство религиозomanия и приапизм). В этом разряде Александру Муравьеву дозволено пробыть на каторжной работе весь срок, назначенный его брату Никите Михайловичу. Волконского из 1-го разряда, в уважение просьбы статс-дамы кн. Волконской (его сестры и супруги министра), государь приказать соизволил послать на поселение. Волконский просил, как милости, позволения остаться в Петровске, где слабая здоровьем жена и дети могли иметь врачебную попомощь (от Вольфа), тогда как в Баргузине, куда он был назначен, не было ни аптеки, ни доктора и никаких удобств для жизни. Отъезжавших товарищей остающиеся снабжали, помимо артелей, всем своим наличным от трудов и сбережений. Жене Розена Ал. Гр. Муравьева подарила складной дорожный стул,

предложила тысячу разных предметов и, между прочим, корову для ребенка во время переезда на судне через Байкал. Оболенский сшил искусно пальто ребенку; Конст. Петр. Торсон устроил ребенку парусинную койку; Ник. Алек. Бестужев — винты и ремни с пряжками, которыми прикрепил койку, назначенную для жены во время переезда, к верхней части коляски. Насколько они умели внушить к себе уважение, может коротко и ясно доказать то обстоятельство, что за одним из уезжавших в Верхнеудинске бежал, стараясь догнать, Вязгунов, георгиевский кавалер, бывший в Чите и Петровске караульным и теперь умолявший взять с собою хотя на край света. Остановился он лишь на том, что самому уезжавшему место назначения было неизвестно. Подобный случай не последний.

При отправлении 18-ти человек в 1836 году в июне места для поселения не были известны. Отправлявшиеся сбились в товарищества и выпросили позволение жить вместе. Братья Никита и Александр Михайловичи Муравьевы, Вольф и Ив. Дм. Якушкин согласились было таким образом, но их разделили. Семейные не могли тотчас отправиться. Муравьевы (Алек. и Ник. Мих.) поселились в Урюке близ Иркутска, а когда Никита Мих. умер и его дочь увезли в Россию, то Александр перешел в Тобольск; Артамон же Захарович Муравьев поселен был в Разводной близ Иркутска, где умер. Близ Иркутска поселен был Е. Е. Вадковский, Алек. Муравьев остался с братом, Вольф — с товарищами в заводе для оказания врачебной помощи. Десять человек отправлены в Иркутск на переменных подводах, при офицере и нескольких унтер-офицерах. Холостые ехали все вместе, женатые особо. Ив. Дм. Якушкин поселился в Ялуторовске, Ник. Васил. Басаргин с Васильем Петровичем Ивашовым в Туринске, Тобольской губернии, Михаил Сергеевич Лунин под Иркутском в деревушке и т. д. На уменьшение сроков наказания влияли какие-либо события в царственной семье; в день рождения великого

князя Михаила Николаевича сбавлены были пять лет; во второй раз по 2 года, при исполнении десятилетия с 14-го дек. 1824 года. В память путешествия по Сибири наследника, впоследствии императора Александра II, последовали, по его милостивому ходатайству, новые облегчения. Между прочим, жившие на поселении переведены на Кавказ рядовыми в отдельный корпус, на положении инвалидов. Кривцов, Цебриков, Валер. Голлицын, А. А. Бестужев дослужились до офицеров. Нарышкин, Розен, Одоевский, Мих. Назимов, Захар Чернышев, Оржицкий, Коновницын и проч. оставались на Кавказе солдатами, потом выпросились в отставку и получили дозволение жить на родине под присмотром полиции. Одоевский же на Кавказе и умер от желчной горячки, на руках Н. А. Загорецкого. На житье на родине, под присмотром полиции, кончалась судьба всех декабристов, оставшихся живыми в Сибири и на Кавказе: для одних раньше, для других позже.

Кавказская жизнь декабристов, в полнейшем контрасте с сибирскою, прошла без следов той осязательной общественной пользы, которая задержана была самым способом обязательств. Солдатская служба задана была им со всею строгостью боевых обязанностей, с тою разницею, что для одних лямка натянута была туже, для других она ослаблялась уступчивостью, которая, однако, была произвольна и для исполнителей вовсе необязательна. В то время, когда Бестужев-Марлинский в Дербенте и в ежовых рукавицах гарнизонного подполковника «бурбона» с тяжелым ранцем выстаивал на часах до изнеможения сил под палящим кавказским солнцем, — некоторым другим товарищам удалось из солдатских казарм и лазаретов попасть и в солдатской шинели в общество офицеров. Генерал Раевский, живший на правах отрядного начальника в Тифлисе, бывший член тайного общества и друг А. С. Пушкина, наполнил свой штаб большею частью из декабристов и

ссыльных офицеров. На это сделан был донос в Петербург. Раевскому прислан строгий выговор и приказ разослать всех по разным крепостям и подвергнуть обязанностям гарнизонной службы. В числе прочих пришлось поплатиться своею судьбою одному из братьев Бестужевых, Петру Александровичу. В силу этого обстоятельства кавказская ссылка оказалась строже сибирской, всем ссыльным в тревожно-воинственной стране досталась добрая доля походов против горцев, походов, на которые в то боевое время так охотливы были все командиры. Некоторые походы вызывали людские жертвы, зато давали возможность отличиться какому-то «маленькину сынку», снабженному крупною протекциею в Петербурге, для чинов и славы которого ходили в рядах и ссыльные декабристы. Нередко для последних другие командиры избирали малейшие поводы, чтобы дать отличиться и заслужить милость. В то время, когда все были уже унтер-офицерами, Толстой в 1835 г. произведен был в офицеры. Дольше всех не везло Марлинскому, который произведен в офицеры в 1836 г. вместе с бывшим лейтенантом Акуловым. Марлинский в 1837 году был убит в отряде охотников во время десанта в цепи. В Дагестане, со многими другими, умер от враждебного лихорадочного климата историк Корнилович. Брат Бестужевых, Петр Александрович, сосланный на Кавказ, после шестилетней солдатской службы, обязавшей его участием во многих экспедициях, особенно же после тяжелой раны, сошел с ума. Ему разрешено было в этом положении возвратиться на родину на попечение матери и сестер. На попечение родных выехали потом и все другие, за исключением лишь Сутгофа, который, кажется, один из всех, остался жить на Кавказе. Только для Марлинского кавказская жизнь не прошла бесследно, обогатив его темами для повестей, литературною славою и деньгами на помощь ссыльным петровским братьям и матери. Тревожная боевая жизнь преимущественно увлекала его до сочинения походных солдатских песен.

Начинал он ссыльную жизнь в горах у Каспийского моря, нашел свою смерть на Черноморском побережье. С заметным намерением «вывести себя в расход», в его живой и впечатлительной натуре выродилась твердая решимость искать смерти, чтобы избавиться от тягостей жизни и тоски неволи. Однако и в нем не исчезло то стремление к самообразованию, которое было столь присуще всем его товарищам. Бестужев-Марлинский овладел татарским языком до свободного объяснения на нем, изучил язык арабский и принялся было уже за персидский. В этом отношении живые люди не потерялись и на Кавказе.

Прощаясь с комендантом, уезжавшие старались выразить ему благодарность теперь, не считая уместным свидетельствовать ее прежде. Лепарский, прослезившись, отвечал: «Вы вели себя так, что если бы на вашем месте были все Вашингтоны, то они не могли бы лучше сделать это. Мне ни разу не случалось прибегать к мерам, не согласным с моим сердцем, и вся моя заслуга состоит в том, что я понял вас и, вполне на вас надеясь, следовал его внушениям». «Мы обнялись и в последний раз простились. Через год он скончался». Назначен новый командир, полковник Ребиндер, новый плац-майор Казимирский и другие плац-адъютанты. Прежние офицеры возвратились в Россию, получив большие награды, Ребиндер уравниал всех, соединил на общих правах. При нем все ходили из каземата кто куда хотел, и он приглашал к себе без различия всех.

В 1839 году оставили каземат и завод остальные из первой категории, в каковую попали двое из второй (братья, Н. А. и М. А. Бестужевы), вместе с четвертою был освобожден один (Розен) из пятого разряда¹⁴⁹. Бестужевы выбрали для себя город Курган, но оставлены в Селенгинске за Байкалом, вблизи Петровского завода, где соединились с К. П. Торсоном; в заводе остался И. И. Горбачевский. Д. И. Завалишин уехал в Читу; в деревне Оек под Иркутском С. П. Трубец-

кой; в Разводной, также близ Иркутска, — Александр Ив. Якубович; близ Иркутска в Смоленской волости — Бесчестный; около Иркутска; С. Г. Волконский, А. П. Юшневский, Алек. Виктор. Поджио; в Тобольской губернии — Ив. Алек. Анненков, пробыв некоторое время в Бельске; Петр. Никол. Свистунов¹⁵⁰, Ив. Александр. Фонвизин, Краснокутский, Барятинский, Вильгельм Карлович Кюхельбекер (поэт, умерший в Тобольске от чахотки), В. К. Вольф, Муханов в Братском остроге на Ангаре. В Туруханске (Енис. губернии): И. А. Абрамов и Лисовский убиты были в дороге, едучи по торговым делам по доверенностям от купцов. В Иркутской губернии умер от паралича один из Борисовых, Петр Иванович; сумасшедший брат (Андрей Иванович) пробовал возвратить его к жизни, пуская бритвою кровь. Все бумаги предварительно сжег, и когда на дым сбежались люди, нашли Борисова повесившимся. Александр Иванович Якубович (в Енис. губернии) умер, плывя по реке; А. П. Юшневский — от удара, идя за гробом товарища Вадковского; Ник. Алекс. Панов — от сахарной мочи. В Ялуторовске умер Янтальцев с женою; в Красноярске: Тютчев, Вас. Львов. Давыдов, Спиридов, Митьков. В Тобольской губернии умерли: Краснокутский, В. К. Кюхельбекер, А. М. Муравьев, Барятинский, Башмаков, Вольф, Семенов. В Иркутской губернии умерли: Никита Мих. Муравьев, Фед. Е. Вадковский, Юлшевский, Поджио, М. Н. Глебов, Артам. Зах. Муравьев, Мих. Кар. Кюхельбекер, Модзалевский, оба Борисовых. За Байкалом в Селенгинске: К. П. Торсон и Ник. Ал. Бестужев. В Туринске — Ивашов с женою, в Акатуе — М. С. Лунин. Затем по возвращении в Россию: в Москве Мих. Алек. Фонвизин, в Бронницах — Ив. Ив. Пущин, в Костроме — Дмитрий Александр. Щепин-Ростовский, в Москве — Иван Дмитр. Якушкин; в Калуге А. С. Батенков и А. П. Оболенский; в Орле — Алекс. Иванов. Черкасов; Кривцов в Орловск. губ.; П. С. Бобрищев-Пушкин в Москве, и т. д., до 7-ми или 8-ми, оставшихся в живых до шестидесятих годов.

Наибольшая часть читинских и петровских заключенных на местах поселения принуждена была обратиться к тем занятиям, которые указывала самая цель поселения. Они принуждены были заняться хозяйством и в устройстве его искать тех средств к жизни, которые в тюрьме доставлялись общиною, а теперь, при более свободном состоянии, были затруднены для них крупными причинами, лежащими в основании их первоначального воспитания. Новое общественное положение на поселении стало несравненно тяжелее, и если бы не нравственные запасы в тюрьме, облегчившие до некоторой степени приступы к практическим занятиям — положение их было бы безысходным. Сенатский указ 20 мая 1827 г., по представлении бывшего спб. ген.-губ. Сперанского, позволявший выдавать крестьянам из посельщиков свидетельства на торговлю, не распространял этого дозволения разъездов вне мест ссылки на тех, которые ей подвергнуты по приговору верховного уголовного суда. Правила для жизни были стеснительны и противоречивы. Так, для отлучки 6 верст требовалось испрашивать разрешение из Петербурга, и в то же время, дозволялось ездить по своей волости, которая на иных местах тянулась в одну сторону на 200 верст. Значительно облегчилось положение новых поселенцев также и тем, что они поселены были по трое и даже до шести в одном месте. На этом взаимном, живом обмене мыслей, а также при письменных советах более даровитых и опытных товарищей, кое-как улаживалась поселенческая жизнь декабристов. Тем не менее она преисполнилась наибольших затруднений и лишений, чем даже в самих казематах.

Поселенные в маленьких городах и в больших селениях, все взяли назначенные им по закону 15 десятин земли и занялись сельским хозяйством. Некоторым удалось довести свое домашнее хозяйство до высокой степени совершенства (как Д. И. Завалишину в Чите); очень многие, в восполнение лишений городской жизни,

прибегли к тому способу существования, который обеспечивался для них в Сибири скудной платою за обучение детей грамоте. В этом отношении государственные преступники принесли краю несомненную и громадную пользу, подняв уровень сибирского образования значительно выше того, какой имеется для России. Особенными способностями на этом поприще отличились между прочими: А. П. Юшневский и А. В. Поджио в Иркутске, Д. И. Завалишин — в Чите, И. Д. Якушкин в Ялуторовске. Последний устроил две школы (одну мужскую в 1842 году, другую для девочек в 1846 г.). Обучал он в ней детей по Ланкастерской системе в течение 14 лет; несмотря на привязчивость и доносы штатного смотрителя училищ, но благодаря снисходительности властей, эта школа успела приготовить не только грамотных, но подготовила и учителей. Одна из девиц, воспитывавшихся в школе, имела возможность поступить в нее преподавательницею. В течение 14 лет (с 1842 по 1856 г.) в школе, основанной И. Д. Якушкиным, перебивало 1600 человек учеников. Восточной Сибири в этом и других отношениях посчастливилось гораздо более Западной Сибири, по случайности поселения в ней более даровитых и способных людей. В то время, когда в Западной наибольшая часть принуждена была прибегнуть к содействию купцов и, в качестве их комиссионеров и приказчиков, изыскивать кое-какие средства для жизни, — в Восточной Сибири деятельность декабристов явилась в более разнообразной и практической форме.

В Западной Сибири Тизенгаузен поселился в Ялуторовске, построил дом, но дом подожгли; он выстроил второй — его опять подожгли; выстроил третий, но и этот сожгли. В четвертом, маленьком, ему удалось укрепиться на пожарище прежних больших домов. Здесь он прилежно занялся садом и воспитывал такие плоды и ягоды, которые до него никогда не созревали. Он постоянно жаловался на слабое здоровье и бесцельную жизнь и, в самом деле, казался поврежденным

в умственных способностях, что приметно было и в способе домовых построек и в самом образе жизни. В Кургане Назимов, Нарышкин, Лихарев, фон Бриген, Розен, Лорер и Фохт получили по 15 десятин земли и занимались хозяйством¹⁵¹. Нарышкин в подспорье занятиям имел возможность выписать из Москвы дорогих и крепких лошадей. Остальные товарищи передали Розену свои участки, и он занялся хозяйством, удобряя неплодородную землю золою, которую бесплатно получал из тамошних мыловарен, и в два года показал местным жителям, как можно этим способом делать землю плодородною. При помощи бесплатного труда «помочами» или «утолоками», требовавшими за работу только угощения, Розену удалось справиться со всею массою земли, хотя и не привелось извлечь из земледелия выгоды. Если он не получал барышей от хлеба, не имеющего цены в том плодородном крае, если ему не удалось вырастить ни картофеля, ни гималайского ячменя, зато хозяйственные труды его с достатком вознаградили горох, имевший цену на заводах в посты и доставлявший траву для корма скота. Скотоводство поддержало малоопытного курганского поселенца и доставило ему наибольшие выгоды. Жена ему во всем помогала: пекла и варила кушанье для приходивших на «утолоки», заготавливала пиво, закупала кедровые орехи для девушек, угощала вином. В Олонках, близ Александровского завода и в 8-ми верстах от Иркутска, Влад. Федос. Раевский на особых грядках и без излишних вырастил воспитал арбузы. Предубеждение сибиряков исчезло. Остатком от прихода поселенцы делились с неимущими. Эта сторона характера наиболее рельефно выдавалась над всеми другими, и материальная помощь доставила помогавшим всеобщее уважение, которое перешло и в потомство. Имена благотворителей этих вошли в народные предания. Деятельность их в этом отношении не имела пределов: с равным участием и готовностью выходили они с помощью и к свободным несчастным, и к ссыльным: в Ялutorовске, у почтово-

го двора ссыльных поляков, привозимых в нерчинские рудники, встречали жившие в этом городе декабристы и спешили повидаться, чтобы утешить и успокоить напутственными советами. В Петровском заводе Ив. Ив. Горбачевский приспособлял свои благотворения к лучшим из поселенцев тем, что выстраивал домик, высматривал добродетельного и стоящего из ссыльных, выходивших на пропитание, брал его к себе (иногда двух и трех вместе), под видом личных услуг, но собственно на испытание. Если последние задавались, выбор был удачен, Иван Иванович, убедившись в честных правилах поселенца, передавал ему домик в собственность, сам для себя строил другой, третий — до десятого; эту десятую хатку, на наш приезд в январе 1861 года, он приготовил также для исправившихся ссыльных. Занимался он исполнением различных некрупных подрядных лесных работ для завода. В середине шестидесятих годов он скончался мировым посредником, среди всеобщего уважения. Так действовали недостаточные. В Тобольске богатые сумели организовать даже целое благотворительное общество, оставившее самые яркие следы в преданиях и оказавшее несомненные заслуги тамошнему населению. Наталья Дмитриевна Фонвизина, с молодых лет отличавшаяся набожностью, в зрелых летах эту религиозность применила в Тобольске исключительно к делам христианского милосердия. С помощью Прасковьи Егоровны Анненковой она успела дела благотворения поставить на широкую ногу (участие последней весьма памятно также и тем ссыльным «петрашевцам», которых провезли в Нерчинск через Тобольск в 1849 г.). О благотворительности Батенкова в Томске мы имели случай рассказать. Среди трудных опытов личного обеспечения хозяйственными трудами поселенцы не покидали науки и по мере сил старались служить ее интересам. И. Д. Якушкин устроил в Ялуторовске гальванический аппарат и весьма удачно занимался гальванопластикой. Он же содействовал много к развитию научных сведений о физике и механике в

самоучке-мещанине Росманове, который под руководством И. Д. устроил электрическую машину, гальваническую бунзеновскую батарею, пружинный термометр, гигрометр, изящной работы стенные часы и ветромер, заказанный руководителем. Много времени Ив. Дм. израсходовал на переписку своего огромного труда «Учебник географии», написанный по особому плану, и имел возможность составить гербарий ялуторовской флоры.

В Восточной Сибири также значительная часть государственных преступников, при поступлении на поселение, принуждена была для своего пропитания выпросить себе законный надел 15-ти десятин земли. Бесчаснов в Смоленщине — селении на реке Ушаковке (впадающей в Ангара в Иркутске) — приспособил впервые опыты посевов конопли — продукта своей плодородной родины (Малороссии), и добился тех результатов, что в настоящее время вся Смоленская волость — одна из самых производительных местностей под Иркутском по возделыванию пеньки в большом количестве. Он же, в компании с одним из образованнейших и деятельных сибирских купцов (покойным Андреем Васильевичем Белоголовым), устроил маслобойку, и Сибирь впервые увидела свое местное масло, не привозное через всю Сибирь из Ирбита и России. Между сельскими хозяевами Восточной Сибири наиболее выделились братья Бестужевы (Н. А. и М. А.), поселившиеся около г. Селенгинска. В особенности замечательна была деятельность старшего брата (Ник. Алек.). «Хотели было завести мельницы, приобретя в собственность при доме толчею, бывшую при кожевенном заводе, но отложили до времени; задумались было над восстановлением самой кожевни, но дознались, что как ни велико селенгинское скотоводство — Кяхта поглощает все кожи на обшивку чаев и платит за них очень дорого, так что выделка становится очень дорога для заводчика, обязанного покупать кожи кяхтинскою ценою». Забайкальские кожевни Бестужевых (и Колесова) шли

до тех пор, пока тарские, тюменские и кунгурские заводы не рассчитали, что их кожи и с провозом будут отправляться за границу дешевле забайкальских. Как скоро опыт был сделан и оправдал расчет, кожи Западной Сибири пробили себе верную дорогу на восток и в Китай. «С тех пор наши заводы упали (пишет Н. А. Бестужев). Осталось для нас земледелие и скотоводство». Зуевская падь (долина), доставшаяся Бестужевым, от неправильного использования пришла в то состояние, что новые поселенцы принуждены были прибегнуть к искусству и, с помощью его, успели сохранить на земле траву и получить отличные пастбища для скота. Овцеводство оказалось самым выгодным занятием по хозяйству вследствие требований китайцами забайкальской мерлушки предпочтительно перед русскою. Весною, после жестоких зим, у местных хозяев, после недостаточного зимнего корма, овцы, переходя на траву, падали целыми стадами от насморков, поносов, и катарров; у Бестужевых же и Торсона, к удивлению всех, стадо уцелело по простой причине заготовления сена, как краеугольного камня, на котором зиждется основание хозяйства. Стадо товарищей состояло из 300 баранов; в хозяйстве, сверх того, находились 4 лошади и 2 коровы. На пастбище поставлена была маленькая избушка с овчарнями (чтобы не держать овец в городе при доме, что, по расчетам, не приносило никакой выгоды); туда переселился даровитый хозяин и жил философом, пас овец и заготавливал сено для их поддержания. Хлеб у них был свой и свой дом, купленный в долг, но рационально веденное хозяйство дало возможность вскоре выплатить долг. Другим многочисленным затеям, на которые был так скор и богат многосторонний ум Н. А., обогащенный обширными сведениями, помогали сестры — Елена и Марья Алек., вскоре приехавшие из России и по смерти матери переселившиеся к братьям в Селенгинск¹⁵². Торсон в это же время знакомил сибиряков с улучшенными хозяйственными машинами, поставил мельницу

и устроил молотилку. Торсоновская мельница и конная молотилка с веревочным приводом, требовавшие, по расчетам, одной только лошади, потребовали двух для приведения машины в действие; Н. А. Бестужев долго задумывался над такою разностью и, предположив, что приводная веревка очень тонка и много растягивается (отчего лошадь теряла часть своей силы), приспособлением толстой бечевы устранил погрешность. М. А. Бестужев придумал двуколку, удобную для поездок по горным дорогам, и завещал ее в повсеместное употребление сибирякам под именем «сидейки». До сих пор подобные сидейки пользуются таким же предпочтением по всему гористому Забайкалью, как знаменитая долгуша по всему востоку России. В то же время Н. А., в свободные часы от хозяйственных занятий, занимался приготовлением астрономических часов без компенсации, выработкою самого верного хронометра, над которым и производил пробы в чулане высокою и низкою температурою. Завещав флоту, еще во время службы на нем, способ значительного упрощения в уборке и вооружении корабля¹⁵³, он намеревался снабдить еще астрономическими часами и хронометром с самою ничтожною девиациею. «Одно желание быть полезным бедным мореходцам, которые не в состоянии платить по 2 и 4 тысячи за хронометры, а от того самого наполовину, а может быть, и более гибнут, не имея верного счисления» — руководило Н. А. Бестужевым. Он хотел, чтобы хронометр, по большей мере, стоил не более 300 или 400 руб. асс., и для этого придумывал самое простое устройство. Он был уже близок к осуществлению мысли. Он разобрал хронометр в последний раз, но смерть прекратила работу, и разобранный хронометр ни один механик, не обладая секретом изобретателя, собрать не мог. Одни часы ходили у него уже четыре года хорошо; другие выдержали в чулане две жестокие зимы, идучи не останавливаясь, и хотя суточное изменение, при замерзании ртути, не превышало 4" однако изобретатель

оставался ими недоволен и стал добиваться суточной разности в десятых долях секунды. Отличный портной, башмачник, столяр — он был хорошим слесарем, рисовальщиком; им написан для селенгинского Покровского собора для царских врат масляными красками образ Благовещения. Он написал очень много статей и книгу «Записки моряка», сочинение, обладавшее литературными достоинствами. Домашние опыты над неудачными печами привели его к изобретению такой печи, которая поразила своею практичностью лучшего знатока этого дела, известного архитектора И. И. Свйазева. Бестужевская печь при 30° Р. морозу при 15 футах дров сохранила на другое утро тепла еще 10°; 30 футов, при той же температуре, в продолжение дня почти не давали дотрагиваться и печь сохранила 15°. Когда у всех валились трубы и трескались печи, у Бестужевых оказались экономические, невиданного и незнаемого устройства¹⁵⁴. Состоя и на поселении и живя на свободе, товарищи не переставали сноситься друг с другом и оказывать друг другу услуги и советом и делом. Нам удалось читать интересную переписку Дм. И. Завалишина с Н. А. Бестужевым. У Н. А. спрашивал советов относительно разведения дынь и арбузов читинский товарищ его, Д. И. Завалишин, сам отличный хозяин и садовник, и получал целые тетрадки практических советов, основанных на опытных успехах удачного приспособления. В свою очередь, Н. А. Бестужев просил Д. И. Завалишина приискать теоретические формулы высших вычислений математики для оправдания и научного основания своих практических соображений. Сооружая парники и взращивая на изучение другим арбузы, дыни и китайские огурцы, Н. А. Бестужев не покидал научных опытов и, между прочим, воспользовавшись вулканической местностью Селенгинска, производил опыты над направлением землетрясений частых, хотя и незначительных. Он повесил на проволоке 20-фунтовое ядро со шпилькою внизу, которая, будучи

опущена концом в ящик с мелким песком, при каждом землетрясении чертила его направление, и затем шел к выводам и к улучшению самого инструмента. Хозяйство не задавалось долгое время по причине постоянных засух, преследовавших начинания и заставлявших выходить из границ должных экономий. Выпросив себе позволение (в 1840 г.) на разъезды по округу (в Кяхту, Верхнеудинск и Петровский завод), даровитый Бестужев в Кяхте стал заниматься живописью за деньги. Деньги употреблял на поддержку упавшего хозяйства, полагая про себя, что «остановиться в хозяйстве — все равно, что бросить его совсем». С таким человеком разным несчастьям бороться было мудрено.

На поселении, само собою разумеется, литературные занятия, столь любимые в каземате, многими не были оставлены, но наступила пора разочарований, строгого отношения к себе — этих честных порывов самосознания, в которых следует искать причин тому, что многие литературные труды декабристов не появились на свет, «погрузились в Лету», как выразился один из них. К этому примешивалось еще воспрещение публиковать свои сочинения: поселенцы по закону не имели этого права. Во взаимной товарищеской переписке мы не раз выслушивали эту грустно-настроенную и без раздражения ноту трезвого, спокойного отношения к себе. Многие высказывались такими откровенными исповедями: «В 25 лет тюремной нашей жизни свет очень далеко подвинулся вперед, а мы остановились на одном месте. Ни по языку, ни по интересу изложения, ни по скудости фактов записки (одного из товарищей) не могут увлечь публику; а в теперешнюю эпоху одно увлечение и может играть роль. Тяжело, а должно было ему дать понять и приготовить его к неудаче. Кажется, он согласился, если не изменил своих мыслей после» и проч. «Сколько событий совершилось в 30 лет, что мы сошли со сцены света (пишет другой), и сколько еще совершится неожиданного до нашей смерти! Теперь мы в

5 лет более проживаем, немели прежде во сто». «У меня теперь сохранились черновые трех повестей (сознается третий), но они уже потеряли цену современного колорита». Устоял на своих литературных занятиях больше других А. А. Бестужев (Марлинский) и успел в свое время воспользоваться, как известно, неслыханным до того времени литературным успехом при крупном и несомненном влиянии на читающую русскую публику. Он имел возможность литературным гонораром помогать братьям и отложить 50 тыс. руб. асс. в банк.

Товарищи из богатых, поселившиеся близ Иркутска, благодаря своим столичным связям, привлекли к себе внимание одного из губернаторов Восточной Сибири. По указанию декабристов губернатору удалось отметить для своей деятельности не один слабый пункт, требовавший ремонтов или капитальных перестроек. Влиянию иркутских поселенцев немало обязана Восточная Сибирь в преобразованиях, затеянных энергическим деятелем; и эта служба ссыльных памятна местному населению и передается подробно и охотно всем желающим про то слышать и ведать. Эта заслуга тем более важна была в Сибири — стране, где злоупотребления всякого рода превосходили меру вероятия. Со всех сторон неслись жалобы на угнетение и мольбы о пощаде. Не один Селенгинск, избавленный от притеснения кляузного и бессердечного городничего, но и многие другие местности почувствовали на себе участие людей высокообразованных, возбудивших уважение местных властей и хорошо успевших познакомиться со страной, приютившею их, и с людьми, встретившими их с любовью и гостеприимно. Теми же административными заслугами отблагодарил хлебосольному и гостеприимному краю другой товарищ декабристов, отличавшийся наибольшими сведениями о крае в том же Забайкалье, где он начал ссыльную жизнь, но продолжал долгое время и свободную. Когда Чита назначена была областным городом, Д. И. Завалишин приложил немало труда,

забот и личных способностей к ее устройству при новом назначении; опытные советы его, основанные на знании тамошнего народа, у всех на глазах (при первом забайкальском наказном атамане Запольском) превращались в живое дело при устройстве области и казачьего быта. Ему же удалось сдержать безрасчетные увлечения при заселении Амурского края, вновь приобретенного, и прежде всех определить настоящее его значение далеко не в смысле обетованного рая, в чем силились уверять общество местные поэты, признанные и не признанные. Гораздо позднее, когда по случайности, этой сибирской общественной службе положен был предел, Д. И. Завалишин, на месте иной своей деятельности (в Москве), не перестает делиться запасом образования, опытности и энергии в разнообразных делах благотворения: от вспоможения бедным до обучения неимущих, независимо от тех поручений, которые возлагает на него доверие разных ученых обществ. Долгое время он состоял членом и секретарем Московского комитета грамотности и проч.

Вот с какою просьбою обращался М. А. Бестужев к С. Г. Волконскому, жившему в Иркутске: «Вам, может быть, известно, что за низкая креатура наш городничий, назначенный к нам в градоначальники из жалкого сословия иркутских квартальных... Он дал торжественное обещание нам и всем гражданам нашего города жить миролюбиво, но снова начал низкое поприще кляуз (приводятся примеры). Мы теперь так стеснены, что не имеем права перестроить бани или поставить новый курятник без разрешения иркутской строительной комиссии, мы, которые живем вне всякого гражданского мира, в степи, в притыке неприступных гор... Если вы будете иметь возможность представить все это на вид г. губернатору, то я свидетельствую о благодарности всех наших сограждан, ежели избавите город от этой язвы, отравляющей нашу атмосферу». На письмо это последовал ответ: «Сделано распоряжение к осво-

бождению Селенгинска от городничего, что и будет сделано в течение не более двух недель, через что город может быть спокоен».

Н. А. Бестужев пишет к Д. И. Завалишину (20 мая 1852 года): «Матушка Торсона имеет теперь 88 лет от роду и получает пенсию в 325 руб. асс. после ее покойного мужа. Пенсия эта переходит на дочь после ее смерти. Сверх того, они обе получают ежегодно вспомоществования 500 руб. асс. Но этой помощи далеко для их существования недостаточно, особенно потому, что болезненное состояние покойного вовлекло их в долги и расстроило кое-как заведенное хозяйство. Сверх того, постоянные неурожаи в продолжение 10-ти лет до прошедшего года были разорительны для всех сельских хозяев, а для них еще более по недостатку нужной мужской помощи. Ныне же, по увеличивающемуся здесь военному народонаселению, цены на все удивительно как возвысились. Вот вкратце те нужды, которые представляются на благоусмотрение великодушного п-ва (Запольского). К этому прибавить должно, что желательно очень, чтобы земля, отведенная покойному, осталась за его матушкою и сестрою. Я упоминаю об этом потому, что в указе о наделении нас землею сказано, что это делается по примеру государственных крестьян, а как у них земли, по согласию мирскому, у вдов не отбираются, если все на то согласны, то, кажется, и в этом случае можно поступить таким образом».

От 22 апреля 1854 г.: «Я не перестаю тебя беспокоить своими письмами, но что же делать? Бедный здешний народ так напуган прежде бывшими здесь злоупотреблениями, что думает и теперь без покровительства чьего-нибудь нельзя никакого дела сделать» (следует просьба о рекруте при сдаче).

В письме от 27 окт. 1853 г. просьба о том же, но для нового лица. В письме от 11 окт. 1854 г.: «Старинный наш знакомый Хамба-лама (толстяк) непременно хотел иметь от меня к тебе письмо, чтобы возобновить с тобою

знакомство, ежели вы были знакомы, и познакомиться, ежели не были. Как я ни уверял его, что это вовсе не нужно для такого предмета (на поездку Хамба-ламы — главного ламы бурятского, в Читу), но азиатцы крепко веруют во всякий лоскуток бумаги более, нежели самым убедительным словам, и вот по этому случаю снова беспокою тебя этим посланием. Я всю эту зиму прохворал: пришла моя очередь состариться и припадать к постели, и оживили добрые известия о славных делах наших моряков, но горизонт омрачается. Не знаю, удастся ли нам справиться с англичанами и французами вместе, но крепко бы хотелось, чтобы наши поколотили этих вероломных островитян за их подлую политику во всех частях света. Надобно поскорее занимать Сахалин и ближайшие к нему берега, а иначе англичане влезут к нам в карман. Будем ждать, что будет, а будет то, что Бог даст — сказал Богдан Хмельницкий. Жаль только, что новости до нас достигают только тогда, как на месте, где они происходили, все уже переменялось или давно уже сделалось стариною».

Еще письмо от 28 дек. 1840 г., с ответом на запросы Д. И. Завалишина о разведении дынь, — советы, отличающие опытного хозяина и изложенные в такой упрощенной форме, что так редко пишутся для практических хозяйств книги.

В письме от 27 окт. 1853 года он же (Н. А. Бестужев) шлет к Д. И. Завалишину: «Покойный Руперт выхлопотал для нашего старого города (Селенгинска) позволение переселиться на другой берег Селенги и дал этому новому городу герб: феникса, возникающего из своего пепла. Теперь, когда наш феникс состарился, не достигши зрелого возраста, и даже умирает, думаю, что герб этот приличнее бы было перенести на вашу Читу. Я слышал, что точно читинские развалины устраиваются прекрасным городом. Не будешь ли и ты строить себе нового дома?.. Прошу не забывать меня, старика (я крепко состарился)», и проч.

Конечно, нет ничего, может быть, труднее, как проследить во всех сферах и представить в наглядных фактах то полезное влияние, какое имели так называемые декабристы на Сибирь; но что оно было и неизбежно должно было иметь место, — это несомненно. И мы очень рады, что прежде, нежели сообщим факты, нам лично сделавшиеся известными, мы можем привести здесь известное свидетельство Е. П. Ковалевского о декабристах (из его известного сочинения «Граф Блудов и его время»)¹⁵⁵.

Мы узнали декабристов уже в то время, когда они, искупив свои заблуждения тяжелым испытанием, жили на поселении, распространяя добро между окрестными жителями: или своими знаниями, особенно в техническом отношении, или теми ограниченными материальными средствами, которые иные из них имели, — уважаемые и пользовавшиеся доверием и свободой.

Что же касается до тех фактов, которые стали известны нам лично, то остановимся, по крайней мере, на следующих.

Для всех местных жителей, непосредственно заинтересованных в деле, не было, разумеется, никогда тайною, что в Петровском заводе существовала в каземате большая школа, где дети местных жителей, начиная от достаточных чиновников до неимущих ссыльных, получали, соответственно потребностям каждого, приличное образование, начиная от высшего классического до начального и ремесленного; так что, между тем, как, напр., Завалишин преподавал греческий и латинский языки детям духовного звания, приготавлиая их в семинарию, Н. А. Бестужев и другие обучали иных детей столярному, слесарному, портняжному, сапожному и проч. ремеслам; тогда как одни из детей чиновников приготавлиались для поступления в высшие учебные заведения, другие дети обучались грамоте, но, разумеется, по усовершенствованным методам и проч.

Поводом к учреждению школы была необходимость составлять хор певчих для заводской церкви. И вот

сначала стали обучать детей пению, потом явилась необходимость для лучшего обучения самому пению поучить детей грамоте и т. д. — остальное пришло постепенно само собою. При совершенном отсутствии в заводах других средств к образованию, особенно в приготовлении к высшему для детей чиновников, комендант вынужден был уступить неотступным просьбам родителей дозволить поучить детей в каземате, что для бедных имело еще и то значение, что учившихся в каземате детей кормили там и одевали. До того времени комендант отделялся своим заветным и неизменным «не могу» и, разрешив хор певчих, сначала дозволил учить только читать. Пению учили П. Свистунов и Н. Крюков, а грамоте — два брата Бестужевых.

Надо заметить, что обучение детей в каземате выделялось резко двумя особенно благотворными для них последствиями. Первое было то, что прежде в учебных заведениях в России, куда отвозились иные дети для высшего образования, было предубеждение против детей Забайкальского края, относящее неуспехи их в науках к недостатку у них способностей, тогда как это было просто следствием только плохой подготовки. Когда же был представлен в первый раз в одно из высших заведений в Петербурге воспитанник казематской школы, то он так удивил экзаменаторов и объемом и отчетливостью своего знания, что экзаменаторы любопытствовали узнать, где и кем он мог быть так приготовлен. Председательствовавший при экзамене начальник, который лично бывал в Петровском заводе и сам знал секрет, остановил любопытствующих, сказав им: «Господа, наше дело оценить его знания, а не допытываться, откуда он их получил».

Другая выгодная сторона казематского обучения заключалась в том, что даже и те, кому выпадала скромная доля вещественного труда, уважали свое занятие, хотя по развитию умственному, вследствие полученного в каземате образования, могли бы иметь притязание

на род деятельности, считающейся обыкновенно вышею. До какой степени эта цель была достигнута, можно судить по следующему примеру. Много, десятки лет спустя после того, как с отъездом последних декабристов из Петровского завода прекратилось существование школы в каземате, один из рабочих, получивших и ремесленное и грамотное образование в каземате, узнав из газет о пребывании Завалишина в Москве, писал к нему в Москву и благодарил его за то уважение, которое вселили ему к труду. Он говорил, что вот он давно уже женат, имеет детей, что Бог благословил его достатком так, что он в состоянии не только давать образование детям, но и выписывать книги и даже газеты и журналы, но что при всем этом он не покидает, однако же, своего тяжелого (кузнечного) ремесла и старается внушить и детям такое же уважение к труду, какое умели внушать и ему в каземате. И, конечно, пример людей высшего происхождения и образования, не пренебрегавших никаким ремеслом, никаким физическим трудом, лучше всего действовал на людей, чтобы и в их глазах облагородить тот труд, на который привыкли смотреть только как на тяжелую и часто безотрадную ношу.

То же дело образования во всех его видах и распространение уважения к труду наглядным доказательством собственного примера продолжали декабристы, когда расселились по всему пространству необъятной Сибири. Везде заводились школы, везде бедные получали образование бесплатно; везде являлся пример рациональной хозяйственной деятельности, до тех пор почти неизвестной в Сибири. Везде представлялся контраст деловой жизни высшего происхождения и образования людей с невежеством и пустым препровождением времени большей части достаточных выскочек и даже крупных чиновников. Декабристы являются везде лучшими и практическими деятелями, лучшими наблюдателями и знатоками края, чем местные старожилы; всегда деятельными, не тяготящимися никаким занятием и облагораживающим всякое. Все видели, напр.,

в Чите, что одно и то же лицо (Завалишин) обучало и высшим предметам учеников, готовившихся в высшие классы высших учебных заведений, и не тяготилось обучать грамоте самых маленьких детей, доставляя этим самым уважение и всякому другому лицу, посвящавшему себя тяжелому труду начального преподавания.

У него и мальчики и девочки, и дети чиновников и крестьянские дети учились иностранным языкам и латыни; и девицы изучали геометрию, тригонометрию, алгебру и все получали понятия о механике, физике и химии. Но в то же время крестьянские дети отпускались на полевые работы в деревни, о которых по возвращении должны были давать обстоятельный ответ, а городские дети должны были работать в огороде и все знать средства разведения и приготовления лекарственных растений. Его ученики нередко бывали первыми в корпусе, а ученицы первыми в институте. Далее: все видели в образцовом хозяйстве Завалишина в Чите — хозяйстве, изумлявшем своим совершенством не только местных жителей, но и приезжих из России, вполне знакомых с рациональным хозяйством, — наглядное доказательство, что не только не существует никакого антагонизма между теоретическим знанием и практическим искусством, но что, напротив, соединение того и другого могучим образом содействует и тому и другому. Приезжие видели одного и того же человека, одинаково плодотворно занимавшегося и высшими предметами человеческого ведения, и самыми тяжелыми работами хозяйственного труда, от сохи и косы в поле, от обработки огорода и ухода за скотоводством до постройки образцового дома¹⁵⁶, до всех поделок и исправлений, плотничных, столярных, слесарных и проч. по дому. Поэтому и должны были поневоле все верить, что разумная теория всегда бывает плодотворна и в практическом приложении, а разумная практическая деятельность, точность наблюдения, личный практический опыт дают единственный надежный материал для правильных выводов и теории.

Если мы перейдем теперь к чисто нравственной деятельности, в виде пособия, нравственной поддержки советом и утешением, защите и проч., то тут влияние декабристов в Сибири является и еще в более очевидном и благоприятном свете. Независимо от врачебного и всякого другого рода пособия, от посещения больных и страждущих, декабристы являются защитниками народа против злоупотреблений администрации двояким действиям или представительством высшей администрации, которая всегда могла смело положиться на добросовестное их указание или обуздывая низшую администрацию нравственным своим влиянием, так как были примеры, что люди, самые закоренелые в злоупотреблениях, совестились перед ними, когда боялись, что действия их будут открыты. И вот, по такому нравственному значению их, они, вне всякого официального звания или положения, были во многих местах настоящими мировыми посредниками и судьями, как бы официально признанными самим главным начальством, и были, во всяком случае, лучшими советниками и покровителями народа и даже людей, стоящих выше его.

Постепенное улучшение быта декабристов, живших на поселении, выражалось некоторыми милостями. Между прочим, вдовы умерших, лишенные права возвращения в Россию (так, например, отказано было в этом Юшневской и Янтальцевой¹⁵⁷), впоследствии получили дозволение вернуться на попечение родных (как Нарышкина, урожденная Коновницына, когда мужа ее перевели на Кавказ). Дети, прижитые до ссылки и оставленные в России, поступали на попечения родственников и других людей, пожелавших заняться их воспитанием (так, например, сын Розена жил у полковника Волконского в Тифлисе, и отец, проезжавший Белую-Крыницу, не мог видеть его из боязни подвергнуть воспитателя ответственности). Дети, прижитые в Сибири, должны были вступить в сословие заводских крестьян, но в 1842 году государь, по случаю бракосочетания государя-наследника, соизволил обратить высочайшее внимание

на поступки жен, последовавших в заточение, и решился, в знак уважения, оказать свое милосердие к детям их, родившимся в Сибири. Комитет, изыскивавший средства привести в исполнение волю императора, положил: «По достижении детьми узаконенного возраста, принять их на воспитание в одно из казенных заведений, для дворянского сословия учрежденных, если отцы на то согласны будут; при выпуске же возвратить им права, утраченные отцами их, когда они поведением своим и успехами в науках окажутся того достойными, но, вместе с тем, лишить их фамильного имени их отцов, приказав именовать их по отчеству». Трубецкой дал ответ, что дочерей он боится отдать, предполагая, что разлука с матерью будет для них смертельным ударом. В 1845 году разрешено было жене Трубецкого проживать с детьми в Иркутске до излечения ее от болезни, а мужу по временам приезжать к ней на свидание «с дозволения генерал-губернатора Восточной Сибири, каковое дозволение давать ему с должною осмотрительностью». 19 июня 1845 года государь разрешил поместить в учрежденный в городе Иркутске девичий институт «двух внучек действительной тайной советницы Лаваль, рожденных в Сибири от дочери ее, состоящей в замужестве за находящимся на поселении в Иркутской губернии в селе Оек государственным преступником Трубецким».

Восшествие на престол государя императора Александра Николаевича ознаменовалось в сибирской истории государственных преступников, сосланных за возмущение 14 декабря 1825 года, всеобщим прощением их, забвением прошлого и возвращением прав потомственного дворянства и права возвращения на родину, в Россию. Низшим категориям возвращены и титулы; из первой же категории только Тургеневу возвращены чины и ордена. В Сибири оставались только трое за неимением средств к выезду: Завалишин, М. Бестужев и Ив. Ив. Горбачевский¹⁵⁸. Многие выехали в расчете

на помощь и содействие родных. Другие лишены были того и другого от корыстолюбивых родственников, воспользовавшихся их достоянием; некоторые принуждены были прибегнуть по-прежнему к личным трудам и заботам. Между ними Андрей Быстрицкий не нашел в живых ни одного из родственников и, не имея никаких средств к пропитанию, ходатайствовал о продолжении ему того пособия, которым пользовался в Сибири, то есть 15 десятин пахатной и луговой земли, 114 рублей деньгами и, сверх того, на одежду и паек от 18 до 30 рублей, сообразно существующим ценам на хлеб (то есть всего деньгами от 132 до 142 рублей).

История пребывания в Сибири государственных преступников, участвовавших в заговоре Петрашевского и сосланных в 1846 г., рассказана некоторыми из самих ссыльных по этому делу. Ф. М. Достоевский о пребывании своем и товарища его Дурова в Омской арестантской роте рассказал в «Записки из Мертвого дома», Ф. Г. Толь о пребывании своем на заводе Западной Сибири написал «Записки о К... заводе» и поместил статьи в журнале «Век» 1861 года; Е. Н. Львов о житье своем в нерчинских рудниках напечатал несколько статей в «Современнике» (1861 г. № 9 и 1862 г. № 1).

Часть IV

ИСТОРИЯ КАТОРГИ

Находка рудных богатств. — Чужие работы. — Серебро. — Работы рудниковые. — История нерчинских рудников. — Побег рабочих. — Начальники: грек Левандиан, Суворов. — Самозванец Чернышев, дело о нем и последующая судьба его. — Нарышкин. — Его бесчисленные чудачества и выходки. — Лекарь Томилов. — Купец Копосов. — Воинственный поход Нарышкина. — Взятие им Верхнеудинска. — Воевода Тевяшов. — Немцов. — Аршеневский, Барбот де Марни, Черницын. — Народные предания о последнем. — Теодор Фриш и его жена. — Тираны: Рычков, Аистов, Татаринов. — Золотая лихорадка. — Добыча золота. — Богатства Нерчинского края. — Карийское золото. — Разгильдеев.

ГЛАВА I

НЕРЧИНСКИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ И ЗОЛОТЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Обские звероловы открыли старые заброшенные копи руд на Алтае. Два брата- тунгуса в 1601 году нашли около р. Аргуни следы подобных же работ в Нерчинских горах.

По словам остяков, направил свою горнозаводскую деятельность сын знаменитого Никиты Демидыча, Акинфий Демидов; находка братьев-тунгусов объявлена была в посольстве Головина, приехавшем за Байкал для переговоров с китайцами о мире.

У Демидова оказались через десять лет (в 1739 году) в собственности два завода, 17 рудников медных и 30 со свинцом и золотистым серебром (между прочими — Воскресенский, из которого выплавлено первое русское серебро). В 1744 году Демидов выписанными из-за границы саксонскими мастерами добыл 27 фунт. 18 золотн. серебра и отправил его в Петербург.

Нерчинские руды прямо попали в казенные руки, ведались нерчинским воеводою (Мусиным-Пушкиным) и управлялись греком Левандианом. В 1700 году греки на реке Алтаче выстроили Нерчинский завод и в 1704

году сумели выплавить и отправить в Москву только 1 ф. 24 зол., к 1711 году нерчинского серебра оказалось в наличности только от 8 до 11 пудов, в то время, как Демидов на Алтае, через те же 11—12 лет, в состоянии был представить в Петербург 44 пуда 12 фун. чистого серебра, из которого отделено было 12 фун. и 32 золот. золота.

Работами у Демидова заведовал немец (бригадир) Беер с Булгаковым. Работы в Нерчинском заводе производили те же самые греки с Левандианом, которые сумели отозваться убыточностью производства на Алтае и негодностью руды там, где в настоящее время добывается ежегодно свыше тысячи пудов серебра и больше ста пудов золота.

Путеводителями и указателями в тех и других местах служили курганы и ямы, носившие у русских туземцев общее имя чудских. В одном кургане на Алтае (в Змеиногорском руднике) нашли целого *Чудака*, задавленного горною выработкою вместе с инструментами: кайлом, похожим на нынешнее, но круглым и оканчивавшимся наподобие выгнутого долота. Инструменты были либо медные, либо каменные. При этом медь оказалась отличной чистоты; в кожаном мешке древнего доисторического рудокопа сохранились богатейшие охры. При очистке одной такой же древней копи попались две медные гири с руническим письмом и несколько сот пудов серебряной руды, закрытой земляным пластом толщиной в аршин.

Те же верховые горные выработки наподобие ям или каменоломен (не глубже 5 сажень), известные у сибиряков под общим именем «чудских разносов», указывали на сокровища Нерчинских гор и вели по рудным признакам (землистой медной лазури) к необходимости устройства фабричных заводов на следах чудских работ, называемых култукскими (по имени горы). Отсюда добывались нерчинские руды и свозились на две фабрики Нерчинского завода, устроенные в 1721 году

вместо пятичетвертовых очковых печей. В 1747 году таких рудников имелось уже 6; между 1747 и 1765 присоединились еще 5, к 1777 году открыто новых 4, к 1801 году еще 4; в 1834 считалось всего 12 рудников. В 1792 году при них было уже 8 заводов. В 1740 году открыты были Агинские медные прииски, потом ртутные и серные, затем оловянные и, наконец, с 1850 г., в три года, золотоносные россыпи в урочищах по рекам Куенге и Курлыче, на левом берегу р. Шилки в Гурбанишвирской долине.

В горных покатыях и отрогах, отделяющихся от главного хребта и достигающих одинаковой с ним высоты, гранит поднял на себе и выдвинул известковые скалы. Пространство, находящееся между гранитом и известняком, заполнилось в трещинах рудами оловянно-серебряными. Жилы с таким осадком представляют тот основной пункт, от которого тянутся в различных направлениях другие жилы. По таким жилам — дорогам — доходят до рудных залежей, нагроможденных в одном месте значительною массою. Серебро, обыкновенно, находится в руде оловянной, смешанной с небольшим количеством железной руды; но встречается также и в железной руде, смешанной с небольшим количеством олова. Последняя порода жил принадлежит к малопроцентным, потому что такую жилу труднее добыть из скалы и труднее, чем из первых, отделять серебро. Следы оловянно-серебряных руд в верхних пластах земли попадают очень часто; присутствие сереброносных руд открывается очень часто при пробитии шахт и прорытии штолен в горах. Как только попадали на такую жилу, тотчас закладывали рудник, не справляясь ни с направлением, ни с благодарностью жил; оттого в Нерчинских горах оказалось их там много (до 40) и между ними напрасная трата времени, капиталов и тяжелого людского труда приспособлена была к таким рудникам, в которых работы существовать могли один только год.

Самую богатою рудой считается кристаллизованная, прозрачная и бесцветная; но на такие руды в нерчинских рудниках попадают редко; чаще нерчинская серебряная руда встречается в смеси большого количества олова и плавится легко. Руда, соединенная с охрою, имеет кровянисто-желтый цвет и заключает в себе немного олова и еще меньше серебра. Кроме этих, руды оловянно-серебряные попадают еще в смесях с серою, с железом, кварцом и мышьяком.

Выкопанные и добытые из рудника руды сортируются. Крестьяне и женщины, все физически слабые, толкут и разбивают руды молотками. Пустые породы, как кварц, бросают прочь, а освобожденные руды ссыпают в кучи. Убогие руды превращаются в порошок в толчеях, потом провеваются сквозь сита и перевозятся в желоба, где вода отделяет и уносит обыкновенные и легчайшие части, не содержащие в себе металла, и, кроме того, увеличивает в руде пропорцию серебра. Серно-оловянные руды не подвергаются промывке, но сушатся на огне в больших кучах.

Приготовленные таким образом руды свозятся в заводы, каковых выстроено было в Нерчинских горах ⁸¹⁵⁹. В заводах руды ссыпаются слоями, пересыпаемыми мелким просеянным углем, в печи, называемые шахтовыми, сложенные в одинаковых размерах из кирпича. Таких печей на заводе бывает по несколько (в Кутомарском, напр., их было до 16-ти). Каждая печь обладает собственными свойствами, причин которых выследить невозможно, но каковые знает только работник, всегда работающий при одной печи: иные печи скорее плавят руду, если в них разом насыпят много руды и угля в меньшем количестве. Шахтовые печи имеют в вышину две сажени и наверху отверстие. На одной из стен внутрь идет одно, а в боковой стене два отверстия одно над другим; нижнее во время плавки заляется. От стены передней насыпают руду и уголь, от задней насыпают самый уголь. Ссыпают в печь руду

не одной породы, но взятой из разных мест, и главная заслуга мастера заключается в том, чтобы уметь смешать руды так, чтобы они легко плавилась. Мех, воспламеняющий и увеличивающий печной огонь, двигается либо водяным, либо конным приводом. Когда уже руда расплавится и придет в жидкое состояние, олово и серебро, как вещества тяжелейшие, сквозь все слои угля сплывают на низ, а шлак или окалина через верхнее отверстие выплывает из печи. Два раза на день нижнее отверстие пробивают и выпускают через него олово в формы, сделанные из земли. Шахтовая печь, раз затопленная, не остуживается до тех пор, пока не испортится, что обыкновенно бывает через несколько месяцев. Сообразно тому, сколько вытекает окалины и олова, всыпают в печь в то же время угля и руды.

Отделение серебра от олова производится в плавильных печах, сложенных куполом и обмазанных внутри огнеупорною глиною; с боков печи имеют несколько отверстий, в самой же середине печи находится прямоугольная впадина, глубиною в $1\frac{1}{2}$ дюйма; средняя величина печи бывает 2 сажени. Тут же, сбоку плавильной печи, находится обыкновенная печь, в которой беспрестанно горят дрова; мехи же гонят из нее в первую печь воздух и пламя, которые в ней неустанно, как в аду, кружатся и представляют эффектное зрелище.

Олово, добытое в значительном числе в шахтовых печах, кладется в плавильную, и на него обращают пламя. Олово растопляется скоро, и жидкая масса его не скоро окисляется (т. е. соединяется с кислородом воздуха), а так как недокись олова есть проба легчайшая, то уносится вверх через небольшой желобок, твердея в главных дверцах, и всплывает при помощи людей. Люди вытаскивают его и переносят в маленькую печку, имеющую едва кубический аршин, плотно закрытую и наполненную горячими угольями; здесь недокись олова окисляется, и затем уже получается чистое олово в отверделом виде. Операция окисления совершается в

плавильной печи в 3 либо 4 дня. Серебро, которое трудно соединяется с воздухом, упадет на низ и оседает во впадине, о которой упомянуто выше. Признаком окисления олова служит очень сильный блеск серебра; когда уже олово совсем окислится и серебро получит чрезвычайный блеск, гасят огонь и вливают в печь воды для скорейшего охлаждения, а из впадины выдергивают серебряную бляху, которая называется бликом. Каждый блик имеет наверху различной величины пузырьки, из которых, когда они лопнут, выливается серебро. При свободном охлаждении печи блик встряхивается, и видно, как на его поверхности появляются пузырьки. В серебре попадают частицы золота, которое выделяют уже в Петербурге.

К этим-то печам, наполненным белокалильным жаром, в эти-то штольни, идущие по направлению серебряных жил, на яркий жар заводов и в темный сумрак рудников начали посылать с 1721 года преступников из России, приговоренных к каторжным работам. 10 февраля 1722 года именной указ, объявленный через Сенат, велел освобожденных от каторжных работ в России и назначенных к ссылке в Сибирь в дальние города «послать и впредь таковых посылать с женами и детьми в Дауры на серебряные заводы». До 1712 года правильной ссылки в рудники не было, и все работы производились приписными крестьянами, переселенными из разных мест Сибири в виде рекрут¹⁶⁰. Так, между прочим, при нерчинских рудниках в 1708 году водворены были 104 человека крестьян с реки Енисея, в 1722 году 900 семей из разных сибирских губерний. В 1759 году таких заводских рабочих считалось уже 2132 души, число которых снова увеличено 3398 душами, переселенными из Томского, Енисейского, Иркутского и других уездов и некоторых сибирских городов, не положенных в подушный оклад и показанных под именем посадских и цеховых, а также не занимавшихся торгами и промыслами. Тогда же от нерчинской канцелярии приписаны

к заводам Удинская слобода и Аргунский острог со всеми жителями. Мастеровые из Екатеринбурга, в виде рекрутов, дополнили число опытных, знающих горное дело рабочих. В 1833 году число приписных крестьян считалось уже 17709 душ мужского пола; сверх того, 4124 каторжных мужчин и женщин в работах, 220 детей в счете будущего, 900 рабочих находилось на своем пропитании (из них детей 221), во временном увольнении 116 (при них детей 8) и дряхлых 96. К 1777 году выплавляли серебра от 500 до 600 пудов (из 300 т. руды от 35 до 200 пудов)¹⁶¹.

Новоприбылые рабочие крестьяне обязаны были рубить куренные дрова, разламывать кучи и возить из куреней на заводы уголь, рубить дрова для обжигания флюсов, возить с рудников добытую готовую руду на заводы, также пески и всякие флюсы, потребные к выплавке руд, делать и починять плотины, поврежденные наводнением или пожаром. На рубку дров назначено было время с 15 февраля по 20 апреля. Под опасением пени запрещалось употреблять крестьян в другие работы, но запрещение это осталось на бумаге. Тягота состояла не в этом и не в том, что для противодействия пьянству запрещено было иметь в сибирских заводах винные и пивные заводы и самую продажу производили только по праздникам, — нравственная тяжесть состояла в том, что заводские крестьяне обязаны были работами вечными, без отдыха и награды и, освобожденные от подушного, они все-таки обязаны были предоставлять и детей своих в распоряжение заводов. Рабочие побежали вон, начали делать мелкие проступки неповиновения. Пробовали разделить заводские селения на кварталы и учредить переменные дневные и ночные караулы; построены были будки и сделаны при въездах в селения рогатки. Предполагали со временем окружить все селения рвами и обставить такими же рогатками, но беды не отвратили нисколько. Стал известен начальству всякий новоприбылой, но не

только не пресеклись разные злоумышления развратников, старавшихся склонить заводских и горных людей к преступлениям и побегам, но и в самых селениях не было ни благоустройства, ни безопасности. У ворот в сторожах сели старики, еще находившиеся в силах и, во всяком случае, свой брат. Прибегали ко всевозможным крутым мерам, но заводские — против собственной вины — устояли на своем праве, отбились от рук, и архивные дела вскоре начинают ясно убеждать в том, что о людях перестали думать. Начальство преусердно занялось рудами на вид, на славу и удовольствие высших начальств и на приращение собственных дырявых карманов. В то же время подле источников богатств, обок с рудниками, выстроились селения; таким образом, стало так, что там, откуда бежали даже кочевники, как случалось на Алтае и в Яблоновом хребте, новые люди с готовностью и изумительною быстротою выстроили новые, постоянные и прочные жилища.

Горные начальства разрабатывали старые руды, приискивали новые, распространяли разведки в действующих рудниках, приобретали новые руды. Нашедший руду имел право на получение (но не всегда получал) по полушке с пуда или по серебряному рублю с каждого фунта выплавленного серебра; за каждый пуд полученных из руд: ртути по 5 р., олова по 1 р., меди по 1 р., свинца по 50 к. и железа по 15 к. асс. По 2 р. 50 к. асс. с фунта положено было за выплавки чистого золота до тех пор, пока весь рудник не будет выработан. За открытие прииска или рудника ближе 500 сажен от начальных работ действующего рудника установлено было единовременное вознаграждение, смотря по благонадежности местонахождения. Начальство посылало за поиском руд и нарочные команды, принимало и готовые от разных рудокопов с товарищами; тратило большие деньги на покупку хлеба для рабочих и оставило в архиве множество дел, трактующих о недостатке хлеба у того или другого пристава, в том или другом

месте. Местные неурожаи иногда по несколько лет сряду увеличивали бедствия голодовок и наполняли тяжелыми рассказами первые страницы истории нерчинских заводов: то выпустят ссыльных на поруки, то служащим лицам уменьшат пропорцию провианта до половины — холостым до 1 пуда, женатым до 1½ пуда в месяц. Тянулась длинная война с рабочими, в виду побегов со стороны последних, без уступок и перемирий¹⁶². Затевалась изредка борьба со своими по поводу тайной хищнической выплавки казенной руды (так, напр., писец Юренский тайно плавил богатые руды при Кутомарском заводе). Слышатся непрестанные жалобы на падеж скота и, преимущественно, лошадей, истомленных заводскими работами, не пользовавшимися еще в те времена приспособлением водяных машин. Начальство хлопотало о постройке церквей при заводах, о засевах овса и конопли и о защите заводских работ пушками от набегов воров с китайской стороны¹⁶³, прилагало старание о пресечении появившейся между крестьянами французской болезни, но в то же время — о наборе рекрут, о взыскании с крестьян, не бывших у исповеди, штрафных денег; дела усложнялись, положение заводов ухудшалось. Пробовали освобождать колодников на поручительство «по малоимению хлеба» — отчасти облегчали их участь, как будто давали им возможность набираться силами, но казенные заводы на казенных руках с обязательными подневольными работниками не улучшались с того самого времени, как управлял ими грек Левандиан. Пробовали пересаживаться по способу крыловского квартета, но и этим не достигли цели во все времена; и когда с 1700 г. управлял нерчинскими (тогда назвавшимися аргунскими) заводами рудный приказ, с 1711 г. — иркутское начальство, и когда с 1715—1719 г. опять рудный приказ, с 1719 г. государственная берг-коллегия, с 1736 г. берг-директориум, а с 1742 г. опять берг-коллегия, — в

делах заводских был полный неуспех, они текли медленно, заводы упали.

В 1761 году определен был на заводы командир, генерал-майор Вас. Иван. Суворов, снабженный особою инструкциею Сената, от которого он единственно и зависел. Инструкция эта давала полную свободу его действиям, и затруднения могли быть им скоро разрешаемы. 12 лет управлял он заводами и успел их оживить и улучшить. Он был независим от губернатора, имел право производить в чины до капитана, награждать и наказывать чиновников. Такая обширная власть, по причине большого удаления от столицы, легко могла быть употребляема во зло, но Суворов воспользовался ею в той мере, что остановил злоупотребления горных чиновников и достиг выработки серебра до 240 центнеров. При нем возросло число рудников; построены три самых главных и больших завода: Дучарский, Кутомарский и Шилкинский; найдены новые прииски: Калчинский, Воздвиженский, Шилкинский, Екатерининский, Тайнинский. Частный предприниматель купец Сибиряков, живший в Нерчинске, в значительной степени развил производство, приобретя себе несколько рудных месторождений. В 1774 году открыты были им рудные прииски и построен завод, названный Воздвиженским. По заключенному с берг-коллегиею договору он имел на прииски право собственности; работал на Михайловском, Кильгинском, Воздаянском, Покровском, Цыган-Зеренском и друг. У Суворова он пользовался защитою и покровительством¹⁶⁴. В Нерчинском крае, в соответствии алтайскому Демидову, Сибиряков в то время был единственным и деятельным эксплуататором рудных богатств.

При командире заводов Суворове однообразная деловая жизнь горных заводов подцвечена одним событием, выходящим из ряда обыкновенных, и притом вскоре по его приезде за Байкал, а именно в 1763 году.

ГЛАВА II

САМОЗВАНЕЦ ПЕТР III

В 1763 г. в нерчинские заводы прибыл в партии арестантов солдат Петр Чернышев. Колодник этот под темным именем секретного арестанта заключен был в тюрьму при Дучарском руднике. Никто, конечно, не знал его прошедшего, а в настоящем видели в нем только такого колодника, который требовал более или менее осторожного и бдительного надзора. Используя его днем в рудниковых работах, наравне с другими, на ночь отводили его был в особый, так называемый секретный каземат, где и запирали. Так, по крайней мере, поступали с ним в первое время по прибытии в заводы. Однако, несмотря на всю бдительность надзора, Чернышев успел завести знакомства не только с соузниками (что было, конечно, весьма легко), но и с людьми посторонними — крестьянами. Из этих знакомств более интересное свел он с Иваном Серебряниковым, крестьянином Уровской сотни, деревни Лежанкиной. Крестьянин этот в Великом посту приезжал в Дучарский завод крестить сына и для принятия новорожденного от купели звал в крестные отцы многих заводских служителей, но все они за неимением денег от предложенной чести отказались. Серебряников, верный заветному прадедовскому обычаю, пошел по заводу искать в кумовья первого встречного. Таким, по его словам, на его глаза показался солдат, стоявший в то время у заводской тюрьмы, с двумя арестантами, из которых Серебряников не знал ни одного. Не знал он и солдата (Василия Шорохова), но, тем не менее, поспешил пригласить его в кумовья; солдат, однако, отказался, хотя указал на одного из стоявших с ним арестантов, промолвив: «Зови-де вот Петра Чернышева». Чернышев согласился; солдат Шорохов привел его в дом к священнику Павлу Федорову. Там младенца окрестили; знакомство скреплено

родством, и Серебряников недели через три-четыре, в первый день Пасхи, после заутрени, придя в завод к тюремному острогу, сквозь тын передавал уже своему куму Чернышеву десяток яиц и, пользуясь отсутствием часового, говорил ему:

— Если тебе намерение будет бежать, то ты иди прямо ко мне. Я тебя на дорогу хлебом не оставляю, только ты меня не оговаривай.

Воспользовавшись приглашением кума, Чернышев из тюрьмы бежал, но вскоре был пойман. Для поимки его посланы были во все нерчинские команды строгие приказы с предписанием о возможно скорых розысках, арестант-де опасный, секретный. При этом бывший в дучарской канцелярии первым присутствующим обербергмейстер Лодыгин высказался вслух очень многим тут бывшим в следующих выражениях: «Если бы кто оного Чернышева сыскал и, не убив до смерти, представил, то бы я того человека наградил деньгами, и прямой тот человек — сын Божий». Словами этими особенно заинтересовался ссыльный распоп Лев Евдокимов, который был определен при том же заводе к обучению служительских детей грамоте.

Вмешательство Евдокимова имело на дело крупное влияние, повернуло его на настоящую дорогу. Евдокимов в подобных делах не новичок: он уже в России подчинял свою судьбу судьбе другого самозванца, беглого солдата ланд-милиционного полка Кремнева. Обстоятельство это вынуждает возвратиться несколько назад.

Когда Кремневу удалось подобрать на Дону свиту, уверить по пути многих, «что рекрут и подушных денег 12 лет брано не будет и винное курение будет вольное», когда с такими обнадежениями явился он и в Усманский уезд в однодворческое село Приволоку, а потом в село Новосолдатское, здесь местный священник Лев Евдокимов, в числе первых, поверил неграмотному солдату. Поверил он, как сказано в указе, «без всякого затруднения паче первых (т. е. выборного и десятского) по

распутной и пьянственной жизни своей не только сам, но всех еще вообще, хотя весьма ложными и совсем вероятно недостойными и развращенными доказательствами, подкрепил и уверил»¹⁶⁵.

Дело (по словам указа) происходило так. Евдокимов пришел в избу, где находился Кремнев. Кремнев говорил ему:

— Поп, поминай государя Петра Федоровича!

— Дай Бог ему здравствовать! — ответил поп и потом спросил: — Где он обретается?

— Он подле тебя сидит! — не задумавшись ответил Кремнев.

Евдокимов при последних словах встал с лавки и поклонился. Кремнев снял со стены крест и велел Евдокимову целовать его, а равно руку и ногу. Лев беспрекословно повиновался, а затем пел молебен о здравии государя, поминал его на ектениях и на многолетии и потом рассказывал всем своим прихожанам, что когда он был еще в Петербурге дворцовым певчим, то знал императора маленького и нашивал его на руках.

Уверениям священника из прихожан поддались до того, что стали приходить к Кремневу, целовали у него руки и ноги и называли его императором. Первыми поддались уверениям Евдокимова однодворец села Новосолдатского Осип Федюнин, дьякон того же села Максим Игнатьев и дьякон Василий Федоров, случайно приехавший в село на то время, когда уже около избы Кремнева стояла толпа доверчивого народа.

Толпа эта была велика. В ней, кроме местных крестьян, находилось весьма много и таких, которые пришли из окрестных сел и деревень. Были тут и крестьяне, были и отставные солдаты и, наконец, даже лица духовного звания. Между крестьянами или (как сказано в указе) однодворцами резче других выдавались пять выборных, два десятских. Из отставных солдат отмечены указом три сержанта, вахмистр, два капрала, фурыер, подпрапорщик и даже один поручик (также

отставной). Из лиц духовного звания обвинены в сочувствии делу Кремнева три попа, три дьякона, трое поповых детей, два церковника, дьячок. Сверх того, оказались причастными к делу двое цыган и один воронежский купец.

Приметная цифра лиц духовного звания давала право заключить положительным образом, что все они привлечены были к самозванцу разглашениями Льва Евдокимова, который действовал на них не только личным участием, но и через посредство жены своей и жены однодворца Уколова¹⁶⁶.

К собранной, таким образом, около квартиры Кремнева толпе вышел прежде всех один из крестьян, прибывших в село Новосолдатское вместе с самозванцем. Выйдя к народу, крестьянин закричал толпе: «Становись на колени!» Все повиновались. Затем вышел из избы сам Кремнев, держа в руке крест. Все, таким образом, целовали этот крест, целовали у Кремнева руку и потом ногу, не исключая попов, отставных солдат, поручика Саввы Романова и женщин. Все они были искренни в своих движениях, исключая подпрапорщика Алексея Внукова, который, «хотя, по уверению распопа Льва, у самозванца руку вообще между множества народа и целовал», однако в то же время попу Евдокимову упомянул, что государь Петр III умер, а выборному из однодворцев советовал послать нарочного, чтобы оповестить обо всем случившемся воеводу. Церковник Филипп Петров имел намерение «испросить у самозванца паспорт и не более только, как посмотреть самозванцу в рожу, ушел в дом свой».

Устойчивее в своих действиях и самостоятельнее в личных убеждениях перед всеми другими был все-таки Лев Евдокимов. Когда из Воронежа для поимки самозванца прислана была воеводою Елиным гусарская команда, и приехал потом сам воевода, Евдокимов не только самозванца не отдал, но и народу приказывал не выдавать. Действенными помощниками его в этом

деле были поповы сыновья, из которых Иван Фомин (после того как воевода собственноручно связал Кремнева) говорил самозванцу:

— Если бы я тогда был, как тебя воевода вязал, то я бы пятьдесят человек положил.

И затем не отставал он от самозванца до тех пор, пока его взяли под караул. Точно таким же образом не покидал Кремнева и другой попов сын — Аким Попов. Он успел тайно уйти с ним на другой двор, где обул его в лапти.

Меньшее участие к судьбе Кремнева (после того как он потерял свое дело) оказали отставные: четверо из них «хотя к отдаче оного Кремнева и не способствовали, однако советовали другим, чтобы его отвести в губернскую канцелярию»¹⁶⁷. Отставной же капрал Василий Пальчиков, не оказав никакого сопротивления при аресте самозванца, согласился отвезти его в Воронеж, когда на другой день выборный сделал ему это предложение («препозицию» — как сказано в указе). Выборный Семен Черный, когда пришла команда, Кремнева не только не выдал, но и взятый у офицера приказ держал у себя, а выйдя потом к народу, выговорил, что он за Кремнева кровь прольет.

Тем не менее дело самозванца было проиграно, он скованным был отвезен в Воронеж. За ним последовали туда же и под караул все его сообщники, в числе 69 человек. Указ Екатерины решил освободить Кремнева от смертной казни, но повелел: «В страх другим такого отчаянного свойства людям, во всех тех селах, где он о себе показанные ложные разглашения чинил, при собрании народа, который ему безрассудно повиновался и легкомысленно верил, сечь кнутом в каждом селе по несколько ударов. В обличение же явного его злодейства, привязать на грудь доску, с надписью большими словами: “Беглец и самозванец!”, а в последнем селе, по наказании, выжечь на лбу Б и С и потом послать в Нерчинск в вечную работу.

Евдокимов за все возмутительные преступления, яко нарушитель присяги, народного блаженства и спокойствия и не раскаявшийся о содеянном зле человек, по правам и законам государственным, достоин неминуемо жесточайшей смертной казни. Но мы, однако, по прирожденному в нас человеколюбию и что он, распоп, сии все злодеяния чинил единственно от самого вкоренившегося в нем пьянства и жадности к оному, так и по распутной и развращенной жизни и невежеству, а сверх всего, что он в оном своем злодеянии при расспросе, без истязания, признался также, что сие учиненное им зло никоим образом с разумом и человечеством соображаемо не было, — от смертной казни (оставляя ему единственно последние дни жизни его о содеянном им зле на раскаяние) все милостивейше освобождаем, а повелеваем: во всех тех селах, где он свои клятвопреступнические и изменнические чинил уверения и подписи, учинить наказание по несколько ударов кнутом, привязав на груди доску, с надписью большими литерами: “Помощник самозванцу и народного спокойствия нарушитель и лжесвидетель”. А по наказании в последнем селе выжечь на лбу знаки, двух слов первые литеры, то есть ложный свидетель, а потом послать в Нерчинск, в работу вечно»¹⁶⁸.

В нерчинских рудниках имя Кремнева пропало бесследно, но Лев Евдокимов не изменил себе и о себе напомнил, сделавшись участником подобного же рода дела в самозванстве солдата Петра Чернышева.

Отправляемся следом за ним за Байкал на Дучарской горный завод.

Евдокимов этот, по личному сознанию, начал в Дучарском примечать «и подлинно, он, Чернышев, но отличный ли какой человек». Раз, когда Чернышев уже пойман был из бегов, Евдокимов пришел в мусорную, где на то время наш секретный арестант находился на работе. С ним из солдат никого не было, был только один сторож из ссыльных, Феклист. Евдокимов принес

с собою осьмину вина, поил этим вином сторожа, поил больше Чернышева и спрашивал (вернее, подговаривал, прознав, что Чернышев — человек одного закала с Кремневым).

— Какой ты подлинно человек?

Чернышев с великою клятвою и со слезами на глазах объявил, что он — бывший император Петр Третий, и при этом просил Евдокимова разглашать о том под рукою всем, кого он признает более благонадежными и опасливыми, примолвив:

— Ежели ты будешь разглашать, то нам обоим будет нажиточно.

Евдокимов, разумеется, не замедлил воспользоваться советом и для этого поспешил заручиться товарищем. Попался бывалый и как раз пригодный для дела. Один ссыльный Иван Карпов рассказывал, что, в бытность его в услужении у грузинского царевича Георгия в Москве, Петра III видал и что секретный арестант Петр Чернышев имеет с ним поразительное сходство. Другой приписной из ссыльных, Кузьма Фирсов, уверял, что он действительно Петра III видал в Петербурге в 1763 году в тайной канцелярии, и что Чернышев «на лицо таков же, как и император».

Согласившись и столковавшись таким образом, эти двое из ссыльных начали распространять под рукою и под секретом, что Чернышев не простой человек, и рассказывали это сначала исключительно в одном заводе между мастеровыми и рабочими. Первым поверил их словам плавильный мастер Иван Карпов. В начале 1768 года, находясь в той же мусорной на работе, он, между прочими разговорами, спросил Чернышева.

— Какой ты человек бывал?

На что Чернышев отвечал, что он бывший император Петр Третий.

— Как же ты попал сюда в заводы?

— Бывши в Воронежской губернии для осмотра стоявших там полков, под видом солдата, был пойман и по-

слан в здешние нерчинские заводы в ссылку, не поверя тому, что я такой великий человек.

То же самое сказывал Чернышев еще шести человекам.

Несколько дней спустя, пришел в плавильную фабрику Кузьма Фирсов и при тех же шести человеках долго и пристально смотрел на работавшего Чернышева, а отойдя в сторону, говорил мастеровым, что-де этот колодник не Чернышев, но подлинно Петр III.

Все эти рассказы возымели желанный успех. В тюрьму к Чернышеву начали приходить многие из заводских служителей и дарить ему кто что мог: одни приносили деньги, другие — вещи. Все эти подарки «чинены были единственно в том чаянии, ежели он освободится, то их не оставил бы и от заводских работ уволил». В этом же уверял их и сообщник Чернышева — Евдокимов. Более всех доверился обещаниям как Чернышева, так и Евдокимова заводский служитель Бабин. К нему Чернышев хаживал неоднократно «чаю пить, обедать и получал другие вспомошествования в пропитании», всегда уверяя Бабина в том, что когда он освободится, то сделает его генералом. То же самое обещал Чернышев и другим и, между прочим, пробирному ученику Семену Белому, приехавшему в то время из Большого Нерчинского завода в Дучарский на побывку к отцу — «сереброразделительному мастеру». Отец Семена Федор Белой уже держал сторону Чернышева, водил с ним хлеб-соль и помогал ему во всем, чем только мог.

Устроив знакомства в заводе, заговорщики стали действовать смелее и открытее далеко на стороне. Большую энергию в этом деле показывал, конечно, Евдокимов. Он водил в тюрьму многих крестьян, приезжавших случайно в завод, и показывал им Чернышева. Между прочим, привел он к нему крестьянина Городищенской слободы Петра Забелина, «называемого, по народной моде, Шебаршею». Шебарша видел Чернышева, дал ему два рубля денег, долго с ним разговаривал и, уходя, обещал ему помогать во всем. В тот же день приходит

к Чернышеву в плавильную фабрику сын Шебарши с казаком Тарским. Оба они, «посмотря на Чернышева и не сказавши ему ничего, дали денег каждый по полу-полтиннику» и ушли.

Знакомство с Шебаршею важно было для заговорщиков по тому обстоятельству, что Шебарша этот был крестьянин зажиточный сам по себе и, сверх того, находился в близких и приятельских отношениях с тунгусскими князьями Гантимуровыми. Князья были сильны и богатством своим, и тою материальною поддержкою, которая заключалась в войсках, находившихся в командовании и распоряжении их. Шебарша и в завод Дучарский (когда свел знакомство с Евдокимовым и Чернышевым) приезжал именно по делу одного из этих князей (Алексея) со скотом, который поставлял Гантимуров для заводских людей. Кроме того, Шебарша находился в родственной связи с крестьянином Серебряниковым, первым поверенным самозванца Чернышева.

На основании всех этих данных Евдокимов, с ведома и по согласию с Чернышевым, приходил к нему в 1768 году в Филиппов пост в кузницу, где Чернышев находился в шабашное время на работе, когда других рабочих там не было, и говорил ему о своем намерении послать нарочного с письмом к князю Гантимурову и к крестьянину Шебарше.

— Они, — уверял Евдокимов, — пришлют тебе для пропитания денег и других пожитков.

Чернышев согласился. Евдокимов привел к нему приписного из ссыльных в Уровской сотне Максима Косых, который и писал эти письма под диктовку Евдокимова. Письма эти взялся доставить этот же Косых — и доставил. Вернувшись в тот же Филиппов пост, привез он к этой кузнице и отдал Чернышеву 18 руб. деньгами, 1 пуда говяжьего мяса, 35 фунтов коровьего масла, две туши бараньего, белой шерсти лошадь. При этом Косых сказывал, что князь Гантимуров прислал 4 р. денег, тушу баранины, говяжье мясо и масло коровье без весу; Шебарша — лошадь и 3 р. денег, остальное (по

два руб. денег) — нерчинские казаки Григорий Тарской и Михей Курбатов и другие люди. А князь-де Гантимуров приказывал сказать, чтобы Чернышев, какая ему в пропитании и одежде нужда будет, прислал бы к нему нарочных, с коими-де он и будет присылать к нему все потребное для него и ни в чем не оставит; ему же (князю) самому присылать нельзя. Если он (т. е. Чернышев) хочет на волю, то бы прислал от себя письмо, почему он, Гантимуров, соберет команды своей тунгусов и возьмет его из тюрьмы разбоем, и что он будет повелевать — туда и повезет. «Если же и в завод бы приехали, — наказывал сказать Гантимуров, — там у меня-де ни один человек и в окно выглянуть не посмеет»¹⁶⁹.

Косых за эту комиссию получил денег 30 коп. да саврасую лошадь. Остальные вещи Чернышев передал «для поклажи» двум заводским кузнецам. У них же прятал он и другие подарки, которые поступали к нему в большом количестве. Великим постом того же (1772) года навестил Чернышева его кум Серебряников и принес ему в подарок крупы. Чернышев, воспользовавшись таким благоприятным случаем, просил Серебряникова сходить к князю Гантимурову, на что тот согласился и, вернувшись вскоре в завод, принес три туши бараньего мяса, шубу и 12 руб. денег; кроме того, 5 фунтов коровьего мяса и лисицу. Часть подарков шла от князя, часть от Шебарши и от неизвестных. Чернышев, отпуская кума, велел ему сказать казаку Тарскому, чтобы он разглашения об нем делал исключительно между богатыми. Напутственные советы эти имели успех: Алексей Гантимуров прислал мерлушчатую шубу, крытую китайкою; два других его брата, вместе сложившись, отправили семь рублей денег, братский лама прислал также деньги; некоторые крестьяне подарили волков, шкуры которых Серебряников продал дорогою, а деньги, равно и все вещи, отдал Чернышеву. Чернышев, в свою очередь, часть подарков продавал, другою поделался со своими друзьями, из которых все-таки Евдокимов действовал решительнее и неусыпнее.

Он тем же временем продолжал от имени Чернышева собирать подаяния, которым вел счет и счет этот записывал в собственные свои печатные святцы вместе с именами «милостивцев». Милостивцев этих привелось ему записать в эти святцы свыше десяти человек, а по счету всех пожертвованных денег оказалось налицо более 40 руб., кроме всякого рода рухляди и живности.

Ободренные таким неожиданным успехом в деле, которому они предвидели скорый конец, — особенно после того, как всех их едва не предал пробирный ученик Семен Белой, — заговорщики завели деятельную переписку со всеми своими благотворителями. Сам Чернышев, как оказалось впоследствии, не умел ни читать, ни писать, хотя раз и хвастался перед кузнецами в плавильной, что «умеет по-немецки, по-латыни и по-русски». Переписку за Чернышева вели другие лица: сначала сам Евдокимов (который и прятал все письма у себя в школе под крышею), потом пробирный ученик Семен Белой и, наконец, плавильный мастер Иван Карпов. Другой же Карпов (из ссыльных) читал все присланные письма Чернышеву, и он же сумел склонить на сторону самозванца другого богатого и тороватого крестьянина деревни Батаканской (Уросовской сотни) Осипа Коренева, носившего прозвание Дубленого. Явился к нему Карпов просить милостыни. Дубленый дал ему 50 коп. на всех колодников, содержащихся в Дучарском заводе. Получая деньги, Карпов выговаривал Дубленому:

— Для чего ты мало даешь, да и то на всех колодников? Я прошу на одного только великого человека, которого я знаю и который не Чернышев, а подлинно император Петр III. Потому-то надо послать к нему поболее и при нынешних случаях его не оставить, а он, когда освободится, тогда ничем не оставит и покажет милость: освободит от заводских работ и чем ни есть наградит. Я, Карпов, для него езжу и прошу у многих людей на него для пропитания, почему и есть от многих довольная подача.

Сказав все это, Карпов засвидетельствовал клятвою перед образом. Коренев всему сказанному поверил и выдал для Чернышева 3 рубля денег. Через полгода Карпов приезжал к Дубленому во второй раз и, сказав те же обещания, получил еще три рубля. Еще через полгода приезжал к нему же другой посланный из тюрьмы от Петра Чернышева, крестьянин Серебряников¹⁷⁰, который обещал Дубленому ту же свободу от заводских работ. Дубленый, принимая в соображение, что сын его находился в Дучарском заводе на службе счетчиком и в чаянии будущей свободы, выдал Серебряникову еще пять рублей, а чтобы удостовериться в истине его слов, сам поехал в завод повидаться с сыном и посмотреть на Чернышева. На улице в заводе встретился ему Карпов, который тотчас же попросил у него на Чернышева хлеба и, таким образом, выговорил у Дубленого пудов до 5 ярицы. С Чернышевым Дубленый виделся наедине, долго разговаривал, обещал и впредь помогать. Но, чтобы все это дело оставалось в тайне, рекомендовал ему посредника в лице регистраторского человека. Регистратор сам — как оказалось впоследствии — принимал косвенное участие в деле: хлеб принимали его люди, продавали потом (по 35 коп. за пуд) и деньги приносили регистратору (один Дубленый переслал таким образом до 25 пудов). Регистратор молчал, давая тем возможность сообщникам Чернышева расширить пределы их заговора.

В доме кузнецов, у которых складывали заговорщики лишнюю подарочную рухлядь, сходились они по временам для попок. Вино покупалось в Бянкине. За ним ездили поочередно Карпов (плавильный мастер) и Серебряников (крестьянин). Серебряников на одной из этих пирушек, обратившись к Чернышеву, говорил:

— Ты, Чернышев, как можно из тюрьмы беги и приходи ко мне в дом; я хлебом не оставлю и провожу до князя Гантимурова, а он, по обещанию своему, тебя не выдаст и взять у него уже некому. Князь наказывал мне, чтобы ты прислал к нему письмо своей руки,

а чужим-де письмам он не верит. Тогда князь соберет тунгусов и казаков сот до трех, а, может, и до пяти сот, и тебя сильно возьмет и увезет сперва к себе в дом, а потом представит в Петербург».

Последние советы спутали заговорщиков: во-1-х, невозможно было послать к Гантимурову собственно-ручного письма Чернышева, а во-2-х, они опасались за крайний результат — именно, представление самозванца прямо в Петербург.

Решено было действовать иначе. Побег Чернышева признан был пока единственным средством к приведению в исполнение некоторых намерений, но не всех.

Ив. Карпов (ссыльный), только что вернувшийся с новыми подарками от Дубленого (состоявшими из свежей рыбы, пшеничной муки и куриных яиц), советовал прибегнуть к посредству Дубленого. Дубленого он упросил скрыть их на время в безопасном месте на случай побега из завода. Дубленый обещался перевезти их через Аргунь в лодке на китайскую границу, где найдет им такое место, что их никто не найдет. Пищею также не оставит, только бы приходило их с Чернышевым немного. На тот конец сосед Дубленого, приписной из ссыльных Федор Шулятев, в ожидании их прихода, обещался спать в приготовленной для того лодке. Денег этот Шулятев, по словам Карпова, прислать не мог ни копейки, но письмо к нему посланное получил.

— Потом, когда минется погоня, — говорил Карпов по наказу Дубленого, — Дубленый отвезет нас к Гантимурову на своих лошадях или куда Чернышев сам захочет.

Эта весть и, особенно, самое последнее обещание всем заговорщикам понравились. Решено было произвести побег из кузницы, тем более, что все почти кузницы были их единомышленниками. Случай к тому вскоре представился.

Выбрали для побега так называемое шабашное время, а именно тот день, «когда все кузнецы неведомо для

чего повешены были в конторе». Остались в кузнице только Чернышев, кузнец Хромов и слесарный ученик Лебедев, «которые о побеге Чернышева как-то догадались и в тот час донесли управителю Протодыякову». Управитель приказал Чернышева «к ночам» приводить в контору и содержать там на стенной цени, но следствия о причинах к побегу не производил.

Эта неудача Чернышева возымела успех с другой стороны. С того времени приношения к нему сделались чаще и обильнее, сообщники и помощники его — ретивее: один Серебряников успел сходить к 12 человекам и от каждого из них принести по подарку. Участие к судьбе Чернышева удвоилось с той поры, как он вновь был заключен в секретную комнату дучарской тюрьмы, и когда посетил его адъютант генерал-майора Ивашева, Михайло Панов.

Панов этот пришел в тюрьму вместе с шихтмейстером Грязновым и лекарским учеником Вешниным. Пришел он посмотреть на Чернышева, который в то время содержался при тюрьме «в особом чулане». Молча посмотрев на Чернышева, они все трое вместе вышли вон, но адъютант вернулся назад, потребовал Чернышева в сени, караульного солдата Рудакова отослал прочь, говорил с Чернышевым много и долго и вышел. По дороге он спросил Грязнова:

— Можно ли Чернышеву подать милостыню?

На что Грязнов ему отвечал, «что милостыню подать, кажется, противности никакой быть не может». Адъютант послал с Вешниным три «двоегривенника».

Это пустое, повидимому, обстоятельство подействовало на заговорщиков внушительно, но иным, неожиданным образом. Кузьма Фирсов рассказывал всем, что-де адъютант Панов навещал Чернышева и опознал его императором, а потом и сам генерал Ивашев ходил в тюрьму ночью в халате, осматривал Чернышева и присылал к нему потом (как сам генерал, так и его адъютант) письма. Больше других поверил этому показанию пробирный ученик Семен Белой, которого Фирсов

просил при отъезде в Нерчинский завод наведываться о деле Чернышева и их извещать. Белой, по приезде туда, хотел спросить самого генерала, «но не посмел, а подбросить письмо побоялся». Раз остановил он (Белой) адъютанта на улице и, спросив о Чернышеве, слышал следующее: «Вот я ныне отправляюсь от комиссии в Петербург и об этом колоднике представлено будет, а я и сам видал, что он не Чернышев».

Все это было передано в Дучарский завод и распространено между всеми теми, кому о том надлежало ведать. Особенно горячее участие показал в этом деле плавильный мастер Иван Карпов, вернувшийся в Дучарский завод из Большого Нерчинского, куда был вытребован генерал-майором Ивашевым для гранения ему камней. Этот Карпов рассказывал всем:

— Я голову свою к генералу Петру Семеновичу носил и в приполе и объявлял ему о Чернышеве, что он подлинно Петр Третий, император, чем его, генерала, уверил. Он обещал, ежели подлинно Петр Третий, пожаловать меня поручиком и об Чернышеве хочет отписываться в Петербург и посылает нарочно с представлением адъютанта своего, господина Панова.

Чернышеву же говорил Карпов, что Ивашев скоро будет за ним в завод. Хотел бы говорить еще что-то, но разговору помешали караульные солдаты, которые Евдокимова и Карпова от тюрьмы отогнали, причем солдат Иван Корелин ударил Карпова кулаком по затылку.

Как бы то ни было, но этот Карпов с той поры делается поверенным всех тайн сообщников Чернышева: он ездит по благотворителям их и собирает милостыни, покупает вино, вместе с ними пьянствует и снова едет туда, куда его посылают, беспрекословно, обязательно, хотя и не слишком честно. Так, например, он пропил в кабаке платок, посланный Чернышеву какою-то женщиною; не отдал части денег и не показывал писем, иные из них читал и не дочитывал Чернышеву. Все это

побудило заговорщиков не доверять более Карпову и положиться во всем на Евдокимова.

Евдокимов, однако, не пошел дальше того, на чем уже было раз решено. Евдокимов и в этот раз остановился на побеге; а чтобы успешнее произвести его, подговаривал слесарного ученика Лебедева, кузнеца Тараканова и ссыльного Меншенина. Каждому из них обещал он привести по лошади, а лошадей надеялся достать от Шулятева и Дубленого (Коренева). Шулятев на то время успел уже сам побывать в заводе, повидаться и поговорить с Чернышевым и передал ему через караульных 50 копеек.

Число сообщников увеличилось еще несколькими из дальних крестьян, частью по письмам от Евдокимова, частью по стараниям и убеждениям Шебарши и Серебряникова. Серебряников снова явился к Чернышеву и снова обещал ему содействие и советовал безотлагательно бежать. Евдокимов настаивал на том же, но несколько изменил план. По новым соображениям, они должны были отправиться к Гантимурову, с тем «чтобы от него идти в российские города, куда кому случай допустит».

Между тем, наступило теплое весеннее время, благоприятное для побегов и любимое арестантами, решившимися бежать в лес. Чернышев стал учащеннее получать подарки от благотворителей своих и, в большей части случаев, не вещами, а деньгами. Те, которые посылали вещи, напр., Большаков — тулуп, крытый шанхайскою китайкою, и два конца синей нелощеной китайки — советовали своим доверенным вещи эти продавать и выдавать пособие Чернышеву деньгами. То же велел сделать Шебарша, пославший с Серебряниковым в милостыню Чернышеву лошадь, которая и была продана в городе Нерчинске купцу за три рубля.

Но прошла весна, и Чернышев за бдительным надзором не мог выискать случая к побегу. Случай этот представился ему уже в то время, когда в одном каземате с

ним заключены были два других арестанта — Родион Отопков и Андрей Панов. 29 июня вечером они решились бежать вместе и начать для этого нужные приготовления.

Отопков говорил: «У меня на Шилке изготовлено хлеба печеного, сухарей пуда с два».

Панов: «У меня на Селенге живет брат, он нас отвезет на звериный или на рыбный промысел, где жить хоть до смерти можно».

А Чернышев: «Да и мне обещал кум Серебряников на дорогу хлеба исправить».

«Ладно, — решил Отопков, — вот мы до Шилки тем хлебом и дойдем».

При этом разговоре никого из посторонних не было.

На другой день (30 июня), в шестом часу пополудни, Панов пошел с караульным солдатом за водою, а Чернышев с Отопковым остались одни. Отопков, пользуясь случаем, отодрал с гвоздей доску у «казенки» (куда Чернышева запирали одного на ночь) и приставил ее к той же казенке «налепом», чтобы караульный не усмотрел. Вернулся Панов, вернулся и караульный. Караульный пошел в солдатскую за сменой, все три арестанта остались одни и не медлили: общими силами они в это время выломали доску около печи и заложили то место приготовленным на тот конец войлоком. Тогда пришла новая смена — двое караульных. Чернышева они увели в казенку и, по обыкновению, посадили на стенную цепь. Один солдат лег спать и заснул, другой сидел до полуночи и слушал сказки, которые рассказывал ему Отопков. Подговор Отопкова и этот караульный также заснул. Заметив это, Панов тем временем слез с печи, начал ломать казенку и произвел шум. Отопков молча оттолкнул его и, вынув заранее отодранную ими около печи доску, сам пошел в казенку. Здесь гвоздем отпирал у Чернышева цепной замок в то время, когда сам Чернышев увивал платком бывшие на нем кандалы для того, чтобы они не звенели. Сняв таким образом

цепи, они вышли из казенки. Отопков тем же гвоздем отпер замок и снял кандалы с собственных ног. Затем через отверстие подле печи они вылезли на двор в острог. Через тын пересаживал их Отопков, поддерживая сзади клюкою, по приставленной к палям дранице, обвязанной для большего удобства поперек тряпками. По внешней стороне острога на землю спустились они на кушаке, который укрепил Панов, влезший наверх прежде других. Кончив эту операцию, «оттоле, во-1-х, пошли на гору мимо церкви и, взошед на гору и у имеющих на них, Панове и Чернышewe, желез расшибли кольца, а потом пошли по той горе вверх и, поверставшись прямо здешнего гофшпитала, те железа бывшим у Отопкова долотом разбили и тут положили под камень. А оттоле пошли по хребтам и прочим лесным и пустым степным местам и по убеге на завтра (т. е. 1-го числа июля) в вечеру пришли в падь Уровские покати; как та падь называется — не знали; в расстоянии от реки Урова, например, версты с две, где у Отопкова (незадолго до этого времени бывшего в бегах) сделан был балаган, в котором имелись его сухари с полпуда примерно». В этом стане беглецы ночевали; весь следующий день провели тут же. Вечером пошли к реке Урову и, перейдя эту речку вброд, с версту шли до сопки, на которой и ночевали. Утром следующего дня пошли вниз по речке Урову пустыми «прикрытыми» местами и, в виду деревни, но не дойдя до нее, легли спать на сопке. Между тем наступила ночь. Беглые, пользуясь темнотою, отправились прямо в деревню для того, что Чернышев говорил им: «Пойдем опознавать крестьянина Ивана Серебряникова — моего кума и друга!»

Когда беглые стали подходить к этой деревне, то «тутошные жители или неведомо какие другие люди стали их ловить, почему онн все трое и разбились врозь»: Панов побежал к реке Урову, Отопков за деревню на сопку, а Чернышев обратно теми же местами, какими пришли, к деревне. Те же люди, которые их ловили,

все бросились за Пановым (Отопкова же и след был затерян). Чернышев, между тем, пошел далее хребтами также пустыми и степными «и иными местами, не заходя никуда в жилые места, и шел 11 дней голодом, оттого весьма истощился и пришел в бессилие». На двенадцатый день вышел он Газимурской сотни в деревню Шелопугину и «сам собою», по доброй воле, явился к смотрителю, крестьянину Ивану Корсакову, который выслал его в газимурскую приказную судную избу, а оттуда уже он препровожден был в Дучарский завод.

Вот что показывал Чернышев в дучарской заводской конторе, куда он был потребован из тюрьмы к допросу. В заключение этих показаний по форме он свидетельствовал следующее: «Будучи как прежде, так и ныне в побеггах, воровства, разбоев, смертных убийств и дворовых поджогов не чинил и за другими ни за кем того не знает; становщиков и пристанодержателей никого не знает и ни от кого он не слышал беглых, подобных ему нигде и никого не видал, ночевов и ночлегов нигде и ни у кого не имел».

Панов против показания этого свидетельствовал, что Чернышев посылал караульного солдата за покупкою вина, солдат принес осьмину. Водкою этой Чернышев поил его, Панова и Отопкова. О побеге сговаривались Чернышев с Серебряниковым один на один в тюрьме, куда впускал крестьянина солдат Бубенщиков. Чернышев горорил: «От кума-де пойдем к крестьянину Урульгинской слободы Максиму Плюшину, а оттуда к крестьянину Большакову; он-де меня знает и мне подарки присылал; а оттуда пойдем к князю Павлу Гантимурову в Городищенскую слободу; князь 12 рублей денег с племянником своим прислал и лошадь подарил». Деньги Чернышев отдавал кузнецу Батеневу и мастеру Ксенофонту Данилову, которые на те деньги покупали вино, а Чернышев у них гостил и тем вином товарищей потчевал. Серебряников в чинении разговоров не сознался, но от подачи милостыни на допросе не отказывался.

Отобранный допрос писан был начерно. Бывший управитель Дучарского завода шихмейстер Казимиров показанию ссыльных не давал особенного значения и дело бросил без исследования; новый же управитель Протодьяконов, разбирая дела предместника своего и найдя в допросах ссыльного Андрея Панова важное показание, решился дать этому делу дальнейший ход. Показание это заключалось в следующих словах: «Еще до побега Чернышев уверял Панова, Отопкова и Ивана Карпова, что указ о Петре III, императоре, якобы он умре, написан ложно, а я-де действительно Петр III, император, о чем он многих людей, а особливо кузнецов Данилова и Батенева, также и Зыкова склонял и приводил в свою волю».

«В производстве этого дела, — пишет Протодьяконов в нерчинскую канцелярию, — здешняя дучарская контора приступить смелости не имеет».

Таким образом, по случайному поводу началось все это дело, подробностям которого мы дали место.

В Нерчинский завод свезены были причастные к делу (хотя и не все) и рассажены были за крепким караулом по тюрьмам. Началось следствие, а за ним и та путаница, которая до сих пор характеризует все дела о ссыльных, опытных в делах крючкотворства и всех подъяческих уверток. По мере усиления следствия увеличивалось и число подсудимых и арестованных. Дело, наконец, дошло до того, что горное начальство стало опасаться возможности бунта. Не хватало солдат в команде для постоянного и бдительного надзора за арестантами; самые работы заводские приметно ослабели и чуть-чуть не прекратились вовсе. Дела следствия шли, в большей части случаев, неуспешно. Некоторые из оговоренных не явились к допросу; так, напр., Шебаршу долго не могли отыскать и принуждены были ограничиться заочным его показанием, которое он адресовал, в виде жалобы, в нерчинскую воеводскую канцелярию и все-таки не в нерчинскую горную¹⁷¹. Но все вместе подсудимые старались — по обыкновению —

притягивать как можно больше посторонних людей, с единственною целью затянуть дело на бесконечные сроки и возможно затруднить следователей. Ко всей этой путанице допросов и переспросов, показаний на бумаге и изустных присоединилось еще более запутывающее обстоятельство: найдена была переписка. Переписка эта обвинила многих новых и, между прочими, указывала на одного как на главного, но о котором до сих пор все другие молчали. Этот новый был некто Семен Иванецкий, также ссыльный, некогда друг и благодетель Чернышева, пришедший в ссылку вместе с ним из России. Теперь обстрелянный, Иванецкий вел дела с большею осторожностью и не выказывал той энергии, какая выразилась в неустанном и неутомном товарище другого русского самозванца, приставшем и к этому. Этот Иванецкий жил в Уровской деревне и еще осенью 1768 года писал к Чернышеву письмо следующего содержания: «Премилосердный мой государь, Петр Федорович! Желаю вам здравствовать на многия лета, да при том же о себе уведомляю, что в малом здравии нахожусь от тяжелой печали и великой болезни, малое число глазами вижу. Старость меня постигнула, купно же и нищета: ни рубах, ни одеяния не имею. От вашего здравия ведомости никакой не имею. Чрез сего письмоподателя прошу ко мне написать все обстоятельно: есть ли какая надежда или нет? долго ли нам здесь мучиться? Деньгами меня не оставьте по своей милости, ежели у вас имеются»¹⁷². В тех же бумагах следователи нашли ответ, писанный рукою Евдокимова, следующего содержания: «О чем вы изволите писать и слышать хотите о благополучии, приезжал генерал комисенский отютант, ходил в тюрьму осмотрел Петра Федорыча и поехал с тем в Петербург к государыне и писал к Петру Федорычу, что будь надежен и так буду старание прилагать, как Богу так и тебе буди бланадежен и молись, проси у Создателя нашего, может ваших молитв Господь да послушает»¹⁷³. Иванецкий потребован был

к допросу. На нем от посылки двух писем — одного к Петру Федорычу, а другого к Евдокимову (которое, однако же, не найдено, спрятано-де было под половицу и закладено где-то мохом) — не отказывался; напротив, указал даже на крестьянина Николая Кайгородова, который возил эти письма. Кроме того, Иванецкий показывал следующее: приезжавшие в Усть-уровскую деревню в 1768 году тунгусы неоднократно сказывали, что князь их Гантимуров посылает в подарок к Петру Федорычу, по письмам его, денег рублей по сту и по пятидесяти; дарил ему лошадей, шубы и другие потребные для него вещи и уверяется и им сказывает, что то Петр Третий, и хочет собрать их, тунгусов, и Петра Федорыча силою из тюрьмы взять. Некоторые из тунгусов сказывали, что князь их (но который — Иванецкий не знает) уехал в Петербург, а другие тунгусы приговаривали, это он-де едет из Петербурга, и с ним для взятъя Петра Федорыча идет один полк регулярного войска, и велено-де его взять с честью. И слышали-де (тунгусы), что и он, Иванецкий, прислан с тем колодником вместе и по одному делу. На что Иванецкий тем тунгусам советовал не верить. «Чая, что у Чернышева много денег и других пожитков, то о присылке денег писал письмо в том рассуждении: ведая он об нем, Иванецком, что в ссылку он послан за него, Чернышева, то, может, вспомя, к нему из оных пришет. А честным отцом распопа (Евдокимова) называл для общего успеха в деле».

Наследив, таким образом, главного двигателя заговора в лице князя Гантимурова, канцелярия Нерчинского завода и тут, при всех своих хлопотах и усилиях, ничего не могла сделать. Прибегла к пыткам — и они не помогли¹⁷⁴. Требовала она от князя Степана показаний, но показаний он не давал, хотя и жил в то же время в заводе, в гостях у главного члена комиссии, генерал-майора Ивашева; просили его прийти в канцелярию, он с грубостью говорил посланному унтер-офицеру, что находится у главного своего начальника. В то же время

и сам Ивашев сказал посланному, что Гантимуров состоит в команде его и в канцелярию и к здешнему командиру ходить ему не велит¹⁷⁵.

Взять силою князя Степана Гантимурова заводское начальство не решилось из боязни, ибо Гантимуров вызвал в завод с пограничных караулов более ста человек вооруженных казаков, которых и держал (с ведома Ивашева) в заводе по 20-е число апреля, как бы для защиты и охраны своей личности. «А тех казаков он требовал без всякого уведомления, вдруг, нечаянным образом, когда в них никакой надобности не состояло и представляло нечто чрезвычайное; а над оными казаками и кочующими тунгусами имеет он начальство».

При такой запутанности дел и при тех трудностях, какими обставилось следствие в самом начале, следственная горная комиссия успевала делать немного. Все главное едва ли не ускользнуло из ее рук и ведения. Главного узла всего этого дела она не нашла, а тем более не могла его распутать. Евдокимов ловко отвертывался и далеко прятал концы. Остановившись на собранных показаниях, следственная комиссия додумалась только до очных ставок, но и ставки эти доставили ей новую путаницу. С трудом она, наконец, могла отследить только одно и решить для себя два главных вопроса:

1. Назывался ли солдат Петр Чернышев императором Петром Третьим?

«Назывался неоднократно и сказывался таковым всем, его знавшим и приходившим к нему с расспросами».

2. Что побудило Чернышева на подобное разглашение о себе?

«Разглашал все это не для чего иного, как только из желания получать от доверчивых людей деньги! Разглашать о себе велел другим — также только для своего прибытка, чтобы «привести здешних жителей в сожаление» (возбудить их сочувствие); а возбуждал это сочувствие опять-таки исключительно для того, «чтобы подавали ему деньги и к пище потребные припасы присылали».

На этих показаниях следственная комиссия и успокоилась, признав дело с своей стороны завершённым¹⁷⁶. А между тем, вот что говорило прошедшее этого несчастного человека.

Он был некогда солдатом Брянского пехотного полка, из которого отпущен был в отпуск на родину в Орловский уезд, в однодворческое село Васильевское, сроком на две недели. К сроку этому рядовой Петр Чернышев в полк не явился. На родине украл лошадь. Из полка посланы были за ним солдат и капрал, но Чернышев, дойдя с ними до слободы Куньей, бежал с дороги и очутился в Изюмском уезде в селе Купенках. Здесь он сошелся с попом (потом распоп и ссыльный) Иванецким. В дому у этого Иванецкого Чернышев, раз напившись пьян, при попадье и при дьячке называл себя императором Петром Федоровичем. Об этом же самом уверял он их всех в доме какого-то крестьянина и при этом притворно плакал. Сдружившись с попом Иванецким, он заставлял его петь молебны и всенощную; на ектениях упоминался как император и, будучи в церкви, ходил в царские врата. Вскоре, однако, он был пойман, отдан под караул и отослан к бригадиру Зоричу. Здесь на допросах Чернышев упорствовал в сознании, много лгал, «а что императором себя называл, то это-де в пьяном виде, и замышлял выманить у Иванецкого платье». Называться таким образом научил его один солдат, который за смертоубийство отправлен в Сибирь в ссылку. На этом же допросе сказывал, что раз уже был наказан за воровство шпицрутенами и батогами. Уличенный, таким образом, в преступлениях, Чернышев за ложно вымышленное разглашение, «яко возмутитель блаженного народного спокойствия и государственной тишины, а равно и за учиненное воровство (лошади) и побег и за ложные в допросах показания» избавлен от смертной казни. Вместо нее велено было в селе Купенках наказать его жестоко кнутом и сослать в Нерчинск в тяжкую работу вечно¹⁷⁷.

Подробности этого события сделались известны канцелярии Нерчинского горного начальства уже гораздо впоследствии, через отношение генерал-прокурора князя А. А. Вяземского. До той поры следователи смутно догадывались о деле Чернышева и не могли дать себе ясного отчета об его разглашении. Эта неясность и запутанность взгляда и мнений перешла и в самый доклад, который изготовила комиссия и представила в сенат. Мы представляем теперь только начало и конец этого «доношения» с буквальною точностью в доказательство нашей мысли и в образец того, как казенная форменность слога вообще могла затемнять способ изложения и безбожно искажать в то же время живой, богатый и законченный наш родной язык.

«Понеже, — пишет канцелярия Нерчинского горного начальства, — из производимого в здешней канцелярии дела оказалось, что присыльный сюда Чернышев сам выдумал, его сообщники разглашали об нем, якобы он бывший император Петр III, чем многих уже из находившихся здесь крестьян и другого звания людей и уверили, которые по своему легкомыслию и давали ему великие подарки и намеревались его увезти, в чем многие и сами добровольно признались, а об оном же про Чернышева важном разглашении знали и находящиеся в нерчинском ведомстве тунгусский князь Алексей да князь-Павла сын Степан Гантимуровы, также крестьянин Забелин, он же и Шебарша, и прочие, а паче, что все те, кож у них с тем ложным разглашением были, показывают, что из них князь Алексей Гантимуров хотел означенного Чернышева из-под караула сильно увезти и представить в Санкт-Петербург или отвезти, куда он велит; о чем и оный крестьянин Шебарша сообщнику Чернышева, ссыльному же Евдокимову, как он показывает, объявлял; также и казак Григорий Тарский крестьянину Серебряникову об том же, обще с оным Гантимуровым к Чернышеву приказывали, а его, Серебряникова, подучали, дабы он упо-

минаемого Чернышева увел потаенно и к ним доставил с немалым обнадеживаньем; а сверх того, оный же князь Алексей и объявленный князь-Павла сын Степан Гантимуровы посылали к оному Чернышеву письмо и как они, так часто упоминаемый крестьянин Шебарша давали ему, Чернышеву, великие подарки, чего всего им как для ссыльного, когда б они заподлинно его, Чернышева, так не почитали — чинить никакой надобности не было по рассуждению, что оный Серебряников не подозрительный, то и более показание его принять должно; да и самый оный Чернышев и все его в том сообщники и которые те подарки от них носили, объявляют согласно; почему б ими Гантимуровыми, Тарским и Шебаршею, яко намеревающимися произвести весьма противное, и надлежало исследовать, ибо ежели все оное справедливо, как на них показано, то они, конечно, без тягчайшего штрафа оставлены быть не должны; но хотя из оных Шебарша через нарочного и требован был от нерчинской воеводской канцелярии, в ведомстве которой он состоит, но токмо и он самовольно выехавшему из здешнего завода следственной комиссиию и за показанием об нем, что он потребен для великоважного дела, удержан и еще с непринадлежащим на здешнюю канцелярию, яко бы она его требует для своего корыстолюбия, поношением, то и воеводской канцелярии, без всяких в том основательных причин, предписала. Что ж принадлежит до объявленных князей Гантимуровых и казака, то уже здешняя канцелярия и требовать их почитает за единое в решении сего дела продолжение, ибо когда означенная комиссия прежде писанного крестьянина Шебаршу удерживала, то уже, конечно, объявленных князей Гантимуровых без удержания не оставит же»¹⁷⁸.

«...Следовало бы, — говорит далее доношение, — обратить бдительное внимание на адъютанта главного штаба и члена комиссии Панова, но сделать этого канцелярия не может: во-1-х, потому, что, за множеством

дел и за неимением достаточного числа приказных служителей, канцелярия с трудом управляется и текущими делами (а дело Панова, по важности его, не всякому можно доверить); а во-2-х, если всех оговоренных людей забрать, то не хватит мест для помещения, не достанет и людей для караула, и теперь уже с большим затруднением содержатся арестованные по этому делу и притом в таких местах, где б их и содержать не должно. По неимению же военных служителей употребляется в караул "по крайней неминувости" большая часть заводских служителей. Многие из них отправлены в Петербург с серебром и еще не возвратились и все весьма потребны для заводских работ, а паче, что именным ее императорского величества указом, состоявшимся 1762 г. об уничтожении тайной канцелярии, повелено: буде доноситель имеет и доказательства и свидетелей, что донос его прав, и свидетели с ним объявляют единогласно, то и доносителя и свидетелей и тех или того, на кого донос, забрать под крепкий караул, тотчас доносить со всеми обстоятельствами в правительствующий сенат и ожидать указа. Объявленное дело касается и до обоих, изображенных в том указе пунктов, почему бы здешняя канцелярия, в силу одного указа, и должна была изыскать о всех подробностях того происшествия, но по вышеизложенным обстоятельствам более производства по сему делу чинить не может... Того ради» и проч.

Представление это послано было 3 июля 1770 г. с нарочным в С.-Петербург¹⁷⁹.

Все арестованные по делу Чернышева (17 человек) размещены были по разным тюрьмам: одни в Кутомаре, другие в Нерчинском Большом заводе, третьи в Дучарском; скованными, за крепким караулом. Некоторых назначено было употреблять в заводские работы, но также за крепким и безопасным караулом, до разговоров с ними допускать никого не велено. Чернышев содержался в Большом заводе отдельно от всех. К нему также никого не допускали; кто имел до него нужду —

тех подробно спрашивали, кто приносил подарки — тех задерживали. Чернышев никого не видал.

4 сентября 1770 года состоялся именной указ императрицы Екатерины на имя главного командира нерчинских сереброплавильных заводов, генерал-майора В. И. Суворова:

«Нашему генерал-майору Суворову. Из присланного от вас к нашему генерал-прокурору мая от 7 числа сего года рапорта мы усмотрели, что сосланный по нашему указу на нерчинские заводы природою крестьянин Чернышев, который чинил о себе ложное и вымышленное между таковыми же крестьянами разглашение, а ныне еще оный Чернышев и на заводах чинил таковое же ложное о себе разглашение. Чего ради повелеваем оного ссыльного Чернышева, если действительно от него то разглашение чинено было, за сию его дерзость наказать публично кнутом, при тамошних заводских жителях, при коих он то о себе разглашение и делал и кои ему, может быть, по сущей простоте своей или, лучше сказать, малодушию тому его ложному разглашению поверили, и, заклея, как человека злого и дерзкого, послать в Мангазею вечно, где велеть его употреблять в тяжких работах. Как же оное его разглашение по здравому разуму, достойно сущего презрения, то и следствия никакого о том не производить.

Екатерина».

В то же время (5 сентября) и генерал-прокурор (князь Александр Алексеевич Вяземский) писал к тому же Суворову: «Государь мой, Василий Иванович! Хотя из присланного к вашему превосходительству высочайшего ее императорского величества указа, по рапорту вашему о наказании ссыльного Чернышева, ваше пр-во и можете увидеть, что разглашение его достойно презрения, и потому и следствия никакого производить не повелено, но как из того ж рапорта вашего

видно и то, что уже ваше пр-во об оном разглашении начали производить следствие, а потому и уповательно, что может быть по оному делу забраны люди под караул и содержатся, то ее имп. вел. высочайше повелеть соизволила к вашему пр-ву отписать, чтоб, по получении сего, всех тех людей, кои по сему делу к следствию были привлечены, из-под караула освободить и, освобождая их, а равно и кто именно забраны были по оному делу под караул и по каким подозрениям, для донесения ее имя. вел-ву ко мне отписать; при сем же прилагаю изображение вин помянутого ссыльного Чернышева, которое, как он выведен будет на публичное место к наказанию, изволите приказать, при собрании народа, вслух ему прочитатъ и по тому повелевное наказание учинить, ибо чрез сие самое народ узнает и прежние его плутовства. Впрочем, пребываю и проч.».

13 октября того же года и тот же генерал-прокурор делал дополнительное предложение и писал из Петербурга Суворову в Нерчинск советы¹⁸⁰. Но уже было поздно: Суворов поспешил привести указ императрицы в исполнение.

2 ноября получили свободу все те из арестованных по делу Чернышева, которые содержались под караулом в Большом Нерчинском заводе, таковы: плавильный мастер Иван Карпов, ссыльные: Лев Евдокимов, Кузьма Фирсов, Федор Коренев (он же Дубленый). Затем распущены были по домам и остальные люди, размещенные по тюрьмам кутомарской и дучарской. От каждого из них взяты были подписки, «дабы они отнюдь впредь такому ложному разглашению не верили и об оном, почему они содержались, никому не сказывали, под опасением, в противном случае, неопустительного штрафа».

4 ноября совершена была в заводе казнь над Чернышевым «при собрании здешнего завода жителей, и изображение вин прочитано и наказание кнутом учинено». На третий день (6 ноября) Суворов поспешил совер-

шить над Чернышевым и второе наказание: деятельно озаботился отправкою его на место новой ссылки. Для сопровождения Чернышева назначены фурыер Лазарев и солдат Рудаков. Им выдано жалованье и амуниция вперед за целый год (по 1 руб. 12 $\frac{1}{2}$ коп. на мундир 1 руб. 59 $\frac{3}{4}$ коп. за выплавленное серебро; всего по 2 руб. 72 $\frac{1}{4}$ коп.). Чернышев получил шубу, рукавицы («голицы с ворогами») и на чулки сермяжного сукна три аршина. Для дороги, на казенный же счет, заготовлено было двое саней («обшевней»), фурыеру Лазареву — по форме — выдана была инструкция, в которой, между прочим, приказано: «Принят Чернышева скованного и вести таковым под крепким караулом, с коим никого ни до каких разговоров не допускать и самим о неподлежащем не разговаривать и от утечки хранить неослабно, а для пропитания давать по две копейки на день; звать в Мангазее в воеводскую канцелярию» и проч.

При отправлении Чернышева нерчинское горное начальство встретило весьма важное затруднение: оно не знало количества верст до места назначения Чернышева, смутно имея представление о том, что надо его везти по направлению к Иркутску. Нерчинская канцелярия из этого недоразумения и неведения выпуталась таким образом: она выдала прогонные деньги до Иркутска, где просила губернатора (генерал-майора Бриля) выдать прогоны до Мангазеи. Но и в Иркутске решились выдать их только до Енисейска (на 1137 верст), и уже енисейская провинциальная канцелярия должна была снабдить приставников Чернышева деньгами до Мангазеи¹⁸¹.

18 февраля 1771 года канцелярия нерч. горн. нач. рапортовала генер.-прокур. Вяземскому следующее:

«Чернышев, по учинении повеленного наказания, отправлен был с нарочным в Мангазею, который, по привозе в город Енисейск от тамошней канцелярии, за прилучившеюся ему болезнью и что от Енисейска до Мангазеи зимнего тракта нет, — удержан был до

будущего весною отправления в оном Енисейке; а сего февраля 17 дня она, енисейская канцелярия, присланным рапортом объявляет, что оный Чернышев, с самого в Енисейск привозу, будучи содержан в тюремном остроге, под крепким караулом, находясь в болезни, на 6 число минувшего января сего 1771 года умер, который надлежащим порядком и погребен».

Излишняя ли скорость поездки или излишнее рвение местных начальств были причиною такой скорой смерти Чернышева — об этом мы не имеем данных. Знаем только, что ему было от роду всего только 36 лет, а по рапорту енисейской канцелярии, что в Енисейск он прибыл без теплой одежды и уже серьезно больным. Остановлен он был в тюрьме столько потому, что до Мангазеи нет зимнего пути (большую половину которого ходят на лыжах или ездят на собаках), сколько же и потому, что предполагали будущую раннюю весною отправить Чернышева на казенных барках, которые ежегодно отправляются с казенною солью.

Чернышев погребен был за вечернею при енисейской Богородицкой церкви. После него остались собственные его пожитки: войлок, небольшая подушка и одно ветхое овчинное одеяло без покрывки; все эти вещи определено распродать, «а и еще имелась при оном арестанте данная казенная шуба, коя, будучи в болезни этого арестанта, под него подстилана и что он гнил и с места не вставал, оттого и сгнила, и затем брошена», — темно и запутанно, но тем не менее красноречиво писала 19 января 1771 года енисейская провинциальная канцелярия в канцелярию Нерчинского горного начальства¹⁸².

По отъезде Суворова власть и административная сила в руках сумасбродного, полупомешанного преемника его, Нарышкина (Вас. Вас), превратилась в орудие самого бестолкового и безобразного произвола. Командованье Нарышкина до такой степени своеобразно, что мы решаемся говорить о нем подробнее.

ГЛАВА III

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НАРЫШКИН

Через четыре года после рассказанного нами события на место знакомого уже нам генерал-майора В. И. Суворова приехал из С.-Петербурга в нерчинские заводы новый главный командир — коллежский советник В. В. Нарышкин — бывший прокурор комерц-коллегии. Суворова нашел он еще в заводе и тотчас же по приезде озаботился выдачею ему прогонных денег на 10 подвод (на 7009 верст — всего 544 руб. 97¹/₂ коп.) до Петербурга, куда просил себе Суворов увольнения по болезни.

2 мая 1775 года приехал Нарышкин в Большой Нерчинский завод — центральное место всего управления, 4 мая уже вступил в командование заводами и занялся его делами с изумительною ревностью. Ровно одиннадцать месяцев не выходил он из своей квартиры, и никто его, кроме должностных лиц и докладчиков, никогда и нигде не видел. Как это все действовало на арестантов и заводских служителей, по делу о Нарышкине не видно, но по дальнейшим его распоряжениям мы можем убедиться в том, что затворничество главного командира не прошло для заводов без благодетельных улучшений и более или менее разумных распоряжений на первое время.

«Рассматривая состояние заводских крестьян, — писал он в нерчинскую заводскую контору, — нашел я некоторые их селения утесненными и недостаточными в землях, а, напротив того, зная, что заводские офицеры (получая от казны с жалованьем и рационы, равно как и сам я) пользуются землями для своих пашен и сенных покосов, то дабы крестьяне получать могли возможные выгоды и не терпели бы в землях недостатка, коим, по всей справедливости, они принадлежат больше всякого состояния людей, отныне запрещается всякому офицеру или в службе находящемуся человеку, сверх

своего определенного жалованья, владеть землями, что наблюдать при заводах и рудниках управителям; землю офицеры обязаны нанимать повольно у крестьян; из сего правила исключаются места, лежащие в отдалении и в совершенной пустоте». Таким решительным распоряжением начал Нарышкин свое управление заводами, устремляя внимание преимущественно на крестьян, быт которых его особенно заботил. Видя трудность их положения относительно платежа податей и исправления заводских работ, он поспешил привести все это для себя в ясность. По его соображениям и по расчету оказалось, что заводские крестьяне платили впятеро больше, чем соседние государственные крестьяне. Чтобы облегчить их участь с этой стороны, он отдалил сроки для сбора подушных денег и вместо мая назначил июнь, а с другой — упразднил право располагать крестьянскими работами, направление которых до этого времени зависело от заводских контор. В то же время освободил он заводских крестьян от излишних работ, назначаемых тем из них, за которыми осталась казенная недоимка. При этом Нарышкин высказался, во всеобщее известие, следующим образом: «Должность начальника не только в том есть, чтобы пользоваться лестною при первом виде казне выгодою, но примечать того: не ведет ли она с собою, на настоящее и будущее время, какого неудобства и, вместо пользы, не может ли произвести вред».

На основании этих убеждений он поспешил сложить с крестьян все заводские работы, определенные на 1777 год, и с тем, однако же, чтобы настоящие они «исправили в положенное время неотменно», обещая неисправных употребить в каторжную работу. Возить руду со всех рудников и во все заводы дозволил каждому крестьянину, прибавив по два рубля на каждую тысячу пудов, и деньги за возку приказал «выдавать стараться без малейшего промедления, чтобы этим самым больше возчиков приохотить». Для устранения злоупотребления назначил надежных смотрителей.

«Для сохранения лучшего и доброго порядка между крестьянами» он учредил в помощь старостам должности двух судей, которых выбирают сами крестьяне, а начальство только приводит к присягв. 4 июня того же 1777 года указом своим уничтожил в селениях приказные избы, переименовав их в земские суды. Судам этим дал наставления относительно земледелия и сельского хозяйства. В «наставлениях» этих Нарышкин успел показать в себе практического и знающего человека. Говоря о хозяйстве, входит в мельчайшие подробности и обличает в себе большого знатока дела и замечательного практика, хотя в правилах о домообзаводстве рассыпал много утопий, но в то же время высказал много дельных замечок¹⁸³.

Наставления и правила эти он велел читать крестьянам по церквям, а в тех местах, где церковей нет, предписал собирать крестьян в земские суды.

Уходя дальше в своих заботах о земледелии, Нарышкин увеличил число запасных магазинов, но хлеб предполагал складывать только на один год. Хлеб закупал сам и продавал его неимущим по казенным ценам; нередко отпускал в долг. Заботился о разведении в Аргунском остроге конопли и собственноручно писал правила и руководства для ее мочки. Исправных старшин, являвшихся в канцелярию с дельными, правдивыми и честными отчетами, угощал у себя в квартире и обдабривал; с тем вместе, обо всех таковых публиковал во всеобщее известие.

В Аргунском остроге Нарышкин намеревался построить для престарелых и увечных крестьян богадельню, а в Нерчинском заводе прилагал сильное старание к тому, чтобы существовавшую там школу привести в лучший порядок «колько возможно, и учеными людьми завестися». Всех учащихся и учащихся собрано было до 77 человек. 21 апреля 1778 года училище было открыто и поручено в дирекцию способнейшему человеку, Николаю Иринархову¹⁸⁴.

Таков краткий перечень всех тех распоряжений, которые характеризуют заботливость нового нерчинского командира о заводских крестьянах. Насколько они имели успеха в практическом применении — по делу о Нарышкине не видно. Известно только то важное и характеристическое обстоятельство, что Нарышкин через полтора года после своего приезда в завод получил от крестьян Уровской сотни благодарственное письмо и две «кормленных коровы» в подарок. Крестьяне писали ему: «Мы от тебя наставления получили, мы то узнали о Боге, государе и ближнем, чего не только не слыхали, но и никто нам о сих вещах не сказывал. Вы всех своих, позвольте сказать, овец пихаете собственным обедом, не занимая от нас ни фунта хлеба, с разбрасываньем не мало нам же денег, поя притом вином». На эти весьма замечательные строки Нарышкин отвечал также подарком (двумя империалами) и письмом. В письме своем он пишет, между прочим: «Упоминаете вы, что в бытность мою здесь не требую я от вас хлеба и всего тому подобного даром, но собственно сам угощаю вас наивозможным образом, — поверьте, друзья мои, что я здесь, по власти царствующей над нами государыни, не разорять пришел, но доставить каждому из вас, koliko могу, благополучную жизнь и добрую надежду».

В своих хвастливых уверениях Нарышкин, по-своему, был прав, прав именно в тех убеждениях, к которым он пришел после внимательного знакомства с состоянием заводов и после рассмотрения всех дел, относящихся до общественного быта как крестьян, так и каторжных. Вот к каким положениям пришел Нарышкин и вот что объявлял он, в одном из своих указов, во всенародное известие:

«Прежде, нежели я вступил на степень здешнего правления, земледельцы не имели способного для них земского правления, но всегда управляемы были посылаемыми от канцелярии здешнего горного начальства управителями и приказчиками, из коих многие (как

мне известно, по доходившим до меня просьбам) не как верные рабы своей государыни и истинные сыны отечества учреждали свои поступки к пользе и спокойствию врученных им сограждан, но, предводительствуемы будучи одними страстями и порочным самолюбием, отягощали бедных землевладельцев гнусным своим корыстолюбием и взятками». Управители не только не старались поощрять крестьян к работе и приводить земледелие в цветущее состояние, но, «продолжая алчность богопротивного именовлюбия», отрывали крестьян от обыкновенных работ и тем доводили земледельца до уныния и нерадивости. «И как надлежало земледельцу чудные натуры руководством продолжать свое полезное отечеству делание, т. е. пахать землю и сеять хлеб, не пропуская времени, дабы оный успел к своему созреванию в удобное время», эти начальники находили для себя таковые дни золотою жатвою. Прицелившись несправедливым образом, они нагло «вымучивали деньги и скота, и считая, что крестьянин, имея нужное время в своем земледелии, не пощадит отдать последнего имущества, дабы успеть в своем богоугодном предприятии». От этих проволочек в самое нужное для посева время крестьяне остались без пропитания, в отягощение обществу, а истощив последнее имущество на пищу, «не имели чем заплатить государственные положенные подати». «От таковых поступков столь почти далеко произросло все вышеписанное зло, что не осталось почти сотой части крестьян, которые бы не состояли за несколько лет обыкновенных податей под недоимкою. От сего иногда государственная казна терпит недостатки и в случае нужных для пользы отечества учреждений терпит остановки. Сверх того, ежели паче чаяния (чего, Боже сохрани!), в случае недоимки, то не думаю, чтобы во всем здешнем ведомстве могло сыскаться таковых сто семей, которые бы, через годичное время, могли пропитать свое семейство. Из чего ясно можно видеть (в рассуждении отдаленности здешнего

места от всех, обитаемых земледельцами мест), какая может произойти гибель человеческого рода, а государству ущерб».

Не щадя далее самых льстивых и мудреных выражений, чтобы возбудить к себе народную привязанность и доверие, Нарышкин не щадит заводских чиновников. Не щадит он их и фактически, на самом деле. Уставщика Семена Белого, который отважился препятствовать хорошей плавке руд и сделал вместо назначенной ему другую смесь, чтобы лучше прежнего не было — велел Нарышкин прислать «бездельника скованного». Таким образом, преследуя взятки, похлебства и в делах поноровки, одного чиновника разжаловал в рабочие за то, что нашел у него поклонное: деньги, соболей, лошадей и штоф французской водки. Прапорщика Тыркова, уличенного в деланье кредитных билетов и в распространении их в народе, заковал в цепи. Шихтмейстера Борщина лишил чинов и записал в рудокопщики третьей статьи.

Открыв в Шилкинском заводе злоупотребления по утайке руд (когда приемщики приписывали излишнее количество руд и угля, а избыток записывали в расход), Нарышкин решил серьезно подумать об искоренении злоупотреблений. Меров для этого он предположил прибавку служителям и чиновникам жалованья, что и привел в исполнение¹⁸⁵, но не имел успеха. Вскоре он убедился в том, что зло пустило корни гораздо глубже, чем он предполагал, и потому прибегнул к другому средству. В секретари себе он выбрал двух секретных колодников — Алексея Исакова и Ивана Жихарева, назначив им обоим по 60 руб. в год жалованья, и придал им в помощники еще трех человек и также из числа секретных арестантов (Трифона Карпова, Матвея Семенова и Замятина) и также с приличным жалованьем, хотя и наполовину против прежних двух¹⁸⁶. Из остальных ссыльных (331 человек) с обыкновенной трехденежной платы в день свел в окладное

жалованье. Многих производил в чины и определял в писарские и другие должности по своему усмотрению. Вообще, в трате казенных денег не стеснялся, вел себя, как самовластный и неограниченный повелитель, драл батожьем и не сказывал, за что — «известно-де мне единому». Указом запретил ссыльных называть варнаками, храпами, арканниками и чалдонами и «тем без нужды, напоминая колкие слова, не отваживались бы, а кто сие учинит, такой, яко не повинующийся, жестоко наказан будет, ибо ссыльные люди имеют такое же чувство, как и все прочие, хотя они перед Богом и государынею прегресли». По поводу одного беглого из Дучарского завода писал: «Я всякому, во всех командах имеющим, от притеснений и неудовольствий бежать к покрову императорскому позволяю. Я самый исполнитель воли всеавгустейшей Екатерины II и под покров ее всех страждущих, обижаемых и стесняемых приемлю и делаю справедливые разбирательства. Всякий бездельник, ябедник и клеветник, не хотящий трудиться в своей должности, так как недостойный воззрения императорского, не будет принят под покровительство, а как богоотступник, изверг человеческого рода, по мере своего преступления, неупустительно накажется».

Насколько Нарышкин был искренен в своих верно-подданнических чувствах, можно судить по тому, что тотчас по приезде быстро выстроил, по желанию императрицы, около Кутомарского завода вододействующий завод, в самом же заводе соорудил храм во имя св. Екатерины «в честь великой и славной царствующей государыни», как выразился он в объявлении, назначенном во всенародное известие.

Завод водяной окончен был к 29 июня — дню восшествия Екатерины на престол¹⁸⁷.

Устанавливая собственные праздники¹⁸⁸ и освобождая ссыльных от работ на неделю, на 10 дней и более (с сохранением жалованья), Нарышкин в оправдание себя говорит, что он делает это, «дабы все были в великой

радости и воссылали молитвы о многолетнем монархии нашей здравии, пекущейся о тишине и спокойствии».

С особенною торжественностью праздновал Нарышкин день рождения Екатерины, 21 апреля, 1776 года, спустя несколько дней после того, как он решился оставить свое уединение и показаться народу¹⁸⁹.

После обедни в заводской церкви сделал производство в классные чины: маркшейдера Головачева — в коллежские асессоры, четырех гиттенфервальтеров — в секунд-майоры, четырех берг-гешворенов — в премьер-майоры, восемь шихтмейстеров — в берг-гешворены (из которых одного в берг-гешворены и капитаны, а другого — в берг-гешворены и поручики); двух гиттенфервальтеров — в берг-гешворены, трех унтер-шихтмейстеров — в шихтмейстеры; некоторых канцеляристов — в регистраторы, некоторых копиистов — в канцеляристы, регистраторов — в аудиторы и проч. и проч. Всего, таким образом, произведено им 127 человек. Все они, после обедни, приведены были Нарышкиным к присяге. Торжество это привлекло потом к дому главного командира огромное количество окрестного народа и всех до единого заводских жителей. Нарышкин вышел к народу, говорил ему речь «о Боге, о государе, о должности к ближнему, о повиновении к начальникам». После этой речи всем собравшимся он поднес по стакану вина, каждому дал по три аршина тонкого холста и посадил за столы, приготовленные на 600 человек. За малым столом после обедал сам Нарышкин и с ним вместе по два человека ссыльных, заводских служителей и солдат, «самых дурнейших». «Причем услужены были (т. е. услуживали им) штаб и обер-офицерами, достойными сей человеколюбивой чести», как сказано в описании, составленном по приказанию Нарышкина и приложенном к делу о нем, из которого и берем все эти подробности.

После обеда Нарышкин, в своих покоях, угощал на 90 кувертов «знатнейших сего места особ»¹⁹⁰. Всем обедавшим за прочими столами он выдал каждому по 10 копеек денег, как служителям и солдатам, так равно и всем ссыльным. После этой раздачи палили нещадно из пушек, стреляли из ружей. Вечером в доме главного командира открылся бал, во время которого также немало выброшено было народу денег. Бал кончился на рассвете. «Приведенная из здешнего батальона рота производила через всю ночь пальбу» и получила за то награждение в 350 руб. После пробития вечерней зари зажжена была иллюминация.

Все эти поступки Нарышкина, как растрата казенных денег, так и унижение чиновничьего достоинства, естественным образом вскоре же породили ему многих врагов. Первым из них заявился заводский лекарь Томилов. Томилов, раз поссорившись за что-то с сыном своим, шихтмейстером Александром, начал его бить. Александр Томилов выговаривал отцу:

— Батюшка, что же ты меня бьешь и для чего braniшь? Я ныне офицер, пожалован главным командиром Василием Васильевичем Нарышкиным.

— Главный командир, — отвечал на это лекарь, — приехал сюда не дела делать, а только казну расточать да порох расстреливать и пьянствовать.

Речи эти доложены были Нарышкину, признаны непристойными, и лекарь был посажен в тюрьму. Здесь вынудили у него сознание, что он все это говорил в пьяном виде.

Затем Нарышкин, желая показать себя великодушным, писал во всеобщее известие:

«Как с одной стороны рассуждения лекаря Томилова, яко весьма неважной особы, никак не могут вредить чести моей, то я всеми его рассказами презираю, а с другой стороны, внушая подчиненным своим кротость и великодушие и будучи сам христианин и человек, снисходя к слабостям человеческим, прощаю в пример другим лекаря Томилова в обиде, касающейся до моей

особы, соболезнуя, что сей человек, не чувствуя все делаемые мною увещевания, до такой крайности напивается, что, потеряв рассудок, говорит дела, о которых в трезвом уме не помышляет и помышлять никаких причин не имеет, кроме взятия мною из казны некоторой суммы денег, о которой уже ее императорскому величеству донесено. Почему лекаря Томилова, обще со всеми, по его делу под арестом содержащимися, освободить» (мая 5 дня 1776 г.).

Высказавшись таким образом в бумаге этой, как избалованный и гордый придворный расточительных времен Екатерины, Нарышкин и при дальнейших распоряжениях своих не стеснялся в личном произволе, как бы доказывая тем, что он никого не боится и что в Петербурге при дворе у него покровительствующая сила. Предание говорит, что Нарышкин был крестником императрицы, а дела его — что он был столько же избалован широким размахом тогдашней придворной жизни, сколько и сам наделен был от природы широкою, так называемою русскою натурою. Выйдя из уединения на свет, Нарышкин как будто с этой поры изменился, стал иным человеком, чем тот, каким мы видели его до сих пор в административных его распоряжениях. От обаяния ли собственной власти в отношении к заводам или под влиянием протезирующей силы при петербургском дворе, Нарышкин с этой поры начал действовать с большою решительностью. Решительность эта увлекла его в безумный произвол, а произвол сделался и нелогичным и повел за собою неправильные поступки. Неправильные поступки ввели его в преступления против закона и прав человеческих — и Нарышкин погиб под тяжестью собственных деяний, запутавшись в то же время в тенетах, расставленных многочисленными его врагами, в которых он видел до конца своих искренних и нелицемерно преданных друзей. Но возвратимся к прерванному рассказу.

Купец Копосов у вдовы Шепетковой за долг (пяти руб.) отнял дом. Вдова жаловалась главному команди-

ру. Нарышкин заплатил купцу долг из собственных денег, но Копосов предъявил к вдове долгу еще 9 рублей. Тогда Нарышкин велел его бить батожем «яко притеснителя бедных, как недостойного быть в здешнем обществе», и выгнал его из завода. Затем он разослал по всему пути (который должен был совершить Копосов) ордера, чтобы заводские управители высылали купца из заводского ведомства. «А между тем, чтобы сей корыстолюбивый стяжатель не пользовался торгом здешнего места», Нарышкин приказал маркшейдеру Головачеву описать товары и лавку Копосова и с ним вместе из всего заводского ведомства эти товары выслать «с таким подтверждением, чтоб дорогою никто у сего гнусного и самовольного обидчика не покупал». Управитель Городищенской слободы обязан был выпроводить Копосова из границ Читинского острога. Перед отправлением из Нерчинского завода, Копосову выдана была подорожная, но за двойные прогоны. Обо всем этом (21 мая 1776 года) сообщено было во все места Нерчинского ведомства.

Гонение на купцов Нарышкин этим не кончил. Зная, что заводские обыватели покупали все у приезжих купцов дорогою ценою и, платя серебром, впадали в крайность; принимая также в расчет и то, что купцы деньги увозят с собою, а особенно серебро, «отчего вся оная отдаленная часть государства остается без денег, и крестьяне, вместо возможного обогащения, разоряются», — Нарышкин выдумал новые крутые меры. Меры эти, не основанные ни на каких особенно дельных и практических основаниях, состояли в том, чтобы купцы записывались при заводах на житье. С 1777 года он решил не позволять больше торговать «этаким наездным образом». «Правление заводов, — пишет Нарышкин, — лучше предоставит себе стараться о продовольствии жителей, нежели согласится оставить их торг на нынешнем основании. Люди (но отнюдь не беглые, а такие, которые бы способствовали восстановить

благосостояние общества своим добрым заведением торгу) поступают под защиту и особенное покровительство заводского начальства».

Увлеченный, таким образом, только внешнею, поверхностною стороною дела, без исследования внутренних причин, Нарышкин бумажно, теоретически, может быть, и был прав. В практическом же применении своих распоряжений он был окончательно несчастлив. В некоторых из его сочинений, написанных в пользу крестьян и ссыльных, с одной стороны, видно сильное желание быть фактически полезным, но зато с другой — все его наставления и советы отзываются почасту блестящею и кудрявою фразою и мало ведут за собою настоящего дела, основанного на твердой и прочной почве. Видно, что Нарышкин знаком с учением энциклопедистов — модным в то время; заметно, что он дошел до некоторых социальных убеждений, но все это легло в его голове без всякого порядка и незаконно спуталось с мрачными тенденциями ханжи и лицемера. Так, например, додумавшись до необходимости внушения колодникам истин веры и составив по этому случаю особое толкование, он предполагал возможность через это конечного исправления не только уличенных преступников, но даже и тех, которые еще намеревались впасть в преступление. Вдобавок ко всему Нарышкин велел читать это наставление виновным только в присутствии, перед допросом. Несмотря на всю толковость и понятливость для простого народа его краткого наставления, оно не имело успеха¹⁹¹. Не имели успеха — и потому именно, что также были непрактичны — и те указы Нарышкина, которые он разослал во все приказные избы по поводу пристанодержательства беглых. Строго предписывая, чтобы никто из крестьян не держал у себя беглых, называющих себя прохожими людьми, никто бы не отважился давать им хлеба, Нарышкин забывал при этом, что хлебосольство — коренное народное убеждение, и что крестьяне в беглых

видели дешевых работников, которых иначе они нигде и никогда в то время не могли получить ни за какие деньги. Напрасно старался он внушить крестьянам необходимость требовать письменные виды у всех тех, кто доверчиво приходит к ним в избы: гостеприимство на это не обязывает. Напрасно также голословно толковал он крестьянам, что укрывательство ищущих у них покровы «поступок слабый, который не только не можно за человеколюбивый почесть, но больше они тем составляют вред обществу и прогневляют самого Бога», хотя, конечно, Нарышкин и справедлив в своем заключении, что «таким пропуском беглецов крестьяне дают способ к исполнению злодейских намерений, ко своим и ближних огорчениям». Таков был Нарышкин в своих административных стремлениях. Более последовательным является он в частных распоряжениях, хотя и возбуждает уже меньшее к себе сочувствие. Избалованный роскошной жизнью в Петербурге и поставленный потом в дальнюю и еще дикую среду нерчинской жизни, он искал развлечений, был расточителен; не ведая контроля, он в этом и другом отношении доходил до излишества и, судя по народным преданиям, до какого-то странного и сосредоточенного чудачества. Растратив всю заводскую казну на празднества и разбрасыванье денег в народ, он прибегал к частным займам, но, избалованный столичною повадкою, долгов своих не платил. Главным помощником его в этом деле был его родной брат Алексей, а главною и пока исключительною мишенью всех его нападений ради денег был богатч Михайла Сибиряков, который, с дозволения берг-коллегии, выстроил (в 1744 г.) сереброплавильный завод, употребив на него 50 тысяч. В распоряжении этого Сибирякова находилось до 600 тысяч пудов руды. Нарышкин хорошо знал все это и потому часто, не ограничиваясь подарками, брал у него деньги в большом количестве. После многих удачных опытов и наездов на карман и сундуки богатого Сибирякова, Нарышкин — расточительный, самонадеянный,

избалованный, не знавший меры в собственных желаниях — потребовал от Сибирякова еще 5 тысяч на какую-то коммерческую кампанию (может быть для продажи в Иркутске привозимых на Кяхту китайских шелковых товаров). Сибиряков отказал ему, говоря, что сам накопил много казенного долга, да и денег-де нет и взять негде. Нарышкин — прибавляет народное предание — собрал наличную артиллерию, зарядил пушки и окружил дом Сибирякова, обещая стрелять, если Сибиряков не даст ему денег. Дело это кончилось тем, что Сибиряков вышел на крыльцо с серебряным подносом, на который выложил затребованную сумму, и с низкими поклонами вручил ее Нарышкину. Нарышкин отпустил команду и пушки и, войдя в дом Сибирякова, до поздней ночи пировал с ним шумно и весело.

Такая нужда в деньгах, помимо разбрасыванья в народе, объясняется в Нарышкине тем, что он начал заводить кое-какие собственные хозяйства: так, на речке Чальбуче при деревне он выстроил дом и при нем водяную мельницу. Об устройстве этого хозяйства он сильно заботился и через каждые две недели получал рапорты об его благосостоянии и о всех работах. Работами заведовал Нерчинского батальона сержант Иван Жеребцов. Дом этот в бывшем Успенском монастыре строился поспешно и с медленной ежедневной выдачей плотникам денег. В два месяца (июнь и июль) дом этот был отстроен¹⁹². При нем заводилось хозяйство: приведен табун лошадей (22) и стадо рогатого скота (до 20 голов); сделаны запасы корму как для них, так и для собак. Мельница пущена в ход, причем один из доверенных Нарышкина лиц, именно Кесслер, палил из пушек «за здоровье вашего высокородия и благополучное путешествие непрерывно», как рапортовал он своему главному командиру¹⁹³.

Расширив таким образом свою деятельность, Нарышкин выехал из Нерчинского завода в Иркутск, оставив вместо себя маркшейдера Дмитрия Головаче-

ва. Цель этого путешествия Нарышкин объяснял все-народно 12 июля 1776 года в следующих выражениях:

«По определении меня на нерчинские сереброплавящие заводы главным командиром, до отправления еще в оные из С.-Петербурга, согласились мы с определенным в Иркутскую губернию со властью губернаторскою господином бригадиром Немцовым, зная намерения ее императорского величества, чтоб обитающих здесь братских и тунгусов привести в веру греческого закона по собственному их желанию, чего я и не начинал производить до приезда господина Немцова, не надеясь на прежде бывшего Бриля в рассуждении некоторых известных мне обстоятельств. А как известно уже было до сего, почти во всех местах по сю сторону Байкал-моря недели за три или более, что я, следуя с нерчинских сереброплавящих заводов в Иркутск, по пути, из усердия к Богу и к службе ее императорского величества, имел счастье по многим увещаниям и приложенным моим трудам, во-1-х, тунгусских зайсанов и их подчиненных привести во св. крещение, коих чрез короткое время, в проезде моем, по собственному их желанию и действительно человек до ста восприяли веру греческого исповедания, а потом и братские начали было несколько иметь к тому охоту, — из них также некоторое число человек приняло святое крещение и за помощью Божию надежность оказывали».

Так писал Нарышкин, но не так было на самом деле. Для большего успеха в этом деле, он поил тайшей и тунгусов вином¹⁹⁴, снискивал расположение тайши Иринцеева, для чего выдал ему тысячу руб. сер. монетою и, покупая у него лошадей и скот, платил за то высокою ценою, в тех краях и на то время неслыханною¹⁹⁵. Чтобы склонить тунгусов к принятию христианской веры, от имени императрицы обещал им большие льготы: сложение недоимки, уменьшение податей до 3 руб. в год и с тем, чтобы уже больше никто из частных начальников с них не требовал¹⁹⁶.

Тогда же Нарышкин задумал, с согласия тайши Дин-бы Дугар-Иринцеева, составить из братских и тунгусов четыре гусарских полка и успел уже сформировать один эскадрон, при помощи ротмистра Подзорова и под наблюдением подполковника Кесслера. Эскадрону этому дано было название Даурского гусарского красного.

Комиссара Тархова за выдачу казенных денег произвел из подпоручиков в берг-гешворены. Из тамошней же гарнизонной артиллерии взял пушки, порох и канониры; не встретив же к тому препятствия со стороны подпоручика Кулигина, произвел его также в берг-гешворены. Едучи дальше по направлению к Иркутску, он сзывал народ разными средствами, как, напр., в селах звоном в колокола при церквях, пушечною пальбою и барабанным боем там, где церквей не было. Собранный таким способом народ поил вином, насильно захваченным в питейных домах, и бросал в толпу казенные деньги, взятые им — как известно — в нерчинском комиссарстве. Шествие Нарышкина по Братской степи уподоблялось военному походу: для него неприятельская страна была Иркутская провинция с ее ханом Немцовым; по пути лежала вассальная земля — Верхнеудинский округ с вице-королем, воеводою Тевяшевым. За новым Батыем, выходившим из самых ближайших мест к родине Чингисхана, за Нарышкиным, везли колокола и пушки. По дороге он останавливал купеческие клады и отбирал товары с выдачею росписок на свое имя. В степи на отдыхах кипели огромные котлы с водою, куда сваливали пудами чай и сахар; вино стояло целыми бочками, сукно, дабу, китайки, холст брали все даром, без всякого счета. Попалась ему на дороге почта с книгами и церковными вещами, посланными иркутским архиереем Михаилом, — Нарышкин на Шилке присвоил их себе. Не отвечая на несколько писем архиерея, Нарышкин книги удержал за собою, и проч. Нуждаясь в деньгах для всех этих предприятий, он выплавленное серебро не посылал в Петербург, растрачивая

его на пенсии приближенным, на различные награды и на серебряные пуговицы сформированного из тунгусов и бурят гусарского полка. Не имея уже никаких сумм в заводском казначействе, Нарышкин, под видом закупа для заводов разных необходимых припасов, взял 60476 руб. в нерчинском комиссарстве. В селении Гантимуровом (Урульге) крестил тунгусов, «утопающих в пьянстве», возя с собою бочки вина, расточая везде императорскую сумму, и «делал таковые великие издержки, не имея средства откуда получить более (ибо заводскую сумму расточил всю, как и было каждому приметно, что служители заводов не получали близ двух третей жалованья) — опрокинулся к отнятию у встречающихся ему купцов товаров и денег». Потом на Братской степи у харинцев он заставлял тайшу и старших преклонять перед собою знамена, дарованные этому роду братских за верную их службу. Когда тайша отказывался от крещения, Нарышкин покушался его умертвить. Действуя таким образом, он повсюду старался уверить, что исполняет все это именем императрицы (которого дозволения, однако, никогда не имел).

Таким образом, две власти встретились в одном и том же пункте, как бы для состязания и с целью померяться силами: Нарышкин в чужом ведомстве, опираясь на свою силу в столице, иркутский губернатор Немцов — в своем ведомстве, решаясь испытать силу общих государственных узаконений: настолько ли они лицеприятны перед случайным человеком, сколько самонадеянны и решительны поступки их нарушителя. Ничего не подозревая, Нарышкин, возвратившись в Нерчинский завод, имел огорчение слышать, что многие из его начинаний начали мало-помалу разрушаться. Сотник Новоселов, отправленный им с 36 лошадьми и 12 гусарами к губернатору Немцову, доносил, что тунгусы-гусары, отправившись к тайше Иринцееву «для своих надобностей, назад не возвратились и оставили за собою насеченную серебром

узду», принадлежавшую самому Нарышкину. Вскоре затем писал к нему берг-гешворен Ник. Гантимуров, что, по приезде его в город Удинск, он был потребован в удинскую провинциальную канцелярию, где воевода Тевяшев со своим товарищем и прокурором велел его заковать в колодку, посадил под караул, а через день отправил в Иркутск, за что — неизвестно. Тогда же командир гусарского полка ротмистр Злобин доносил Нарышкину, что удинская канцелярия взяла из его команды сержанта с женою и дочерью и отправила их в те места, где они прежде находились. Отобраны были также артиллеристы, так что у Злобина осталось всего 52 человека из целого эскадрона.

Нарышкин начал уже смутно понимать наступательность действий Немцова, но все еще доверял дружбе удинского воеводы Тевяшева, к которому относился с любезными и заискивающими письмами, на которые он так хорошо был подготовлен своею прежнею придворною жизнью. Тевяшева он хвалил за ревностную службу; тот в своем письме благодарил за комплименты, но просил «оставить народ, не принадлежащий до вашего (т. е. Нарышкина) распоряжения, ибо-де вся уже провинция пришла в смятение».

Нарышкин, однако, на этом не успокоился; ему крайне нужны были деньги, а потому он потребовал их от удинской канцелярии на счет заводов. Канцелярия в требуемой сумме отказала, предписывая ему оставаться в узаконенных положениях; для оправдания же во всех делах предписывала Нарышкину ехать в Иркутск к губернатору Немцову. Тогда только Нарышкин увидел из-за спины верхнеудинской канцелярии то лицо, которое так давно и так смело вызывало его на единоборство.

Разгневанный Нарышкин отправил в заводы свое оправдание в тех будто бы клеветах, которые возводила на него верхнеудинская канцелярия, но не ехать в

Иркутск у него не хватило силы, храбрости и самостоятельности¹⁹⁷.

Он отправился, не зная того, что посланные им в Верхнеудинск (берг-гешворены Баннер и Тенкин) и определенные им на места присутствующих в провинциальной канцелярии, являсь, отдались во власть воеводы Тевяшева. Этот же Тевяшев стал действовать в Верхнеудинске и на Нарышкина советами, и «попечительным своим тцанием и искусным распоряжением» успел сделать так, что Нарышкин выехал в Иркутск. На дороге¹⁹⁸ он был задержан и под присмотром отправлен в Иркутск к Немцову. Немцов же, «найдя поступки Нарышкина столь важными», отослал его 20 авг. за присмотром штаб-офицера Воинова и под конвоем в С.-Петербург и тогда же отправил курьера с донесением «о незаконных и дерзких делах его». В Тобольске встретил Нарышкина сенатский регистратор с командой, который принял его от Воинова, и затем повез в столицу, под важную стражею. Обо всем этом Немцов извещен был именным указом (полученным им 11-го января 1778 года), в котором, между прочим, нерчинские сереброплавящие заводы, для исправления и приведения в лучшее состояние, переданы были в зависимость и подчинение тому же бригадиру Немцову, находившемуся в Иркутской губернии с властью губернаторскою¹⁹⁹.

Немцов начал свое управление с того, что сочинил и издал «к общему всем сведению публикацию»:

«К чувствительному оскорблению верховной власти, — говорит он в начале этой публикации, — бывшего заводов начальника, статского советника Нарышкина, незаконные содеяния столь многочисленны, что я некоторые умолчу, а о других за нужное почитаю во все заводского ведомства присутственные места и частным начальникам ведения заводов обнародовать».

Затем Немцов подробно исчисляет все поступки Нарышкина с приметным озлоблением и злорадством. Остановившись на проезде Нарышкина из завода в

Верхнеудинске, а именно на его угощениях народа, Немцов уверяет, что Нарышкин, «обольстя сим средством (т. е. вином) непросвещенное то скопище (т. е. крестьян)», отвел многих от домостроительства и хлебопашества. «А пропустив они время, потеряли часть лучшего своего состояния, а некоторые и вовсе разорились». Не стесняясь в подборе всяческих бранных эпитетов к поступкам Нарышкина, Немцов вступает до некоторой степени в смягченный тон там, где план бранчивого повествования выводит его из пределов Иркутской губернии и вталкивает в описание распоряжений Нарышкина по заводам. Здесь Немцов, основываясь на рапорте секунд-майора Барбота де Марни²⁰⁰, находит, что заводы требуют наискорейшего восстановления «по беспутному Нарышкина управлению» и для того Немцов сам поспешил отправиться на место. Рассматривая там дела канцелярии, Немцов нашел (по собственному его уверению), что «все они оказались в несогласных с законами поступках, как-то: в выдачах и издержках казенных денег и других обстоятельствах». Между этими «другими обстоятельствами», кроме произвольной раздачи чинов и наград, занимательно также и следующее: понимая всю силу нравственного значения на заводах образованного секунд-майора Барбота де Марни, Нарышкин, для привлечения его на свою сторону, не задумался произвести его сына, пятилетнего ребенка, сначала в вахмистры, потом в корнеты и, наконец, в берг-гешворены. Затем Нарышкин свои производства исключительно сосредоточивал на лицах, до тех пор не бывших на службе, часть этих лиц он привез с собою, часть вытребовал с Колывано-Воскресенских заводов и большую часть нашел уже между жившими долгое время в Нерчинском заводе. Из последних преимущественное его внимание обратили на себя сосланные в заводы польские конфедераты: двух из них (Касаковского и Перхуровича) он определил в солдаты, Известных нам по делу Чернышева князей Гантимуро-

вых (Степана и Николая — нерчинских дворян, не бывших на службе) он произвел прямо в берг-гешворены и приблизил к себе. Особенную же щедрость к раздаче чинов он оказывал тем, на дружбу и расположение которых вполне полагался: между ними особенно резко выдаются два ясашных тунгуса, крещенных Нарышкиным: одному из них (Петру Нарышкину) он дал два чина (корнета и подпоручика), другому (Григорию Суворову) четыре чина (унтер-шихтмейстера, шихтмейстера, берг-гешворена и поручика). В заводском ведомстве (Гантимуровской сотни в деревне Каигинской) поселены были 32 человека бывших яицких казаков, присланных сюда по делу Пугачева; Нарышкин выдал им 160 рублей (по 5 рублей на каждого) для покупки лошадей и затем предписал начальству строго наблюдать, чтобы казаки лошадей непременно купили.

Все эти события совпадают одновременно с выездом Нарышкина из завода для формирования гусарских полков и все они располагаются на двух весенних месяцах 1776 года. Вот почему отчасти становится для нас понятным теперь темный намек в публикации Немцова: «что Нарышкин стремился обольстить непросвещенные сердца и, по непредвидении их, уловить души верноподданных и произвесть худые следствия.

На этом предположении, что Нарышкин хотел основаться на народном расположении и на крепости и силе значительного конного войска и артиллерии, с тем чтобы со временем произвести возмущение в народе и со всем Забайкальем отложиться от русской короны, и с этим же подозрением имя Нарышкина ушло в потомство и осталось в народной памяти²⁰¹.

Немцов, прежде всего, по арестовании Нарышкина поспешил захватить его имение и сделать вещам его опись²⁰². Затем членов заводской канцелярии, произведенных и назначенных Нарышкиным, от службы немедленно отрешил. На место их управление заводами поручил майору артиллерии и от армии подполковнику

Тевяшеву. В помощь ему назначил секунд-майора иркутского батальона Ивана Глазунова и берг-гешворена Степана Губанова²⁰³.

Вернувшись в Иркутск, Немцов (17 января 1787 г.) поспешил отнестись ко всем с тою публикациею, содержание которой мы привели выше. В конце ее он говорит следующее: «Заводским же управителям и определенным при разных должностях (в рассуждении, что здешнее место в упадок приведено) стараться должно каждому, в звании своем, в пользе и приращению высочайшего интереса прилагать неусыпное и ревностное попечение, оставя всякий род коварства и ухищрения. И помнить то, что не оправдает каждого по незаконным поступкам бывшего их начальника в повиновении — заменить увеличенным своим рачением, дабы и по следующим от высшего правительства взысканиям исходатайствовать я мог посредством рачения каждого и донести самой августейшей монархии ревностные поступки».

Любопытны дальнейшие советы и предположения недаленовидного Немцова. Нижние служители и крестьяне, виновные — по его убеждению — в том, что Нарышкин успел разбросать в народ казенных и частных денег сто сорок шесть тысяч семьсот одиннадцать рублей, обязаны были удвоить салы и возить руду «как можно больше». Немцов наивно думал, что «тем самым приумножится выплавка казенного серебра, которое от нестарания бывшего начальника в знатный упадок произошло; так что в выплавке уменьшение серебра перед прошедшим годом сто сорок девять пудов». Тою же усиленною и чрезмерною вывозкою руд Немцов полагал обеспечить «упавшее состояние крестьян и видимые их выгоды». Нарышкин, при вступлении в управление восемью заводами, получил 282882 пуда серебросодержащих руд (да по 4-м частным заводам 61055 пудов), казенного свинцу 4,64 пуда 12½ фунтов (и частного 5184 пуда 11 фунтов). При этом также разуме-

лось серебро — в бликах и кроках; а свинец — рудный, гортовый и глетовый.

На место Нарышкина главным командиром определен был бригадир Иван Венедиктович Аршеневский, темный деятель и неизвестный делатель, проживший в заводах с 1777 г. по 1780 г., когда на смену ему определен был генерал-майор Бекельман — тоже малоприметная и неизвестная личность. Лучшее воспоминание оставил по себе Барбот де Марни, родом француз, человек светлый, кроткий и образованный. Доказательством последнего свойства его осталась после его смерти библиотека, составленная из лучших специальных сочинений, послужившая крупным и твердым фундаментом для библиотеки горного управления. Под руками живого человека завелись и частные школы для обучения мальчиков, выписаны саксонцы для рудного дела и проч. На глазах этого человека и постройки сделаны столь прочно и добросовестно, что еще в 1835 году они стояли непоколебимо, сохранившись целое столетие, по подобию Большого Нерчинского завода, выстроенного Барботом из лиственничного дерева. При перестройке, через 50 лет, потребовалось подвести только нижние венцы новыми. При нем заводские крестьяне стали отличаться от прочих обитателей Забайкалья особым костюмом: шинелями с короткими крагами. Длинные волосы ниспадали до плеч со времен барботовских до времени появления за Байкалом декабристов. Заводских крестьян нашли очень чистоплотными (они жили опрятно, не коптясь в дыму), и хотя очень богатых и бедных не было, но все были трудолюбивы; без рукоделья никогда их не видали даже на завалинках их домов, и даже едущих верхом видали с каким-нибудь шитьем, вязаньем и другим рукодельем. Обычай этот был введен Барботом де Марни. Он кончил свою жизнь на заводах. На его место поступил начальником Черницын. С Черницына нерчинская история, в лице начальников, разворачивает

другие картины: выработка серебра стала упадать, обращение с ссыльными становится суровее, начальники стали показываться с оттенками и поползновениями прежних тиранов. Черницын начинал этот список.

О Черницыне народные предания сохранили такие крупные черты; он любил ездить как бешеный; лошади должны были бежать от станции вытяжным галопом, а потому по дороге падало их всегда очень много. В этом случае кривой Черницын был для лошадей настоящей моровою язвою. Если ямщик в дороге ослабевал, Черницын приказывал остановиться и начинал бить ямщика нагайкою, которую всегда возил с собою в сундучке, лежавшем в ногах. Самые лучшие лошади не выдержали бы такой езды, если бы не пособлял им обычай Черницына через каждые 7 верст кричать: «стой!», выпивать, не торопясь, водки, закусывать не спеша куском мяса и потом уже реветь на ямщика: «пошел!» Рассказывают, что раз лошади набежали на гололедицу и, смутив ямщика, остановились как вкопанные, будучи не в силах одолеть преграду. Черницын пробудился и, узнав в чем дело, зычно закричал: «кнутов!» Лошади приняли эти слова на свой счет, быстро рванулись на зык с места и перелетели гололед с быстротою вихря. Ни одна не споткнулась, ни одна не упала, до такой степени энергичен был бег их со страху. Другой раз засек он до смерти крестьянина, осмелившегося оборотиться к нему спиною в то время, когда с ним вступил в разговор помощник начальника в той же самой комнате, где находился и одноглазый Черницын.

Из других начальников осталась память о Теодоре Фрише, у которого была жена, водившая его за нос и управлявшая чиновниками и целым горным округом. Была она женщина злая: крестьян и слуг своих наказывала своеручно и находила в этом несказанное удовольствие, как и в прозвище «царицы сибирской», которое дал ей с выгодою для себя один из ее слуг, положенный на землю для наказания.

Вспоминает предание о Милекине (бывшем начальником, кажется, в Кутомарском заводе), при появлении которого на улице дети бежали прочь, и старики прятались по углам. Когда он проходил по селению, живой души на улицах не было, потому что всякий знал о тех наслаждениях, которые получал начальник при созерцании наказуемых. Всякий помнил, что любовника жены, бывшего адъютанта, он заковал в кандалы, посадил в тюрьму, вывел на площадь и на эшафоте дал ему 50 кнута, обсыпая избитые плечи едким нашатырем, дал столько же во второй раз со вторичным опытом той же присыпки. Тиран повторил бы экзекуцию и в третий раз, если бы начальник Дучарского завода не вырвал из его рук несчастного экс-адъютанта, влюбившего в себя и жену и дочь Милекина. Вылечил это го Милекина, говорит предание, писарь — его приемыш и воспитанник. Каждым писанием его начальник был недоволен, при всяком случае бил его по щекам и по зубам. Однажды он выразил свое неудовольствие в то время, когда писарь считал себя правым и был уже осмеян товарищами за необычайное терпение. Милекин хотел его бить, но писарь-приемыш, выхватив из-за пазухи нож, закричал: «Я буду каторжным, но ты уже бить никого не будешь». Испуганный Милекин дал клятву смириться для всех и, говорят, будто бы сдержал ее, а учителя наградил большими деньгами.

Деспотическими суровыми выходками отличался и горный начальник Рычков, сменивший Ив. Ив. Эллера²⁰⁴ и умерший в заводах в 1817 году. Несмотря на то, что он принадлежал к образованнейшим и умнейшим людям своего времени, предание сохранило о нем память как о человеке суровом и безжалостном: он, говорят, забивал людей до смерти. После Рычкова мелькает в архивных списках имя главного начальника Аистова; за ним является в ближайшие к нам времена, в 30-х годах прошлого столетия, начальником Бурнашов, пострадавший за послабление декабристам, и полковник

Ст. Петр. Татаринов, о котором генерал-губернатор Броневский написал в своих мемуарах такие строки: «При нем приметно стало человеколюбивое обращение с ссыльными; подчиненные его все уже воспитались в горном корпусе». С этим улучшением в нравственном смысле на заводах уже глубоко вкоренились задатки худшего, задатки падения серебряного промысла. Расходы на заводы и рудники стали превышать ценность добываемого серебра, а добыча золота представлялась во всем привлекательном соблазне под впечатлениями надежд и обещаний, исходивших от горного начальника г. Разгильдеева. Серебро выплавлялось только на Кутомарском заводе, добывалось из немногих рудников и, между прочим, на наших глазах в Зерентуйском руднике, в 15-ти верстах от большого завода, где делалась под наблюдением горного начальника О. А. Дейхмана новая штольня «Надежда». Слухи о золотых россыпях в разных углах Забайкалья помрачали блеск серебра, и выработка золота, дозволенная частным лицам, в наши дни сильно оттирает на задний план разработку серебряных сокровищ богатых и далеко еще не разработанных Нерчинских горных отрогов Яблонового хребта. В быте рабочих, с освобождением их от обязательных казенных работ, произошли крупные перемены; наступило новое время, и старое просится на помощь ему своими ошибками, а потому мы останавливаемся здесь, чтобы обратиться к урокам прошедшего и досказать вторую половину истории каторги, проходившей под влиянием золота и под впечатлениями сердитой сибирской болезни, называемой там общим именем золотой лихорадки.

Слабы и неясны были признаки золотой лихорадки в прошлом веке, хотя и нельзя было упрекнуть нерчинские начальства в ревности угождать высшим и кстати рассчитывать на высылку крох, имеющих такую прочную и почтенную ценность. Еще в 1777 году архивные дела свидетельствуют о хлопотах по найденному зо-

лотому прииску; в 1782 году заботились о разработке золотых приисков по течению р. Шилки, на левой ее стороне, в 16½ верстах выше Сретенского острога в Крестовой горе, против деревень Епифановой и Заозерной. Тем не менее в 30-х годах XIX столетия во всем Забайкалье разрабатывался единственный казенный прииск Куенский, дававший 68 долей золота из ста пудов песку; содержание столь ничтожное, что частный человек и рук бы не стал марать, но казна работала в расчете на дешевые каторжные силы, работала самым грубым старинным способом. Пески пропускали сквозь железные грохота в чаны, наполненные водою; вода с грязью выпускалась вон и осадок со дна накладывался в ящики на двух высоких колесах особого устройства, которые одною лошадью, с значительною тяжестью, катились довольно легко по наклонному горизонту. Эта жидкая грязь, в которой золота и подозревать невозможно, выкладывалась в длинные лари. Вдоль ларей горизонтально навешивался валик с железными граблями; приток воды постепенно наполнял лари, а обрабатываемый людьми валик граблями ворочал пески; вода уносила муть. Когда в ларе мало оставалось песков, их вынимали на тачки, вес которых был известен, и сдавали на вашгерты для окончательной промывки. Вашгерт есть не что иное, как деревянный ящик, диагонально установленный на земле; в верхней его части имелся ящик, наполнявшийся из особого привода водою, которою распоряжался промывщик, пуская, по надобности, большее или меньшее количество. Пески, в виде жидкостей и грязи, кладутся на дно вашгерта, и вода, втекая в них, мало-помалу размешивалась руками, уносила все с поверхности и оставляла, наконец, на дне небольшое желтое пятнышко. Это было уже чистое золото в виде мелких крупинок, иногда в форме довольно сплюснутых пластинок. Золото сгребали на деревянную лопаточку и со вниманием и осторожностью уносили в контору. Там золото просушивали в печи и потом,

в присутствии чиновников, взвешивали на самых чувствительных весах. Частички золота с 12-ти вашгертов Куенского золотого прииска записывались в книгу. На частных золотых промыслах рабочие зарабатывали от 300 до тысячи рублей, а счастливые на старательских работах приобретали еще более (особенно если попадались самородки), на казенных же приисках ссыльные рабочие находились в тех же условиях, при которых страшно противела работа и выяснялась перед глазами соблазнительная дорога в лес на волю.

К середине нынешнего столетия за Байкалом стало ясно, что везде, где господствуют по восточным склонам Яблонового хребта гранито-сиениты, золотоносная система почти сплошная, но золото принадлежит некоторым исключительным местностям: Карийской и Шахтаминской россыпям. Золото в Нерчинском уезде находится всегда в долинах, в которых выступили гранито-сиениты и тальковые сланцы, чаще же в долинах малых рек и ручьев; на больших реках золото находят редко; точно так же редко попадает оно в горах и раздолах. Отсюда пришли к вероятному предположению, что золото первоначально находилось в жилах в сиенитовом граните и в кварце, которые при плутоническом перевороте были разбиты, и золото стекло в долины. В виде порошка находится оно между сдвинутыми слоями сиенита (Кара), либо в щелях гранитных (Култума); в слоях же извести и гранита золота никогда не находили. Самый большой кусок самородного золота, найденный за Байкалом, весил $\frac{1}{2}$ фунта. Слои, скрывающие золото, покрыты урожайною землею и называются турфом. Турф снимают и свозят в кучи. Таким же образом поступают с другим слоем, состоящим из песку, глины, смешанной с сиенитовыми камнями и круглыми сланцами, называемыми здесь галькою. По снятии верхних слоев в каждом полуфуте грунта ищут золота. Тотчас же в третьем грунте, глубиною на 7 либо 10 футов, находится золото, смешанное с черным бле-

стящим песком магнитного железняка и с глыбами железной руды, очень богатой, имеющей 60% железа. Содержание золота во всей той массе, какую снимают, составляет пропорцию 1:400000; один только раз найдено было отношение 1:40000 в Каре и этот слой признан был очень богатым. В глине глыбы предполагается наилучшее золото, и весь слой носит общее название песку. Золотой песок свозят в тачках на машины, очищающие его от лишних примесей и камней; потом снова очищают его от песку, от порошка магнитного железа, от порошка киновари и мелких гранитных зерен, в соседстве с которыми так любит жить золото. Песчинки золота бывают так мелкие и тонки, что поднимаются и относятся водою; таким образом, при промывке теряется его довольно много. Самый простой способ промывки золота на Каре следующий, общий целой Сибири: на ровную покатость, имеющую с двух сторон две прибитые дощечки, сыплют песок, а на него пускают воду. Работник лопатою отгребает песок, уносимый водою кверху, и вынимает обмытые и ополосканные камни. Части легчайшие, как-то: песок и глину — уносит вода, а в желобе остается золото и магнитный железняк; последний оттирают щетками либо отбивают от золота палками. Если же совсем нельзя отделить золото от магнитника, тогда надо золото сушить и рассыпать на бумаге, а железо отделять от него магнитом. На больших приисках такой способ неприменим, а потому для промывки золота в нерчинских рудниках приспособлено средство, придуманное инженерным подполковником Разгильдеевым.

Разгильдеевская машина состоит из трех этажей. На первом этаже лошади вращают простой цилиндр, отвесно помещенный в машине; на другом этаже помещено большое железное решето, десяти футов в диаметре, на которое сыпается с тачек приисковый песок. Среди решета, отвесно к нему, вращается вал, а к нему, в незначительном друг от друга расстоянии, прикреплено

восемь бревнышек, с которых в длинных рамах свешиваются и опираются на решето железные грабли, мотыги, железные башмаки и тому подобные орудия, предназначенные для движения и пересыпки песку со всех сторон, что при помощи вала устраивается само собою. Немного повыше восьми бревнышек находятся корыта и деревянные каналы, на которые обильно стекает вода из резервуаров и кропит дождем песок, наложенный на решете. Камни, сделавшие в решете один оборот, достаточно облегчаются, чтобы упасть в отверстие, из которого отвозят их в особые кучи; часто же более мелкие и легкие выплывают сквозь решето на первый этаж, на котором имеется гладкая покатость. Ровная покатость состоит в этой машине из двух частей: первая сильнее наклонена, другая же менее поката и имеет несколько сажен длины. На ровной покатости сделано три порога или уступа; вода, унося песок, осаждает его в углубление, находящееся под порогом. Над каждым порогом вращается двухсторонний валик с железными шпилями, прибитыми в равных расстояниях. Песок с мельчайшими камешками и вода спадают на покатость, всплывают в углубление, из которого, подталкиваемые шпилем, легчайшие части уносит с собою вода, а золото и железо оседают на дно; но потом еще повороченные шпилем, всплывают через другой порог до другого углубления, дальше до третьего, из которого, как и из двух прежних, отвозят их на большой вашгерт. Золото в этом периоде промывки еще смешано с железом и оловянными рудами, в которых пропорция золота бывает как 1:2000 или 1:3000. На вашгерте также три порога. Здесь золото освобождается от обыкновенных частиц мотыгами и водою, а потом отвозится на маленький вашгерт, в котором руками и щетками отделяются в воде обыкновенные частицы. Таким образом, добытое золото все еще соединено с некоторым шлихом магнитного железа, которое отделяется просушкой золота на сковородах, и остатки магнитного железнняка

выделяются с помощью магнита. У промывки в вашгертах стоит караульный казак и унтер-шихтмейстер из горных, наблюдающие всех и самих себя, чтобы никто не украл золота. Однако имеются такие способы кражи, от которых никто уберечь золота не может. Работы на промыслах начинаются в мае и продолжаются все лето до октября. Нерчинское золото имеет весьма высокую пробу, карийское — самое чистое: в нем только 5 частей выпадают на серебро и медь, находящиеся в золоте. На этот-то металл и устремлены были работы горных и ссыльных в то время, когда 25-копеечная ценность золотника серебра поднялась до 50 коп., а алтайское серебряное дело превзошло нерчинское своими доходами.

Разгильдеев сначала поднял высоко добычу золота: в 1853 году добыто им на Карийских промыслах 6857 фун., 11 золотн. и 2 доли (почти 172 пуда) — и это время составляет эпоху в золотом промысле России, но зато в 1856 году добыто было на всех нерчинских приисках 2400 фун., т. е. 60 пудов, в 1857 г. — 2245 фун. С тех пор продолжалось ежегодное уменьшение золотой добычи; первая и такая богатая была форсирована тем, что все наличное количество каторжных, сосланных в эти годы из России, находившихся до того в тюрьмах забайкальских, привлечено было к этому делу и собрано на четырех промыслах карийских: Верхнем, Среднем, Нижнем и Лунжанкинском. В 1850 году от громадного скопления каторжных рабочих началась на Каре сильная тифозная горячка. Каторжные, запертые в тесных и сырых тюрьмах, работавшие в болотистых и сырых местах, валились, как мухи, иногда подле самых тачек. Погибло их больше тысячи человек в один год, и длинное здание лазарета на берегу Шилки остается немим свидетелем этой неблагополучной добычи знаменитых ста пудов золота. В наши дни настала надобность в прекращении работ, и уменьшение золота ставит горное начальство в обязательство снова возвратиться к серебру. Все четыре селения, пристроившиеся к золотым промыслам

на Каре, и между ними Нижнекарийское, выстроенное почти по щучьему велению Разгильдеевым, будут застаиваться, разрушаться и гнить по примеру всех других горных селений за Байкалом, среди огромных даурских богатств, сила которых в достаточной степени не признана и еще далеко вся не исследована. Во многих местах находятся медные руды; имеются оловянные, добытые и сложенные в складах в виде кирпичей, либо прутьев, они раз успели уже выветриться и превратиться в порошок, пока строили оловянный завод на Ононе. В щелях гор находят испортившийся купорос; галмей попадаетея обыкновенно в оловянных рудниках (пробовали несколько раз вытапливать из него цинк, но нигде не выработано в достаточном количестве); построен был рудник даже руды ртутной, но давно уже запущен, хотя и надобится ртуть для амальгамации золота. Железные руды за Байкалом — самые обыкновенные: они образуют целые горы, но железный завод один, с трудом удовлетворяющий даже местным потребностям. Серы родится в нерчинских горах очень много; копают ее при Зерентуйском оловянном руднике; графита целые горы, на Байкале нефть, над Аргунью и Чикоем значительные залежи каменного угля и проч. Выработка серебра в горных дистанциях Зерентуйской и Алгачинской (Нерч. округа) обеспечивается крупными надеждами и верными расчетами по современным данным; по расчетам людей компетентных, она представляется более чем вероятною и в других, в особенности в Кадаинской дистанции. До сих пор извлекали руды из мест, прилегающих к поверхности земли, и не ходили на глубину, которая иногда обнаруживает здесь месторождения более, чем в 60-ти саженях от поверхности. Разработка Нерчинского серебряного промысла, во всяком случае, далеко не оскудела, но лишь испорчена неправильною системою, которая искала скорой добычи и не умела вполне оценить этих отечественных сокровищ.

Другую картину представляет Кара, выработанная и малонадежная. Она уже и теперь обязывает излишние незанятые руки употреблять на другие дела, уже и теперь горное начальство каторжных, оставшихся не у дел на Каре, отправляло в качестве вольнонаемных рабочих на другие золотые промыслы (напр., на Урюмские) и позволяло другим пропитываться в Нерчинском округе своим собственным умением и по их личному усмотрению. При этом золотопромышленные работы таковы, что, растягиваясь на большие пространства, они идут все вглубь золотоносных местностей и ни в каком случае не могут обеспечивать постоянной группировки ссыльно-каторжных на долгое время в одном месте. Тюрма должна кочевать и, по способу бурятской кибитки или тунгусской юрты, должна совершенно изменить свой настоящий вид и вполне противоречить своему назначению, чтобы приладиться к золотому промыслу, особенно же в виду тех современных требований, которые стали обязательны для всякой тюрьмы как исправительного заведения, а тем более каторжной тюрьмы.

ГЛАВА IV

СИБИРСКИЕ ЗАВОДЫ

Железо. — Петровский завод. — Соль. — Селенгинский завод. — Усть-Кутский завод. — Добыча соли. — Каторжные работы. — Троицкий солеваренный завод. — Иркутское-Усолъе. — Способы выварки соли. — Молотобойная фабрика. — Винокурение. — Евреи. — Ссылные. — Винокуренные заводы: Александровский, Николаевский, Ильгинский, Боготольский, Ентарский, Успенский, Каменский. — Уничтожение этого вида каторги.

1) Железные руды одного из острогов Яблонового хребта, залегающие на мысу, омываемом небольшими речками Балягою и Солдаткою, соблазнили купца Бутыгина. Он устроил завод несколько выше впадения речки Мукрыта в Балягу, в 22 верстах от места добычи

руд, получившего впоследствии название Балягинского рудника. В 1790 году, 29 ноября в 4-м часу пополудни, началась на заводе, прозванном впоследствии Петровским, первая плавка железных руд в доменном горне, причем сделан выпуск на штыковый чугун и частью отливка некоторых вещей в песок и опоки; в 1791 году штыковый чугун поступал в переделку под кричные молота на железо. В этом году завод поступил в казну. С тех пор все его чугунные изделия и железо разных сортов поступали преимущественно на снабжение нерчинских заводов и рудников, как равно на потребности собственно этого завода и для вольной продажи по установленным ценам. Завод действует водою р. Мукурта; пруд разливается вверх по речке на 400 сажен, имея в ширину до 50-ти. Завод пользуется землями, отведенными из принадлежащих 11-ти родам харинских бурят; лес заводский тянется на 7 верст. Местоположение возвышенное, гористое, местами с обнаженными утесами и россыпями; в вершинах падей находится довольно болотистых мест. Горы, окружающие самый рудник, состоят из гранита, а при основании из порфира. Месторождение на 250 сажен от юга к северу, толщиною от 5 до 8 сажен; содержатся наиболее разные виды бурого железного камня, магнитный железняк и затверделые и рыхлые охры. Первоначальный разнос засыпало щебнем, главный разнос действует до сих пор, давая заводу работу и занимая руки сосланных на каторгу. Для них, как и при всяком руднике, при Петровском заводе существовала тюрьма, которая переведена потом в тюремный каземат, покинутый декабристами. Петровское железо настолько не удовлетворяло местным требованиям, что железо привозили сюда с Урала, а изделия каторжных рук до того плохи и рыхлы, что доставленные на Амур топоры рассыпались по слоям на первых ударах; сошники же и другие железные изделия никуда не годились. Петровский завод за последнее время обратился в общее посмешище. И в этом

случае из казенных рук вывалилось дело, несмотря на некоторое усердие и временами хлопотливость: в 1806 году выбраны были 10 человек молодых служителей и посланы в Петербург для изучения разных мастерств; однако ни одно из них в заводе не привилось. Завод изготовлял и железо для Охотского порта, и сошники для бурят и тунгусских казаков, когда пытались (неудачно) приучить их к земледельческим работам. Для работ присылали ссыльных с 1818 года, всякий раз по сто, партиями по 25 человек, приходившими прямо из Иркутска, по вызовам и назначениям заводского начальства. В 1833 году число ссыльных простиралось до 550 человек, не считая бежавших, количество которых было также велико: из Петровского завода больше, чем из всех других каторжных мест, чинились побег. Учинившие побег приковывались к тачкам. Таковых в 1831 году было в заводе свыше ста человек; в 1848 г. содержалось 13 человек прикованными на стенные цепи; для поимки беглых при заводе организована была особая команда из вольнонаемных охотчих людей служительского звания. Тяжесть каторги для каторжных и заводских крестьян лежала и здесь в одинаковой степени суровости и умела перейти с отцов на детей, но здесь с тем различием, что с 1823 года тринадцатилетних мальчиков определяли на службу в рудобойщики. Зато в 1828 году в Петровском заводе произошел между рабочими такой бунт, о котором сохранилось предание в околном народе. Обветшалость острожных зданий, в особенности же зависящая от того сырость внутри их служила причиною постоянного скорбута, как бы привилегированной болезни Петровского железного завода. Здание без ремонта дошло до такой степени дряхлости, что заводский лекарь потерял голову, между прочим, советуя осушить болотистый грунт целого селения. В 1829 году приведено было 100 человек ссыльных из Иркутска для постройки полуказармы, предназначенной для государственных преступников (декабристов); в 1829

году пригнали для той же цели еще двести человек. Летом 1830 года была приготовлена казарма холодная и темная, но притом такая, что через год потребовалась в ней перекладка печей, а вскоре и самые капитальные переделки. Каземат расселся в разные стороны и на углах грозил полным разрушением. Подневольные работы и на этот раз успели выразить свой характер. В Нерчинском краю и горном округе Петровский завод был единственным железным, как Селенгинский был единственным солеваренным: оба с каторжными работами, оба для ссыльных в Сибирь имели значение мест первой категории наравне с рудниками, промыслами и серебряными заводами. В настоящее время Петровский завод, при ограниченности своего производства, перестал нуждаться в ссыльно-каторжных, специально предназначенных для работ на заводе.

2) Селенгинский солеваренный завод находился между двумя забайкальскими городами: в 40 верстах от Селенгинска и в 96 от Верхнеудинска. О начале его, как и многих сибирских заводов, сведений не имеется: все они либо растрачены, либо погибли при архивных пожарах. Известно только, что этот завод в 1719 году отдан из казенного в частное содержание селенгинскому служилому человеку Вас. Брянскому, от которого переходил к разным людям; в 1789 г. был в руках верхнеудинского купца Пахолкова, работал на него 15 лет, но год от году слабел силами и, наконец, прекратил работы и снова принят в казну в 1803 году (за 7762 р. 52 к.). Пахолков принял две варницы, сдал в казну 5, из которых одна в казне сгорела (в 1816 г.). Четыре остальные продолжали варку соли по 1825 г. До 1831 г. завод находился в бездействии; на короткое время его снова пускали в работу (начальник Дейхман), но казна не помогла, и работы были оставлены до 1835 г. Купец Злобин начал на нем новое дело и кое-как вел его до 1839 г. С тех пор завод окончательно смолк. Три раза свидетельствовали, замечали беспорядки, но ни к чему положи-

тельному не пришли: рассолы ослабели от истощения. Вызван он был в этом месте горькосоленым озером, имеющим от востока к западу до 500 саж. длины и ширины до 300 сажен. Сначала, по преданиям, оно было самосадочное, и ломкою соли занимались поселившиеся поблизости, после войны с бурятами, казаки. Когда селения размножились, а садка соли прекратилась, соль вываривали казаки из рассола, находившегося на поверхности озера; варили в чугунных котлах, которые ставили на камни, сложенные в виде очагов. Озеро лежит за горами в степи, на которой изредка растет кустарник. Низменности этого пространства покрыты пылью выветрившейся горькой соли. С северной стороны в это озеро вливается много пресных ключей, которые, растворяя глауберову соль (представляющую на озере кору), до такой степени этим горькосоленым раствором понижают в процентном содержании раствор поваренной соли, что выварка последней в летнее время становится невозможною. С наступлением холодного времени горькая соль извергается, вода застывает, а рассол поваренной соли обогащается, оставаясь в виде проталин в жидком состоянии, оттого и выварка соли начиналась в ноябре и продолжалась до апреля. На одном из таких мест в 1762 году, предполагая, что ключи поваренной соли пробиваются из почвы озера, делали опыты добычи, но неудачно. Масса ненужной горько-соленой коры бывает толщиною до 3 аршин и двух видов: либо в виде замороженного кваса, наз. гужиром, либо в виде стеклеца, т. е. когда этот гужир, при влиянии теплоты, сольется в плотную, прозрачную, стеклистую массу; гужир в тепле сыреет и расплывается, стеклец от умеренной теплоты и влияния света превращается в порошок. С поступления завода в казну в работы стали употреблять ссыльно-кааторжных. До 1818 г. их бывало от 120 до 147 человек (6 солеваров, 10 подварков, 20 льяльщиков, 8 кузнецов, 8 молотобойщиков, 3 конюха, 17 плотников и при

разных других задолжениях чернорабочих 75 человек). В 1822 г. число ссыльно-рабочих было увеличено до 317 человек. Горное начальство уменьшило комплект до 180, так что в 1829 г. оставалось людей за бегами и раскомандировками только 10 человек для присмотра и охранения казенного имущества. В 1835 г., с увеличением работ, число команды возросло до 96. Сыновья ссыльных рабочих приписывались до 1834 г. в число заводской команды, а по достижении совершеннолетия составляли класс людей, самых способных при технических работах. В 1834 г. по 8-й ревизии всех их велено было причислить к крестьянам ближайших волостей. Горное ведомство, получив в свое ведение (в 1822 г.) Селенгинский завод, старалось приохотить ссыльных к месту, но дела не подвигались, и заводское селение не распространялось. Как только кончался ссыльным срок работ и они получали право выхода на собственное пропитание или выписывались за неспособностью, все спешили перепродать свои дома другим рабочим и перейти на житье в те волости, к которым были приписаны. В свою очередь, новые собственники поступали точно так же. От этого каждый, зная шаткие основы завода, о своей жизни здесь не радел: не расширял усадьбы, не расчищал удобных земель для покосов и пашен, которые, кроме того, требуют еще устройства водопроводных каналов для внешней и летней поливок. Того же самого требуют и сенокосы, если только они не на лугах, заливаемых водою. Как только казна остановила свои работы, селение превратилось в пустырь, и вся окольность, богатая озерами, осталась снова во владении кочующих бурят, у которых на этом месте (на Гусином озере) стоит их главный дацан (храм) и живет глава их духовенства — хамба-лама. Не удержали населения и рыбные ловли в озерах Гусином и Щучьем, о которых так хлопотало горное начальство, а пребывание последнего в этих местах ознаменовалось лишь тем, что в 1839 г. на восточном берегу Гусиного озера найден был обнажен-

ный пласт каменного угля, столь неценного в богатой лесах Сибири.

На Селенгинском заводе кончаются каторжные места за Байкалом. Солеваренные заводы и при них каторжные работы приводят нас на сию сторону Байкала и, в подчинении работ наших хронологическому порядку, в крайнюю даль Восточной Сибири.

3) В 665-ти верстах от Иркутска, в 264 от Киренска, в Якутской области, на правом берегу устья реки Куты (впадающей в Лену), вниз по ее течению, расположен был у небольшого озера Усть-Кутский солеваренный завод. На середине озера находятся соляные ключи, над которыми устроены были колодцы. Источники эти некогда составляли собственность будущего завоевателя Амура, сольвычегодского промышленника Ерофея Хабарова, и воеводою Поярковым отобраны были в 1641 году в казну. Хабаров выехал из завода и поселился в шести верстах от г. Киренска, где до сих пор сохраняется деревушка, носящая имя Хабарова. С этого пепелища своего он снялся на р. Амур для новых промышленных предприятий, успев избить якутских крестьян, присланных в Киренск на его заимку для поселения. Завладев чужою женою, Хабаров, вынужденный неудачами на Лене, сделался героем на Амуре, но могилу нашел себе в Илимске (при устье р. Илим, впадающей в Лену). До 1751 г. завод его находился в ведении казны, но в этом году отдан иркутскому купцу Ворошилову, который и содержал до 1780 года, когда завод перешел к его наследникам. В 1800 г. завод, по духовному завещанию, перешел к дочери Ворошилова, надв. советн. Бейтоновой, которая впоследствии оказалась несостоятельною и неисправною (несмотря на то, что казна, по указу 7 декабря 1801 года, к 20 ссыльным прибавила ей еще десять). Варницы снова были отобраны в казну и в 1803 г. отданы киренскому купцу Сычеву. В 1823 г. оне находились во владении внука Сычева; в 1829 г. — Мадеева, в 1836 г. — жены его. Соляные источники Усть-Кутского завода — самые богатые в Иркутской

губ., и варка соли, при изобилии рассола (по солемеру $18\frac{1}{2}$ лот), может производиться во всякое время года, но варили соль только весною и летом, т. е. когда рассол становился крепче. Варили в двух варницах: спасской и знаменской, и до 1838 г. получали ежегодно до 25 т. пуд. Для производства соляных работ и для каторжных работ: у рубки дров и при заготовлении леса — положено было иметь 35 человек. Соль сплавлялась по Лене через подрядчиков от казны на барках и гужом в стойки Киренского округа. По нахождении завода в малонаселенной стране он приносил казне ничтожные выгоды, потому она решилась и с ним покончить и дело уничтожить. Селения и здесь не выросли и не укрепились. В заводе, даже и во время работ, не было церкви, а стояла часовня, выстроенная в 1822 г.; требы исполнял священник Усть-Кутского селения, отстоящего от завода в 4 верстах.

4) На берегу речки Усолки (Енис. губ., Канского округа), в расстоянии 193 верст от г. Канска, существовал четвертый завод Восточной Сибири, наз. Троицким. Первые соляные ключи открыты были тунгусами, объявившими (в начале XVII столетия) о том единственным в то время и в тамошнем краю торговым людям — мещанам г. Енисейска Хромовым. Хромовы разработали нынешний средний колодезь (в нем рассол 6), варили соль в котлах, а потом устроили и варницу, полагая начало заvara с Покрова и продолжая варку до времени весеннего разлива Усолки. Предприниматели 'ти, часто имея нужду в деньгах, занимали их у живших здесь монахов енисейского Спасского и туруханского Троицкого монастырей. Впоследствии, будучи не в состоянии уплатить долги, Хромовы передали все заведение в монастырщину. У монахов солеварение улучшилось: выход соли часто доходил до 80-ти т. пудов. В 1764 г. завод принят в казенное ведомство. Казна выстроила три новые варницы (в 1778, 1780 и 1800 гг.)²⁰⁵ и устроила три новых колодца (один содержанием в 15°,

другой до 24°). Выварка соли поднялась до 88 т. пудов, а когда в 1827 г. завод взяло в свои руки горное ведомство, выварка соли увеличилась до 126 т. пудов. Хозяйство расширилось: «чтобы избежать покупки железа дорогими ценами и от вольных людей», казна распорядилась построить железный завод. Руды добывались в окрестностях при речке Копотиловке и плавилась в печах, получалось кричное железо, которое превращали в сортовое тут же²⁰⁶. При этих условиях казна успела в 10 лет выстроить тут новое селение (в эти десять лет прибыло 63 дома). Работы производились арестантами, присылавшимися гражданскими начальствами во временную работу в ожидании собирания справок (от 50—100 челов.); присылались и ссыльно-каторжные. В 1838 г. их было 313 человек, имевших 120 домов собственных (другие размещены были в нарочно для них устроенных казармах). Ссылные употреблялись для выварки соли на работы уже истинно каторжные, по старинному способу ведения их. Перевозка дров, починка и постройка чренов и приготовление инструментов производились людьми вольнонаемными.

5) Одновременно с Усть-Кутскими открыты были соляные источники на берегу реки Ангары, в 68 верстах от Иркутска, на месте, где теперь существует Иркутский солеваренный завод или попросту Иркутское-Усолье. Все техническое устройство находится на острове р. Ангары, наз. Варничным (прежде Вознесенским). До 1765 г. соляной промысел состоял в ведении иркутского Вознесенского монастыря, с приписными крестьянами от деревень нынешней Бодайской волости. В 1765 г. Усолье поступило в казенное управление и с того времени стали присылать сюда для работ ссыльно-каторжных. Казна в 1772 году имела уже здесь 4 варницы и вываривала на них соли до 55 т. пудов. С 1782—85 г. завод содержался на аренде тобольским купцом Дьяконовым, по смерти которого опять поступил в казну. Рассольные источники находятся преимущественно на острове Варничном и частью на левом берегу Ангары, близ

селения. Прежде рассол был гуще (в $7\frac{1}{2}$ и $9\frac{1}{3}^\circ$), но бывшие землетрясения понизили их содержание (в 1833 г. от 1 до $1\frac{1}{2}^\circ$, а в 1839 и еще почти на $1\frac{1}{4}^\circ$), отчего соль 1838 и 40 гг. вываривалась уже из рассолов в $5\frac{1}{4}$ и в $6\frac{3}{4}^\circ$ (в 1841 рассолы обогатились наполовину этого понижения²⁰⁷). Выходы соляных рудников неглубоко залегают от поверхности земли, отчего и самые колодцы, скопляющие рассол, неглубоки. Из этих колодцев рассол поднимается бадьями в зунфы посредством насосов, приводимых в действие конною силою. Из зунфов пускается рассол по желобам в лари, устроенные в самых варницах, а из ларей напускается уже, по мере надобности, в чрены. В ларях рассол, по наполнении, часов до 12 отсаживает ил (рассол протекает мутным) и из них пускается по желобам в чрены, устроенные в середине варниц и сшитые из листов поличного железа. Чрены повешены на крючьях: подчренные печи сложены из кирпича, устье их или чело печи имеет вышины около $1\frac{1}{2}$ ар. и ширины 2 ар. и снабжено железною дверью, которая служит также для управления огнем. На стороне противоположной устью, у задней стены, выкладывается невысокая труба, называемая сопуха, имеющая заслонку также для управления огнем или подчренным жаром. Кроме того, в варнице настилаются полаты с ящичками для складки и просушки соли, набрасываемой из чренов. В чрены до напуска рассола напускается бурдук (смесь муки с рассолом), который запаивает и замазывает те места, где капель или течь. Это, собственно, и называется напуском: затем следует наводка, т. е. сгущение рассола. Во вторые сутки повышается напуск рассола; в первые сутки соли почти никогда не получается, во вторые — весьма немного, и то мелкой и грязной, смешанной с пригорелою мукою, сажею, илом и песком. Эта соль поступает в перевар. Три или четыре соли по заваре бывают тяжелы на вес, нечисты и, лежа в магазине, дают весьма значительную утечку²⁰⁸. Каждая варка продолжается около суток, а из 20 и более

варок составляется отряска, в течение которой на полотне чрена, в виде твердого камня, накапливается столько поваренной соли, что, в предупреждение пригара, этот камень (ширей) отбивают. Работа такая (наз. околотка) производится молотками (наз. клевак). Затем производится дня 2—3 починка; чрены действуют от 20 до 22 суток; общая поправка производится через 2—2½ месяца; в октябре солеварение прекращается, в конце февраля или в начале марта начинается. Работа в варницах — в сильном жару, заставляющем снимать рубахи догола с расчетом на простуду и на растраву ран и даже мелких порезов в соляном пару — поистине каторжная. Многие варницы, каковые всегда строятся осьмиугольными, от неправильного устройства пролетов накапливали такой дым, что рабочие, для направления огня, и ползать не могли по земле. Чтобы они не задыхались в ветреное время, сделаны плотно законопаченные будки, куда люди входили со двора и сквозь оконца смотрели за огнем, будучи избавлены от безвременного страдания и боли глаз, но все-таки не избавились от близости простуды и вероятия отравы соляными парами до потери аппетита. В этих сенях, приделываемых с наружного входа, складываются дрова; в летнее время здесь рабочие имеют убежище от нестерпимого жара варниц; сени служат препоною для сильного притока воздуха со двора в варницы, где он в соединении с дымом и паром, особенно при напусках рассола в холодное время, производит почти непроницаемую темноту и отвращает сильное горение в подчренных печах. Кем-то и когда-то при Иркутском заводе устроено было в незначительном виде железное производство ручными молотами на обыкновенно кузнечных горнах. В 1795 г. построена была кузница с пятью горнами, а в 1801 г. устроена была на р. Тельминке молотовая фабрика. На ней из разного лому выковывались гвозди и подгвоздки (железные кружки с дыроу) для чренов. Впоследствии

искали рудных месторождений и нашли их, но неблагонадежные — гнездовые, и замыслы оставлены. В 1835 году поблизости найден новый пласт, и плавка производилась в сыродувных печах, но за недостатком воды работы прекратились, но увенчались тем результатом, что во флейцовой горе (наз. Балдуйской) под песчаником нашли пласт каменного угля до 1½ саж. толщиной. Завод довольствуется теперь железом алтайским и Петровского завода²⁰⁹. С применением в Восточной Сибири новой соляной системы солеварным заводам выпадает неизбежная участь перейти в частные руки, если только таковые уверенно рассчитывают на выгоду разработки и, во всяком случае, предпочтут вольнонаемный труд. Пример частного владельца Николаевского завода, имевшего в своем распоряжении до последнего времени небольшое число каторжных, в этом отношении единичен и исключителен.

Солеваренные заводы, таким образом, можно полагать каторгою первой степени. Гораздо легче их была каторга на винокуренных заводах, до изменения в последнее время системы акцизных сборов на вино, когда все казенные винокуренные заводы были уничтожены, т. е. либо проданы на дело и на слом, либо сданы в арендное содержание в тех местах, где частная предприимчивость в существовании их признала законное и безошибочное право.

Винокурение вначале производилось винокурами, избираемыми из ссыльных, которые знакомы были с этим делом в России или приучались уже в заводе (им давали по 250 р. асс. в год и, сверх того, в виде награды, по 8 коп. с каждого ведра излишне выкуренного вина). Производство шло, по-старинному, весьма дурно: в деревянных бражных кубах, устроенных по обыкновению каштаков; при жестоких морозах терялась спиртуозность, вылетавшая в спай досок. При морозах (в дек. и янв.) выходы вина уменьшались: морозы мешали быстрой работе, мешала делу и посуда, не успевшая

обдержаться. Винокуры часто менялись за злоупотребления, которые происходили частью по их неопытности, частью злонамеренно. Из четверти хлеба не выкуривалось больше 6 ведер; явившиеся из России евреи успели выучить добывать 7 ведер, впоследствии дошли до $7\frac{1}{8}$ и до $7\frac{1}{5}$. Выкурка вина не превышала 100 тыс. ведер в благоприятное время и упала даже до 6 тыс. в неудачное. От того, что бочки готовились из лиственничного леса, усушка и утечка возрастали до $7\frac{1}{8}$ ведра на сто. Голодные и голые рабочие, для поддержки своего утлого существования, принуждены были измышлять различные хитрости, чтобы уворовать вино, бежать с ним из завода и начать корчемничать где-либо по соседству. Воровали спирт и полугар, просверливая дыры в трубах, по которым идет вино. Бывали времена, что по причине скудного урожая хлеба придумывали для рабочих хлеб из барды; бывали времена, что и самый хлеб при плохом хозяйстве для Восточной Сибири принуждены были закупать в Западной²¹⁰.

На винокурные заводы вышла мода. Стали выстраивать их не там, где обнаруживался местный вызов, поддерживаемый обилием хлеба и местными требованиями, а в тех местах, на которые клал надежды кабинетный расчет, желающий похвастаться своею попечительностью о казенных прибылях, своим прилежанием и заботою о народных нуждах. Мало заботились (да и не были в состоянии сделать это), не хотели рассчитывать на то, чтобы за новыми заводами упрочить существование их на будущее время. Достигли одной цели: количество каторжных мест увеличили на известное время, но промышленных заведений, прочно стоящих на твердых экономических основах, не установили. Местные условия не замедлили обнаружить свое влияние, и огромные суммы, затраченные на устройство, оказались бесплодно потерянными; заводы, работавшие в ущерб себе и увеличившие цену вина, убедили в своей несостоятельности и были уничтожены: Михайловский за Байкалом,

Николаевский (в 1832 г.), Ильгинский (1845 г.) в Иркутской губ., Каменский в Енисейской. Александровский завод, увеличив производство, стал без затруднения удовлетворять потребности всех мест, подчиненных влиянию упраздненных заводов. Он избавил казну от лишних издержек и выкуривал вино с меньшими против них расходами. Хлеб привозили сюда окрестные крестьяне и инородцы (буряты) прямо на базар и сумели сделать подручный рынок, избавлявший от необходимости сложных операций по закупке. Иркутский и Нижнеудинский округ снабжали завод хлебом в таком достатке, что бывали времена, когда пуд хлеба продавался менее 10 коп. в урожайные годы, от 24 до 25 в годы среднего урожая и только до 90 коп. доходил в неурожайные. Завод был в состоянии выкуривать свыше 500 тысяч ведер, и казна, за исключением издержек на приготовление вина, получала выгоды около миллиона рублей. В 1860 году в дачах завода считалось 12503 десятины лесных угодий, 526 дес. сенокосных мест, 366 дес. пахотных земель и 240 дес. выгону, — количество угодий, роскошно обеспечивающих существование местного заводского селения. До поступления завода в казну (1787 г.) в нем были рабочие люди из ссыльных; с поступлением в казну определено иметь, кроме дроворубов и бочкарей, 154 чел. каторжных. Но так как потребность в людях гораздо превышала назначенное число, то оно, постепенно увеличиваясь, в последнее время, а именно перед отдачею завода в арендное содержание Медовикову в 1853 г., возросло с лишком до тысячи человек. После же передачи число рабочих уменьшено наполовину.

С передачею заводов на комиссионерском праве в аренду ссыльные стали разделяться на два разряда: одни остались за казною, другие были переданы контрагенту. Положение тех и других изменилось: на Александровском заводе казенные ссыльные получили 3 руб. асс. и два пуда муки в месяц; контрагентские

стали получать двойной плакат (до 3 р. сер.). Вышло, однако так, что казенные, оставшись на задельной плате, стали жить лучше, в особенности те, которые знали какое-либо мастерство. Немастеровые старались приписаться к кому-либо из семейных; жители завода охотно принимали их к себе на квартиру и довольствовались их харчевым содержанием без платы, получая от них один только провиант. Кроме того, ссыльные обязывались половиною свободных во время действия винокурения суток содействовать в помощь домашнему хозяйству старожилов. Кроме того, ссыльные имели еще выгоду зимою работать в заводе по вольным ценам (50 коп. в сутки), а летом (когда с половины мая до половины августа прекращается винокурение) большая часть из них работают дровосеками и при вырубке бочечного леса и получают от 4 до 6 руб. в месяц²¹¹. Усердные из рабочих, проживя один или два года в заводе, имели возможность купить домик и завести собственное хозяйство. При этом каторжные, по преимуществу, женились на дочерях каторжных же, раньше поступивших в завод и обзаведшихся домами и семействами²¹². Между тем, ссыльные от контрагентов чаще пускались в бега: доверители не давали им порядочной одежды, в самые сильные морозы водили почти босыми. Получая по 6 руб. асс. в месяц, ссыльные платили по 4 руб. за харчи и за квартиру; одежда выдавалась из конторы под самое жалованье. Таким образом, заводское начальство лучшею мерою к прекращению побегов полагало улучшение пищи и одежды; находящимся при работах на виннице винокур обязан давать винную порцию. Заведен был овощной огород; выдавались капуста, говядина, крупа и картофель, по временам покупалось молоко. Семейным и обзаведшимся хозяйством на содержание свиней выдавалась барда; свиное мясо служило подспорьем в пище; барда выдавалась также и для лошадей. Хозяева составляли особый разряд — коннорабочих. Получая пособие от казны в лесу и материалах, а также

лошадьми, ссыльные были в состоянии нанимать для пособия при возке дров других ссыльных, беднейших. Этою мерою содержали на заводских работах и детей ссыльных, захотевших в 1835 году выбыть из завода для приписки по 8-й ревизии в крестьяне. В свободное время оставляли за ссыльными право наниматься у крестьян, сдающих хлеб, носить мешки в магазины за добровольную плату.

Подобное же учреждение заводов, не соответствовавшее потребности и силам края, вызвало уничтожение винокуренных и в Западной Сибири: Боготольского, Ентарского и др., и в Восточной Сибири — Каменского и других. Каренский (в 24 верстах от г. Енисейска) еще в 1830-х годах работал с постоянным убытком для казны и существовал лишь для того, чтобы занимать работами 600 чел. каторжных²¹³. В других местах неуместное учреждение казенных винниц вызвало сильную дороговизну хлеба с непомерным стеснением для жителей, особенно когда устроены были два завода, Екатерининский и Успенский, в малохлебобродном северном краю (первый под Тарою, второй под Тюменью). Екатерининский, основанный при Екатерине II и названный ее именем, представлял небольшое селение, поместившееся среди леса, на правом берегу Иртыша. Огромная каменная винокурня отстояла от селения сажен на 300; самое селение представляло ряд домов, выстроенных там, где указало начальство, на линии улиц. И здесь точно так же работы производились каторжными, часть которых (200 чел.) находилась в ведении казны, другая, меньшая (100 чел.), была в распоряжении контрагентов. Казна выкуривала до 120 тыс. ведер, но частные предприниматели увеличили выкурку до 200 тыс. ведер полугара, пенника и спирта, расходившихся по Тоб. и Томск. губ. на тысячу верст в окружности. И здесь, как и везде, одни каторжные набирали муку, другие возили ее, третьи ссыпали в заторы, приготавливали солод на гонку вина, качали машиною воду в сосуды, спускали

брагу из одного сосуда в другой, качали машиною брагу из нижней десяти в верхнюю, заготавливали лес, находились при носке дров, другие были в жиганах у печей, у пилки поленьев, при бочках в бондарях; работали по каторжному положению день и ночь, а в рабочее время винокурения имели отдых только на Рождество и на Пасху. Плата бондарям шла от штуки, и они могли заработать руб. по 15 асс. и больше; другие рабочие получали не больше 10 руб. асс. и не меньше 5-ти. Каторжные отдавали домовладельцам муку, работали около их дома и имели за то стол и право спать в тесной, но теплой избе. Жившие в казармах жили пьяно, распутно, часто затевали кровавые драки. Наказывать рабочих ни винокур, ни доверители не имели права, но только смотритель, в помощь которому и здесь был дан гарнизон из солдат. Против ленивого, непослушного или наглеца смотритель призывал солдат и розгами разыскивал и восстанавливал правду.

Однако бить по щекам, таскать каторжного за волосы безнаказанно мог всякий. Сильно тосковали по родине, а потому бежали, сильно пьянствовали, а при этом и страшно воровали; словом, и здесь то же, как две капли воды, что и на всех сибирских заводах, соляных и винных, железных и серебряных. Говорить о других заводах Западной Сибири — повторять старое; таково же жилось и на Успенском, в Тюменском округе, в 326 верстах от Тобольска. Завод успел также вырасти в довольно большое селение и также пользовался работами ссыльных, обреченных на 20-летнюю заводскую работу и получавших за то ежемесячно неизменные 3 руб. асс. и 2 пуда ржаной муки в провиант.

Государственный совет, при новой реформе акцизного сбора за вино, увидев, что казенные винокуренные заводы приносят казне ежегодно большие убытки, постановил продать заводы в частные руки с тем расчетом, что потребное количество вина будет заготавливаться с большим успехом. Для успехов, при развитии

частной предприимчивости, казна пожертвовала значительными уступками и продала заводы, стоившие несколько сот тысяч, гораздо ниже настоящей их стоимости. Так, например, Павловский завод продан за 10 тыс., а Михайловский за 14 т. р., но выгадано в том, что частные покупщики не замедлили дать наибольшее развитие промышленности и убедить в том, что там, где казна при крепостном труде получала убытки, частные промышленники при вольной цене за труд и без увеличения ценности продукта получили барыши и развили дело на прочных и широких основаниях. Между тем, в видах правительства ясно было выражено желание продать заводы на слом и только пригодные здания передать для волостных надобностей в ведение палат государственных имуществ. С уничтожением казенных винокуренных заводов исчезла и надобность в работах ссыльных и каторжных. Следом за уничтожением рудниковых работ исчез еще новый вид каторжных работ в Сибири по применению к многочисленным сибирским винокурням.

ГЛАВА V

СИБИРСКИЕ ФАБРИКИ

Купец Куткин. — Полотняная фабрика. — Контракты. — Купец Солдатов. — Фаянсовая фабрика. — Суконная фабрика Векшина. — Тальцинская фарфоровая и фаянсовая фабрика. — Тельминская суконная фабрика. — Стекланный завод. — Омская суконная фабрика. — Пользование трудом ссыльных.

Способ приспособления обязательных работ ссыльно-каторжных остался в тех же условиях и по применению к тем фабричным производствам, на которые соблазнялась казна и рассчитывали частные предприниматели. С неперменным обязательством применялся труд каторжных тотчас, как казна заводила фабрику, как завела две таковых для выделки сукон на

линейные и казачьи войска: Тельминскую под Иркутском для войск Восточной Сибири и Омскую в самом городе Омске для войск Западной Сибири. С готовностью и охотою уступала казна труд каторжных и на воспособление предприятий частных лиц, как сделано это при заведении фаянсовых и стеклянных фабрик под Иркутском и полотняной фабрики в Тобольске. Условия, постановленные при поощрении последней фабрики, послужили потом руководящим образцом для других последующих.

В 1791 году ст. совет. Куткин завел в Тобольске, в собственном доме, небольшую полотняную фабрику, которая, распространяясь мало-помалу, сделалась наконец заведением, обратившим на себя внимание правительства. В 1797 году оставлено при ней для работ из сосланных за вины в Сибирь 59 человек; в 1803 году под фабрику отведено было 300 дес. земли, и заведение переведено было за 9 верст от города. В 1808 г. Куткину разрешено выбрать из сосланных русских фабричных, знающих ткацкие работы, нужное число людей возрастом от 20 до 40 лет, с тем чтобы число рабочих с имеющимися налицо составило 60 человек. На случай наибольшего распространения фабрики дозволено увеличить число фабричных до ста человек. Постановлено: мастеровых этих впредь 3 года в подушной оклад не полагать, а в течение 20 лет не брать с них рекрут, чтобы они могли в это время обзавестись хозяйством. По прошествии первых трех льготных лет Куткин обязывался платить подушные и все повинности наравне с помещичьими крестьянами, а по прошествии 20 лет давать от фабрики за рекрута 500 руб. Если «кто из детей фабричных окажется распутной жизни, от него к исправлению надежды не будет, или беспечность столь будет велика, что никакие побуждения и поощрения не подействуют, таковых отдавать в зачет рекрута от фабрики». Мастеровые должны быть помещены в жилые и хорошо выстроенные светлицы, от мая до сентября

получать платы по 24½ коп. в день, в прочее время года по 18 коп., а женщины, без разделений времени, по 9½ коп. Всем женатым Куткин обязан был дать в течение первых трех лет по корове и по две овцы, отвести под огороды по полудесятине земли и по стольку же сенокоса. «Лошадей им не полагается, потому что в тамошнем краю частым они подвержены падежам, а вместо того все работы при фабрике отправлять на волах, которых и давать мастеровым в начале весны от фабрики без всякого отлагательства в нужное к тому время. Состарившихся мастеровых употреблять для присмотра и караулов с платою в месяц от 2 до 3 руб. Когда же застигнет дряхлость, производить пенсии по 12 руб. в год и выдавать провиант против работника в половину. Малолетних сирот до 12 лет воспитывать и одевать на счет фабрики, обучая, между тем, и занимая легкими рукодельями. Для предотвращения дороговизны в пропитании содержатель обязан иметь всегда при фабрике запас хлеба, поелику сии необходимые жизненные припасы (как-то мука и крупа) в городе Тобольске и окрестностях оного всегда бывают в изобилии и продаются ценами умеренными. На волю фабричных отдается брать оный у него (Куткина) или довольствоваться покупкою на стороне. Мелочные ссоры между мастеровыми, их женами и детьми разбирать в воскресные дни по утрам трем человекам выборным, кого они сами назначат. Им же отдавать для исправления ленивых, непослушных и пр. Винная продажа при фабрике и на землях ее воспрещена; не дозволено также ни под каким видом ездить с выставками временными или подвижными. За вычетом праздников и одного летнего месяца для уборки сена и обработки огородов, рабочие занимаются в течение года 248 дней, полагая в сутки по 12 рабочих часов. Призрение больных зависит от фабрики; для исполнения христианского долга мастеровые в воскресные и праздничные дни в церковь могут ходить в город, но только с дозволения управляющего, а без дозволения отнюдь не отлучаться и проч.»

Такими же правилами обязан был и купец Солдатов, получивший мастеровых и рабочих людей из ссыльных, с отводом ему земли (в 1814 году) под фаянсовую фабрику в предместьи Иркутска. Фабрику эту Солдатов купил у купца Полевого и вызвал поощрение правительства, между прочим, и потому — как сказано в положении комитета министров, — что из приготовляемой посуды сделал даже статью торговли с китайцами. Ему назначено было от 30 до 40 ссыльных, а в том числе, сколько можно, женатых, летами от 15 до 40, каковые и были причислены к фабрике на общем основании и с тем, что, если владельцы от фабрики откажутся или ослабят на ней действие, отведенная под фабрику земля и приписанные к ней люди перейдут в казенное ведомство²¹⁴. Так случилось как с солдатовскою, так и с куткинскою фабриками. Дольше и крепче держались казенные фабрики, между которыми наибольшую известностью пользовалась Тельминская.

Тельминская фабрика (на р. Тельме, в 58 вер. от Иркутска) получила свое начало также в частных руках, она построена в 1751 г. купцом Бобровским; в 1793 г. куплена в ведомство иркутского комиссариатского комиссионерства и производила в то время от 4 до 9 тыс. аршин сукна в год. В 1797 году набрано в Сибири до 6 тыс. рабочих людей, воздвигнуты наскоро необходимые здания, и началось производство, но изделия оказались несовершенными, и фабрика могла вырабатывать только $\frac{1}{4}$ часть предполагаемого количества сукон. Между тем, присмотр за рабочими, раздача жалованья и домашний быт мастеров находились в ужасном беспорядке до ревизии фабрики сенатором Селифонтовым. Генерал Новицкий был уволен от управления, фабрика на два года взята в гражданское ведомство и, когда стала изготовлять до 37 тыс. аршин сукна, 5 тыс. каразей, 3855 шляп при 500 рабочих, снова была передана в комиссариат, а в 1808 году передана в ведение Пестеля (генерал-губернатора). В 1811 г. приступлено к разным

постройкам, и в течение 10 лет, кроме старых, устроены: стеклянный завод, гранильная для стеклянной посуды, фабрика фламандского полотна, шерстомойный двор и множество других фабричных заведений. В 1820 году открыты работы на машинах чесальных, прядильных и мотовильнях, которые до того времени оставались без всякого употребления. Тканье сукна производилось на 57 самолетных и на 11 простых двуручных станках. В 1827 г. сенатским указом предписано было воспособлять работам ссыльными женщинами, которых велено всех обращать сюда (кроме ссыльных за смертоубийства, грабежи и разбои). Фабрика доведена была до возможной степени совершенства во всех отношениях при ген.-губер. Лавинском, но с начала 50-х годов быстро пошла к падению. В 1860 г. мы видели завод, без ремонта пришедший в отчаянную ветхость, не позволявшую надеяться найти на нее какого-либо охотника для покупки, машины все пришли в крайнюю негодность. На стеклянный завод еще находились желающие, потому что и производство проще и машин особенных не требуется. Мастерские — потомки ссыльных оказались хорошо обученными к делу и затем ни к чему уже другому не способными. Тяжелее досталась работа и короче жизнь тем, которые постоянно нажимали грудь у ткацкого станка, оттого они были сухи, казались разломанными; рабочие же стеклянного завода казались здоровее, были веселее. Между тем, и селение образовалось в виде порядочного городка, но стало непрочно и оно. Тем не менее на Тельминской фабрике каторжное племя выродилось, и уже третье колено представляется вполне благонадежным.

Таким же образом упала и не существует в настоящее время казачья суконная фабрика в Омске, приспособленная к выделке простых сукон на войсковые потребности, уступая место частной предприимчивости и более своевременному и правильному вызову.

ГЛАВА VI

СИБИРСКИЕ КРЕПОСТИ

Охотск. — Чиниррах. — Омская крепость. — Крепости: Семипалатинская и линейные по Иртышу, Бухтарминская, Троицко-Савская. — Цурутухайт. — Арестантские роты и работы. — Беспорядочность их. — Упадок каторжных работ и затруднение, отсюда происшедшее.

Как в XVII веке против северных бродячих ино-родцев русские люди, овладевшие Сибирью, строили остроги, и московское правительство ссылными полагало основу их заселения, так точно в XVIII веке, когда Петр Великий против кочующих монгольских племен начал сооружать крепости или такие укрепленные места, которыми можно овладевать только посредством правильной осады, в число первых работников и обитателей назначались ссыльно-каторжные. Петр ослаблял высылку подобного сорта людей до некоторой степени тем, что, торопясь защищать Россию, высылал их на работы в Петербург, Шлиссельбург, Рогервик, Азов, Кизляр и проч. Затем высылка в сибирские крепости ссыльных при преемниках Петра сделалась более или менее постоянною и относительно крепости Омской продолжалась очень долго преимущественно по применению к преступникам из нижних воинских чинов. Тем же Петром начато в Сибири основание портов и приведение мест, удобных для произведения десанта, в оборонительное положение и постройка приморских крепостей, вроде Охотска, Нижнекамчатска и Петропавловска или Авачи. Точно так же, при его преемниках ссылка в эти последние места преступников получила известного рода систему, каковая применялась к ним до начала нынешнего столетия, когда и она, по примеру ссылки в крепости Иртышской линии, была прекращена. Охотск, стоящий в яме, окруженный горами, со скверным портом без рейда и без залива, открытым всем ветрам, более знаменит тем упрямством,

с которым отстаивали его существование. Суда с древних времен стояли здесь в ожидании ремонта. Вечные дожди и туманы делали из порта место, никогда не посещаемое иностранцами; хлеб в округе не родился, и уничтожение его было самым разумным явлением во всей его исторической жизни. Петропавловск, не менее неудобный, охотливо сменен был на амурский Николаевск. Слабым и бессистемным продолжением ссылки можно считать учреждение ее в ближайшие к нам годы в Николаевском порте на Амуре (на так наз. Чиниррахе) и организованную в обширных размерах ссылку на остров Сахалин (в так называемые порты Дуэ и Косунай).

Ко временам Петровых преемников в Сибири стояли уже готовыми: Омская крепость, построенная в 1708 году и приведенная в порядок к 1759 году инженерным генерал-майором Людвигом по идеям и планам Вобана. Укрепления были достаточны для отражения киргизских хищников (современная Омской Оренбургская крепость выдержала осаду от пугачевских шаек с польскими инженерами весьма удачно), но теперь кажется смешною и массивная арка вместо ворот и земляные валы и рвы. Все это тесно, неудобно, все это ждет истребления, как ненужное и никому не страшное. Омская крепость сохраняет внутри себя Воскресенский собор, корпусный штаб, казармы, военное училище и, между прочим, крепостные казематы, получившие под талантливым пером Ф. М. Достоевского прозвание «Мертвого дома».

В 1718 году построена Семипалатинская крепость, но, по нездоровому местоположению, перенесена в 1776 году на новое место, к подножию семи древних чудских палат. В 1720 году генерал-майором Лихаревым, на р. Иртыше, на низменном и ровном месте, окруженном горами, построена была Усть-Каменогорская крепость, действительно у устья громады каменных

гор, здесь кончающихся. Иртыш, выходя из ущелья, которым несется от самой Бухтармы, становится тотчас шире и начинает течь медленнее, образуя многие острова и отмели. В 1752 г. заложена Ишимская крепость, через 18 лет переименованная в город. При окончательном устройстве нынешней военной линии, в том же 1752 году сооружены были крепости: Петропавловская, Пресновская, Пресногорьковская Змеиноголовская, Песчаная и проч. В 1791 году заложена была в одном из лучших трактов по реке Бухтарме, при ее устье в Иртыше, Бухтарминская крепость с валом, рвом и кирпичными воротами для охранения открытого тогда богатого серебряного рудника Зыряновского, самого знаменитого на Алтае. На восточной границе с Китаем, на юге Забайкалья, одновременно с первыми крепостями в Сибири основана была в 1727 году иллирийским граф. Саввою Владисл. Рагузинским крепость Троице-Савская, названная так по имени основателя и по имени первой в ней церкви св. Троицы. Пограничный округ этой крепости заключал в себе, кроме нее, еще 7 крепостей, между которыми Цурухайтуевская, Чиндант и Акша пользовались наибольшею известностью, но мало представляли подобия настоящих крепостей; укрепления Цурухайтуя, начатые из камня, даже не были и окончены.

Все поименованные крепости не оправдали цели своих учреждений, ни одной из них не удалось достичь военной славы, и со стороны соседних народов враждебные отношения были слишком слабы, и значение крепостей было только отчасти предупредительное. Тотчас же за их основанием под самыми крепостными пушками, на площадках подле ворот, устроились базары — места взаимных обменов продуктами. Некоторым пунктам удалось занять впоследствии самые видные места по крупным торговым оборотам: в Петропавловске установился знаменитый на всю Сибирь

меновый двор, пристроилась сильная торговля баранами и разными русскими и средне-азиатскими товарами (на ежегодную сумму 500 т. р.). Вблизи Троицко-Савска выросла знаменитая русская Кяхта с китайским Маймачином. В Бухтарминской крепости производится обмен товаров Западного Китая с русскими, обещающий в будущем очень многое. К Усть-Каменогорской издавна подходят для торга ташкентцы, кашгарцы и бухарцы (из Малой Бухары) со своими и китайскими товарами (с 1754 г. здесь существует меновой двор и таможня). В Семипалатинске меновой двор и таможня существуют еще с 1734 г., и торговля с ташкентцами, бухарцами и киргизами приняла большие размеры (до миллиона рублей отпуск, до 700 т. р. привоз). С таким оборотом дел значение крепостей для работ ссыльных утратилось тотчас же, когда укрепления были окончены. Но там, где укрепились каторжные работы (как в Омской) и ссылка не утратила своего значения для политических ссыльных (как в мелких крепостях по Иртышской линии), каторжные работы ложились на людей с неменьшею тяжестью, чем во всех других каторжных местах. Арестантские роты, рабочие дома — все подобные заведения, сделавшиеся принадлежностью крепостей, под именем крепостных рот, стали самыми тягчайшими из мест, когда-либо придуманных для наказания преступников. По уверениям старожилов-наблюдателей, по словам самих заключенных, по сравнении этих каторжных мест с другими, наконец, по применению к крепостным заточениям самой строгой военной дисциплины — крепостные работы заняли первое место среди каторжных работ. Представляя исключительный приют для преступников из военного сословия, но не служа исключением и для других, крепостные рабочие роты были теми учреждениями, ослаблению которых всего больше должно радоваться человеколюбивое чувство

современного человека, неспособного видеть начала новых страданий там, где кончились многочисленные тяжелые предыдущие испытания. В Сибири крепостные работы были для ссыльных еще и тем тяжелы и невыносимы, что за крепкими крепостными запорами самовольные стремления ко временным отдыхам, т. е. побеги, были крайне затруднены и считались приметным исключением. В арестантских ротах, между прочим, практиковалось правило разделять арестантов на десятки и, в случае побега одного, заковывать в кандалы весь десяток. В то же время работы отличались полною беспорядочностью и, веденные без всякой системы, не приводили ни к чему: работы назывались большею частью там, где они были вовсе не нужны, а потому и непроизводительны, и предпринимались и измышлялись собственно для того, чтобы занять время и истратить напрасно силы арестантов. Все эти работы бесплатные — за скверную арестантскую пищу, за платье, и притом, для знающих ремесло, на большую часть в пользу ближайшего начальства в то время, когда оно применением строгой военной дисциплины успело возбудить к себе ненависть и поселить отвращение. Арестантская работа как в России, так и в Сибири давно уже усвоила за собою привилегию на название праховой, никуда негодной. Учреждение арестантских рот с ремеслами и мастерствами в губернских городах наших, нуждающихся в мастерах и ремесленниках, встреченное на первых порах полнейшим сочувствием городских обществ, сумело вскоре оказать свою несостоятельность именно потому, что дело поручено было рукам, охотливее каравшим, готовнее злоупотреблявшим чужими знаниями и силами, неспособным и не приготовленным к тому, чтобы направлять их хотя бы по способу тех же пенитенциарных тюремных систем государств европейских. Арестантские роты, смиренные и рабочие дома,

поселенческие рабочие роты (вроде существовавшей в г. Омске) оказали свою несостоятельность именно в том же самом виде, который требует капитального изменения.

Таким образом, места заточения с карательной целью, в силу исторических судеб и экономических причин, приняли в последующее время такой вид. Крепостные роты военного ведомства, по закону 1868 года, обращены в исправительные роты того же ведомства с назначением сюда каторжных 2-го разряда. Рудники покинуты в расчете на более соблазнительные выработки золота на промыслах и приисках и стоят залитые водою; разрабатываемые серебряные руды добываются при помощи вольного труда и для ссыльных уже 25-26 лет тому назад потеряли устрашающую силу значения. Невыгода принудительного труда и казенного управления не замедлила обнаружиться в приспособлении каторжных работ и к золотым промыслам, а развитие частной предприимчивости в том же Забайкалье и в ближнем соседстве с казенными промыслами указало на вольнонаемный труд, как на несомненно преимущественный способ эксплуатации горных сокровищ. Следом за рудниками исчезла возможность каторжных работ и на золотых промыслах. Винокуренные заводы казною были проданы, и частные заводчики уже не изъявляли желаний и надежд на содействие обязательных работ ссыльных и ссыльно-каторжных. Солеваренные тем же способом стали обходиться без них и в местном населении вернее находили более надежные, несомненно опытные и вполне трудолюбивые силы. На крепостных валах с большим удобством стали прилаживать тенистые бульвары для мирных прогулок вольных обывателей, и крепости, превратившись в меновые дворы и сильные базары, скоро преобразились в города по способу древнейших мест заточения и ссылки — сибирских острогов. В конце концов, каторжные работы в Сибири почти исчезли, и в настоящее время

предстоит серьезная дума о приспособлении карательных мер в Сибири, особенно ввиду того, что современные гласные суды увеличили количество обрекаемых на ссылку в Сибирь. Двести лет опыта различных способов карательных мер возмездия за преступления, вся история прошлого с его ошибками и недоразумениями представляют обилие таких данных, на основании которых вероятно надежда на лучшие системы и безошибочные способы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЮРЕМНЫЕ ПЕСНИ

Сорок восемь тюремных сибирских и русских песен (старинных и новых) с вариантами и объяснениями. — Творцы песен; Ванька Каин. — Разбойник Гусев. — Малороссийский разбойник Кармелюк. — Песня о праведном. — Местные сибирские пииты. — Ученая песня. — Песня Кармелюка. — Песни Видорта. — Ворожбюк.

Подробности быта ссыльных, особенно же частности тюремного быта, привели нас к тем развлечениям, которые измышлены заключенными на досуге, чтобы подцветить праздное безделье и сократить досадное и скучное время. В числе тюремных развлечений не последнее место принадлежит — как и быть следует — песням. Несмотря на то, что строгие тюремные правила, запрещая «всякого рода резвости, произношение проклятий, божбы, укоров друг другу, своевольтва, ссоры, брань, разговоры, хохот» и т. п., преследуют, между прочим, и песни, — они все-таки не перестают служить свою легкую и веселую службу. Хотя песенников приказано смотрителям «отделять от других (не поющих) в особое помещение (карцер), определяя самую умеренную и меньше других пищу, от одного до шести дней включительно на хлеб и на воду», все-таки от этих красивых на бумаге и слабых на деле предписаний песенники не замолчали. Люди и в заключении продолжают петь и веселиться. Песни сбереглись в тюрьмах даже в том самом виде и форме, что мы не обинуясь имеем право назвать их собственно тюремными, как исключительно воспевающие положение человека в той неволе, которая называется «каменной тюрьмой». Скажем даже более: тюремных песен

скопилось так много, что нам представляется возможность составить исключительно из них целый сборник (свыше сорока нумеров), при этом большею частью из известных толькó сибирским ссыльным. Впрочем, большая часть песен принесена из России готовыми, в Сибири они и не улучшались даже, напротив, некоторые, по сравнению с подобными же русскими, являются в неполном виде и нередко искаженными от позднейших приставок и перестановок. В России эти произведения народного творчества являются полнее и законченнее, а в Сибири случается, что одно цельное произведение дробится на части и каждая часть является самостоятельной, но при этом замаскирована до того, что как будто сама по себе представляет самобытное целое. Бывает и так, что мотивы одной перенесены в другую, отчего кажется иногда, что известная песня еще не приняла округленной и законченной формы, а все еще складывается, ищет подходящих образов, вполне удовлетворительных. Некоторые песни людская забывчивость урезала и обезличила так, что они кажутся и бедными по содержанию, и несовершенными по форме. В Сибири уцелели и такие, которые или забыты в России, или ушли в состав других песен, и наоборот.

Тюремные песни двух видов — старинные и новейшие. Помещая последние для сопоставления и сравнения с настоящими и неподдельными произведениями самобытного народного творчества (каковы песни древнейшего происхождения), из новейших мы выбрали только некоторые более распространенные. Старинные мы включаем в сборник (для них собственно и предпринятый) с тем убеждением, что они начинают исчезать, настойчиво вытесняемые деланными искусственными песнями. Мы едва ли не живем именно в то самое время, когда перевес борьбы и победы склоняется на сторону последних²¹⁵.

Лучшие тюремные песни (чем песня старше, древнее, тем она свежее и образнее; чем ближе к нам ее происхождение, тем содержание ее скуднее, и форма не представляет возможности желать худшей) выходят из цикла песен разбойничьих. Сродство и соотношение с ними настолько же сильно и неразрывно, насколько и самая судьба песенного героя тесно связана с «каменной тюрьмой — с наказаньем». Насколько древни похождения удалых добрых молодцев повольников, ушкуйников, воров-разбойничков, настолько же стародавни и складные сказания об их похождениях, которые, в свою очередь, отзываются такою же стариною, как и первоначальная история славной Волги, добытой руками этих гулящих людей и ими же воспетой и прославленной. Жизнь широкая и вольная, преисполненная всякого рода борьбы и бесчисленных тревог, вызвала народное творчество в том поэтическом роде, подобного которому нет уже ни у одного из других племен, населяющих Землю. Отдел разбойничьих песен про удалую жизнь и преследования — один из самых поэтических и свежих. Там, где кончаются вольные похождения и запекает песня о неволе и возмездие за удалые, но незаконные походы, начинается отдел песен, принятых в тюрьмах, в них взлелеянных, украшенных и облюбованных, — словом, отдел песен тюремных. Оттого они и стали таковыми, что в тюрьме кончаются последние вздохи героев и сидят подпевалы и запевалы, рядовые песенники — хористы и сами голосистые составители или авторы песен. От самых древних времен сибирских тюрем готовная и сильная передача о делах удалцов в последовательном своем течении не прерывалась, в особенности с тех пор, как перестали вешать атаманов или рубить их буйны головы до самые могутные плечи. Непосредственно с Волги завещаны сибирским тюрьмам русские тюремные песни, из которых многие получены нами не из первых рук (из тюрем), а может

быть, уже и из десятых (из старожитных селений, от свободных сибирских людей — старожилов). Завещание, таким образом, возымело широкое приложение, от прямых наследников имущество перешло в боковые линии и, наконец, сделалось общим достоянием, как все в Сибири: леса, тайги, луга и степи. Посеянное укрепилось и устояло два столетия в цельном и несокрушимом виде. Впрочем, время и в Сибири сделало то же, что и в России (с которою первая находится в непрерывном и сильном общении): между всходами чисто почвенными и акклиматизированными выросли плевелы, и выросли в таком обилии, что грозят серьезною опасностью заглушить и последние остатки самостоятельных и отечественных растений.

Связь и последовательность не теряют своей силы; иноземное влияние, особенно долговременное (как сказал П. В. Киреевский), необходимо проникает во все отношения внутреннего быта, глубоко уничтожает и искажает народный дух. «Царствование Петрово можно назвать границею настоящих народных исторических песен, которые, после Петра, продолжали возникать только среди волжского и донского казачества». Позднейшие песни о позднейших походах и войнах «разительно отличаются ото всех настоящих народных песен; они лишены всякого поэтического достоинства и заслуживают внимания только как любопытные памятники времени». Песни, приписываемые преданием удалым товарищам Стеньки Разина и ему самому и, стало быть, петые до Петра, оживлены свежелою мыслью и блестят поэтическим колоритом; но уже во многом лишены того и другого те, которые составлены деятелем в начале прошлого столетия, известным в народе под именем Ваньки Каина. В конце же прошлого столетия выросли и появились уже во множестве те мотивы, на которых ясны следы крутой ломки и крупных народных переворотов. На эти произведения народного творчества

намело пыли и наikipело плесени городов с их фабриками и заводами, трактирами и барскими передними. Живой памяти народной подслужились печатные песенники, особенно сильно пущенные в народ в начале нынешнего столетия, богатого подобного рода сборниками даже в многотомных изданиях. Уцелела коренная народная песня только в захолустьях, не тронутых городским чужеземным влиянием, и еще в 30-х годах XIX столетия из южнорусского племени (из малороссийского народа) вышел автор (Кармелюк) тюремной песни, в которой еще не утрачена сила народного творчества, хотя уже и видны некоторые следы постороннего влияния. Само собою разумеется, что потребители из ссыльных, с прекращением доставки отечественного материала, поневоле должны были довольствоваться издалека привозными продуктами, которые и ценою ниже, и достоинством хуже. Крепкие льняные изделия домотканого производства и на этот раз уступили место гнилым или непрочным бумажным товарам машинного дела, набивным ситцам московского фабричного досужества. В этом отношении закон последовательности не утрачивает своей живой и деятельной силы даже и в том, что творцами песен и в наши дни остаются те же самые удалые молодцы, разбойники. Замечено близко стоявшими к тюремным героям и жившими с ними долгое время бок о бок, что эти угрюмые, обидчивые и завистливые люди в то же время в высшей степени тщеславны, хвастливы, слишком уверены в собственных внутренних силах и сознательно любят личный характер. Черты эти становятся тем крупнее и очевиднее, чем богаче известный герой похождениями и заслугами, приведшими его на каторгу. Нет ничего удивительного в том, что одаренный поэтической натурой старался сам похвастать своими похождениями и уложить их в складном песенном произведении, предоставляя товарищам своим только два права: добавить

забытое и недосказанное и довести сказание до сведения людей темных и несведущих. Вот почему, исходя из таких наблюдений, народ приписывает разбойничьи песни самим разбойничьим атаманам. Так, народное предание, нимало не ошибаясь, уверяет в том, что Стенька Разин, сидя в тюрьме и дожидаясь лютой казни, сложил песню и теперь повсюду известную в виде завещания его товарищам, которых просит он «схоронить его между трех дорог: меж московской, астраханской, славной киевской». Удалым шайкам Степана Тимофеевича то же народное предание приписывает и те песни, которые унесены в сибирские тюрьмы: «Ты возмой, возмой, туча грозная» (имеющая два начала: «Нерябинушка со березонькой совивается» и «Ах, туманы, вы туманушки, вы туманы мои непроглядные»); «Из-за лесу, лесу темного, из-за гор, гор высоких»²¹⁶.

Ванька Каин, в лице которого народ привык понимать окаянного грабителя, но который, по собственному его призванию, был и вором, и разбойником, и сыщиком, в то же время был одним из самых тщеславных людей этого полета. В собственном признании его, данном в русской крепости Рогервике (теперь Балтийский порт), настолько сильно стремление его к хвастовству и невоздержно желание покрасоваться и похождениями, и подвигами перед судьями, и в крайней беде, что Ивана Осипова Каина можно считать прототипом, и народное предание особенно не грешит, приписывая ему десятка четыре песен. Между этими песнями «Вниз по матушке по Волге, от крутых красных бережков, разыгралася погодушка верховая, волновая», известная всей России, приписывается всюду этому разбойнику-песельнику. Из Каиновых песен в сибирские тюрьмы пробрались две: «Не шуми-ка ты, мать, зеленая дубравушка» и «Усы»²¹⁷; между русскими тюремными приписываются ему же: «Из Кремля-Кремля крепка города», «Не былинушка

в чистом поле зашаталась» и проч.²¹⁸. Остроумный на словах, находчивый и ловкий на деле, умевший перенести страсть к иносказательным выражениям и искусственному воровскому языку и в песни свои, Иван Осипов Каин рассказ о своих похождениях изложил письменно и пустил в народ. Изуродованная переписчиками тетрадка попала в руки некоего «жителя города Москвы Матвея Комарова», который, по своему разумению, передал рассказ и издал его в печати три раза (в 1773, 1778, 1784 годах). В 1755 году над Каином наряжена была следственная комиссия при сыском приказе, и издатель его песен и походов (Комаров) видал там и слышал его лично. «Каин, по благодению секретарскому, содержался в сыском приказе не так, как прочие колодники и, имея на ногах кандалы, ходил по двору и часто прихаживал в передние сыского приказа и тут с подъячими и бывшими иногда дворянами вольно разговаривал. Рассказывал он свои похождения бывшему тогда в том приказе дворянину Фед. Фомину Левшину». Будучи сыщиком, он проворовался на сыских делах до того, что уворовал даже чужую жену. Его судили и присудили выбить кнутом, положить клейма, вырвать ноздри и сослать в каторжные работы в Рогервик, а оттуда в Сибирь.

Сибирь с его легкой руки не переставала, по образцам и примерам, давать из удалых разбойников авторов тюремных песен. Страшный не так давно для целого Забайкалья разбойник Горкин не менее того известен был как отличный песельник и юмористический рассказчик. Живя по окончании срока каторжных работ на поселении, он весь ушел в страсть к лошадям и на своих рысаках возил откупных поверенных, потешая их своими лихими песнями и необычайно быстрою ездой. С пишущим эти строки он охотно поделился рассказами о своих похождениях. Затем последние годы он приплясывал и припевал на потеху деревенских ребят,

шатаясь по Забайкалью в звании нищего. Разбойник Гусев, бежавший из Сибири в Россию и ограбивший собор в Саратове, в саратовском тюремном замке сложил песню: «Мы заочно, братцы, распростились с белой каменной тюрьмой», которая ушла и в Сибирь. Сам Гусев, несколько раз бегавший оттуда, вновь, после саратовского грабежа, уже не пошел: его сгубило то же хвастовство разбойничьего закала и та же страсть к остроте и красному слову, которыми отличались и предшественники его. Когда он приведен был на саратовскую торговую площадь и палач хотел привязывать его ремнями к кобыле, Гусев, обращаясь к скамейке, закричал на весь собравшийся народ: «Эх, кобылка, кобылка! вывозила ты меня не один раз, ну-ка, вывози опять!» — «Нет, Ив. Вас., — заметил палач: — теперь она тебя не вывезет!» И сдержал слово: Гусева сняли с эшафота мертвым.

Известный малороссийский разбойник Кармелюк был также поэтом и автором не разбойничьих, но элегических песен, сложенных на родном ему языке. Он «шалил» на Волыни, долго не давался в руки властей и, наконец, убит был своей любовницей, которая подкуплена была соседним помещиком²¹⁹.

В сибирских тюрьмах также сохранилась одна хорошая песня его, без сомнения, оставленная самим Кармелюком, так как он в Сибири был и отсюда убежал разбойничать на Волыни. На Волыни сохранилась о Кармелюке такая песня в народе:

Повернувся я з Сибіру,
Нема мені доли.
А здається, не в кайданах,
Еднак же в неволе и т. д. (См. ниже.)

Нам самим лично удалось видеть на Карийских золотых промыслах ссыльно-каторжного Мокеева, посланного за грабеж и обличавшего в себе несомненно-поэтическую натуру, высказавшуюся и в жизни на воле, и в жизни на каторге и даже выразившуюся в

порывах к стихотворству. Ему заказана была песня на отправление эскадры для приобретения Амура, и муза Мокеева, вдохновляемая шилкинскими картинами и руководимая аккомпанементом торбана, бубна, тарелок и треугольника, высказалась в большой песне, которая начинается так:

Как за Шилкой за рекой,
В деревушке грязной,
Собрался народ простой,
И народ все разной.

а кончается:

Вдруг раздался песен хор,
Пушек залп раздался,
И по Шилке, между гор,
Флот сибирский мчался.

Песне этой не удалось удержаться у казаков (придумавших про Амур иную песню, совсем противоположного смысла и настоящего склада), но нет сомнения в том, что Мокееву не мудрено было соблазнить каторжных теми своими песнями, которыми прилачился он к общему настроению арестантского духа, т. е. когда его муза снисходила до сырых казарм и тяжелых работ или хотя бы даже и до купоросных щей. Арестанты, как мы видели, невзыскательны и в ущерб настоящим народным песням привыкли к тем, которые нуждаются в торбане и трескотне тарелок; вкус давно извращен и поэтическое чутье совсем утрачено.

Вот для примера песня, пользующаяся особенною любовью тюремных сидельцев не только в России, но и в Сибири, песня, распространенность которой равносильна самым известным и любимым старинным русским песням. Столичные песельники в публичных садах и на народных гуляньях, известные под странным именем «русских певцов», вместе с цыганами представляют

тот источник, из которого истекает вся порча и безвку-
сие. Здесь же получил образование и автор прилагае-
мой песни, и здесь же выучились находить вдохнове-
ние новейшие творцы псевдонародных русских песен.
Такова песня в целом виде и с более замечательными
вариантами:

Ни в Москве, ни за Москвой,
Меж Бутырской и Тверской,
Там стоят четыре башни,
Посредине Божий храм.
(Или, по московскому и вернее:
В середине большой дом.)
Где крест-накрест калидоры
И народ сидит все воры, —
(Или: сидит в тоске.)
Сидел ворон на березе;
(Или: Рыскал ворон на войне,)
Кричит ворон не к добру (или: на войну):
«Пропадать тебе, мальчишке,
Здесь в проклятой стороне,
Ты зачем, бедный мальчишка,
В свою сторону бежал?»²²⁰
Никого ты не спросился,
Кроме сердца своего²²¹.
Прежде жил ты, веселился,
Как имел свой капитал.
С товарищами поводился,
Капитал свой промотал.
Капиталу не сыстало —
Во неволю жить попал,
Во такую во неволю:
В белый каменный острог».
Во неволе сидеть трудно.
(Или: Хороша наша неволя, да —)
(Но) кто знает про нее:
Посадили нас на неделю —
Мы сидели круглый год.
За тремя мы за стенами
Не видали светлый день.
Но не бось: Творец-Господь с нами,
(Или: Бог-Творец один Он с нами),
Часты звезды нам в ночи сияли;
Мы и тут зарю видали,
Мы и тут (или: Лих мы здесь) не пропадем!

Часто звезды потухали,
Заря бела занялася,
Барабан зорю пробил, —
Барабанушко пробивал,
Ключник двери отпирает
Офицер²²² с требой идет,
Всех на имя нас зовет²²³:
«Одевайтесь, ребятенки,
В свои серы чапаны!
Вы берите сумочки, котомки,
Вы сходите сверху вниз
Говорите все одну речь». —
Что за шутова коляска
Показалась в городе?
Коней пару запрягают,
Подают ее сейчас, —
Подают эту коляску
Ко поратному крыльцу.
Сажают бедного мальчишку
К эшафотному столбу.
Палач Федька разбежался,
Меня за руки берет;
Становит меня, мальчишку,
У траурного столба.
Велят мне, бедному мальчишке,
На восход солнца молиться,
Со всем миром распроститься.
Палач Федька разбежался —
Рубашонку разорвал;
На машину меня клали,
Руки, ноги привязали
Сыромятным ремнем;
Берет Федька кнутъ в руки,
Закричал: «брат, берегись!»
Он ударил в первой раз —
Поились слезы из глаз.
Он ударил другой раз —
Закричал я: «помилуйте нас!»

Вот какой песне в наше время удалось попасть во вкус потребителей настолько, что нам привелось заметить несколько сортов ее с обычною фабричною набойкою; основа гнилая и проклеенная, уток линючих

цветов и красок, и в Москве, и в Сибири, и в Кавказе, и в Саратове. Песня стала и любимой и распространенной; редкой другой песне доставалась такая счастливая доля, несмотря на то, что за нею нет никаких достоинств, каковыми красятся старинные, *настоящие народные* песни. В этой пародии на русскую песню нет уже искреннего чувства и поэтических образов, хотя и замечается тонический размер и рифма. Между тем, такого склада песням, с конца прошедшего столетия, судьба сулила занять чужое, не принадлежащее им место, как бы в доказательство того, что народ уже успел забыть старые образы и приемы, самобытные и художественные, и потянулся к новым, искусственным и прозаическим. Во всяком случае, нельзя не видеть в этом явлении упадка поэтического чутья и художественного вкуса в силу причин, исключительно не зависевших от народа. С такими ли красками подходили к своим идеалам прежние народные певцы и так ли легко отходили от них прежние люди? Для образца представляем одну старинную песню (записанную в Саратовской губ.), получившую вдохновение и содержание свое в том же источнике, из которого вытекла и новая тюремная песня, — близкая свойственница новомодным лакейским, трактирным и фабричным песням:

Еще сколько я, добрый молодец, ни гуливал,
Что ни гуливал я, добрый молодец, ни похаживал,
Такова я чуда-дива не нахаживал,
Как нашел я чудо-диво в граде Киеве:
Среди торгу-базару, середь площади,
У того было колодечка глубокова,
У того было ключа-то подземельнова,
Что у той было конторушки Румянцевой,
У того было крылечка у перильчата, —
Уж как бьют-то добра молодца на правеже,
Что на правеже его бьют,
Что нагова бьют, босова и без пояса,

В одних гарусных чулочках-то, без чоботов:
Правят с молодца казну да монастырскую²²⁴.
Из-за гор-то было гор, из-за высоких,
Из-за лесу-то было лесочку, леса темнова,
Что не утренняя зорюшка знаменуется,
Что не праведное красно солнушко выкатается:
Выкаталась бы там карета красна золота,
Красна золота карета государева.
Во каретушке сидел православный царь,
Православный царь Иван Васильевич.
Случилось ему ехать посередь торгу ;
Уж как спрашивал надежа-православный царь,
Уж как спрашивал добра молодца на правеже:
«Ты скажи-скажи, детина, правду-истину:
Еще с кем ты казну крал, с кем разбой держал.
Если правду ты мне скажешь — я пожалую,
Если ложно ты мне скажешь — я скоро сказню.
Я пожалую тя, молодец, в чистом поле
Что двумя тебя столбами да дубовыми,
Уж как третьей перекладиной кленовою,
А четвертой тебя петелькой шелковою».
Отвечат ему удалый добрый молодец:
— «Я скажу тебе, надежа-православный царь,
Я скажу тебе всю правду и всю истину,
Что не я-то казну крал, не я разбой держал!
Уж как крали-воровали добры молодцы,
Добры молодцы, донские казаки.
Случилось мне, молодцу, идти чистым полем.
Я завидел в чистом поле сырой дуб стоит,
Сырой дуб стоит в чистом поле кряковистый.
Что пришел я, добрый молодец, к сыру дубу.
Что под тем под дубом под кряковистым,
Что казаки они дель делят,
Они дель делят, дуван дуванили.
Подошел я, добрый молодец, к сыру дубу,
Уж как брал-то я сырой дуб посередь его,
Я выдергивал из матушки сырой земли,
Как отряхивал коренья о сыру землю.
Уж как тут-то добры молодцы испугалися:
Со дели они, со дувану разбежались:
Одному мне золота казна досталася,
Что не много и не мало — сорок тысячей.
Я не в клад-то казну клал, животом не звал,
Уж я клал тое казну во большой-от дом,
Во большой-от дом, во царев кабак».

Вот те песни, которые нам удалось слышать в Сибири от ссыльных, или собственно тюремные песни:

I

При долинушке вырос куст с малинушкой
(или с калинушкой)
На кусточке ли (или на калинушке)
сидит млад соловеюшко,
Сидит, громко свищет.
А в неволюшке сидит добрый молодец,
Сидит, слезно плачет;
Во слезах-то словечушко молвил:
— Растоскуйся ты, моя любезная, разгорюйся!
Уж я сам-то по тебе, любезная,
Сам я по тебе сгоревался.
Я от батюшки, я от матушки
Малой сын остался.
«Кто тебя, сироту, вспоил, вскормил?»
— Вскормил, вспоил православный мир,
Возлелеяла меня чужая сторонка,
Воскачала-то меня легкая лодка.
А теперь я, горемышный, во тюрьму попал,
Во тюрьму попал, тюрьму темную.

II

Из-за лесу, лесу темного,
Из-за гор, гор высокиих,
Выплывала лодка легкая.
Ничем лодочка не изукрашена,
Молодцами изусажена;
Посередь лодки бел шатер стоит;
Под шатром-то золота казна;
Караульщицей красна девица,
Девка плачет, как река льется;
У ней слезы, как волны бьются.
Атаман девку уговаривает;
— Не плачь, девка, не плачь, красная!
«Как мне, девушке, не плакати?
Атаману быть убитому,
Палачу (есаулу ?) быть расстреляну!

А мне, девушке, тюрьма крепкая
И сосланице далекое.
В чужедальную сторонушку,
Что в Сибирь-то некрещеную!»

III

Ты воспой, воспой,
Жавороночек,
На крутой горе,
На проталинке.
Ты утешь-ко, утешь
Меня молодца,
Меня молодца
Во неволюшке,
Во неволюшке
В каменной тюрьме,
За тремя дверьми
За дубовыми,
За тремя цепьями
За железными.
Напишу письмо
К своему батюшке, —
Не пером напишу,
Не чернилами,
Напишу письмо
Горючьими слезьми.
Отец с матерью
Отступилися:
«Как у нас в роду
Воров не было,
Ни воров у нас,
Ни разбойников».

IV

Уж ты, гуленька мой голубочек,
Сизокрылый ты мой воркуночек!
Отчего ко мне, гуленька, в гости не летаешь?
Разве домичка моего ты не знаешь?
Мой домик раскрашенной:
ни дверей нет, ни окошек,
Только печка муровая, труба дымовая.

Тут зашла к нему гостюшка дорогая,
К нему матушка его родная;
Не гостить зашла, а провести:
— «Каково-то тебе, сыну милому,
Во тюрьме сидеть, во неволюшке?
Во тюрьме сидеть за решетками,
За решетками за железными?»
— Ах ты, матушка, ты, родимая!
Ты сходи, сходи к прокурору в дом,
Попроси-ка ты его милости,
Не отпустит ли меня, доброго молодца,
На свет белый погулять еще?

VI

Привелось мне, доброму молодцу,
Ехать мимо каменной тюрьмы.
На тюремном-то на белом окошечке
Сидел добрый молодец :
Он чесал свои русы кудерушки
Частым белым гребешком.
Расчесавши свои русы кудерушки,
Сам восплакал слезно и сказал:
«Вы подуйте-ка, буйны ветры,
На родиму сторону!
Отнесите-ка вы, ветры буйные,
Моему батюшке низкий поклон,
Как моей родимой матушке челобитьице!
А жене молодой вот две волюшки:
Как первая воля — во вдовах сиди,
А вторая воля — замуж пойди!
На меня-то молодца не надейся,
У меня-то молодца есть своя печаль
непридумная:
Осужден-то я на смертную казнь,
К наказанью ль кнутом да не милостному²²⁶».

VII

Ты не пой-ка, не пой, млад жавороночек,
Сидючи весной на проталинке,
На проталинке — на прогалинке.
А воспой-ка, воспой, млад жавороночек,

Сопоставляя эти песни рядом, мы видим в них разительное сходство в основных мыслях: одна служит основанием другой. Если источник этих песен лежит в думах заключенных русских тюрем (где они, по всему вероятно, и придуманы), то, тем не менее, песни эти любимые и у сибирских арестантов. Одна песня (№ IV) даже до такой степени освоилась в Сибири, что ее там признают все за свою, называют сибирскою национальною и знают ее и поют все, начиная с тюремных казарм и крестьянских изб и кончая богатыми кабинетами и гостиными богатых купцов и золотопромышленников. Эта — одна из самых известных и распространенных песен в Сибири, несмотря на то, что коренной сибиряк вообще петь не охотник, мало знает песен и почти ни одной своей не придумал. Сибирскою можно назвать упомянутую песню разве потому только, что сибиряки несколько изменили напев, отличающийся от русского большею тоскливостью (к тому же он и растянутее). Творчество в Сибири, по-видимому, не шло дальше того, что завещано Россиею, и остановилось, удовлетворенное старыми русскими образцами. Взамен того в Сибири заметно явление противоположного свойства: там из готового материала составляются новые песни, в которых начало взято из одной, конец приставлен из другой. Эта перетасовка и перекройка стихов — дело обычное у арестантов, примеры мы укажем ниже. Вот, между прочим, один, отвечающий сразу трем песням, помещенным нами под №№ III, IV и V. В России III песне отвечает следующая, очень распространенная:

Ты воспой, воспой, млад жавороночек,
Сидючи весной на проталинке.
Сидит молодец в темной темнице,
Во темной темнице-заключеньице;
Пишет он грамотку к отцу, к матери,
К отцу, к матери, к молодой жене:
«Ох ты, матушка, родной батюшка!
Выкупи, выручи доброго молодца,

Доброго молодца из темной темницы». Как отец-то и мать отказались, Все сродники отступаются²²⁷. Ты воспой, воспой, мил жавороночек, Сидючи весной на проталинке. Сидит молодец в темной темнице, Во темной темнице, в заключеньице; Пишет грамотку к красной девице, К красной девице, прежней любовнице: «Выкупи, выручи доброго молодца, Ах ты душенька — красная девица, Ты, прежняя моя любовница!» Красная девица горько всплакнула, Горько всплакнула, слова молвила: «Ох вы, нянюшки, мои мамушки! Вы берите скорей золоты ключи, Отпирайте вы кованы ларцы, Вы берите казны сколько надобно, Выкупайте доброго мододца, Доброго молодца из темной темницы, Из темной темницы-заключеньица».

Песня под № VIII составлена из двух, из которых одна поется в России так:

Уж ты, веснушка наша весна!
Ты не к радости, весна, пришла,
Не к радости, весна, не в честе,
Во великой большой сухоте.
Уж ты, сад ли мой, садик,
Сад — зеленый виноград!
Отчего ты, садик, весь посох?
В саду Ванюшка-Ваня гулял,
Всею травьньку Ваня помял,
Алы цветики все Ваня перервал,
Красну девицу терял,
Во тюрьму Ваня попал.
Во тюремашке Ваня сидел,
Сам в окошечко глядел,
На доброго коня смотрел,
С конем речи говорил:
«Уж ты, конь ли мой конек,

Конь добра лошадь моя!
Что не вынесешь меня
С белой каменной тюрьмы?»

Вторая однородная русская песня (древнейшей формы) такова:

Добры молодцы все на волюшке живут,
Один Ванюшка в победушке сидит:
В каменной, Ваня, государевой Москве,
В земляной тюрьме. за решетками,
За железными дверями,
За висячими замками.
Завтра Ваню к наказаньицу ведут,
К наказаньицу — ко ременному кнуту,
К столу крашеному, дубовому.
Но праву руку отец с матерью идут,
По левую руку молода жена с детьми,
Молода жена с детьми малыми,
Позади его православный весь народ.
Как и стал Ваня говорить жене:
«Ты сними с меня шелковой пояс
С позолоченными на нем ключиками.
Отопри, жена, окован сундук,
Уж ты вынь оттоль золотой казны,
Ты дари, жена, молодого палача,
Чтобы молодой палач меня легче наказывал!»

Для песни под № IV имеется в России такой вариант:

Не ласточка ко мне прилетала,
Касаточка вестку приносила:
Будто бы мой-то миленькой сидит во неволе,
Во той тюрьме, в губернском остроге.
Во той тюрьме нет ни дверей, ни окошек,
Одна труба и та дымовая;
Из трубоньки дымок повевает,
У девушки сердце занывает.
Пойду, млада, в высоки хоромы,
Возьму, млада, ключи золотые:

Отопру, млада, ларцы кленовые,
Пойду, млада всех судей дарить.
Судьи денег моих не принимают
Любезного ко мне не пускают.

В России еще известны следующие прекрасные тюремные песни:

1

Из-под цветика да каменной Москвы,
Каменной Москвы да земляной тюрьмы,
Как из той ли тюрьмы да ведут молодца,
Ведут молодца да ведь ко вешанью.
Идет молодец да сам не качается,
Его буйная головушка не тряхнется,
Его русые кудерки не шелохнутся.
Во руках-то он несет воскову свечу,
Белы рученьки да воском залило.
Как навстречу ему православный царь.
Еще стал государь его расспрашивать:
— «Ты скажи-ка, скажи мне, добрый молодец,
Скажи, с кем ты воровал, с кем разбой держал?»
— Уж ты, батюшка благоверный царь!
Я не сам-то воровал, не сам разбой держал:
Воровали твои да донски казаки,
Донски казаки да казаченьки;
Все казаченьки дуван дуванили,
Дуван дуванили, казну делили,
Казну делили, да казну-денежки;
Уж как я ли, молодец, при том случае был,
При том случае был да все паю просил;
Уж как мне-то, молодцу, паю не дали...
Все казаченьки да испугалися,
По низким местам разбежались,
По низким местам по болотичкам,
Одному-то мне казна досталася.

(Вариант в 1-м приложении: «Еще сколько я, добрый молодец, ни гуливал» и проч.)

Ходил-то я, добрый молодец, по чистому полю:
 Мягкая постелюшка — зеленый песок,
 Изголовьице мое — шелкова трава!
 Как во селе было во Лыскове, —
 Тут построена крепкая темница.
 Как во той во крепкой темнице
 Посажен сидит добрый молодец,
 Добрый молодец Чернышев, Иван Григорьевич.
 Он по темнице похаживает, сам слезно плачет,
 Сам слезно плачет, он Богу молится:
 «Ты возмой, возмой, туча грозная!
 Разбей громом крепкие тюрьмы:
 Во тюрьмах сидят все невольнички,
 Невольнички неохотнички».
 Все невольнички разбежались,
 Во темном лесу они собирались,
 Соходились они на поляночку,
 На поляночку на широкую.
 «Ты взойди, взойди, красное солнышко!
 Обогрей ты нас, добрых молодцев,
 Добрых молодцев, сирот бедных,
 Сирот бедных, беспашпортных».
 Ниже города, ниже Нижнего
 Протекала тут речка быстрая,
 По прозванью речка Волга-матушка
 Течет Волга-матушка по диким мелким камушкам.
 Как по реченьке плывет легка лодочка.
 Эта лодочка изукрашенная,
 Все молодчиками изусаженная.

Как светил да светил месяц во полночи,
 Светил в половину;
 Как скакал да скакал добрый молодец
 Без верной дружины.
 А гнались да гнались за тем добрым молодцем
 Ветры полевые;
 Уж свистят да свистят в уши разудалому
 Про его разбои.

А горят да горят по всем по дороженькам
Костры стражевые;
Уж следят да следят молодца-разбойника
Царские разъезды;
А сулят да сулят ему, разудалому,
В Москве белокаменной каменны палаты.

4

Уж ты воля, моя воля, воля дорогая,
Ты воля дорогая, девка молодая!
Девка по торгу (или: во Москве девка) гуляла —
красоту теряла;
Красоту девка теряла (платочек украла),
в острог жить попала;
Скучно, грустно красной девке в остроге сидети,
Во неволюшке сидети, в окошко глядети.
Мимо этого окошка лежит путь-дорожка.
Как по этой по дорожке много идут-едут.
Моего дружка, Ванюши, его следу нету.
За быстрою за рекою мой Ваня гуляет,
Там мой Ванюшка гуляет, товар закупает,
Товар Ваня закупает купеческой дочке.
Уж и то-то мне досадно, хоть была бы лучше!
Разве тем-то она лучше, что коса длиннее,
Что коса у ней длиннее и брови чернее.

5

Не рябинушка со березонькой
Совивается,
А не травонька со травонькой
Соплетается.
Как не мы ли, добрые молодцы,
Совыкались.
Как леса ли, вы лесочки,
Леса наши темные!
Вы кусты ли, наши кусточки,
Кусты наши великие!
Вы станы ли, наши станочки,
Станы наши теплые!
Вы дружья ли, наши дружья,

Братцы-товарищи!
И еще ли вы, мои лесочки,
Все повырубленные!
Все кусты ли, наши кусточки,
Все поломанные!
Вы станы ли, наши станочки,
Все разоренные!
Все дружья наши, братцы —
Товарищи посажены,
Остался один товарищ —
Стенька Разин сын.
Резвы ноженьки в кандалах заклепаны.
У ворот-то стоят грозные сторожи,
Грозные сторожи — brave солдатушки.
Никуда-то нам, добрым молодцам,
Ни ходу, ни выпуску,
Ни ходу нам, ни выпуску
Из крепкой тюрьмы.
Ты возмой, возмой туча грозная,
Ты разбей-ка, разбей земляны тюрьмы!

6

Не от пламечка, не от огнечка
Загорался в чистом поле ковыль-трава;
Добирался огонь до белого до камешка.
Что на камешке сидел млад ясен сокол.
Подпалило-то у ясна сокола крылья быстрые,
Уж как пеш ходит млад ясен сокол по чисту полю.
Прилетели к ясну соколу черны вороны;
Они граяли, смеялись ясну соколу,
Называли они ясна сокола вороною:
— Ах, ворона ты, ворона, млад ясен сокол,
Ты зачем, зачем, ворона, залетела здесь?
Ответ держит млад ясен сокол черным воронам:
— Вы не грайте, вы не смейтесь, черны вороны!
Как отрощу я свои крылья соколиные,
Поднимусь я, млад сокол, высокошенько,
Высокошенько поднимусь я по поднебесью,
Опущусь я, млад ясен сокол, ко сырой земле;
Разобью я ваше стадо, черны вороны,
Что на все ли на четыре стороны;
Вашу кровь пролью я в сине море,

Ваше тело раскидаю по чисту полю,
Ваши перья я развею по темным лесам.
Что когда-то было ясну соколу пора-времячко,
Что летал млад ясен сокол по поднебесью;
Убивал млад ясен сокол гусей-лебедей,
Убивал млад ясен сокол серых уток.
Что когда-то было добру молодцу пора-времячко,
Что ходил гулял добрый молодец на волюшке,
Что теперь добру молодцу поры-время нет.
Засажен сидит добрый молодец во победности:
У злых ворогов добрый молодец в земляной тюрьме.
Он не год-то сидит, добрый молодец, и не два года,
Что сидит-то добрый молодец ровно тридцать лет.
Что головушка у добра молодца стала седешенька,
Что бородушка у добра молодца стала белешенька.
А все ждет-то он, поджидает выкуп — выручки:
Был и выкуп бы, была выручка, своя волюшка,
Да далечева родимая сторонушка!

Два последних стиха приставлены из другой песни; без них она поется вся в цельном виде на Урале. В нашем сборнике песен она восполняет недостающее и забытое на Нерчинских заводах в той песне, которая помещена нами в тексте 2-й главы «На каторге», а записана за Байкалом.

В России сохранилась в народной памяти еще следующая песня, отвечающая содержанием своим многим тюремным песням:

7

Из Кремля, Кремля крепка города,
От дворца, дворца государева,
Что до самой ли Красной площади
Пролегала тут широкая дороженька.
Что по той ли по широкой по дороженьке,
Как ведут казнить тут добра молодца,
Добра молодца, большого боярина,
Что большого боярина — атамана стрелецкого,
За измену против царского величества.
Он идет ли, молодец, не оступается,

Что быстро на всех людей озирается,
Что и тут царю не покоряется.
Перед ним идет грозен палач,
Во руках несет остер топор,
А за ним идут отец и мать,
Отец и мать, молода жена.
Они плачут, что река льется,
Возрыдают, как ручьи шумят,
В возрыдании выговаривают:
— Ты, дитя ли наше милое,
Покорися ты самому царю.
Принеси свою повинную;
Авось тебя государь-царь пожалует,
Оставит буйну голову на могучих плечах.
Каменеет сердце молодецкое,
Он противится царю, упрямствует,
Отца, матери не слушается,
Над молодой женой не сжалится,
О детях своих не болезнует.
Привели его на площадь Красную,
Отрубили буйну голову,
Что по самы могучи плечи.

Сохранились и песни, завещанные волжскими и другими разбойниками, некогда наполнявшими сибирские тюрьмы в избытке. Ими же занесены и забыты многие песни и в сибирских каторжных тюрьмах, где успели эти песни на наши дни частью изменить, частью изуродовать, а частью обменять на другие. Свободное творчество не получило развития; причину тому ближе искать в постоянных преследованиях приставниками. Песня в тюрьме — запрещенный плод. Дальнейшая же причина, естественным образом, зависит от тех общих всей России причин исторических, которые помешали создаваться новой песни со времен Петра Великого. Вначале вытесняли народные песни соблазнительные солдатские (военные), в которых ярко и сильно высказалось в последний раз народное самобытное творчество (особенно в рекрутских). С особенною любовью здесь приняты и особенным сочувствием воспользовались песни

рекрутские и в сибирских тюрьмах: и «По горам, горам по высоким, млад сизой орел высоко летал», и «Как по морю-моречку по Хвалынскому», и «Не шуми-ка ты, не греши, мать зелена дубравушка»²²⁸. Затем растянули по лицу земли русской войска в то время, когда уже познакомились они с деланною, искусственною и заказною песнею; потом завелись фабричные и потащили в народ свои доморощенные песни, находящиеся в близком родстве с казарменными; наконец, втиснули в народ печатные песенники с безграмотными московскими и петербургскими виршами, с романсами и цыганскими безделушками. Но в солдатских и фабричных песнях уже утратилась старая, ловкая грань и появилась новая фальшивая, а потому и не мудрая. Да пусть живет и такая, когда нет другой: на свободе песня творится, на воле поется, где и воля, и холя, и доля, а обо всем этом в тюрьмах нет и помина.

В сибирских тюрьмах есть еще несколько песен, общеупотребительных и любимых арестантами, несмотря на то, что они, по достоинству, сродни кисло-сладким романсам песенников. Решаюсь привести только три в образчик и в доказательство, что другие, подобные им, и знать не стоит.

ПЕРВАЯ

Сидит пташечка во клетке,
Словно рыбочка во сетке.
Видит птичка клетку,
Клетку очень редку,
Избавиться не может.
Крылья-перья бедна перебила,
Все по клеточке летала.
Вострый носик притупила,
Все по щелочкам клевала.
Отчего же у нас слезы льются,
Словно сильны быстры реки?
Слезы льются со кручины,

Со великой злой печали.
Вспомню, мальчик — сожалеюсь,
Где я, маленький, родился.
Привзведу себе на память,
С кем когда я веселился.
Имел я пищу, всяку растворенность,
Ел я хлеб с сытою,
Имел я кровать нову тесовую,
Перинушку перовую.
Я теперя, бедный, ничего не имею,
Кроме худой рогожонки.
Я валяюсь, бедный, под ногами
До такого время часу:
Ожидаю сам себе решенья
Из губернского правленья.
Неизвестно, что нам, братцы, будет,
Чем дела наши решатся.
Перетер я свои ножки резвы
Железными кандалами;
Перебил я свои ручки белы
Немецкими наручнями;
Приглядел я свои ясны очи
Скрозь железную решетку:
Вижу, все люди ходят по воле,
Я один, мальчик, во неволе.

ВТОРАЯ

Хорошо в остроге жить,
Только денежкам не вод.
По острогам, по тюрьмам.
Ровно крысы пропадай.
Как пойдет доход калашный —
Только брюхо набивай;
Отойдет доход калашный —
Только спину подставляй... и проч.

ТРЕТЬЯ

Суждено нам так страдать!
Быть, прелестная, с тобой
В разлуке — тяжело для меня.

Ох! я в безжалостной стране!
Гонимый варварской судьбой,
Я злосчастье испытал.
Прошел мытарства все земные
На длинной цепи в кандалах.
Тому причиной люди злые.
Судья, судья им — небеса.
Знаком с ужасной я тюрьмою,
Где много лет я пострадал.
Но вот уж, вот уж — слава Богу! —
Вздыхнув, я сам себе сказал:
Окончил тяжкие дороги
И в Сибирь я жить попал,
Где часто, как ребенок, плачу:
Свободы райской я лишен.
Ах! я в безжалостной стране.
В стране, где коварство рыщет,
Где нет пощады никому,
Где пламенная язва пышет,
Подобно аду самому.
Лишь утрення заря восходит,
Словно в аде закипит,
Приказание приходит,
Дежурный строго прокричит:
«Вставай живее, одевайся!
Все к разводу выходи!»
Но вот одно, одно мученье:
Манежно учат ходить нас.
Я Богу душу оставляю,
Жизнью жертвую царю,
Кости себе оставляю,
Сердце маменьке дарю²²⁹.

Несомненно, что сочинение этих песен принадлежит каким-нибудь местным пиитам, которые пустили их в толпу арестантов и занесли, таким образом, в цикл тюремных песен. Не задумались и арестанты принять их в руководство: благо песни в некоторых стихах близки к общему настроению духа, намекают (не удовлетворяя и не раздражая) о некоторых сокровенных думах и, пожалуй, даже гадательно забегают вперед и кое-что

разрешают. Не гнушаются этими песнями арестанты, потому что требуют только склада (ритма) на *голосе* (для напева), а за другими достоинствами не гоняются. Такова, между прочим, песня ссыльных, любимая ими:

Уж ты, матушка Расея,
Выгоняла нас отцеля; (2-раза);
Нам отцеля (отселя) не хотелось, (2-раза);
Сударушка не велела, (2-раза);
Любить до веку хотела. (2-раза).
Как за речкой за Дувайкой, (2-раза)
Красные девушки там гуляли,
Промежду собою речь говорили,
Все по девушке тужили:
— Что на девушку за горе,
Что на красну за такое?
С горя ноженьки не носят,
Белы ручки не владают;
С плеч головушка скатилась,
По кровати раскатилась,
Дружка милого хватилась.

Однако некоторым достоинством и даже искусством, выдающим опытного стихотворца, отличается одна песня, известная в нерчинских тюрьмах и предлагаемая как образчик местного сибирского творчества. Песню подцветили даже местными словами для пущего колорита: является омулевая бочка — вместилище любимой иркутской рыбы омуля, во множестве добываемой в Байкале и, в соленом виде, с достоинством заменяющей в Сибири голландские сельди; слышится баргузин, как название северо-восточного ветра, названного так потому, что дует со стороны Баргузина и замечательного тем, что для нерчинских бродяг всегда благоприятный, потому что попутный. Наталкиваемся в этой песне на Акатуй — некогда страшное для ссыльных место, ибо там имелись каменные мешки и ссыльных сажали на цепь, Акатуй — предназначавшийся для безнадежных, отчаянных и почему-либо опасных

каторжников. В середине песни вплываем мы и в реку Карчу — маленькую, одну из 224 речек, впадающих в замечательное и знаменитое озеро-море Байкал:

Славное море, священный Байкал!
Славный корабль — омулевая бочка!
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.
Долго я звонкие цепи носил,
Душно мне было в горах Акатуй!
Старый товарищ бежать пособил:
Ожил я, волю почуя.
Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не видала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь;
Пуля стрелка миновала.
Шел я и в ночь и средь белого дня,
Вкруг городов я посматривал зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
Весело я на сосновом бревне
Плыть чрез глубокие реки пускался,
Мелкие речки встречались мне —
Вброд я чрез них преправлялся.
У моря струсил немного беглец:
Берег крутой, а и нет ни корыта.
Шел я Карчой и дошел наконец,
К бочке, дресвою замытой.
Нечего думать — Бог счастье послал:
В этой посуде и бык не потонет;
Труса достанет и на судне вал,
Смелого в бочке не тронет.
Тесно в ней жить омулям —
Мелкие рыбки, утешьтесь словами:
Раз побывать в Акатуе бы вам, —
В бочку полезли бы сами.
Четверо суток ношусь по волнам,
Парусом служит армяк дыроватый,
Близко виднеются горы и лес:
Мог погулять бы и здесь, да бес
Тянет к родному селенью...
(К о н ц а н е т).

Вот, стало быть, и барин какой-то снизошел подарком и написал арестантам стихи, на манер столичного способа, к которому прибегали стихотворцы и водевилисты, желавшие приголубить и задобрить трактирных половых, банщиков и клубных швейцаров.

Около той же темы ходил и автор следующей, так называемой бродяжьей песни.

Обойдем мы кругом моря,
Половину бросим горя;
Как придем мы во Култук,
Под окошечко стук-стук.
Мы развяжем торбатейки,
Стрелять станем саватейки.
Надают нам хлеба-соли,
Надают и бараболи (картофеля).
Хлеба-соли наберем,
В баньку ночевать пойдем.
Тут приходят к нам старые
И ребята молодые
Слушать Франца-Венцеяна,
Про Бову и Еруслана;
Проводить ночь с нами ради,
Хотя пот течет с них градом.
Сибиряк развесит губы
На полке в бараньей шубе...

Арестанты — повторим опять — ничем не брезгают: они берут в тюрьму (хотя там и переделывают по своему) также и песни свободных художников, какими были, напр., поэты Лермонтов и Пушкин. Берут в тюрьму (и только переиначивают немного) и песню, сложенную на другом русском наречии и тоже поэтом и художником, каким был, напр., известный малороссийский разбойник Кармелюк. В то же время поют арестанты: «Ударил час — медь зазвучала», но, разумеется, с приличною прибавкою: «Ударил час — цепь зазвучала и будто стоны издала; слеза на грудь мою упала, душа заныла — замерла». Поют арестанты и «Лишь только

занялась заря», и «Проснется день моей красы», «Прощаюсь, ангел мой, с тобою», и «Я в пустыню удаляюсь», «Взвейся ласточка — вскружися», и «Во тьме ночной ярилась буря», и «Не слышно шуму городского»; — все те, одним словом, песни, которые близко подходят своим смыслом к настроению общего тюремного духа. В особенности распространена последняя:

Не слышно шуму городского,
В заневской башне тишина,
И на штыке у часового
Горит полночная звезда.

Распространена тем более эта песня, что в ней есть и бедный юноша — ровесник молодым цветущим деревьям, который в глухой тюрьме заводит песню и отдает тоску волнам. Выражено и прощанье с отчизною, родным домом и семьею, от которых узник за железною решеткою навек скрылся, и прощанье с невестою, женою и тоска о том, что не быть узнику ни другом, ни отцом, что застынет на свете его место и сломится его венчальное кольцо. Выражена в песне и надежда: «Есть русский царь в златой короне: горит на нем алмаз златой», — и мольба: «Яви ты милость нам на троне: будь нам отец, — помилуй нас!» «Устроил я себе неволю (поет песня дальше), мой жребий — слезы и тоска, и горестную эту долю соделала рука моя», — и заключает так: «Прошла уж ночь — и на рассвете златой луч Феба воссиял, но бедный узник в каземате все ту же песню запевал». Рекомендуют арестанты и своих авторов в большом числе (из заклятых торбанистов), но мы песни их приводить не станем за бесплодностью содержания и уродством формы. Но вот, для образца, та песня, в которой извращен Лермонтов:

Между гор то было Енисей
Раздается томный глас,
Как сидит несчастный мальчик
Со унылою душой,

Белы ручки ломает,
Проклинал судьбу свою:
Злонесчастная фортуна,
Ты на что родишь меня?
Все товарищи гуляют,
Забавляются с друзьями,
Только я, несчастный мальчик,
Уливаюсь слезьми.
Вы подайте мово друга,
Коня вороного мне;
Уж ты конь, ты лошадь добра!
Заодно со мной страдай!
Там звери люты возрычали,
Растерзать тебя хотят.
Не ходи, несчастный мальчик,
Лишь погибель там твоя.
Я взял бы себе друга —
Свово доброго коня:
На тюрьме-то там высокой
Дверь тяжелая с замком.
Черноокая далеко
В пышном тереме своем.
На коня потом вскочу,
В степь, как вихорь, улечу.
Лишь красавицу милую
Прежде сладко поцелую.

У этой песни есть двойник, как будто переделка
Пушкина:

Сидел молодец в темнице,
Он глядел на белый свет
На чернобровую девицу,
На сивогривого коня.
— Я б на конечка садился,
Словно б пташка полетел.
Весело б с милой встречался —
Со полуночной звездой.
— Ах! до зари бы не сидела
В новой спальне под окном,
Я украдкой не дарила б

Золотым с руки, кольцом.
Я слила б из воску ярого
Легки крылышки себе:
Я б спорхнула, полетела,
Где мой миленький живет.
Живет мой за реченькой далеко,
А я, млада, за другой.
— Если любишь ты меня, —
Перейди, радость моя!
— Я бы рада перешла,
Переходечку не нашла;
Переходечек нашла —
Лежит жердочка тонка²³⁰.

Третья песня, приписываемая Кармелюку, с меланхолическим оттенком в напеве, досталась нам только в нескольких куплетах и притом в том виде, как сохранилась она в сибирских тюрьмах. Сам Кармелюк в сибирских тюрьмах, как сказано выше, жил, будучи сослан туда с Волыни за разбой. До ссылки он жил у своего пана в буфетчиках, наблюдал за посудой и серебром. Серебро украли, подозрение пало на Кармелюка; его бил пан почти ежедневно, Кармелюк не стерпел и ушел в бег. Его снова преследовали, он решился мстить: поджег панский дом, собрал головорезов, начал разбойничать, был пойман, наказан и сослан. Возвращаясь на родину из Сибири, через Урал, как говорит предание, переплыл на воротах (дощатых от казачьей хаты). На родине продолжал разбойничать, заступаясь за хлопов и преследуя панов на всяком месте, по всякому вызову обиды крестьянской. Похождениями своими он наполнил всю Волынь; слава о нем распространилась по всему югу. Рассказы о его подвигах составляют целую эпопею, которая ждет своего рассказчика. По рассказам этим, он один из героев народных (может быть, последних), отстаивавших с энергиею, последовательностью и благородством казачью волю и долю от панского произвола. Популярность его доказывается не одними

песнями, которые распевает вся южная Русь. Предание уверяет, что он не загубил ни одной души человеческой и был рыцарем в лучшем облагороженном смысле. Во время своих походов на Волыни, представляющих ряд честных поступков, он два раза был схвачен. Один раз спасся тем, что, идучи под конвоем солдат в тюрьму, встречен был в лесу паном, ехавшим в карете. Пан спросил, кого ведут, и, узнав, что Кармелюка, ругал его, упрекал в злодействах. Когда Кармелюк убедил его, упреками в битье лежащего и несчастного, на денежную помощь и пан отворил дверцы, чтобы подать злотку, а Кармелюк подошел принять милостыню, — дверцы кареты захлопнулись после того, как Кармелюк был схвачен и посажен в карету, в виду оторопевших конвойных, его переодетыми хлопцами-сообщниками. Другой раз, посаженный в тюрьму, убежал из нее и увел вместе с собою союзников в темную и бурную осеннюю ночь таким образом. Тюрьма стояла вблизи оградного частокола. Кармелюк выломал железную решетку в окне, связал рубашки арестантов в длинную веревку; на конце привязал камень и конец этот забросил между остриями острожных палей: сделался мост. По мосту этому ушли беглецы, в лес и на волю. Убит он был в хате своей возлюбленной, подкупленной паном, в то время, когда шел к ней на свидание через сени, в которых засел паныч с товарищами. Убит был — по преданию — из ружья, заряженного пуговицею, как характерник (колдун). Когда проходил через сени, в темноте показались головы преследователей. Почувяв недоброе, Кармелюк спросил любовницу и успокоился, что это овцы. В это время пуля угодила ему в лоб и положила на месте. При этом народное предание прибавляет, что паныч с товарищами были сосланы в Сибирь за убийство, так как на подобное преследование никто их не уполномочивал, а Кармелюк не был тем злодеем, который был бы достоин смерти. Вот его песня:

Зовут меня разбойником,
Скажут: убиваю.
Я никого не убил,
Бо сам душу маю.
Возьму гроши с богатого —
Убогому даю;
А так гроши поделивши, —
Сам греха не маю.
Комиссары, исправники
За мною гоняют.
Больше воны людей губят,
Чем я грошей маю.
Маю жинку, маю деток,
Да и тех не бачу:
Як взгадаю про их участь,
То горько заплачу.
А так треба стерегчися,
Треба в лесу жити,
Хоть здається — свет великий:
Негде ся подити... ²³¹

И, в заключение, еще четыре песни сибирских тюрем, из которых одна коренная и самобытная песня, собственно тюремная:

Ты, тюрьма ли моя, ты тюрьма злодеюшка,
Для кого построена,
Ах, для кого построена?
Не для нас-то ли, добрых молодцев,
Все воров-разбойничков? (2 раза).
Уж как по двору-то все, двору тюремному,
Ходит злодей — староста. (2 раза)
Он в руках-то ли несет,
Несет он больши ключи.
Отворяет он, злодей-староста,
Он двери тюремные, —
И выводит нас, добрых молодцев,
Он нас к наказаньицу...

.....
Конца этой песни я узнать не мог; сообщавший мне ее поселенец не допел до конца: «Забыл-де, живя теперь на воле...»

Другая песня — на местном тюремном языке — известна в Сибири под названием: «Песни несчастного». Она поется на один голос с предыдущей.

Нет несчастнее молодца меня:
Все несчастья повстречались с молодцом со мной;
Не могу-то я, молодец, спокойно ночи провести,
Я должен день рожденья своего клясти.
На свою судьбу буду Богу жалобу нести:
Ты, судьба ли моя, ты, несчастная судьба,
Никакой ты мне отрады не дала,
Еще больше того в огорченье привела!
С огорченья пленен молодец хожу.
Я пойду-то, молодец, в гостинный двор гулять,
Я куплю-то себе трехрублевую свечу
И поставлю ее в высоком терему:
Ты гори-ка, гори, моя белая свеча,
Пропадай-ко, пропадай, моя молодецка красота!

Третья песня, носящая название «Песни бродяг» и преданием приписываемая «славному вору, мошеннику и сыщику московскому Ваньке Каину», жившему в начале прошлого столетия:

Не былинушка в чистом поле зашаталась,
Зашаталась бесприютная моя головушка,
Бесприютная моя головушка молодецкая.
Уж куда-то я, добрый молодец, ни кинулся:
Что по лесам, по деревням все заставы,
На заставах ли все крепкие караулы;
Они спрашивают печатного паспорта,
Что за красною печатью сургучовой.
У меня, у добра молодца, своерушной,
Что на тоненькой на белой на бумажке.
Что куда ни пойду, братцы, поеду,
Что ни в чем-то мне, доброму молодцу, нет счастья.
Я с дороженьки, добрый молодец, ворочуся,
Государыни своей матушки спрошуся:
— Ты скажи-скажи, моя матушка родная:
Под которой ты меня звездочю породила,
Ты таким меня счастьем наделила?

Четвертая сибирская песня, известная под именем заводской и записанная нами в Нерчинском Большом заводе со слов ссыльного, пришедшего с Урала (из Пермской губ.), передана была с некоторою таинственностью. Знакомец наш придавал ей большое значение, как бы какой многозначительной загадке и, проговорив песню, просил разгадать ее смысл. Вот эта последняя из известных нам тюремных песен, знакомая и России:

За рекой было, за реченькою,
Жили-были три бабушки,
Три Варварушки,
Три старые старушки —
Три постриженницы.
У первой у старушки
Было стадо коров.
У второй-то старушки
Было стадо быков.
У третьей у старушки
Нет никого, —
Одна козушка рязаночка.
Принесла она козла
И с тем вместе дурака —
Москвитенника.
По три годы козел,
По три годы дурак,
Под полатами стоял,
Мякинки зобал
Толокончатые,
А помоечки пил
Судомойчатые.
Стал же козел,
Стал же дурак,
На возрасте, —
У бабушки Варварушки
Отпрашиваться
В чисто поле гулять.
Пошел же козел
Пошел же дурак.
Он ножками бьет,
Как тупицами секет²³².

Глазками глядит
Как муравчиками²³³.
Встречу козлу,
Встречу дураку,
Незнакомый зверь:
Серенек и маленек,
Глазки на выпучке.
Обошедши козел кругом,
Пал ему в ноги челом,
Не ведаю о чем.
— Как тебя, сударь, зовут,
Как тебя, сударь,
По изотчеству?
Не смерть ли ты моя,
Да не съешь ли ты меня,
Козла-дурака
И москвитенника?
— Какая твоя смерть?
Ведь я зайныка
Пучеглазенькой:
Я по камушкам скачу,
Я осиночку гложу.
Спрошу я у тебя,
У козла-дурака
И москвитенника,
Про семь волков,
Про семь брателков.
«Я шести не боюсь,
Я и семи не боюсь!
Шесть волков
На спину унесу,
А седьмого волка
Во рту (или в губах) утащу.
Из шести овчин
Шубу сошью,
А седьмой овчиной
Шубу опушу.
Отошлю эту шубу
Бабушке Варварушке:
Спать будет тепло
И потягаться хорошо».

Эта песня приводит нас к особому отделу песен, которому мы могли бы придать название юмористических, если бы они в полной мере схожи были с теми русскими песнями, в которых действительно много своеобразного юмора. Беззаветная веселость, легкая насмешливость составляют отличительную черту таких песен, распеваемых на воле свободными людьми. В тюремных же песнях веселость и насмешливость приправлены, с одной стороны, значительною долей желчи, с другой — отличаются крайнею безнравственностью содержания: веселость искусственна и неискренна, насмешка сорвалась в одно время с больного и испорченного до уродства сердца. С настоящими юмористическими народными песнями эти тюремные имеют только общего одно: веселый напев, так как и он должен быть плясовым, т. е. заставляет скованные ноги, по мере возможности, выделявать живые и ловкие колена, так как и в тюрьме веселиться, плясать и смеяться иной раз хочется больше, чем даже и на вольной волюшке. Песен веселых немного, конечно, и собственно в смысле настоящих тюремных, которые мы назовем плясовыми, из известных нам характернее других две: «Ох, бедный еж, горемышный еж, ты куда ползешь, куда ежишься?» и «Эй, усы-усы проявились на Руси». Первая во многих частностях неудобна для печати наравне с десятком других казарменного грязного содержания (Фенькой, Мигачем, Настей, Кумой и другими).

Вместе с поляками-повстанцами и следом за своим паном князем Романом Сангушкою прислан был в Сибирь в Нерчинские рудники Онуфрий Ворожбюк, крестьянин Подольской губернии, один из многочисленных торбанистов Вацлава Ржевусского, *эмира злотобродого*, ученик торбаниста шляхтича Видорта.

Григорий Видорт (род. 1764 г.), народный украинский поэт, был с Ржевусским на востоке. В 1821 году он перешел к Евстафию Сангушке и восхвалял его на торбане

только год; в этом же году он умер, передав свое ремесло сыну Каэтану (умершему в 1851 г.). Каэтан Видорт был последний торбанист-художник. Сын последнего уже утратил искусство отца и деда, но продолжал забавлять Романа Сангушку песнями деда. Из них в честь Романа Сангушки сохранились многие, сочиненные на малороссийском языке. Эмир, как известно, любил лошадей и украинскую музыку. Для лошадей имел конюшню, не уступавшую в роскоши многим дворцам. В комнатах, украшенных с турецкою роскошью, Ржевусский любил по вечерам слушать торбанистов, которые пели песни, сложенные в его честь. Эти песни принес с собою Ворожбюк на каторгу, познакомил с ними каторжных, а кстати выучил и другим малорусским песням. Некоторые из песен, сочиненных Видортом и переданных Ворожбюком, помнили ссыльные поляки. Вот одна из них, чествующая эмира с лошадьми:

Гей выхав наш Ревуха
В чистый степ гуляти,
Перевисив через плечи
Сигайдак богатый
Грай море! черное море, биле море, сине море,
гала гаду гу-гу-гу-гу, гала гиду гу-гу-гу-гу.
Сивы кони поимали
Гнедые и черны.
Тешьте мене, щоб не тужил,
Ревуха моторный.
Грай море! черное море, биле море, и т. д.
Шахтамир. Тамира (наши кони) —
Тои мои соколи!
Коли всиду смило иду
Не спаду николи!

(Припевок.)

Ах ты, Гульда, моя мила,
Коли на тя сяду.
Носишь мене по витру —
Николи не спаду.

Подай, Саво, коня свою,
Нехай меня знают;
Коли сяду на коня я
Жилы мини дргают, и проч.

«Мелодия песни (говорит Аг. Гиллер) скорая, красивая и настоящая украинская, весьма сильно свидетельствующая о композиторском таланте Видорта. Ворожбюк в Сибири певал ее с энергией и всегда только под вдохновением любимых и милых воспоминаний. Эти песни оживляли его измученное сердце и разглаживали морщины на нахмуренном челе. А прекрасно пел Ворожбюк и мастерски играл на торбане! Он был известен в ссылке под именем торбаниста». Попался он в ссылку таким образом:

«Фантазер, эмир Злотобродый, в 1831 г. ушел в повстанье с оружием, лошадьми и торбанистами и погиб в битве под Даховом. Ворожбюк был взят в плен и приговорен в Сибирь. В толпе узников шел он в ссылку веселый, певучий, остроумный и болтливый. Достоинствами этими и другими он сумел в походе располагать конвойных солдат в свою пользу и выбивать у них различные уступки и льготы для товарищей. Ссылные товарищи дали ему прозвище “шахрая” (барышника, жида, торгующего ветошью). Все шахрая любили, шахрай всех веселил. Шли по Волыни и Украине не в скудости, потому что паны и панны делали для узников различные складчины из денег, одежды и вещей, потребных на дальнюю и трудную дорогу. В Нерчинских рудниках Ворожбюк женился на сибирячке, занялся хозяйством, торговал водкою, но, главное, работал деревянные курительные трубки, которые и раскупались товарищами и сибиряками. Низенький и смуглый, он был настоящим типом русина с черными волосами и ясным взором».

Народные русские песни покушались идеализировать преступников и характеризировали, между прочим, двух преступниц-убийц в следующем виде:

1

По часту мелку орешничку
Тут ходил-гулял вороной конь,
Трое суток непоенный был,
Неделюшку, не кормя, стоял,
Черкасское седло набок сбил,
Золотую гриву изорвал,
Шелков повод в грязи вымарал.
Не в Москве я был, не в Питере, —
Во стрелецкой славной улице,
Во стрелецкой, во купеческой.

(Или так:)

Ты звезда ли моя восхожая,
Восхожая, полуночная!
Высоко ты, звезда, восходила,
Выше лесу, выше темнова,
Выше садику зеленова.
Далеко звезда просветила
Дальше городу, дальше Саратова,
Дальше купчика богатова.
У того ли купца богатова
Случилось у него несчастьецо,
Несчастьецо, безвременьицо:
Как жена мужа зарезала,
Белую грудь она ему изрезала
Не простым ножом — булатным.
Вынимала сердце с печенью
На ножике сердце встрепенулося,
Жена-шельма улыбнулася,
Улыбнулася, рассмехнулася;
На холодный погреб бросила,
Дубовой доской задвинула,
С гор желтым песком засыпала,
А на верх того землею черною

Левой ноженкой притопнула,
Правой рученькой прищелкнула,
Хоронила и не плакала;
От него пошла — заплакала.
Сама младшенька вошла в горенку,
Садилась под окошечком,
Под окошечком передним.
Прилетали к ней двои соколы (или два голубя)
Двои соколы, двои ясные
(Или: двои голуби, двои белые) —
Деверья ее любимые.
Они стали ее спрашивать:
— Ты, сноха ль, наша невестушка!
А где наш братец Иванушка?
— Он отъехал во путь во дороженьку,
Во путь во дороженьку, в лес за охотушкой,
За лютым зверьем левицею.
— Ты сноха ль, наша невестушка,
Что у ты в горенке за кровь?
— Белу рыбицу я чистила,
Бела рыбица трепеталася,
По стенам руда металася.
По горенке она брызгалася.
— Ах ты ль, сноха наша, невестушка!
На словах ты нас не обманывай:
Его добрый конь в стойле стоит,
Его сбруя ратная на стене висит.
— Ах вы, деверья, вы ясные соколы!
Вы возьмите саблю вострую,
Вы снимите с меня буйну голову:
Я свою мужа зарезала.
Вынимала сердце с печенью,
Положила во холоден погреб,
Засыпала тело песком желтым,
А поверх того землю черною.

2

Что не ястреб совыкался с перепелушкою,
Солюбился молодец с красной с девушкою,
Проторил он путь-дорожку, — перестал ходить,
Проложил он худу славу, — перестал любить,

Насмеялся ж ты мной, отсмею и я тебе:
Ты не думай, простота, что я вовсе сирота.
У меня ли у младой есть два братца родных,
Есть два братца родных, два булатных ножа.
Я из рук твоих, ног короватку смощу,
Я из крови твоей пиво пьяно наварю.
Из буйной головы ендову сточу,
Я из тела твоего сальных свеч насучу,
А послей-то тово я гостей назову,
Я гостей назову и сестричку твою.
Посажу же я гостей на кроватку,
Загадаю что я им да загадочку
Я загадочку не отгадливую:
Да и что ж таково: я — на милом сижу,
Я на милом сижу, об милом говорю,
Из милово я пью, милым потчую,
А и мил предо мною свечею горит?
Вот тут стала сестричка отгадывати:
«А говаривала, брат, я часто тебе,
Не ходи ты туда, куда поздно зовут,
Куда поздно зовут да где пьяни живут».

В заключение последняя сибирская песня, называемая бродяжьем:

Вы бродяги, вы бродяги,
Вы бродяженьки мои...
Что и полно ль вам, бродяги,
Полно горе горевать:
Вот придет зима, морозы:
Мы лишились гульбы.
Гарнизон стоит порядком,
Барабаны по бокам,
Барабанщики пробили,
За приклад всех повели,
Плечи, спину исчеканят,
В госпиталь нас поведут.
Разувает, раздевают,
Нас на коечки кладут,
Мокрыми тряпицами обкладывают:
Знать, нас вылечить хотят.
Мы со коечек вставали,

Становилися в кружок.
Друг на дружку посмотрели —
Стали службу разбирать:
Вот кому идти в Бобруцкой.
Кому в Нерчинской завод.
Мы Бобруцка не боимся,
Во Нерчинске не бывать:
Путь-дороженька туда не близко,
Со пути можно удрать.
Тут деревня в лесу близко,
На пути стоит кабак,
Цаловальник нам знакомой;
Все из наших, из бродяг.
Мы возьмем вина побольше,
Инвалидных подпоим.
И конвой весь перепьется,
И в поход тогда пойдем.
Мы конвой весь перевяжем,
Караульных разобьем,
Мы оружие все захватим, —
Сами в лес с ним удерем.

В таком виде известна эта песня в Сибири. Перво-
образом ей, вероятно, послужила песня, сочиненная,
по преданию, разбойником Гусевым, ограбившим Са-
ратовский собор. В саратовском остроге Гусев сложил
такую песню:

Мы заочно, братцы, распростились
С белой каменной тюрьмой,
Больше в ней сидеть не будем,
Скоро в путь пойдем большой.
Скоро нас в Сибирь погонят,
Мы не будем унывать —
Нам в Сибири не бывать,
В глаза ее не видать.
Здесь дороженька большая,
И с пути можно бежать,
Деревушка стоит в пути близко
На краю Самар-кабак.
Целовальник наш знакомый:

Он из нас же, из бродяг.
За полштоф ему вина
Только деньги заплатить,
Кандалы с нас снимает, —
Можно будет нам бежать.

ТЮРЕМНЫЙ СЛОВАРЬ

и искусственные байковые, ламанские
и кантюжные языки.

Древность искусственных языков. — Разговор знаками (ручной, звуковой, ударный). — Разговор стуком (немецкий гакезен). — Поляки и Шпаун. — Телеграфисты. — Разговор стуком декабристов. — Улучшения, произведенные по этой системе братьями Бестужевыми. — Обожженная палочка из веника. — Тюремный словарь. — Бедность его. — Искусственные слова в тюрьмах. — Древность их происхождения у нас. — Ясак. Разбойничий язык на Волге. — Следы и остатки его в сказаниях вора Ваньки Каина. — Отверницкая речь. — Сравнение пяти деланных языков. — Офеньский язык (словарь разносчиков-ходобщиков). — Образцы слов и речи. — Музыка, или байковый язык карманников. — Образцы слов и речи. — Образцы языка шерстобитов и коновалов. — Счет. — Язык кантюжный. — Язык по херам и тарабарская азбука. — Язык кубраков и проч.

Во все времена и у всех европейских народов глубокие тайны, на которых основывается вся суть преступных замыслов и, преимущественно, мошенничества, всегда прикрывались многочисленными и разнообразными способами изъяснений. Начало мошеннического языка уходит в древнейшие времена, когда следы его являются в неясном виде; но с течением времени язык этот, подобно мутному отстою, испытывая постоянное брожение, обогащался и совершенствовался. Немецкий мошеннический язык представляет собою даже такое явление, которое замечательно не только в лингвистическом, но и в культурно-историческом смысле, — явление, на которое и там до сих пор мало обращалось внимания. Одна из таких попыток показала даже крайнюю необходимость изучения по этому поводу так называемого еврейско-немецкого и других старых и новых языков. С таким приемом автору удалось доказать сильную степень участия (в искусственном

языке мошенников), заявленного этим гонимым племенем, потерявшим родину и полузабывшим свой родной язык. На исковерканном и спутанном со многими другими языке этом мошенническим приемам удалось значительно поработать и ловко укрываться в течение многих лет даже и до сего дня.

На этот раз, как и всегда, язык представляет собою лишь высшую степень развития приемов и знаний, подлежащих ведению и руководству, известную степень роскоши, но не отрицает существования более древнейших приемов, как, напр., объяснений посредством знаков в помощь себе и на выручку там, где разговор невозможен. Знаки эти до такой уже степени разнообразны, что исчислять все способы подобного разговора не представляется никакой возможности. Для товарищей мошеннической шайки понятно каждое движение глаз, рта, положение ног, каждое движение пальца. Взявшись рукою за шею, приложив руку ко рту, к уху, к щеке, мошенник уже разговаривает с товарищем и тот его понимает. Посаженные далеко друг от друга, но, по случайности, на виду в противоположных окнах, уличены в разговоре руками по азбуке, придуманной для глухонемых, но с тою разницею, что мошенниками усвоена одноручная, так как азбукою на двух руках (употребляемую глухонемыми при оживленном разговоре) в тюрьмах и на допросах говорить нельзя. На допросах, даже в присутствии третьего лица, рукою передавали обвиняемые друг другу такие тайны и так ловко, при закрытом рте, что не могло быть и тени подозрения. Доведенный до сознания, разбойник, назвавший соучастника, на очной с ним ставке оставался нем, не смея повторить своего доказательства только потому, что товарищ запретил ему это тяжелым вздохом, ускользнувшим от следователей при самом внимательном наблюдении. У вора каждый свист, крик, подражание звукам различных животных, особенно ночью в поле

или в лесу (филину, перепелу, собаке, курице и т. п.), отхаркивание, откашливание, всякий возможный звук приобретает смысл и значение и тем вернее уберегает тайны, чем он кажется более произвольным и естественным. В цивилизованных странах мошенники разговаривают друг с другом, намечая условные знаки мелом, углем, разноцветными карандашами на стенах, на песке и пр. В настоящее время в Европе, с развитием различных тюремных систем с одиночным заточением (оборнской) и с обязательствами молчания (пенсильванской), разнообразие тюремных языков сделалось еще богаче, и приемы в настоящее время стали даже получать систематическую организацию. Предположение, высказанное сто лет тому назад в Германии немцами, что у всех мошенников следует разорвать барабанную перепонку в ухе, в настоящее время владеет тою силою значения, что разговор, рассчитывающий на слух, получил наибольшее развитие и сосредоточил на себе преимущественное внимание заключенных в последнее время. В этом случае для обогащения звукового языка посредством постукивания пущены в ход всевозможные тонкости; равномерность звука при скорых или продолжительных ударах или же очередь тихих и громких, удары, производимые согнутыми пальцами или мясистою частью ладони и кулака; удары сапогом, башмаками, ногою, обутою в чулок, ковшом, ложкою, щеткою, щепкою и т. д. в бесконечность. Способ этот удобен тем, что может подчиняться целой системе азбуки, во всем разнообразии²³⁴. Ключей для понимания существует довольно много, и они ведут свое происхождение от мошенников, но обыкновенно в европейских тюрьмах нападали только на остатки и следы, но никогда на целую систему. В королевской тюрьме в Берлине два поляка разговаривали между собою стуком, сидя в разных номерах и этажах, так, что играли даже в шахматы. Самые старательные исследования показали, что

иных способов у них не было и даже номера не находились один над другим, а помещены были в противоположном направлении, наискось. Кроме этого примера, немцы указывают еще на некоего Шпауна, который был заключен в 1826 году в тюрьму в Куфтейве и пробыл в ней десять лет. В последние годы он получил в соседях товарища, отделенного от него толстою стеною. У Шпауна зародилась счастливая мысль разговаривать с ним постукиванием, и он создал язык, который был чрезвычайно остроумен. Всего более — само собою разумеется — затрудняло его сообщение ключа лицу, которое, может быть, не умело понимать по-немецки. Шпаун начал с того, что простучал в стену 24 раза, и продолжал маневр до тех пор, пока не заставил незнакомца понять, что в этих 24 разгах подразумеваются буквы, выражающиеся стуком. В несколько недель они успели в быстрой и свободной беседе рассказать друг другу свою жизнь. Соседом оказался г. М., впоследствии сделавшийся государственным статс-секретарем и герцогом Б., и был довольно известен. На свободе он не забыл союзника, выхлопотал ему свободу и назначил пожизненный пенсioen. «Этот Шпаун — настоящий дьявол!» вскричал министр спустя 10 лет, когда посетил его Шпаун в Мюнхене. К сожалению, Шпаун, несмотря на все хлопоты, ключа своего не поведал.

Одиночество замкнутого человеческого духа, при отсутствии всякого искусственного способа к духовному общению, вынуждает этот тюремный способ разговора посредством стука, уже давно существовавшего в народном употреблении, хотя и не имевшего специальной системы. Ремесленники металлических изделий ушедшего из мастерской мастера, подмастерья и ученика зовут каждого особым ударом молотка. На улицах, где живут эти работники, такими способами быстро и ловко распространяются целые известия по всей улице. Телеграфисты, не

глядя на депеши, просто на слух по стуку слышат и читают депеши. Этим людям тюремные системы разговоров в настоящее время обязаны во многом своим развитием и усовершенствованиями (особенно по морзовскому способу телеграфических знаков). Телеграфическому способу удалось теперь обобщить все существовавшие до него системы звуковых разговоров. Наше одиночное заточение по американским системам встретит уже готовые формы и, вероятно, не замедлит ими воспользоваться.

Существование языка по стуку известно у нас в России из книг, по неумению применить его неграмотными тюремными сидельцами и по тому обстоятельству, что одиночное заключение у нас не практиковалось в таких огромных размерах, как в Европе. Но там, где оно имело место, стуквой язык не медлил своим применением и обнаруживал существование. Декабристы, сидя в одиночных камерах Петропавловской крепости, вели разговор через стену и в Алексеевском равелине, где тому способствовало устройство комнат, в клетках, построенных в амбразурах. Разговор этот или вовсе не был возможен через стены, идущие сводом, или был не нужен через деревянные перегородки, где можно было разговаривать прямо вполголоса. Если кто пел (другая форма разговора), то было все слышно и в номере напротив. В Роченсальме применял стуквую азбуку Бестужев-Марлинский, сокративший по возможности бесконечное стучанье 30 букв отечественного алфавита разделением их на три десятка. «Недостаток этой азбуки (по словам его брата, Мих. Алек.) состоял в том, что гласные и согласные выстукивались одинаково медленным стуком, которые все-таки надо было считать, что утомляло и ухо, и голову и где слушающий беспрестанно смешивал гласные с согласными и заставлял повторять фразу, что было тяжелою пыткой для стучащего».

О применении звукового разговора по азбуке собственного изобретения в Петропавловской крепости М. А. Бестужев дает следующие любопытные подробности («Русская Старина», апрель 1870 г.):

«Я хотел узнать: есть ли живая душа в моем соседстве. Начал стучать железами в одну из стен — нет ответа. В другой мне ответили едва слышными звуками слабого стука. “А что, если мой брат в соседстве?” — подумал я и засвистал мотив арии, известный только моему брату Николаю. Слышу, он повторяет этот мотив».

Перед тем временем, когда вносили ночник, М. А. Бестужев садился в угол и тихо стучал пальцами в стену. В ответ получал таковой же стук от брата. Каждый день с той поры начинался взаимным стуком полного похода, что означало: здравствуй! здоров ли? Когда же надо было прекратить стук из осторожности от наблюдателей, братья били пальцами отбой.

Для постоянного разговора придумана была азбука, улучшенная в устранение различных затруднений, напр., по поводу последних букв в азбуке, до которых нужно было достукиваться двумя-тремя десятками ударов. Воспользовался М. А. при этом тем, что брат был моряком «и знаком со звоном часов на корабле, где часы и склянка бьют двойным кратким звоном». На этом основании он составил азбуку; иероглифы ее начертил обожженным прутиком, случайно выпавшим из веника, когда подметали комнату, на одной из страниц IX тома истории Карамзина, полученной для чтения. «Согласные были явственно разделены от гласных особенным стуком²³⁵. Эта особенность давала возможность в разговоре, ежели не дослышаны две-три согласные, ясный стук одной или двух гласных давал возможность восстановить целое слово, не требуя повторения». Слух, изнуренный напряженностью нервов в тихом одиночном заключении, облегчал события выслушиванья. Постучав по стене письмом, по-

лученным от матери, М. А. получил в ответ на слух то же. Этого было довольно, чтобы начать стучать. Стучал он не пальцами, которые распухли от беспрестанного стучания с невыносимою болью в ногтях, а болтом железных наручников, замененным потом обожженной палочкою. Передавая последнюю при свидетелях одной из сестер своих, он имел полное право сказать: «родился мой язык!»

Впоследствии, в разговорах при взаимной привычке, братья изощрились так, что, прежде говоря фразу на полминуты чтения с рассвета до полудня, стали разговаривать так скоро и свободно, что беседа стуковая была немногим длиннее изустной. Потом рискнули даже выкинуть из согласных 10 и из гласных 4 буквы и стали догадываться о смысле фразы по начальным буквам.

«Много протекло скучно-томительных дней на усовершенствование сношений, на способы скорее передавать буквы, на знаки препинания и предостережения, на сигналы для вызова к разговору, и проч.». Но люди высшего развития в тяжелых условиях одиночного заточения сумели выйти победителями при помощи разговора по стуку. Там же, где не было келейного заточения, где заключенным приходилось жить совместно обществом и общиною, там, само собою разумеется, являлся язык, искусственно созданный из замаскированных слов, — образовался тюремный словарь.

Тюремный словарь невелик. Ничего самобытного он не имеет, и в то же время тою известного рода оконченностью и богатством, какие представляются, напр., в языке «картавых проходимцев» офеней и в довольно полном бойком языке мазуриков (музыке), тюремный язык похвалиться не может. Сочинялись или принимались слова с ветру про дешевый обиход тюремного быта в узких интересах замкнутой жизни настолько, насколько это нужно было против приставников,

смотрителей и надзирателей. Кругозор невелик и искусственно сужен так, что приходится говорить непонятно для других в немногих случаях и не обо многом. Скрыть карточную игру, а с нею кое-какие недозволенные в тюрьмах удовольствия, предостеречь товарищей, сговориться с ними, — для этих целей с двумя-тремя десятками слов тюремные сидельцы могут свободно и легко обходиться. Самые усердные расспросы в десятках сибирских тюрем привели нас к такой небогатой находке, которою мы и поделились с читателями, истратив в предыдущем тексте почти весь наш запас. Хотя и дошли до нас глухие слухи о том, что, напр., в южных русских тюрьмах по казематам существует другой язык, но фактических доказательств тому мы не получили²³⁶. Очень может быть, что кое-где и скопились небольшие и особенные словари при содействии остроумной изобретательности, для которой нельзя определить предела, и при помощи тех тюремных сидельцев, которые садились с готовым языком. Товарищеская тюремная община не допускает взаимных секретов: какой-нибудь конокрад или шерстобит не долго наскрывает со своим ламанским или бродяга-ниций со своим кантюжным языком, когда увидят настоятельную необходимость его применения на всякие вылазки и прикрытия. Известно, напр., что мазурики разболтались и тюремный словарь им в этом многим обязан, потому что они-то по преимуществу частые, можно сказать, обычные тюремные сидельцы, составляющие громадное большинство. По крайней мере, новейший словарь крупно основывается на «музыке». Из московских и петербургских тюрем, напр., других слов, помимо воровских, еще до сих пор никто из наблюдателей не выносил и не заявлял. Но так как воровской язык «музыки» ведет свое происхождение от древних воров, язык которых был в то же время и языком волжских и

других разбойников, то понятна и еще бо́льшая связь тюремных слов с языком воров древних и новых. Как первыми прежде, так вторыми теперь тюрьмы переполнены, обмен неизбежен, взаимное обучение обязательно. Самостоятельность могла проявиться лишь от влияния большинства, и тюремный словарь мог отразить на себе характер этого большинства. Мы имеем случай доказать это теми словами, которые подмечены Ф. М. Достоевским в омской военной тюрьме и которые не входили в пополнение собранных нами и не были считаны. Их также очень немного: *мелкозвон* — обыкновенные кольчатые кандалы не из железных прутьев (первые носят снаружи, вторые надеваются под панталоны); *чистяк* — хлеб из чистой муки без примеси мякины, т. е. обыкновенный хваленый артельный хлеб; *суфлера* — потаскуха, арестантская любовь; *Марья-икотница* — обыкновенная арестантская болезнь, зависящая от обыкновенно дурной и преимущественно сухой, без приварка, пищи; *Иван-таскун* — та же желудочная болезнь с более сильными и острыми припадками, зависящая от тех же причин; *сам-пан-трэ* — нюхательный и *сам-крашэ* — курительный табак²³⁷, *марцовка* — обыкновенная тюремная пища — вода с хлебными корками, *тюря* (петерб. тюрьмы), и прочее, судя потому, насколько озлоблена и остроумна община тюремных сидельцев. На этот последний раз в ней чувствуется влияние солдатского юмора, присутствие казарменных остряков, потому что и в самой тюрьме указано сидеть арестантам военных рот, после многих житейских мытарств присужденным на каторгу в крепостях Сибири. В некоторых тюрьмах то же казарменное веяние не исчезает там, где, напр., арестантские щи называются *шуримури*, острог — *палочная академия*, лишиться прав состояния — *слушаться барабанной кожи*, счастье — *фарт*, арестанты — *бедность*, обмануть — *околпачить*.

Само собою разумеется, что сочинение новых слов по вызову и вдохновению новой обстановки не останавливалось за обилием готовых форм, оттого и новые выражения: *стрелять саватеек* — бродяжить, *простокишки поестъ* — неудачно сбегать и пойманным возвратиться обратно в тюрьму, *горбач* — беглый (за котомку за плечами), *грязи наесться* — угодить на каторгу, *прохожий*, *гульный* — бродяга, *своеручный* — фальшивый паспорт (самодельный), *маршрут* — бурлак с припасами (сибирский туез), *желтая пшеничка* — контрабандное золото и проч. тому подобное, по случайным вызовам и вдохновению, которые не имеют предела.

Это присутствие сарказма, эти взрывы сердитого остроумия с беспощадным самоунижением составляют характерную особенность всех разбойничьих песен; оно же слишком заметно и знаменательно в сочинении слов не только новых, но и в древних тюремных. Вот: виселица — *качалка*; тюрьма — *каменный мешок*; застенки — *немшона баня* (где людей вешают, сколько кто потянет); стул железный (орудие пыток) — *четки* или монастырские четки; *кистень* — гостинец; тайная канцелярия — *стукалов монастырь*; помойная яма — *сухой колодец*; колодец — *холодная баня*; грабеж — *черная работа*; воровство — *поход*; мошенник — *хлын*, *хлыновец*; мошенничество — *тихая милостыня*; разбойник — *углецкий выемщик*; преступник — *уголовщик*; пьяный — *сырой*; тревога — *мелкая раструска*; огонь — *виногор*; воры — *купцы пропавших вещей*; вино — *товар из безумного ряда*; каторга портовая и крепостная — *холодные воды*; угнали вора в Сибирь — *улетел коршун за море* («я не вор, а ворон-то еще летает», — сказал Пугачев Суворову). Железная клетка (в которой возили на казнь) — *камчатка*; самоубийство — *самосуд*; болтливый на допросах (откровенный) — *нагой*; разбойничьи притоны — *волчьи*

гнезда; погоня — волна (волна ходит — погоня послана); делать фальшивую монету — *тянуть заповедное серебро*, и проч. Этот дешевый и обычный прием словосочинения завещан и нынешним мелким ворами, которые составили и составляют уже настоящий искусственный язык. В нем убереглось немного слов от старины: *маз* — атаман разбойничий начала прошлого столетия, у мазуриков в значении заводчика воровского дела и старого опытного вора. Старинный же *дульяс* (огонь) взят из языка офеней: *дулик* и *дульяс*; *дуванить* — также, *слам* — оттуда же, *яман* — тоже общее слово. *Хаз* разбойничий, в смысле избы, попадаете нам в отвернищской речи (Могил. губ.). В народной памяти из разбойничьего языка сохранилось лишь только роковое выражение, страшное своим значением: «сарынь на кичку». При лозунге ясыке или ясаке бурлаки этим обязаны были пасть ниц и не шевелиться, пока разбойники не ограбят и не разделаются с хозяином судна. По объяснению В. И. Даля значило: чернь на нос, т. е. иди бурлаки на нос судна (сарынь — чернь, кичка — нос судна), хотя можно толковать и так: клади деньги на голову, на шапку (сары у разбойников деньги серебряные, а кичка иносказательно очень легко могла быть с головного убора перенесена на самую голову), по обычному приему всех подобных искусственно сочиненных языков.

Содействие остроумия для иносказания в Новейшее время от старого объяснилось лишь тем, что опыт и практика умудрили мастеров выражать понятие коротким термином, одним словом (у мазуриков: *трясогузка* — горничная, меховые вещи — *окорока*, *барышник* — мешок, белье на чердаке — *голуби*, *кана* — *кабак*, *граблюхи* — руки и проч.). В старину до этих иносказаний доходили не сразу, но рядом целых выражений. Тогда же еще надо было, приводя понятие, объяснить его и втолковывать: *пустить рыбу ловить* — утопить;

судейское кресло — стул, на котором собачки вырезаны; палки (орудие казни) — лоза, чем воду носят; воры — *купцы* пропалых вещей («что не увидит, все купит, а ежели увидит что дешевое, то ночь не спит», *вора за купца* современные мазурики приняли уже на слово); *часовой-гремело*, что по ночам в доску гремит; вино — товар из безумного ряда и проч. Были, впрочем, и готовые слова, из которых старинные воры (напр., в прошлом столетии) могли составлять целые темные фразы, понятные по языку и современных мазуриков. У Ваньки Каина в собственном его сказании встречаются две: «когда маз на хаз, то и дульяс погас» (когда атаман в избу, то и огонь погасили, выговорил он, когда забрался в чужой дом с шайкою) и «трека калач ела, стромык сверлюк страктирила» — с воли сказал товарищ заключенному, извещая его о том, что в калаче, который он подал Христа-ради при сторожах-свидетелях, положены ключи, чтоб отпереть замок кандалной цепи. Зато Каиново же сказание переполнено такими немудреными блестками дешевого площадного остроумия, в которых уже нельзя не видеть стремления выработать новые слова для обихода и в которых столь обычная тюремным сидельцам озлобленность обнаруживается уже в полном блеске.

Ванька Каин, как сбежал от помещика на воровской промысел, загубивший его душу, так и сострил, написав на господской стене: «Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай черт, а не я». Затем он воровал и товарищам наказывал: «Бей во все (в овсе), колоти во все, и того не забудь, что и в кашу кладут» (забирай все, ничего не оставляй). А уворовал, то и выговорил: «Тян-да-ляп, клетка в угол, сел и печка». Острил он, живя и под Каменным мостом в Москве (а «каменный мост воришкам погост: пол да серед сами съели, печь да полати в паек отдам; пыль да копоть, притом нечего лопать»). Острил он, когда жил и убивал на Волге

и убитых завертывал во «персидский ковер», что соль вешают» (рогожный куль). Когда шел грабить помещика Шубина, извещал его так: «Неужели у тебя летней одежды нет, а всегда ходишь в шубе? Почему и будут к вам портные для шитья летних кафтанов». Переезжают воры через реку, офицер попадаетея и спрашивает: «что за люди?» — молчат. Съезжают на берег, отвечают: «Ты спрашивал нас на воде, а мы спрашиваем тебя на земле; лучше бы ты в деревне жил да овины жег, а не спрашивал проезжих». Атаман отнял у офицера шарф и шпагу, но велел заплатить несколько денег и отпустил. Ту же сословную озлобленность, вдохновенную лишениями, нес Каин с товарищами повсюду, во многие другие места. Не переставал он острить и тогда, когда попадался на суд: «Овин горит (беда нависла), а молотильщики обедать просят» (надо дарить подъячих). Он и подкупает, подъячему шепчет: «Будет тебе муки фунта с два с походом», т. е. кафтан с камзолом. А затем на суде: «согнулся дугой, и стал как другой, будто и не я». И опять не прочь острить на допросе: «Баня здесь дешева, стойка по грошу, лежанка по копейке»; «Какой на господине мундир, такой и на холопе один»; «Все вы нашего сукна епанча», т. е. такие же воры. Попавшись в тюрьму и сидя в ней, «молится Петру, чтоб сберег сестру», т. е. удалось бы убежать. Побег удается, потому что выручают товарищи, которые умеют темно говорить и хитро делать. Они сами являются в тюрьму под видом благодетелей с подаванием, сами предлагают услуги и спрашивают: «Не хочешь ли бежать из-под караула? У Ивана в лавке по два гроша лапти». Сказанную фразу, до кого она касалась, понимали, и в сказаниях Ваньки Каина сохранилась такая фраза на отказ, что он об этом думал с товарищами и время к побегу сам хочет выбрать: «Чай примечай, куда чайки летят».

Этими иносказаниями, этою игрою слов пробавлялись тюремные сидельцы из воровского рода с большим успехом еще в середине XVIII столетия. Каин, как известно, действовал на воровском промысле еще в 1745 году; в 1764 году он уже сидел в Рогервике (Балтийский порт). До него письменные свидетельства о существовании искусственных языков слабы, но последнее не подлежит сомнению по некоторым намекам разных старинных актов. Так, напр., в новгородских памятках сохранился страшно-картинный рассказ о том, как царь Грозный, сидя за обедом у новгородского архиепископа Пимена в его грановитой палате, вдруг вскочил из-за стола и вскричал грозным голосом, «своим обычным царским ясаком», после чего московские люди схватили и ограбили архиепископа, немедленно бросились грабить Софию, церкви, монастыри, боярские имущества, рубить граждан, жечь и пепелить славный и древний город²³⁸. Точно так же на другом, противоположном краю России в актах бывшего города Орлова (нынешнего Воронежа) сохранился такой рассказ. 20 мая 1682 года из села Больших-Студенок отправилось 20 человек, в том числе пять женщин за реку Воронеж на степь для борщу. «И переедучи реку Воронеж на степь, на Юшины поля (где, вероятно, была посеяна свекла — борщ), заночевали. На утренней заре напали на них воровские люди, человек с 20 и больше, пехотою (в отмену от калмыков и татар, которые нападали на эти окраинные русские селения по неизменному племенному обычаю — на конях); напали с ружьем, с пищалями и с саблями, а знатно-де, что донские воровские казаки, а ясаком меж себя говорят и называются атаманами-молодцами».

В библиотеке Казанского университета мы видели рукописную книжку: «Описание Кричевского графства, или бывшего староства Гр. Ал. Потемкина, в ставрестах от Дубровны, между Смоленскою и Могил-

левскою губерниею». Рукопись прошлого века. В ней, между прочим, попадает такое место: «Я думаю, что не противно будет, если я упомяну здесь и о том наречии, которым все кричевские мещане, портные, сапожники и других мастерств люди, а особливо живущие около польской границы корелы (не от корелов, а от грабежей своих так названные крестьяне) — между собою изъясняются. Сие наречие, подобно многим российским, а особливо суздальскому, введено в употребление праздношатавшимися и в распутстве жившими мастеровыми, которые, привыкнув уже к лени и пьянству, принужденными находились для прокормления своего оное выдумать и сплесть, дабы посторонние их не разумели и они всех тем удобнее обкрадывать и мошенничать могли». Оно не основано ни на каких правилах и, кроме множества произвольно вымышленных, состоит еще из переломанных немецких и латинских слов. Употребляемая между ними таковая речь называется здесь «*отверницкой*» или «*отвращенною*». Автор «для любопытства» прилагает несколько слов, глаголов и речений этого языка. Вот все им приведенное: «Еперь укаврюка чуху — украдь у господина шубу; хлизь в хаз, а то Сергей смакшунит — иди в избу, а то дождик замочит; клева кургает — хорошо поет; манек химшает — мой брат хвораает; клева капени по лауде — хорошенько ударь его по голове; гримус закотаает — гром убьет; мощерник — сапожник; кулганник — портной; лох — мужик, баба — яруха (около-де Суздаля гируха²³⁹), сестра — унхлыт, поп — кочет, еврей — кудлей, церковь — хазберница, игла — семирка (оттого что их на денежку семь купить можно), чулки — теплухи, деньги — кривцы, рубли — кругляки, рожь — зедька, хлеб — сумеха, молоко — лапта, масло — тсекун, щи — дапуха, хрен — нахрин, репа — кругалка, морковь — солодуха, чечевица — лескушка, гречиха — кудрявка, овес — халбур, пшеница — бе-

луха, дросо — цикаус, ячмень — акруша, пиво — милкус, вода — делька, вино — арदिмаха, корова — алыда, овца — перхутка, голова — лауда или неразумница, девка — шихта (а около Суздаля карата), мальчик — микрец, молодица — куба (а около Суздаля ламоха), продавать — кухторить, бежать — ухлывать, есть — траить, напиться — набусаться, сидеть — сеждонить». И все. Несомненна связь языка этого и прямое происхождение — от офеньского, по сходству большей части слов. Замечаемые же немногие различия, вероятно, слова того же офеньского языка, забытые в Коврове (а не в Суздале) и сохранявшиеся здесь. С 1700 г., как известно, офени разбрелись уже по всему лицу русской земли и даже переходили австрийскую границу, всюду называя себя особым народом — *мазыками*. С их стороны следовали уверения, что они — потомки этого исчезнувшего вслед за другими народа и жившего будто бы в IX веке (что, впрочем, не доказано). Действительно, в IX веке кочевал по Волге народ ясы или ясыки, которые, по некоторым толкователям, у офеней превратились в мясыки, мазыки и проч. В различных местностях России офеней называют различно: варягами, торгованами, коробейниками, ходебщиками, разносчиками, суздалами, офенями, маяками и проч. Во времена возвращения Белоруссии к России, как известно, в числе средств закрепления ее употреблены были различные сильные меры: белорусские конфискованные в казну имения розданы были русским вельможам: Голохвастовым, Чернышевым, Руляндевым и другим, а самые огромные количества деревень, городов и местечек — Потемкину-Таврическому. Между ними досталось ему и местечко Кричев, лежащий теперь на московско-варшавском шоссе (в Чериковском уезде, Могилевской губ.). Потемкин, владевший громадными средствами, более всех других воспользовался мыслью обрусения бе-

лорусов и привлек в свои имения различных ремесленников в таком числе, что бывшие его имения (Дубровна, Кричев, Усвят в Витебской губ.) представляют наибольшие подобия с русскими селениями, чем все другие соседние местности. В них до сих пор сохраняются ремесла и развиты промыслы сильнее, несмотря на весь гнет евреев. Так сказалось это при нашем посещении Белоруссии в 1868 году. В этом привлечении в край русских людей в виде ремесленников и торговцев мы видим причину появления языка у офеней, которые ходили сюда торговать и, при поощрениях владельцев, оседали с большою охотою на торных дорогах и в таких местечках, как Дубровна и Кричев. Когда ослабело поощрение, они бродили, шатались и, не находя питания, разбрелись врозь и, вероятно, по своим старым пепелищам. Все наши старания найти следы этого языка в Кричеве и Дубровне остались тщетными: отвернищкая речь у тамошних мещан исчезла. По занятиям (земледельческим исключительно), по развитию, которое кричевцев и дубровенских едва выделяет от тупых и загнанных белорусов, по господствующему дзекающему белорусскому языку, мало остается основания для предположений о том, что язык этот живет и лишь тщательно сбережен и припрятан. К тому же на все темные дела в том краю кинулись с таким азартом и в таком многолюдстве евреи, что, помимо их племени, никто не у дел и сквозь густую толпу их, тесно сплоченную, никому уже теперь не протолкаться. В распоряжении еврея такой замысловатый и темный язык из смеси древних еврейских, польских и немецких слов, что плутовствам всякого рода неизмеримое поле. В Пруссии между немцами наш еврей говорит по-польски, между белорусами и поляками по-немецки, но так что с трудом понимается коренными немцами. Блестящее, полнее, темнее и успешнее картавого еврейского жаргона едва ли употребляется

где на свете другой ему подобный и столько же счастливый. В Германии языком древнееврейским с некоторыми лишь уродованиями воспользовались городские мошенники и составили, как сказано выше, подобно нашим, искусственные мошеннические словари.

О происхождении от древних корней старорусских «языков» (ясаков) новейшие словари свидетельствуют теперь лишь ничтожными данными. Разбойничий дуван (дележка), взятый целиком из татарского, удержался среди всех превратностей судьбы, бережно пронес свое право на существование и с среде смиренных, но ловких торговцев вязниковских и ковровских офеней, московских и петербургских карманников (жуликов и мазуриков), от Ваньки Каина до сего дня, и остался в нерушимой целости и в нерчинских тюрьмах у арестантов; пошли последние дуван дуванить и на остров Сахалин. Разбойничьи сары сохранились в музыке (сары, рыжая сара — полуимпериал золотой) и неизменными с применением лишь исключительно к серебряным деньгам (медные — курынча), сохраняются в сибирских каторжных тюрьмах. Отвернищкая речь за литовским рубежом (в Кричеве, на Соже, Могилевской губ.) сохранила слово *хаз* в значении избы, то самое, которое выговорил атаман шайки на Волге под Макарьевом и которое подслушал известный проходимец Ванька Каин. Ему же известен был *дульяс*, как имя огня; тогда как то же слово и в том же значении неизменно обретается в словаре мирных офеней-торговцев ходящих. Разбойчий атаман, *маз* по старине, сохранился в петербургской музыке в том же значении, измельчавшем лишь до прозвания заводчика воровского дела или старого опытного вора. Татарский *яман* (скверный), которым распоряжались волжские разбойники в прошлом столетии по всем грамматическим правилам склонений родного языка, остается известным и нерушимым в нынешнем столетии и в наши дни на языке петербургских мазуриков²⁴⁰.

По сличении всех этих искусственных языков одного с другим нельзя не заметить общего всем стремления встать в независимость, отделиться для самостоятельного существования. Цель достигнута. Оттого-то не только трудно, но и почти невозможно узнать и доискаться теперь до корня, до тех прадедов, от которых выродились позднейшие многоколенные семейства; черты сходства остались неясными и немногочисленными. Вот и примеры: прежде всего наталкиваемся на того неизменного друга, для которого у русских людей придуманы целые десятки слов и прозваний, от нежных ласкательных до грубых ругательных, какова водка, вино. У офеней она зовется *гамза*, *гамзыра* и *дрябка*; в отверницкой речи известна под именем ардимахи; в мазурницкой музыке зовется *канка* и *кановка*; на арестантском языке в тюрьмах — *хамло*; у скрыпенских коновалов — *лофейка*; старинные разбойники называли ее товаром из безумного ряда. Роковое место — тюрьма, прозванная офенями *качуха*, у специалистов-арестантов называется: у сибирских — *чизовка*, у русских — *кучумка* и в более строгом смысле у каторжных арестантов (военных) — палочная академия. Древние разбойники звали ее «каменный мешок».

Русские слова	Офеньские	Отверницкие	Музыка	Тюремные
Деньги	юсы	кривцы	бабки	сары и курынча ²⁴¹
Женщина	куба	яруха	маруха	мазиха и суфлера
Рубль	хруст	кругляк	царь и дерс	седой (у коновалов), бирс (у барышников)
Изба и двор	ряха, рым	хаз (тоже у старых разбойн.)	куреха, домовуха	—
Купец	пулец	кухторь	аршин	майданщик
Мальчик	ласый	микрец	долото	—
ЩИ	пучки	лапуха	—	шури-мури
Овца	моргуша	перехутка	—	басаргуля (у шерстобитов)

Продать	протулить	кухторить	тырить	—
Кнут и плеть	визжак и визжеха	—	минога и манны	лыко и адамово лыко
Солдат	трущ	—	бутырь, фараон, паук	селитра
Опасность	—	—	стрема. мокро, двадцать шесть	вода
Хлеб	сумар	сумеха	—	чистяк
Шуба	бурьмеха	чуха	теплуха	—

У офеней гривенник — марошник, у мазуриков — жирманник; у офеней полтина — ламиха, у конных барышников — дер; четвертак у барышников — секана, секис, у мазуриков столичных — жирма-беш, у коновалов — хруст; целковый у коновалов, напр., скрыпенских — седой, у конных ярмарочных и столичных барышников — бирс. Сто у офеней — пехаль, по музыке — капчук; день у офеней — бендюк, у шерстобитов — волгаж. У офеней петух — ворыхан, у шерстобитов, напр., кинешемских — гогус; кровь у офеней — вохра и кира, у шерстобитов — кан; грива у офеней — маруха, у мазуриков — трешка, у барышников — жирмаха; рука у офеней — хирьга, у мазуриков — грабляха, у шерстобитов — бира; штаны у офеней — шпыни, у сибирских шерстобитов — чинары, у мазуриков — шкеры и проч. Вот несколько слов шерстобитов (из языка так называемого кантюжного): самовар — беззаботный, жеребец — агер, давать — дякать, ямщик — шмляк, веник — било, два — кокур, пила — зубила, колокол — звонарь, зубы — жоры и жор, колемить, заколемить — захворать, овца — басаргуля, скоро — башково, кукушка — гадайка, пирог — елесник и проч. Несколько слов скрыпенских коновалов; клева, неклева (общее), съюхтить — получить доход, схизнуть — бранить, бакулить — говорить, облобызать — своротить с дороги для разговора, сак — сюда, ламашник — полтинник (общее). Счет их указан дальше²⁴².

В этом общем стремлении на отдел, для самостоятельного существования на правах полнейшей независимости, придумывались слова, прикрывающие тайну приемов известного ремесла и промысла, чтобы скопившийся из них словарь знал не всякий; а смышленный человек, спознав один, мог бы блуждать и заблудиться, попав в трущобы другого словаря. Выдумка новых в замену истасканных старых в этих случаях, прежде всего, являлась на выручку. Зазнавший, напр., голову за «неразумницу» (в отвернической речи) не раснознает ее в позднее придуманном прозвище «лауда». Слышали прежде и узнали все часы завеснухи, — теперь же вместо них и у тех же мазуриков слышится новое прозвище бани; прежняя музыка предостерегала ходящих по ней об опасности словами стрема и мокро, — теперь говорят, неизвестно почему, «двадцать шесть». Прежде по музыке мошенник назывался французским словом «жорж», теперь откровенно по-русски и не без некоторого поползновения на остроумие назвался «торговцем». Прежде сыщику было звание «фидарис, фига, подлипало», — теперь: «двадцать-пять» и придумано всему комплекту их общее новое название «чертова рота». Кошелек с деньгами назывался шмель, теперь «шишка»; бумажник — финал, шмука, теперь «лопатка» и «боковня». Рубль у мазуриков оказывался и «колесом», и «царем», — теперь, по новому, это «дерс»; полицейского же они звали «каплюжником», теперь согласились называть гуртом прежнего фараона и бутыря (буточника) — пауком; прежде «начудил», теперь наездил, если сделал неудачную кражу, сделавшуюся открытою, и проч. По вызову различных нововведений, конечно, явились новые слова уже не для прикрытия, а по необходимости: явилась «халдыговина» — конная железная дорога (у петербургских мазуриков); про арестованного по приговору мирового судьи говорят, что он «на месте».

В хорошем, более законченном языке (как, напр., в офеньском), для лучшего укрытия от любопытного и любознательного уха, на один предмет и понятие существует по несколько иносказательных выражений: есть — ефит, троить, брясть; девица — корюк, карета, карюха; водка — гамза, гамзыра, дрябка; огонь — дульяс и дулик; работник — наепшурник, прилеш; сын — фетяк и лацина; пирог — спидон и кундяк, а так как по деревням гостеприимно кормят пирогами всякого захожего человека, то, напр., и у шерстобитов (волнотепов) имеется для него особое имя — елесник; божиться — стодиться (потому что Стод — Бог) и щедиться и проч. В музыке, по богатству слов уступающей только словарю офеньскому (торговому), точно так же на деньги два слова: сара и бабки, на платок три: лепень, шемагя, персяк, на избу также три: куреха, домуха, домовуха; бежать — хрятъ и лататы; ничего, не беда — сухари! шманал; шинель — шельма и накидалище; вынуть из кармана — выначить и срубить; соединиться в шайку — стабуниться и склеиться; лакей — алешка, Алексей Алексеич; уксус — лак; халдей — денщик; похороны — халтура и проч.

Многие слова утратили секрет и, прорвавшись в общенародное употребление, перестали считаться пригодными для обихода в темном ремесле, в плутовских изгибах его, и не перестали лишь смущать близоруких собирателей словарей этих. В мазурницкой музыке мы находим такие слова: одеть — оболочь; бежать и убежать — *хрятъ* и *ухрятъ*; попасться в преступлении — влопаться; скрыть, заслонить — *затылить*; для виду — *для близиру*; сделать неудачную кражу — *начудить*; чертоплешина — плюха по затылку; труба — вздор, пустяки; жулик, который означает по музыке и по офеньски ножик, по музыке же — и мальчика-ученика воровскому делу, перенесено в Москве на самых мастеров промысла; пропить, промотать — *проюрдонить*²⁴³;

у офеней *пащенок* — дитя, ребенок; *масья* — мать; *скрыпы* — двери, и глаза — *зеньки*. Все эти слова знают все петербургские мастеровые, многие из этих слов употребляют люди и повыше полетом.

Само собою разумеется, что богатство слов сосредоточивается там, где вращается и самый промысел. Темное дело, прикрытое темными условными словами и выражениями, на этот раз обнаруживает свои живые пункты и поле деятельности во всей наготы.

В таких случаях и обилие слов и хлопотливая изобретательность их являются в отчетливом виде; здесь на воре и шапка горит. А так как все это творится для денег, все это вдохновляется ими, то этот предмет и исчерпан всеми до пределов возможного и ведомого, и потому об них-то и первая речь наша. По таблице, приведенной выше, видимо разнообразие прозваний самых денег и одного из крупных и основных представителей их — бумажного и серебряного рубля. Кто на последние видоизменения рубля и денег не ходит за недосугом, но петербургские мазурики различили свои финашки, финаги (бумажные деньги, ассигнации), как офени свои пельмахи, от сары и царей (серебряной монеты) и от рыжих, веснушных (денег), от рыжиков — червонцев и рыжей сары — полуимпериалов, потому что эти деньги в руках их бывали зачастую, также они знакомы и офеням (под не хитро придуманным прозванием кузлота). Последнего сорта монета неизвестна ни конным барышникам, ни мелкоте промышленникам шерстобитам и коновалам. Зато у всех известны под своими именами гривна (маруха у офеней, трешка у мазуриков, жирмаха у конных барышников), пятачек, — дензик у первых, пискарь (медный), пискарек (серебрянный) у мазуриков; полтина (ламиха офен., ламышник мазур., дер барышн.), четвертак, исчезнувший из употребления (жирма-беш у карм., секана и секис у барышн.); целковый (хруст офен., кругляк отверницкий, царь и

дерс по музыке, седой у коновалов, бирс у барышн.); копейка (трофил офенск., канька и каника у мазур.). А так как на руки офеней чаще и больше других перепадают деньги, то у них есть слова и на грош (баш), и на денежку (батень), и на трехгривенный (хруст с пензиком). Умеют считать они и до тысячи, которую зовут косухою (значение слова этого у мазуриков ослаблено переносом на сотню — косуля — и эти купцы пропалых вещей дальше сотни рублей не считают и счета не знают). У офеней, обязавших себя вечными счетами и выкладами, это дело затемнено больше всех и офеньский счет полнее всех и совсем другой, чем, напр., у лошадиных барышников и у скрипенских и других коновалов.

С Ч Е Т

Обыков.	Офеньский	Галивонский (шерстобитов) и конных барышников
один	екои	екои
два	здю, взю	кекур
три	стрем	стема, кумар
четыре	кисера	дщера, чивак
пять	пинда	пенда, вычус
шесть	шонда	шонда
семь	сезюм	сезюм
двугривенный	сезюмар	сезюмар
восемь	вондера	
девять	девера	кивера
десять	декан	декан (марн у скрип. коновалов).
одиннадцать	екодцать	
двенадцать	здюнадцать	двадцать - пять — хруст у скрип. коновалов.
тринадцать	стремнадцать	
четырнадцать	кисернадцать	
пятнадцать	декан-пинда	

пятиалтынный	пенда-берюнды	пенда-куреша — пятачок
шестнадцать	шондатцать	
семнадцать	сизюмнадцать	
восемнадцать	вондарадцать	
девятнадцать	девернадцать	
двадцать	здю-деканов	тридцать - трех - марн (у скрып. коновалов).
сорок	кивера-деканов	
пятьдесят	пенда-деканов	
восемьдесят	вондера-деканов	
четвертак	вондера - сизюм - трофель	
девяносто	девер-деканов	
сто	пехаль	
тысяча	косуха	
полтина	ламиха	

Затем, само собою, в зависимости от предметов торга и купли, офени-торговцы поспешили заручиться своею терминологиею, которая дает словарный сборник количеством слов больше тысячи. По способу меновой торговли, каковая не гнушается выменом всего, что придется на руку (и выменивает, между прочим, с такими неслыханными барышами, более чем сто на сто проц.): и яицы (ягрентяты), и ложки (свербалки), и мед (емеля), лапти (верзень), пшеницу (кундешница), масло (ласо), всякий хлеб (сумар), лошадь (ловак, остряк), овес (щупляк), ячмень (сахар), рожь (зеха) и проч. Мужуку (лоху) и бабе (кубе), и молодежи (ламохе), и красной девице (карате, карюхе) с завистливыми и склонными на соблазн глазами торговец-ходебщик и офеня ездовой отдают на обмен все, что надо, что им самим навалили в Москве (в Батусе) на кредит из залежного и прахового товара: гребень (дербужник), стакан и рюмку (бухарник, бухарку), ситец (лепеншик), платок (лепень), сукно (шерсно, вежно), ножик и ножницы (жуль и жульницы), стекло и посуду

всякую (звеньеху), рукавицы (нахирей), топоры (машурики), пояса (подбалы), сальные свечи (щедреге), а на лакомый вкус богатого мужика и чай *бусильник* (бусильник оттого, что люди пьют, его — бусят), и сахар *сластим*, и зеркала *вершалъницы* (затем, что вершить — глядеть в них надо) и другое тому подобное. Для таких дел у офеней и брысы (весы) такие сделаны, что брысят с походом всегда на его сторону. Пропуливает пулец — продает купец этот вяло и рыхло (много и скоро), больше широкого, чем склешево (дороже, а не дешевле) и за то ерчит на громати на своем ловаке, а не похлит на стухах (ездит на телеге на собственной лошади, а не ходит пешком на своих ногах с коробом на горбе), да еще сверх того седмает в рахе на дудорге, троеет вятелку за стропенем, сафает скрыжами кундешные кундяки и забусывает (на худой конец) чкуном, а чаще всего клыгой, а не то и кером (т. е. в избе, на лавке ест утку за столом, мнет зубами пшеничные пироги и запиывает квасом, брагой, а не то и пивом). На крестьянского обманщика собаки не лают, а мужичью голову не даром прозвали на Соже неразумницею: бузу (бедного) от стодена (богатого) лоховой обзетильщик (крестьянский обманщик) не распознает. И все-таки котюры скрыпы отвандают, похання севрает шлякомова в рым, нидонят дрябку в бухарку, гируха филосы мурляет, клюжает и чупается (ребята ворота отворяют, хозяин зовет знакомого в дом, наливает водку в рюмку, хозяйка блины печет, подает и кланяется): «Спасибо еще и за то, что мимо двора не проехал». За мужиком сплошь и рядом у торгована шилку скень (долгов много). Хоть офеня и знает Стода (Бога), но не лучше нефедя и скеса (еврея) бусает лохову гиру (пьет крестьянскую кровь); видку (правду) только по имени знает. Офени говорят: «Масья! ропа кимат, полумеркоть, рыхло закурещат ворыханы» (мать, пора вставать, полночь, скоро запоют петухи). «Да, позагорбил басве слещить: астона басвинска

ухалила дработницей» (да, позабыл тебе сказать: жена твоя померла весною).

Точно так же в отвернической речи встречаем наибольшее богатство прозваний тех продуктов, которые служили предметом торговли и промысла. У офеней мы не видим того, у мазуриков не мыслима необходимость знания гречихи (кудрявки), чечевицы (лескушки), проса (цикауса). Кричевские торговцы, жившие в более южных и теплых местах, возымели в этом отношении преимущество даже перед проходимцами северными офенями. Кричевские знают и нахрин — хрен, и кругалку — репу, и солодуху — морковь. Все это они могли выменивать и на семирки (иголки), и на теплухи (чулки) и проч.

А вот и еще художники, которые вертятся и вращаются также около своего темного дела и стараются затемнить его больше и так, чтобы сторонние их не узнали. Эти также какою рекою плывут — ту и славу кладут, и у них, где дрова — там и щепы. Воруется мазурик и то, что на глаза попадает, и что легче украсть, и на что он большой охотник и мастер. Оттого у них шубы — теплухи, меховые вещи — окорока, белье на чердаках (не без остроумия) — голуби, посуда — звенья, кафтаны, шинели — шельмы, подушки с извозчичьих саней — мякоть, шапки — камлюхи, и сапоги — коньки; все предметы добычи (тырбана) и денежки (слама). Но так как мазурик больше ходит около карманов, «берет с верхов», т. е. из наружных (оттого и карманник), то при обширном поле для деятельности и богатство слов для названия вещей и предметов промысла: табакерка — лоханка, скуржаная — серебряная, рыжая или веснушная — золотая, часовые цепочки — гопа, не шейные короткие — путина и первязь, длинная шейная — аркан, бумажники — дождевики и лопатники, кошельки с деньгами — шмели, лорнеты — камбалы, кольца — обручи, драгоценные камни — сверкальцы,

перчатки — грабли, театральные трубки — двуглазые, портмонэ — кисы, саквояжи, чемоданы и мешки — шишки. А так как в таких вещах вытаскивались и деньги, то на каждый вид их и форму существуют отдельные названия: деньги — сара (старые), бабки (новые), ассигнации — финаги и финашки, трека — трехрублевая, синька — пятирублевая, канька и каника — копейка, трешка — трехкопеечник, пискарек — пятачек, пискарь — медный пятак, жирмашник — гривенник, ламышник — полтинник, осяушник — двугривенный, жирма-беш — четвертак, стремчаговый — трехрублевик, царь — целковый, капчук — сторублевая бумажка, косуля — тысяча и проч. Платок — лепень, но шемаг — носовой обыкновенный, персяк — шелковый. Часы прежде назывались веснухи и веснушки, но так как слово это узнали все, то случилось новое — бани, а зато, что они чаще служат предметом добычи и попадают в руки всякие, то и зовутся: стуканцами — стенные, канарейками — карманные, рыжими — золотые, скуржовыми — серебряные. По причине же того, что у таких художников беда всегда висит на вороту, то и выкрикивают близость опасности (стрёмы) либо этим придуманным словом, либо говорят «мокро», когда видят стрелу — казака, михлютку — жандарма, каплюжника или гурт — полицейского, фигу, чертову роту, двадцать шесть — сыщика; мухорта — статского человека, наблюдателя, барчука — франта, свидетеля, из военных — талыгая, паука — городского, денщика — Алешку, лакея — укус, лак; хера (пьяного) не боялись, жоха — нищего, подбивали в свою компанию и давали слам. «Отначивались» (откупались) в старину и от «крючка» — письмоводителя в квартале, и от «кармана или выручки», т. е. самого квартального надзирателя, и от «клюя» или ключая — следственного пристава, и «скипидарничали», гуляли на воле, находясь в подозрении. За «ломотою» (побоями) не гонялись и «секуцию» принимали с легким сердцем.

Так как на большую часть все это были бродяги, с фальшивыми паспортами и часто без всяких видов, то мастерили свои и опять обогатили свой язык различными новыми, нигде уже не попадающимися словами. Вышли безглазые, темные, т. е. беспаспортные и слепыши (бродяги настоящие), с липовым глазом, темным, яманным глазом (фальшивым паспортом, потому что настоящий по музыке называется просто глазом, а иногда биркою и картинкою); торговали «пчелами» — фальшивыми бумагами, но, конечно, больше и чаще всего воровали, сбывали стыренное (ворованное) мешкам (приемщикам). Ходили тырить на клей (воровать на готовое) после подвода (подготовки) на двое, или «ходили в одиночку», воровали особняком или «стабунивались», склеивались (т. е. соглашались вместе), сбывались в шайку, в «хоровод» (товарищество) и «гопали» (бродили по улицам, ночевали на них). Иногда в карманах ничего не находили «шман, сухари», но, добившись цели, действовали. В дело употребляли коловороты — «вертуны», для «сережек» (замков), пускали в ход «помаду» (долото), фомку (маленький лом), «крючки» (небольшие отмычки), «стриканцы» (ножницы), «жулики» (ножи) и т. д.; хаживали и на шарап (грудью, приступом брали), и на храпок (схватывали за горло), и на душец и под микитки, «схватывали за дыхало», т. е. душили, зажавши рот и ноздри²⁴⁴. Зато ловкий человек, когда трокнул, т. е. попадался и садился в тюрьму, то выходил из тюрьмы либо «с нашим почтением» (в подозрении), либо «с нижайшим почтением» (в сильном подозрении), либо, наконец, «с нижайшею благодарностью» (в глубоком подозрении). Эти обыкновенно отделялись только тем, что «пробирали их дробью», т. е. наказывали розгами, а затем они опять сидели по старому в «капне» (кабаке) или «шатуне» (погребке), опять искали поживы на «заделях» (свадьбах), «уборках» или «халтурах» (похоронах). Краденое, «тыренное» перетыривали (перепродавали), т. е. спурили, пропуливали в надежные руки. Иногда

удавалось «ухнуть» — уехать — на подговоренном извозчике, иногда удавалось «влопаться» только, т. е. попасться неопасно, а иногда и «сгореть», т. е. попасться до ссылки, до «мантов» (плетей) и до прогулки «за Бугры» (т. е. за Уральский хребет), спознавшись и с кiryшками (палачами), прокатившись и на «фортунке» (позорной колеснице), и наевшись миног (т. е. получив наказание плетьюми). «Смеряли стекла», выдавливая их, намазывая медом или патокою сахарную бумагу; тем же медом смазывают и стыренные деньги, чтоб не звенели. Главные достоинства в этом промысле уметь во время «зетить, стремить», зорко озираться и глядеть, уметь «агалчить» — во-время предостеречь товарища, толкнув его; во-время «трекать» (оглядываться и вытаскивать из кармана), уметь «заливать» — обходить, заговаривать сыщика, справедливо «тырбанить» (добычу делить), остерегаться «амбы» (смертельных ударов) и «дуги» (неверных справок при рекогносцировке), чтобы «не наездить» (новое слово — не сделать неудачной кражи) и не попасть в «кряковки» (т. е. чтобы не связали рук).

— Ухрял было (печалится мазурик мазурику, ходя по музыке, т. е. говоря своим байковым языком), ухрял было вечер, с бутырем справился, да стрела подослела и облопался (казак прискакал и попался).

Предостерегают друг друга: «Стрема! стремится михлютка»! (жандарм смотрит, берегись!).

Хвастаются: «Вечор я было влопался (попался), на силу фомкой отбился, да, спасибо, звонок (товарищ-мальчишка), со стороны поздравил каплюжника дождевиком» (бросил в полицейского камнем). Или: «Срубил шмель, выначил скурлажную лоханку» (вытащил кошелек с деньгами да серебряную табакерку).

Расспрашивают друг друга: «Во что кладет мешок веснухи?» (Во что барышник-перекупень ценит часы?) — «Я правлю три рыжика, он четыре колеса

кладет» (Я прошу три золотых, он четыре целковых дает).

Печалются о товарище: «Он ведь уж ел миноги и спроважен, не чиста была бирка» (наказан и выслан, паспорт был фальшивый), и проч., и проч.

На языке офеней переписывались белокриницкие (австрийские) раскольники с московскими и вообще живущими внутри Империи. Похожий на офеньский язык существует у кинешемских и вообще костромских, макарьевских и кологривских шерстобитов, уходящих в Восточную Россию, «в Сибирь» (как они называют), и шерсть бить, и коновалить, и колдовать. Имеется свой язык у бுவеских мелочников-гребенщиков, ходящих по столичным дворам с козлиным выкриком: «щетки-гребенки» и с ящиком за спиною. Подмечен искусственный язык у нищих, где нищенство превратилось в правильно-организованный промысел (во Владимирской, Тверской, Рязанской и Московской губерниях). «Картаво» умеют говорить лошадиные барышники, руководствуясь нужными для тайны цыганскими словами. Языки эти в народе слывут под разными прозвищами: кантюжного (собственно нищенский)²⁴⁵, галивонского (шерстобитов), ламанского или аломанского (тот же офеньский или офинский), байковый или мазурницкий, музыка. Существовал еще язык тарабарский и язык «по херам» (херовой). Последний основан на приставке в живой язык после каждого слога²⁴⁶ слова «хер». Тарабарский же придуман смекнувшими грамоту школьниками, переставившими согласные буквы в обратную, вместо б-щ, в-ш, г-ч, д-ц, ж-х, з-ф, к-т, л-с, м-р, н-н. Так, напр., выходит: «Я упнул у Шапти тасачит», что значит: я унес у Ваньки калачик. Вообще же тарабарщиною привыкли называть всякую

цифрованную и шифрованную грамоту, предполагающую знание особого ключа. Языками этими руководились грамотные люди, их придерживались затворники учебных заведений, в особенности бурсаки семинарий, откуда языки эти несомненно и вышли. Наподобие тарабарскому с лишними проставками в живых словах существует язык кубрацкий (кубраков-сборщиков подающих на церкви, обративших это дело в промысел и живущих в городе Мстиславле и местечке Дубровне, Могилевской губ.). Проставка отдельных слов, по очереди одно после другого, *шайка - шири*, употребляется с такою быстротою и ловкостью (от привычки), что затемняемые ими слова действительно темнеют так, что становятся положительно неизвестными и непонятными. Надо иметь большую сноровку и долгую привычку, чтобы выслушивать быстро и во множестве мелькающих «шайка-шири», чтобы брать слоги подходящие и составлять слова настоящего предлагаемого смысла. Знание, промысел кубраков-прошачков также не совсем прямое и открытое дело: десятки сборщиков в десятки лет собирали подавание на те церкви, которые после их видимых хлопот найдены разрушенными, с обрешетившимися крышами, с битыми земляными полами и соломенными наметами, мало чем отличавшимися от бедных полуразвалившихся белорусских хат. В самом Мстиславле до сих пор стоят деревянные развалины трех церквей и четвертая каменная, построенная, как известно, на казенные деньги, переименованная в собор из полковой церкви.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ

(По его письмам)

Представляя вниманию читателей два письма одного из талантливейших и образованных декабристов, Н. А. Бестужева, считаю необходимым сказать несколько предварительных слов. Начну сведениями о нем, сообщенными одним из его друзей (Н. И. Гречем), который, между прочим, приводит некоторые биографические данные и об остальных трех братьях его: известном в литературе — Александре Марлинском; Михаиле, разделившем тюремную судьбу и невзгоды поселенческой жизни с братом Николаем (Александр был сослан в Якутск и потом на Кавказ); о Петре, который умер помешанным в уме в больнице «Всех Скорбящих», и о Павле (служившем также на Кавказе).

«Николай Бестужев, капитан-лейтенант, человек редких качеств ума, рассудка и сердца, — говорит г. Греч, — уступая Александру (Марлинскому) в блистательных талантах и в пылком характере, заменял эти качества другими менее блистательными, но тем не менее достойными обратить на него внимание и уважение людей. Он был воспитан в морском корпусе и уже гардемаринном был в действительном сражении при взятии англичанами в 1808 году линейного корабля “Всеволод”, бывшего под командою капитана Руднева. Корабль “Всеволод”, отрезанный от эскадры впавшего в ребячество, престарелого адмирала Ханыкова, был атакован двумя английскими кораблями: один бил его с носу, другой с боку. Он не сдавался и тогда, когда из тысячи человек оставалось уже только восемьдесят, флаг его не был спущен, а сбит неприятельским ядром.

Бестужев был на одном из катеров, которые завозили якорь.

Я познакомился с ним в 1817 году, отправляясь во Францию на корабле “Не тронь меня”, на котором он был лейтенантом. Мы с ним подружились и оставались в неразрывных отношениях до несчастной эпохи 14-го декабря. Бестужев занимался и литературою, писал просто, умно и приятно. В “Сыне Отечества” напечатано любопытное его описание гибели брига “Фальк”, взятое Головинным в собрание статей “О важнейших кораблекрушениях”. В последнее время находился он в Балтийском море при начальнике съемки, вице-адмирале Л. В. Спафарьеве, и лично содействовал улучшению этой части морского управления, но скучал и искал развлечения. Главною его слабостью была страсть к женскому полу, особенно к порядочным замужним женщинам. И в Кронштадте, и в Петербурге было у него несколько нежных связей; особенно занимала его одна любовь кронштадтская. И женщины привязывались к нему легко и страстно. Но как мог человек умный, рассудительный принять участие в этом сумасбродном, нелепом предприятии? Я могу растолковать его тем только, что Николай Бестужев поступил в заговор позже всех братьев, которых он любил глубоко; он решился разделить с ними ожидавшую их участь, и бросился стремглав в бездну.

Николай Бестужев обедал у меня на именинах 6-го декабря с братьями своими, Александром и Павлом. Николай пришел позже, и я сказал ему:

— Пришел; спасибо, а я думал, что ты изменил.

— Никогда не изменю! — сказал он твердым голосом, взглянув на Александра.

А я, олух, еще пожал ему руку.

14-го числа он вывел на площадь гвардейский экипаж. В нем было несколько матросов, служивших под командою Бестужева на походе в Средиземное море.

“Ребята, знаете ли вы меня? — пойдете же!” И они пошли. Я видел, как экипаж, мимо конногвардейских казарм, шел бегом на площадь. Впереди бежали в расстегнутых сюртуках офицеры и что-то кричали, размахивая саблями. Я не узнал в числе их Бестужева, да и до такой степени был уверен в неучастии его, что, услышав о подвигах Александра, сказал с сердечным унынием: “Бедный Николай Александрович! Как ему жаль будет брата!”

По прекращении волнения, Николай Бестужев уехал на извозничьих санях в Кронштадт, переночевал у одной знакомой старушки; на другой день сбрил себе бакенбарды, подстриг волосы, подрисовал лицо, сделался матросом и пошел на Толбухин маяк, лежащий на западной оконечности Котлина острова. Там предъявил он командующему унтер-офицеру предписание вице-адмирала Спафарьева о принятии такого-то матроса в команду на маяк.

— Ну, а это ты умеешь делать? — спросил грозный командир.

— А что прикажете! — отвечал Бестужев, прикинувшись совершенным олухом.

— Вот картофель: очисти его!

— Слушаю, сударь! — отвечал он, взял нож и принялся за работу.

Полиция, не находя Бестужева в Петербурге, догадалась, что он в Кронштадте, и туда послано было приказание искать его. Это было поручено одному полицейскому офицеру, который мало знал Бестужева, заключил, что он, конечно, отправился на маяк, чтобы оттуда пробраться за границу. Прискакав туда, вошел в казарму и перекликал всех людей.

— Вот этот явился сегодня! — сказал унтер-офицер.

Полицейский, посмотрев на Бестужева, увидел самое дурацкое лицо в мире. Все сомнения исчезли, здесь

нет Бестужева: надо искать его в другом месте. Когда полицейский вышел из казарм, провожавший его денщик (бывший, прежде того, денщиком у Бестужева) сказал ему:

— Ведь новый-то матрос — господин Бестужев! Я узнал его по следам золотого кольца, которое он всегда носил на мизинце.

Полицейский воротился, подошел к мнимому матросу, который опять принялся за свою работу, ударил его слегка по плечу и сказал:

— Перестаньте притворяться, Николай Александрович! Я вас узнал.

— Узнал, — сказал Бестужев, — так поедемте!

Губернатор отправил его в Петербург под арестом, в санях на тройке. Когда приистановились перед гауптвахтой при выезде, он сказал случившимся там офицерам:

— Прощайте, братцы! Еду в Петербург: там ждут меня двенадцать пуль.

Дорогою по заливу, поравнявшись с полыньей, он хотел было выскочить из саней, чтобы броситься в воду, но был удержан.

Обряд лишения чинов и дворянства был исполнен над флотскими офицерами в Кронштадте, на военном корабле²⁴⁷. Их отвезли туда ночью (на 19-м арестантском катере). Бестужев спокойно беседовал дорогою с командующими и караульными офицерами, не жаловался, не сетовал на судьбу.

— Я заслужил смерть, — говорил он, — и ожидаю ее. Но вот кого мне жаль — этих бедных юношей (указывая на приговоренных мичманов, спавших крепким сном юности): они — дети, и не знали, что делали²⁴⁸...

В Кронштадте он взошел по трапу на корабль бодро и свободно; учтиво поклонился собравшейся там комиссии адмиралов и спокойно выслушал чтение приговора.

— Сорвать с него мундир! — закричал один из адмиралов.

Два матроса подбежали, чтобы исполнить приказание, но Бестужев сам снял с себя мундир, сложил его чиннехонько, положил на скамью и стал на колена, по уставу, для преломления над ним шпаги.

Когда его привезли в Петропавловскую крепость, любовь и там не оставляла его. Одна дама прислала ему из Кронштадта свой портрет и колоду карт для препровождения времени гран-пасьянсом. Бестужев, мастер на все руки, берег рыбные кости от своего обеда; повытаскал нитей из наволочки и из этих припасов, без всякого инструмента, смастерил хорошенький гребешек. Не знаю, дошел ли он по адресу.

Бестужев скоро нашелся в ссылке, занимаясь чтением, живописью. В первые годы нарисовал он несколько акварельных портретов, в том числе и свой — очень похожий, только по лбу шла глубокая морщинка, проведенная страданиями. Потом занялся он механическими работами. Придумал какой-то экипаж, удобный для того края, и вообще старался быть сколь возможно полезным в своем кругу. Он скончался в 1855 году, не дождавшись своего освобождения».

Последние сведения, сообщаемые г. Гречем, требуют пополнений и одного исправления. Экипаж, про который говорит он, — есть так называемая «сидейка», известная в Восточной Сибири и в особенности в Забайкалье. Она вошла во всеобщее употребление во всех гористых местностях, для которых и приспособлена эта одноколка, легкая, не валкая, очень удобная для сидения двум человекам, даже с кучером. В тех местах действительно она была новостью, изобретением которой обязаны жители гористых местностей, расположенных по склонам Яблонового хребта, не Ник. Ал., а брату его, Михаилу Александровичу. Сидейка придумана и приспособлена последним в то время, когда братья жили на

поселении, около города Селенгинска. Сюда приехали к ним сестры на совместное жительство (Марья и Елена Александровны, уже потерявшие в это время остальных трех братьев и мать, которым также успели до того посвятить свое время, силы и попечения). Обладая мягким, нежным сердцем, чутким ко всему изящному, — о чем засвидетельствовал Греч, — Н. А. Бестужев сумел присоединить сюда и слить в гармоническое целое и практический ум, живой, восприимчивый, способный не только найтись для себя в безвыходных условиях житейской обстановки, но и изобретать полезное для других. Н. А. Бестужев во многом успел проявить свои, в самом деле, замечательные и разносторонние дарования. В этом отношении он представил собою подлинный, идеальный тип талантливой русского человека «на все руки», — как выразился Греч, — но с неизменным оттенком наибольшей склонности к механике, замечаемой во всех наших самоучках, с гениальным Кулибиным во главе. Товарищеская нужда в изгнании указала Н. А. Бестужеву, для применения его блестящих способностей, новые пути. Несмотря на всю неожиданность требований, Н. А. умел найтись скоро, а в других случаях — предупредить и предусмотреть то, в чем он мог быть полезен. Именно — полезен, потому что все его начинания и затеи освежались практической струей и любовью к человечеству. В последнем смысле он даже сам скромно проговорился в одном из писем к товарищу: «одно у меня желание — быть полезным бедным мореходам, которые не в состоянии платить по 2 и по тысяче за хронометр, а от того самого наполовину, а может быть, и более гибнут, не имея верного счисления». Это побудило его придумать дешевый хронометр и астрономические часы, улучшению которых он посвятил всю свою жизнь. Замечательно, что способность к механике у Бестужевых была как бы врожденною²⁴⁹. Мих. Ал. изобрел сидейку; пятый брат, Павел, артиллерист, придумал новые превосходные диоптры для

прицела орудий, и на отливку их, при скудной жизни на Кавказе, принужден был пожертвовать своим единственным медным чайником. Н. А. Бестужев, до последних дней жизни, стремился к осуществлению давнишней задушевной мысли — сделать астрономические часы без компенсации, а равно и морской хронометр на том же основании.

«И вот одни часы (пишет он в Читу Д. И. Завалишину) идут у меня на стенке уже четыре года довольно хорошо. Другие теперь уже два года на испытании: поставлены в холодном чулане и выдержали две жестоких зимы, идучи, не останавливаясь... Однако я ими недоволен и делаю третьи, а зимою намерен приняться окончательно за четвертые. Главное препятствие состоит в недостатке нужного мне материала» (письмо от 20-го мая 1852 г.). Впрочем, это его не остановило: у находчивого человека откуда только ни брались, ни являлись материалы. По тюремному положению, педантически-строго исполняемому приставом (генерал-майором Лепарским), не дозволялось ничего острого; к обеду не подавалось ни ножей, ни вилок, и даже у свечных щипцов отламывали острый носок. Но сила духа, чем наиболее стеснялась, тем становилась требовательнее и изворотливее. За подарки сторожам добывался нож и подпилочек; принесенные под полую и сбереженные при осмотрах в рукаве, эти дешевые орудия сослужили, однако, в золотых руках Бестужева ту службу, что помогли ему сделать часы и подарить их высокой души женщине (Ал. Гр. Муравьевой), одной из тех «ангелов» — по выражению товарищей, которая разделяла невзгоды изгнания с мужем. Когда на работах в Чите, при рытье улиц и заравнивании оврагов этого дикого и мрачного города, у товарищей скоро изнашивалась обувь, Бестужев неустанно шил башмаки. Так как этот истинный художник в душе, со всеми симпатичными чертами подобного типа, был вечно в работе

и на общепольном труде, то он и остался победителем. Ему в его занятиях разрешалось то, что запрещалось другим, и это не возбуждало в них ни малейшей тени неудовольствия, а тем более ропота. Лепарский разрешил узникам, на их артельный капитал, устроить столярную, поставить токарный станок и пресс для переплета книг. Легкая и приятная работа увлекла и других, усладительно заполнив мрачные часы заточения, — и, в свою очередь, при проявлении надобности, оказалась практически-полезною и применимою к тяжелым и веселым минутам жизни. Когда один «из ангелов улетел на небо» (по поэтическому выражению узника — поэта А. И. Одоевского), — т. е. та же «незабвенная и праведная» А. Г. Муравьева, простудившись после родов, скончалась, — Н. А. Бестужев вытесал и сколотил деревянный гроб со всеми винтами, скобами и украшениями, и даже отлил свинцовый ящик.

Торсон готовил модели машин: пильной, жатвенной и молотильной. В столярной сколачивались стулья, кресла, комоды, столы и диваны для всех дам, поместившихся на частных квартирах, и для себя в казематы. Когда одному товарищу, Розену, окончился каторжный срок и надо было ехать на поселение с детьми в Западную Сибирь, Оболенский сшил его ребенку пальто, Торсон устроил из парусины корабельную койку, а Бестужев приспособил винты и ремни с пряжками. Чтобы не затруднились в применении этой койки на утлых ладьях по бурному Байкалу, он указал способ, подвесивши и прикрепивши койку к верху дорожного тарантаса. Когда по приходе в Петровский завод (из Читы), во вновь выстроенном для декабристов каземате оказались в номерах единственные окна, прорубленные над дверями, выходящими в коридор, и в комнатах было темно, Бестужев ухитрился подмоститься к самому окну, заимствовавшему свет из коридорных окон, выходивших на внутренний маленький двор. Он

подколотил к стенам планки, настлал досок, подпер снизу устоями, сделал дешевые полаты, на которых продолжал работать шилом и дратвой башмаки, часы и все, что подойдет на руку и понадобится товарищам. По его примеру и при его советах и помощи сделали такие же приспособления и все те, кто хотел заниматься. Такие осязательные проявления могущественной силы живого духа и в Петровском заводе указывали на необходимость устройства отдельной мастерской. Лепарский понял Бестужева и оценил. Да и нельзя было поступить иначе: талант изумлял ум и ослеплял глаза. На пути перехода из Читы в завод, в Тарбагатае, — селении староверов, давно переселенных из Ветки и известных под именем «семейских», — мимоходом, Бестужев дает совет хозяину мельницы, как устроить плотину и сладить с проклятым водяником, который за что-то со зла разметывал ее. После мельник приходил в Петровск с подарком благодарить и кланяться: «спасибо, наладил: и колеса вертятся и толчея стучит на всю деревню». В самом Петровском (Балегинском) казенном железоделательном заводе стояла несколько лет без всякого дела пыльная мельница с водяным приводом. Механизм ее испортился, и все считали ее непоправимою вовсе. Комендант отдал приказ Бестужеву и Торсону: эти сходили посмотреть, — и через несколько часов колеса завертелись и мельница начала пилить и пылить на удивление чиновников и рабочих. На петровских полатах, как и на читинских антресолях, придуманных Бестужевым для того, чтобы, разложившись с инструментами, не теснить и не беспокоить в тесноте помещения товарищей, — он продолжал делать то же самое: чинил сапоги, шил крепко здоровые башмаки и даже устроил в этом направлении ремесленную школу для досужих и охотливых из товарищей, а в то же время писал литературные статьи (воспоминания) и рисовал акварелью портреты друзей для отправки в

Россию к оставшимся там их родным. Здесь же чинил он часы коменданту и дамам; напоследок стал даже ювелиром. Кроме того, вязал носки и чулки, кроил и шил фуражки, в товариществе с братом, Мих. Алек., который преимущественно занимался переплетным и картонажным мастерством. Брат Николай не упускал случая выточить какую-нибудь безделку из дерева в подарок дамам, присылавшим ему лакомства. Наконец занялся он усидчиво слесарным мастерством и в одном роде изделий едва поспевал исполнять заказы. Он придумал делать из кандалов (когда они, по воле начальства, были наконец сняты): браслеты, кольца и кресты, с прокладкою и припайкою снизу золотых и серебряных пластинок. Сначала он исполнял это для себя, разославши такого рода сувениры всем своим знакомым в России, но изобретение вошло в моду в Сибири до такой степени, что появились подделки и началась торговля фальшивыми изделиями.

Художником Бестужев был совсем недюжинным: акварельные портреты его отличались сходством и сумели удовлетворить всех заинтересованных. Товарищей своих он живо писал всех акварелью. Таким же разительным подобием с натурою были замечательны и те виды окрестностей Читы и Петровского завода, которые он снимал по желанию коменданта Лепарского и товарищей. Я имел случай поверить это на изображении той долины, по которой рассыпаны были дома и здания Петровского завода. Сам художник, спиной к зрителю, сидит на горе; за ним часовой с ружьем, тупо посматривающий на бумагу и карандаш; внизу чернеют здания каторжного железного завода: деревянная церковь, улица, дом коменданта с садом, на котором посажены аллеи; выведены гроты, выстроены беседки в прихотливом и изящном вкусе, и, наконец, огромное здание каземата, выстроенного покоем, с внутренним двором, разбитым на правильные квадраты, отделен-

ные друг от друга бревенчатыми частоколами. Этот каземат с кордегардией впереди, без наружных окон, окрашенный мутною желтою краскою — и был жилищем талантливого художника с товарищами. Когда он жил уже на поселении около Селенгинска, то написал образ Благовещения, пожертвованный для царских врат городского Покровского собора, где лик Богоматери написан с таким неподражаемым искусством, что никогда не забывается видевшими это изображение. Кисть его напоминает (но, конечно, без подражания) родственную манеру известного художника времен Екатерины Боровиковского, писавшего образа для Иосифовского собора в Могилеве-на-Днепре и для собора Борисоглебского монастыря в Торжке (наш художник-моряк не имел возможности их видеть). Искусство его сделалось известным по Забайкалью, и когда он получил разрешение ездить по округу, то в Кяхте его завалили заказами. Он, ввиду стесненных денежных обстоятельств, принужден был «заняться живописью из-за денег» (как откровенно сознавался в письме к Д. И. Завалишину). У Бестужевых было хозяйство, которое они старались устроить на рациональных началах при помощи сестер, живших тогда в России при больной и умиравшей матери. По непредвиденным обстоятельствам, они принуждены были отказать братьям в помощи на целый год. Между тем, истрачено было более 6 тыс. ассигнациями; понадобилась какая-нибудь тысяча рублей, чтобы поддержать хозяйство до весны того тяжелого года. Вот причина, почему Ник. Ал. вынужден был в первый раз брать плату за свое искусство. «Остановиться в хозяйстве (замечает он) — все равно, что бросить его совсем».

В так называемой Зуевской пади (т. е. долине), отрезанной братьям Бестужевым от казны, как поселенцам и на правах казенных крестьян, они занялись землепашеством и овцеводством, — последним занятием, как

наиболее уместным и выгодным вследствие требования в Китае забайкальской мерлушки. Когда после жестоких зим у соседей падали целые стада от насморков и поносов, у Бестужевых овцы гуляли невредимыми, имея впереди запасы сена, заготовленного предусмотрительными хозяевами. Найдя бесполезным держать овец при доме, братья поставили в поле избушку с овчарнями, и Ник. Ал. перебрался туда, пас стада и жил на положении библейского патриарха. Пробовали было братья, в компании с одним купцом (Колесовым), заводить кожевни, но соперничество заводов Западной Сибири прекратило это дело, которое невыгодно было еще в том отношении, что сырые кожи держались в высокой цене по причине громадного требования их в Кяхту для обшивки чайных цыбиков. Хлеб у Бестужевых был свой, который обмолачивали и перемалывали в муку молотилка и мельница, построенные их ближайшим другом и союзником Торсоном, поселенным вместе с ними. Молотилка работала на веревочном приводе одной только лошадью, которая к тому же была и единственная. Однажды оказалось, что силы одной лошади недостаточны и потребовались две. Ник. Ал. домыслился, что лошадь теряет часть силы на приводной веревке, очень тонкой, которая потому много растягивается: приспособлением толстой бечевы он наладил ход, устранив ошибку и не прикупая второй лошади. Видя у всех и испытавши у себя всю непригодность сибирских печей, которые требовали много дров, но давали мало тепла и недолго держали его, сами трескались, а трубы валились, Ник. Ал. остановился пытливою мыслию и на этом досадном обстоятельстве. Результатом соображений и вычислений явилось новое изобретение — «бестужевская печь», как некогда, еще до ссылки, сделался известным «бестужевский» способ уборки и вооружения корабля, примененный в первый раз при вооружении корабля «Эмгейтен».

Он был хорошо известен всем балтийским морякам и практиковался с успехом, так как давал простор командам и сокращал издержки. То же желание удешевить кладку печей и сократить расход на топливо руководило им и при новом изобретении в Селенгинске. Огонь пропускался из горнила вверх, оттуда оборотами вниз, и потом колодцем оборачивался снова кверху. Весь секрет заключался в том, что труба приходилась над этим последним колодцем. При 15-ти футах дров и тридцатиградусном (по Реомюру) морозе, печь сохраняла на другое утро тепла еще 10°, а при 30-ти футах дров, при той же морозной температуре на улице, натопленная печь не позволяла дотронуться рукой, на утро же следующего дня сберегала тепла 15°. Когда с этой печью ознакомили известного специалиста этого дела, а также изобретателя своей печи, архитектора-профессора горного института И. И. Свиязева, он был поражен находчивостью Бестужева и практичностью его изобретения.

«Сам я был и есмь беден, — проговорился в одном письме Н. А., — а потому знаю, каково беднякам на свете». Это было затаенным девизом в его жизни, ярко пробивавшимся при первом требовании. Его богатое сердце спешило откликнуться на всякую нужду. Он хлопочет об рекруте, неправильно сданном в солдаты, об освобождении города Селенгинска от притеснителя, взяточника и кляузника городничего, о матушке умершего на его руках товарища Торсона, оставшейся при самых скудных средствах к жизни, хлопочет за хамба-ламу — верховного главу бурятского духовенства²⁵⁰, и проч. Ходатайствуя в одном случае (по поводу городничего), Н. А. мимоходом замечает: «я не перестая беспокоить своими письмами, потому что бедный здешний народ так напуган прежде бывшими здесь злоупотреблениями, что думает — и теперь, без покровительства чьего-либо,

нельзя никакого дела сделать». По поводу просьбы хамба-ламы он замечает в письме к Д. И. Завалишину: «старинный наш знакомый хамба-лама (толстяк) непременно хотел иметь от меня к тебе письмо, чтобы возобновить знакомство, ежели вы были знакомы, и познакомиться, ежели не были. Как я ни убеждал его, что это вовсе не нужно для этого предмета, но азиат крепко верует во всякий лоскуток бумаги — более, нежели самым убедительным словам».

Оригинальную и высокоинтересную жизнь бурят Бестужев не пропустил мимо глаз: он написал (и напечатал) живые этнографические очерки этого племени. Литературная работа была ему привычна. Давно уже известны были его «Записки моряка», которые отличаются выдающимся литературным достоинством. Его статей напечатано довольно, и надо удивляться, как справлялся с временем этой живой, восприимчивый и впечатлительный ум, сохранивший горячность патриотического чувства, чутко прислушивавшийся ко всем современным событиям и по-прежнему оценивавший их правдиво и верно. Он остался молодым и в то время, когда принужден был сознаться товарищам: «я очень постарел», и, переписываясь с ними, снимал повязку с больных глаз.

«Война, война со всех сторон! — пишет он во время Крымской кампании. — Что-то будет? В интересное время мы живем. Жаль только, что новости до нас достигают лишь тогда, как на месте, где они происходят, все уже переменилось или давно сделалось стариною.

Пришла и моя очередь состариться и припадать к постели (я всю эту зиму прохворал). Меня оживили добрые известия о славных делах наших моряков, но горизонт омрачается. Не знаю, удастся ли нам справиться с французами и англичанами вместе, но крепко бы хотелось, чтобы наши поколотили этих вероломных островитян за их подлую политику во всех

частях света. Надобно поскорее занимать Сахалин и ближайшие к нему берега, а иначе англичане влезут к нам в карман. Мы живем в интересное время. Сколько совершилось событий в эти 30 лет (письмо от 11-го марта 1854 г.), что мы сошли со сцены света, и сколько еще совершится неожиданного до нашей смерти. Теперь мы в 5 лет бодее проживаем, нежели прежде в 100 лет».

«Я понимаю англичан (пишет он в письме от 22-го апреля того же года), которые боятся русских из-за своих азиатских владений, но не понимаю французов: им бояться нас нечего; выиграть они также ничего не могут. Верно, тут есть какая-нибудь задняя мысль г-на Луи Наполеона. Если государь промедлит, не объявляя формально с своей стороны войны, то это затруднительное положение всей Европы перессорит союзников между собой и с нейтральными державами. Читая “Независимую Бельгию”, видно, как общее мнение склоняется в Европе на нашу сторону, несмотря на упрямство правительств Англии и Франции. В Англии весьма резко выражаются в палатах на счет министров; во Франции, где не смеют говорить, ни печатать, с жадностью хватают номера “Нез. Бельг.”, где есть циркуляры нашего правительства к посланникам европейских держав. “Монитор” их не перепечатывает».

Одновременно с этим он сообщает в особом письме: «Частые, хотя незначительные землетрясения здесь навели меня на идею повесить на проволоке 20-фунтовое ядро со шпилькой внизу. Эта шпилька опущена концом в ящик с мелким песком и при каждом землетрясении чертит его направление; но тут открылось другое: шпилька показывает тихое колебание почвы, и как я веду метеорологический журнал, где записывается также возвышение и понижение воды в Селенге, то согласие убыли и прибыли воды поразительно. Сверх того, ты, я думаю, слышал, что я устроил верные

часы: погрешности их так же точно соответствуют колебаниям почвы. Если шпилька неподвижна, часы мои делают погрешности, не превосходящие нескольких десятых секунд, но за секунду не переходят. Я поверю их еженощно по звездным наблюдениям, для чего у меня род пассатного инструмента с трубою. Но как скоро шпилька начинает уклоняться, часы мои погрешают в первые дни до 2—3 секунд, и потом принимают опять правильный ход. Я хочу поставить другие часы в ящик с отвесом, чтобы более убедиться в справедливости моих выводов. Теперь переделываю отвес; вешаю на проволоке в 3 сажени и, вместо шпильки, вставляю свободнодвигающийся в трубке карандаш. Что ты об этом думаешь? А каковы наши моряки и артиллеристы?..»

С человеком такого закала трудно было бороться невзгодам изгнания. Он сам говорит с обычною скромностью и откровенностью: «О себе скажу, что жизнь моя течет спокойно, особенно с тех пор, как приехали сюда добрые наши сестры. Если бы не постоянные засухи, преследующие наше хозяйство и заставляющие выходить из границ должной экономии, — а потому беспокоиться о будущем за сестер, — то, право, можно бы жить здесь недурно».

Жить, однако, привелось ему недолго. Он разобрал свой заветный хронометр, чтобы еще более упростить и удешевить его устройство, но смерть помешала ему собрать его вновь, а затем никто не сумел понять и довершить мысль замечательного механика.

Вот интересное его мнение (особенно в настоящее время) по поводу известной книги Н. И. Тургенева о России. Обладавший крупными связями в Петербурге, С. Г. Волконский, живший тогда на поселении в Иркутске (за р. Ушаковкой), имел возможность достать эту книгу и, через доверенное лицо, прислал ее к Н. А. Бестужеву в Селенгинск, прося сказать о ней свое мнение.

22 августа 1849. Селенгинск

«Почтеннейший друг и уважаемый товарищ, Сергей Григорьевич! Наконец-то мы дождались Мишеля²⁵¹, который гостит у нас уже другие сутки. Получив ваше письмо с Катер. Дмитр., где вы извещаете, что Мих. Серг. выехал 2 числа, мы не переставали смотреть на дорогу, чтобы встретить дорогого гостя. Прошла неделя, и другая, и третья, а его нет как нет. Письмо Марьи Николаевны к нему, присланное на имя Старцева²⁵², я почти износил в кармане, желая как можно скорее обрадовать Мишеля вестью о маменьке. Наконец, третьего дня ввечеру или, лучше сказать, ночью явился он со своим товарищем, г. Пфафиусом. Молодец! Брата Михайлу, которого он увидел первого, принял за меня, только удивлялся, отчего я нынче хожу с усами; но меня, настоящего, он узнал тотчас. Много разговаривали мы, много разговаривал он, особенно с братом Михайлом, который особенно умеет занимать молодых людей. Потом был он у Торсона, о котором он не имел даже никакого понятия; потом провели вместе вечер очень приятно, а сегодня едем все к Старцеву, который непременно желал и упросил Мих. Сергеев. остаться сегодня и у него обедать. Помещаемся мы так же, как и при вас: сестры в нашем флигеле, а мы, молодежь, в бане, где и ваша главная квартира существовала. Хотя намерение Мишеля — ехать сегодня ввечеру в Петровский завод, в место своей родины, однако, я думаю, что мы выедем завтра. Я говорю *мы*, потому что я также собрался со Старцевым побывать там. Вот вам и Марье Николаевне полный отчет.

Благодарим вас за книги Н. И. Т. (Н. И. Тургенева); я об них думал дучше, нежели нашел, тем более что считал его всегда за умного человека ²⁵³. (Далее Бестужев резко критикует Н. И. Тургенева по-французски.

Подробно об этом же см. письмо от 16 февраля далее. — *Прим. ред.*) Что же касается до его собственного оправдания, то жалко даже читать. Мне кажется, что они там в Париже сходят с ума: Ростопчин оправдывается и говорит, что не он сжег Москву; Т. (Тургенев) божится и распинается, что он не принадлежал к “обществу” и проч., а бедному Блудову достается даже до неблагопристойности, как будто он виноват в осуждение Н. И. А освобождение крестьян? а предлагаемая им конституция?.. По всему видно, что он никогда не знал России. Если мне будет время, я напишу несколько замечаний; только ежели хотите, чтобы эти замечания были дельны и с толком, то не торопите — иначе у нас с Т. выйдет то же, только по разным причинам: у него (оттого), что он думал 25 лет, а у меня, что мне некогда будет подумать. Прощайте, помните меня старика.

Ваш Н. Бестужев.

Р. S. Как бы я желал быть в Иркутске, чтобы лично поцеловать ручки Марье Николаевне. Все мои сестры и брат свидетельствуют ей свое уважение».

II

16 февраля 1850. Селенгинск

«Приятно даже слышать от вас выговоры, лишь бы только слышать вас, мой уважаемый и прекрасный товарищ, Сергей Григорьевич! Я говорю: выговоры, потому что заслужил их, продержав долго Тург., но не забудьте, что здесь в Сибири обычай, а особенно за Байкалом — только бы выманить, а отдавать — надобно уже, чтобы заимодавец сам кланялся. Сверх всего этого, у нас читал весь дом, т. е. пять человек по очереди; у Торсона тоже, он и Катер. Петровна; Катерина Дмитриевна тоже, а потом книга послана Горбачевскому²⁵⁴

в Петровский завод, где она и до сих пор находится. Аккуратный человек Торсон имел несчастье забрызгать чернилами немного обрез книги, в чем он у вас просит великодушного снисхождения. Он ноет по-прежнему и всю зиму не выходил из дому; у меня сестра Маша также хворает почти всю зиму; прочее все здорово и готово к услугам вашим.

Я так зол на Тург., что даже раздумал и писать на него возражения. Иностранцу простительно не знать России и позволительно не видеть в ней хорошего, но русскому, но тому, кто посвятил себя на жертву идее желания добра своему отечеству, надобно строго вникнуть в постановления его и разобрать сначала их, но не таким односторонним образом, как делает это Н. И., и не писать *à priori* в своем кабинете, да еще в Париже, конституции для России, тогда как опыты, и горькие опыты всей Европы — у него перед глазами: что конституции *à priori* никуда не годятся.

Не знаю, как можно быть слепу русскому при современных вопросах Европы: именно об уничтожении аристократии, т. е. о демократическом начале, о пролетариате, т. е. социальных требованиях, и, наконец, вопрос о выборах, в каком виде они должны состоять. Надобно вместе с иностранцами, как и делает Н. И., обвинять Петра за то, что он нас образовал и силою подвинул вперед всех европейских народов, дав свободные постановления, которые по его же плану были пополнены Екатериною. Скажите мне: не демократические ли начала развиты нашим законодательством, где каждый талант, каждая заслуга, а не право рождения, дают ход человеку? Где и граф, и князь, и последний мещанин начинают службу с солдатского звания, кроме высшего образования? Где служба облагораживает человека, а не дворянство? Где всякий может быть дворянином, там, по-моему, нет дворян, т. е. аристократии. Это сделано Петром. Он же положил начало совещательных

собраний, учредив коллегии, Сенат и даже Синод. По его закону, царь должен заседать в каждой (коллегии), но не более, как президент; голос его только перевешивает в случае равного разделения голосов. Припомните все его поступки в этих коллегиях и Сенате. И за все за это или, лучше сказать, не видя этого, г. Тург. величает его тираном!! Я люблю без памяти этого тирана, который научил меня употреблять свои права и голос. Екатерина II впала в его идею, дав права дворянам и всем общинам, как городским, так и сельским, на управление между собою по избранию. Ныне дворянские выборы приведены еще более в ясность, устранением излишнего количества избирателей, которые, как и во всех демократических правлениях, есть большое зло и неудобство выборов. Ныне цена положен в 100 душ. Не имеющие этого количества должны объединяться до требуемого ценза и тогда имеют право на избирателя. Жаль, что здесь души составляют этот ценз; но это служит, по крайней мере, указанием для будущего избирательства.

После всего этого как можно согласиться с Тург., что Россия — рабская сторона, где все худо и где надобно лечить это зло его конституциею!!

Теперь посмотрим вопрос о пролетариате.

Отчего существует он во всей Европе? Оттого, что земля там есть неотъемлемая собственность частных лиц. Право располагать собственностью этою, в продолжение времени, сводит землю в несколько рук, и мы видим, что собственников земель, против прочего народонаселения, в лучше наделенных странах, едва только $\frac{1}{1000}$ часть, прочие все — безземельные пролетарии. Не говоря об Англии, возьмем в пример Францию. Земли, разделенные после революции 89 года, — чему не прошло еще столетия, — уже так раздробились наследствами, замужествами и проч., что одна половина стекла в руки монополистов, другая перестала при-

носить какой-либо доход. Повторение этого же самого мы видим в наших дворянских имениях, где одна половина отделена в большие усадьбы, а другая — в закладе по кредитным установлениям. По-моему, земля, воздух, вода, т. е. то, чего мы не можем создать ни одного атома, не может быть нашею собственностью, как и сказал Бог устами законодателя Моисея: *“Земля Моя бо есть, вы же на ней пришельницы есте”*, и как подтверждено Екатериною II в земских постановлениях России. Отсюда следует, что у нас не может быть пролетариев, что каждый, до какой бы он крайности ни был доведен, всегда имеет право на клочок земли, который даст ему пропитание, ежели у него есть прилежание и силы. Наши общины суть не что иное, как социальный коммунизм на практике, где земля есть *средство* в работе; тогда как французские коммунисты, не давая никаких средств, требуют на нее *права*. И с *правом* на работу умрешь с голоду без средств²⁵⁵.

Этого ничего не видит Тург.; он видит только одно: свой приговор верховного уголовного суда, и всеми жалкими средствами старается доказать свою невинность; даже он не совестится для оправдания обвинять Блудова, который ни душой, ни телом в этом не виноват, и производит его фамилию от *блуда*. Это стыдно!! Видно, в характере русских не только не хвастаться своими добрыми делами, но даже отпираться от них. Растопчин защищается от сожжения Москвы; Тургенев, перед лицом всей Европы, не говоря уже о нас, его товарищах, отрекается от звания либерала, от участия в деле, которое теперь стало делом всей Европы, и старается доказать, что он какой-то *аристократ благомыслящий*! И вследствие этого предлагает свой проект об освобождении крестьян, — и какой жалкий проект!

Вот вам вкратце мои замечания. Повторяю то же, что сказал вам о книге прежде: “Сие незрелых лет пустяк, написанный ради выгоды”.

Я начал это письмо, вовсе не думая, что оно выйдет так длинно. Прошу за это извинения.

Мы ждали Мишеля сюда на китайский праздник²⁵⁶, но не так случилось. Сестры мои²⁵⁷ свидетельствуют вам и Марье Николаевне свое почтение, я тоже прошу вас об этом, равно как сказать M-lle Nelly, что Бутусов желает ей всякого счастья.

Прощайте, любезный и почтенный товарищ. Будьте здоровы и не забывайте вашего

Н. Бестужева.

P. S. Итак, наш добрый Панов умер! Царствие ему небесное. Не смотря на маленькие его недостатки, право, он был один из добрейших людей в мире, и я очень любил его. Жаль! Очень жаль!»

В заключение необходимо вспомнить, что ссыльным из образованных классов страна их изгнания обязана многим; так, напр., Аршеневский развел пчел в Западной Сибири, когда их до тех пор в этой стране не было вовсе, а теперь два уезда (Бийский и Кузнецкий) превратили пчеловодство в главнейшее занятие; а в то же время в Восточной Сибири ссыльный декабрист Бесчастнов привил в окрестностях Иркутска небывалые посевы незнакомой конопли. Вл. Фед. Раевский, в 8 верстах от Иркутска, в деревне Олонки, своими опытами разведения арбузов на особых грядах и без всяких мудрствований, обратил к этому занятию всех окрестных хозяек. Теперь арбуз на иркутском рынке, — вместо прежних, привозных из России, как редкость, и стоивших 10 рублей ассигн. за штуку, — можно купить за 60—50 коп. Точно так же Н. А. Бестужев, многосторонний и последовательный, предавшийся службе человечеству, но ограниченный в материальных средствах и сдержанный исключительными задачами новой страны, — страны его изгнания, отдал ей всего себя. Даже при невозможности приводить новые доказательства тому и

при скудости материалов, которые находятся у нас под руками, читатель видит, однако, насколько могли быть плодотворны результаты влияния такого многостороннего и обширного ума. Та же рука, которая пишет разбор книги Тургенева, набрасывает следующий совет и ответ на вопрос о дынях: «Я всегда поступал так: сажал семена китайских огурцов в половине февраля в горшки, а в начале марта зажигал маленький парник, который бывал у меня готов через две недели. Тогда я, избрав ясный и безветренный день, высаживал туда из горшков огурцы по краям, а в середину ставил горшки с семенами дынь и арбузов для другого парника, наблюдая, чтобы каждого сорта было, по крайней мере, по два экземпляра, а пока они всходили, закладывал другой большой парник, который также поспевал к началу апреля. Тогда высаживал лучшие экземпляры, оставляя всегда в запасе другие, перенося с ними горшки в новый парник. Горшки в обоих случаях надо закапывать в землю. Парнику надо давать прогореть до низу и смотреть, чтобы верх навоза покрылся белой нашатырною солью, и землю сыпать не ранее того, а пересаживать не прежде, как по прошествии того времени, когда первый жар пройдет, и для того надо часто перегибать землю, чтобы и она не сгорела. Если жарко, делать в земле отдушины, лить воду, класть лед и проч. Первый парник тщательно обкладывать навозом со стороны и закрывать на ночь 2 или 3 матами. Если во втором парнике, по пересадке, еще жарко, то, покрывая его матами, приподнимать на палец рамы 2 или 3, но беречь, чтобы не попало ветру, и для этого спускать мат ниже, чтобы он заслонял щель. Лучше парники делать не толстые, потому что удобнее подогревать. Жирный чернозем мешать на $\frac{2}{3}$ с $\frac{1}{3}$ речного песку или с полевой землею, избегая солончака. Чернозем образуется из перегноя навозу или перегноя листьев; последний лучше; его отыскивают по падям, где есть березняк.

Для арбузов песку или даже хрящу можно прибавлять наполовину. Их сажать надо позже; они не любят большого жару, как дыня, и потому лучше их сажать особо. Для них можно, когда они укрепятся, подымать рамы совсем, даже снимать, закрывая от жару холстом или тоненькими матами; — с дынями в жар поступать так же, но рам совсем не снимать, кроме теплых вечеров, а как у вас в Чите и ночи очень теплы, то можно не закрывать рамами и даже оставлять рамы приподнятыми; вообще, стараться подъемом рам, матами и проч. поддерживать ровную температуру», — и т. д.

Это извлечение намерено приведено в некоторой подробности, не с целью показать, до какой ясности изложения могут довести знания, добытые личным опытом, но для того, чтобы ознакомить именно с этим образцовым по простоте и ясности изложением, столь редким в наших сельскохозяйственных руководствах и наставлениях. Сколько препятствий неожиданно представлялось пытливому уму в достижении задуманной цели и как, в самом деле, многосторонен и подвижен был этот ум; сколько неудач испытывал исполнитель, прежде чем дорабатывался до положений и советов, высказанных в таком уверенном и сознательном тоне! Поступай именно так, — не ошибешься. После всего сказанного, едва ли усомнится кто-либо в том, что, при других условиях, в иных обстоятельствах и среде, — этот замечательный, выходящий из ряду вон человек мог принести своей родине значительные услуги, если он не затерялся и не ослабел до конца и под тяжелым молотом утнетающей ссылки...

ДМИТРИЙ ИРИНАРХОВИЧ ЗАВАЛИШИН
Из литературных воспоминаний²⁵⁸

В том самом Данилове монастыре в Москве, где ровно сорок лет тому назад Московский университет похоронил великого русского писателя Н. В. Гоголя, — недавно, какой-нибудь месяц тому назад (7 февраля), небольшой кружок почитателей проводил в могилу другого общественного, хотя и гораздо менее заслуженного деятеля, однако весьма замечательного и резко выдающегося. Несмотря на то, что деятельности его отведена была такая отдаленная местность, как сибирское Забайкалье, — имя Дмитрия Иринарховича Завалишина хорошо было известно в России всем, кто интересовался судьбами вновь возвращенного обширного Амурского края. Это почтенное имя тесно связано с историей приобретения и заселения новой страны, не совсем удобной для оседлой жизни и обеспеченного быта, но прорезанной превосходным водным путем, на пространстве трех тысяч верст, связующим Восточную Сибирь прямо с Тихим океаном. Ошибки, вольные и невольные, в деле заселения, уклонения от отечественных исторических образцов и практических указаний других стран нашли в Дм. Ир. строгого и смелого оценщика на страницах «Морского Сборника», гостеприимно открытых всем для свободного обсуждения столь важного государственного дела. Уже первая статья, написанная горячо и доказательно, обнаруживала в авторе не только близко и хорошо ознакомившегося с ходом дел на месте, но и образованного человека с светлым практическим умом, широко и свободно умевшего и дерзнувшего анализировать наглядные текущие события. Тот смелый и

свободный прием в изложении, каким отличалась эта первая и последующие статьи, был в то время не только выдающеюся новизною и первым опытом гласного обсуждения, но и подкупал очевидною убежденностью. Большинство прежде увлекавшихся оказалось теперь на стороне обличителя: не только вся местная интеллигенция, но многие из тех, которые увлечены были в самый водоворот спешных и торопливых работ со всевозможными промахами и неизбежными неудачами. Имя его оказалось популярным во всем крае; забайкальское казачество видело в нем ходатая в нуждах и защитника в бедах. Один из товарищей его (Мих. Ал. Бестужев) приветствовал первую статью автора такими словами: «Прочитав статью твою в “Морском Сборнике”, я видел, что ты попал не в бровь, а прямо в глаз ложной системе покупать на медные гроши великие предприятия. Этою статьею ты разоблачил обаяние, окружавшее доселе все действия на Амуре. А лучшим доказательством дельности статьи есть то, что до сих пор, кроме Романова, не нашлось противников, да и тот, Бог с ним! — так жалко и плохо защищает плохие дела, что уж лучше бы молчать ему!...»

Вот именно эта-то борьба двух совершенно несогласных сторон, еще более затемнявшая столь важный вопрос, и послужила причиной знакомства пишущего эти строки и в настоящее время обязанного и считающего святым долгом на свежей могиле замечательной личности отдать некоторым воспоминаниям о ней. Они, соответственно времени и месту, на первый раз будут краткими, хотя многолетняя переписка с покойным, вообще чрезвычайно охотливым на письменные сношения и увлекательным в личных беседах, дает богатые материалы для более обстоятельной его оценки. Биографические данные, — которые читатель найдет во «Всемирной Иллюстрации», в нашей статье к портрету Д. И. Завалишина, — представляют разнообразный и глубокий интерес. До ссылки в морском корпусе

слушали у Завалишина лекции астрономии будущие севастопольские герои: Истомин и Корнилов; со знаменитым Лазаревым он совершил кругосветное плавание, а в товариществе с В. И. Далем, П. С. Нахимовым, Лихониным, Бутеневым и П. М. Новосильским, на бриге «Феникс», побывал в Швеции и Дании, и т. д.

По пути на Амур, командированный туда морским министерством, я нашел Дм. Ир. в городе Чите, только что переименованной (не совсем удачно) из «Острога» в областной город по его же указаниям и по представлению губернатора Запольского, на которого Завалишин имел огромное нравственное влияние, как старожил и высокообразованный человек. Он жил в уютом теплом домике под горушкой, окаймляющей берег ничтожной речонки Читы, почти при самом впадении ее в неважную Ингоду, которая только по слиянии с Ононом получает значение, как приток судоходной Шилки, образующей вместе с Аргунью в свою очередь знаменитый Амур. Пришел я к нему не за благословением на легкое дело личных наблюдений, когда тотчас же откроется перед глазами во всей простоте и наготе едва улаживавшаяся казачья жизнь в неизведанной стране, на непочатой первобытной почве, и сама она наглядно покажет образцы и подскажет выводы. Не поощрения искал я у него, когда половина трудного дела переезда нескольких тысяч верст уже завлекла так далеко, что поставила почти у самых ворот замка, заколдованного лишь на это короткое время. Случилось посещение столько и потому, что никто едущий на Амур и обратно не обходил оригинального и уютного домика, принадлежащего вдове горного полковника Смольянинова (теще Д. И. Завалишина), сколько и по той причине, что имелась уже в виду задача присмотреться и изучить быт ссыльных, в числе которых, как декабрист, состоял и он свидетелем событий в течение целых 30 лет. Очень приветливо, по-сибирски, принял он незнакомого заезжего гостя и тотчас же поразил

тем деликатным отношением к нему, что, зная хорошо причину приезда, ни одним словом не обмолвился об Амуре, не навязывал своих мнений, не забегал сообщениями о новейших, полученных им оттуда, сведениях от возвратившихся простых казаков и от проезжих гражданских и военных чиновников. Всю долгую беседу он занимательно и интересно сосредоточил на рассказах о житье-бытье его товарищей в этой самой Чите и потом в Петровском заводе. При прощании он поспешил извиниться в затруднении отплаты визита по своему настоящему общественному положению и по другим ясным для обоих причинам. Да пока и не надобилось второй встречи. Впечатление, полученное от Первой, достаточно было сильно и твердо запечатлелось в памяти: среднего роста сухой и подвижной старичок, судя по возрасту (уже тогда под 50 лет), по внешним приемам и по виду казавшийся нервным юношей. Только глубокие морщины на лице выдавали следы тяжело прожитого прошлого, и русский паричок не скрывал следов долгих лет, проведенных в неустанных умственных занятиях. Одетый в казакин особого оригинального покроя, он, как живой, восстает теперь перед глазами, через 30 лет, когда суетливо и непоседливо хлопотал об угощении и в то же время отарался уловлять обрывавшиеся нити затеянных рассказов о давней казематской жизни, о своем нынешнем маленьком, но прекрасно устроенном домашнем хозяйстве, в которое обязательно входили разведение и акклиматизация тех овощей и плодов, каковые еще неизвестны были в Сибири: турецких огурцов, вишень, дынь и арбузов. Поданные к кофе сливки своей поразительной густотой и ароматом показывали, что и домашнее скотоводство не ускользнуло от его внимания и было также образцовым. Несомненно было, что и сельская жизнь одинаково увлекала его живую натуру, как и книги, и литературные занятия, посвященные на этот раз исключительно Амуру и судьбе выселенных туда

забайкальских казаков. Изумительна была его память, но не менее изумляла логичность в построении тем рассказов. Еще поразительнее оказывалась вся его внешность: и стройность фигуры, как остаток военной выправки (до времени несчастья он был лейтенантом флота), и необыкновенно сохранившаяся свежесть мыслей, физическая подвижность, как будто лета и невзгоды пронесли над ним быстролетным метеором. Когда в 1864 г. он вернулся в Москву 60-ти лет, ему не давали и сорока. Он во всю жизнь не курил, не выпил ни одной рюмки вина. В этой воздержанности своей от всяких крайностей и увлечений он отчасти указывал причину своей безболезненной и очень долгой жизни.

Всякая встреча с ним, как первая, так и многие последующие, убеждала в том, что в нем целно сохранился тип образованного военного александровских времен, получившего привычки и светскую науку прямо из первых рук, в самом Париже. Самая образованность как его самого, так и других более выдающихся его товарищей казалась внешнеблестящею, но поверхностною, французского энциклопедического закала. С изумительным прилежанием и при настойчивой воле, которая, между прочим, навела его на труд изучения древнего еврейского языка, Дм. Ир. сумел выделиться именно наибольшим запасом энциклопедических сведений и привычкою скоро прочитывать газеты и книги, быстро схватывая лишь самое существенное. Впрочем, этими способностями он отличался еще и до ссылки, и вот почему Ал. Ал. Бестужев-Марлинский в письме (по-французски) к двум братьям своим из Якутска в Читу посылал, между прочим, свой «привет и нашему Пико де Мирандолле, всеведущему («l'omnisciens») Заваляшину».

Целомудренно сдерживая себя в самой ранней юности, он женился уже в зрелых летах, когда окончился срок тяжкого искупления его вины и он вышел

на поселение. Дм. Ир. в обществе был приятным дамским собеседником и галантным кавалером в лучшем смысле слова. Он умел нравиться женщинам не по одному только, что в совершенстве владел тонкими манерами и превосходным французским языком, как природный француз. Это, впрочем, дало ему возможность сближения с высшим московским обществом, а изящество и деликатность обращения с людьми позволяли укрепиться здесь твердою ногою, чтобы показать потом значительную энергию и положительную подготовку к тем делам милосердия и благотворений, которыми охотно берутся ведать и руководить дамы высшего московского слоя. Имея от роду уже около 75 лет, он женился в Москве на молодой особе (гувернантке) во второй раз и прижил с нею пятерых детей, из которых в последнее время жизни потерял четверых вместе с их матерью. Эти беспощадные удары судьбы один за другим и ускорили его смерть, хотя еще утром того дня он был бодр и свеж. Насколько в самом деле в нем сохранилась феноменальная бодрость и свежесть внешнего вида, далеко не соответствующая глубокому старческому возрасту, показывает портрет его, снятый с него в Москве в последние годы и присланный им мне с другими. На одном известный художник Кипренский изобразил Завалишина в детском возрасте, на другом он фотографически изображен с натуры в классическом казакине, в котором я видел его впервые в Чите и который знаком был всем посетителям и прежде меня, и потом. — Дм. Ир. был очень беден и очень бережлив.

Дмитрий Иринархович был чрезвычайно самолюбив: в некоторых случаях, особенно в рассказах, устных и письменных, о своей разнообразной и долговременной деятельности. Это самолюбие его доходило иногда до крайностей ненужного хвастовства... Но теперь на свежей могиле не место вдаваться в объяснение поводов такого странного явления, которое мо-

жет казаться не чем иным, как болезненным, порожденным многими извинительными, но непобедимыми причинами. Корень скрывается там, куда, по давности лет, трудно уже теперь и проникнуть. Однако рядом с этим и как заслоняющая ширма выделяется его полная отрешенность от всяких личных интересов, как черта, ярко рисующая характер всей его деятельности и проходящая красною нитью через всю его жизнь. Всякий раз и в Чите сначала, и в Москве потом приходилось изумляться его скромной нетребовательности, соображая в то же время, что он смолоду воспитан был в помещичьих достатках, с капризными вкусами, от которых, однако же, не могли отвыкнуть многие из его товарищей. Дм. Ир. пожертвовал всеми удобствами и отказался навсегда от всяких удовольствий, отговариваясь, напр., в Москве от всяких публичных обедов. В Чите он жил в небольшом домике тещи (а по смерти ее, — свояченицы), довольствуясь тем малым, что давал ему огород про зимние запасы, небольшой скотный двор, доставлявший скопы для случайной продажи излишков на сторону, и теми денежными заработками, которые получались за литературные статьи из петербургских журналов и газет, заработками неверными, высылаемыми к тому же, за громадную дальностью расстояний, и несвоевременно и всегда очень поздно. Самоотверженно отдавшись общественному служению, он уже во всю жизнь не помышлял ни о какой другой службе и решительно отказывался от предлагаемых, желая сохранить полную независимость. В Чите он очищал свою совесть и соблюдал личную независимость от родственных средств улучшением и расширением чужого хозяйства, спрашиваясь, между прочим, советов у такого опытного хозяина, каковым далеко от Читы был в г. Селенгинске Ник. Алек. Бестужев, учивший его — как зажигать парники, улучшать породы картофеля, ходить за цветами и т. п.

Он и работал неустанно в тех же видах, и писал статьи с лихорадочною поспешностью и по самым разнообразным вопросам. И, живя в Москве, где, однако, удалось ему пристроиться в секретари тамошнего комитета грамотности, он получал оттуда настолько содержания, чтобы кое-как питаться и ютиться в небольшой комнатке с перегородкой в номерах Скворцова, по Моховой, против экзердиргауза, куда привел и молодую жену. Не оставляя и здесь литературных работ и получивши в свое заведование в «Московских Ведомостях» М. Н. Каткова корреспонденции из Сибири и с Урала, он мог зарабатывать, по его собственному незлобивому и простодушному сознанию в одном из писем ко мне, не более пяти рублей в месяц. Отмеченные и проредактированные им статьи зачастую сплеча забраковывались.

Писательская и корреспондентская деятельность Д. И. Завалишина поистине была изумительна и, в свою очередь, феноменальна. Глядя на большую, вескую кипу писем, адресованных ко мне и посейчас сохранившихся, удивляешься и разнообразию занимавших его вопросов, и богатству сведений по любому из них. Мелким зернистым почерком, чрезвычайно своеобразным, четким и без помарок, но требующим если не лупы, то значительной привычки или сноровки, писал он о своей неизменно-энергической деятельности на пользу народного просвещения и общественного благотворения. Терпеливо и чрезвычайно обстоятельно заносил он на корректурах поправки и потом досылал дополнения в письмах, когда понадобились мне запасы его можно сказать чудовищной памяти, во время приготовления для печати в «Отеч. Записках» большой статьи о декабристах под заглавием: «Государственные преступники». Доброжелательно и дельно писал он о своих сообщениях, когда понуждался я в его совете и указаниях для Народного календаря, изданного «Товариществом Общ. Пользы», и т. под.

Перевезенный из Читы в Москву, Д. И. Завалишин почувствовал себя как будто вновь на свободе, которая при том же открывала ему более обширное поле деятельности в благоприятное время всяческих реформ и в виду такого обширного района, который представлял богатый и интеллигентный город. За все это время пребывания в пределах родной страны самая энергия его, не уставающая и беспокойная, даже несомненно удвоилась. В московских письмах он постоянно жалуется на недосуг по поводу спешных и неотлагательных занятий. Особенно много трудов потребовало от него секретарство в комитете грамотности, дела которого находились в беспорядке. «Все дела (писал Дм. Ир.) до принятия мною звания секретаря заключались в нескольких листочках протоколов, которые я мог все уложить в боковой карман». Вместе с тем он был деятельным членом и участником в комиссиях духовной, педагогической по устройству курсов, а также по заведению фабричных школ. Одновременно он состоял членом попечительного совета о глухонемых, работал в интересах общества гувернанток, принимал большое участие в земской школе учительниц, совершенствованию которой много содействовал, не оставляя без участия и других начальных школ. Что комитетские и комиссионные занятия не были лишь номинальными и фиктивными — служат очевидным доказательством изданные им брошюры. Одна, основанная на личном опыте и наблюдениях, трактовала «Об исправительных заведениях для малолетних преступников и порочных детей», с которою он знакомил различные судебные учреждения и городские управления, рассылая экземпляры на свои скудные средства. Другая брошюра разъясняла смысл и значение принципов общества попечения о раненых и больных воинах, имевшая успех и сослужившая немалую службу в Москве, когда учреждался там отдел этого общества. Третья брошюра, «О швейных машинах», явилась

именно в то время, когда общественное значение их у нас не было еще оценено в надлежащей мере. Между тем, автор ее старался везде в женских учебных заведениях вводить обучение работам на машинах. Все эти брошюры он охотно раздавал всем, кто не имел и малых средств к приобретению, или тем, которые могли двигать дело.

Случилось так и на этот раз, что нашего доброхотного старателя стали осаждать просьбами искатели мест и работы из провинциального чиновничьего пролетариата, оставшиеся за штатом и устремившиеся, в то переходное тяжелое время, в богатую Москву за заработком куска хлеба. Для одних оказывалась помощь в доставлении работы, для других помещением детей и подготовлением взрослых в учителя и учительницы. Очень деятельное участие энергический и живой Дм. Ир. принимал в формировании образцовой школы и непосредственное — в педагогических лекциях. Мы видели его в числе распорядителей на этнографической выставке, хлопотливым деятелем в пушкинских празднествах в память великого поэта, которого Завалишин лично знал, встречая у Рылеева и с Кюхельбекерами. Один из них, в высшей степени самолюбивый и самомнящий (Вильгельм Карлович), писавший своим лицейским товарищам, Пущину и А. С. Пушкину, что они не могут понимать его, писал Д. И. Завалишину: «Вы человек истинно европейской учености, а я только люблю науки. Нет во мне такого постоянства, той всепобеждающей стойкости, которые необходимы для приобретения глубоких познаний», и проч.

Дм. Ир. имел полное право сказать (в одном из писем) о себе при этих видимостях, представленных сейчас, что он, «никогда еще в жизни не испытывал до сих пор ни разочарования, ни ослабления, и это потому, что не связывал никогда своей деятельности с условиями непременного видимого успеха. Я всегда считал, что сама деятельность, самая борьба — и есть цель жизни».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ За подделку и перевод монеты сослано 368 чел. (850 мужч. и 18 ж.), а подделывателей и переводчиков фальшивых ассигнаций за то же время выслано только 86 (82 м. и 4 ж.).

² Бывшая Белостокская область отличается самым высоким процентом из всех. При этом евреи, по процентным отношениям ко всем другим инородцам, занимают самое первое место. Риск обогатиться фальшивыми деньгами в этом народе уступает только риску в поползновениях на контрабанду. Так уверяют сибирские цифры.

³ Отсюда Тобольской губ., по сравнению с русскими, принадлежит самое видное и почетное место: в 9 лет в ней накопилось пойманных монетчиков 20 (тогда как из русских, в те же годы: в Сарат. 15, в Симб. 12, в Перм. 4 и проч.) и делателей ассигнаций 26 (в Пермск. 6, в Херс, Волын., Спб. по 4, и проч.).

⁴ Следственные дела указывали чаще в Пермской губ. на завод Богословский и в Вятской на Камско-Воткинский. Народные предания, преимущественно, сосредоточивают свои указания на городах, лежащих на перевалах Сибири и России.

⁵ На Каре золотник краденого золота продавался за $1\frac{1}{2}$ руб. и не дороже 2 руб. (в казне стоит 3 р. $57\frac{3}{4}$ к.). Если обменять у монголов на кирпичный чай, то цена поднималась на золотник до 7 руб. и выше (дают 10 кирпичей, а по 70 коп. кирпич — в первых руках; в Нерчинском заводе давали за него 90 коп. и 3 руб.). Характерное дело об убийце из евреев Хаиме Вульеве обнажило следующие подробности промысла хищническим золотом: арестанты раз подрались между собою по тому поводу, что выпили не по ровному количеству водки, принесенной покупателями золота, а в краже участвовали все в равной степени. Вульев указывал при этом на самого зрителя замка. В доказательство своих слов он представил три слитка, которые перекупил у товарища на вес. Вешали золото на тех же весах, на которых развешиваются в арестантской кухне порции мяса и хлеба. Тюремный староста (Колобаев) взял золото по 1 руб. золотник и, сверх того, обязался угостить вином. Купленное золото староста перепродал урочникам, а вино принес на разрез, откуда оно было доставлено на тюремную кухню в опростанной посуде и потом, под видом пищи, принесено в тюремную казарму. Другой раз этот же представитель златолюбивого племени продал горному служителю 2 золотника золота за пуд орехов, которыми и услаждал тюремную толпу, сокращал докучное время каторжного безделья сибирским женским способом.

⁶ Из 26 мящан всех городов Империи выделилось 14 евреев.

⁷ В 1819 году отправлена в Сибирь целая колония немцев и немок, сосланных по громкому и известному в то время ревельскому делу о контрабанде. Все они заручились рекомендательными письмами к тогдашнему губернатору М. М. Сперанскому. «Привезли мне много рекомендательных писем (писал он к дочери), но много пособить им я не могу. Сколько можно, однако же, пособлю».

⁸ Так же слабо и бесхарактерно, временами даже не выделяя вовсе, объясняют тобольские цифры: неплатеж податей (в 4 г. с 1838 по 1842 г. 12 чел.); подлоги в отправлении рекрутской повинности, сильнее выражающиеся в цифрах отдела табелей, озаглавленного: «телесные повреждения себе и другим с намерением избежать службы». Точно так же в одно время выяснилась «лживая присяга» и произвольно пропадала вслед за другими, исчезая там, где этого вовсе и ожидать было нельзя. Принятие чужой фамилии или перемена имени и прозвания в России преступление не так частое, в Сибири — дело обычное, с большим успехом практикуемое поселенцами и каторжными. В одних нерчинских заводах в десять лет уличили и засадили таковых 156 человек, да за «ложный извет» одного.

⁹ В 9 лет общее число кровосмесителей равняется 61 мужч. и 48 жен. Чаще других этот вид преступников заявлялся в среде крестьян, но особенно сильную наклонность обнаружили бывшие военные поселяне и казаки (донские). Вообще, плотские преступления у казаков являются на первом плане.

¹⁰ Между крестьянами больше доставалось женщинам и количество сосланных образует перевес в эту сторону. Между государственными крестьянами наибольший процент сосланных за порочное поведение принадлежит магометанам (татарам и башкирам). Ушло много грузин, черемис и мордвы. Чуваши и вотяки всего чаще высказывались непослушанием и неповиновением властям. Местные начальства и мирские общества, действуя вдвоем при руководстве разнородными требованиями, выслали 6189, помещики — 6886.

¹¹ По числу преступников за 12 лет в таком порядке: мящан 20 (в этом числе евреев только 2); государственных крестьян 108; помещичьих крестьян 419 мужч.; военных 22 м., дворовых (за 9 лет) — 13 чел. Преимущественно же часто повреждение членов у заводских и фабричных крестьян. Временами появлялась отдельная графа сосланных за подлоги в отправлении рекрутской повинности, но эта цифра малозначительна.

¹² Более ранние сибирские табели умели членовредительство отчасти освещать тем, что выделяли в особую графу сосланных за подлоги в отправлении рекрутской повинности. Цифра эта, однако, слаба: в 10 лет сослано всего трое.

¹³ Таблица эта составлена по вычислениям г. Анучина в его исследованиях о проценте ссылаемых в Сибирь.

¹⁴ Иностранцев обвиняют и ссылают всего чаще за подделки всякого рода актов, за переход за границу, за тайный ввоз иностранных товаров. В последнем случае довольно приметны между русскими евреями евреи

иностранцы. Женщины-иностранки ссылаются в Сибирь исключительно за развратное поведение.

¹⁵ При царе Алексее сослан в Сибирь известный Крижанич, родом хорват, латинский поп, за неправославие, за выходки против греков и русских. Там написал он сочинение, драгоценное по изображению в нем состояния Московского государства («Русское государство в половине XVII века»; другое сочинение его «О промысле»). Не был ли этот хорват Юрий Крижанич одним и тем же Юрием Крыжановским — решить не беремся за неимением положительных данных.

¹⁶ Одного шляхтича «за убийство русского драгуна» сослали вечно на каторгу; на житье в отдаленные города между прочим — известного ксендза Булгака и бывшего поручика пинской бригады Иосифа Копца, оставившего записки о своем пребывании в Сибири. В следующем году Павел I всех освободил указом 29 ноября.

¹⁷ Барским конфедератам, подполковнику Реку и майору Древичу, за нарушение реверса, т. е. продолжавшим после отречения участвовать в конфедерации, но снова попавшимся в плен с оружием, обрубливали руки и ноги. Замечательно сцепление случайных обстоятельств: в Сибирь барских конфедератов вел (молодым человеком) тот самый Лепарский, который впоследствии и уже дряхлым стариком был комендантом декабристов.

¹⁸ Кстати, несколько слов о нем: полк становился на квартирах в наилучших деревнях широко и прихотливо, отъедался до отвалу; шагу не делал пешком — всегда на крестьянских подводах, с избытком съестной провизии, доставление которой лежало тяжестью на крестьянах. Шествие полка в лагерь нескончаемыми обозами уподоблялось походу двух целых армий или целой губернии, идущей на переселение в обетованные места. В лагере солдаты в палатках не жили, пристраиваясь в деревнях, и только видны были офицеры, перебежавшие по лагерю в шлафроках. Нижние чины казались исполинами-красавцами; старика ни одного; рост начинался с 2 арш. 6 вершк. и оканчивался 2 арш. 13 вершк. Сбруя блестящая с набором, называемая галантерейною лавкою; лошади все одной масти. Щегольство в одежде было замечательное: перевязи, портупей, ратровые ремни и сапоги чистились под лак; пуговицы и пряжки были полированы. Все это на счет сибиряков-крестьян, все это ради наружного блеска. На самом деле вот как характеризовал это воинство в 1883 году генерал с опытным строевым глазом. «Выправка и стройка неправильны и некрасивы; маршировка на каблуках (все толстяки) со вздернутыми носками, шаг короткий и потому качки и стуку много, ружейные приемы сильны, но ловкости и развязки в руках нет; стрельба залпами хороша, но рядами слаба и шумят во фронте, суетятся, толкаются».

¹⁹ Татищев объявил этот указ на заводах священникам и пленным и тех, которые женятся, не велел считать невольниками. Много шведов жило, кроме Тобольска и Соликамска, на казенных уральских заводах Уктусском и Алапаевском и на Демидовских (Невьянском, Верхне-Тагильском, Шуралинском и друг.). Иные из них занимались ремеслами, другие мелочную торговлю, многие заводскими работами.

Татищев нашел Шенстрема, который имел в Швеции свои собственные железные заводы и, будучи знатоком в металлургии, во многом помог своими советами первому строителю уральских заводов. Артиллерист Шульц составил ему карту заводских земель и приписных к ним слобод и деревень (и получил за то 25 рублей, сверх прогон, и 5 руб. подъемных). Мир со Швецией освободил всех, кроме добровольно пожелевших остаться; таких на заводах оказалось двое: Берглин и Щедарь (первый в Кунгурском уезде заведовал рудничными работами, второй был смотрителем Уткинской пристани).

²⁰ Кроме следственного дела о Бенеvском сохранилась, между прочим, записка канцеляриста Рюмина, ходившего с ним до Китая и представившего ее русскому резиденту в Париже Хотинскому.

²¹ Взят он в плен в 1768 году и выпущен на честное слово, что в эту кампанию не станет драться, но в мае 1769 г. снова попался в плен к полковнику Бринкину.

²² Граф Мориц-Август Бенеvский — магнат королевств польского и венгерского, сын кавалерийского генерала имперской службы, род. в 1741 г. в венгерском комитате Нейтра и начал службу австрийским лейтенантом во время Семилетней войны, причем участвовал в боях под Прагою и Швейдницею. В 1758 г. его вызвали в Литву, где ему приходилось получить значительное наследство; выйдя в отставку, Бенеvский отправился путешествовать, побывал в Гамбурге, Амстердаме и Плимуте, где ознакомился с морским делом. Возвратясь в Польшу, принял участие в краковской и барской конфедерациях, произведен в кавалерийские полковники и назначен генерал-квартирмейстером. В 1765 г. получил значительное наследство от дяди, но узнав, что имением этим завладели его двоюродные братья, уехал в Венгрию, вооружил людей, с огнем и мечом завладел землями (суда не искал). Братья счастливо ускользнули из плена и пожаловались правительству. Поступок Бенеvского сочли за бунт, приказали отнять имение и предать его суду. Бенеvский бежал из Австрии и окончательно поселился в Польше; в 1767 г. думал отплыть в Индию, но, снова получив приглашение от польских магнатов, вступил в конфедерацию с прежним чином полковника, а 6 июля 1768 г. за храбрость получил чин генерала.

²³ *Voyages et mémoires de Maurice Auguste comte de Benjowsky*. Коцебу сделал из этого романа драму, которая переведена на русский язык, три раза напечатана и некоторое время давалась на петербургском немецком театре (но потом запрещена). Самое путешествие переведено было на английский, немецкий и другие языки и пользовалооь в Европе огромною известностью. Между прочим, Бенеvский вплеl целый роман о своих отношениях к Афанасии Ниловой, дочери капитана, который их обручил; девушка не захотела расставаться оо своим возлюбленным и приняла участие в его бегстве, но в Макао умерла на руках Бенеvского.

²⁴ Об Ивашкине и Батурине и других государственных преступниках — в следующей главе.

²⁵ В цейхгаузе, вместе с пороховою казною, артиллерийскими припасами и другими военными снарядами, нашли ясачную казну, собранную

с ясачных камчадалов. Бенеvский говорит, что одних бобров было 748, лисиц 268 и 1900 соболей.

²⁶ Судьба сжалилась над этими нашими Робинзонами тем, что во время одного из обходов ими острова привела на четвертый день к судну русских промышленников купца Протоdьяконова. Измайлов во все это время питался одними ракушками, морской капустою и кореньями.

²⁷ Сын священника Уфтюжанинов остался с Бенеvским и ходил о нем в морскую экспедицию по поручению французского правительства.

²⁸ Следующие фамилии также совершенно обрусели: Юдицкие, Тарновские и Казановские — потомки барских конфедератов; Зелинские, Войцеховские, Зенкевичи, Бржозовские (Березовские) и Домашевские — потомки сосланных за участие в восстание Тадеуша Костюшко.

²⁹ В описываемые нами времена не только у сибирских инородцев, но у казаков (на большую часть русских пришельцев) не было например, портных и солдатское платье шили киргизские бабы.

³⁰ Одни из таковых сделались впоследствии офицерами; между ними Квятковский установил школу трубачей, так что все казачьи полки в Сибири стали получать приготовленных трубачей. Известный русский композитор, сосланный в Сибирь из Москвы, Алекс. Алекс. Алябьев, автор пьес, ушедших в народ (Соловей, Вечерком румяну зорю и Вечерний звон), довел омский оркестр до замечательной степени совершенства. Поляк Волицкий, бывший офицер польской армии, образовавший себя в Парижской Академии музыки в превосходного учителя и дирижера, в значительной степени поддержал в омском оркестре алябьевскую славу, так что до сих пор дух этих талантливых людей не перестает жить в омском оркестре.

Вот имена первых замечательных артистов в начале омского оркестра: Радбольский, Гиденский, Голомбетский, Флек, Ган. За Байкалом один солдат войск польских 1812 г. находился в Кяхте; это был выслужившийся солдат, носивший знаменитую фамилию Понятовского, человек, умевший делиться последним черствым куском своего хлеба со всяким неимущим и нуждающимся.

³¹ В том числе, между прочими, граф Мошинский (в 1827 г.), один из организаторов «общества соединенных славян», отличавшийся в Сибири своею благотворительностью. Поляки успели так ловко повести дело и скрыть действия польского революционного общества, что отправлены в Сибирь только немногие: кроме Мошинского — Крыжановский и Янушкевич.

³² Заговор имел целью основать восстание на освобождение крестьян.

³³ Этих за разговоры о политических планах всех обратили в солдаты сибирских линейных батальонов.

³⁴ Из числа ссыльных в Сибирь евреев только один был сослан за политическое дело — Роберт Файнберг, родом из Митавы, доктор. За деятельное участие в берлинской революции 1848 года выдан был пруссаками и выслан на работы в Екатерининский завод под Тарою. Когда его товарищи были уволены на родину, а он нет, Файнберг от тоски впал в

сумасшествие и, перевезенный из Тары в Тобольск, умер там в 1860 году в лазарете. Из небольшого числа евреев, замешанных в последнем восстании, все уличены в тайном провозе оружия из-за границы.

³⁵ Для примера отношений царства к другим шляхетским окраинам его приводим несколько цифр. Из 59 случаев ссылки за бунт и государственную измену в 1839 г.: 31 принадлежит Киевской, 11 — Виленской, 1 — Гродн., 16 — городу Варшаве; в 1846 году из 28 случаев: 23 принадлежат г. Варшаве; в 1847 и 24 — 23 г. Варшаве (т. е. Царству Польскому) и т. д. Точно так же за эмиграцию эmissаров («за оставление отечества», как сказано тобольскими табелями) наибольшее число сослано из Варшавы (26 на 9 лет с 1838 по 1846; 12 из Бессарабии, 7 из губ. Виленской, 6 из Волынской, 3 из Подольской, по 1 из Ковенск., Гродн., Витебск.). Наибольшее число эmissаров пришло в Сибирь в 1834 г. (34 чел.), в 1839 (18), в 1840 (115), в 1838 (8), в 1841 только один, в 1845 и 1846 ни одного. Двадцатилетняя цифра убеждает в том же, что, кроме Царства Польского, наибольшее число эмигрантов оказалось в Бессарабии и губ.: Волынск., Виленск. и Подол. Соображения цифр за 20 лет в тех же семи губерниях западных: Вил., Гродн., Могил., Киввск., Волынск., Подольск. и Белостокск. обл. убеждают в том, что число сосланных отсюда в Сибирь за государственные преступления составляет почти $\frac{2}{3}$ всего числа остальных 39 губ. русских; что из числа последних 16 губ. не дали ни одного подобного сорта преступника; что после западных губ. наибольшим числом ссыльных отличались две губернии столичные (и в особенности Петербургская) и что из западных шляхетских губерний всего больше прислано в Сибирь из губ.: Виленск., Гродн., Киевск. и Белостокск. обл. Наивысшая склонность к государственным преступлениям по возрастам обнаруживалась в первом периоде возмужалости, т. е. после 30-летнего возраста. В числе других Грузия выслала 1 в 1842 г., 1 в 1845 и 3 в 1846 г.

По губерниям политические преступления и эмиграция в сибирских цифрах выразилась такую таблицю.

	Государств. преступл.		Оставление отечества	
	муж.	жен.	муж.	жен.
Виленская	45	4	17	13
Гродненская	39	—	3	—
Киевская	38	—	2	—
Белостокск. обл.	26	—	2	—
Минская	12	—	—	—
Волынская	11	—	29	4
Подольская	10	—	14	—
Могилевская	9	—	—	—
Витебская	3	—	3	—
Бессарбск. обл.	1	—	39	—

³⁶ Так, между прочими, за Байкалом поступили с Марциевским, человеком весьма независимого характера и образа мыслей.

³⁷ Жандармы обязаны были не давать ссыльным в руки ни ножа, ни другой какой-либо острой вещи, а потому они на станциях разрезали мясо

и отбирали даже кости, обязаны были не отходить от ссыльного ни на шаг, не позволять никому из посторонних подходить и разговаривать; обязаны были смотреть, чтобы не убежал, и стараться живым доставить на место назначения. Если ссыльный заболел в дороге, жандармы обязаны стараться всякими средствами довести до ближайшего губернского города, а если болезнь острая и сильная, то до ближайшего уездного города. Если болезнь продолжается дольше месяца, тогда жандармы отдают арестанта под надзор местных властей, от которых берут письменное свидетельство и возвращаются к месту служения. На паромах, на мостах, при переездах через реки не позволялось вылезать из телеги и даже сами жандармы должны были сидеть в это время по бокам. Одно из этих правил нарушалось в Сибири, в некоторых местах, где для разговоров, утешений и напутственного успокоения собирались бывалые изгнанники с советами и наставлениями вновь прибывающим. Судьба сближает людей у почтовых станций: навстречу политическим ссыльным из поляков собирались не одни только поляки. По приходе в Иркутск польские солдаты, повстанцы 1831 г., приняты были дружески теми из гвардейских солдат-семеновцев, которые за бунт 1825 года сосланы были в Сибирь и рассортированы по тамошним батальонам. Семеновцы и поляки составили две дружеские группы: защищали друг друга, не позволяли, без своей воли, ни одного солдата наказывать; негодяев исключали из своей среды. На первых шагах поляков в солдатской неволе семеновцы были истинными благодетелями.

³⁸ Агатон Гиллер, написавший за границую три тома: «Описание Забайкальской украины в Сибири» (Лейпциг, 1807, *Opisanie Zabajkalskiej Krainy w Syberyi*).

³⁹ Руфим Пиотровский: «*Pamiętniki z pobytu na Syberyi*». Poznań, 1860.

⁴⁰ В неизданных рукописных записках о службе.

⁴¹ Для уставщиков такого «набоженства» Венжик написал инструкцию под названием «*Uwagi o potrzebach nabozenstwa bajkalskiej parafii*». Впрочем, и само правительство строго требовало исповеди у ксендзов, обязанных составлять списки исповедникам. Кто не попадал в них, о тех наводились справки; кто не хотел идти, тех строго наказывали. Забайкальский католический приход заключал в себе в 1860 году 1635 прихожан; за пять лет до того их было 758 и в том числе 150 политических преступников. Приход этот устроен в 1840 году по желанию и просьбам ссыльных этого периода; до тех пор Забайкалье принадлежало к иркутскому приходу.

⁴² Сооружению в заводе каплички с малым органом и снабжению ее всем необходимым способствовала много Грохольская, из Подольской губернии, высланная за то в Ярославль. Впоследствии на деньги, собранные с прихожан и на Волыни и Украине Раковскою, предположено было выстроить костел в Чите, с тем чтобы упразднить существовавший в нерчинском заводе иркутский костел, построенный гр. Литтою.

⁴³ Некоторые поляки, как Петр Сцегенный с братьями (в Александровском заводе), пробовали жить товариществом на равных, коммунистических правах, но попытка их не удержалась на практике.

⁴⁴ Роман Сангушко числился солдатом в тобольском батальоне и жил на воле. Впоследствии, по ходатайству родственников, переведен в кавказские войска с дозволением выслуги. Когда дослужился, он уже очень мало видел и оглох. Глухим он встретил и глухим остался к последнему польскому восстанию, живя в своих имениях в Волынской губ. С ним вместе жил в Тобольске полковник Крыжановский, отличавшийся в наполеоновских войсках в Испании, друг генерала Хлопицкого, человек высокообразованный.

⁴⁵ Савичевского поддержал кяхтинский купец Ив. Як. Спешилов. Предприятие было, однако, не совсем удачно. Масло стало горько от того, что у крупных орехов скорлупа вдавливалась в мякоть, а мелкие проскакивали с целою скорлупою между жерновами. Грохоты и жернов придуманы в каземате декабристами, отсюда и взяты И. Я. Спешиловым. Цена на масло не уменьшалась, одаако; масло ручного производства было так дешево, как никогда не бывало при машинном производстве, потому что избоина шла в кушанье.

⁴⁶ Между прочим, сибирский мед — такого качества, что подобного ему трудно найти в России.

⁴⁷ Огородничество процветало задолго до поляков у раскольников Забайкалья и на Алтае и распространено в лучших видах у декабристов задолго до прибытия поляков, которые вначале даже и семенами пользовались из каземата. В Иркутске задолго до поляков были у губернатора Цейдлера, а особенно у купца И. И. Баскина образцовые оранжереи, которые были бы замечательны и везде. В Минусинске разводились арбузы издавна, а в Западной Сибири славились ташкентские огурцы, как в Восточной — китайские, имеющие ту выгоду, что можно было их вырывать на окнах, на трельяжах и т. д.

⁴⁸ В Тобольске, между прочим, жили Дитмар, секретарь Карла XII, и полковник Страленберг, успевший объездить с ученою целью многие места Сибири. По возвращении из плена в Стокгольм он написал книгу (на нем. яз.): «Северо-восточная часть Европы и Азии, содержащая в себе географические, этнографические и исторические сведения о Сибири и отчасти об европейской России, с картою Сибири». Татищев написал на эту книгу замечания.

⁴⁹ На Чикое, в деревне Шембелик, поляк Савичевский имел два завода: мыльный и масляный (из кедровых орехов). В 1859 г. выработано им было масла на 12 тыс. руб. Савичевский имел также чайную торговлю в Кяхте. Швейцарские сыры варили в Петровском заводе братья Карпинские. По возвращении их в 1857 году на родину сыроварня эта исчезла без следа. Сыр, как известно, возят за Байкал из Москвы за 6 тысяч верст; порядочное мыло, пригодное для стирки белья, за $4\frac{1}{2}$ —5 тыс. верст из Казани; даже простые сальные свечи идут в Иркутск и далее из Томска за $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$ тыс. верст. Приготовление обыкновенного польского сыра составляло необходимую принадлежность всякого хозяйства польских поселенцев. В Александровском заводе Пасербский и Вокульский имели свечной завод. Мыло варили задолго до поляков. Казанское привозили от того, что оно славилось и его провоз за Байкал был необычайно дешев (напр., от Байкала до Читы 45 коп. асс. с пуда).

⁵⁰ Впрочем, польский сыр был очень плохого качества.

⁵¹ В состав иркутского оркестра вместе с поляками поступили, между прочим, ссыльные дворовые гр. Аракчеева, сосланные по делу убийства известной графской любовницы Настасьи.

⁵² Богатый дом Кандинских с этого времени пошел быстро к падению и банкротству. Пострадали от этой меры и два известных поляка: Гжовский и Грушевский. Последний жил в Култуме и вел обширную торговлю, имея большое хозяйство; на р. Газимуре не было человека, который не состоял бы у него в долгах. Самыми выгодными предприятиями и спекуляциями считали поляки те, которым приводилось иметь с казною, по причинам, всем хорошо известным и не требующим объяснений.

⁵³ Яснее выражалось влияние поляков в передаче знаний французского языка и других иностранных, на преподавание которых они охотливее соглашались, чем на преподавание русского языка. Точно так же сибиряки много обязаны полякам в обучении музыке. Музыке они учили также с замечательною охотою. В Кяхте они сильно распространили игру на фортепиано. Уже в 1836 году в Иркутске молодые купцы танцевали французскую кадрили и принимали самое живое участие на балах, входивших в моду, и на музыкальных вечерах, начинавших интересовать общество. У весьма многих купцов, в то же время, существовали уже значительные библиотеки с хорошими книгами и имелись кабинеты с редкими и изящными вещами. «Жены и купеческие дочери, по свидетельству очевидца, блистали богатыми нарядами, выходцами Кузнецкого Моста». В Кяхте поляки весьма нередко давали музыкальные концерты; один из таких артистов остался директором оркестра в иркутском театре.

⁵⁴ Между прочим, некоторые поляки по примеру Литвы и Жмуди, пробовали заводить на Лене, в окрестностях Киренска, общества трезвости. Попытка кое-где привилась. В Иркутске подобная же попытка не имела успеха, по несочувствию властей и духовенства; за Байкалом таких приспособлений никто не пробовал делать.

⁵⁵ Кроме Шокальского, пользовались уважением и известностью и оказывали врачебную помощь за Байкалом Левицкий и Бопре, сосланный по делу Конарского. По рецептам последнего, аптеки выдавали лекарства без подписи (на каковую ссыльный не имел права); больных возили в нему из самых отдаленных мест.

⁵⁶ Случаи самоубийств и сумасшествий между поляками редки, несмотря на крутое положение ссылки, порождающей пессимизм. Кроме Шокальского, известен еще самоубийца Васильевский, присланный в 1831 году, польский крестьянин, успевший жениться на сибирячке. За несколько дней до смерти он ходил по знакомым (чего никогда в жизни не делал) и просил: «Дайте милостыню детям, просят одежды и пищи». Вскоре потом нашли его на сеновале с перерезанным горлом. Кроме того, замечено за Байкалом несколько случаев умопомешательства, характеризовавшихся глубокою меланхолией, вследствие тоски по родине. Один, напр., весельчак и сказочник промолчал все время изгнания на всех товарищеских беседах и таким уехал на родину; другой ничем и ни

у кого не хотел одолжаться даже пищею, несмотря на крайне бедное и голодное житье свое, в возвратился из изгнания окончательно помешанным. Третьим доказанное помешательство, в силу врачебных удостоверений, помогло возвратиться по ходатайству жен и семейств на родину, прежде сроков и в видах исключения.

На оловянно-серебряном руднике «Тайна» (близ Газимурского завода) в шахте два поляка и один русский разбивали кирками оловянно-серебряную руду, соединенную с серою. Огонь, разведенный на дне шахты, вскоре наполнил удушливыми газами атмосферу всех коридоров. Поляки вышли на свежий воздух, но один из них, вспомнил о третьем товарище, вернулся за ним и назад не возвращался. Второй поляк отправился за ним и, увидев в беспамятстве, взял на плечи и понес вверх по лестнице. На половине пути дурнота заслепила ему глаза, силы оставили его, и он вместе с товарищем упал вниз, где разбил себе об камень голову.

⁵⁷ Дело 1839 года, хранящееся в архиве Нерчинского Большого завода.

⁵⁸ Уральский побег подробно описан В. И. Далем в рассказе: «Небывалое в былом и бывшее в небывалом» («Отеч. Зап.» 1846 т. ХСVI).

⁵⁹ Зато Розанский, несчастливо бежавший с дороги в Минск и сосланный в нерчинские заводы, снова бежал оттуда; счастливо прошел половину Сибири, но в Таре был узнан и схвачен. Его снова возвратили в рудники, но, кроме ареста, других наказаний не налагали, и Розанский, никому не ведомый, скромно исполнял обязанности сторожа кухни каторжных.

⁶⁰ За пять лет с 1854 по 1859 г. за государственные преступления всего из целой России было 83 муж.

⁶¹ В таком числовом отношении: по Тобол. 4101, Томск. 6306, Енис. 3719, Иркутск. 4424, по Якутск. обл. 56. При этом надо заметить, что все это люди, приговоренные военно-судными комиссиями прямо в Сибирь. Между ними нет тех, которые первоначально водворены были в России, а потом переведены в Сибирь. Эти последние присылались в тобольский приказ без всяких документов. Наводить же справки о нескольких тысячах подобного люда в горячее время ссылки не было никакой возможности. И без того приказ едва успевал принимать, распределять и снаряжать ссыльных.

⁶² Принимая все население в 15¹/₂ милл. и считая количество духовных римско-католич. испов. в 9 западн. губ. в 3952 чел.

⁶³ Между прочим, 110-летний старик ксендз.

⁶⁴ Губернатором А. И. Деспот-Зеновичем

⁶⁵ В Томской губ. горожан-поляков старались селить в деревнях, ближайших к городам, чтобы ремесленники и вообще люди, неспособные к земледелию, не сделавшись настоящими деревенскими пролетариями, могли сбывать в городах произведения своих трудов. Там им были дозволены и отлучки в эти города для обеспечения себя заработками.

⁶⁶ На месте этих трех околиц — как известно — выстроено новое селение, под названием Царской слободы, из отставных солдат. Правильно распланированное, по нормальным чертежам, с форменным видом,

слободка заменила собою прежние неправильно раскиданные околицы, всегда имеющие вид отдельных хозяйств с кривыми улицами, закоулками и переулками.

⁶⁷ Потом по устройству хозяйства они обязаны были разделаться и жить отдельными хозяйствами.

⁶⁸ Во время пребывания нашего в Архангельске мы имели случай найти свидетельство о следующем образчике старинного судопроизводства и наказаний. Елисеев, солдат гайдукского полка, пущенный на ночь соседом своим и сослуживцем Костогоровым, ночью ножом колотл хозяина и то же сделал с его женою, прибежавшею на помощь. Оправдывал себя тем, что будто бы жена Костогорова изурочила сына его, 13-недельного младенца; сверх того, надеялся найти деньги, а самого хозяина не застать дома. Убоясь криков израненного Костогорова: «Царев (т. е. караул), что ты вздумал, за что режешь?» — Елисеев засунул раненому руку в рот, а когда тот выхватил у него из рук нож, выскочил в окно и побежал в город, а Костогоровы «резанные от него остались еще живы». Убийца был пойман в одной рубашке, окровавленный, без сапог. За это произвели пытку (дали 42 удара кнутом), да 12 стрясок, семикратно жгли калеными клещами и обливали водою горячею, ставили в пристенок и, наконец, по царскому Петрову указу 28 окт. 1712 г., четвертовали, т. е. попеременно отрубили: руки, ноги и, наконец, голову. Вины его все-народно читаны и был прибит к столбу лист.

⁶⁹ До 3 июня 1892 г. в тобольском кремле, подле архиерейского дома, в особенном, огороженном месте, висел ссыльный угличский колокол, в который били в набат после убийения царевича Дмитрия. Ссыльный колокол висел в товариществе других четырех, подобранных под тон, но отличался от них урезанными (отломанными) ушами, хотя с целым языком, за то с обрызганными краями. Уши его надломлены и края обиты, — по русскому народному преданию, — в наказание за преступление: бил в набат, звук давал, народ собирал, народ возмутился и злодейство учинил — кровь пролил в самосуде. На колоколе надпись: «Сей колокол, в который били в набат при убийении благоверного царевича Дмитрия в 1593 году, прислан из города Углича в Сибирь в ссылку во град Тобольск. в церковь Всемиловитового Спаса, что на Торгу (теперь на Яру, на берегу Иртыша), а потом на Софийской (соборной) колокольне был часобитный». На вопрос наш встречающих туземцев: за что колокол сослан? — мы получили в ответ: «Пожар где-то был, так гулку он не давал, за то и сослали». Теперь колокол возвращен в Углич и помещен в музей.

⁷⁰ В 1708 г. при Петре ушли в Сибирь избавленные от виселицы сообщники Булавина (успевшего застрелиться). Пострадали казаки; казачеству нанесен был сильный удар. В 1709 году разгромлена была Запорожская Сечь и некоторые из запорожцев примкнули к составу служилых людей сибирских острогов. В Селенгинском в старом городе, хранится под навесом деревянный крест с выпуклым изображением Спасителя и с надписью назади тропаря: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко» и проч. Внизу креста замечается надпись: «строил ятман (гетман) Диятьев (1690)», вероятно, один из множества запорожских казаков, поселенных

за Байкалом. Крест вырыт в песчаных буграх старого города, где был старинный острог и где теперь ветер насыпал высокие бугры и заставил перенести город на новое место. Народное предание называет Диятьева анахарем, лечившим народ от болезней; крест почитается чудотворным.

⁷¹ По делу царевича Алексея сослано было в Сибирь много и, между прочими, в Соликамск фельдмаршал Вас. Влад. Долгорукий за слишком вольные осуждения действий царя; дальше за Камень: псаломщик Семен Иванов, битый батогами вместо кнута «по малолетству»; подъячий Анфимов, зять царевичева духовника Якова Игнатьева, с женою и детьми, и проч.

⁷² Двоих пугачевских друзей четвертовали, одному отсеки голову, восьмерым вырвали ноздри и сослали на каторгу, десятерых, после кнута, на поселение. Но и после того ссылка не прекращалась; по свидетельству одного указа, «подозрительные люди продолжали обнаруживать те же наклонности». В нерчинских рудниках осталось в памяти предание о пугачевском приверженце уральском Марушке. Он жил еще в 40-х годах XIX столетия, в Култуме имел собственный домик, жил холостым, давал под заклады деньги и в целой окрестности слыл за богатого человека. Марушка, несмотря на почти столетний возраст, отличался необыкновенною физическою силою. Когда слух о богатствах привлек в его дом разбойника, и он, спускавшийся с чердака по лестнице, упал, оглушенный ударом косы в голову, то злодею не удалось его задушить. Под тяжелым кулаком убийцы Марушка успел очнуться и, почуввав свою силу, сбил с себя разбойника, повалил наземь, связал и представил в полицию. Богатый скряга Марушка сохранил и ревность к старой вере и веру в старые убеждения, послужившие причиною несчастий. Он любил рассказывать о бунте Пугачева, о котором так толковал: «Не пытали мы, кто был Пугачев, и знать того не хотели. Бунтовали же потому, что хотели победить, а тогда заняли бы место тех, которые нас утесняли. Мы были бы господами, а вера свободною. Проиграли мы, что ж делать? Их счастье. Выиграй мы, имели бы своего царя, произошли бы всякие ранги, заняли всякие должности. Господа теперь были бы в таком же угнетении, в каком и нас держали».

⁷³ Указ этот, составляющий характерную черту из истории Петербурга как каторжного места, говорит, между прочим: «Будучи на работах, за слабостью караульных солдат, ссыльные у прохожих и проезжающих просят милостыню, чем немалое бесславие здешнему резидирующему городу наносят, ибо между тем нередко случается, что и чужестранные персоны мимо их проезжают. Имея же при сем на работах ломы и железные пешни и другие вредные инструменты, они даже разбойничают на улицах: в 1751 году у одного каторжного Никиты Алексеева найдено в мешке ядро чугунное, которым он бил за Синим мостом в переулке по головам трех купцов, с двух сорвал шапки, у третьего отнял шапку и рукавицы, хотел также убить майора Тютчева, смотревшего за работами. В 1752 г. тот же Алексеев, у Адмиралтейской крепости, близ Невского проспекта, вынул из палисадника балясину и другую от Зимнего дворца, иноземку ударил в лоб и содрал с нее атласную голубую юбку с сере-

бряною сеткою». С этого года каторжных стали отправлять в Рогервик, а полиция стала производить свои работы вольнонаемными людьми.

⁷⁴ Государственная измена при Павле (1799 г.) служившего при Тосканском дворе колл. асс. Дрозда-Боначевского, предавшегося французам и служившего им, наказана была тем, что имя и деяния изменника прибиты были к виселице. При Павле же заподозрен был в измене плодовитый драматург Август Коцебу. Арестованный на границе, на возвратном пути из Вены в Петербург, он сослан в Курган. Отсюда его вскоре возвратили в Петербург, где Коцебу несколько времени управлял немецким театром. Прощен он был, как известно, за драму «Der Leibkutscher Peters des Grossen», которую Павел I получил в русском переводе. Пребывание свое в ссылке Коцебу описал в 2 томах (1801 г.) под заглавием: «Das merkwürdigste Jahr meines Lebens».

⁷⁵ Известно, наприм., что сосланному в Якутск колдуну на вечное заточение не велено было давать воды, ибо-де он, Максим Мельник, многаяжды уходил в воду.

⁷⁶ Елизавета Петровна его, однако, освободила вместе с другими ссыльными предыдущих царствований.

⁷⁷ У Меншикова, как известно, было во владении 91 тысяча душ крестьян и 7 миллионов тогдашними деньгами, бриллиантами и банковыми билетами.

⁷⁸ Екатерину в томском Рождественском, Елену в тюменском Успенском, Анну в верхотурском Покровском. Всех трех постригли в монахини, пищею и одеждою велено содержать без всякой отмены. «Имеющихся при оных князь Алексеевых дочерях в услужении вдов також и девок освободить и разослать в разные сибирские города на вечное житье. Имеющуюся медную и оловянную посуду и платье, оставя потребное число, без всякого излишества, прочую всю отобрать. Содержать их под крепчайшим присмотром и никуда ни для чего отнюдь не выпускать и ничем писать ни давать и посторонних никого ни для какого сообщения к ним не пускать и чтоб никаких шалостей и непотребств от них не происходило».

⁷⁹ Бирон, как известно, жил в Пельме в особенном доме, выстроенном по чертежу Миниха. Бирон жил здесь не долго (пять недель), успел оставить в народной памяти предание о своем гордом и неприступном поведении; в 1742 г. его перевела Елизавета в Ярославль вместе с братом Густавом (последний даже не доехал до Пельмы и возвращен назад из Тобольска). В Сибири не осталось об них предания, осталось таковое в Москве; когда везли регента с братом и свояком в трех закрытых каретах через этот город, чернь кинулась на них и хотела растерзать; да в Казани сохранилось всем известное предание, что на мосту через Булак встретились два врага и молча раскланялись: Бирон, возвращавшийся из Сибири, и Миних, ехавший туда на обогретое место. Третье предание сибирское утешает себя тем уроком в превратностях судьбы, что Миних зажил в том же доме, план которого он сочинил для Бирона.

⁸⁰ По другому местному преданию, ему однажды в год читали какую-то бумагу, которую он обязан был слушать, скрестив на груди руки, к каковой в то же время солдаты приставляли ружейные штыки.

⁸¹ В Петербурге она пользовалась славою лучшей танцовщицы.

⁸² Подробный рассказ об этом событии см. ниже: в статье «История каторги. Нерчинские рудники и промыслы».

⁸³ В статье своей «Ссылка в Восточную Сибирь замечательных лиц».

⁸⁴ Считали его боярином, сосланным Павлом. Говорили, что когда везли его в Петербург обратно и на день остановились в Тобольске, он, при виде губернатора Канцевича, стоявшего у полуотворенной двери, сказал ему: «Ну, Канцевич, гатчинский любимец! Ты еще не узнал меня?»

⁸⁵ Опыт Менгдена не был удачен: лошадей развести ему не удалось в неудобных колымских тундрах. В этом отношении был счастлив другой ссыльный в архангельскую тундру, В. В. Голицын, положивший основание крепкой породе мезенок, долгое время пользовавшихся большой известностью на всем Севере России.

⁸⁶ Анна вышла замуж за Нарышкина, Мария осталась в одном из киевских монастырей.

⁸⁷ Салтыковой из всех ссыльных женщин жилось лучше и свободнее: она приехала со штатом девиц, уехала с великою честью. Могла держать себя гордо: не допускала к себе никого, удостоивала честью посещения только игуменьи и не позволяла перед собою садиться даже дяде-воеводе. Содержалась она в Енисейском монастыре.

⁸⁸ Князьями называли потому, что во многих партиях были князья: Оболенский, Барятинский, Щепин-Ростовский, Трубецкой, Волконский, Шаховской, Одоевский, еще Оболенский.

⁸⁹ Так, между прочими: Ив. Дмит. Якушкина, Матв. Ив. Муравьева-Апостола, Алек. Алек. Бестужева (Марлинского), Антона Петр. Арбузова и Тютчева перевезли в Роченсальм. Здесь их содержали в форте «Слава» весьма дурно, в сырых, темных казематах; кормили гнилою ветчиною, хлеб давали не всегда выпеченный, ветер с моря солонил воду единственного колодца. У Бестужева и Муравьева оттого появились солитеры. Когда Бестужев угорел до обморока, решились не запираť казематы. В Выборге Мих. Сер. Лунин от скорбута потерял все свои зубы, кроме одного. Вместе с Луниным содержались в Выборге Митьков и Муханов; в Кексгольме: Поджио, Вадковский, Барятинский, Горбачевский, Вил. Кюхельбекер; в Шлиссельбурге: Юшневский, Н. и М. Бестужевы, Дивов, Пестов и Пуцин. Из форта «Слава», по случаю рождения великого князя Константина Николаевича, освободили А. А. Бестужева (Марлинского) и Муравьева и увезли сначала Бестужева (в Якутск на поселение вместо каторги), потом Матвея Иван. Муравьева-Апостола.

⁹⁰ Г. С. Батенков не отправлен в Сибирь, потому что имел там связи, как сибиряк и как служивший там.

⁹¹ Он кончил жизнь в 1837 году.

⁹² Способ препровождения послужил предметом долговременных несогласий; предпочли почтовые тройки потому, что предполагали ослабить надежду и вероятие побегов, рассчитывали избавить от дальнего похода; другие полагали спасти от народной мести; многие одобрили этот быстрейший способ в расчете предотвратить распространение в народе революционных идей. Тем не менее, офицеры Черниговского полка,

члены Южного общества, отправлены были в Сибирь пешком, по этапам. Так, между прочим, шли по этапу Игельстром, Вегелин и поляк Ружевиц; они прибыли в Читу перед отправлением 7-го разряда на поселение.

⁹³ Прибыли в Читу сначала сидевшие в отдаленных крепостях, потом содержащиеся в Петропавловской. Вот отчасти партионное сотоварищество, в составе которого возли узников в Сибирь. Одна партия: Якушкин, Арбузов, Бестужев (Марлинский), Тютчев, М. Муравьев; другая: Пущин, Поджио, Муханов; третья: М. А. Бестужев, Н. А. Бестужев, Барятинский, Горбачевский; четвертая: Фонвизин, Вольф, Басаргин, Фролов; пятая: Нарышкин, Лорер, два брата Беляевы, Розен; шестая: Репин, Глебов, Кюхельбекер и т. д.

⁹⁴ Баня была наемная, в крестьянской избе.

⁹⁵ В одном из прежних казематов оставлено было 15 человек, другой старый каземат или губа, состоящая из двух больших комнат, вмещала за перегородкою аптеку. В средней маленькой поселился доктор Вольф. В нем же дозволялись свидания жен с мужьями, что, впрочем, вскоре дозволено было на собственных квартирах жен, куда мужья отсылались под конвоем.

⁹⁶ За то, что сюда, в эту низменность или долину, образовавшуюся при слиянии реки Читы с Ингодою, стаскивался вырубленный лес и из бревен сбивались плоты для сплавов по рекам Ингоде и Шилке для Шилкинского завода (дрова, уголь) или в Бянкину для нерчинских заводов (провиант, железо и проч.).

⁹⁷ Шел также пешком, по этапам, барон Штейнгель. Следом за офицерами Черниговского полка сосланы и солдаты, бывшие под Васильковым и виновные в возмущении этого полка. Так, например, в Екатерининском заводе, близ Тары, содержался унтер-офицер Шутов.

⁹⁸ Из дальнейших подробностей более интересны следующие наставления: «Караульные и все часовые от арестантов ничего не должны принимать, даже из съестного от них солдатам ничего не брать, ибо были примеры, что арестанты отравляли караульных, других обкармливали дурманом, подмешивая в пищу порошок, отчего весь караул без чувств засыпал, а между тем арестанты все уходили». «Никаких напитков хмельных, как-то: вина ренского, меду, пива, не допускать к ним; если же кто, по доброй воле, доставит им какую пищу или квас, то караульному унтер-офицеру, осмотрев строго, отдать в целости через караульных преступникам, объявляя им, кто им что прислал». «Не дозволяется собираться народу в караульную; если кто имеет дело к караульным, то должен часовой остановить того при входе кричать: "ефрейтор вон". Он не допускает никому говорить, рассуждать, забавляться с арестантами, ни посторонним людям, ни своим солдатам». «По пробитии зори, караульным помыться, опрятно одеться, подтянуть штаны на помочи, оправить амуницию и, людей построив в караульне, все осмотреть». Остальные приказания отличаются общим местом и хлопочут о внешнем лоске.

⁹⁹ Этот Дружинин переселен был к декабристам впоследствии из нерчинских заводов, куда сослан был из Оренбурга вместе с другими молодыми людьми, составившими там тайное общество и осужденными по

доносу одного из товарищей, и именно того самого, который организовал это общество.

¹⁰⁰ Из иностранных: «Journal des Debates», «Constitutionnel», «Journal de Francfort», «Revue Encyclopedique», «Revue Britannique», «R. des Deux Mondes», «R. de Paris», «Preussische Staatszeitung», «Гамбургский корреспондент», «Аугсбургская Газета» и почти все русские журналы и газеты. Из ученых журналов выпускались: «J. des Savants», «Annales de Chimie», «An. des Vogages», «Bibliotheque Universelle de Geneve» и проч. Однако сначала Лепарский выдавал только под большим секретом получаемые им «Телеграф» и «Инвалид», но раз перестал посылать последний по самому невинному поводу.

¹⁰¹ Особенно оригинальна была впоследствии переписка товарищей, живших на поселении, между собою и с заключенными, прибегавшими к помощи официальной почты. Письмо, прежде назначения по адресу, шло в Петербург, там прочитывалось и отправлялось обратно в Сибирь. Письмо Репина к Розену пропутешествовало с Лены в Петровский завод 12 тысяч верст и принесло известие о здоровье и надеждах на будущее, когда сгоревший Репин был давно уже похоронен. Само собою, в случаях важных прибегали к оказиям, имели возможность заручиться постоянными комиссионерами, готовно и охотно исполнявшими поручения на огромное большинство случаев безвозмездно. Впрочем, эти средства не всегда были непрерывными. Мы слышим жалобу одного в таких выражениях: «Наши письма, писанные в духе самой строжайшей осторожности, были так цензурованы, что, наконец, вывели нас из терпения, и мы решились не писать более друг к другу».

¹⁰² Сам С. Б. Броневский так говорит об этом: «Каково ведут себя политические преступники?» спросил меня государь-император в Зимнем дворце. Я отвечал: «Очень одобрительно, ни один ни в чем предосудительном не замечен, а что у них на сердце — от нас сокрыто». Осмелился доложить, что простого народа из осужденных Сибирь может принять еще более теперешнего. Они, делая преступления по различным побуждениям, иногда по стечению несчастных обстоятельств, благоговеют к предержавшей власти, но политических преступников нужно бы водворять в другие края России. Государь изволил со вниманием выслушать мое замечание и отвечал: «Да, это так; но они успевают входить в связи с начальством (тогда был донос на Иркутск в этом роде); их близко держать невозможно, но мне еще этого никто не говорил».

¹⁰³ Точно так же и дыни, возвращенные в парниках декабристами, были первыми на забайкальской почве, как и огурцы.

¹⁰⁴ По причине того, что многие вовсе отказались от подачи голосов.

¹⁰⁵ Разумеется, в должность хозяина.

¹⁰⁶ Все заключающееся в скобках находится в таком виде в тексте протокола, а не то, чтобы здесь только представлялось для пояснения.

¹⁰⁷ Через полгода тот же фельдъегерь, который привез из Шлиссельбурга Вадковского, увез из Читы Корниловича снова в Петропавловскую крепость, для допросов о тайном польском обществе. Корниловича в Читу уже не возвращали, а отправили на Кавказ солдатом, где ему до-

велось участвовать в нескольких экспедициях и через два года умереть от злокачественной лихорадки.

¹⁰⁸ Комендант позволял ему свободно выходить из тюрьмы во всякое время с конвойным. Вольфу удалось спасти Лепарского от близкой и неизбежной смерти. Впоследствии, в Петровской тюрьме, в соседнем номере с номером Вольфа помещена была артельная аптека с лекарствами, инструментами и лучшими медицинскими сочинениями, которые выписывались и доставлялись дамами. Аптекою заведовал Арт. Зах. Муравьев по составлению и отпуску лекарств. Он же и устраивал аптеку. Фролов помогал в черных работах, мыл посуду и проч.; помощником Вольфа по хирургическим операциям был Артамон Захар. Муравьев, охотно вызвавшийся на это дело. Ов рвал зубы, пускал кровь, перевязывал раны и следом за Вольфом и впереди конвойного имел право свободного выхода из тюрьмы на помощь страждущим. Вообще, заключенные, как в Чите, так и в Петровском заводе пользовались здоровьем, благодаря климату и регулярной жизни при простой умеренной пище.

¹⁰⁹ Говели поочередно на 3, 4, 5, 6 и 7 неделях, предварительно составляя списки говельщиков. В Петровском, заводе артель положила от себя священнику, пасторам и на церковь 200 руб. Здесь уже дозволялось говеть всякий пост, а потом и просто ходить к обеду, только с тем, чтобы стоять на хорах или в алтаре.

¹¹⁰ Бороды носили вовсе не по смирению, а потому, что сначала не позволили самим бриться; после многие оставили бороды: кто для удобства, чтобы не хлопотать с бритьем, кто от простуды, как К. П. Торсон; кто для красоты, как Александр Викторович Поджио.

¹¹¹ Такой же оригинальный образ жизни вел он и в деревне Урике под Иркутском на поселении: вокруг домика выстроил высокий забор; двери постоянно держал на запоре, доверялся одному только слуге-буряту. Здесь его арестовали во второй раз за напечатание статей в английской газете (журналист продал тайну) и за разбор донесения следственной комиссии (по оплошности переписчика) и сослали в Акатуй, где он и умер свмидесятилетним стариком. Ксендз Тибурций Павловский, бывший в течение нескольких лет его капелланом, с другими ссыльными проводил его гроб до могилы, на которой впоследствии сестра М. С. Лунина поставила каменный памятник.

¹¹² Водку носили пить для здоровья федьдшера. Комендант сам посылал ее Арт. Муравьеву и Вольфу для аптеки.

¹¹³ Этот § относился особенно к тем дамам, которые не привезли с собою крепостных людей. За богатыми последовали их крепостные слуги, на которых они теряли владельческое право. В правилах для жен государственных преступников сказано, между прочим: «§ 3. Из числа крепостных людей, прибывших с ними, позволяется им оставить при себе одного человека или одну женщину, и то в случае собственного сих последних на то согласия, что они обязаны подтвердить подпискою за собственноручным подписанием; в случае же незнания грамоты таковой оставляемый слуга должен объявить о том лично в присутствии местного начальства. Прочие люди могут возвратиться в Россию. Отсюда изъе-млются, однако, те из жен преступников, кои, решившись разделить

участь мужей своих, пожелают жить вместе с ними в остроге: таковые не могут уже иметь при себе никого для прислуги. § 5. Те из крепостных людей, прибывших с женами преступников, кои не захотят более оставаться с ними, могут возвратиться в Россию, но дети их, в Сибири родившиеся, должны оставаться там».

¹¹⁴ Однако эти отпуска не были легки для Лепарского. Ему довелось получить строгий выговор за то, что смел отпустить Волконского на минеральные Туркинские горячие воды с офицером. Впоследствии Ребиндер испросил наперед разрешение на подобные случаи и отпустил на воды четверых.

¹¹⁵ Наталья Дм. Фонвизина, урожденная Апухтина, в 80-х гг. умерла в Москве. Она в молодости послужила идеалом Пушкину для Татьяны в «Онегине»; сначала хотела идти в монастырь, потом вышла за генерала Фонвизина. По возвращении из Сибири в Россию и по смерти мужа вышла замуж за Ив. Ив. Пущина, товарища ее по изгнанию. Ив. И., как известно, был также другом и товарищем А. С. Пушкина по лицу.

¹¹⁶ На дороге декабристов из Читы в завод встретили: жена Розена — Анна Васильевна, и жена Юшневского — Марья Казимировна. Жена И. Д. Якушкина (Настасья Васильевна) на несколько просьб получила ответ, что ехать нельзя, пропустила срок, — своевременно не воспользовалась. Вера Гр. Чернышева, сестра А. Г. Муравьевой, просила жену Розена взять ее с собою под видом горничной, чтобы она могла помочь своей сестре в Сибири. К Вас. Петр. Ивашеву приехала невеста, Эмилия Петровна Ледантю. В Сибири же вступили в брак: Ник. Вас. Басаргин с Ольг. Ив. Мендель, Дм. Ирин. Завалишин с Аполлинарием Семеновым Смольяниновой — дочерью горного полковника, М. А. Бестужев, Е. П. Оболенский, А. М. Муравьев, Сутгоф, П. Н. Свистунов, оба брата Кюхельбекеры, Модзалевский, Муравьев-Апостол, Александр Викторович Поджио.

¹¹⁷ Исключение было сделано для тех, которые имели детей. Так как детей не дозволялось приводить с собою и после вечерней зари номера запирались и гасили огонь (дети оставались вне всякой помощи со стороны), то имевшие детей уходили на ночь на квартиры. Дни проводили с мужьями. Все эти передвижения, лишения и неудобства, а также и заточение мужей не прошли даром, — многие роды были несчастливы: из 25 родов в Чите и заводе было 7 выкидышей, зато из 18 живорожденных умерли только 4. На последнее обстоятельство имело влияние искусство врача (Вольфа) и климат. «В Чите мы все поздоровели», — свидетельствуют сами заключенные. В Петровском заводе умер Александр Семенович Пестов: с чирьем на спине он сходил в баню, карбункул и антонов огонь развились так быстро, что больной через два дня умер. Все товарищи проводил его на заводский погост, неся его тело до церкви на руках, переменяясь поочередно. Организовавшаяся окончательно на то время артель похороны А. С. Пестова приняла за свой счет (издержала 21 р. 84.) и, сверх того, со всех собрана была оумма (100 р.) на сооружение ему памятника. Все вещи покойного комендант предоставил в полное распоряжение общества товарищей, но все отказались. Выделили награду двум

служителям, а когда кое-какие вещи (книги, очки, самовар, серебряную ложку) некоторые изъявили желание купить на память о покойном, то вырученные деньги постановили употребить в пользу мальчиков, находившихся в обучении у товарищей. Все вещи, годные к употреблению, отправлены к находящимся на поселении (Веденяпину и Шимкову).

¹¹⁸ Вернее: фельдъегерь привез разрешение оставить в Чите С. Г. Волконского, пока не родит его жена, а как она родила преждевременно, то и выехала вместе с мужем.

¹¹⁹ Из дам вперед уехали те, которые имели детей; другие тянулись за партиями в собственных экипажах.

¹²⁰ Комендант Лепарский получил за поход орден Владимира 2 степени со звездой.

¹²¹ Из дам имели свои дома: Трубецкая, Волковская и Анненкова; Муравьева, Нарышкина и Давыдова нанимали дома, которые сами же и выстроили на свой счет. Дома были большею частью двухэтажные со светелками.

¹²² По первоначальному проекту и эту сторону предполагали застроить казематами, но убыль ушедших на поселение по различным милостивым манифестам остановила это дело. Таким образом, петровские казематы, вместе с огородным местом, составляли прямоугольный равнобедренный четырехугольник. Пустое огороженное пространство служило местом для прогулок. Тут зимою устраивались горы и катки для конькобежцев.

¹²³ В читинской столярной Н. А. Загорецкий, о помощью простого столяра, изготовил прекрасные стенные часы из кастрюль и картона, с помощью одного ножичка и пилочки и под мраком таинственности. Все острые орудия были запрещены: не давали ни ножей, ни вилок и даже обламывали кончики щипцов. И. А. Бестужев всеми неправдами добыл себе нож и маленький подпилоч, устроил токарный станок и сделал часы, которые и подарил А. Гр. Муравьевой. Комендант, как известно, разрешил ему впоследствии пользоваться инструментами.

¹²⁴ Об этом обязательном ограничении сообщал сам комендант. Это же послужило основанием и для определения артельного довольствия; это же ограничение установлено было потом и для вышедших из каземата на поселение.

¹²⁵ Комиссии дано было полномочие «учредительного собрания» (constituante). Решения ее были окончательные, и впоследствии устав мог изменяться только по правилам, определенным в самом уставе. Комиссия, однако, пользовалась своим полномочием очень либерально: не только заседания были гласные, но и вне заседаний члены комиссии в своих отделениях обсуждали со всеми каждый пункт. Можно сказать, что обсуждение было общее и каждый пункт устава был несомненно выражением большинства мнений.

¹²⁶ Мы видели подлинник этого устава с собственноручными подписями членов учредительной комиссии: Бобрищевым-Пушкиным, Бесчасновым, Завалишиным 1-м, Митьковым, Мухановым, Одоевским и Поджио. Последний подписал устав на правах очередного хозяина, участвовавшего в комиссии для объяснений по хозяйственной части.

¹²⁷ Процедура снабжения пищею женатых производилась так: в обеденный час повар или кухарка приносили кушанье в караульную, оттуда часовые приносили в коридоры отделений; коридорные сторожа ставили на стол. Приходили жены и обедали вместе; детям не дозволялось; слуг заключенных не допускали. Впоследствии, когда все перемололось, — все и переломалось и изменилось на лучшее и более упрощенное.

¹²⁸ Впоследствии §§ 11 и 12 заменены были таким образом:

§ 11. Если по действительном сборе всей подписной суммы, за вычетом хозяйств. и част. из общественной, будет какой-либо остаток, то оный обращается в остаточную сумму. Сверх того, в состав оной входит все, что, по окончании года, остается от суммы хозяйственной.

§ 12. Сия сумма считается действительно остаточною, если новая подписка удовлетворительна для полного годового содержания. В противном случае вся она или часть оной обращается на пополнение новой годовой подписки. Если же будет нужна только часть, то все остальное обращается в остаточную сумму. Вновь предложенный §: «для определения выдачи денег из запасной суммы отъезжающим на поселение, собирается временная комиссия» — отвергнут был большинством голосов (в 1832 г.).

¹²⁹ На все три года, пока каземат и артель были в полном составе, Д. И. Завалишин выбирался постоянно членом временной комиссии (даже когда был и сам хозяином) и был всегда делопроизводителем.

¹³⁰ Чай и сахар оказались продуктами наиболее дорогими и разорительными для артели. По бюджету 1832 года видно, что пшеничная мука стоила 900 руб., говядина по $4\frac{1}{4}$ пуда в день — 2335 руб. в год, а один сахар 2850 и чай на 1456 руб. в год же.

¹³¹ Зала состояла под наблюдением хозяина и разделялась на 2 части: в меньшей была устроена контора хозяйственной комиссии, бóльшая оставалась для общественных нужд: богослужения, баллотировки, для учебных классов и проч.

¹³² Сверх должностей хозяина, закупщика, казначея и огородника, на членах артели лежали обязанности дневальных на кухне. По читинскому Положению, это делалось за вознаграждение желающими, в Петровском заводе установлена была валовая очередь понедельно. Читинское дежурство вознаграждало избавлением от казенных работ, в Петровском заводе это было отменено.

¹³³ Сверх сметного расхода, предназначаемого в артель, временами собиралась с каждого подписка на едновременные добровольные взносы, например, на памятник Пестову, на вспоможение ссыльным полякам, на помощь исключенному из артели и общества товарищу. В общество, сверх декабристов, приняты были присланные из Оренбурга за составление там тайного общества Ипполит Завалишин, Дружинин, Колесников и Таптынов. В Петровском заводе Завалишин был принят в артель. Там же приселили к ним слепого старика Сосиновича, из поляков, и какого-то разжалованного майора Кучевского. Их не спросили, кто они, и приняли в артель на общем положении. Они пользовались выго-

дами этого учреждения, выгодами вещественными, но не были действительными членами, то есть не пользовались никакими правами членов артели. Сосиновичу отчасти помогал Лепарский (Сосинович один из всех эмигрантов, судившихся в Гродно по делу Воловича, был приговорен на каторгу).

¹³⁴ Этот § был приобщен к уставу впоследствии, в 1835 году.

¹³⁵ Впоследствии из большой артели выделилась малая, предназначенная исключительно для пособия отъезжающим на поселение.

¹³⁶ Впоследствии временной комиссии предоставлено было право предлагать на общее утверждение только те предложения, которые найдет полезными, а бесполезные оставлять без представления к общему сведению. Это представление, вызвавшее безусловное и общее согласие, внесено было в устав новым параграфом.

¹³⁷ Избирательные листы посылались по номерам казематов с надписью наверху просьбы: «передавать дальше безотлагательно».

¹³⁸ Суммы, приходящиеся на долю каждого из «частной суммы».

¹³⁹ Баня топилась еженедельно в субботу, по постам — в пятницу. Кто желал заказывать для себя в другой день недели, тот платил в артель; если заказчиков было менее 5-ти — один рубль, пять и более — $1\frac{1}{2}$ руб.

¹⁴⁰ На жалованье служителям петровская артель тратила ежегодно 774 р.; на содержание бани 15 руб., на содержание кухни 100 р., на соль 100 р., на мясо 630 р., на бумагу для книг и счетов 30 р., на овощи 400 р., на праздники 150 р., на огород 210 р., на крупу 100 р., молочные скопы 75 р. и проч.

¹⁴¹ Самыми деятельными хозяевами были Д. И. Завалишин и В. А. Бесчаснов. Некоторые решительно отказывались на новые выборы. Бывали случаи отказов и от артели, но по просьбам товарищей оставались, доказывая доброе расположение к обществу. Должность хозяина сопряжена была с большими затруднениями: каждому желалось угодить товарищам, соблюсти общие интересы и удовлетворить, вместе с тем, и частным. Немало затрудняло измышление кушаний для разнообразия, разделение стола в постные дни и, в особенности, выгодный закуп, чего не могли они достигнуть, подняв петровские цены своим крупным запросом. Так, между прочим, коровье масло принуждены были выписывать из Четы: тамошнее оказалось лучше и с провозом дешевле петровского.

¹⁴² При выдаче занимаемой суммы за первый же месяц вносились проценты наличными или купоном на большую артель; за следующие же месяцы всегда к 1 числу каждого месяца: эти проценты платились всегда за целый месяц, несмотря на меньший срок займа. За желание променять выписные на всякого рода наличные платился 1%, т. е. деньгами или продуктами. В обеспечение представлялся или купон или свидетельство поручителя. За положительную ценность купона принимались $\frac{2}{3}$ годового ручного участка, объявляемого большою артелью. Месячный купон был вообще $\frac{1}{12}$ часть объявляемого годового и, подобно ему, ценился также в $\frac{2}{3}$. Лица, не состоящие в большой артели, имели право на заем только $\frac{1}{4}$ части ежегодно получаемой ими суммы и представляли в обеспечение расписку, дающую право казначею большой артели вычест

по ней сполна из первых получаемых ими по займу денег. Если кто из членов постоянной (хозяйств.) комиссии большой артели желал сделать заем для оборотов касательно вверенной ему должности, то представлял в поручительство подпись всех трех членов своей комиссии. Те, которые занимали сумму, превышающую сумму, обеспеченную купонами, равно и лица, не состоящие в большой артели, в случае просрочки, платили: за 1 месяц один добавочный процент, за 2-й — два и т. д., до окончательной уплаты занятой ими суммы. Раз случилось так, что потребовалось удовлетворить отъезжающих, между тем за некоторыми членами оставались невнесенные подписные деньги, — поступили таким образом: так как деньги (652 р.) не могут быть скоро внесены, а с другой стороны, получены сверх подписки, не входившие также в расчет 299 р., то, за вычетом их, остающиеся 253 руб., недостающие до полной подписки, должны быть разложены на всех получающих купоны. 5 р. 6 к., причитающиеся на одного, должны быть вычтены из следующих каждому из отъезжающих добавочных денег. Сверх того, от них следует вычесть и жалованье за месяц, входившее в расчет при бюджете (в 1833 году).

Сохранилась следующая таблица, показывающая степень обеспечения:

<i>Месяц</i>	<i>Год обесп.</i>	<i>Мес. обесп.</i>	<i>Макс. займа</i>
Апрель.....	177 руб.	14 руб. 50 коп.	29 руб. — коп.
Май.....	162 "-	14 "- 50 "-	29 "- — "-
Июнь.....	132 "-	14 "- 50 "-	29 "- — "-
Июль.....	118 "-	14 "- 50 "-	58 "- — "-
Август.....	107 "-	14 "- 50 "-	58 "- — "-
Сентябрь.....	88 "-	14 "- 50 "-	58 "- — "-
Октябрь.....	64 "-	14 "- 50 "-	58 "- — "-
Ноябрь.....	59 "-	14 "- 50 "-	58 "- — "-
Декабрь.....	44 "-	14 "- 50 "-	43 "- 50 "-
Январь.....	80 "-	14 "- 50 "-	29 "- — "-
Февраль.....	15 "-	14 "- 50 "-	14 "- 50 "-

Март — смотря по присылке в большую артель денег и по соображениям ценности купона, который был объявляем. Сверх означенных обеспечений, каждый член общества мог представить на этот предмет 25 р., т. е. минимум своего вклада.

¹⁴³ Для чтения газет существовал порядок и очередь; установлена строгость и правильность: для чтения газет предоставлялось два часа, для чтения журнала 2 и 3 дня. Сторожа беспрестанно разносили из номера в номер газетные листки, на которых каждый отмечал время получения и отправки.

¹⁴⁴ Так, между прочим, для банщика скопилось в артели 480 руб. Когда распустили казематы, он получил эти деньги на руки; мог бы жить безбедно; баня подарена была ему также в собственность и казематский бык, возивший воду. Ссылный не выдержал, бежал, на дороге его обокрали товарищи; тогда он явился с повинною.

¹⁴⁵ Увезенные вперед поселенцы имели возможность при свидании с последующими объяснить им отчасти то, что их впереди ожидает, и помогать им различными услугами. В Верхнеудинске встречал их Ал. Ник.

Муравьев с женою и свояченицею; в Иркутске, в бане, успел свидеться с братьями А. А. Бестужев-Марлинский, увозимый в Якутск на поселение и переведенный в 1829 году на Кавказ в солдаты, с правом выслуги, где он и погиб. Перед Иркутском встречал Влад. Феодосеев. Раевский, принадлежавший к Южному обществу, но раньше товарищей своих сосланный из дивизии Мих. Орлова (2 армии), где В. Е. заведовал школою взаимного обучения, заведенною впервые в России по инициативе М. Орлова. Раевский слишком решительно действовал и попал под суд и на поселение в Олонки.

¹⁴⁶ В Петровском заводе из 50-ти сошло с ума двое: Андреевич и Андрей Борисов; на поселении из 14-ти — пять.

¹⁴⁷ Перед отправлением 7-го разряда прибыли в Читу Игельштром, Вегелин и Рукевич, от Тобольска шедшие пешком в цепях с этапными партиями. Пешком же шли, как сказано, Соловьев, Сухинов, Модзалевский, Быстрицкий.

¹⁴⁸ Один из 6-го разряда, А. Н. Муравьев, присужденный на 7 лет каторги, сослан на житье в Иркутск, потом перемещен был в Верхнеудинск, потом снова в Иркутск на службу полицеймейстером; затем в Тобольск губернатором. Впоследствии был военным губернатором в Нижнем Новгороде; скончался в 1863 году в Москве уже в звании сенатора. Шестой разряд составлял еще другой ссыльный Люблинский, присужденный к каторге тоже на пять лет, но не прощенный. Двух из 7-го разряда, вместо двухлетней каторги, сослали в крепостные работы на 2 года (полковника Бестреля и поручика Булгари, последнего по молодости лет). Из 8-го разряда лейтенант Бодиско, вместо поселения, записан был в матросы; из 5-го брат его, мичман Бодиско, вместо 8 лет каторги сослан в крепостные работы. Из 1-го разряда Тургенев скрылся за границу; за границу спаслись Яков Толстой и Чаадаев; Булатов и Поливанов сошли с ума еще в Петровской крепости, Пассек умер еще в 1825 году.

¹⁴⁹ Третий разряд составляли двое: Штейнгель и Гаврила Семенович Батенков. Первый уехал на поселение в Тару (Тоб. г.) в июне 1836 г. вместе с четвертым разрядом, а Г. С. Батенков, просидев в Петропавловской крепости 12 лет, вывезен был в Томск, когда тот разряд, в котором он считался, был также отправлен на поселение из каземата. В этом городе он был поселен один и первым и когда явился с именем секретного, все от него сторонились, никто не хотел пускать на квартиру. Вел он сначала цыганскую жизнь. Нашелся сердобольный гостинщик с красными веками, показавший себя в России за альбиноса, выпросивший 100 руб. в месяц только за квартиру, тогда как Батенков получил в видах исключения от товарищей 1200 руб. асс. Наконец, нашлось доброе семейство старожилов: один брат служил и умер при Коряковских соляных промыслах, оставивши семейство свое на руках другого брата с клятвою не покидать. На беду этот брат полюбил девушку, и клятва встала препоною. Батенков принял на себя клятву и заботился о вдове и сиротах, живя на собственном хуторе за чертою г. Томска. Выселившись в Россию, Гаврила Семенович взял туда с собою и это семейство.

¹⁵⁰ Свистунов и Анненков поступили в Тобольске на службу.

¹⁵¹ Из них фон Бриген, почему-то получивший право ехать вместе с товарищами на Кавказ солдатом, впоследствии поступил писцом в курганский суд и через 10 лет получил первый гражданский чин.

¹⁵² Когда в 1848 г. сестры Бестужевы приехали в Селенгинск, все население города вышло к ним навстречу. Приезжие с большими усилиями могли пробиться сквозь густую толпу в объятия братьев, выбежавших к ним навстречу. В лице одной из сестер братьев Бестужевых (Елены Александровны) является новый благодетельный гений, дополняющий цикл тех, о которых мы уже имели случай рассказать выше. С молодых лет, когда она потеряла пятерых братьев, она заступила их место для младших сестер и больной матери. Любовь к братьям Ел. Алек. сначала выразила свиданиями и посещениями их, несмотря на массу препятствий, в страну изгнания посылала все необходимое, исполняла все поручения. Для брата Александра (Бестужева-Марлинского) она была комиссионером во всех его авторских сношениях со Смирдиным и другими издателями; для лишившегося рассудка брата Павла она испросила прощение и, вместе с ролью страдальцы, приняла на себя заботы о последующей судьбе его. Когда Елена Александровна похоронила братьев и мать, когда исполнилась ее миссия в России, она распродала все свое и с двумя сестрами поехала в Сибирь отдать свою жизнь, любовь и силы двум остальным братьям, оставшимся в живых, и как бы для того, чтобы закрыть глаза навеки еще одному кровному другу. «Отрадно быть братом этой души высокой», — справедливо говорит в одном из своих писем А. А. Бестужев-Марлинский об этой «хлопотальнице за всех», об этом «образце сестер».

¹⁵³ Бестужевский способ давал простор команде и сокращал издержки. Впервые применен был этот способ при вооружении корабля «Эмгейтен».

¹⁵⁴ Огонь пропускался из горнила вверх, оттуда оборотами книзу и потом снова оборачивался колодцем кверху; таким образом, труба приходилась над этим последним колодцем, вопреки общим приемам сибирских печников. Устройство печи стало проще и дешевле. «Сам я был и есмь беден, — говаривал Н. Ал., — а потому знаю, каково беднякам на свете».

¹⁵⁵ Кроме того, есть еще одно обстоятельство, особенно характеризующее декабристов и подтвержденное общим свидетельством: это — совершенное отсутствие озлобления против судьбы и людей. В этом отношении декабристы не были похожи на революционеров других стран и не держались никогда правила: «чем хуже, тем лучше» и «все худо, что делается на воле». Совершенно напротив, они брались везде поправлять зло, быть полезными везде, куда бы ни были невольно заброшены судьбою, содействовать добру, хотя бы оно делалось не через них.

¹⁵⁶ Несмотря на сибирские морозы, доходящие в Чите до 35°, у Дм. Ир. в доме не было зимних рам на северной стороне, со всем тем тепло держалось до 16°. На всех окнах стояли цветы, а на полу кадки с деревьями представляли из комнат род оранжерей. Подробное описание всех чудес его хозяйства к усовершенствованию породы скота, полеводству, ого-

родничеству, цветоводству, по устройству лечебных пособий, которыми пользовались не только местные, но и все окрестные жители издавна, заняло бы слишком много места.

¹⁵⁷ Последняя прожила в Ялutorовске девять лет по смерти мужа в 1846 г. Жена Юшневского не могла разделить тюремной участи мужа.

¹⁵⁸ Ив. Ив. Горбачевский остался потому, что иркутский чиновник воспользовался теми деньгами, которые высланы были Горбачевскому по завещанию его умершего брата, для устройства на поселении, а также и потому, что не хотел встать в зависимое от других положение.

¹⁵⁹ Кроме Большого Нерчинского (давно уже не действующего), построенного в 1704 г., были следующие заводы: на реке Кулукче, в 40 верстах от Большого, в 1760 — Кулукчинский, названный потом Борзинским и, наконец, Дучарским; в 1764 — Кутомарский, в 1769 — Шилкинский; в 1776 — ниже Кутомарского, Екатерининский, первый вододействующий; в 1778 — Газимурский: все 7 казенные. В 1816 году приобретен в казну и Воздвиженский завод на слиянии реки Записанной с Аргунью, выстроенный в 1776 г. частным заводчиком Сибиряковым.

¹⁶⁰ Ссылка на Колывано-Воскресенские (т. е. Алтайские) заводы прекращена в 1762 году (сенатским указом 22 января).

¹⁶¹ В нерчинском заводе 446 муж. и 7 жен.; при кожевенной фабрике, в 17 верстах от завода, построенной на р. Аргуни в 1789 г., ссыльных рабочих 21; при суконной фабрике в том же селении, где и завод, устроенной в 1832 г. и выделявавшей шерстяную пестрядь или сукманину — 14 муж. и 21 жен.; в Дучарском заводе, в 40 верстах от Нерчинского, в 30 от Калтумы, основ. в 1760 г. — 279 м. и 1 ж.; в Кутомарском (1764 г.), в 70 вер. от Нерчинского и в 3 от Екатер. зав. — 330 м. в 3 ж.; в Газимурском (1778 г.), 107 в. от Нерчин. — 58 м. и 1 ж.; в Александровском (1792 г.) — 120 м. и 1 ж.; в Шилкинском (1769 г., в 170 в. от Нерчинска) — 125 м. и 1 ж. По рудникам работало ссыльных 1931 м. и 28 ж.; на Воздвиженской дистанции 373 м. и 7 ж., на Благодатской 165 м. и 2 ж., на Зерентуйской 255 м. и 4 ж., на Михайловской 51 м. и 1 ж., на Кадаинской 113 м. и ж., на Клячинской мастеровых и ссыльных 383, на Алгачинской 238 м. и 2 ж., на Газимурской дистанции 297 м. и 4 ж., Култуминской 41 м. и 4 ж., Шилкинской 18 м., на Ононских оловянных приисках 2 м.

¹⁶² Высылали и 50 человек тунгусских казаков для поимки беглых, учреждали и целый полк (Селенгинский), между прочим, для той же цели; выслали из России и мещеряцких казаков. Тунгусские казаки явились в своем национальном платье из козлиных кож с луками, стрелами и при саблях, но ссыльных не испугали и дороги им в лес не преградили.

¹⁶³ В 1759 году рекомендовалась нерчинским заводам предосторожность; в 1765 году прикомандирована была гарнизонная рота для охранения заводов от китайцев и неприятельских набегов. Впрочем, опасения были излишними и напрасными с той поры, когда Головин нерчинским трактатом прекратил несогласия с Китаем, а ссыльный гетман Демьян Многогрешный разбил бурят наголову и застрашал их до вечного подданства. Несогласия позднейшие вызывали мелкие набег и стычки со стороны местных жителей, вытесненных с култунских копей (вблизи

Большого Нерчинского завода). Судя по оставленным ими плавильным печам, монголы знали цену нерчинскому серебру и унесли в степь за Аргунь живые предания о серебряных добродетелях. В прошлом столетии побаивались и венгерцев, явившихся со своими заветными и известными на всю Русь ящичками с контрабандными товарами и лекарствами, велели иметь осторожность и от поляков, приезжавших в той же обстановке пеше-бродячей торговли. В том и другом случае боязнь имела характер политической предосторожности на случай государственных измен и возмущений.

¹⁶⁴ В 1816 году как заводы, так и рудники с приисками куплены у наследников Сибирякова в казну. На все имение до этого времени наложен был секвестр.

¹⁶⁵ При этом нельзя не заметить того важного обстоятельства, что разглашению Чернышева о себе как об императоре помогал также второй священник Иваницкий, и первыми поверили также лица духовного звания.

¹⁶⁶ Уколова дала самозванцу шубу и потом ездила с попадъей в другое село для разглашения.

¹⁶⁷ Один из них, Тибекин, был в числе других, разглашавших о том, что в селе между ними находится император.

¹⁶⁸ Били кнутом еще однодворца Федюнина (за то, что разглашал, будто бы он самозванца в бытность в Петербурге видал); били кнутом выборного Черного, но оставили обоих на прежнем месте жительства; били плетью поповского сына Попова, поповского сына Фомина и обоих крестьян г. Кологривого («яко помещичьих воров» — прибавлено в указе). Попов по наказании освобожден, а крестьяне «отосланы на старое жилище, куда принадлежат». Из числа 25 крестьян пять человек, по жребью, также высечены были плетью и потом все распущены. Четверо выборных также наказаны были плетью; восемь человек солдат из команды бывшего фурыера Будинова велено наказывать каждого перед своею ротою батогами слегка, определить в службу по-прежнему. Всех лиц духовного звания (попов, дьяконов и церковников) поддержать под караулом, в тюрьме, несколько недель на хлебе и на воде, а потом отослать к епархиальному архиерею, для свидетельства — способны ли они впредь остаться в прежних своих званиях и местах? Тот же арест в тюрьмах, с содержанием на хлебе и на воде, присужден был и всем остальным из обвиненных: «Так как они к послушанию самозванца приведены ложным уверением и свидетельством распопа Льва, також будучи ослеплены таким же презренным послушанием приходов сих причетниками, коих они, по своей глупости, не менее считают как людьми во всем перед собою знающими, так как необыкновенное оные над ними приобретают начальство». Две женщины освобождены без всякого наказания вместе с подпрапорщиком Внуковым, сержантом Колесниковым и дьячком Иваном Поповым. Отставной поручик Савва Романов был лишен двух чинов, содержался на хлебе и на воде две недели и потом освобожден Воронежского батальона фурыер Иван Бурдинов за то, что повиновался и исполнял приказания самозванца (ездил по селам и разглашал о приезде императора, привлек на свою сторону 8 человек вве-

ренной ему команды и, наконец, приехал в Воронеж для занятия Кремневу квартиры) — был прогнан сквозь строй через тысячу человек шесть раз и записан потом в солдаты в тот же батальон «для примера других», как сказано в указе. Пьянство, «жадность к оному, необузданное, вожделенное буйство, сопряженное с глубоким невежеством, подлое бессмысленное состояние людей непросвещенных, слабый смысл, неразумие и легкомыслие» — вот те облегчающие причины, которые были призваны указом к смягчению приговора и объявлены всем обвиненным.

¹⁶⁹ Князья Гантимуровы наводили страх на горные и другие начальства и пользовались почетом в те времена, когда еще не остыло уважение к государственным и политическим заслугам их предков. Вот коротенькая история этого княжеского рода. В XVII веке один из князей Гантимуровых владел в Китае землями и получал, в качестве вассала, три слитка золота и 1200 ланн серебра. Во время войны китайцев с русскими его послали впереди китайского и тунгусского войска на завоевание Камарского острога на Амуре. Гантимур без боя возвратился домой и, боясь наказания, с женами, родными, детьми, в количестве 500 душ тунгусов, ушел в Сибирь и принял русское подданство. В 1685 г. он крестился с именем Петра, а сын его Катан назвался Павлом. Его обеспечили имением и дали власть над 12-ю тунгусскими родами и с титулом князя внесли в книгу княжеских родов. Впоследствии царь вызвал его в Москву. Гантимур с двумя сыновьями и Сахалтуем, одним из тунгусских старшин, получившим потомственное дворянство, пустился в путь. На дороге, в Нарыме, старик Гантимур умер, а сын его Катан с братом Чикулаем и Сахалтуем благополучно прибыли в Москву. Катан воротился в Нерчинск и управлял тунгусами, а Чикулай вступил в русскую службу и уже не возвращался в Сибирь. Катан от крещеной жены имел сына Илариона; он, как царский стольник, получал ежегодной пенсии 40 р. асс., 20 ведер водки, 40 четвертей хлеба, 20 четвертей овса, соль и крупу. Богдыхан после побега Гантимура посылал к нему послов, которые должны были склонить его к возвращению и привезли ему в подарок золото, серебро, богатый пояс и сбрую. Гантимур подарков не принял и не возвратился. Тогда выслано было войско схватить его; китайское войско встретилось с Гантимуром на горе Умыкей, в 15 верстах от Нерчинска. Произошла битва — Гантимур был ранен, а китайцы разбиты. При заключении Нерчинского трактата 1689 г. китайские послы настойчиво требовали выдачи Гантимура, но его отстояли. Тунгусы Гантимура получили земли на Шилке, Газимуре, в Куенге, на степях Аргунских по Онону. Впоследствии из тунгусов онокских собрали казачий полк, который с тех пор и оставался под командою Гантимуровых. Современный нам князь тунгусский служил в военной службе, дослужился до капитанского чина и возвратился за Байкал в деревню Урульгу, находящуюся на Нерчинском тракте за Читой в 25 верстах от Кайдалова, — совершенно русским человеком.

¹⁷⁰ Карпов оказался впоследствии неисправным комиссионером: денег не отдал, вещи распродав и полученное за них расходовал лично на себя; Чернышеву же и сообщникам его обо всем этом не давал знать. Ходил Карпов за подаванием по фальшивому увольнительному виду, написанному Львом Евдокимовым.

¹⁷¹ Вот смысл прошения Шебарши: «Ко мне приезжали солдаты и вооруженные люди и хотели вести меня сильно. Я был на то время в собственном поле при посеве хлеба. Солдаты ночевали у меня. На другой день требовали обеда, и когда им дали постное, то разложили огонь на дворе, начали варить скоромное и чуть не сожгли весь дом. Уезжая, сильно грозились на меня; а делали все это ради корыстолюбия, ибо он-де, Шебарша, с заводским начальством никаких дел не имеет, а оно знает его достатки и многих богатых успело разорить поборами, взятками». Боясь вторичного нападения начальства, Забелин (т. Шебарша) тайно выехал в Нерчинск под защиту воеводы.

¹⁷² На подлиннике письма этого написано было рукою самого Иваницкого: «Sub secreto».

¹⁷³ Таковое правописание подлинника. На нем пометка: «Дучарской, октября 3-го 1768 года».

¹⁷⁴ Так, напр., били плетью плавильного мастера Ив. Карцова и добились только того, что заставили его показать согласно с Чернышевым. Относительно писем узнали только, что они действительно были присылаемы и читались Чернышеву у кузнечного горна. Но во всех письмах этих находили только намеки; все они писаны с великою осторожностью, в них заговорщики ни в чем не промолвились.

¹⁷⁵ Командир нерчинских горных заводов генерал-майор Василий Иванович Суворов, отец знаменитого героя.

¹⁷⁶ Во всем остальном очные ставки выводили наружу одни только мелочи; так, под письмом, отосланным к Большакову, было подписано только «Петр Федоров», а не добавлено Чернышев. Писем он не писал сам по неумению; подсудимые не говорили прежде никого из боязни наказания и т. п.

¹⁷⁷ Тогда же и за то же, вероятно, сослан был и поп Иванецкий в соседство к Чернышеву по нерчинским заводам.

¹⁷⁸ Следует запутанный рассказ об упорстве Гантимурова явиться в канцелярию горного начальства и дать ответы и изъяснение опасений канцелярии действовать наступательно: «ибо у них (Гантимуровых) кочующих тунгусов под командою состоит немалая тысяча человек и народ весьма легкомысленный и склонный к продорзостям!»

¹⁷⁹ Прогонов назначено было 41 рубль до Петербурга (1204 версты до Иркутска, 5420 до Новгорода, 186 до С.-Петербурга), а на обратный путь на 624 версты 75 руб. 98 коп., «ибо летним путем отправления быть не уповательно». В инструкции, выданной посланному солдату, замечательны §§ 3 и 4. В них сказано: «будучи в оном нигде пути, никаких обид, налогов и напрасных прибытков не чинить и до взяток ни под каким видом и ни на единую полушку не касаться и поверстные деньги ямщикам платить сполна, по указу, без малейшего удержания; в волокиты также по не принадлежащим никому из живущих по пути обывателям, состоявшимся указов и собою вымышленных лживых и тебе того не известно-го не рассказывать. Ежели что в государственных делах подлежать будет тайности, оного отнюдь в партикулярных письмах никому не писать, ниже сюда, кроме настоящих доношений».

¹⁸⁰ Вот что писал, между прочим, князь Вяземский к Суворову: «1) Как уже о учинении означенному Чернышеву, за показанную вину, наказания, а равно и о (вободе содержащихся по сему делу людей, минувшего сентября 5-го высочайший ее имп. велич. указ ген.-майору Суворову дан, то ныне об оном Чернышеве и резолюцию вновь нужды давать не остается: 2) из произведенного же следствия усмотрено, что ссыльный Кузьма Фирсов, будучи столь бессовестен, что не только разглашал и утверждал это Чернышева разглашение за истинное, именно же тем, якобы он сам, будучи в Петербурге, его видал, чего никогда в самом деле не было, да и быть не могло; однако же, сам своим ложным и вымысленным уверением показанных по делу людей довел до тюремного заключения, — чего ради за таковой его умысел ложный и что, чрез сие самое, утвердил он и в прочих более вероятия; также, дабы и впредь он таковых ложных плевел рассеивать не отважился, наказать его, Фирсова, публично плетью и из-под караула освободить; 3) что же по оному следствию открыто было, хотя от недостойных веры людей, якобы генерал-майор Ивашов, а равно и его адъютант о разглашении Чернышевым о себе были известны, чего в самом существе быть не можно, да и самые сии оклеветатели в том ложном разглашении признались, то и оное предать совершенному забвению». Предложение это приведено было в Нерчинском заводе в исполнение 27 января 1771 года.

¹⁸¹ На реке Тазе, около 1800 верст от реки Енисей, через тундру, гораздо севернее Туруханска, вблизи океана, существовал этот острог Мангазея. Название свое он получил от первого русского хлебного магазина (мангазеи), построенного в прошлом столетии, тотчас по занятии того края русскими, и когда еще хлеб в северную Сибирь доставлялся из Архангельска через Обскую губу. Лет с лишком сто тому назад эта Мангазея сожжена юраками, враждовавшими с остяками, и за то, что русские вступились за остяков. Вследствие этих несогласий, земли были разграничены: правые берега р. Оби и Таза отданы были юракам, а левые — остякам. Теперь на месте Мангазеи не видать не только русских изб, но даже и инородческих юрт.

¹⁸² В современном архиве современного Нерчинского горного правления хранится все это дело о Чернышеве с надписанием: «Секретное дело о каторжном Петре Чернышеве с 1770 года (начато по рапорту дучарской заводской конторы), преданное вечному забвению». В ряду других Чернышев — седьмой самозванец на одно и то же имя.

¹⁸³ В этих наставлениях особенную заботу он прилагает к удобрению полей и посевам. Так, советует мочить семена через ночь в навозном соку и пересыпать лежалом на воздухе известью. Выжженные поля и нови советует проходить нарезною сохою вдоль и поперек столько раз, сколько потребно для рассечения корней, которые потом легко вывалются. Места, где хлеб худо родится, предлагает пахать на быках, ибо-де одна лошадь не имеет силы против двух быков, а пара быков не дороже хорошей пахотной лошади. Сеять хлеб предполагает мельче: «мельче сеянный, — говорит он, — родится лучше глубоко сеянного»: сам делал

опыты, и счастливый результат остался на его стороне. Запахивать посеянный хлеб (как это делают крестьяне) не советовал, но полагал срезывать стебли озимых всходов даже до 4-х раз. Дает несколько медицинских советов для лечения заболевшего скота и несколько гигиенических для предотвращения скота от болезней, и проч. и проч.

¹⁸⁴ В учителя назначены: унтер-шихтмейстер Хоппа и ссыльный, находящийся в работе, Семен Лицкий.

¹⁸⁵ Получавшие прежде 60 рублей, при Нарышкине стали брать 96; получавшие 48—84 руб. и пр. Прибавлял Нарышкин к прежним окладам от 36 руб. и до 2-х руб в год (ниже двух не опускался).

¹⁸⁶ Нарышкин привез с собою из Петербурга одного штаб-, шесть человек обер-офицеров и лекаря, сверх положенных в штате до того времени. Чиновников этих он взял не по выбору, но по вызову.

¹⁸⁷ Уезжая до того времени в Иркутск, Нарышкин писал к управителю Губанову и берг-гешворену Казимирову: «Ежели оного завода я не получу, то должен буду терзать свою совесть и мучиться, и без шуток напишу обоих вас в рудокопщики».

¹⁸⁸ Напр., установил праздник «Открытие новой благодати»; приказал, чтобы все каялись во грехах, и для этого остановил все заводские работы.

¹⁸⁹ В первый раз, по приезде в Сибирь и после 11-месячного добровольного заключения дома (причем не приказывал отворять ставни), Нарышкин вышел в первый день Пасхи, как уверяет народное предание, вообще к нему недружелюбное. Оно говорит, что Нарышкин заставил попа служить прежде заутрени обедню и затем ходил в церковь ежедневно. При этом две чиновницы вели его под руки; он шел, приплясывал и пел любимую свою песню: «Батюшка богат — черевички купил». Так, между прочим, народ еще сохранил из странностей и выходок Нарышкина одну также в предании: сну его мешал голосистый ретивый петух. Нарышкин, чтобы избавиться от докучливого соседа, в силу присвоенной ему командирской власти, приказал петуха заковать в кандалы.

¹⁹⁰ Описание прибавляет при этом: «За столом, между прочими, посажены были на верхнем месте достойный и ревностный Шагинской сотни староста Шестаков и незаконно пострадавший и увеченный серебряно-разделительный подмастерье Шипунов».

¹⁹¹ Наставлению этому Нарышкин предпослал таков предисловие: «Как должность истинного христианина, польза каждого сына отечества, а паче благосостояние и непоколебимость священнейшего престола требует того, чтобы все впадающие удобо-поползновенным естеством в противные Богу, священным монаршеским уставам и должности честного человека преступления, без всякого кровопролития и излишнего истязания, раскаявшись во всех своих злодеяниях, могли чистосердечно открывать все свои преступнические дела, и как здешнее место определено к принятию и содержанию всех присылаемых за свои преступления и из оных таковые есть, которые столь окаменелы в своих сердцах, что никакою жестокостью, никакими истязаниями к раскаянию приведены быть не могут, то в таком случае потребно представлять таковым

лишенным Божией благодати нижеследующее (следует 5 пунктов или §§)». В толкованиях об истинах веры колодникам, Нарышкин ведет к понятию о грехе историческим рассказом священной истории Ветхого Завета и к понятию об искуплении от греха подробностями явления Христа на земле с Новым Заветом. Толкует о покаянии так, как бы могло толковать только духовное лицо и притом образованное в истинном смысле этого слова.

¹⁹² В отстроенный дом приведены были две борзых собаки и 4 лисенка. К смотрению за ними приставлен был мальчик, с платою по 10 руб. в год.

¹⁹³ Сколько сам Нарышкин любил палить из пушек, столько же не щадили казенного пороха и его приближенные. Так, напр., тот же Кесслер палил 28 июня «до самого вечера во здравие государыни», затем уехал в Дучарский завод и там палил. «Все из любви к вам, — писал сам Кесслер, — и господа офицеры, взявши на свой счет пороха, произвели довольную стрельбу».

¹⁹⁴ Так Кесслер доносил ему, что получил от поверенного 50 ведер простого вина.

¹⁹⁵ Так, напр., за быков платил 6 руб. 50 коп., а за лошадей по 250 руб.

¹⁹⁶ На льготы эти соблазнились тунгусы родов: дулигацкого, баягирского и чипчинуцкого. Они просили крещения.

¹⁹⁷ С дороги (с реки Оны) он писал в народ, между прочим, следующее: «Встретившиеся к немалому сожалению никогда не ожидаемые противные и лжесоставленные вредные предприятия удинской, провинциальной канцелярии присутствующих и с ними согласившегося удинского коменданта Аппеллегрейна, все благоутодные Богу и монархии мною начатые предприятия помешаны и почти совсем остановлены, ибо означенная канцелярия указами: харинских родов тайше и подполковнику Динбе Иринцеву — не велела ни в чем меня слушать. Чрез это помянутые братские не знающие и не просвещенные народы начали иметь колеблющиеся в том мысли и, опасаясь, чтобы не было им за то какого штрафа или вящее того наказания, начали те добрые и полезные намерения оставлять. Вчерашнего числа присланным та провинциальная канцелярия ко мне рапортом объявляет, что оное представлено к господину бригадиру — управляющему Иркутскою губернией, с тем, яко бы открылось пред сим скрываемое мною набирание и с помянутых народов бесполезность государству, наипаче в зловерность оному по причине коего из заводу выезду и по непринадлежности мне такого формирования в Иркутской губернии, яко не в своей команде в противность законов, и что та провинция от своей главной команды об оном учреждении никакого повеления и сведений не имеет, а, по дошедшим же к той удинской провинциальной канцелярии известиям, она меня почитает злодеем империи Российской: 1) что я будто бы набираю в гусарские полки самых неимущих пропитания и бродяг, которые при мне следуют в немалом числе и с забранными из неизвестных мест пушками; 2) в доказательство еще того нет послушания моим предложениям тою канцеляриею о выдаче денег насчет нерчинских заводов, коего с пятьдесят тысяч, когда

посланным от меня к удинскому коменданту Аппеллегрейну ордером велено присутствующих той канцелярии сковать, а ему велено вместо их в правление вступить — имеют к тому, ежели-де градоначальников не будет, то удобнее можно овладеть Удинском или всеми сей провинции принадлежащими местами, а особливо, пользуясь такими легкомысленными людьми и вероятными известиями, будто я начал ослеплять народ пьянством и хотя либо, по прибытии моем тайша Иринцев и был к сему благоугодному намерению согласен и я, по его приглашению, намерен был его посетить, но он, отпросясь вчерашнего дня вперед в свой улус, сегодня через посланного берг-гешворена Новоселова в своей ставке не найден, да и жены его также и никого братских здесь не оказалось. И потому чрез сие публикуется, что ежели тот тайша и все братские, кои уже собраны были, чрез два дня не явятся, то непременно именем ее императорского величества тайша, лишась чинов, жестоко будет наказан, да и с прочими поступлено будет по всей строгости законов. Я все сие именем ее императорского величества определяю и всем возвратившимся ее высочайшую милость обещаю. Не повинующиеся же угодному ее величеству делу и намерению да накажутся правосудным ее божественным гневом. И сие объявление за подписанием руки, с приложением герба моего печати, не только что публиковаться и в народ разбросано, но и по командам, куда следует, разослано будет».

¹⁹⁸ Иркутский летописец иначе передает это событие. Он говорит, что воевода Тевяшев прибегнул к хитрости: он пригласил Нарышкина в церковь для слушанья молебствия, по случаю его прибытия, а по выходе из церкви арестовал, посадил в лодку и отправил рекою Селенгою в Иркутск. В Иркутске Нарышкин, до времени отправки, пользовался полною свободою — жил он там 2 месяца. Народное предание говорит, что он все время ходил по кабакам и харчевням, поил и кормил на свой счет собиравшихся там людей и тратил на это огромные суммы. Его все считали сумасшедшим. Подробности походов Нарышкина в Верхнеудинске рассказал Калашников в своем романе «Дочь купца Желобова» (см. ч. IV, глава IV). Калашников основывал свой рассказ на народных преданиях, тогда еще очень живых и состоятельных в правоте своей. Верхнеудинский воевода — по этим преданиям — писал Нарышкину, чтобы он со своею свитою не въезжал в его провинцию, посылал к нему лазутчиков, в городе удвоил караулы, а в 10 верстах поставил отряд войска с артиллериею, тайно вытребованною из Селенгинска. Нарышкин не испугался, послал своего посла с требованием золота и серебра в десять тысяч; когда воевода отказал, Нарышкин потребовал сорок тысяч; когда же и на это требование получил отказ, командировал двух чиновников. Наконец, ночью приехал сам к воеводской канцелярии, кричал, чтобы отперли ворота, называя воеводу и товарища его ворами и бунтовщиками. Военная команда, стоявшая на дворе, начала уж колебаться, перешептываться, заявлять, что она не имеет письменного приказа, а потому хотела пустить Нарышкина. Но один старик закричал: «Кто бы вы ни были, в ночные часы пускать никого не велено». После этих слов Нарышкин отошел к фронту стоящего под ружьем гарнизона. Сюда явился воевода,

уговорил его и убедил отправиться на отведенную ему квартиру. На завтра Нарышкин начал требовать денег и вина. Приказано отвечать, что воевода денег не дает, а пьянства не любит. Нарышкин пошел в церковь и «собственногласно отпел молебен». Кругом церкви уже поставлены были солдаты. Собравшемуся, в чаянии денег, народу воевода дал приказание разойтись. Всех из свиты Нарышкина, выходявших из церкви, велел хватать и сажать под арест. Вышел и Нарышкин. Увидя солдат, он отдал саблю, признавая себя арестованным. Воевода вежливо просил его с ним отобедать на приготовленном судне; Нарышкин согласился. После обеда был отправлен в Иркутск.

¹⁹⁹ Иркутская летопись так описывает Немцова: он был человек неблагонамеренный, употреблявший непомерную строгость собственно для того только, чтобы более брать взяток и нажить более денег; с подчиненными служащими обходился неблагоприятно и определял к должностям не иначе, как взяв значительные подарки. Употреблял разные жестокости для своего корыстолюбия. Мелких подчиненных бил своими руками. Какого-то Бурцева приказал за что-то привязать к столбу и держал на привязи долго, чтобы навести страх на других. Имея знакомство с известным тогда разбойником Гондюхиным, учредил в городе какую-то глухую команду, которая, разъезжая по городу дозором, вместо охраны, делала буйства и грабежи. Немцов тайком уехал из Иркутска через два года после Нарышкина (1 февраля 1779 г.). Вслед Немцову из Иркутска посылались многие жалобы.

²⁰⁰ Этот Барбот де Марни находился прежде при Суворове в заводском батальоне. Нарышкиным произведен был в полковники и назначен потом, на место его, главным командиром нерчинских заводов.

²⁰¹ Определить с точностью, насколько это подозрение справедливо, по делам Нерчинского архива нельзя. Два тома дел о нем, попавшиеся нам в руки из архива Нерчинского горного правления, были далеко не полны. Чья-то хищническая рука (может быть какого-нибудь антиквара) сократила эти дела до приметной неполноты и разрозненности.

²⁰² По этой описи видно, что гардероб Нарышкина не был особенно богат, состоя из остатков прежней придворной роскоши. Нарышкин начинал заводить кабинет китайских вещей и имел небольшую библиотеку (до 300 томов), состоявшую из книг французских, немецких и русских. Большая часть книг — сочинения энциклопедистов и разного рода словари, описания путешествий и проч.

²⁰³ Замечательно при том, что этот последний из не бывших на службе самим же Нарышкиным произведен в одно лето в маркшейдерские ученики, затем в унтер-шихтмейстеры, шихтмейстеры и, наконец, в берг-гешворены.

²⁰⁴ Эллерс содействовал первым ученым исследованиям путей на Амур, предпринятым китайским послом Ю. А. Головкиным и производимым полковником д'Овре в 1806 году, составив нарочно для них особую путевую карту. Он предупреждал нужды и распорядился так, что посольство воспользовалось многими успехами.

²⁰⁵ Варница этого года устроена по вызову того обстоятельства, что в этом году прекратилась садка соли на Минусинском самосадочном озере.

²⁰⁶ У деревни Яковлевой открыты были медные руды, и кроме того, существуют вблизи завода железистые минеральные воды, а в шести верстах от него углекислые.

²⁰⁷ Состояние рассолов изменяется: в сухое лето они богаче, но приток их недостаточен на продовольствие действующих чренов. Ощутительно же понижаются они в своей густоте во время разливов р. Ангары от чрезвычайно быстрого притока нагорных вод рек: Иркуты, Ушаковки, Тойсона и Китоя, что бывает, по большей части, в июне и начале июля и во время рекостава Ангары в декабре и январе. При этих случаях нередко затопляется весь Варничный остров, и пресная вода, стекая с поверхности в колодцы, разводит рассол, делает его негодным к солеварению. Изубоженный притоком вод рассол не пускается в дело до того времени, пока вода Ангары не пойдет на убыль. Воду отливают, дают время концентрироваться в колодцах рассолу, и — солеварение вновь начинают. Особенно было сильно наводнение в 1772 году: вода стояла до половины дверей рассольных колодцев и варниц, заливалась даже в чрены, снесла с острова бани, мост через проток Усолку сломала все желобья, затопила соляные магазины и унесла более тысячи сажен дров. При заводе — своя лесная дача. Дрова предпочитают круглые, так наз. елтыши, как более удобные для того, чтобы легче подкатывать их под сковороды. В 1823 году варниц было 9, в 1886 уже 13. Шестьдесят пуд. соли требуют целую кубическую сажень дров.

²⁰⁸ Чистая, хорошо высушенная поваренная соль влаги не притягивает. Если в соли содержится хлористый кальций или магний, имеющие сильное сродство с водою, соль растворяется в притягиваемой из воздуха влаге и тогда утечка; если в соли серно- или углекислый натр или сернокислая магнезия, то соль выветривается, т. е. происходит усушка.

²⁰⁹ Был еще солеваренный завод в Охотске, действовавший очень долгое время и уничтоженный в 1839 году.

²¹⁰ Так, напр., для Александровского винокуренного завода привозили в 1802 г. из Тобольской губ., когда и самое курение вина приостановили, так что казна потерпела громадные убытки.

²¹¹ Избиравшиеся по благонадежности ссыльные для отправлевия особых обязанностей по заводу получали и особое жалованье, согласно штату, напр. нарядчик 70 руб., медяки 150 р., кузнецы по 60 р плотники, мельники и солодовщики 50 руб., браговары, нагребщики и затрубные по 40 руб. в год.

²¹² В 1839 г. домов, принадлежащих ссыльным, было 178, к ним в этом году пристроилось новых 2, в 1840 — 3, в 1841 — 4, в 1842 ни одного не выстроено, ни одного не куплено; в 1839 куплено 5, в 1840 — 5, в 1841 — 4, в 1843 построено 7 и куплено 8. Огороды с 155 возросли до 237. Прогрессивно увеличивалось и число скота: лошадей, коров, баранов, свиней.

²¹³ Этот Каменский завод, так же как сибирский бродяга, переходил от одного хозяина к другому и добился только одного: совершенного уничтожения. Он — по преданию — основан был под низкими, но крутыми

возвышениями при устье реки Каменки в 1663 г. каким-то Скрепковым, от него перешел к графу Шувалову, потом к Походяшину, потом к Лобанову и, наконец, в казну. Заводский архив говорит, что он снова отдан был в аренду тому же Лобанову с Кремневым, опять очутился в казенных руках томской казенной палаты, опять был отдан в аренду Ленивцову, в 1813 году снова поступил в казну, и проч.

²¹⁴ Кроме Солдатовской, действовали при помощи каторжных под Иркутском, в 28 верстах, Векшина посессионная суконная фабрика и также посессионная Тальцынская фарфоровая, фаянсовая и стеклянная, содержавшаяся купеческою компаниею в 30 верстах от Иркутска. В самом Иркутске, в начале прошлого столетия, стояла близ острога небольшая суконная фабрика, мастеровые на которой были также ссыльно-каторжные.

²¹⁵ В приложении этом не повторяем тех песен, которые свободно улеглись в тексте нашего сочинения.

²¹⁶ В России Разинскими песнями называются: 1) «Помутился славный тихий Дон», 2) «Из славного из устьяца синь-моря», 3) «У нас-то было, братцы, на тихом Дону», 4) «Уж как по морю синему, по синему по Хвалынскому», 5) «Уж вы, горы, мои горы! прикажите-ка вы, горы, под собой нам постоять», 6) «Как во славном городе, во Астрахани, очутился проявился тут незнамый человек», и проч.

²¹⁷ «Усы» несомненно воспевают подвиги известного разбойника Ваньки Уса.

²¹⁸ Каиновыми песнями, из которых большая часть вращается около разбоев и тюрем, полагаются, между прочим, из известных след.: «Пал туман на сине море», «Не бушуйте вы, ветры буйные, не шумите вы, леса темные», «Ты, рябинушка, ты, кудрявая», «Скучно, матушка, весною жить одной». Впрочем, с большим вероятием можно принимать за Каиновы песни те, которые отличаются более искусственным складом, отсутствием поэтического элемента и стремлением к тому остроумию, которое составляло его отличительную черту и в жизни и в следственных показаниях. Таковы: 1) «В славном было городе во Нижнем», 2) «В Архангельском во граде ходят девушки в наряде», 3) «Еще что вы, братцы, призадумались?», 4) «Чарочки по столику похаживают», 5) «Девушки вино курили», 6) «Вещевало мое сердце, вещевало», 7) «Весел я, весел сегодняшний день». С фабричным людом Каин (к тому же еще сам беглый лакей, хорошо был знаком по обязанности сыщика. Для вящего успеха по должности он получил право устроить в Зарядье в Москве веселое заведение с бильярдом, картами и зернью, получившее в Москве огромную известность. К нему валил, по новости дела, всякий праздный народ, а особенно суконщики. Фабричные рекомендовали сами себя для услуг, и он давал им пристанище, иногда держал человек по 30-ти.

²¹⁹ На Волыни об этом событии рассказывает народная песня:

Ой ты, Кармелюк, по свету ходишь,
Не одну девчину с умаводишь,
Не одну девчину, не одну вдову
Белолицу, румяну ще-й черноброву!

Ой ты, девчина, ты чорнявая,
 Ой десь ты мене приваду¹ дала?
 Бо дай ты так знав з сеней до хаты,
 А як знаю чем чаровати:
 Ой у мене чары оченьки кари,
 А в мене отрута² в городе рута!
 Пишов Кармелюк до кумы в госте,
 Покинув плаття в лесе при мосте:
 — Ой, кумцю, кумцю, посвоимося³,
 — Даж горилочки да напиемося.
 «Ой раду, раду, ходим до саду,
 Нарвемо грушок повен хвартушок⁴,
 Сядемо соби под яблонею,
 Будем пити мед за горелкою,
 Прийде, чорнява, пидем гуляти!»
 — Скажи ж, девчина, як тебе звати,
 Що б я потрапив⁵ до твоей хаты?
 «А мене звати Магдалиною,
 А моя хата над долиною,
 А моя хата снопками шита⁶.
 Прийди Кармелюк, хоч буду бита,
 Хоч буду бита — знаю за кого:
 Пристало серденько мое до твого!»
 Ой сам я дався з света сгубити
 Що я и сказав куле⁷ святити.
 Сама ж ты дала до двора знати,
 Шоб мене вбили у твоей хате!

Стихи 6 — 11 разговор с девушкой; Кармелюк идет к куме, у которой были тайные свидания его с девушкой; ст. 14 — 21 — разговор с кумой; ст. 22 — 29 — разговор с девушкой в доме; ст. 30 — 33 — песня от лица Кармелюка, жившего, по народному преданию, в начале нынешнего столетия. По образцам прошлых веков и по обычаям времен коливщины, песня эта также намекает на гайдамака-характерника, знавшего с нечистою силою и умевшего зачуровывать направленные на него пули. Освящать пули в противодействие чарам было в обычае у казаков времен коливщины.

²²⁰ В России поют: «Своей родины бежал».

²²¹ В России прибавка:

¹ Приманку, приворотное;

² отравы;

³ будем свои;

⁴ передник;

⁵ нашел путь;

⁶ обложена связками (обыкновенно коноплями);

⁷ пули.

На кого же ты покинул
Мать родную и отца?
(Или: Ты покинул, ты оставил,
Ты старушку свою мать,
Отца своего старика!)
«Уже некому мальчишку
Меня было научить,
А теперича мальчишку,
Меня поздно научать!
Уж и жил я, веселился,
Но имел свой капитал;
Как и этот капитал
Весь я пропил, прогулял».

(Дальше: «во неволю жить» и проч.)

Или: «Жил бы, жил бы, веселился,
Капиталец свой имел;
Капиталец миновался,
Во неволю жить попал».

²²² Вместо офицер — писарь с требием идет, нам указы выдает, собираться скоро в поход.

²²³ В России эта трагическая сцена размалевана иначе:

Свет небесный во сияньи:
Барабаны зорю бьют,
Барабан зорю пробьет,
Вундер двери отворяет:
Писарь с требием идет;
Он по требованию кличет,
Нам к суду идти велят.
Взяли сумки, помолились
И отправились себе...
Нас в карету посадили
И с конвоем повезли...
Или: Взяли сумки — подхватили
И в поход скоро пошли,
Торбан, торбан покатился.
Что за чудна за карета!
Сдивовался весь народ,
Что кругом конвой идет.
У родных сердца забьются,
Слезно плакали об нас,
Слезно плакали об нас,
Отправляли в Сибирь нас.

Здесь и конец — как мы выше сказали — российскому изделию. Сибирские арестанты не задумались над описанием дальнейшей картины и изобразили ее в последнем припеве в песне. По словам сибирских арестантов, песня эта сочинена в конце 40-х годов XIX столетия, и основная канва ее приписывается, как сказано нами, разбойнику Гусеву.

Били доброго молодца на правеже
 На жемчужном перекрестычке ¹
 Во морозы во хрещенские.
 Во два прутика железные.
 Он стоит удаленький, не тряхнется,
 И русы кудри не шелохнутся,
 Только горячи слезы из глаз катятся.
 Наезжал к нему православный царь,
 Православный царь Петр Алексеевич.
 Не золотая трубынька вострубила,
 Не серебряна сыповочка возыграла,
 Тут возговорит царь Петр Алексеевич:
 «Вы за што добротнова казните?
 Бьете-казните казнью смертною?»
 Тут возговорят мужики приходские:
 «Уж ты гой еси, православный царь,
 Царь Петр Алексеевич!
 Мы за то его бьем-казним:
 Он покрал у нас Миколу-то Можайскова
 И унес казны сорок тысячей».
 Тут возговорит добрый молодец:
 «Уж ты гой еси, православный царь,
 Православный государь Петр Алексеевич,
 Не вели меня за слово казнить-вешати,
 Прикажи мне слово молвити,
 Мне себя, добра молодца, поправить.
 Не я покрал у них Миколу-то Можайсково,
 И не я унес у него золоту-казну,
 А покрали его мужики-кашилы.
 Только случилось мне, доброму молодцу,
 Это дело самому видети.
 Гулял я, молодец, по бережку
 На желтом песку, при мелком леску,
 И увидел, что они делят казну,
 Не считаючи делят — оттребаючи.
 У меня, у молодца, сердце разгорелось,
 Молодецкая кровь раскипелась,
 Ломал я, молодчик, мостовиночку дубовую,
 Перебил я мужиков до полу-смерти,
 Иных прочих чуть живых пустил
 И взял я у них золоту казну.
 Взявши казну, стал пересчитывать:
 Насчитал казны сорок тысячей».
 Тут не золотая трубынька вострубил
 Не серебряна сыповочка возыграла,

¹ В Москве урочище: место старых казней.

Как возговорит надежа-православный царь,
Православный государь Петр Алексеевич:
«Ты куда такову казну девал?»
Тут возговорит добры молодец:
«Уж ты гой еси, православный царь,
Православный государь, Петр Алексеевич,
Прогулял я во кружале
Со голытьбою со кабацкою!»

²²⁵ В Холмогорах (Арх. г.) мне удалось записать еще вариант этой песни древнейшего происхождения:

Мой сизой голубчик,
Ты зачем, для чего
В садик не летаешь?
Буйным ветром
Сизова относит,
Частым дождем
Крылья-перья мочит.
Мой миленькой,
Мой милой дружок!
Ты пошто, для чего
Редко в гости ходишь:
Твой отец да мать
Тебя не спускают,
Род они, племя
Тебе запрещают?
Сидел-посидел
Удалой молодчик
В темной темнице.
У той у темной, у темной темницы
Ни дверей нету, нету ни окошек,
Еще в ней нету ни красна крылечка,
Только есть одна труба дымовая,
Из той трубы дым-от повевает,
Меня молоду горе разбирает.
Пойду я, млада, с горя в зелен садик,
Пойду-возьму я ключи золотые;
Отопру я сундуки-ларцы кованы,
Возьму денег ровно сорок тысяч,
Стану дружка-дружка выкупати,
Из неволюшки его выручати,
Грозен судья, судья-воевода,
Моей казны-казны не принимает.
Меня молоду горе разбирает!
Пойду молода я с горя в чисто поле,
Пойду, нарву я лютого коренья,
Буду, стану я судью опоити.

²²⁶ В известной русской песне: «Уж как пал туман на сине море», мотив этот повторяется в конце с таким вариантом:

«Молодой жене скажите мою волюшку —
На все ли на четыре сторонушки,
Малым детушкам благословеньице».

²²⁷ В России вариант:

Как у нас в роду воров не было,
Ни воров у нас, ни разбойничков.

²²⁸ Вот в каком виде являются эти три песни в Сибири на каторге :

I

По горам, горам
По высокиим,
Млад сизой орел
Высоко летал,
Высоко летал,
Жалобно кричал.
Во строю солдат
Тяжело вздыхал:
«Мне не жаль, не жаль
Самого себя,
Только жалко мне
Зелена сада.
Во зеленом саду
Есть три деревца:
Первое деревцо —
Кипарисово,
Другое деревцо —
Сладка яблонька,
Третье деревцо —
Зелена груша.
Кипарис древо —
Родной батюшка;
Сладка яблонька —
Родна матушка.
Зелена груша —
Молода жена».

II

Как по морю-моречку по Хвалынскому
Плывут, всплывают тридцать кораблей:
Один-от кораблик поперед бежит,
Он бежит-бежит, соколом летит.
На том ли на кораблике Рыжков атаман.
«Гребите вы, молодцы, подгребайте,
Своих белых рученок не жалеите!
Как за нами, за молодцами, три погонн:
Первая погонюшка — то солдаты,
Вторая погонюшка — то гусары,

Третья погонюшка — донски казаки.
Первой погонюшки не боюся,
Второй-то погонюшки не страшуся,
Третьей же погонюшки я боюся».
То не пулечка свинцовая пролетает,
Не калено ядрышко прилетает.
Атамана Рыжкова убивает.

III

Не шуми-ка ты, не греми,
Мать зелена дубравушка!
Не мешай-ка ты, не мешай
Мне, молодцу, думу думати!
Ах, приходит же на дубравушку,
Приходит невзгода.
Вот невзгодушка да на дубравушку —
Зимонька холодна.
Исповысушит, исповыкрутит,
Все листья-коренья .
Как на крутеньком и на прекрасеньком
Был я на ярочке,
Как на желтеньком на рассыпчатом
На мелком песочке.
Что не черные-то в поле
Вороны слетались, —
Слетались-собирались
Молодцы ребятушки.
Вы солдатушки, вы молоденьки,
Вы новобраны!
Получили ли вы, ребятушки,
Царские присяги?
Что ж ты, реченька, что ж ты, быстрая,
Долго не проходишь?
Ледок тоненький, ледок осенненький
Долго не проносишь?
Наших милых голубушек
Долго не провозишь?
Наши милые голубушки
Сами переедут.

Известная былина-песня «Соезжает князь Михайло со широкого подворья», рассказывающая об убийстве свекровью невестки, в сибирских тюрьмах известна до мельчайших подробностей и даже представляет лучший, полнейший вариант. В Сибири одно убийство служит поводом к двум новым убийствам:

Вынимает князь Михайло
Из ножон булатный ножик:
Он пронзает свое сердце,

Он пронзает ретивое.
Как возговорит его матушка родима:
«Ахти, злодейка я, согрешила,
Три души я погубила:
Се-де сына, се невестку,
Се младенца во утробе!»

²²⁹ Известны еще длиннейшие вирши: «Позвольте вспомнить про бы-
лое» и проч. и «На дворе шумела буря, ветер форточкой стучал»; «Я ви-
дел, как в стране чужой моих собратьев хоронили» и пр., все неудачные
попытки, рассчитывающие на дальнейшее развитие тюремной песни, но
пользующиеся некоторым успехом только в военных каторжных тюрь-
мах. За ними одно досадное право — вытеснять мало по малу самобыт-
ные перлы народного творчества. Из известных романсов пробрался в
тюрьмы между прочим варламовский: «То не ветер ветку клонит».

²³⁰ Конец в этой песне выкраден из известной народной:

Ах ты, ночь ли ночь,
Ночка темная,
Осенняя бурная, —

с тою отменю, что мерный стих народной обменен на искусственный
стихотворный В подлиннике так:

Перейди, сударушка, на мою сторонушку.
Рада бы я перешла — переходу не нашла.
Переходочек нашла — лежит жердочка тонка,
Жердочка тонка — речка глубока.

²³¹ Отрывки эти, оставшиеся в сибирских тюрьмах, принадлежат пес-
не, сохранившейся в цельном виде на Волыни и записанной там Н. И. Ко-
стомаровым:

Повернулся я з Сибиру,
Нема мне доли,
А здається, не в кайданах (в кандалах),
Еднак же в неволе.
Следят мене в день и в ночи,
На всяку годину:
Негде мене подетися,
Я от журбы гину.
Маю жинку, маю дети,
Хоч я их не бачу,
Як згадаю про их муку,
То гирько заплачу.
Зібрав себе жвавих (т. е. резвых) хлопців,
И що ж мне з того?
Заседаю при дорозе,
Жду подорожного?
Чи хто иде, чи хто еде —
Часто дурно ждати:

А так треба в лесе жити,
 Бо не маю хаты.
 Часом возьму з богатого —
 Убогому даю.
 А так гроши подиливши,
 Я греха не маю.
 Зовут меня разбойником
 Кажут — разбиваю.
 Я ж никого не забив,
 Бо сам душу маю.
 Ассесоры, справника
 Все меня гоняют,
 Бильше вони людей забили,
 Ниж я грошей маю.
 Пишов бы я в место, в село:
 Всюду меня знают —
 А бы б тилько показався,
 То зараз поймают.
 А так треба стерегтися,
 Треба в лесе жити,
 Хоч здається свет великий —
 Негде ся подити.

²³² В России вариант:

Он ножками трясет
 Да мережки плетет.

²³³ Т. е. очень бойко, — как объяснил песельник.

²³⁴ У немцев этот способ известен под именем гакезена, от еврейского слова *гакке* — стучать, ударять.

²³⁵ Здесь отличие бестужевской азбуки от всех способов разговора стуком других товарищей.

²³⁶ Замечено, напр., что в Сибири термины, употребляемые при игре в карты, совсем другие. Это понятно из того, что по России в городских тюрьмах, где можно доставать карты в полном составе листов, арестанты играют в три листика. В Сибири они начинают играть в едно, потому что добыча карт затрудняется, а принесенные из России измызгались, остались посвежее лишь убереженные бросовые от двойки до семерки, ненужные при подкаретной игре. На них-то и основывается сибирская арестантская игра в едно со всеми приемами, а стало быть, и терминами.

²³⁷ В гражданских тюрьмах нюхательный табак — прошка, курительный — дым; селитра — гарнизонный и этапный солдат в Сибири; они же кисла-шерсть в русских тюрьмах.

²³⁸ Ясак в значении знака, условного крика, маяка, отзыва, лозунга встречается в старинной песне про Илью Муромца, которая говорит, между прочим:

Увивайте вы веселочки
 Аравитским красным золотом;
 Увивайте вы уключенки

Альентарским крупным жемчугом,
Чтоб по ночам они не буркали,
Не подавали бы они ясаку,
Что ко злым людям, ко татарам.

По Волге ясаком наз. до сих пор всякий незнакомый, непонятный, чужой, иностранный язык; а ясак в значении сигнала у разбойников заменялся иногда телодвижениями. В орловских (воронежских) актах: «на кургане видели человека на лошади, который, сняв с себя шапку мою, бросил вверх; и к нему со стороны наехало с десять, а с другой стороны с двадцать». По Ратному уставу ясак — сторожевой опознательный звук: «имети всякое бережение и старосты и ясаки». В Нижегородской губ. ходячие купцы не по-русски говорят, а ясаком (то были зыряне-меховщики). У костромичей ясачный парень — речистый, разговорчивый. При Елизавете Вас. Вас. Голицын наказывал прислуге: «Кругом барского дома ходить, колотушками громко стучать, в рожки трубить, в доску звать, в трещетку трещать, в ясака ударять (?), по сторонам не зевать».

²³⁹ По-офенски: гиры — старый, гирех — старик, гируха — старуха (замечательно, что у греков — heron; пять — пента, pente; десять — декан, deka; пятнадцать — декапента, dekapente. Впрочем, эта греческая примесь идет недалеко. Встречается больше слов нового образования и исковерканных польских и других славянских).

²⁴⁰ Музыка, или словарь карманников, т. е. столичных воров, которым мы пользуемся в настоящем случае, составлен в 1842 г., проверен и дополнен сообщениями новых и подтверждением старых слов в 1869 году.

²⁴¹ Курынча тюремная встречается у офеней в названии пятака медного (куренша).

²⁴² На сибирском тракте через Арзамас и Лукоянов в Ардатовском уезде, между станциями Тальцин и Олевка, находится это село Скрипино (210 дворов) в соседстве с селами и деревнями: Княжуха, Шамарино, Марьино, Ростиславка, Ратманово, Назарово, Пасыпаевка, Елушево, Чуварлей, Ямское и другие. Во всех живут коновалы в количестве до тысячи душ. Ходят на восток и в Сибирь.

²⁴³ Юрдовка, как мы указали, особая игра в карты.

²⁴⁴ Фомка — короткий железный прут для свертывания «сережки» (т. е. висячего замка). Камышевка — большой в $\frac{1}{2}$ арш. лом; им очень ловко поднимают двери с петель или крюков. Отмычка подходит к большей части замков, а для хорошего внутреннего замка делается ключ по восковому слепку, от ключа же или от замочной скважины. Камышевку — лом прячут, подвывая веревкою, обходящую вокруг тела, и носят в шароварах (в нем пуд весу).

²⁴⁵ Кантюжить — нищенствовать. Наглухо заколачивают избы и уходят собирать на мнимое погорелое место множество деревень под самую Москву и почти весь Судогожский уезд, Влад. губ.

²⁴⁶ Существует анекдот о братьях-семинаристах, которые начали сговариваться по херам при отце: — «Хер-брат! Хер-что?» — Херпойдем. — «Хер-куда?» — Хер в кабаки! «А хер-плеть!» — возразил на неумело составленную речь отец, лежавший на полотах.

²⁴⁷ Это были, кроме Н. А. Бестужева, капитан-лейтенант Торсон и лейтенанты: Арбузов, Кюхельбекер, Бодиско 1-й, Завалишин и Чижов.

²⁴⁸ Мичманов было четверо: Дивов, два брата Борисовых и Бодиско 2-й. Всего из моряков приговорено к ссылке 11 человек.

²⁴⁹ Веселый нрав и симпатичный характер у Бестужевых были также как бы наследственными: Мих. Александр. увлекал молодежь; Марлинский же на Кавказе был постоянно душою офицерской компании.

²⁵⁰ Живший в то время на Гусином озере, около Селенгинска, хамба-лама (верховный бурятский лама) отличался необыкновенною, чудовищною тучностью, приобретенною при сидячей, затворнической, по обычаю, жизни на кумысе и жирных баранах. Эта тучность была известна во всей Восточной Сибири, и к хамба-ламе ездили для того только, чтобы на него посмотреть и подивиться. Она же была причиною такого глубокого к нему уважения всех бурят-ламаистов, каким никогда ни прежде, ни после не пользовался ни один из хамба-лам: точно сам бурхан въяве и живые. Вдобавок он, напр., в кресла совсем не мог садиться и предпочитал диван, куда и залезал с ногами, складывая их, по арабскому обычаю, под себя калачиком. Таким же образом ездил и в дорогу, на широкой долгуше. Был большой добряк и хлебосол, и притом обжора: по преданию, он один съедал за присест целого барана.

²⁵¹ Упомянутый «Михаил Сергеевич» и «M-r Michel» — сын Сергея Григорьевича Волконского, как M-lle Nelly — дочь — оба родившиеся в месте изгнания и заключения, в железодельном Петровском Балегинском заводе. М. С. Волконский впоследствии состоял на службе в должности товарища министра народного просвещения.

²⁵² Дмитрий Дмитриевич Старцев — почтенный, всеми уважаемый и хорошо известный в Восточной Сибири, селенгинский купец и патриарх этого города, обязанного ему очень многим. Хлебосольство Дм. Дм. известно всем, кто только хотя мимоходом попадал в этот бедный, упдающий городок, замечательный, между прочим, тем, что он переменял уже два места и теперь кое-как держится на новом, закидываемый песками. При последней постройке города на новом, нынешнем месте, Д. Д. Старцев оказал много помощи, материальной и нравственной, как человек практического ума и доброго сердца. В нем нашли также много поддержки и помощи и эти новые подгородные жители, имени и деяниям которых посвящена наша статья.

²⁵³ Читатель, знакомый с книгою Н. И. Тургенева (*La Russie et les Russes*), конечно, не согласится о этом резким отзывом; но дальнейшие замечания Бестужева отчасти разъясняют, если не оправдывают, эту резкость.

²⁵⁴ Иван Иванович Горбачевский, товарищ по изгнанию, не пожелавший возвратиться в Россию и оставшийся жить в том же Петровском заводе, где и скончался в глубокой старости, окруженный всеобщим уважением.

²⁵⁵ Все места, выделенные курсивом, подчеркнуты в подлиннике.

²⁵⁶ Китайский праздник, иначе «Белый месяц», по-тамошнему — китайский новый год, справляемый в разное время, в зависимости от

движения и фазисов луны. Иногда он случается в декабре, в январе, и, конечно, самое позднее — в феврале. Китайцы справляют его в течение целого лунного месяца с изумительным хлебосольством и тороватостью, когда у них всякий пришедший — дорогой и жданный гость. К угощениям пристраиваются религиозные торжества, процессии, национальный театр, игры и т. п. Все эти обстоятельства делают праздник чрезвычайно своеобразным и интересным, а для чайных торговцев, имевших дела с Маймачином, даже обязательным: помешанные на этикете, чопорные и тщеславные китайцы требовали от русских купцов на первые дни праздника визитов. Не будем удивляться, если для этих дней съезжались в Маймачин из всех забайкальских городов, а из Иркутска не задумывались делать длинные поездки даже все чиновники, наезжавшие туда на службу из России. Впрочем, об этом празднике я имел уже случай говорить подробно в сочинении: «На Востоке».

²⁵⁷ Сестры Бестужевых: Елена и Марья Александровны.

²⁵⁸ Помещено было в журн. «Труд. Вестник литературы и науки». 1892 год, т. XIV, № 4

²⁵⁹ Из записок современника С. Б. Броневского.

СОДЕРЖАНИЕ

СИБИРЬ И КАТОРГА

Часть II. ВИНОВАТЫЕ И ОБВИНЕННЫЕ

Глава X. УБИЙЦА ИЗ ПУСТОСВЯТОВ	7
Глава XI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КАЗНЫ	36
Глава XII. ПРЕСТУПНИКИ ПРОТИВ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ	66
Глава XIII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	86

Часть III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

Глава I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ	103
Глава II. ССЫЛЬНЫЕ ПОЛЯКИ	130
Глава III. ВРЕМЕНА АЛЕКСАНДРА II	179
Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ	201
Глава V. УЧАСТЬ ССЫЛЬНЫХ	234
Глава VI. ДЕКАБРИСТЫ (НАЧАЛО)	254
Глава VII. ДЕКАБРИСТЫ (ОКОНЧАНИЕ)	308

Часть IV. ИСТОРИЯ КАТОРГИ

Глава I. НЕРЧИНСКИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ РУДНИКИ И ЗОЛОТЫЕ ПРОМЫСЛЫ	376
Глава II. САМОЗВАНЕЦ ПЕТР III	386
Глава III. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НАРЫШКИН	417
Глава IV. СИБИРСКИЕ ЗАВОДЫ	449
Глава V. СИБИРСКИЕ ФАБРИКИ	466
Глава VI. СИБИРСКИЕ КРЕПОСТИ	471

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЮРЕМНЫЕ ПЕСНИ	478
ТЮРЕМНЫЙ СЛОВАРЬ	527
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ	559
ДМИТРИЙ ИРИНАРХОВИЧ ЗАВАЛИШИН	583

ПРИМЕЧАНИЯ	593
------------------	-----

Сергей Васильевич Максимов

Собрание сочинений в семи томах
ТОМ ВТОРОЙ

Редактор *А. Полбенникова*
Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректор *Ю. Баклакова*
Компьютерная верстка *С. Шулаев*

Подписано в печать 10.02.10 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага офсетная.
Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 33,6. Уч.-изд. л. 31,17.
Заказ № 0925710.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Литературное
приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0030-0



9 785422 400300

www.soyuzkniga.ru